



АВГУСТ

А ЖИЗНЬ ИДЕТ...



КНУТ  
ГАМСУН

КНУТ  
ГАМСУН

KEYT  
CAMCUE

KNUT  
HAMSUN



# КНУТ ГАМСУН

---

**АВГУСТ  
А ЖИЗНЬ  
ИДЕТ...**

Романы

Москва  
«Эй-Ди-Лтд»  
1994

ББК 84.4.Нр  
Г18

Художественное оформление  
Б. М. Кравченко

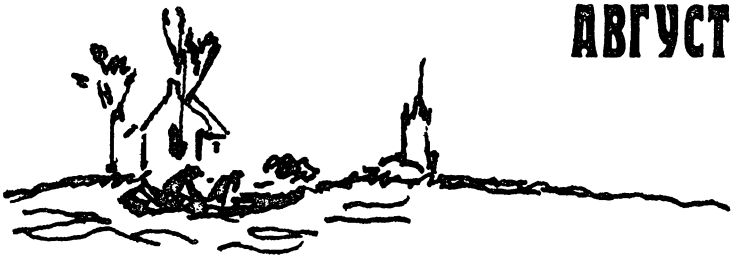
При подготовке оригинал-макета использовались  
программные продукты АО «Параграф-Интерфейс»

Тел. (095) 299-75-69, 299-79-23

Факс (095) 923-52-53

ISBN 5—85869—046—7

© «Эй-Ди-Лтд», составление, 1994



**АВГУСТ**



Полен процветает.

Два года подряд хорошо шла сельдь, и народ стекался к этому новому месту. Паулина в мелочной лавочке торговала хорошо и без перебоев — она была женщина дельная и изворотливая, у нее была торговая жилка. Во Внешнем Полене находилось теперь несколько артелей рыбаков, и куда было им деваться по воскресеньям и праздникам? Они посещали мелочную лавочку и читали, читали объявления, прибитые на стене вокруг красного почтового ящика, но, бедняги, не могли даже ни выпить, ни перекусить. Паулина просила брата Иоакима построить ей сарайчик, где бы она могла подавать кофе, и Иоаким не смел без конца отказывать ей, потому что Паулина была и сестрой и хозяйкой у него, и он многим был ей обязан. Он неохотно шел ей навстречу, но вот однажды из Намсена прибыла шхуна, нагруженная досками, и Иоаким принялся возить от лодочных сараев воз за возом. На что ему все эти доски? — спрашивала Паулина. — Да как же, ведь у нее должна быть своя гостиница, — отвечал он.

Такой теперь стал Иоаким, что уж если что-нибудь делать, то делать с некоторым запасом, как завещал им в Полене кругосветный путешественник Август, этот странник по воде и по суше, Август, который учил людей всему и не брал за это ничего. Он научил Эзру из Новоселка осушить болото, и он научил Иоакима построить хлев, приняв в расчет возможный прирост скота, — без Августа у него не было бы теперь ни лошади, ни конюшни для нее. Необыкновенный парень этот Август-путешественник; Иоаким не мог не сознать, что многому научился у него, пожалуй, одинаково — хорошему и дурному.



А теперь к тому же Иоаким сделался старостою в приходе, и это было немало для такого молодого человека. Это отнимало у него часть времени от работ вне дома, в поле и на лугу, но имело и свои преимущества: повышалось уважение к нему, он чувствовал себя более взрослым и испытывал сладкое чувство, когда старые односельчане должны были обращаться к нему со своими просьбами и требованиями и поступать по его указаниям. А что касается сарайчика, где бы можно было подавать кофе, то разве мог староста предлагать для этого шкиперам и неводчикам какой-то барак?

Получилось нечто большее: получилась кофейня, а наверху гостиница в две комнаты, где можно было найти уют на ночь, если бы кому-нибудь понадобилось. И Паулина заработала не одну копейку в этой новой постройке.

Она могла бы пожелать себе еще булочную, — шкиперы и неводчики спрашивали хлеба. Но об этом нечего было и думать: булочная требует пекаря, а она сама не могла печь хлеб. Нет, Паулина не могла бы справиться с еще большим количеством работы: она вела хозяйство брата и готовила обед, на ней лежала стирка белья и уборка комнат, она чистила хлев и обслуживала лавочку, кроме того она сделалась недавно агентом страхового общества; для всего вместе требовалось большое напряжение и головы и рук, — она надрылась. Почему бы брату Иоакиму не жениться и не обзавестись семьей, как делали другие? Можно было подумать, что ему отбили охоту раз и навсегда. Он любил когда-то красивую девушку из Южного прихода, и казалось, все обстояло у них ясно и прочно, но в один прекрасный день девушка уехала в Америку. История кончилась. А сколько забот свалилось бы с плеч Паулины, если бы девушка вошла к ним в дом!

Проходили годы, время шло; у всех полenceв старшего поколения начинали появляться морщины на лице, одни умерли и совсем исчезли, годы и время продолжали подтачивать других, даже Паулина из мелочной лавочки начинала увядать и становилась плоскогрудой, хотя держалась прямо и не сдавалась. Поднималась юная поросль, и Паулина следила за нею с первого дня, она вела учет рождениям и смертям, как никто в местечке, и знала всех с колыбели.

Но почему она так усердно предавалась торговле? Что она получала взамен? Она сама говорила, что все это — не ее, что она заведует лавкой старшего брата Эдварта. Прекрасно, но где же старший брат Эдварт? Где-то в Америке, далеко за морем, может быть, поглощен землей во время циклона, о котором они читали в Иоакимовой газете. Конеч-

но, Паулина вела собственную торговлю, и кроме того, если бы старший брат Эдварт вернулся домой, не такой он человек, чтобы требовать обратно то, что однажды отдал, — слишком широкой он был натурой. Со стороны Паулины это был один разговор, будто она ведет торговлю не для себя самой; она была достаточно ловка и знала, что делает. Это что-нибудь в связи с налогами она задумала, — о, эти кровные денежки, которые из нее высасывались каждый год!

Но Паулина не была жадной, и забота о хлебе насущном не мучила ее, она была только бережлива, была предусмотрительна, и больше ничего. Она одевалась по своему состоянию несколько лучше, чем другие, но выделялась ровно настолько, сколько допускалось приличием: на руке у нее было жемчужное кольцо, белый воротник вокруг шеи и на голове — сетка. С некоторого времени, когда уехал приходский священник и его заменил капеллан, она скальвала воротник серебряной брошью и ходила в церковь, накинув на руку шаль. К чему бы, казалось, такая роскошь? Правда, капеллан Твейто был холост и, объезжая приход, зашел в мелочную лавочку в Полене и купил жевательного табаку, но такой пустяк не должен был бы волновать умную девушку. У них был следующий разговор:

— Вы считаете, вероятно, что едва ли мне, священнику, подobaет жевать табак.

Паулина смутилась и растерялась.

— То есть как?.. Отчего?..

— Эта досадная привычка у меня с тех времен, когда я выходил в море на рыбную ловлю. Еще до того, как я начал учиться.

— Вот как, вы ходили на рыбную ловлю? Значит, вы из северной Норвегии?

— Я из Гельгеланда.

— Это замечательно! — воскликнула Паулина.

Этот священник не скрывал своего низкого происхождения, он был скромн, можно сказать, родился в хлеву, и его колыбелью были ясли.

— Я видал вас в церкви, — сказал он. — Что стоит табак?

Он видал ее в церкви, это удивительно, и это, пожалуй, слишком. Она снова растерялась и ответила:

— Табак? Ничего, оставьте это.

— Нет, я заплачу за него.

— Нет, что за счеты! Какая-то пачка табаку!

— Ну, — сказал он с добродушной и приветливой улыбкой, — в таком случае очень благодарен вам.

— Не за что.

У дверей он добавил:

— Ну, теперь я хорошо снаряжен и могу продолжать свое странствие.

— Да поможет вам господь! — пожелала Паулина в том же торжественном тоне.

— Он мне и так помогает, — спокойно ответил священник. — Посмотрите только, какую классически прекрасную погоду он посылает!

Конечно, это не был какой-нибудь потрясающий разговор, но Паулина никогда не переживала ничего такого, и она отметила этот день брошкой и шалью при первом же посещении церкви.

Иногда в лавочку заходил ее брат, староста, и покупал что-нибудь или вешал объявление на стену. Брат и сестра жили в ладу и дружелюбно поддразнивали друг друга. Когда он приходил со своим объявлением и прибывал его гвоздями за четыре угла, сестра смеялась и говорила, обращаясь к присутствующим:

— Вы только посмотрите на него: он думает, что он начальство!

— Да, точно так же, как ты думаешь, что ты фрекен, — отвечал Иоаким. — Ты носишь крахмальный воротничок и нежно болтаешь со священником.

— Ха-ха! Какое у тебя объявление на этот раз? — спрашивает она.

— На этот раз я созываю стортинг, — отвечает Иоаким.

Иногда заходил Эзра, богатый мужик, маленький и седой, с постаревшим лицом, но, впрочем, крепыш и до сих пор. У него было много детей, но еще больше коров на дворе, да еще лошадь в придачу и целое стадо коз и овец. Он покупает заступ для двора, или четыре подковы для лошади, или пилу для дров; все, что купит, он связывает вместе и уносит. Богатый мужик, начал ни с чем, а теперь влиятельный человек.

С Эзрою дело вышло как-то странно, тут было что-то непонятное: начал он ни с чем, а теперь самый богатый землевладелец в Полене. Его трудолюбие было известно и хорошо известно, но все таки успех его был чрезмерный и таинственный. Вначале, когда он возделывал свое большое торфяное болото, вокруг его Новоселка раздавались какие-то крики о помощи; бог знает, что они означали, — ведь на его болоте было совершено когда-то злодеяние, это было давно, — но крики с болота жили в людской памяти и продолжали преследовать Эзру и его семью. Несмотря на кри-

ки, он построился у болота, обработал землю и развел скотину, расширил пастбище в несколько раз. Это — правда, так вот, может быть, он и получил помощь от болота, из подземного мира. Что-то жуткое связывалось с ним. И хотя он был женат на Хозее, сестре Иоакима-старосты и Паулины из мелочной лавочки,— все это почтенные люди, в особенности с тех пор, как приобрели благосостояние и влияние,— хотя Эзра и был в свойстве с этим достойным уважением семейством, но это ему не помогало. Почему ему так везло, уж не продал ли он себя дьяволу? Эзру избегали, а не то чтоб искали общения с ним; его жене не легко было найти служанку, его детей преследовали в школе.

Жаль было Эзру и его домашних: их сторонились. Вот стоит он здесь в лавке и покупает заступ, четыре подковы, пилу для пилки дров или еще что-нибудь, внимательно рассматривает все это, но не произносит почти ни слова; другие покупатели молчат, отходят и стоят в стороне, пока Эзра не закончит своих покупок.

— Как у тебя дела дома? — спрашивает Паулина.

— Благодарю за внимание, все обстоит благополучно, — отвечает он.

— Как Хозея и дети?

— Все вполне благополучно. Ты бы заглянула к нам.

— Я зайду.

Входит новый покупатель, Ане-Мария; она совсем не подавлена, хотя и отбыла наказание, вокруг глаз у нее появились морщинки, но она все еще красивая, самоуверенная и заносчивая. Неужели она думала, что они расступятся перед нею? Только этого недоставало. Одно время, после своего возвращения, она пробовала быть набожной и отказаться от мира, но это длилось недолго, ничего не вышло у нее. Такому человеку, как она, более подходило держаться поближе к земле. Разве не из-за Ане-Марии вышла целая история в Полене? Она хладнокровно, с черствым сердцем, позволила шкиперу из Хардангера погрузиться в торфяное болото Эзры и не звала на помощь, пока тот бился там. Ей пришлось отбыть наказание, это правда, но что из этого? Разве душа замученного не продолжала взывать из болота и просить освященной земли, чтобы успокоиться в ней? Нечестивая женщина! Прошло немало времени с тех пор, но ничего не забылось, и бедный Эзра и его семейство должны были нести последствия до сего дня. Ане-Марии нечего было важничать, этой негоднице, единственной преступнице в Полене; что же она

пришла в лавочку и держит себя так важно? Верно, она с ума сошла.

— Полфунта кофе,— говорит она.

Паулина не обращает на нее внимания, она хочет сперва проводить Эзру. Она задает зятю еще несколько вопросов о его семействе и выслушивает ответы.

— Мне только полфунта кофе,— повторяет Ане-Мария.

— Я слышу,— отвечает Паулина.

— Могу я получить его?

— Тебе так спешно? — раздраженно спрашивает Паулина.

Ане-Мария меняет тон:

— Отпусти мне, пожалуйста. У меня уже котелок кипит.

— Прощай! — говорит Эзра и уходит.

Нет, Ане-Марии, конечно, не следовало задирать нос, было достаточно таких, кто мог осадить ее. Она была отличной хозяйкой и предприимчивой женой для Каролуса, который с годами стал замкнут и ленив. Ане-Мария знала также толк в маленьких детях, в родах и прочем, о чем она читала, хотя у нее самой не было детей. Да, об этом можно было советоваться с Ане-Марией: настолько-то она понимала, — что правда, то правда. Но пусть она на этом успокоится и не зазнается.

В мелочную лавочку Паулины заходит много-таки народу из местечка; тут и покупатели, у которых есть действительно дело и которые покупают фунт крупы или полфунта зеленого мыла, тут и бездельники и дармоеды, которые являются только затем, чтобы встретиться с друзьями и узнать новости.

Самый большой бездельник, конечно, Теодор. Он как был, так и остался ничем, просто ничтожество, он проводит здесь целые часы и торчит у прилавка, как в прежние дни, болтает с Паулиной, которая ему почти никогда ничего не отвечает, выспрашивает у проходящих новости, об урожае в их краях, о рыбе. Он задает вопросы, как взрослый, и время от времени молодцевато сплевывает, но он ребячлив и придурковат, и к тому же он на руку не чист. Паулина поглядывает, чтобы он не стянул чего-нибудь с полки и не сунул себе в карман. Раза два или три она доставала из кармана его куртки небольшие вещицы; впрочем, к величайшему удивлению самого Теодора, он понять не мог, как они там очутились, — наверное, кто-нибудь насмех подсунул ему.

Теодор не сделался с годами сколько-нибудь дельным и значительным человеком, точно так же как и Рагна, жена его; оба они были самыми ничтожными людьми во всем Полене. Но у них были отличные дети, трое исключительных детей — мальчик и две девочки. Правда, пока росли они, эти дети, их слишком мало кормили и слишком плохо одевали, но это им не повредило, они выросли большие и здоровые: мальчик с хорошими кулаками и смелый, без образования, но с головой и энергией; обе сестры дельные и похожие на мать, красавицы, беспорочные, как цветы и птицы, уже на работе, каждая нашла себе место, хотя их едва ли еще можно было назвать взрослыми. О, они работали и так рано вышли в люди, эти сестры; они поступили служанками в разные дворы: старшая начала у Эзры и Хозеи, другая сразу после конфирмации попала в дом священника и помогала по хозяйству; у чужих их лучше кормили и с ними лучше обходились, они подработали себе на платья, они смеялись, работали и были счастливы.

И это были собственные дети Теодора и Рагны, дельные ребята, хотя и были детьми ничтожных родителей и из бедного дома. Родители гордились своими детьми, которые вышли такими хорошими и стали люди как люди; мать сама была когда-то красивой, да и теперь еще была недурна, эта жалкая жена Теодора. О боже, конечно, они были плохие, эти муж и жена, но не настолько плохие, чтобы их можно было считать отбросами человечества; они были слабые и подавленные, жилось им плохо, но их не избегали, наоборот, Рагна была еще так красива, что муж должен был не спускать с нее глаз.

Приходит Каролус. Он отяжелел и стал задумчив, и, покачиваясь, пробирается между соседями. Он все еще уважаемое лицо, отчасти потому, что был когда-то старостой, а отчасти потому, что изба у него самая большая в округе и каждый год на рождество он сдает ее под танцы. Каролус — не тот, каким он был: он потерял свою предприимчивость и опустился. Он по-прежнему ездит на лофотенский лов рыбы и по-прежнему командует на своей лодке, но его бдительность исчезла, он боится моря и предпочитает безделье. Жизнь превратилась в беспокойство для Каролуса, у него нет более честолюбия, и энергии хватает лишь настолько, чтобы поддержать свое и женино существование. Зачем ему напрягаться больше, чем это необходимо? Детей у него не было, он и Ане-Мария составляли всю семью; у него дело обстояло иначе, чем у такого человека, как Эзра из Новоселка, который был жаден до земли и с утра до ночи трудился на своих

полях и лугах, но у того было кому оставить наследство — целая куча детей. Нет, не было детей у Ане-Марии в молодости, не появились они и после пребывания ее в Троньеме. Странно, она была сложена, как и другие, и хорошо сложена, но нет, детей не было. И она не утратила своего пыла за время отсутствия, не превратилась в старую деву, далеко нет, склонности у нее остались прежние, и мужу стоило немало труда справляться с нею. В остальном Ане-Мария была отличная жена, она не раз бралась за то, в чем сдавал Каролус, и не допускала, чтобы что-нибудь пропадало. Без нее он наверное улегся бы дома и не выезжал на зимний лов рыбы, а чем бы они тогда оплатили налоги и сборы и необходимые закупки в мелочной лавочке? Да, можно с уверенностью сказать, что Ане-Мария не рассталась бы так скоро со своей привитой в тюрьме религиозностью и набожностью, если бы ей не нужно было заботиться о муже, доме и всех мирских делах.

Каролус не делает больших закупок, он покупает немного писчей бумаги. Он делает вид, что по-прежнему занят общественными делами, хотя он уже не староста, а только школьный надзиратель, и к тому же никогда не умел писать.

— Дай мне самую плотную бумагу, какая у тебя есть, — говорит он Паулине, — я насквозь проткнул эту тонкую паутину, которую ты дала прошлый раз.

Он замечает Рагну среди покупателей и по старой привычке, приобретенной им в бытность старостой, хочет быть отечески ласковым с народом, также и с маленькой, худенькой Рагной; с его стороны это было тщеславием в некотором роде. Он говорит:

— Твой Теодор дома, Рагна?

Да, Теодор был дома. В чем дело?

— Передай ему, что мне хотелось бы взять его с собой на ловлю сельди при отливе.

Рагна рада:

— Это я ему передам. Когда ты отправишься?

— С первым же отливом. Нам нечего ждать.

Рагна благодарна: какая удача, что Каролус собрался за сельдью и хочет взять с собою Теодора, — значит, будет рыба к картошке, будет пища в доме, хорошая пища.

— Ты всегда придумашь, как помочь нам, нуждающимся! — говорит она Каролусу.

Он отклоняет от себя эту похвалу, но на самом деле доволен услышать признательное слово: так тщеславен он.

— Ну, вы с Теодором теперь уже не так нуждаетесь. У вас прекрасные дети.

— Да, это правда,— соглашается Рагна, и ей очень хочется поговорить о детях.— Но теперь их осталось тут только двое.

— Как это? — спрашивает Каролус.

— Ну да, потому что наша Иоганна уехала на юг вместе с семьей священника.

— Ну?

— Да, это была просто комедия! Иоганна отказывалась, плакала и не хотела уезжать, но жена священника ни за что не хотела отпустить ее и прибавила ей жалованья.

Каролус кивает головой:

— Значит, девочка пришла к месту. Вот видишь, как хорошо!

О, это было утешение и большое счастье слышать такие слова, и Рагна принялась плакать.

— А где Родерик?

— Он в Южном приходе и получил место.

— От толковый парень. Он мог бы остаться в Полене. Я устроил бы его к себе в работники.

— Так ты взял бы его к себе?

— Вполне возможно. Потому что у меня дела складываются так, что мне и пописать надо и еще кое-что поделывать, а кроме того, тяжелая работа мне уже не по возрасту.

Каролус, покачиваясь, уходит из лавочки и снова погружается в себя. Он думает о том, что сказал, и о том, что он хвастал, врал и бесстыдно важничал. Он вел себя нехорошо, и он раскаивался. Ему нанять Родерика в работники! На это у него нет средств, даже Эзра со своим большим двором не может держать работника. Эта писчая бумага, которую он нес в руке, ведь тоже была не для него самого: это Ане-Мария просила купить ее, она писала еще изредка письма в тюрьму, в Троньем. А что касается ловли сельдей, так разве была у него хоть малейшая мысль о рыбной ловле, прежде чем он увидел Рагну и захотел поважничать перед нею? Но теперь ничего не поделаешь, придется выезжать на ловлю.

## ГЛАВА II

---

И много лет был хороший ход сельди в Полене, правда, не подряд год за годом, выдавался и тощий год, но потом наступали опять тучные годы. Это удивительно, но Иоаким-староста, когда был еще юношей, произвел сказочно удачное за-



граждение сельди старым неводом, который ему подарил старший брат, и с того года сельдь проложила себе дорогу во Внешний Полен. Прямо чудо!

По одному тому, как посещались кофейня и гостиница, видно было, что на море стояли рыбацьи артели и народ с сетями: чаще и чаще теперь шкиперы и люди из экипажей рыбацких судов заходили в лавочку, опускали письма в красный почтовый ящик и застревали в кофейне. Паулина сгребала денежки как пыль.

Вообще с деньгами дело у людей обстояло хорошо: тем, у кого было что продать, молоко ли, мясо или картофель, платили огромные цены, такой был спрос на все это; про Эзру говорили, что в последние годы он нажил целое состояние на своих товарах; у него было что продать. Эзре всегда так везло.

Однажды во Внешнем Полене пристал парусник. Хотя на море была непогода и буря, и судно с трудом подвигалось на всех своих парусах, оно примкнуло к остальным рыбацким судам и потерялось среди них. На его борту не было заметно пустых бочек, но, надо думать, оно также прибыло за грузом сельди, хотя бы и незначительным, иначе зачем бы ему быть здесь? Оно заберет и засолит прямо на дне малую толику и затем поплывет вдоль берега и распродаст сельдь ведрами; это было общее мнение. А потому нечего было интересоваться этим парусником.

Но нет, вокруг парусника пробудились жизнь и движение. Оказалось, что от был нагружен земледельческими продуктами: картофелем, маслом и говядиной, кроме того герметически закупоренными банками, кипяченым молоком в жестянках и всякого рода съестными припасами в прованском масле, а сверх всего еще — патокой, медом, гусиным салом и тонкими сортами сыра в стеклянных банках и в блестящих жестяных коробках с золотыми и разноцветными ярлыками. Парусник был лавочкой съестных припасов.

На борту было только два человека: один пожилой, другой юноша; они не сходили на сушу, так как все необходимое для поддержания жизни было у них самих в виде груза. Они начали торговать, и дело быстро пошло на лад; оно было, пожалуй, не совсем законно, но процветало, они конкурировали с поленскими дворами, которые запрашивали бесстыдные цены за молоко и за мясо; они понизили цены на картофель и муку, но с лихвой вернули свое на товарах с нарядными ярлыками. Во Внешнем Полене царило оживление: заграждали сельдь, суда нагружались и уходили, приходили новые суда; у простого народа, у шкиперов и людей экипажа были деньги

на руках, уровень жизни повысился, все стали расточительными и беспечными, покупали лакомства в банках. Парусник в короткий срок распродал свои гастрономические припасы.

И вот однажды пожилой человек сошел с парусника на берег. Он подстриг бороду и принарядился, надел серую шляпу с широкими полями, с пряжкой на ленте и со шнуром, который он зацепил за пуговицу, красную бархатную жилетку и две синих куртки, одну поверх другой, но обе расстегнутые на груди, чтобы был виден красный жилет. Он был действительно великолепно одет и имел вид иностранца.

Из Внешнего Полеа он пошел по направлению к лавочке и, по-видимому, знал дорогу; он шел, никого не расспрашивая, легким и быстрым шагом и насвистывал, как мальчик. Когда он поздоровался с Паулиной в лавочке, она, оглянувшись, пристально посмотрела на него, но ничем кроме взгляда не ответила.

Человек отвернулся и начал высматривать, где лежат канаты; ему был нужен трос для блока на лодку, — сказал он на чистом нордландском наречии.

— Вот там, — Паулина кивнула в сторону веревок.

— Это слишком тонкие, — сказал человек.

— Там есть и потолще, — сухо ответила Паулина.

— Да, — сказал человек, — но эти слишком толсты, я не могу пропустить их сквозь блок.

Паулина перестала обращать на него внимание и занялась другим покупателем. Это какой-то вздор, будто этот мужчина не может найти подходящей веревки, ведь продавала же она их другим.

— Что стоит такая рвань? — дерзко спрашивает человек и указывает на пару резиновых калош, висящих на стене.

— Рвань! — сказала Паулина. — Это хорошие калоши. Четыре кроны.

— Две достаточно, — заявил человек.

С этого момента Паулина решила не смотреть больше в ту сторону, где был человек, она считала это ниже своего достоинства. Он перестал существовать для нее. Было свинством со стороны чужого человека вести себя так, как он вел.

После того как он несколько раз обращался к ней и не получал ответа, он вдруг повернулся к ней и спросил:

— А где Иоаким, брат твой?

Паулина рот разинула, она растерялась от удивления.

Но тут человек не мог больше сдерживаться, он разразился смехом, протянул руку и приветствовал:

— Здравствуй, Паулина! Как тебе не стыдно,— не узнаешь старого земляка!

— Я узнаю тебя,— ответила она.— Но я хочу, чтобы ты сказал, что это ты, я глазам своим не верю.

— Я — Август,— сказал он.

— Ну, конечно, когда ты вошел, мне показалось, что я видела тебя прежде, но тебя трудно узнать. Зубы...

— Да ведь прошли годы с тех пор, как я был здесь.

— Так это ты, Август? Не могу поверить этому. Откуда это ты явился и куда направляешься?

— Да вот сюда.

— Ты опять поселишься в Полене?

— Для начала.

Когда Август был здесь в последний раз, у него была челюсть из чистого золота,— о, рот его был так ужасно наполнен золотом, что он был похож на картинку языческого божка; теперь у него были белые, совсем натуральные зубы, и его нельзя было узнать.

Паулина обратилась к мальчику и попросила его сходить за Иоахимом:

— Скажи ему, чтобы пришел сейчас же...

Она потеряла свое обычное равновесие, и щеки ее покраснелись.

— Я никак не могу поверить этому,— повторяла она.

Пришел Иоахим.

— В чем дело? — спросил он.

— В чем дело? — отвечала Паулина.— Я хочу попросить тебя выпроводить вот этого человека.

Иоахим смерил его взглядом.

— Что он сделал?

— Что он сделал? Да с тех пор, как вошел, он только и делает, что дразнит меня. Он предлагает мне полцены за все, что ни увидит.

— Так тебе нечего сердиться на это,— успокаивает Иоахим-староста.

— Во всей лавочке одна дрянь,— говорит Август.

Паулина делает вид, что возмущена:

— Вот видишь!

— Не канат, а дрянь и манильская пенька,— продолжает Август.

Но Иоахим настораживается, он внимательно присматривается к чужому человеку, к иностранцу; его голос и манера говорить, видно, напомнили ему что-то.

И вдруг Иоахим шутя поднимает руки вверх и восклицает:

— Кошелек или жизнь, американец ты этакий!

— Ха-ха-ха! — громко хохочет Август.

Они смеются все трое, они берут друг друга за руки, смеются и говорят. Август был не разбойник, он вернулся полный жизни, шуток и приветливости, он отсутствовал целую вечность и вот теперь вернулся, — Август, кругосветный путешественник, бродяга, незаменимый советчик в трудных обстоятельствах, сам Август.

— Но, черт возьми, куда ты дел свои зубы? — спрашивает Иоаким. — Они были золотые.

А в г у с т. Я продал их. Однажды случилось так, что мне стало уже не по средствам владеть ими. Говорили, что они в конце концов достались Вандербильту.

Они говорили и говорили, Паулина закрыла лавку, они перешли в жилой дом и все говорили. Когда Август проходил мимо красного почтового ящика, создателем которого он был, он узнал его и кивком головы показал, что он все еще висит там. Да, — сказали они, — каждые два года они подкрашивали его и подновляли буквы, почтовый ящик был в употреблении все время, по воскресеньям они брали из него письма с собой в церковь. — Как, у них до сих пор нет почтового отделения в Полене? О, непонятно, как они могли жить, они не идут в ногу со временем.

— И потом послушай, Иоаким, — сказал он, — я видал во Внешнем Полене пять артелей с неводами, а твоей не видал, — как это может быть?

— У меня нет невода, — ответил Иоаким.

— Вот как! У тебя нет невода? И ты не можешь достать?

— Нет. На это у меня нет средств.

— Удивительно! — сказал Август.

Они не говорили больше об этом, потому что нечего было больше сказать. Август огляделся: в горнице отнюдь не было бедно, на стенах висели картинки и перед постелью занавеска; Иоаким и Паулина поправили свои дела, у них, наверное, завелись деньги.

— И никто из вас не вступил в брак?

— Нет. А ты сам?

— Я? Н-нет.

Молчание.

Слышал ли он что-нибудь об Эдварте, о старшем брате?

— А он не здесь?

— Здесь?!

Ну, так он скоро будет здесь. Он назначил этот год, Август встретил его в Мичигане.

О, это было известие! Паулина всплеснула руками. Старший брат никогда не писал домой своим, он словно сквозь землю провалился, они считали его умершим.

— Ты говоришь глупости. Нет, он не умер, он — в полном здравии и настоящий мужчина, — весело сказал Август.

Паулина недоверчиво:

— Ты его видел?

— Еще бы не видел! Да я стоял и разговаривал с ним!

— Когда это было?

— Как раз перед моим отъездом.

— Мне кажется, ты врешь, — сказала Паулина.

— Да, я вру, — ответил Август. — Но теперь я пошлю ему телеграмму, с тем чтобы мы могли встретиться с ним в случае, если он вернется домой. Я знаю, где он находится.

— Ты знаешь, где он находится?

— Да, об этом я скоро разужнаю.

— Мне кажется, ты опять врешь, — сказала Паулина.

— Да, я вру, — ответил Август. — Но я могу обратиться в консульства всего мира и к Армии Спасения и разыщу его. Не беспокойся об этом! Меня хорошо знают.

Паулина некоторое время старалась понять, в чем дело. Иоаким не вмешивался, он слушал несерьезный разговор и не придавал ему значения. Сестре хотелось верить в самое лучшее, Август был во всяком случае любезен, старался что-то наладить, он как был, так и остался человеком, не теряющим головы и изворотливым, — может быть, он и разыщет старшего брата.

Август с юношей, который прибыл вместе с ним, подыскивал человека, чтобы отвести лодку обратно. Трудно было найти человека теперь, в разгар работы с сельдью, но Теодор взялся за это. Нельзя сказать, чтобы Август с легким сердцем доверил лодку Теодору и юноше, но пришлось рискнуть. Август нанял лодку только на одно плавание и обязался прислать ее обратно.

Он перенес с лодки свой багаж, между прочим, великолепный окованный медью чемодан, и наблюдал, как лодка вышла из Внешнего Полена; юноша держался очень бодро. Чтобы ничем не рисковать, Август отправился к Паулине и застраховал лодку совсем частным образом, за свой счет. Он перебрался в гостиницу над кофейней и расположился там. Деньги и одежда у него были; он прекрасно всем обзавелся, так что еще раз стал достопримечательностью и средоточием

внимания всего прихода; он обошел соседей, здоровался со всеми, болтал, фантазировал и всюду был желанным гостем. Он был уже далеко не молод и изрядно польсел.

Прошло немного времени, и он по старой привычке заинтересовался положением вещей в местечке, он был преисполнен духа нового времени, новейшими открытиями, иностранными примерами. По вечерам он сидел в избе у Иоакима и развивал планы новых больших предприятий; изба сделалась местом сбора соседей, они сидели, пока не темнело, люди с удивлением слушали его новые планы. Все находили, что Август стал другим человеком, более зрелым, более солидным, взрослым мужчиною. Когда он сосредоточивался на каком-нибудь определенном предмете, в том, что он говорил, был здравый смысл.

— Вы можете мне верить,— говорил он.— Зачем бы я стал сидеть здесь и сочинять вам что-то, чего нет на самом деле? Я не так уже здоров и не так крепок, как был прежде; мне не повезло, и я заполучил болезнь на два с половиной года — мне остается болеть еще полтора года, а это может сделать человека осмотрительным и правдивым.

— Что это за болезнь? — спросили у него.

Август ответил:

— Меня укусила ядовитая муха.

— Каким образом? В каком месте земного шара?

— Этого вы не поймете. Но если вы сложите десять шпанских мух, то это будет ничто по сравнению с мухой, которая укусила меня.

Слушавшие содрогнулись и умолкли. Человек с ядом десяти шпанских мух в теле не будет сочинять сказок. Да, о чем это он только что начал говорить?

— Да,— продолжал Август свою беседу,— Полен лежит во тьме. По вечерам зажигаются стародавние парафиновые лампы,— прямо и смех, и горе. А что делается в других местах, во всем мире? Поворачивают кнопку в стене — и разливается такой солнечный свет, что глазам больно.

Обитатели Полена слышали об этом.

А что касается телефона,— могут ли они, сидя здесь в избе, разговаривать с Внутренним приходом? Могут ли вызвать доктора, даже если бы вопрос шел о спасении жизни человека? Кто из них знает, что такое телефон?

Обитатели Полена слышали об этом.

Ха-ха-ха! Слышали об этом, но ведь ничего не сделали. Возьмем хотя бы такую вещь, как фабрика рыбьей му-

ки: Внешний Полен с годами превратился в сельдяной центр, сырья здесь было множество, а где же фабрика? Разве не должны были они воспользоваться дарами неба? А для этого существует нечто, что называется промышленностью, то, что создает богатство страны.

Люди кивали в знак согласия. Но ведь для этого нужны деньги.

— Конечно! — отвечал Август.— Но как поступают в других местах на всем белом свете, по всей поверхности земного шара, где только я бывал? Каждый берет на себя свою долю, и все складывается в одну огромную кучу денег. Когда тысяча человек положат по сто крон каждый, получится сто тысяч.

— Сто тысяч! — воскликнули слушавшие.

— Ну, если это слишком много, то, скажем пятьсот человек сложатся по пятидесяти крон каждый, получится двадцать пять тысяч. На это я берусь выстроить отличный завод.

— Да, хорошо бы, — говорили люди, и тут же приводили всякие соображения.

Но у кого из них имеется совершенно лишних пятьдесят крон? Во всем приходе не найдется и десяти человек с таким капиталом.

Молчание.

— Ну, все же... — неспеша заявляет Каролус; бывшему старосте хочется, чтобы с ним продолжали считаться, и он медленно произносит: — Ну да, пятьдесят крон, пожалуй, все-таки найдется.

— Да, у тебя, — раздался голоса, выразившие таким образом почтение к нему.

Август горячился.

— Почему здесь все оказывается невозможным? Деньги? Мы можем учредить банк и сделать заем.

— Хм! — сказали люди. — Как же это?

Август разъясняет:

— Это меньше всего беспокоит меня. Если мы откроем подписку в банке, то деньги появятся. Я говорил уже с капитанами рыбацких судов во Внешнем Полене, они подпишутся, также и другие банки здесь, на севере, захотят, конечно, иметь свою часть в нашем банке, который подает такие большие надежды. Но, впрочем, разве это плохая идея, чтобы община сделала заем в банке? Что ты, Иоаким, как староста, скажешь на это?

Иоаким с глубочайшей серьезностью:

— Об этом, пожалуй, стоит подумать.

Каролусу показалось, что и ему не следует отставать, и он кивает в знак согласия.

— Стоит тебе приехать, и ты сразу что-нибудь придумаешь,— говорили люди, выражая свою признательность Августу. Всем казалось, что они были уже на пути к созданию банка и фабрики рыбьей муки.

Август чванился.

— Да, я покружил немножко по нашему благословенному земному шару,— сказал он.— Но сейчас прежде всего я думаю о другом: почему в Полене до сих пор нет почтового отделения?

— Да,— говорят они,— у нас нет почтового отделения.

— Да, у вас есть почтовый ящик, но нет почтового отделения.

— Да, у нас нет почтового отделения. К сожалению, да, у нас нет почтового отделения.

— Заткни свою глотку, Теодор! — крикнул кто-то, находя, что эта болтовня похожа на Теодора.

— Это вовсе не Теодор,— послышался ответ из полутьмы.

— Это Теодор, который идет в лодке на юг.

— Ха-ха-ха!

Общее веселье.

Иоаким поднялся с места. В избе темнело, и разговор терял свою серьезность; молодежь начинала щипать друг друга, кое-кто вскрикивал. Изба постепенно пустела. Каролус продолжал сидеть. Он сказал:

— Однажды в мое время,— он подразумевал время, когда он был старостой,— говорил я с господами из Внутреннего прихода о почтовом отделении в Полене, но никто и не подумал поддержать. Это были священник, ленсман и доктор, но у них почтовое отделение под боком.

Август задумался. Вдруг они услышали, как он щелкнул пальцами и сказал:

— Здесь должно быть почтовое отделение! Какое нам дело до господ из Внутреннего прихода, мы будем сами хлопотать, весь округ, каждый взрослый человек. Иоаким, ты напишешь большую бумагу, а я обойду всех, и все подпишутся, не беспокойся об этом.

Он замолчал и ждал ответа от Иоакима.

И Иоаким действительно сразу поддался: план был хороший, если весь округ примет участие, может быть это к чему-нибудь приведет. От ответил осторожно:

— Да, из этого что-нибудь да выйдет.

Август воодушевился.

— Дело беспрюирышное! Подумай только: каждый год здесь большой лов сельди, неужели капитан и люди с судов



должны проходить целую милю, чтобы сдать письмо на почту? Я рву на себе волосы, так это меня возмущает. А кроме них целый огромный округ. Или в Полене никогда не пишут, и ты сам не пишешь властям или королю и не отчитываешься? Подумай, пошевели мозгами!

Иоакиму оставалось сделать следующий шаг и признать, что Август совершенно прав.

— Паулина будет заведывать почтой, — провозгласил Август и уполномочил ее.

Август добился своего. Иоаким-староста написал бумагу о положении почтового дела в Полене, и Август беспрепятственно расхаживал по приходу и собирал подписи. Он не слишком строго следил за тем, чтобы лист подписывался одними совершеннолетними, а когда Иоаким уличал его, он вскидывал на него свои голубые глаза и оправдывался тем, что он долго отсутствовал и не всех знает. Хуже было то, что он включил в список имена умерших. Он хотел было съездить к Иозефине в Клейву, чтобы получить и ее подпись, но для этого нужна была лодка, а у него не было лодки под рукою. Исходя из того, что Иозефину никак нельзя было обойти, Август собственноручно вписал ее имя.

А вечером он узнал, что Иозефина из Клейвы умерла.

— Как! Она умерла? — сказал Август. — Отчего она умерла?

— Этого я не знаю, — отвечал Иоаким, — но ее надо вычеркнуть.

Август. Я подумаю об этом. Она была отличный человек, она бы непременно подписалась, если бы я только попросил ее.

Иоаким просмотрел лист и нашел много промахов: кроме мертвых были вписаны люди, уже давно переселившиеся, люди, которых Август знал когда-то и внес по памяти; старший брат Эдварт также был вписан вместе с женой его Ловизой-Магретой.

— Ты неправильно сделал, что вписал их, — сказал староста.

— Почему? Недели через две они, может быть, будут здесь, я жду ответа от десяти консульств из разных мест, разбросанных по всей Америке. Давай лист сюда! — сказал Август и хотел помешать ему читать дальше.

Вдруг Иоаким вздрогнул и воскликнул:

— Отец!

Да, конечно, его умерший отец был внесен в список. У Августа был вид невиннее, чем когда-либо, на нем не было даже первородного греха.

— Необходимо было вписать отца старосты, — сказал он, — я не считаю, чтобы я зашел слишком далеко.

Иоаким онемел.

Август старался польстить ему:

— Я знал твоего отца как честного и набожного человека, он согласился бы по первому моему слову.

Но тут Иоаким, вспыльчивый по природе, побледнел. Этот сумасшедший, этот бессовестный человек, Август, ни о чем не думает, он своими подлогами испортит все дело. Да, наконец, этот перечень умерших и отсутствующих будет противоречить последней народной переписи прихода.

Иоаким беспомощно стал искать глазами перо и чернила. Чернильница, правда, стояла на месте, но перо успело заблаговременно исчезнуть в кармане Августа.

— Куда девалось перо? — загремел он.

— Перо? — переспросил Август и услужливо принялся искать. Потом вдруг переменял тон и заявил обиженно: — Так ты хочешь вычеркнуть отца? Ты не хочешь дать ему упокоиться в могиле?

Иоаким от гнева не помнил себя, он мог бы разорвать лист в клочки и уничтожить его, но он был слишком раздражен и уже ничего не соображал, он швырнул список в лицо Августу и, ни слова не сказав, вышел.

Но Август не был только краснобаем, выдумщиком нелепых вещей и на этом — точка; совсем нет. Он сделал одну очень разумную и полезную вещь, обратившись к шкиперам во Внешнем Полене и убедив их составить с деловой точки зрения жалобу на почтовые условия в Полене. Эта жалоба, подписанная всеми шкиперами и людьми экипажа и даже кое-кем, кто успел уже уплыть, была очень убедительна и должна была наилучшим образом подкрепить обращение старосты. Август сам провел все дело, пошел с тяжелым письмом во Внутренний приход и сдал его на почту.

Этот Август — малый не промах. Разве бывало когда-нибудь, чтобы он терялся и не знал, как ему быть?

Ему понадобилось несколько дней, чтобы помириться с Иоакимом и опять расположить его к себе. Он рисовал перед Паулиной картину блестящего будущего в связи с открытием почтового отделения: хорошее жалованье и легкая работа: она будет знать, кто в приходе пишет письма друг другу и может делать из этого разные заключения, а в сомнительных случаях может даже подержать письмо на свет и узнать кое-что.

Он счел нужным отправиться в Новоселок к Эзре и Хозее и сообщить им, что упомянул их имена и имена их детей в бумаге, посланной королю относительно открытия почтового отделения в Полене.

— Боже, к самому королю! — воскликнула Хозея: это слишком большая честь для нее и ее семейства.

— Почему же? — возразил Август.— Я не знаю более порядочного человека, чем король. Господам из Внутреннего прихода далеко до него.

Он осмотрел службы в Новоселке; хлев и сарай стали слишком малы и требовали расширения. Август одобрительно улыбнулся — разве он не говорил, не предсказывал? Разве он тогда собственноручно не передвинул фундамент хлева и не расположил его в два раза шире и в два раза длиннее, или Эзра забыл об этом? Нет, Эзра ничего не забыл и должен признать, что Август был для него хорошим советчиком и положил основание его богатству и силе.

— Если бы я только мог отплатить тебе за это! — сказал он.

— Мне это вовсе не нужно, — отвечал Август.

Они обошли участок. Большое широкое болото превратилось теперь в поля и луг, в жирную землю, в чернозем. Август одобрительно кивнул. Эзра показал ему широкую открытую канаву, принимавшую в себя воды всех поперечных канавок и образовавшую бурный ручей. Лето и зиму струился этот ручей и пересыхал разве только в самые засушливые годы; дети из Новоселка ставили вдоль всего ручья маленькие водяные мельницы и лесопилки, и на это Август одобрительно кивнул, он, который видел за границей столько заводов.

— И вы не слышите больше криков и стонов с болота? — спросил он.

Эзра потупил глаза в землю и ответил:

— Нет, кругом все тихо.

О, эти два проказника! Ведь они когда-то сговорились между собой, что Эзра сам будет кричать за мертвеца с болота, чтобы соседи даром помогли им прорыть большую среднюю канаву. Эта беспримерная проделка вполне удалась: труп шкипера, утонувшего в болоте, появился на свет божий, так же как и труп коровы Мартина Рулевого; ничто не нарушало теперь тишины и мира. И у Эзры была нужная ему канавка.

### ГЛАВА III

---

Жители Полена все ждали и ждали почтового отделения; дело что-то затянулось, некоторые начали даже сомневаться, выйдет ли что-нибудь из этого, и по мере того, как время шло, Август терял свой престиж, он становился более обык-

новенным в глазах людей,— он умел болтать, но разве это вело к чему-нибудь?

Наивные люди, они не знали его возможностей!

Однажды вечером сидели в избе Иоакима-старосты, набралось много народу, и шла оживленная беседа. Как всегда, Август брал слово много раз; время от времени слушатели подтрунивали над его рассказами, потому что они уже привыкли к ним. В конце концов Август не был каким-нибудь изобретателем, он работал с утра до вечера, ленив он не был, но что это ему принесло, разбогател он? Нарядный чемодан — вот все богатство, которое видели у него. У него не было золотых колец и драгоценных камней, его пенковая трубка была не дороже обыкновенной; правда, он носил в кармане целую связку ключей, но бог их знает, от чего они были, не было ли это просто хвастовством. Август всегда носил при себе ключи, между прочим восемь ключей от сундуков в Индо-Китае. Допустим, что у него были эти восемь сундуков, но что было в них? Может быть, они были пустые. Народ ни в чем не был уверен.

К тому же он не только хвастал и превозносился, он признавал, что подчас ему приходилось круто и он вел собачью жизнь,— какое же должно было получиться у них впечатление от него? Человек, которому пришлось из-за долгов бежать из гостиницы, которому пришлось переселиться на другой остров в Тихом океане, чтобы не быть съеденным! Но расскажи все-таки что-нибудь, Август, расскажи! Мы не знаем, что правда и что ложь, ты, может быть, сам не всегда это знаешь, но ты во всяком случае живая газета, и даже больше: ты пища для нашей мечтательной жизни; мы слушаем тебя, когда ты в ударе, а когда ты иной раз надоедаешь нам, мы дразним и развенчиваем тебя...

Они сидят в избе Иоакима-старосты до позднего вечера, болтают друг с другом, и Август не отстает от них. Ему было откуда почерпнуть самое неожиданное,— двадцать лет странствий, сотни приключений. Здесь, дома, он обрабатывал землю и занимался рыболовством, это знали все, но в чужих краях он работал на спичечной фабрике, лежал в хо-лерном бараке, был среди тех, что бросают бомбы, был миссионером...

— Миссионером?! Это, должно быть, было тебе по вкусу? — раздался насмешливый голос.

— Что ты понимаешь в этом? — спрашивает Август.

— Я-то ничего не понимаю. И многих ты крестил?

— Да, многих.

— Ха-ха! Так, значит, ты был миссионером. А почему ты бросил это?

Петр прерывает:

— Нечего шутить святыми вещами!

— Я ходил по земному шару сорок семь лет,— говорит Август. — Это не мало.

Ну да, но никто не понимает, к чему он клонит. Некоторые ходили по земному шару вдвое дольше.

— Я многое испытал на своем веку,— говорит он.

Это была сущая правда, и кто-то из молодежи, желая подбодрить его, крикнул:

— Но когда ты был миссионером, ты многих обратил?

Август кивнул головой:

— Не столько, сколько хотелось бы!

— Так почему же ты не продолжал?

А в г у с т. Вот что я тебе скажу: мне не хватило патронов.

— Хм! Ты стрелял?

— Да, в некоторых, которые сопротивлялись. Но тебе этого не понять.

— Да замолчи ты, Август! — говорит Петр.

Август сидел некоторое время, словно погрузившись в воспоминания, и затем снова заговорил:

— Многие из них были очень хорошие люди. Я подружился с одним вождем и окрестил его. Зачем мне было обращать человека, который и без того был как дитя божие? Он дал мне фи́г и дынь, а потом прислал мне в подарок двух своих жен...

Молодежь фыркнула и неделикатно осведомилась:

— А какие они были? Старые?

Но Август промолчал. Может быть у него закралось подозрение, что история его миссионерства не совсем удачна, и он не захотел рассказывать дальше. В комнате стало темно, часы на стене прохрипели семь, люди подумали о каше на ужин и о сне.

Тогда говорит Август, чтобы восстановить мнение о себе:

— Почему бы нам не достать невод и не образовать рыбачью артель здесь, в Полене?

Молчание. Но люди снова уселись попрочнее: это было им по вкусу.

— Прямо стыдно,— говорит Август.— Сельдь стоит, можно сказать, у нас под боком, а тут нет даже сачка, чтобы ее зачерпнуть.

— Это правда! — слышится бормотание.

— Из других приходов является артель за артелью и протягивает свои неводы, а мы ничего не делаем, мы только спо-

койно сидим и тянем это жалкое существование. Тьфу, позор для нас!

— А как же нам приступить к этому? — спрашивает Каролус.

Август обращается к Иоакиму и говорит:

— Тебе следует опять приобрести невод, Иоаким!

И о а к и м. Это мне не по силам.

— Для этого нужно кое-что! — добавляют другие.

Август этим не довольствуется, он спрашивает:

— Разве не ты, Иоаким, первый начал здесь лов сельди и не ты ли двадцать лет тому назад поставил первое заграждение своим неводом? А когда твой старый невод сгнил, ты первый сложил руки и не пошевелил пальцем, чтобы достать новый.

Молчание.

— Чтобы добыть невод, нам нужно объединиться, — подбадривая, говорит Август.

Опять-таки Каролус оказался первым, кто не считал этого невозможным, так чтобы уже совсем невозможным: приход может, пожалуй, сделать кое-что, община.

Иоаким-староста громко смеется и качает головой:

— Община прежде всего должна сделать заем на банк и затем заняться фабрикой рыбьей муки.

Этим он опять сбросил Августа с высоты и почти изничтожил его. Август сам понимал это, он замолчал и прислушивался к тому, что говорили вокруг: невод не безделица, на невод потребуется много денег, тысячи, а где они, золотые россыпи? Придется отказаться от этого плана.

Но Август сидел и натягивал тетиву, он говорит:

— Часть я взял бы на себя.

Слышится насмешливый голос:

— Сотую часть?

— Да, да, а может быть, и несколько частей, — добавляет Август.

Но даже это предложение встречено с полным равнодушием. Опять люди начинают думать об ужине и сне, некоторые громко зевают.

Август натянул тетиву, теперь он пускает стрелу:

— В конце концов это неважно, — говорит он, — я один куплю невод, если ты, Иоаким, соберешь артель.

О, словно ток проходит в комнате, глаза становятся большими в полутьме. Август может купить невод; значит, чемодан его был доверху набит деньгами?

— Ты, верно, шутишь? — говорят они.

А в г у с т. Дело за тобою, Иоаким!

Иоаким-староста улыбается и сразу приступает к делу. Если ничто больше не препятствует... если дело только за ним...

Все было улажено.

И вот этот вечер стал в конце концов великим вечером, сказочным вечером. За вечерней кашей люди говорили о том, что в Полене опять начнется подъем, деятельность, заработки и что у Августа полный чемодан денег. О, этот Август — Великий Могол из индийской земли. Он снова стал загадкой и удивлением для всех. В то мгновение, когда он пустил свою стрелу, даже Паулина бросила на него взгляд, и щеки ее заметно вспыхнули.

Август купил невод, который был спущен во Внешнем Полене. Он был там среди других, спущенных с лодок неводов, но не давал никакого улова, все время с ним не везло, и он не окупал даже расходов; хозяин невода и люди наконец пали духом и хотели распустить артель. Тут подоспел Август (он, вероятно, заранее пронюхал, в чем дело), мгновенно сторговался, посадил Иоакима и всю артель в лодку и в тот же день и час отправил их в море навстречу приключениям.

И вот невод был в руках новых владельцев, но еще не был оплачен, а Августа нельзя было найти. Да, Август исчез. Вероятно, он ушел во Внутренний приход или еще куда-нибудь, может быть, к доктору по поводу своей болезни, и скоро вернется. Неводчик справлялся о нем, никаких подозрений пока не возникало: прошло несколько дней, Август мог уехать с береговым пароходом менять крупные иностранные деньги, может быть, ему нужно было в банк.

Его не было.

Неводчик задавал себе вопрос: были у этого Августа деньги, было у него вообще что-нибудь? Мрачное и мучительное подозрение закралось в души обитателей Полена, люди шептались в лавочке, они глядели в пол и покачивали головами. Паулина пошла наверх, в комнату над кофейней, и приподняла обитый медью чемодан Августа: он был легкий, но не пустой, ни в коем случае, — в нем могли быть крупные иностранные деньги. Неводчик и его люди ходили и требовали, они начинали терять терпение: неужели им придется возиться с ленсманом?

— Подождите немного, — говорила Паулина, защищая его. — Август — человек изворотливый!

И дело обернулось удивительным образом. Если до сих пор у Августа не было на руках денег и ценных бумаг, то теперь

они появились: парусник потерпел аварию. Парусник, который Август отослал на юг с Теодором и мальчиком в качестве экипажа, разбился у берегов Гельгеланда, и хотя береговой пароходик снял обоих людей со скалы, парусник был разбит в щепки. Да, но Август застраховал его от киля до вымпела!

Это не был только слух,— страховой агент Паулина получила телеграмму о происшествии с распоряжением произвести принятый в таких случаях опрос; оказалось, что парусник был застрахован и владельцем в Троньеме и арендатором; само по себе это не представляло затруднений, но необходимо было выяснить ряд вопросов...

В тот же день появился и Август. Вид у него был возбужденный, он вытирал свою вспотевшую лысину, бранился и выходил из себя: лучше было бы вовсе не возвращаться в такую страну! Он взял с собою кое-какие из своих ценных бумаг, так тысяч на десять, но никто не разбирался в них только потому, что они были иностранные!

— Посмотри, что за бумаги! — восклицал Август, протягивая акции и какие-то замечательные бумажки, частью изящные картинки с печатями и золотым кантом.— Разве это безделка? Остается только рот раскрыть и проглотить! Но здешние убогие люди не понимают этого. Они до того близоруки, что не доверяют своим собственным глазам, они никогда не ездили по белу свету и не знают, где Мексика и где Гонолулу. Но теперь это неважно,— сказал он своему кредитору, хозяину невода,— твои деньги достаточно верные: ты получишь их из страховой премии.

Неводчику это не очень понравилось, и он проворчал что-то насчет того, что долго придется ждать.

— Так, может, мы расторгнем сделку? — решительно спросил Август.— Как тебе угодно! Ты видишь, деньги у меня в руках, но я не могу заплатить тебе, потому что они не того сорта. Возьми, если хочешь, и убирайся! Мне некогда.

Но неводчик предпочитал, чтобы ему выплатили из суммы страховки, о чем и был составлен письменный договор в присутствии самого агента, Паулины, в качестве свидетеля; она записала адрес неводчика и обещала выслать деньги, как только они придут. И дело уладилось.

— Фу! — Август все еще был расстроен и вытирал лысину.— Возиться с этим, попадать в тупик из-за каких-то наличных всякий раз, когда надо платить! Это мелочь и пустяки, на которые деловому человеку нельзя терять времени. За границей стоит только подать ценные бумаги в одно окошечко — и сейчас же получаешь наличные из другого.



Да, в Полене необходимо устроить банк. Что думает Паулина об этом?

— Да, пожалуй.

Поленский банк сбережений, поленская сберегательная касса. Самый большой расход — несгораемый шкаф; он видел такой в Троньеме, туда прятали деньги и протоколы. Кстати, были какие-нибудь известия от Иоакима и его артели?

— Нет.

Да и рано еще. И потом вообще не беда, если даже и совсем не будет улова в этом году. У Августа теперь другая забота: во время его отсутствия на его имя не поступало телеграмм?

— Нет.

Он ждал телеграмм с разных концов земного шара. Сегодня двадцатое, значит, до первого остается десять дней.

— О чем же ты хлопочешь? — спрашивает Паулина.

— Если б ты только знала!

Репутация Августа была опять восстановлена. Ни малейшей тени не падало больше на его имя в Полене: он уладил дело с неводом и был владельцем его, кроме того, у него были иностранные ценные бумаги; к нему были несправедливы, по своей неосведомленности в денежных делах люди усомнились было в нем...

Август успокоился и мог снова рассуждать и болтать с Паулиной.

— Да, дела мои теперь не так плохи, как бывали иногда, — заявил он. — Теперь я твердо хожу по земной коре, но не всегда так было. Ты поверишь мне, Паулина, если я расскажу тебе, как я переменял зубы?

— Ты это уже рассказывал.

Август недоумевает:

— Разве? Нет, тогда я все наврал. Я рассказываю иногда о том или другом совсем не так, как это было, но теперь я расскажу тебе правду, чтобы отделаться от этой дурной привычки. Я переменял себе зубы, чтобы меня не узнали.

— Так ты что-нибудь сделал?

— Да, в некотором роде. Но что же я сделал? Была одна женщина, от которой я не мог избавиться, можно даже сказать — дама, потому что у нее был двор и земля в городе и много рабов. Некоторое согласие было между нами, и она никогда не видала таких красивых зубов у кого-нибудь среди своего народа, как мои золотые зубы. Но это еще не все. Когда я захотел расстаться с ней и сесть на корабль, она была против этого и не пустила меня. Ты никогда не видала такой любви и влюбленности, она была ужасно увлечена мной.

Когда я решил скрыться от нее, она приставила ко мне сторожа, который мог бы меня узнать и привести меня обратно. Вот тут-то я и переменял зубы и удрал на корабль.

Он посмотрел на Паулину, как она примет эту историю. Она приняла ее плохо: она зевнула. Но сам Август был доволен историей, фантазия его мгновенно разыгралась, и он пришел в хорошее настроение, он смеялся, встряхивая головой.

— Ведь не мало я испытал на своем веку? — спрашивал он. — И вот что я скажу: больше всего мне доставалось от дам. В моем теле на сегодняшний день четыре или пять пуль, но это ничто по сравнению с тем, что я перенес от всевозможных женщин, одинаково — от яда, ножа и от слов. Я как-нибудь расскажу тебе, что мне пришлось пережить.

— Ха-ха-ха! — сухо и многозначительно рассмеялась Паулина за прилавком. — Не важничай, Август, потому что здесь, в Полене, к тебе дамы не будут приставать.

Августа слегка покорило, но он овладел собой и сказал:

— Это было бы очень хорошо!

Но мысль, что Паулина считает возможным смеяться и издеваться над ним в присутствии других, больно уколола его: разве он заслуживал того, чтобы над ним смеялись? Разве он не обнаружил предусмотрительность, застраховавав парусник и заработав тем кучу денег? Разве он не расплатился со своим кредитором, неводчиком? Он — полномочный владелец большого невода, в то время как поленские мужчины не считали себя достаточно состоятельными для приобретения его, и все-таки вот он стоит и разговаривает с простыми людьми, он добр и снисходителен ко всем, не покупает всю лавочку Паулины и не оставляет ее без крова.

— Скоро ли ты выйдешь замуж, Паулина? — ядовито спросил он.

— А зачем тебе знать? — ответила она вопросом же, и тон у нее был ни в коем случае не мягкий.

— Да ведь в твоем возрасте пора уже.

— Да, — сказала она. — Но последние двадцать лет я все дожидалась тебя.

Люди в лавочке начали смеяться, женщины нашли в этом развлечение и принялись вставлять свои словечки:

— Не верь ей, Август, она не тебя дожидалась, она выйдет замуж за капеллана из пастората.

— Я была бы очень рада, если бы вы помолчали о капеллане, — воскликнула раздосадованная Паулина и покраснела.

Август не нашелся.

— Капеллан? — спросил он кротко.— Это кто такой? — Но сам почувствовал, что выступил неудачно.

— Ах, ты не знаешь, кто такой капеллан! — сказали женщины.— Так ты не ходишь в церковь?

А в г у с т. Нет.

— Нет, в церковь он не ходит, но он был миссионером среди язычников! — вспомнила Паулина, готовая вступить в бой.

И когда многие в лавочке разразились громким хохотом, она, подзадориваемая успехом, продолжала:

— А в тех, кто не обращался, он стрелял!

Август очутился в беспомощном положении. Эта чертовка Паулина все принижала и принижала его, ему бы не следовало выводить ее из себя. Нет, Август не умел быть ядовитым и уязвлять, старый моряк был прост и прямодушен, по природе терпелив и добр.

— Ну что ж, Паулина,— сказал он,— пусть за тобой последнее слово, но я знаю одно — что с язычниками, масонами и людоедами одной болтовней ничего не добьешься. С ними надо поступать решительно.

— Да, но ты стрелял в людей! — кричала Паулина.

Август начинал оправляться от смущения, фантазия у него опять заработала, он состроил обиженное лицо и спросил:

— А не могла бы ты, Паулина, сказать мне, как я должен был поступить, раз ты это знаешь?

П а у л и н а. Да это вовсе и неправда, что ты был миссионером.

Фантазия Августа взлетает под облака:

— Я расскажу тебе кое-что, чего ты не знаешь, а потом ты можешь спросить своего капеллана, правда ли это, хотя он этого тоже не знает. Каждый год четырнадцатого сентября над Мексиканским заливом проносятся ужасные ураганы и циклоны. Они описывают круги, пересекают друг друга, так что и компасом нельзя пользоваться; они подбрасывают верху-суда, отрывают у людей головы, так что они скатываются с палубы в море,— мы, моряки, знаем это. Раз, когда я попал в такой ураган, меня подхватило и унесло в лес, к дикарям. Что, по-твоему, мне оставалось делать, Паулина? Пищи там было в изобилии: и бананы, и корица, и сахарный тростник; но дикари только и думали о мясе и подкарауливали, как бы съесть меня. Так что я сделался миссионером не для развлечения: я должен был спасти свою жизнь. Если б я начал болтать им о Варавве, о реке Иордане и о других вещах, то не думаешь ли ты, что они стали бы кивать в знак согласия головами,— такие звери, как они? Но прошло немало времени, и

наступил по календарю особенно святой день, так что я почувствовал себя спокойным. Но не тут-то было! А что бы ты делала, Паулина, если бы дикий язычник сзади подскочил к тебе и схватил тебя за руки?

— Это тогда ты стрелял?

Август бросил на нее взгляд, выражавший соболезнование по поводу такой неосведомленности:

— Нет, Паулиночка, человек не может стрелять, когда у него обе руки в таких тисках.

— Что же ты сделал? — спросили женщины.

— Ну, вот что я скажу вам всем: я изо всех сил откинулся назад и так хватил затылком по роже дикаря, что раздробил ее.

Слушатели содрогаются от ужаса.

Август крайне доволен произведенным впечатлением и улыбается. Он спрашивает:

— Что же, это было плохо сделано? И все-таки, если б не провидение, меня не было бы в живых. Потому что, когда я начал защищаться и убивать их, как мух, они отвечали мне градом стрел, и опасно было то, что стрелы были отравлены, каждая стрела.

Молчание. Слушатели ждут продолжения, но Август молчит. Они спрашивают:

— Но ведь ты стоишь перед нами здоров и невредим; как же это вышло?

— Да,— говорит он,— я вот как раз и думаю об этом удивительном событии. Верно, мой час тогда еще не настал. Со мной ничего не могло случиться, потому что я был прав и служил делу Библии.

Паулина опять скорчила гримасу.

— Перестань, Паулина, не гримасничай! — говорит Август и опять воспламеняется.— Накануне ночью я получил предупреждение, мне явилось белое видение; я не знаю, был ли то Гавриил или другой какой-нибудь ангел, но он сказал мне, чтобы я надел на себя гуттаперчевый жилет, который я купил в Сингапуре, и чтобы он был у меня прямо на голом теле,— сказал он. «Зачем это?» — подумал я, но встал и сделал, как он сказал. Это спасло меня: стрелы не могли пройти сквозь резину. И вот дикари стали с удивлением смотреть на меня: что бы это означало, что стрелы не ранят меня? Но теперь наступил мой черед: я крикнул вождю, указав прямо на него, чтобы он слушал, и начал излагать евангелие и все такое. Восемнадцать стрел торчало во мне, я их вырвал одну за другой и бросил на землю. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя жалкая победа над таким молодцом, как я?» — сказал я.

И вот вождь и все остальные поняли, что я послан с неба, и захотели креститься.

— Замолчи ты, Август! — сказала Паулина. — Тебе что надо? — спросила она одну из женщин, переходя к торговле.

— Покажи мне бумажную пряжу, — сказала женщина.

— Я крестил их целых три дня, — опять начал Август.

Но теперь покупатели решили сделать свои покупки и разойтись по домам, и Август понял, что он ничего не выиграл своей историей, скорей даже — испортил себе. Какими странными бывают иногда люди! Они смотрели ему вслед, когда он выходил из лавочки, словно выпроваживали за дверь освищенного оратора. И во всем была виновата Паулина.

Но на улице он встретился с Рагной; она приветливо и мило поклонилась ему, как кланялась всем, и это ему было приятно. Рагна славилась своим успехом у мужчин; она остановилась, чтобы он мог сказать ей несколько слов, если пожелает. Август, быстро переходивший от одного настроения к другому и на все всегда готовый, подошел к ней, взял ее за локоть, прижал к себе, получил в ответ улыбку и сам покраснел и пришел в возбужденное состояние.

— Что тебе нужно? — спросила она со смехом.

— Ты чертовски красива! Ты слишком хороша для Теодора!

— Не приставай и не тискай меня среди бела дня, — сказала она. — Где ты пропадал? Тебя искали по всему Полену, слышала я.

— Дела! — отвечал он. — У тебя красивая дочь, та, что у доктора. Бесподобная. И уж, конечно, она не от Теодора?

— А от кого? Ты видел ее?

— Ну, конечно, видел! Впрочем, ты сама такая же красивая.

— Отстань, пожалуйста! — сказала она, отталкивая его от себя. — Так ты, значит, был у доктора?

— Я только показывался ему. Я не болен, но мы, моряки, время от времени показываемся доктору. Да, да, Рагна, ты чертовски красива, и я следил за тобой в подзорную трубу день и ночь, можно сказать, и ты никуда от меня не спрячешься.

Рагна отвечала, хотя он вовсе не стоял у нее на дороге:

— Тебе говорят, пропусти меня. Я не хочу дальше слушать твою болтовню.

А в г у с т. А ты не отдашь за меня свою дочь, ту, что у доктора?

Рагна горячо:

— Боже избави!

— Ну что же, — сказал он, — и я предпочел бы тебя.

Он продолжал болтать до последней минуты: он с ранней молодости разъезжал по всему свету, теперь он в тихой гавани, он хочет изменить свою жизнь, для того он и вернулся сюда, он хочет жениться, обзавестись семьей.

Рагна смеялась:

— Ты слишком стар, и у тебя слишком мало волос осталось.

#### ГЛАВА IV

---

Рассказы Августа почти всегда были безбожные, а Паулина не выносила легкомысленного обращения со святыми вещами. Она была насквозь проникнута уважением к призракам своего детства, к религии и церкви. У них дома были проповеди Линдерута и Гофахера, которые читались по воскресеньям. Родители были люди бесконечно добрые и набожные; в молодости, когда они еще пребывали в заблуждении и предавались мирской суете, они при крещении дали своему первому сыну имя Эдварт, это и был старший брат; потом они подряд давали детям библейские имена: Хозея, Иоаким, Паулина, и ребенку, который умер, — Закхей. В этом не было ничего необыкновенного: во всем округе, во всей северной части страны встречались в изобилии на редкость странные библейские имена.

Паулина размышляла иногда, почему в жизни старшего брата все шло как-то вкривь и вкось, не оттого ли, что ему дали такое светское имя. На что это было похоже — переселиться в Америку и как в воду кануть! Август нахвастал, что Эдварт в этом году вернется домой, что он стал важным лицом в Мичигане, что он, Август, по телеграфу справляется о нем и обо всем этом больше нечего волноваться. Август лгал на каждом слове, Август был рабом греха.

Как ни странно, но Августу удалось поднять шум вокруг вопроса о почтовом отделении. Из почтовой конторы в Бодде пришло уже известие, что там поддержат ходатайство. Таким образом можно было ждать благоприятного конца. И, само собой разумеется, Паулина должна стать почтмейстером.

Паулина годилась для этого, как и для многого другого; ее лавочка стала центром, народ ходил туда обсуждать свои дела, она поумнела и стала многое понимать. С торговлей она справлялась отлично и, начав с самого малого, довела ее до процве-

тания; случалось, что легкомысленные люди открывали лавку в других местах прихода и собирались конкурировать с ней, но это всегда кончалось для них неудачей: на ее стороне был слишком большой перевес и в опытности и в средствах; она очень скоро заставляла их прекращать торговлю.

Впрочем, это не значит, что самой Паулине жилось вполне хорошо. У нее был порядочный доход, и если б она захотела, у нее хватило бы средств на то, чтобы вдоволь полакомиться изюмом прямо из ящика, — этого нельзя отрицать. Но все-таки ей постоянно приходилось стоять за прилавком, она старела все больше и больше, замуж не выходила, и у нее не было своего очага. Что же в этом было приятного и увлекательного?

Нет, Паулине никто не должен был завидовать. Нельзя было также назвать ее красивой, привлекательной и бескорыстной, но она действовала обдуманно, уверенно, все у нее было в порядке, и она была занята с утра до вечера; лавочница, она стояла у прилавка и до идиотизма старательно продавала свои товары, заворачивая их в аккуратные свертки, пальцы ее сами собой справлялись с веревкой. В этом состояла вся ее жизнь. Молодые люди не бегали за нею, близких подруг у нее тоже не было, она даже не интересовалась детьми, когда они приходили к ней и покупали на пять эре. Странно, что до сих пор она сохранила еще теплое чувство к старшему брату; она не могла забыть, как он был добр к ней, когда она была маленькой.

И вот она, Паулина, начала вести неразумную и светскую жизнь. Она даже в будни носила белую обшивку у ворота и жемчужное кольцо; в сущности это было неудобно. Да, было не легко держать себя дамой в Полене, быть лучше всех остальных и на рождество не ходить танцевать в дом Каролуса, — для этого она считала себя слишком важной. И когда кто-нибудь шутил в ее лавке и шутка была несколько вольной, она не позволяла себе смеяться; она делала вид, что не понимает ее, хотя все остальные надрывались от хохота. Молодые люди не всегда сдерживались и иногда отпускали в разговоре между собой шуточки и по ее адресу; это ее не оживляло, это заставляло ее плотнее сжимать рот.

— Вы, собственно, зачем пришли? — спрашивала она, чтобы их одернуть.

Во всем Полене не было юношей достаточно хороших для нее, она была выше их: она умела считать, писать и продавать, а они могли только ловить рыбу да жевать табак.

А иногда так грустно быть всегда одной со своими мыслями, со своей лавкой! Она не могла, как остальные женщины Полена, подняв юбку, брести зимой по глубокому снегу в

церковь. Иоаким должен был отвозить ее на своих дровнях с мешком сена вместо сиденья. Вообще существование Паулины было отнюдь не веселое, и лучшие ее часы были, когда лавка была полна покупателей, платившими наличными. Разве может этому радоваться живое сердце? Но жизнь сделала ее такой черствой и неестественной еще прежде, чем ей исполнилось тридцать восемь лет.

Такой черствой и неестественной... Но неужели не проскальзывают по временам проблески сладкого чувства в этой одинокой груди? Конечно, не без этого. Ведь она ощутила глубокое беспокойство, когда капеллан Твейто посетил ее в лавочке, действительно на душе у нее стало так хорошо, она могла уйти куда-нибудь подальше и немножко подумать и помечтать. Он заметил ее в церкви, он знал ее, смотрел на нее ласковыми глазами, говорил с ней возвышенным церковным языком, — это было так необычайно. И тут же она вспомнила, как она подарила ему пачку табаку от всего своего сердца.

Вполне возможно, что остатки этого переживания все еще бродят в ней: она сидела вечером и пришивала к нижней юбке полосу грубого шелка, чтобы юбка шуршала, когда она пойдет по церкви. Зачем она это делала? Такой моды в Полене как будто не было, ее костюм был вообще немодным и, если так можно сказать, был ее ровесником. Нет, этой шелковой полосой она хотела дать знать о том, что она пришла!

Сегодня утром Август, неумытый и неодетый, в одной рубашке и штанах, стоял на дворе, когда Паулина шла в церковь. Она ничего ему не сказала, даже не поторопила его с одеванием и не пригласила пойти с ней. Отношения между ними испортились, и Август казался огорченным. Он был слишком стар, и у него было слишком мало волос.

Имела ли Паулина успех в церкви со своей шелковой полосой? Может быть и имела. Во всяком случае это вдруг потеряло для нее всякое значение, мысли ее были заняты другим. Паулина возвращалась из церкви и с почты с радостным известием: пришло письмо от старшего брата, — он приезжает обратно!

— Ну, разве я не говорил? — сказал Август.

На его слова не обратили внимания. Паулина была вне себя от радости.

— За это ты меня должна благодарить, — уже напрямки сказал Август.

— Ну, — сказала Паулина, — если это так, то благодарю тебя.

— Я поднял тревогу во всех консульствах, и его разыщут непременно, если он только существует где-либо на земном шаре! Он даст о себе знать!



Паулина переделалась в будничное платье и вся ушла в мысли о том, как ей принять старшего брата:

— Он будет жить в комнате рядом с тобой, над кофейней.

— Ну что же,— сказал Август,— но один ли он?

Паулина смутилась:

— Этого я не знаю, он об этом ничего не пишет.

— Потому что, если он с женой...

— То что из этого?

— Тогда я перееду.

— Так. Но куда же ты денешься?

— Я? Ну, об этом не беспокойся!

Паулина поглядела на Августа и сразу стала менее суха и неестественна, потому что ряд мыслей мелькнул перед ней: Август был так добр, так участлив, это лежало в его природе, он никогда не думал только о себе и принимал все удары судьбы, не отклоняясь от них.

— Ты... ты — такой странный человек,— сказала она, чтобы не сказать слишком много.

Прошло немного дней, и Паулине пришлось еще более повысить свое мнение об Августе. Однажды утром пришла в Полен лодка. Она шла на веслах полным ходом, пена так и вздымалась у носа; ее послал Иоаким, главарь артели, с известием, что ночью загородили неводом сельдь, что это произошло у Птичьего острова, что Август должен немедленно телеграфировать и направить туда покупателей.

Задав несколько вопросов о том и о другом и получив на них ответы, Август тотчас же надевает куртку. Паулина останавливает его: нужно позавтракать, прежде чем идти. Нет, он не хочет завтракать, он торопится на телеграф. Она кладет ему руки на грудь и вдвигает его задом в горницу.

— Как ты не понимаешь!? — говорит он.— Не удержи-  
вай меня!

И он ушел.

Да, он действительно был странным человеком. Паулина очень хорошо знала, что рыбацья артель была обязана уловом Августу: без него поленцы до сих пор слонялись бы между домами и рассуждали бы о неводе, которого у них не было. Август, как волшебник, вмиг добыл его. Правда и то, что Иоаким был на редкость удачливым главарем.

Вернувшись только к вечеру, Август все еще не был голоден: он купил кое-что поесть на обратном пути, не нужно для него подавать на стол!

Паулина обиделась:

— Не понимаю, почему ты убежал, не позавтракав.

А в г у с т. Ну, конечно, ты этого не понимаешь. Но ведь ты сама слышала, что они опускали и опускали лот, но все не нападали на сельдь. Так что я боюсь, что рыба заграждена на мелком месте, а тогда нужно разгружать невод как можно скорее.

— Теодор вернулся сегодня домой, — сказала она.

— Отлично, — отвечал он. — Пусть он сейчас же отправляется к Птичьему острову и поработает там над сельдью.

Август, вероятно, забыл, что за человек был Теодор; разве он предполагал, что тот в состоянии сразу после возвращения домой снова отправиться на работу? Теодор был не таковский. Он должен был сначала поболтаться по избам и показаться всем, рассказать о крушении, о том, как парусник потерпел аварию у берегов Гельгеланда, и как он спасся в последнюю минуту, имея при себе в качестве помощника почти ребенка, — чего, чего он только не вынес! Но с божьей помощью...

— Но теперь довольно об этом, — объявил Август. — Собирайся поскорее на работу с сельдью к Птичьему острову.

— Дай же мне сначала домой зайти, — упорно настаивает Теодор.

Август поспешил в приход: ему нужны люди — потрошители и солильщики; он успел даже отправить из Внешнего Полена несколько лодок с солью и пустыми бочками: необходимо немедленно несколько облегчить невод, чтобы оставшейся сельди было просторнее, а то она уснет и затонет. Август невероятно взволнован, он повсюду распространяет великую, чрезвычайную новость: сельдь у Птичьего острова. На самом юге округа он встречает Родерика, сына Теодора и Рагны. Это — редкий молодой человек, во всех дворах округа известный своей серьезностью и добросовестностью. Летом он служил в работниках, а сейчас он свободен; он по первому слову Августа отправляется к Птичьему острову, туда, где рыба и заработок; одна женщина с дочерью следуют его примеру.

Учитывая все обстоятельства, можно было надеяться, что скоро артель соберет достаточно народу.

Дни идут, и с Птичьего острова приходят одна за другой новости: все идет благополучно, обе лодки вылавливают из невода рыбу, пришло несколько купеческих судов, вокруг невода кипит жизнь; старый Каролус возвращается домой и может дать обо всем сведения.

Старый Каролус не может совладать с собой; он должен теперь похвастать немножко.

— Да, ты оправдал невод твоей частью,— говорит он Августу.— Не продашь ли ты его?

— А ты хочешь его купить? — спрашивает Август.

— Возможно, что и куплю.

— Что-о! — вмешивается в разговор Ане-Мария, жена Каролуса.— На какие это деньги собираешься ты купить невод? Ведь у тебя пай только рядового члена артели.

Но оказывается, вся артель хочет купить невод, каждый человек заплатит столько, сколько он может. Случилось опять так, что один удачный улов заставил встрепенуться все население, заставил их проявить настойчивость. Случай, очевидно, всем пришелся по вкусу. Каролус послан, чтобы вести переговоры о неводе.

Август отнесся к этому крайне доброжелательно: он готов отдать невод за ту самую цену, за какую приобрел его. Ему хотелось спросить, будет ли Иоаким, единственный вполне платежеспособный человек из всей артели, также участвовать в покупке, но, чтобы не обидеть Каролуса, он этого не сделал.

А не обождет ли он с расчетом, пока они с божьей помощью не закинут невод еще раз? — спрашивает Каролус.

Август только руками разводит,— он не из таких людей, которые нуждаются в мелочи, к тому же он имеет дело все со знакомыми людьми. Пусть Каролус передаст это артели.

На этом и порешили.

В заключение Каролус вытаскивает из кармана письмо и делает вид, что он совсем было забыл о нем.

— Вот письмо от Иоакима,— говорит он.— Впрочем, оно теперь ни к чему, после того как я поговорил с тобой.

Письмо только подтверждало единодушную просьбу артели и скрепляло куплю.

Теперь у Августа больше не было невода. Да и на что ему невод? Он был странником на многочисленных путях жизни, он был то тут, то там, но ему было несомненно приятно, что каждый член артели, с Иоакимом-старостой во главе, был его должником; это заставляло его высоко поднимать голову.

Он сделался даже более аккуратным в своих делах. Когда он получил расчет за свою половину улова у Птичьего острова, он отправился к Паулине и попросил ее отослать плату за невод тотчас же: вот деньги. Паулина указала деловито на то, что срок платежа истекал лишь по получении страховой суммы. Август заявил, что он знает это очень хорошо, но зачем ему оставаться в долгу лишнее время? Вот, получите! Он проявил чрезвычайную порядочность и очень гордился этим.

И вот у всех кругом появились деньги. Это было заметно по всему: по свежей окраске стен, а тем более окон и дверей, по лучшим платяцам, в которые облачили маленькие тельца детей, по необычайному оживлению торговли в лавке Паулины. А осенью, во время убоя скота, никто не хотел отстать друг от друга, и резали по шести штук овец вместо прежних трех. Да, и расцвет этот нельзя было приписать ничему другому, как тому, что поленцы сами загородили сельдь у Птичьего острова и теперь тратили свой заработок в пределах своего местечка.

Они проявляли иногда, быть может, излишнее чванство и выходили из границ своих возможностей, у них в сущности не было средств на все те бесполезные вещи, которые теперь они считали необходимыми для себя. Так, Ане-Мария повесила на все окна своей избы белые занавески, а юный Родерик потратил заработанные им на улове деньги на покупку пальто для матери. Это был слишком широкий жест. До сих пор во всей окрестности ни у кого не было пальто кроме Паулины из лавочки, а ей оно действительно было необходимо, когда она зимой, сидя на мешке с сеном, ездила в церковь.

К сожалению, всю окрестность охватило своего рода чванство. Но какое блаженство хоть раз дать волю нелепым желаниям, даже если бы потом и пришлось расплачиваться за это!

Хуже всего было то, что это чванство перешло в безделье и лень. Мужчины проводили все время в море с неводом, а вернувшись домой, еле держались на ногах и тотчас же валялись на кровать и курили махорку. Они с трудом вставали, чтобы вечером нарубить дров на утро. Когда наступило время отправляться на лофотенский лов, то лишь немногие из Иоакимовой артели отнеслись к этому достаточно серьезно. Началось это с Каролуса, который оправдывался тем, что он стал слишком стар; но он увлек за собой и других. Нет, ни к чему ехать. У них и так был удачный лов сельди у Птичьего острова; и они продолжали еще бросать там невод, они должны попробовать еще раз сделать заграждение, лофотенский лов ничуть не вернее. И вот они здесь бросали невод, заплывали в залив и бухты в надежде напасть на сельдь, на новую сельдь, но ничего не попадалось; они не могли наловить сельдей хотя бы на ужин, и Иоаким, старшина артели, давно бы кончил лов, если бы его не уговаривали и не уверяли, что лофотенский лов ничуть не вернее, а тут у них и свой невод, — ну, чем не лов?

Разговоры, разговоры, болтовня и бездействие.

Они так бы и не кончили, если бы старшина артели наотрез не отказался продолжать. Иоаким имел основание вернуться на сушу: он ждал старшего брата.

Иоаким, Август и Теодор, в качестве третьего лица, отправились за старшим братом к остановке пароходов. Они взяли большую лодку с рубкой посередине, с которой спускали невод, — на случай, если брат приедет с женой и привезет с собой много багажа. Паулине тоже хотелось поехать с ними, но нельзя же было всем бросить дом и лавку, и она осталась, сгорая от нетерпения и волнуясь; но все-таки не забыла поручить Иоакиму захватить с собой товары, которые пришли раньше и лежали на пристани.

Иоаким сам был взволнован, хотя был и старшиной артели: так странно было опять увидеть старшего брата. Два брата никогда не ссорились между собой, кроме того раза, когда один готов был всадить в другого нож за то, что тот не хотел принять от него денег. Ха-ха, одному из братьев так-таки пришлось уступить другому и сунуть деньги себе обратно, иначе он получил бы удар столовым ножом. И в тот раз, лет около двадцати тому назад, когда старший брат без предупреждения покинул дом и его нигде не могли найти, потому что он уехал в Америку, — и в тот раз лицо Иоакима было так же неподвижно и напряженно, но сердце долго никак не могло успокоиться, и ему было не по себе.

Как странно все это было!

— Вот он! — сказал Август и указал головой на палубу парохода.

— Где? — спросил Иоаким. — Разве это он?

— Ну, ты родного брата не узнаешь!

Но он узнал его, когда тот стал кланяться и в особенности, когда жена его также закивала головой. Но, впрочем, старший брат действительно сильно изменился: Иоаким не помнил, чтобы у него было когда-нибудь такое худое лицо и такой большой нос. Ловизу-Магрету зато сразу можно было узнать: она была моложава и красива по-прежнему.

Иоаким боялся немножко встречи, боялся, что он может растрогаться. Но все сошло благополучно, обстоятельства помогли ему. С парохода спустили трап, и брат и его жена сошли по нему в лодку; некогда было сразу поздороваться за руку, тем более, что сейчас же спустили и багаж, правда, один только сундук и кое-какую верхнюю одежду; Иоаким должен был тотчас же оттолкнуть лодку от парохода и скорее отчалить, — о-о, это ужасно — быть увлеченным в море па-

роходом на полном ходу! Он сделал вид, что не замечает протянутой руки, и изо всех сил принялся грести тяжелыми веслами, чтобы подплыть к пристани. Теодор успел уже, конечно, порассказать и наболтать всякого вздора, Август тоже не молчал; все это было очень кстати, и Иоаким мог наконец произнести твердым голосом:

— Это свинство с моей стороны, но мне придется задержать васнемного: мне нужно прихватить кое-какие товары для Паулины.

Он поднялся на пристань, и Ловиза-Магрета, сидевшая рядом, тоже вышла из лодки, чтобы поразмять ноги. Остальные трое остались сидеть.

— Что это заставило тебя вернуться домой именно теперь? — спрашивает Август.

На это Эдварт отвечает, что так сложилось. Он думал об этом уже давно, но...

А в г у с т. Я, например, приехал домой, чтобы жениться, если мне это удастся.

И между друзьями прежних лет завязался разговор, иногда переходивший на английский язык, из-за Теодора, что, впрочем, не мешало ему тут и там вставлять свои вопросы, он начинал также упоминать о крушении у берега Гельгеланда.

Разговор коснулся отчаяния Паулины по поводу того, что старший брат никогда не давал знать о себе. Тут вечно стоял плач и стон, сердце надрывалось, глядя на нее, и, чтобы ее утешить, Августу пришлось пообещать, что он раздобудет старшего брата через все возможные консульства всего мира. Это было лучшее, что он мог придумать, чтобы утешить ее. Он говорил по крайней мере о четырех консульствах и о телеграммах во все концы мира. Он упомянул об этом, чтобы предупредить Эдварта...

Эдварт кивает головой в знак согласия.

Иоаким тем временем сносит ящики и тюки Паулины в лодку и готовится к отплытию; приходит и Ловиза-Магрета. Август поспешно обращается к Эдварту и шепчет:

— Нестоит говорить, что четыре консульства, скажем — два.

— Хорошо.

— Потому что мне не хочется привыкать лгать и прибавлять лишнее.

Отчалив от пристани, Иоаким неожиданно протягивает руку брату и говорит:

— Итак, добро пожаловать домой! Я так засуетился — не мог раньше.

— Спасибо! — отвечает Эдварт.

И они плывут по направлению к дому, на веслах выходят на ветер и поднимают парус. Стало прохладно, и хорошо было, что Ловиза-Магрета могла надеть несколько одежд. Ей не хотелось войти в рубку; там была печурка, и она могла бы согреться, но там пахло сельдью и, может быть, к скамье пристала рыба чешуя.

— Да, вы надолго уезжали от нас, — продолжал болтать Теодор. — А то, что мы встретились и опять вас увидели, — это прямо поразительно для всех нас.

Эдварту кажется, что ему нужно быть приветливым и что-нибудь ответить, и он говорит:

— Дорога уж очень дальняя, Теодор, и стоит много денег. Получив ответ, Теодор совсем ободрился.

— Вот это самое и я говорил все время, что это дорогое путешествие — приехать сюда, можно сказать, с другой стороны земного шара. Я был бы рад, если б у меня были такие деньги!

Августу хочется узнать новости из Америки: ведь прошло порядочно времени с тех пор, как он вернулся оттуда; тогда выбирали президента, и избиратели стреляли друг в друга.

— Ты озябла, мисисс Андрыус? — спрашивает он Ловизу-Магрету, жену Эдварта Андреасена.

— Немножко, — отвечает она. — Но спроси теперь Эдварта, зачем ему вздумалось поехать сюда и что мы здесь будем делать? Только навязываться людям и быть им в тягость!..

Эдварт на это ничего не отвечает, но Иоаким смеется и не находит, чтобы здесь было уж так плохо эти последние двадцать лет.

— Но я не берусь утверждать, — продолжал он, — что здесь будет та же роскошь, к какой вы привыкли за границей. Теодор опять вмешивается в разговор:

— А мы в Полене собираемся открыть почтовое отделение и многое другое. К тому же у нас было удачное заграждение сельди и во Внешнем Полене и у Птичьего острова, — настоящая благодать для бедных людей, которым нечего было есть, могу я сказать. Что же касается меня, то я плыл осенью на паруснике на юг и в ужасающую бурю потерпел крушение...

Они пришли в Полен к вечеру. Паулина встретила их на берегу у сараев, куда ставят лодки. Губы у нее задрожали, но она овладела собой и не заплакала.

— Ну, вот и вы! — сказала она. — Да, мы долго ждали вестей от вас, а теперь — добро пожаловать, и я была бы ра-

да, если б мы сумели принять вас так, чтобы вы от нас больше не уезжали!..

Приветливые слова, сказанные от сердца, целая маленькая речь,— Паулина была мастер на все руки. Она обратилась к Иоакиму и спросила:

— А ты не забыл товары?

Если обитатели Полена надеялись на большое оживление, празднества и приглашения близких и дальних соседей, то им пришлось разочароваться. Нет, Эдварт не был важным господином и не имел претензий; он бродил вокруг по старым родным местам и был самым обыкновенным старшим братом во всей округе. В воскресенье после обедни было небольшое угощение, но гостями были только Каролус и его жена Ане-Мария,— кроме Эзры с Хозеей и Августа, конечно; торжества никакого не было, а лишь небольшое собрание по случаю приезда, причем угощались мясом осеннего убоя и рисовым супом с изюмом. Иоакиму хотелось почтить прежнего старосту и угостить его немножко, а Ане-Мария отбывала ведь наказание в Троньеме, видала там виды и кое-чему научилась, так что ее можно было использовать в качестве слушательницы бывалой Ловизы-Магреты, которая своими рассказами успела уже порядочно надоесть Паулине.

Конечно, Ловиза-Магрета стала рассказывать о Гобьере, своей дочери, теперь миссис Адамс, которая была замужем за страшно богатым мукомолом. Но четыре года тому назад они потеряли все, что у них было, так что миссис Адамс пришлось играть на рояле в театре, где танцевали.

— Я слыхала игру на рояле,— говорит Ане-Мария.— Это похоже на бульканье воды.

— Да, похоже, и это очень красиво. Но мистеру Адамсу понадобилось всего два года, чтобы поправить свои дела, и теперь они живут еще богаче, чем прежде. Он стал агентом большой американской паровой компании, у него банк, и он получает деньги для пересылки их в Старый свет. Если бы только знали здесь, в Полене, какая ужасно громадная у него контора! Не перечать всех изображений больших пароходов, развешанных по стенам, и всех людей, которые сидят и пишут, а одна дама пишет так же быстро, как он говорит.

— Я видела большие конторы,— говорит Ане-Мария.

— Где?

— У одного директора в Троньеме.

— У какого директора?

— У одного директора,— я была у него...



— Ты служила?

— Да, служила.

— У миссис Адамс тоже много прислуги, и она живет в большом доме в десять этажей, потому что они теперь опять богаты. У них только двое детей, они не хотят иметь больше.

— А у меня совсем нет детей,— говорит Ане-Мария.

— Совсем нет? Это я одобряю.

— Нет, я недовольна этим.

— Ну?

— Нет, я недовольна этим,— повторяет Ане-Мария, которая любит детей.

Паулина входит и выходит, ставит на стол еду, уносит чашки и миски; Рагна, жена Теодора, помогает ей на кухне, а Рагна неплохая помощница. Паулина и сама не упускает случая урывками принять участие в трапезе и все время должна гостей угощать: или, может быть, им такая еда не нравится?

— Что касается меня, то я ем, как давно не ел! — говорит Эдварт, и в тоне его слышится веселость.

Ах, он был так вял и серьезен, так молчалив и задумчив, он совсем разучился смеяться, и его улыбка ничего не выражает.

— Тебе это необходимо,— говорит Паулина.— Ты ведь стал кожа да кости.

И о а к и м. Он до того худ, что я сразу даже не узнал его.

— И я тоже,— говорит Хозяя.— Поразительно, до чего стал он худ и длинен!

— А что касается меня, то я совершенно не узнала Августа,— восклицает Ловиза-Магрета.— Я никогда не видала, чтобы человек так изменился!

С ней все согласились: Август с костяными зубами во рту казался другим человеком, к тому же он здорово полысел. Гости ели и пили и в то же время обсуждали зубы Августа: было что-то странное в этих зубах, какое-то чудо, они совершенно преобразили его.

— Они у тебя из Америки? — спрашивает Ловиза-Магрета.

— Да.

— В Америке все могут сделать! Так, например, моя дочь, миссис Адамс, сделала своим мальчикам новомодные носы «грик».

— Грик? Это что такое?

— Это такой сорт носов. Они их называют «грик».

И они стали обсуждать греческие носы, их практичность и их устройство. Август увлек разговор на недосыгаемую вы-

соту, начав рассказывать о носсах с продетыми в них молотками и пилами.

Паулина прерывает его:

— Август, ты с ума сошел!

— С ума сошел? Да ведь я же видал всевозможные народности! Так, в одном месте, где мы были, люди ходили совершенно голые, а у женщин в виде украшения висело в каждом ухе по пустой коробке из-под сардин.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Все засмеялись, даже Эзра откинулся назад и хохотал во все горло; один Эдварт оставался серьезен и не участвовал в общем веселье. Паулина потормошила его, потрясла шутки ради старшего брата и спросила:

— Ты ведь не спишь?

— Я сплю? О-о, нет!

— Но ты ничего не говоришь.

— Он всегда такой,— заявляет Ловиза-Магрета.— Иногда это так скучно,— пожаловалась она.

Паулина не выносит, чтобы его осуждали; ей хочется, чтобы он был живой и быстрый, и она настаивает:

— Скажи-ка мне ты, старый троль, почему ты никогда нам не писал?

— Да, это правда,— отвечает он,— я не писал домой. Я об этом думал, но...

— А мы здесь ждали, ждали и все справлялись на почте.

— Да, но мне казалось, что не о чем писать.

Иоаким вмешивается в разговор и останавливает сестру:

— Перестань, пожалуйста, мучить Эдварта за то, что он не писал. Теперь он ведь с нами здесь сам.

— Да, и давно пора бы!

Август ждет немного, не заговорит ли Эдварт на этот раз. Но тот молчит. Тогда Август переспрашивает мимоходом:

— Это вы об Эдварте говорите? Он бы и теперь не приехал, если бы не я!

Молчание.

— Это я обратился во все консульства, чтобы разыскать его. Ведь ты из двух консульств получил телеграммы, Эдварт? Эдварт кивает головой.

Август набирается смелости, он спрашивает без малейшего зазрения совести:

— Ты ведь тоже об этом знаешь, миссис Андрюс?

— Нет,— отвечает Ловиза-Магрета,— я ничего об этом не знаю. Но это неважно. Ведь он мне никогда ни о чем не рассказывает.

Паулина по-прежнему надеется сгладить шероховатости своим хорошим настроением.

— Так ты ни о чем не рассказываешь своей жене? Нечего сказать, хорош паренек!

Эдварт улыбается своей бесцветной улыбкой и говорит:

— А я думал, что я рассказывал ей об этом.

Но тут Августу начинает казаться, что его труды и хлопоты с консульствами недостаточно оценены, он опять возвращается к этому вопросу и спрашивает Эдварта:

— Так ты, вероятно, получил телеграммы от консульств в Канаде и в Мичигане?

Эдварт опять кивает головой.

— Я так и думал! Там меня хорошо знают.

Но и на этот раз его недостаточно оценили, и ему приходится изобрести что-нибудь новое:

— Да, не хочет ли кто-нибудь из вас, землевладельцев, продать мне участок под избу?

Молчание. Никто не хочет отвечать на вопрос, но Иоаким допытывается:

— Ты хочешь строиться?

Август говорит:

Да, он подумывает об этом, только бы ему получить подходящий участок. Ведь пора и ему остепениться и обзавестись домком.

Наконец Каролус отвечает ему:

— Пожалуй, Эзра — единственный, кто может продать тебе участок.

Э з р а. Я? У меня и без того мало земли.

— Но у тебя ее больше всех. И ты же купил у меня кусок моего пустыря, так что земли у меня теперь почти что в обрез.

Эзра молчит.

— Мне пустырь вовсе не нужен, — говорит Август.

Каролус отзывается на это:

— У Эзры есть земля всех сортов: и пустырь, и пахотная.

— То есть как это? — восклицает Эзра, словно его ножом ударили. Он — раб земли, земляной червь, он жаден до земли: еще побольше бы, ему все ее мало. — Как это? — разгоряченно повторяет он. — Разве я обязан продавать свою землю?

А в г у с т. Это прямо поразительно! Вот я возвращаюсь после двадцатилетнего странствия — и не могу купить клочка земли для хижины, где бы я мог скоротать свой век.

— Какую тебе нужно землю? — спрашивает Иоаким, обдумывая дело.

— Обыкновенный участок под избу и к нему кусок обработанной земли.

— А что ты будешь возделывать на нем?

— Этого я пока не скажу.

Каролусу не хочется уступить Иоакиму свое первенство, он решает вопрос сразу:

— Я продам тебе участок.

— Вот это будет лучше всего,— отвечает Август.— У тебя как раз имеется то, что мне надо.

— Ты принадлежишь к нашему приходу,— говорит Каролус напыщенно,— и нам ли не уступить тебе участок под стройку и несчастный клочок пахотной земли? В таком случае мы поступили бы по-скотски и перестали бы походить на людей!

Все общество присоединяется к этому мнению, и даже Эзра и его жена кивают в знак согласия.

Каролус доволен и, выступив, так сказать, в качестве благодетеля, не может удержаться от того, чтобы немножко не поболтать:

— Ибо ты, Август, человек особенный, ты одолжил нам целый невод с лодкой, канатами и прочим снаряжением, и мы по уши в долгу перед тобой. И теперь настала наша очередь оказать тебе услугу...

Август прерывает его:

— Я не нуждаюсь в том, чтобы вы одолжили мне участок.— И заметив, что все наострили уши, он ясно произносит следующие слова: — Я плачу наличными!

Таким неожиданным заключением Август блестяще завоевывает себе положение, он отодвигает от себя на должное расстояние обыкновенного обитателя Полена, снова становится чертовски ловким Августом, которому все удивляются и который для всех остается загадкой. Он будет платить наличными? Он, которому должна целая артель,— он не хочет воспользоваться этим.

Иоаким чувствует себя как будто лишним,— ведь не он уступил Августу землю,— ему хочется прервать это неприятное положение, и он говорит поэтому Паулине:

— Тебе, верно, больше нечем нас угощать?

— Больше нечем,— отвечает она и встает из-за стола.— На здоровье! Благодарить не за что! Нет, пожалуйста, не беспокойтесь и не жмите мне руку за такой простой обед, боже мой.

Возвратившийся домой американец, Эдварт Андреасен, бродил по окрестностям и почти всегда был один. Если во время его блужданий ему встречались знакомые, он здоровался, а не проходил гордо мимо, не сказав ни слова; но он не высказывал никаких глубоких или особенных мнений и не употреблял пышных английских слов. Что же в таком случае он представлял собой? Шло ли от него сияние? Нет, он не придавал себе никакого значения, и когда он шел дальше, он так же спокойно и мертво говорил «прощайте», как и «здравствуйте». Товарищи и прежние знакомые рассказывали ему о судьбе его ровесников: некоторым повезло, и они прекрасно жили, другие были менее счастливы или умерли. Эдварт спокойно принимал всякие сообщения, все это одинаково мало трогало его.

Он побывал в Новоселке у Эзры и Хозеи, но и там оставался все таким же спокойным и неподвижным, без малейшего проблеска веселости, наполовину отсутствовавшим. Хозея напоминала ему то о том, то о другом из их детства, о каком-нибудь событии, о памятном случае, — он улыбался своей жалкой улыбкой и, казалось, вспоминал, но это уже больше не занимало его. И ничто не занимало его. Нет, он никуда не годился.

Где пропадал он, когда уходил из дому? Он даже не всегда возвращался к обеду или к ужину, а бродил по окрестностям, садился, долго осматривался, вставал и шел на новое место и снова садился. На лугу, у брода, далеко от жилья, скучившись росли пять осин; теперь это были большие деревья, высокие и стройные, с широкими вечно трепещущими листьями, — казалось, они приглашали его побыть среди них и послушать слабый шелковистый шелест трепещущей осиновой листвы.

Мечтательность. Праздность.

В Ловизе-Магрете было больше жизни и темперамента. Пока она была еще новинкой, было занятно слушать ее рассказы об Америке, о всем необычайном, что там происходит, — как это было непохоже на маленький, бедный Полен! Здесь без конца говорили об улове сельди у Птичьего острова и были счастливы этим, но, боже, до чего это было ничтожно по сравнению с многомильными виноградниками в Калифорнии или с домами в сто этажей в Нью-Йорке! Многие стали находить Ловизу-Магрету утомительной, но она была разговорчива и настойчива и пускалась в разговор, чаще всего с мужчинами, потому что женщины казались ей глупыми: они

любили слушать только про громадных американских коров и свиней и про то, сколько стоит фунт кофе. А эти вещи не занимали больше мысли Ловизы-Магреты, она отошла от них и не желала больше возвращаться к ним. Она стала городским человеком. Конечно, это было ни на что не похоже, что она вернулась домой в Норвегию только с двумя платьями: такая бедность была вовсе не по ней; но, с другой стороны, на что ей больше двух платьев в Полене? И она была очень мило одета каждый день,— этого нельзя отрицать,— она хорошо сохранилась для своих лет, пудрила нос, слегка подкрашивала губы и вообще заботилась о своей наружности. Для этой цели она возила с собой несколько флакончиков и баночек с лекарствами, из которых каждое было целебным средством от нескольких болезней, перечисленных на этикетках. Но зато тут же было напечатано предостережение от подделок этих мазей и капель, говорилось о том, что они недействительны без такой-то и такой-то подписи.

Но неужели эти муж и жена из Америки собирались осесть в Полене? Они пробыли здесь около месяца, и ни один из них не приобрел расположения или хотя бы уважения соседей. Совсем другое дело, если бы они вернулись с деньгами и власть имущими, стали бы покупать дома и дворы в Полене; но этого не было. Жена, может быть, и хотела, но у них денег едва-едва хватило на дорогу. Какой же толк имело их бродяжничество, их скитальческая жизнь на чужбине в течение двадцати лет? Где жили они в Америке и где они там твердо основались? То тут, то там, сначала в одном месте, затем в другом,— не сморгнув отвечала жена. Но они выдали дочку замуж за богача-мукомола из Буффало. Когда его дело лопнуло, то он открыл банк и стал богаче, чем когда-либо; дочь только и делала, что играла на рояле да каждый день меняла платья. Так-то живут там порядочные люди.

«Прекрасно! — думали поленцы. — Но если эта дочь так уж богата, то почему же ее родители вернулись домой такими потускневшими и почти что нищими?» Многие удивлялись, размышляя об этом.

И к тому же оба они не производили впечатления так чтобы уж очень согласной пары и не могли служить примером для тех супругов Полена, которые жили друг с другом, как кошка с собакой; нередко один из них хотел одного, а другой как раз обратного, нет, они не были так дружны, как когда-то, в юные дни. Так, случилось однажды, что Эдварт в виде исключения разговорился и собирался рассказать брату кое-что из своей жизни на ферме в Дакоте, но тут сидела Ловиза-Магрета и тот-

час же вмешалась в разговор и стала на каждом шагу поправлять мужа. Правда, они хозяйничали одно время, но вскоре стало заметно, что жене надоело доить коров.

— Да, это такое рабство!..— сказала она.— На других фермах всегда коров доил муж.

— Земли у нас было немного,— продолжал Эдварт,— только сорок акров, но нам хватило бы и этого. Ми приобрели три коровы и пару мулов.

— Мулов? — спросил Иоаким.

— Да, они вроде ослов. Там большей частью пользуются мулами.

Л о в и з а - М а г р е т а. Там есть и лошади. На других фермах были крупные лошади, на которых ездили на пикники и в город. Но у нас были только мулы, и на них мы не могли выезжать в общество.

Эдварт подождал, пока жена кончит, и продолжал:

— Эти мулы — удивительно выносливые животные. На многих маленьких фермах не было ничего кроме пары волов на все работы, и то дело ладилось; а с мулами-то и вовсе хорошо. Если с ними хорошо обращаться, то мулы живут долго, они неприхотливы в пище и крайне выносливы и терпеливы. Я ни за что бы не променял их на самых лучших лошадей, они мне были очень подходящи.

— А! — возмущенно вскрикнула Ловиза-Магрета и направилась к двери.

Она потеряла терпение. Этот добрейший Эдварт был вовсе не интересен, он рассказывал медленно и тяжело; может быть, он хотел подразнить жену своей основательностью, потому что, как только она ушла, он замолчал и ничего не мог рассказать больше о своей жизни на ферме в Дакоте.

— Ну, как же наладилось дело? — спросила Паулина.

— Наладилось? Да так, что, перед тем как нам уехать, мы продали скот и разные вещи, и нам едва хватило на билеты.

— А ферма? — спросил Иоаким.

— Фермы мне не удалось продать. Она пустует, пока кто-нибудь не придет и не возьмет ее себе. Там есть кое-какие строения и затем трехлетняя работа над землей.

Продолжительное молчание.

— Да, да,— говорит Паулина,— не придавай этому так много значения, Эдварт. И, пожалуйста, не горюй, ведь у тебя и здесь есть средства.

— У меня средства? Что ты хочешь этим сказать?

Эдварт не понимает, в чем дело; он хмурит брови и пристально смотрит на нее, а когда Паулина отвечает:

— Да ведь я же вела твою торговлю в течение двадцати лет, а теперь я возвращаю ее тебе, потому что я устала.

Он даже подсакивает.

— Мою торговлю? Да ты с ума сошла!

— Потому что у меня и так слишком много дела, я не могу справиться со всем. У меня и коровы, и дом, и кофейня, и лавка, а теперь еще прибавилось почтовое отделение.

Да, дело с почтовым отделением в Полене под началом Паулины было окончательно улажено. Она была утверждена в своем высоком звании в прошлое воскресенье, но молчала об этом до сих пор.

— Вот это здорово! — воскликнул Иоаким.

Паулина оживилась.

— Теперь ты можешь писать и начальнику округа, и в стортинг, а я поставлю штемпель, внесу в книгу и запечатаю почтовую сумку. Мне надо раздобыть двух людей, чтобы возить почту в лодке к остановке парохода. Кого бы нам взять?

Иоаким соображает и говорит:

— Теодора и Родерика, отца с сыном.

— Я тоже так думала. Я не считаю Теодора особенно надежным, но с ним будет сын. Это даст им определенный заработок круглый год. У Родерика есть лодка. Он будет возить почту раз в неделю.

— Когда это начнется?

— С первого.

Снова молчание. Сестра и братья задумались над тем, что случилось; это не было пустяком, это было великолепно, и их мысль сосредоточилась на виновнике всего этого. Август пока еще ничего не знал: он был в отъезде; он уехал с почтовой лодкой на юг, может быть, в Намсен, чтобы закупить там строительный материал для своей избы, — никто ничего не знал.

— Как ты думаешь, что он скажет, когда узнает об этом?

Паулина засмеялась.

— Да уж, наверное, не станет молчать!

— Конечно, — говорит Иоаким-староста, — но ты, пожалуйста, на этот раз не вздумай дразнить Августа. Ведь ему принадлежит вся честь!

П а у л и н а. Я это знаю очень хорошо. — Она обернулась к старшему брату и продолжала: — Вот видишь ли, Эдварт, всем этим, что принадлежит тебе, — и твоей торговлей, и твоей лавкой, и прочим, — всем этим я не могу больше заниматься.



— Поступай, как знаешь, с твоей торговлей,— резко отвечает ей Эдварт.

— Тебе придется самому ею заняться.

Эдварт пришел в бешенство и побледнел.

— Ты... ты рассуждаешь совсем как дура, прости меня господи!

Наконец-то она расшевелила тяжелого и терпеливого человека. Теперь случалось очень редко, чтобы он уступал своей природной вспыльчивости, с годами он отучил себя бросать ножи, табуреты и другие метательные орудия при первой вспышке гнева; но Паулине совсем не следовало выводить его из равновесия.

— Ну и порох! — пошутил Иоаким.— Нет, ты полюбуйся только, как он рассвирепел!

Торговля! На что ему ее торговля? Он отстал от таких вещей, он рабочий, его большие руки покрыты мозолями. Молчи, Паулина! На днях он сходит к Эзре и узнает, не нужен ли он ему в Новоселке. Он должен заработать на обратный путь.

— Ты опять хочешь уехать? — воскликнула Паулина.

— А что мне здесь делать? Ты этого не понимаешь, Паулина.

Иоаким молчал. Паулина тоже молчала, но она сжала губы и вспомнила про Августа. Как только он придет, она посоветуется с ним, он умеет находить выходы. Здесь присутствовал Иоаким, единоутробный брат, староста и все такое, и он не ударил кулаком по столу и не осадил бродягу. Зачем старшему брату ехать опять в Америку? Разве он и без того уже не научился за эти двадцать лет, проведенных на чужбине? А этот Иоаким — словно камень, у него нет ни капли чувства к своему родному брату! Паулина была страшно зла.

К вечеру Эдварт собрался пойти в Новоселок.

Иоаким спросил:

— Так ты серьезно намереваешься наняться в работники к Эзре?

Эдварт кивнул: да, он действительно хочет попробовать.

И о а к и м. Я бы предпочел, чтобы ты поступил, как все люди делают, Эдварт, и не покидал нас, не успев приехать. Ведь тебя не было целых двадцать лет.

— С тобой невозможно разговаривать, такой ты странный человек! — отвечает Эдварт.— Разве я не пробыл здесь уже целых пять недель? Что ж, мне болтаться тут всю жизнь, ничего не делая и не зарабатывая ни гроша?

Паулина вмешивается в разговор, она не щадит старшего брата, она полна горечи.

— Да ведь ты же слышал, как обстоит дело: я не могу больше заниматься всем; но тебя это как будто не касается! Нет, ты опять собираешься бродяжничать! А я думала, что ты наконец досыта наскитался! Ты, может быть, хочешь, чтобы мы сложили все товары и заперли лавку и чтобы наш старый дом замер и опустел. Тебе и горя мало до всего, а что если бы отец и мать дожили до этого!

— Ты ничего в этом не понимаешь! — говорит Эдварт и уходит...

Но они понимали, они давно уже поняли, что это Ловизе-Магрете хотелось как можно скорее уехать обратно. Не то, чтобы ей нравилось где-нибудь в Америке, — она и там скиталась из города в город в вечном волнении и бросала свое маленькое хозяйство с той же легкостью, с какой завязывала шнурки своих ботинок, и въезжала в новый город, не помышляя остаться там жить навсегда. Но во всяком случае Полен не был подходящим для нее местом: Полен не был даже городом, он был хуже фермы, здесь ее кормили кашей на ужин. «Порридж!» — говорила она, содрогаясь, она отвыкла от нее и почти не прикасалась к тарелке. Что же удивительного, что она худела от деревенской пищи в Полене, дурнела и седела!

Иоаким сказал:

— А что, если мы дадим ему заработать у Эзры только на один билет, и не больше?

Брат и сестра опустили глаза.

Вернувшийся домой американец нашел себе пристанище в Новоселке. Он работал и на дворе, и на поле, и в лесу. Бог знает, что ему собирались заплатить за это, потому что Эзра не славился чрезмерной щедростью, но зато у Эдварта не было чрезмерных требований. Зять и шурином хорошо ладили друг с другом. Эдварт работал, как лошадь, и к тому же он был терпелив с детьми и никогда не отказывался помочь им. Детей было — трое маленьких и трое постарше, кроме двух совсем взрослых, которые жили уже в Троньеме; восемь человек детей было у Эзры и Хозеи, и кто знал, сколько их еще будет! Поэтому-то Эзре было необходимо иметь как можно больше земли, чтобы прокормить столько ртов.

Между прочим, Эдварт нескладно обрабатывал землю. Эзра делал все так аккуратно и, можно сказать, экономно: собирал торф, тщательно боронил, бережно обращался с кормом, подбирая колосья; Эдварт же действовал быстро и ужас-

но кое-как, гнал по-американски, лез напролом, не знал удержу. Эзре приходилось останавливать его.

— Ай, ай, Эдварт, если ты будешь так торопиться, ты оставишь меня без двора!

— Почему же? — спрашивал Эдварт.

Да потому, что он загнал лошадь, портил инструменты, оставлял неспаханным слишком большой край поля, нагружал слишком много березовых поленьев на жалкие дровни, вгонял топор в камни.

В ответ на это Эдварт улыбался и сознавал свою вину. У него образовалась привычка вгонять топор в землю: на фермах не было камней и не было песку, и топор делался только острее от того, что его вгоняли в землю. Но он обещал теперь не делать этого больше, а также исправиться и во всем остальном. С ним было приятно иметь дело, он работал у человека, который был гораздо моложе его: маленький Эзра был когда-то поваренком Эдварта на борту судна, но теперь слуга стал господином.

Да, дело было так: Эдварт, господин, стал слугой.

За двадцать лет он не ушел дальше. Его односельчане помнили, как он, постепенно возвышаясь, начал с офени, стал потом шкипером на шхуне «Эрмина» и скупщиком рыбы на Лофотенских островах, владельцем усадьбы Фосен и наконец торговцем, с лавочкой в Полене, обладавшим немалыми средствами, — а теперь он был поденщиком у своего бывшего поваренка! Бывает же с иными такая неудача! Никакого уважения, никакого почета ни от кого. Теперь не он, старший брат, а его родные бросали на него отблеск своего благополучия — Иоаким-староста и Паулина из лавочки, а ведь когда-то у него были такие блестящие виды на будущее!

Жена держалась более независимо, ни к кому не поступила в услужение, а оставалась свободной. В последнее время она посетила богатые семейства во Внутреннем приходе, сделала визит семейству ленсмана и холостякам, доктору и священнику, — зашла только поздороваться с господами, раз уж ей пришлось побывать в Норвегии и Полене, зашла всего лишь на минутку, чтобы не быть невежливой, — хотелось, так сказать, следовать обычаю, принятому в свете.

Бедная Ловиза-Магрета! Она тщательно вычистила платье и сделала красивую прическу, она появилась с подкрашенным лицом и с эмалевыми сережками в ушах; она много видела и слыхала на своем веку и умела говорить, не запинаясь.

— Добро пожаловать, пожалуйста, миссис, садитесь, покушайте с нами запросто, чем бог послал!

Но только бы эта гостья из Америки не вздумала приходить слишком часто, лучше, если бы она и вовсе не показывалась больше, потому что тут у них высшее общество Внутреннего прихода, они привыкли к утонченному общению с равными себе; течение мыслей Ловизы-Магреты было слишком непосредственно, у нее не было соответствующего социального положения, в ее фосенское наречие вкрадывались негритянские слова.

И вот наступил день, когда у нее, со своей стороны, пропал вкус к высшему обществу Внутреннего прихода. Мужчины курили из длинных трубок в присутствии дамы,— так не поступают в свете; они бранились иногда, играли в карты, тут же на столе рядом с ними стояли спиртные напитки,— и все это в присутствии дамы! Таково было высшее общество здесь, оно вовсе не походило на то, к которому она привыкла, и оно не удовлетворяло ее.

Дело в том, что Ловиза-Магрета нигде не могла приспособиться. Жизнь плохо переделала и подготовила ее, она никогда не была на своем месте,— всюду присутствие ее вносило разлад, даже в гостиную ее собственной дочери и парходного агента.

Теодор и Родерик в первый раз везли почту из Полен к пристани. Это был торжественный час и знаменательный день. Почта была маленькая и легкая, всего лишь два-три письма от самой почтмейстерши к ее купцам, ни денег, ни ценных пакетов, только несколько этих писем, вложенных в большой мешок, который в свою очередь был помещен в громадную кожаную сумку, запертую государственным замком.

Кое-кто пришел к пристани, чтобы присутствовать при отправке. Везти почту — не то же самое, что по своим делам съездить во Внешний Полен; это облагораживало человека. Теодор торжественно внес в лодку кожаную сумку и привязал ее ремнем к скамье возле мачты, как того требует устав; все как полагается. Когда жена его, Рагна, крикнула ему с берега:

— Зачем ты это делаешь?

Теодор отвечал:

— Зачем я привязываю почтовую сумку? Потому что так сказано в уставе! Если даже с теми, кто везет почту, и случится какое несчастье, то почта не должна пропасть: она останется привязанной к лодке!

У Теодора не было золотой тесьмы вокруг фуражки, но это не умаляло его достоинства.

Они отсутствовали до следующего дня и вернулись в Полен с почтой; кроме того, в качестве пассажира с ними приехал еще и Август.

С ними приехал Август. Он был теперь на высоте своего величия; он спросил Паулину, кого им благодарить за случившееся. Ведь приход мог бы воздвигнуть ему памятник за почтовое отделение, — вот поступок, достойный мужчины. А что сделал ленсман или священник? Дождешься от них!

Кто-то из стоявших у прилавка крикнул:

— Нет ли писем для меня, Паулина? Я ужасно жду одного письма. Посмотри-ка получше!

Но писем было совсем мало, тоненькая пачка на дне мешка.

Август высказался так:

— Вообще не дурная почта для начала. Люди ужасно глупы: как могут они ждать писем, когда их еще не написали? Но ведь вот же письмо, а вот еще письмо и газета Иоакиму; на будущей неделе, наверное, писем будет еще больше. Вот увидите: стоит только войти во вкус с писанием писем — и люди будут писать о погоде и о всякой дряни, и Поленское почтовое отделение сразу пойдет в гору.

Паулина старается вскрыть между тем небольшой запечатанный сургучом пакетик и вдруг вскрикивает.

— В чем дело? — спрашивает Август.

— Ты прав, — отвечает она, — для начала почта уже вовсе не так мала. Здесь твои страховые деньги!

Август почувствовал, может быть, небольшое волнение, но не хотел показать этого, он попробовал даже зевнуть с безразличным видом.

— Ах, так они пришли, — сказал он. — Ну, это не к спеху!

Как бы там ни было, но Август приумолк на некоторое время, в его голове пронеслось немало мыслей; он расписался в получении денег, пересчитал их и сунул в карман. Денег было много, и Паулина не утерпела, высказала это.

А в г у с т. Это-то много? Ну, нет, не приходится говорить, чтобы несколько тысяч было много для меня. Они мне очень нужны, и мне нужно еще больше, часть этих денег я отправлю в Гамбург. Однажды у меня было много денег; это было в стране, которая называется Перу, в Южной Америке. Вот если бы ты видела тамошние стада, Паулина, — сотни тысяч голов! Но они не все принадлежали мне, так что нечего гримасничать, дорогая Паулина.

— Я и не гримасничаю.

— Потому что я вовсе не хочу преувеличивать и прибавлять лишнее. Мне принадлежала половина, а другая половина принадлежала президенту той страны. Ты этого не понимаешь, но в той части мира всегда бывает королем президент, а президент этот был тонкая штучка. Мы с ним отлично ладили, и под конец он переселил меня на свои серебряные рудники; у него было три серебряных рудника, и под моим началом было две тысячи человек...

Тысячи за тысячами проносились в голове Августа и стремительно срывались с его языка. На прилавке стояли десятичные весы, и Августу пришло на мысль, что жалование всем своим служащим на серебряном руднике он не отсчитывал, а развешивал тысячами, десятками тысяч.

— Ну, а куда же делось стадо? — зло спросила Паулина.

А в г у с т. Стадо? Так, значит, ты не читала о буре, которая называется катастрофой, которая разразилась двенадцать лет или, не буду преувеличивать, только десять или одиннадцать лет тому назад. Но это была буря с громом и землетрясением, так что звезды сыпались с неба, ты и вообразить себе не можешь.

— А ты был там?

— Ну, как же не был. Я стоял и смотрел. Но президент был тоже не робкого десятка: он курил папиросы, улыбался, изредка шутил, а мне он сказал: «Да, да, Август, ты больше никогда не увидишь стада!» И действительно, как он сказал, так и было. Какое там стадо! Господи помилуй, ведь с неба свалилось по крайней мере четыреста звезд, и как бы малы они ни были, все же они подожгли стада, и животные все до одного сгорели дотла. На тысячи миль вокруг пахло жареным мясом, и дым ослепил на всю жизнь четыре тысячи человек в соседней стране, Эквадоре, потому что ветер дул в ту сторону. Мне потом рассказывали об этом, меня там хорошо знают. Да, многое мне пришлось испытать на своем веку, но это было прямо чудо! Странно, что ты не читала об этом в газете, непременно спросу Иоакима.

Паулина не может следовать за мыслями Августа, ей становится скучно, и она низводит его с облаков на землю вопросом:

— Где ты пропадал эти несколько недель?

Август не растерялся.

— Ведь нужно же мне было съездить на юг и поговорить там с этими господами! Дело с почтовым отделением затягивалось не на шутку, и я побывал и у амтмана и в полиции.

— И задал им трепку?

— Не без того. Чего они медлили? Я послал им все бумаги и подписи и объяснил все как следует; чего еще тянуть? Недоставало только, чтоб они вздумали важничать передо мной.

Но Паулина была поглощена своей заботой:

— А Эдварт опять собирается в Америку,— говорит она.

— Эдварт? Ну да, собирается.

— Но ты, пожалуйста, помоги нам удержать его дома, Август! Мы с Иоакимом решили поговорить с тобой, потому что ты сумеешь найти выход,— подумали мы. Что ему делать в Америке? Если он теперь опять уедет, то снова пропадет, и из него никогда не выйдет человека. А ты что думаешь, Август?

— Он не уедет! — говорит Август.

— Не уедет?

— Нет, этого не будет! — убежденно говорит Август. — Разве у меня не найдется для него дела и здесь? Я как раз собираюсь приступить кое к чему. А потом мне, может быть, придется съездить за границу; кто же будет тогда здесь наблюдать за моими делами, как не Эдварт?

Паулина не стала ему противоречить. Она готова была терпеть его хвастовство и выдумки, лишь бы он удержал старшего брата. Впрочем, что именно было хвастовством и ложью и что правдой в рассказах Августа? Он получал изредка письма из-за границы и, хотя никогда не отвечал на них, зато тем усерднее телеграфировал, и сам ходил на станцию сдавать эти телеграммы, словно они были особенно важны. Что оставалось думать Паулине об этом? Она сама, своими собственными глазами видела на его письмах штемпели Гамбурга, Копенгагена или Мадрида.

## ГЛАВА VII

---

Август отправился к Каролусу. Он извинился, что не принес деньги за участок до своего отъезда. Каролус отклоняет разговор об этом и спрашивает, где Август был. Август отвечает, что он ездил по важному делу, по очень важному, касающемуся самой глубины его души! На это Каролус не мог ничего ответить, раз уже дело было такого сорта, а также и Ане-Мария ничего не сказала.

Август опять заговорил;

— Я ведь получил телеграмму из Альстагоуга,— вы знаете, оттуда Петерс Дасс ездил верхом на чорте в Копенгаген,— а когда я получаю такие телеграммы, то я должен ехать.

— Упаси меня, боже! — пробормотала Ане-Мария, как будто бы в страхе, но вернее — сгорая от любопытства.

— Мне приходится тогда бросать все свои занятия и ехать.

— А что им надо от тебя? — наивно спросил Каролус.

Август покачал головой;

— Ни одна человеческая душа не должна знать этого, так что вы лучше не спрашивайте. Это скрыто под семью черными печатями.

У Ане-Марии глаза остановились, она беспомощно подняла руку к лицу и сказала:

— Я, кажется, начинаю бояться тебя.

Но хитрая Ане-Мария на самом деле вовсе не боялась.

Тишина. Август сидел, словно мертвый, и даже не мигал. Его светло-голубые водянистые глаза ничего не выражали. Но вдруг ему показалось, что необходимо ослабить впечатление, он улыбнулся и сказал:

— Меня нечего бояться!

— Конечно, Августа нечего бояться, — повторил Каролус и стал подлаживаться к жуткому человеку, словно к привидению. — Ведь Август здешний, и мы с ним провели детство. Не понимаю, что с тобой делается, Ане-Мария! Хочешь — я сяду рядом с ним и дотронусь до него?

Август опять говорит:

— Гм! Я ничего вам не скажу и не буду преувеличивать, но я могу открыть вам, так как я вас очень хорошо знаю, что я доволен своей поездкой в старый Альстагоуг: я получил там удивительное известие!

Каролус спрашивает испуганно и с любопытством:

— А ты не можешь сообщить нам, чего оно касается?

— Нет, — отвечает Август. — Но чуточку я вам могу сказать: я должен остерегаться восемнадцатого числа следующего месяца.

— Слышишь! — содрогнулась Ане-Мария и прежним жестом подняла руку к лицу, словно защищаясь.

Но тут случай разрядил тяжелое напряжение, водворившееся в избе: дверь открылась, и вошел Теодор. Он был в родстве с Ане-Марией и часто посещал ее дом, а сейчас он ходил из избы в избу и рассказывал о своей новой должности — лодочника-почтаря.

— В чем дело? — спрашивает он. — У вас такой странный вид!

Никто не отвечает. Что касается Августа, он всю жизнь не питал особого уважения к Теодору и однажды даже хотел



выкинуть его за борт рыбацкой шхуны. Теодор был существо самое ничтожное, какое он мог только себе представить, ему и в голову не могло прийти обсуждать при нем важное известие из Альстагоуга.

Август опустил руку в карман, вытащил толстую пачку страховых денег, бумажка к бумажке, все как одна, и сказал, кивком указывая на пачку:

— Вот и деньги, Каролус!

Каролус глядел в сторону и делал вид, что это его не касается.

— Это деньги за участок, — объясняет Август.

— Ах, это!.. — бормочет Каролус.

Зато у Теодора глаза широко раскрылись. Рванный и изголодавшийся Теодор никогда в жизни, бедняга, не видал такой толстой пачки денег, и он восклицает:

— Неужели это все деньги?

— Молчи ты, Теодор! — говорит Август излишне резко.

В сущности, он ничего не имел против того, чтобы бедняк увидел его богатство и его могущество, совсем наоборот, теперь он знал наверное, что это еще до ночи будет известно всему Полену.

Когда Ане-Мария увидела деньги, словно ток пробежал по ней, их вид произвел на нее чарующее впечатление, и разум снова вернулся к ней. В то время как Август отсчитывает сумму и подвигает ее Каролусу, она понимает, что происходит нечто радостное для их дома.

— Уж ты, Август! — говорит она.

— Да, действительно! — восклицает также и Каролус. — Мало того, что я должен ему свой пай за невод, он мне платит за участок все, до последнего гроша. Все, что бы ты ни делал, Август, ты делаешь основательно! Вот ты устроил нам теперь почтовое отделение.

Теодор тотчас придирается к слову: почтовое отделение кормит его, он связан с почтовым отделением.

— Теперь мы все должны сделать все, что от нас зависит, для почтового отделения! — объявил он. — А что касается меня, так я имею там постоянную службу, и ни одно письмо не пропадет, пока я буду ходить с сумкой!

Каролус поглядел на жену и осведомился, нет ли у нее чего в кофейнике. Как же, как же! Если только Август не побрезгает... Но Август поднимается, чтобы уйти: ему некогда, ему надо спешить, у него столько дел. Да, у него не одно дело.

А в г у с т. А о том, что я вам только что открыл, вы, пожалуйста, уж помолчите!

— Это ни в коем случае не сойдет с наших губ, уж настолько-то мы понимаем!

— А что это? — спрашивает Теодор.

Изредка Эдварт оставлял свою работу в Новоселке и заглядывал домой, а однажды, в воскресенье утром, Ловиза-Магрета послала за ним, чтобы он непременно пришел: она одинокa, покинута и людьми и богом и хочет поговорить с ним.

Эдварт не стал торопиться, он вышел после обеда, повстречался с Августом и попросил его пойти с ним.

— Я знаю, чего ей хочется, — сказал он, — но я тут ничем не могу помочь ей.

— Ступай вперед, — отвечал Август, — я сейчас приду.

Август тотчас сообразил, что супруги не в ладах. Теперь они нередко говорили друг другу обидные слова, а несколько времени тому назад у Ловизы-Магреты был истерический припадок, и она кричала: несомненно, она сильно страдала от чего-то.

Август, уверенный в себе и с сознанием своего превосходства, потому что при нем было много денег, поднялся прямо к супругам в их две каморки над кофейней.

— Вот хорошо, что ты пришел, Август! — говорит Ловиза-Магрета со свойственной ей чисто женской стремительностью.

У Эдварта вид был скорее смущенный; молчаливый, как всегда, он сидел, уставившись глазами в пол.

— Каждую минуту могут прийти материалы для моей избы, — говорит Август, чтобы несколько разрядить атмосферу, — а я все еще не заложил фундамента.

— Да, — вяло отзывается Эдварт.

— Я пришел за тобой, чтобы ты помог мне.

— Я всегда к твоим услугам, — отвечает любезно Эдварт.

Ловиза-Магрета тотчас же вмешивается в разговор:

— Вот вы всегда найдете, чем вам заняться, потому что вы мужчины. А вот я так все зря болтаюсь по Полену, и деться мне некуда.

— Миссис Андриус, да ты никак собираешься улизнуть от мужа? — восклицает Август, смеясь.

— А зачем муж мой живет тут, и вообще зачем мы оба тут? — тотчас всплыв, спрашивает она. — Мы тут уж целых семь недель, разве этого не достаточно?

— Ловизе-Магрете хочется домой, в Доппен, — вставил Эдварт.

— Да, на короткое время, как я сказала. Только чтобы проехаться.

— Да, но дело в том, что если мы хотим собрать денег на билеты в Америку, то нам надо быть бережливыми.

— Быть бережливыми! А зачем нужно было ехать сюда? Мы отлично бы могли оставаться там, где были.

— Там, где были! Да ты же сама хотела уехать с фермы.

— Я не говорю про ферму, а про всю огромную Америку. Мы могли бы там быть в сотне мест. К тому же там наша родня.

— Дело в том,— тихо и медленно говорит Эдварт,— что меня начало тянуть домой. Я это чувствовал определенно.

Ловиза-Магрета обращается к Августу как к третьейскому судье:

— Вот точь-в-точь так же он говорил со мной и там, и сколько раз. Он скучал даже в больших городах и все хотел домой. Точно он не мог написать домой и получить ответ, как делают все!

— Мне не хотелось писать, пока наши дела были плохи,— бормочет Эдварт.— Я все ждал, что они поправятся.

Л о в и з а - М а г р е т а. Нам было вовсе уже не так плохо. Разве ты не помнишь в Лякросе или в Дюлюсе? Ты хорошо зарабатывал на лесопилках, мы были прилично одеты, иногда мы ходили в театр, по воскресеньям ездили на поезде за город, не знаю, чего тебе еще нужно было.

Август сидел и слушал, он хорошо понимал точку зрения Ловизы-Магреты: сам бродяга и кругосветный путешественник, он не мог не согласиться, что Эдварт поступил неблагодарно. И в сущности, то, что он на это сказал, было как-то туманно и глупо.

— Я тоже бывал и на лесопилках, и в деревне, и в городах, но я нигде не видел ничего особенно уж так красивого, пока не вернулся сюда.

— Сюда, в Полен? — взвизгнула Ловиза-Магрета.— Это в Полене-то красиво?

— Мне так казалось.

Ловиза-Магрета захохотала, она была взвинчена и продолжала хохотать даже и после того, как заметила, что Эдварт как-то по-детски растроган.

— Так, значит, я никогда ничего красивого и не видала? А во Флориде или в Техасе? — стала вспоминать она.— В голых прериях — и то было лучше, чем здесь.

Эдварт вдруг рассвирепел, он обиделся за родные места:

— Да прекрати ты свою трескотню!

— Ха-ха-ха! — так и заливалась Ловиза-Магрета.

Ей нечего было бояться, тут был посторонний, который, конечно, не дал бы ее в обиду. Она помнила его по Фосену бог

знает сколько уже лет и находила, что в душе он и теперь оставался все тем же закоренелым, непостоянным, ко всему равнодушным холостяком; она говорила с ним в течение этих недель и знала его, и он, в свою очередь, отлично понял ее оторванность от родной почвы и ее безразличное отношение ко всему. Трудно было придумать человека, более подходящего для данной минуты. У них были одни и те же интересы, общая склонность бродить и менять места жительства, одинаковая радость при виде небоскребов и кипящей уличной сутолоки, та же потребность в движении и деятельности, та же страсть к переживаниям и приключениям.

— Как это тебе нравится, Август? — говорит она с чувством оскорбленного достоинства. — Как можно так разговаривать со своей женой! Этого никогда я не слыхала в Америке. Он сказал, что я трещу!

Август. Что это я хотел сказать, Эдварт? Да, если миссис хочет съездить в Доппен, то ты не должен ей препятствовать.

— Ты находишь? — говорит Эдварт.

— Да. Потому что в этом нет ничего удивительного, что ей хочется увидеть место своего рождения в Старом свете.

— Она ведь и раньше приезжала и видела его, но не могла остаться жить там, хотя тогда это поместье было наше собственное, а теперь Доппен к тому же в чужих руках.

— Остаться жить там! — вскрикивает Ловиза-Магрета. — Неужели ты думаешь, что я собираюсь заживо похоронить себя в Доппене?

— Но ведь ты оттуда.

— Слыхал ли ты что-нибудь подобное, Август? Ну, что же из того, что я оттуда?

Август спрашивает:

— Тебя смущают расходы, Эдварт?

— Да.

— В таком случае поезжай сегодня же вечером с почтовой лодкой, миссис Андрыус, — распорядился Август. — И не стоит придавать значения этим несчастным грошам.

Ловиза-Магрета оживилась, слабый свет озарил ее лицо, она совсем ободрилась, тряхнула головой в сторону Эдварта и пробормотала:

— Вот слова настоящего мужчины. Он не говорит, что я трещу!

Август вмешивается:

— Ну, теперь помирись, миссис Андрыус!

— Я охотно бы помирилась. Мне только стыдно, что кто-нибудь услышит, как он говорит со мной.

Эдварт медленно поднял на нее глаза и ответил:

— Я на своем веку со многими поступал гораздо хуже, чем с тобой Ловиза-Магрета.

— Вот как! Послушай, Август, опять начинается то же самое!

Она была страшно возбуждена и измучена. Продолжительное безделье, а может быть, и более интимные причины огорчали ее необычайно, она становилась несправедливой; то обстоятельство, что она намного старше мужа, часто приобретало для нее ужасное значение, она волновалась, что недостаточно красива для него, что она стареет, что время безумных ночей прошло. Сколько раз за границей напоминал он ей про невинность и про то, какая она была красивая и милая когда-то! «Помнишь, Ловиза-Магрета, как ты в первый раз прибежала к лодке, босая, в одной рубашке и юбке? “Придите и помогите мне спасти овцу: она застряла на скале, это такая славная овца с мягкой, красивой шерстью!” У тебя были такие брови, в них было что-то особенное, — ах, боже, какие у тебя были брови и глаза тогда, я совсем опьянел от них...»

Он повторял эту чепуху много раз в течение многих лет; все это была ерунда, ей даже не следовало бы слушать это. Невинность! Хороша невинность у матери троих детей еще от первого брака, ха-ха-ха! И потом, что это он сказал о бровях? Никогда не слыхала она ничего подобного в Америке. Опьянел! Какой грубый язык! И потом, ведь брови у нее оставались все те же и теперь, но разве он пьянел от них?

— Ну, или ничего не начинается, Эдварт? — спрашивает она в отчаянии.

Эдварт хочет сказать что-то, но Август останавливает его и опять предлагает:

— Ну, помирись же, Эдварт!

Она хватает коробочку с пудрой, пудрит нос и, обращаясь к Августу, говорит то, что всегда говорит в таких случаях:

— Это я не красоту навожу, но пудра так приятно освежает! Я совсем не забочусь о красоте, хожу все в том же платье, в котором приехала, потом у меня есть еще одно, вот и все.

Молчание.

— Но я больше ничего не скажу. А то я опять получу в ответ, что я когда-то ходила босиком, в одной рубашке и юбке.

Вполне очевидно — она была на границе истерики: ее кожные губы побледнели и стали белыми, глаза неестественно блестели.

— Он обычно говорит, что мы дурно начали,— продолжала она, потеряв всякий стыд,— он говорит, что мы нарушили закон и что потому наш союз не может быть прочным.

А в г у с т. Ну, помиритесь же!

— Да, но мужа моего так и не нашли в Америке; это я все выдумала, чтоб иметь возможность приехать сюда. Он пропал, и тогда он все еще не был разыскан. А кроме всего я была разведена с ним.

— Ну, хорошо, ну, хорошо, миссис Андриус!

— Значит, ничего незаконного не было. А он все-таки так говорил со мной там, в Америке: «Мы начали с того, что нарушили закон,— говорил он,— и это могло длиться годы и годы, но все-таки наш союз не мог быть прочным».

— Ну, перестань же!

Она выронила из рук пуховку, которая покатилась к ногам Эдварта, он встал и подал ей ее. В это мгновение выражение досады прошло по ее лицу, словно ей стало страшно, что он пойдет ей навстречу и они помирятся.

— Молчи! Брось ее, брось! — И она разразилась слезами.

Август смутился, огляделся кругом, ему показалось, что лучше всего было бы ему уйти сейчас. Эдварт кивнул головой и сказал:

— Я так и знал!

Теперь победа была на его стороне.

Да, нелегкая была жизнь и у Ловизы-Магреты! Тупое терпение Эдварта было ужасно и выводило ее из себя. Конечно, он желал ей зла, это сразу было видно. Она содрогалась вся от судорожных рыданий, вид у нее был жалкий, с ее разинутым ртом и мокрым носом, а он молчал, может быть, смеялся про себя, злорадствовал, глядя на ее перекошенное лицо, и ничего не хотел сказать или сделать, чтобы утешить ее, не хотел, чтобы гримаса сошла с ее лица.

Ловиза-Магрета храбро переносила свое унижение, она сделала усилие и овладела собой:

— Не уходи! — закричала она Августу.— Сядь на минуту! Сейчас все пройдет, это пустяки, это я сдуру. Не бойся, я не буду кричать, я чувствую себя такой покинутой и богом и людьми, но я не буду кричать.

Эдварт сидел, все тот же, неповоротливый и молчаливый. Он мог бы пойти ей навстречу и облегчить ее горе ласковым словом, мог бы погладить ее по волосам, но у этого человека не было сердца. А она-то всегда, всю свою жизнь, остерегалась даже упоминать о своих трех детях от первого брака, не желая доставлять ему неприятности.

Она сдержала слово, она не кричала и только тяжело всхлипывала. Прошло довольно много времени, прежде чем она успокоилась совсем.

Тем это и кончилось.

Эдварт вернулся в Новоселок, а Ловиза-Магрета принялась упаковывать свои вещи, дорогие баночки с мазью и пузырьками с чудодейственными каплями. Нельзя сказать, чтобы у нее было много багажа, когда она садилась в почтовую лодку; может, ей было даже страшновато: был уже поздний вечер, и им приходилось идти в лодке на веслах ночью, потому что только утром почтовый пароход должен был прибыть к месту остановки. Холодный ночной бриз дул прямо на Полен.

Несколько часов спустя какой-то высокий, худой человек выходит из Новоселка и крадучись направляется вниз к сараям. Ночь была темная. Человек ищет легкоходную лодку, но такой лодки нет, на берегу лежит только челн от большой лодки из-под невода. Человек очень взволнован и торопится, без колебаний он входит в челн, гребет к большой лодке, втаскивает в нее челн и отвязывает ее, и вот он берется за пару огромных тяжелых весел.

Лодка идет, да, она идет, но у такой лодки трудный, тяжелый ход, она медленно проплывает мимо мыса и островков. Он гребет несколько часов подряд, — у него дело на паровой остановке: ему хочется встать в своей лодке и немного помахать на прощанье платком. Они расстанутся всего только на две, на три недели, но он решил помахать платком, он обдумал и решил это сделать. Только бы ему вовремя прийти. Вот на востоке занялась уже заря... Но всякая работа ему ни почем: он гребет и гребет...

Конечно, он приходит слишком поздно: он видит дымок, — это почтовый пароход опять направляется в открытое море. Он складывает весла и сплевывает. Он слишком долго колебался, прежде чем отправиться к сараям. Но что делать? Видно, так было суждено! Он сплевывает еще раз, вытирает лоб, оправляется. Вдруг он, пораженный, настораживается: дым повернул, он висит в воздухе дугой, он закругляется все более и более в кольцо. Что такое? Пароход еще не направляется в открытое море, он плывет внутрь фиорда, описывает полукруг, чтобы подойти к остановке. Человек снова бросается к веслам и гребет, он еще успеет...

Но все-таки случилось так, что он опоздал, оставалось пройти еще один последний мыс. Если бы только он не сложил весел на эти несколько минут! Теперь он видит: дым стелется по направлению к морю.

Тем это и кончилось.

## ГЛАВА VIII

---

Август строит дом в две комнаты, с коридором и кухней внизу и с двумя спальнями наверху под крышей. У него работают четверо: один из них Эдварт. Эдварт не из последних: он научился кое-чему, когда работал при постройке своих собственных домиков на фермах.

Август строит не обычную поленскую избу с четырьмя простыми стенами и дерновой крышей,— нет, для его дома образцом послужили иностранные виллы и дачи; здесь пристройка, тут башенка, там приспособления для маркиз и веранда со столбами, разноцветные стекла в дверях и арки на черепичной крыше. Ну, чем не заморское строение и не достопримечательность! Но больше всего люди недоумевали по поводу того, зачем ему понадобилось столько комнат.

— Над чем это ты трудишься? — спрашивает его Паулина.— Строишь ты, что ль, для жены и детей? Уж не собираешься ли ты жениться?

— Как прежде не собирался, так не собираюсь и теперь. Знаем мы, что делается с людьми, которые женятся.

Они оба подумали об Эдварте и Ловизе-Магрете, об их сценах и спорах, ставших под конец совершенно невыносимыми; Паулине не раз на дню приходили они в голову.

— Понимаешь ли ты, почему она так задержалась в этом Доппене? — спрашивает она.

Август оглядывается по сторонам и отвечает шепотом:

— Да, понимаю. Она сбежала!

— Да не может быть!

— Сбежала. Она проехала мимо Доппена.

— Разве ты дал ей так много денег?

— Достаточно, чтобы дать ей возможность перемахнуть за океан, если бы ей это вздумалось.

Паулина качает головой и опускает глаза, чтобы скрыть свою виновность. Да, последние недели у нее было подозрение, была тайная надежда. Теперь она боится, что выдаст себя, и постепенно отступает от опасной темы.



— Если ты думаешь, что это так, то переезжай обратно в свою комнату над кофейней. Где ты спал все это время?

— Не все ли равно, где спать? Мне приходилось ночевать и в девственном лесу, и на палубе, и на пуховой постели,— это неважно для меня.

— Мне кажется, я замечала иногда приставшие к твоему платью соломинки.

— А что из этого? Я ночевал на сеновале у Каролуса, и мне было тепло и мягко. Я давно знаю это место,— весело добавляет Август,— я сидел там однажды в юности и играл на гармонике целую ночь.

П а у л и н а. Да, я давно хотела спросить тебя: почему ты больше не играешь? Ты играл так мастерски! Или у тебя нет инструмента?

— Я не играл мастерски и никогда больше не буду играть,— отвечает Август.— Сорок семь лет топтал я земную поверхность — это что-нибудь да значит! Музыка — ерунда! Я также не пью и не прикасаюсь к тому, что называется женщиной и любовью; это все связано одно с другим, и все — одинаковая ерунда! А слыхала ли ты, например, чтобы я говорил по-русски, или по-английски, или на языке людоедов? Баста! Слыхала ли, чтоб я врал, хвастал или преувеличивал? Никогда этому больше не бывать! Ведь надо же наконец взяться за ум и стать солидным.

Паулина имела свои основания сомневаться кое в чем из этого, и она прервала его:

— Как бы там ни было, но только ты должен перейти теперь обратно в свою комнату.

— Пока еще никак не могу,— отвечает Август. И этот старый, ко всему равнодушный моряк и беспутный малый добавляет: — А то Эдварт подумает еще чего доброго, что она умерла или пропала.

— А ты думаешь, что он все еще ждет ее?

— Наверное. Впрочем, не знаю.

— А ты не поговоришь с ним?

— Подожду пока,— отвечает Август,— верно, скоро придет письмо. Которое у нас число сегодня?

— Двадцатое.

Август взмахивает руками и тотчас же опускает их.

— В чем дело? — вскрикивает Паулина.

— Я забыл про восемнадцатое,— мрачно говорит он.

Вдруг он разразился громким смехом:

— А я ведь сам не знаю, что случилось восемнадцатого.

А ты знаешь?

— Что такое?

— Ничего. Это я просто выдумал одну историю.

Шкиперы и матросы с сельдяных судов во Внешнем Полене приходили иногда по праздникам и свободным дням и осматривали дом Августа. И было что посмотреть: снаружи странный и вычурный, настоящий выскочка среди домов, изнутри он производил приятное впечатление удачным расположением комнат и своими шкафами и чуланами, вделанными прямо в стены.

Август охотно водил посетителей всюду. «Вот бы мне такой домик!» — желали одни. «Эта крыша не скоро сгниет, — говорили другие. — А разноцветные стекла в наружных дверях — настоящее чудо!»

Один из шкиперов много раз осматривал дом и под конец захотел купить его. Дом казался ему подходящим для его семьи, а поселившись здесь, в Полене, он избавлялся от необходимости постоянных переездов туда и обратно, в зависимости от осенней и весенней рыбной ловли. К тому же тут было еще два преимущества: дом был уже готов, а Полен представлял собой прекрасную гавань для его судна. Не найдет ли Август возможным заключить торговую сделку?

Они поговорили об этом; в сущности Август не собирался продавать дом, но он не ответил прямым отказом, — вряд ли ему придется въехать в дом самому. Но сколько же он хочет получить за дом?

— Если уж продавать, то я продам за столько, во сколько дом и земля обошлись мне самому, — сказал Август. — Я не имею обыкновения преувеличивать и прибавлять лишнее, — сказал он, — это знают все, кто имеет со мной дело.

Он назвал сумму. Денег он потребовал целую кучу, но шкипер должен был принять в расчет, что материал был из Намсена, разноцветные стекла прибыли чуть ли не из самой Индии, черепица с Малайского архипелага, — ведь не из какого-нибудь хлама, собранного где попало, построен этот дом. Шкипер был выдержанный человек, владелец своего судна и денег, сверх того, он также хотел немножко показать себя и не стал торговаться; кончилось тем, что дом и земля остались за ним, расплата наличными — с одной стороны, и бумаги в полном порядке — с другой. Покупателя этого звали шкипер Ролансен.

— Я не собирался продавать, — сказал Август, — но необходимо внести оживление в Полен, торговля должна развиваться.

Да, торговля шла, но Август оставался по-прежнему бездомным. Каролус почувствовал себя несколько обиженным тем, что тот так распорядился с его участком.

— Август построил самый нарядный дом в Полене и никогда не выстроит еще такого. Но в конце концов это меня не касается, — сказал Каролус.

— Таков мой жребий, — отвечает Август. — Вот однажды я купил невод и уже через неделю продал его вам, поленцам. Очевидно, такова моя судьба, что нет мне дома и родного угла нигде на всем земном шаре.

Ане-Марию растрогал его печальный тон, и она ему отвечает:

— Ах, не надо думать так, Август!

Верно, ей вспомнились деньги, полученные за участок, деньги, которые ей доставили много радости; действительно, теперь ей не приходится дожидаться своей очереди, чтобы получить полфунта кофе в лавке Паулины, она расплачивается наличными, и ждать приходится другим. Она смотрит на мужа и говорит:

— Тебе придется уступить Августу другой участок!

Продолжительное молчание со стороны Каролуса, разрешившееся уклончивым ответом:

— Мы еще не знаем, собирается ли Август строиться еще раз.

Но Август хотел строиться и еще раз испытать свою судьбу. Он предложил даже несколько больше за новый участок на этот раз, в том случае, если ему дадут часть луга над шкипером Ролансеном.

Считает ли Каролус возможным уступить этот клочок? Продолжительное молчание. Каролус хотел подумать об этом.

И еще раз сделка состоялась. Можно было получить большие деньги, Каролус продал, и Август стал строиться снова.

Строительство было настоящим благословением для Полена и его окрестностей, потому что это было как раз в мертвый сезон для рыбного лова и народ ничего не зарабатывал. Четыре плотника, кроме возчиков и маляров, имели в течение многих недель постоянную работу на стройке. Август выплачивал жалованье каждую субботу, и все деньги в конце концов стекались в лавку к Паулине.

Сам Август превратился понемногу в изобретательного застройщика. Новый дом оказался еще наряднее, коридор внизу заканчивался окном, а в окно были вставлены голубые и красные стекла. Это было необычайно и чудесно; войдя в коридор, человек чувствовал себя как в сказке: при взгляде через окно на пейзаж трава становилась красной и море — желтым. Простой народ из Полена никогда не видывал такого зрелища. Не

то, чтобы у человека перевертывалось все в голове, нет, но что-то осеняло его и как будто пронзало сознание; люди стояли и смеялись, очарованные.

Но не в этом одном заключалось все великолепие и роскошь постройки Августа. Он окружил ее изгородью, выкрашенной в белую краску, увенчал шестом для флага на кровле дома.

— Ну, теперь, кажется все,— сказал Август, оглядывая дом, перед тем как поднять флаг.

Он шел домой победителем, оборачивался, кивал головой и что-то бормотал. Эдварт сопровождал его; старые друзья часто бывали вместе и были между собой в очень хороших отношениях.

Август спросил:

— Я видел, ты получил письмо сегодня?

— Да,— отвечал Эдварт,— от Ловизы-Магреты. Вероятно, она сообщает, что скоро приедет.

— А ты разве его не читал?

— Нет. Мне было некогда.

— Где же она?

— А где же ей быть? В Доппене или по соседству, я не знаю.

— Ну и дурак же ты! Даже не прочел письма! — говорит Август.

Эдварт вдруг рассердился:

— Ну, так возьми и прочти его сам!

— Американские марки! — кивает Август и распечатывает письмо.

Эдварт удивился, точно он получил пакет с сюрпризом или письмо прямо с неба:

— Как же так? Она не в Доппене? Я поглядел только на почерк. Так ты говоришь, она в Америке? Где же в Америке?

«...у нашей дочери миссис Адамс,— читает Август,— куда я также тебя ожидаю в ближайшем будущем, как только у тебя будут средства».

Во время чтения Эдварт кивал головой и улыбался. Было ли у него раньше подозрение относительно того, что жена сбежала? Глядя на него, этого нельзя было сказать; он с интересом прислушивался к каждому слову и под конец сказал:

— Так! Значит, она взяла и уехала в Америку, заодно уж. На нее похоже так это устроить! Иногда в Америке нам не хватало денег на билеты, так она поговорит с кондуктором, и никто не умел говорить так по-английски, как она: «Потеряла билет... его унесло у меня ветром на платформе...»

Эдварт продолжал болтать, молчаливый человек стал вдруг очень разговорчивым, оттого ли, что он хотел оправдать

жену, или от его собственной неуверенности — неизвестно. Придя в лавку, он продолжал все в том же тоне и сообщил Паулине, как неожиданную новость, что Ловиза- Магрета находится в Америке.

— Представь себе — в Америке! И это еще удивительно, что она не в Китае: такая она предприимчивая! Мне будет очень заметно ее отсутствие, когда я теперь сам поеду обратно один. Прямо замечательно! — продолжает свою болтовню Эдварт.— Она проспала Доппен, тогда она и решила ехать дальше и остановилась только в Америке! Конечно, теперь она в надежном месте, там, у нашей дочери, но я повторяю, что не всякий сумел бы проделать это путешествие. Теперь она, конечно, настойчиво требует также и меня. Дай мне, пожалуйста, хорошей почтовой бумаги, Паулина, я сразу же отвечу ей.

Опять пошла сельдь, и опять начался лов. Иоаким собрал свою артель и вышел в море. Суда скупщиков, работа, местечко оживилось, торговля пошла бойчее. По праздникам и в часы досуга шкиперы и матросы стали снова приходиться осматривать Августовы строения, заходили в гости к Ролансену, который с женой и детьми успел уже переехать в новый дом; собирались и у новой постройки Августа, и их охотно пускали внутрь, посмотреть сквозь цветные стекла.

И вот однажды появился покупатель и на новый дом.

Август, собственно говоря, не собирался продавать. К тому же это был очень дорогой дом: горница была оклеена особенными обоями, окно в коридоре — с индийскими стеклами. Но именно поэтому покупателю так и хотелось купить его, а потом он не имел ничего против того, чтобы перещеголять шкипера Ролансена.

— Сколько стоит дом?

Август не хотел наживаться на доме, для этого у него были слишком крупные дела в Гамбурге и других городах, — посмотрите, у него карман полон писем, полученных вчера и сегодня! Потом этот дом он строил для себя.

Прошло несколько дней, и Август продал дом. Покупателем был на этот раз молодой владелец невода Габриэльсен, сын человека, который лет двадцать тому назад имел торговлю здесь, в местечке, и обанкротился. Молодой господин был немного избалован, учился немецкому языку у гувернантки, вырос у состоятельных родственников из купечества, был женихом и надеялся, заключая сделку с Августом, положить

основание будущему семейному очагу; пока же во всяком случае ему принадлежал самый красивый дом в Полене.

Август в третий раз очутился без крова.

— Да,— сказала Ане-Мария,— на этот раз я совсем уже не знаю, как тебе помочь.

— Да,— согласился и Август,— помочь трудно.

А что, если он подождет, пока Каролус вернется с рыбного лова? Или это бесполезно?

— Да, бесполезно.

Августа удивляло то, что некоторые люди выказывают такое глупое упорство и не желают продавать свою землю. Ведь они получают за это деньги.

— А, может, сделка все-таки состоится?

Ане-Мария в заключение согласилась, так как продажа обоих участков превратила их с мужем совсем в других людей: они стали людьми с деньгами, настоящими маленькими капиталистами, у них были средства в запасе, они могли бы потребовать весь товар из лавки Паулины и заплатить за него. А как много это значило лично для Ане-Марии! Если она и отбывала когда-то наказание, то это было давно, в ее ранней молодости, когда она еще ничего не понимала. Мало ли на какое безумие бывает способна молодежь и несет за это наказание, но время сглаживает все.

— Это не значит, что я опять собираюсь строиться,— пояснил Август.— Я положил только этому начало, а теперь пускай строят другие, если им угодно. Со временем Полен будет крупным промышленным и торговым центром.

— Так ты, значит, больше не хочешь строить? — спросила Ане-Мария.

А в г у с т. Нет, я хочу только купить клочок земли, чтобы кое-что посеять на нем.

«Так, пожалуй, скоро и земли для продажи не хватит», — подумала, вероятно, Ане-Мария.

Август продолжает:

— Небольшой лужок повыше того места, где я строился в последний раз, вполне подошел бы для меня. Я хочу кой-что посеять там; что именно, не скажу, но семена у меня с собой в чемодане. И я заплачу значительно больше на этот раз.

— Еще больше?!

А в г у с т. Да, еще больше. Но об этом не стоит и говорить, раз Каролуса все равно нет дома.

Вдруг Ане-Мария говорит:

— Ну, а если ты пойдешь да возьмешь луг, прежде чем Каролус вернется?

— А разве это можно?

— Но ведь он получит за это деньги,— говорит она.

Тут словно сам черт вселился в Августа, он бросился к Ане-Марии и стал ее поглаживать то тут, то там. Это было что-то невероятное, его лицо выражало отчаяние, и она не понимала, чего он от нее хочет, она смотрела в сторону и думала: «Пусть будет, что будет».

— Ах, если б я только смел,— услышала она его шепот.

— Что такое? — спросила она.

— Так, ничего.

— А ты не смеешь?

— Нет, не сейчас. Пока еще нет, нет. Через год.

«Глупая шутка!» — подумала, вероятно, Ане-Мария и освободилась из его объятий.

Но этот случай пошел им обоим на пользу: Ане-Мария осталась с целой грудой кредитных билетов, а Август ушел обладателем нового куска земли в Полене. Чертовски подходящий клочок луга: со скалой на заднем плане, с небольшим ручейком сбоку, земля без единого камешка, лучше и желать нельзя. Не было никаких признаков, что он хочет воздвигать здесь дом и тем испортить дорогую плодородную землю; он настроился, верно, досыта, о чем, впрочем, он и сам заявил. И когда Каролус вернулся с рыбного лова, не сделав заграждения и ничего не заработав, Ане-Мария легко заставила его признать свою торговую сделку с землей: она просто протянула ему деньги.

— Вот это замечательно! — воскликнул сраженный Каролус.

Все было в порядке.

Август много времени проводил на судах скупщиков и рыболовов во Внешнем Полене, он был отличный рассказчик и имел также большой опыт в разных областях; в его разносторонности нельзя было сомневаться, у него часто спрашивали совета, он был добр и охотно отвечал. Ему нравилось, что люди начинали говорить ему «вы».

— Вам бы следовало выстроить дом и мне,— говорили ему.

— Строй сам,— отвечал Август.— Это обойдется дешевле.

— Да ведь у меня даже участка нет.

— Участок найдется.

— Вы думаете? Но у меня и денег на постройку нет.

Август задумывается над этим.

— Безобразие, что у нас до сих пор нет банка в Полене!  
А то ты мог бы занять там денег.

Уже одно то, что Август при своем добродушии никогда никого не отстранял от себя, всех располагало в его пользу. Он мог во многих случаях найти выход или указать на светлую точку во тьме, а некоторым он помогал и по-настоящему, более чем одними разговорами.

К нему пришел Родерик, сын Теодора и Рагны, тот, который вместе с отцом возил почту, отличный молодой человек,— его работу хвалили всюду по окрестным дворам. Он пришел к Августу, и тот с трудом заставил его сказать, чего он, собственно, хочет. Дело в том, что у него было сто тридцать крон или добрых тридцать долларов денег, и вот девушка хочет, чтобы они поженились, но ему-то это совсем не к спеху,— пусть Август не думает этого о нем...

— Сто тридцать крон,— повторил Август в раздумье.— У меня нередко бывало меньше.

— Вы находите, что это много? Но на такие деньги не выстроишь дома.

— Ты, пожалуй, прав,— говорит Август.— А земля у тебя есть?

— Да. Я могу пристроить избу прямо к дому моего отца, так что придется строить только три стены.

Август кивнул головой и спросил:

— А ты не можешь приработать на сельди во Внешнем Полене?

Родерик. Видите ли, я вожу почту на пароходную остановку, и это берет у меня два дня в неделю. Когда я прихожу во Внешний Полен, то оказывается, что чистильщики и соляльщики наполовину уже покончили с уловом, и я сижу без дела. Я уже пробовал.

Август думает.

— Видите ли,— продолжает Родерик,— у меня казенное место на почте, потом я получаю еще за прокат лодки, так что имею верный заработок круглый год, а не только во время лова сельди.

Август замечает свет во тьме.

— Первым делом,— говорит он,— ты раздобудешь лошадь и плуг и вспашешь мой клочок луга, что повыше Габриэльсена. За это ты получишь двадцать крон. И у тебя будет уже сто пятьдесят.

— Да.

— Я бы предпочел, чтобы мы вспахали машинами, как это делают везде на свете,— говорит Август,— только это взяло



бы очень много времени — привезти сюда машину. После того как вспашешь, ты станешь боронить, и это важнее всего; ты будешь боронить и боронить, пока я не скажу, что довольно.

— А что вы посеете?

— Когда ты это сделаешь, то вроешь в землю вокруг всего поля столбы для проволочного ограждения. Ты понимаешь что-нибудь в этой работе?

— Да, мне приходилось это делать. Но что вы посеете на поле?

— Когда ты кончишь боронить, вроешь столбы и укрепишь колючую проволоку, ты получишь еще пятьдесят крон. Это будет уже двести.

— Великолепно! — восклицает Родерик.

В заключение Август заявляет так:

— А о подробностях будем говорить по мере надобности.

И не одному Родерику Август помог выстроить дом в Полене. Прежде всего приходилось доставать участки. Ему стоило труда убеждать землевладельцев, что это их прямая выгода — продать землю и получить деньги. Он побывал у Эзры и получил отказ; он рассказал об этом Иоакиму, который только посмеялся над ним. Он опять обратился к Ане-Марии и Каролусу, и сначала ходатайство его не имело успеха.

Сейчас Август хлопотал для двух человек из экипажа шхуны, скупавшей рыбу; им захотелось выстроить, сообразно их средствам, по небольшой избе, два совсем простых дома, четыре стены под дерновой крышей; им нужно было только по участку для избы и по клочку песчаной земли, где можно было бы посадить полмешка картошки, о настоящем поле или луге не было и речи.

Август еще раз поговорил с Каролусом и Ане-Марией и дал им понять, что если б это была его земля, он продал бы ее всю до последнего клочка и взял бы за это деньги, пока их давали. На что Каролусу земля? У него не было детей, чтобы оставить им ее, он сам входил в преклонный возраст и принужден был нанимать работника, круглый год он только и знал, что трудился в поте лица своего. Совсем другое дело ощущать на груди у себя, во внутреннем кармане, аппетитный толстый бумажник с деньгами.

На очереди были участки для двух скупщиков сельди; конечно, Каролус продал. Между прочим, Ане-Мария первая поняла, как всецело прав был Август. О, она всегда понимала все первая, для Каролуса она была незаменимой помощницей.

Но вот продажа земли превратилась в эпидемию. Народ из окрестностей приходил в Полен и скупал участки, началось переселение, люди покупали участки и строили, кто во что го-

разд. Эдварт был непременным плотником повсюду, он переходил от одной стройки к другой и ни одного дня не оставался без работы. Он не уехал, как собирался, в Америку, он все откладывал и откладывал, он не ответил даже на письмо Ловизе-Магрете. Писать письма было ему так же трудно, как и в юные годы; взять перо в руки было для него мучением, — ему больше нравилось ремесло плотника.

Шло время; он делался все искуснее в своей специальности. Боже мой, как он рубил, пилил и сколачивал, как молодецки обращался с рубанком! Да, он был рьяным работником с утра до вечера; дело у него спорилось, целые горы стружек вырастали у его ног. Эдварта наперебой старались заполучить к себе: он не говорил лишнего слова и никогда не смеялся; оттого он успешно работал; ни один из переселенцев не хотел обойтись без него при постройке, его заманивали к себе, навбавляя плату.

Разве можно было при таком положении дел думать об отъезде в Америку вслед за женой? А ей было, конечно, хорошо там, у их дочери, миссис Адамс. Эдварт сам не желал для себя лучшей жизни, какую он вел теперь.

Август также преуспевал. Он был преобразователем и творческим духом Полен, он сам ликовал на своем триумфе. Деньги так и сыпались в Полен, земля, годная под стройку, давала тысячи, работники и возчики зарабатывали отлично, процент неуплаченных налогов все время понижался. И причиной этого расцвета был Август: он нажал пальцем кнопку, и все завертелось. Теперь оставалось только неуклонно выполнять его ясный план: превратить Полен в крупный центр.

— Да, — сказал Август, — или мы должны пойти нога в ногу с веком, или отстанем навсегда!

Он утверждал, вполне справедливо, что своими роскошными дачами он покрыл славой родной приход.

— Где в другом месте ты можешь так уютно сидеть под тенью маркиз? — спрашивал он.

— Да, но здесь так холодно, я замерзаю, — жаловалась жена шкипера, мадам Ролансен.

— А тогда ступай в коридор, — говорил Август. — Где в другом месте увидишь ты такие цветные стекла?

Вообще Август имел готовый ответ на все; впрочем, ему и не противоречили, каждому бросалась в глаза необычайная перемена, происшедшая в Полене: местечко разрасталось, в нем появилось около двадцати новых домов, оно было теперь более тесно застроено, чем Внутренний приход, который всегда хотел задавать всем тон, — берегись теперь, как бы не пришлось

и церкви и усадьбе священника переехать в Полен. Большие перемены: у всех деньги на руках, бодрое настроение, беззаботная жизнь, веселые лица.

Ане-Мария также была довольна и торжествовала. Во-первых, она заставила мужа восемь раз продавать землю под застройку; это она считала восемью победами. Но когда на остатках земли они не могли прокормить и лошади, муж стал тревожиться за будущее двора.

— Денег у нас,— стыдно сказать, сколько! — говорил он,— а двор мы весь распродали.

Против этого ничего нельзя было возразить. Ане-Мария и не спорила, не сверкала глазами и не горячилась, хотя и была так бесспорно права. Она была хитрее: по ночам она своими разговорами совсем сбивала его с толку.

Она начинала с того, что чистосердечно признавалась, что отбывала когда-то наказание: не то, чтобы ей это было особенно неприятно, но люди сторонились ее, уходили при ее приближении. Она могла рассчитывать на лучший прием, возвратившись оттуда, где условия и жизнь были куда более крупного масштаба, чем в Полене. Но что скажет на это Каролус? Он ведь видал кое-что на своем веку, был старостой, имел вес. «Что ты думаешь об этом, Каролус, разве я не права?» Она знает жизнь и многому научилась, она видала большие города, встречала множество людей и разговаривала с ними; обитатели Полена могли бы сесть у ее ног и расспрашивать ее о великом Троньеме. Но нет! Вместо этого ей приходилось стоять в лавчонке у Паулины и дожидаться, пока ей отвесят полфунта кофе!

— Ну, а теперь, Каролус, когда мы продали эти участки под застройку и растолстели от денег, разве теперь так?

«Пожалуйста, фунт кофе, да поскорее, у меня вода выкипит над очагом!» И она торопится, что есть мочи. И как не торопиться? Ведь она рискует, что жена богатого Каролуса выпишет сама из города бочку кофе!

Каролус польщен:

— Ха-ха-ха! А рисковать-то ей не хочется!

— Она рисковать совсем не любит. Она даже «вы» мне говорит теперь.

Но Каролус никак не мог забыть, что его владение уменьшилось и приходилось пожертвовать лошадью: ведь это было его личное дело, и самое важное дело. До тех пор, пока не разбогател Эзра из Новоселка, Каролус был самым крупным землевладельцем в Полене.

— Но разве ты можешь жаловаться? — восклицает Ане-Мария.— Ведь ты же богат и можешь стать еще богаче. Разве

когда-нибудь раньше тебя уважали и чтили так, как теперь? Разве ты стал бы меняться на прежнее?

В этом она была права. Ни тогда, когда он был крупным судовладельцем и старшиной артели в Лофотенах, ни позже, когда он был старостой в родном приходе, не пользовался он таким почетом. Теперь он только спокойно разгуливал, курил дорогой табак в носогрейке, точь-в-точь как ленсман, и если встречался с кем, то все раскланивались с ним. А что касается одежды, то ходил ли он теперь когда-нибудь с заплатой на штанах или шнуровал башмаки веревочкой? Свою вечную зюдвестку он повесил на гвоздь и вместо нее купил себе шляпу; у него завелся пестрый шерстяной шарф, он даже в будни носил часы на блестящей цепочке и калоши!

Нет, Каролус не хотел бы переменить эту жизнь на прежнюю. Эта чертовски умная, отличная Ане-Мария и на этот раз быстрее сообразила, что лучше; несомненно, она была главой в доме.

Каролус отлично сознавал, что он не был пригоден для своей жены, любившей мужчин: он был довольно вялый, ленивый человек, более всего ценивший покой; впрочем, когда-то давно он испытывал слабые порывы ревности. Жену же никак нельзя было назвать кроткой, это была женщина, прекрасно одаренная природой, довольно крупная и пышная, к тому же особенно приятная, когда задавалась целью быть такой. Читать она умела с детских лет, а во время своего пребывания на юге научилась также писать, она писала буквы, цифры и слова, — это она выполняла письменную работу при продаже участков. Муж с удивлением следил за ее быстрой рукой.

Одним словом, Ане-Мария умела сбить мужа с толку, и по мере того, как время шло, она писала контракты на земельные участки по дороге вниз вплоть до лодочных сараев.

Каролус говорил:

— У нас осталась только земля в горах, скоро негде будет прокормить и двух коз — для молока к кофе.

Зато его внутренний карман сильно вздулся.

## ГЛАВА IX

---

Август сказал Каролусу:

— Твой внутренний карман слишком раздулся. Необходимо открыть банк в Полене.

— Да, — отвечал Каролус.

— Ведь нельзя же носить все деньги при себе! Ты поместишь их в Поленский банк, в Поленскую сберегательную кассу и будешь получать проценты на них.

— Да, да,— опять отвечал Каролус.

Он ничего не соображал в этом. В сущности, ему нравилось ходить с толстым бумажником и важничать, он любил похвастать.

— Сегодня вечером у Иоакима будет собрание учредителей банка,— сообщил Август. И, сказав это, он знал уже на верное, что Каролус не преминет явиться.

Август пошел дальше предупреждать о собрании, подбирал своих людей, составил уже в голове список имен, одни из них мысленно отметил крестиком, другие вычеркнул. Он уже прежде говорил со шкиперами и рыбаками во Внешнем Полене, теперь он пошел к новой стройке у берега, где работал Эдварт, пригласил его сойти вниз с лесов и посвятил в дело.

— Но у меня денег всего пятьсот-шестьсот крон,— сказал Эдварт скромно.

Август засмеялся:

— Ха-ха-ха, ты чудак, Эдварт! И ты никогда не был особенно догадлив. Я не за кронами твоими пришел, сегодня вечером мы только подпишемся и заплатим десять крон с каждой сотни; потом, через месяц, мы заплатим остальное. Но пятьсот-шестьсот крон — это немного: это только пять акций. Чтобы начать существовать, банку нужно по крайней мере двести акций.

— У меня больше нет,— сказал Эдварт.

— Послушай, собрание будет сегодня, в семь часов вечера. Иоаким, твой брат, будет председателем, а если он не захочет, то я сам поведу собрание, но он во всяком случае будет вести протокол. Когда начнут подписываться, то ты не будь непременно первым, потому что я решил раз навсегда не хвастаться и не преувеличивать, но после того как двое или трое из Внешнего Полена подпишутся на какие-нибудь пустяки, тогда наступит твоя очередь. «Пятьдесят акций!» — скажешь ты.

Эдварт глаза вытаращил:

— Это сколько же будет?

— Об этом и думать не смей! — успокаивает его Август. — Деньги ты получишь от меня. Вот первым делом пятьсот крон на сегодняшний вечер.

— Ах, вот оно что! — говорит Эдварт и берет деньги.

— Только об этом никто не должен знать, никому ни слова.

— Хорошо.

— Да. Потому, что я перестал преувеличивать и прибавлять лишнее. Но если ты заявишь пятьдесят акций, то другим станет стыдно подписываться на меньшее, и дело пойдет гладко. Эдварт кивнул головой.

Семь часов.

У Иоакима полная горница, все акционеры, и еще Теодор. Торжественная тишина. Иоаким, обычно руководивший собраниями, на этот раз отказался: он не понимал толком предстоящего дела и попросил освободить его.

— Но, может быть, ты будешь вести протокол?

На это он согласился: только писать.

Тут встал Август. На деревенских собраниях никто не вставал, когда говорил, но Август, хитрый малый, встал. Его речь так и потекла, не всегда последовательная, но полная фантазии, пересыпанная упоминаниями «там, за границей», с призывом к обитателям Полене, большим и малым. Здесь широкие возможности, лучезарная будущность, улов, сулящий миллионы, или, чтобы не преувеличивать, миллион. Так как выяснилось, что община не желает иметь дело с банком, то должна выступить частная инициатива. Банк нужен каждому в отдельности — для здешнего строительства, для капитанов во Внешнем Полене, для всего прихода, нашего родного прихода, который в ближайшем будущем получит ряд выгод из прибылей банка! Тут следует упомянуть, что банк нуждается в помещении, в Полене нет также помещения и для собраний; необходимо, чтобы и здесь, как и в других местах, было коммунальное здание; во всяком случае, чтобы не преувеличивать, банку нужен несгораемый шкаф, и почему бы, если будет шкаф, не быть банку? Он советовался с бесчисленным количеством банковских директоров за границей, и они все были согласны с тем, что следует выпустить акции в сто крон штука, так чтобы и небогатые люди могли подписываться на одну, пять или десять акций, смотря по средствам. Он обдумал и решил, что Поленский банк должен быть основан на двести акций, то есть на двадцать тысяч крон; он так решил, потому что акции эти будут приносить хороший доход, может быть, десять, а то и двадцать процентов.

— Дорогие мои, ведь у нас имеется многолетний сельдяной промысел, более богатый, чем в Эйдсфьорде, или в Лангнесе, или в Экснесфьорде. И потом никто не рассчитывает, чтобы уже сегодня у нас были деньги на руках, потому что сегодня

мы только подпишемся и уплатим по десяти крон с каждой сотни, но через месяц, считая от сегодняшнего дня, деньги должны быть выплачены сполна, и тогда же будут выданы большие и великолепные акции. Я захватил с собой кой-какие из зарубежных акций, чтобы показать их вам, — говорит Август и поднимает, показывая, два нарядных плотных листа бумаги с рисунками и с золотым обрезом, и со штемпелями.

Так как было выражено желание посмотреть на них поближе, то их пустили по рукам, причем доклад Августа шел своим чередом.

— Конечно, они на иностранном языке и все такое, но вы во всяком случае видите, вроде чего они бывают. Это акции серебряных рудников в Южной Америке, которыми я владею. Теперь давайте их обратно, и потом не будем забывать, зачем мы здесь собрались, — ведь мы собрались, чтобы подписаться на акции нашего банка. Этим самым мы основываем здесь Поленский банк сбережений, Поленскую сберегательную кассу, и мы желаем ему счастливого будущего! Мне кажется, судовладелец Иверсен, вы хотите подписаться?

— Да, на пять акций, — говорит Иверсен.

Иоаким записывает. Иоаким писал также иногда во время речи Августа и отметил главные пункты, теперь он пишет по мере того, как поступают заявления.

Длинный, тонкий юноша делает знак, и Август громко заявляет:

— Капитан Людер Мильде, со шхуны «Роза», — сколько?

— Десять акций, — отвечает Мильде.

Иоаким пишет.

— Посмотрим, — бормочет Август, — кто же следующий?

Теодор, этот дурак, заявляет:

— Одну акцию, — только чтобы быть с вами.

Подавленный смех в горнице. Иоаким сразу не записывает.

— Нечего было приходить сюда для того только, чтобы дурачиться, Теодор, — говорит Август. — Разве через месяц у тебя будет девяносто крон?

Теодор:

— А может, и будет!

— А сейчас у тебя есть с собой десять крон?

— С собой-то нет, но...

В горнице смех. Теодора не вписали.

— Пятьдесят акций! — заявляет голос из угла около дверей.

— Пятьдесят? Кто это?

— Эдварт.

— Что? Эдварт? Какой Эдварт?

— Эдварт Андреасен.

Иоаким опять сразу не записывает. Паулина, которая также присутствовала на собрании, вся передернулась, как будто от толчка, испуганно и вопросительно смотрела она то на одного, то на другого и ничего не понимала.

— Это Эдварт? — спрашивает Иоаким и смотрит на Августа. — Он тоже дурачится?

Август обращается в сторону темного ушла со следующими словами:

— Если ты берешь пятьдесят акций, Эдварт, ты это делаешь, вероятно, потому, что ты веришь в будущность Поленского банка сбережений. Но помнишь ли ты, что это означает пять тысяч крон и что пятьсот крон нужно внести сегодня же, а остальные ровно через месяц?

— Да, — спокойно отвечает Эдварт.

— Остается только вписать его, — шепчет Август, наклонившись над протоколом, и делает вид, будто он ищет что-то.

Иоаким обмакивает перо, смотрит на него некоторое время, еще раз обмакивает, опять смотрит и только тогда уже пишет.

Огромное и непритворное удивление охватило присутствующих. Тот самый Эдварт, который строит людям дома и тем зарабатывает свой хлеб насущный, который почти ни с кем на разговаривает и никогда не смеется? Поглядите-ка на него! Так, значит, он приехал из Америки все-таки не с пустыми руками, он человек со средствами, и не малыми, он только скрывал их? Пять тысяч крон выложил одним махом, а сидит такой же неподвижный и спокойный, как всегда!

Паулина похолодела и побледнела от волнения за старшего брата и обрадовалась за него: ей было обидно, что жители Полена смотрели на него сверху вниз, с тех пор как он приехал домой, — теперь он снова выросал в их глазах. Теперь ей понятно, что он не захотел взять обратно свою торговлю и свою лавку, ей стало стыдно, что она тогда так приставала к нему. Но все-таки она непременно сквитается с ним, с этим обманщиком, бродягой, — поглядите на эту лисицу: сидит себе как ни в чем не бывало.

Из-за него чуть было не приостановилась дальнейшая запись, стало совсем тихо.

Август спросил:

— Сколько у нас теперь?

И о а к м. Шестьдесят пять.

— Мы здорово подвинулись вперед! Кажется, ты, Эзра, хочешь подписаться на следующие пятьдесят?



Эзра ничего не ответил, он даже не улыбнулся шутке. Этот мужик, раб земли, думал только о своем дворе и о своих полях — о своем Новоселке, как называли до сих пор его владение, думал о том, сколько голов скота он может прокормить и сколько он может получить приплода. Вне этого для него ничего не существовало. Банк в Полене! А на что он? Разве были у кого здесь деньги, чтобы помещать их в банк? Нет, Эзра не ответил на шутку и даже не понял ее. А ведь он когда-то был головорезом, влез на реи шхуны «Эрмины» и стоял, высоко выдаваясь над верхушкой, так что люди внизу затаили дыхание.

Тишину нарушил Каролус. Из одного тщеславия и чтобы не отстать от других, он заявляет:

— Нет, следующие пятьдесят акций пусть будут моими.

— Каролус — пятьдесят акций, — торжественно диктует Август.

Иоаким кивает:

— Тебя, Каролус, я вписываю.

— Вписывай, — спокойно говорит Каролус. — И если вы хотите иметь деньги сейчас же...

— Нет, нет, не надо, — уклоняется Август, — сегодня ты дашь только пятьсот крон.

Ролансен, который презирал слегка своего соседа с его родней из купечества, заявляет:

— Двадцать акций!

А в г у с т. Сколько же у нас теперь всего?

— Сто тридцать пять.

— Прекрасно. Пусть будет возможно больше участников, и так как Эдварт, Каролус и вот сейчас также и Ролансен подписались на такую крупную сумму, то мне запиши всего десять акций, Иоаким.

Иоаким пишет.

— И мне десять, — заявляет вдруг Паулина.

Она покраснела и беспомощно подняла руки к глазам. Это старший брат заставил ее решиться на такой шаг, иначе ей и в голову не пришло бы подписаться на акции Поленского банка.

Конечно, Иоаким вписал ее, но не мог удержаться, чтобы не подразнить ее:

— Ты будешь в правлении, Паулина.

Она не осталась в долгу и ответила:

— А если ты возьмешь пять акций, то мы и тебя примем.

— Ну, хорошо, я тоже подпишусь, — на пять! — сказал он, причем лицо у него слегка вытянулось. Впрочем, он тотчас

спохватился и овладел собой: — Итак, с моей помощью — заметьте, пожалуйста, — мы дошли наконец до ста шестидесяти.

Август огляделся по сторонам.

— Тридцать акций! — заявляет Габриэльсен, у которого была родня из купечества, который говорил по-немецки и купил самый красивый дом Августа.

Август ждал этого заявления, он был уверен, что если сосед Ролансен подписался на двадцать акций, то Габриэльсен непременно пожелает перещеголять его, так как он привык к более крупным масштабам.

— Мы совсем уже приблизились к двумстам, — высказывается Иоаким.

Теодор опять упоминает о своей акции и спрашивает, почему его не хотят принять.

— Если я не могу заплатить за нее, — говорит он, — то заплатит Родерик. У него есть двести крон.

А в г у с т. Родерика нет здесь. Замолчи, Теодор! Итак, у нас сто девяносто.

— Да, — отвечает Иоаким.

Август обращается к Эзре и говорит:

— Хочешь, мы оставим за тобой последние десять?

В горнице напряженное молчание. Эзра, мрачный и недовольный, жуткий, окружен целой толпой людей, но он один.

— Нет, — отвечает он.

Ролансен заявляет вторично:

— Дайте мне, пожалуйста, последние десять акций, тогда у меня будет их тридцать.

Ролансен, знал, что он делает! Его сосед Габриэльсен ни на волос не опередил его, у них у обоих было теперь по тридцать акций.

А в г у с т. Итак, запись окончена. Теперь пусть каждый заплатит по десяти крон с сотни. Судовладелец Иверсен начинает!

Иверсен платит, и Иоаким отмечает. Один платит за другим, у большинства деньги были наготове. Паулина следила за старшим братом: нет, Эдварт не шутил и не взял обратно своего слова, наоборот, деньги у него были приготовлены заранее, он только вынул их из кармана, подошел и сдал их. Поглядите-ка на золотой мешок, на этого кривляку! Он, конечно, нарочно отсчитал ровно пятьсот крон, чтобы не показывать остальных денег, может быть, у него была их целая куча.

А разве Каролус поступил точно так же? Повернулся он к стене, когда вынимал деньги? Нет, нет, он не побоялся вытащить свой вздутый бумажник и рыться в нем на глазах у всех.

— А ты тоже считай,— сказал он Иоакиму,— и если мало, то я добавлю.

Нет, Иоаким получил, сколько следовало, и записал уплату.

Молодой Ролансен все листал и листал свои бумажки, словно было невесело как трудно найти среди других денег как раз триста крон. У молодого Ролансена были, впрочем, изуродованные ногти, и они имели отвратительный, даже жуткий вид. Откуда у него взялись эти изуродованные ногти? Каждый невольно содрогался, глядя на них. А так он был довольно красив, с белым воротничком и золотой цепочкой.

Август положил свою красную бумажку в сто крон на стол и пошутил:

— Не забудь дать мне квитанцию, Иоаким!

Но когда очередь дошла до Паулины, то у нее не оказалось денег; на одно мгновение она смутилась, потом быстро выбежала за дверь и, запыхавшись, вернулась обратно, тоже с красной бумажкой.

И Иоаким сказал ей:

— Тебе нечего было скакать за тридевять земель, Паулина. Я мог бы дать тебе займы.

Но когда очередь дошла до Иоакима, обнаружилось, что у него у самого нет пятидесяти крон. В избе поднялся единодушный смех, а Иоаким покраснел, как рак. Вдруг он вскочил со стула и хотел было уйти.

— Куда ты? — спрашивает Август.

— Он отправляется за тридевять земель, чтобы достать денег! — торжествовала Паулина.

Август силой усадил его на стул, сунул ему в руки бумажку в пятьдесят крон и сказал:

— Ты не можешь оставить протокол.

Наконец последним заплатил Габриэльсен. Деньги кучкой лежали на столе, целых две тысячи крон.

— Что мне делать с ними? — спросил Иоаким.

А в г у с т. А ты не можешь подержать их пока у себя?

Иоаким, все еще раздраженный, закачал головой и проревел:

— Я не притронусь к ним.

Тишина.

— Тогда уж ты, Паулина, пожалуйста, возьми деньги,— говорит Август.

Паулина отказалась.

Каролус предложил было свои услуги. Если он возьмет их, то у него будет всего на две тысячи больше в кармане, а это его нисколько не смущает.

— Нет! Паулина! — закричали кругом.— Пусть их возьмет Паулина! У нее имеется запирающийся шкаф для почты, у нее страховые полисы, лавка под замком, контора под замком.

Паулине пришлось сдаться и принять деньги. Иоаким крикнул ей через стол:

— Ну, если ты спрячешь мои пятьдесят крон, то только их я и видел!

Теперь Август сказал заключительное слово:

— Мы достигли цели, которую поставили перед собой; через месяц, считая от сегодняшнего числа, у нас в Полене будет банк с капиталом в двадцать тысяч крон. Маленький банк, конечно, банк с грошовым капиталом,— один единственный крупный заем опустошит его,— но для начала это вовсе не дурно. Со временем можно будет поднять вопрос об увеличении вкладов, и, судя по тому, как охотно подписывались сегодня, можно надеяться, что потом у нас будет на пятьдесят и на сто тысяч больше подписных сумм. Я смотрю далеко в будущее. Теперь же нам остается только подписаться.

И о а к и м. Кто должен подписаться?

— Все, все акционеры. Нас не так много. Начнем опять с судовладельца Иверсена.

И все подписали протокол. Ролансен с изуродованными ногтями стал под самую лампу, Теодор тоже было сунулся и хотел подписать свое имя, но был отстранен.

Август продолжал развивать свою деятельность. Приток переселенцев в Полен все возрастал, и он, как лицо руководящее, должен был хлопотать о предоставлении земельных участков новым людям. Каролус распродал по кусочкам все свое ближнее поле; при последней сделке было такое мгновение, что какая-то слабость напала на него, сожаление закралось ему в сердце, и он сказал:

— А может быть, нам не следовало делать этого, Ане-Мария?

— Чего нам не следовало делать? Что ты хочешь сказать?

Он покачал головой:

— Да, мы продали теперь всю хорошую землю. У нас остались только участки в горах.

Ане-Мария была женщина не робкая и отвечала, как умела:

— Ну, а как было дело за последние годы? Разве ты не ворчал, что тебе надо пахать? Ты не справлялся один, тебе приходилось нанимать работника. Теперь ты от этого избавлен.

Тихий и склонный к лени муж только голову наклонил.

— Ну что ж,— сказала она тогда, чтобы утешить его,— ты ведь уж больше не молодой человек, чтобы справляться с тяжелой работой и быть тем, чем ты был прежде во всех отношениях.

В этом Ане-Мария была права, она всегда была права. Впрочем, он вовсе не был дряхл, он был достаточно молод и для нее и для работы, тут уже она лучше бы помолчала; и потом теперь у него оба внутренних кармана были полны денег, а разве это пустяк? Когда откроется банк, он попробует разгрузить свои карманы. А самой Ане-Марии пора перестать увлекаться мужчинами, это непристойно в ее возрасте...

Многие дожидались открытия банка,— бедняки, которые строились и надеялись получить заем под заклад дома и земли. И Август, как главное руководящее и действующее лицо и, кроме того, как человек, всегда готовый всем помочь, подерживал эту надежду.

— Тебе дадут заем, не беспокойся! — говорил он.

И бедные люди строили избы, въезжали в них и устраивались на житье.

Поленский банк сбережений открыт.

Удалось заполучить из соседнего банка с севера чиновника, который взялся обучить всякого и каждого банковским делам, и многие воспользовались случаем ознакомиться с этой тонкой специальностью. Поместились у Иоакима в горнице; учитель показывал присутствующим, как считать и записывать, и, чтобы облегчить им задачу, прихватил с собой несколько таблиц с заранее подсчитанными процентами, в которые нужно было только заглянуть.

Иоаким сам ни за что не хотел принять участие в управлении банком, он отказался даже писать и сидел тихо и молча, как самый незначительный, каким он и был, акционер. Молодой Ролансен, который, как оказалось, знал больше остальных в области арифметики и бухгалтерии, был поставлен пока во главе банка, но так как он был чужим в приходе, то он должен был иметь при себе совет из трех акционеров. В первый совет вошли: Каролус, как крупный акционер, Август, как лицо, без

которого никак нельзя было обойтись, и Паулина, потому что она хранила деньги.

После открытия банка строительная деятельность еще больше возросла. Банк охотно давал займы; переселение в сказочную страну Полен шло очертя голову. Где можно выстроиться, где достать участок? Некоторые землевладельцы ничего не имели для продажи, другие, как, например, Иоаким-староста, ни за что не хотели расстаться хотя бы с квадратным футом земли, — «да замолчи ты, Август!». Оставалась голая скала, но и ее занимали, хотя невозможно было построить подвал под зданием, не разрывая горы. Но даже и на такой расход покупатели с радостью соглашались. Раз два был удачный лов сельди, это сразу настраивало всех к беззаботности и широким жестам, деньги переходили из рук в руки, лихорадка не унималась.

А как разрастался Полен! Поглядите-ка на дома, все сплошь красивые и новые, некоторые уже выкрашенные, кой-какие даже с флагштоками. К сараям спускается целая улица, настоящий город, из всех труб идет дым. Народонаселение увеличивается, прибывает главным образом молодежь, молодожены, всюду кишит детьми, радостные возгласы и смех оглашают воздух. Нет, нет, Август не был человеком, который мог бы спокойно усестись в кресло и, сложив руки, смотреть на стремительное развитие, которому он сам дал первый толчок, нет, он не упускал его из рук, он сам двигал.

## ГЛАВА X

---

Звезда Эдварта восходила. С того вечера в комнате Иоакима, когда был основан Поленский банк, о нем все заговорили, все стали более высокого мнения о нем, и Паулина не отставала от других.

— Нечего сказать — бедняк! — говорила она своим покупателям, стараясь поддержать его славу. — Пять тысяч крон выложил, как одну копеечку! Вот что значит приехать из Америки!

Раз утром, когда не без некоторого старания с ее стороны, они очутились вдвоем с глазу на глаз, она не знала, как начать разговор и, желая скрыть свое смущение, стала смеяться и шутить:

— Какой ты притворщик, Эдварт! Прости, что я это говорю тебе. Сколько раз я собиралась дать тебе хоть несколько эре на табак! Теперь я вижу, что этого ни в коем случае не стоило делать, ха-ха-ха!

Он сразу уклонился от этого разговора, отчего обоим стало легче:

— Куда ты собираешься сегодня! Ты так наряжаешься.

— Как — куда? В церковь. Сегодня воскресенье.

— Ах, так, воскресенье.

— А ты не знал? Ты, как я вижу, совсем заработался.

Пойди принарядись и ты, и пойдем со мной в церковь.

— Нет, мне надо наконец написать письмо.

Он с удивлением глядел на Паулину, которая все причесывалась и причесывалась и все была недовольна прической: неужели люди болтали не зря, что она ходит в церковь из-за капеллана? «Милая Паулина, — думал он, — милая маленькая Паулина, такая близкая с детства!» Вот она повесила себе на шею кольцо змейкой, которое он подарил ей когда-то; оно как было, так и осталось слишком велико для ее тоненьких пальцев, и она носила его на черном, очень приличном шнурке, на шее. Милая Паулина, время и годы прошли с тех пор, а она все еще доверчиво и наивно, и по-прежнему нелепо, носила это детское украшение.

— Я бы охотно пошел с тобой, если бы не письмо, — сказал он.

— У нас отличный священник, — заметила она. — Ты его слышал?

— Нет.

— Он совсем как мы с тобой в обычной жизни, но только он, разумеется, говорит гораздо благороднее. Правда, ты говоришь по-английски, что еще благороднее, но, на мой взгляд, он говорит так замечательно, как я никогда не слыхала. А ты даже не видел его?

— Нет.

— Очень красивый мужчина. У него голубые глаза, совсем как у нас, и почти нет бороды, только немного на щеках. А потом у тебя усы, а у него их нет, так что они не мешают ему, когда он произносит проповедь. Да, Эдварт, — продолжала она, — недостаточно только быть богатым и иметь в банке пять тысяч. Ты бы пошел и послушал его как-нибудь. Невозможно перечислить всего того, что он знает и что у него в голове. Я ровно ничего не знала о многих вещах, пока не услышала его. Говорят, что он скоро будет профессором для всех священников.

— Да, послушать тебя, человек замечательный!

— Он знает все о боге и может все объяснить; он сказал, как будет «бог» по-еврейски, и это очень интересно. Жаль, что ты не слыхал про это.

Эдварт скорчил глупую рожу и сказал:

— От меня многое скрыто.

Паулина продолжала:

— В пасхальной проповеди он рассказывал, что Иисус отвечал Пилату на другом языке. Он должен был так отвечать, потому что Пилат был из Рима и не знал по-еврейски.

— Ну, это пустяки,— возразил Эдварт,— это я мог бы узнать и у Папста. Помнишь Папста, еврея с часами?

Паулина помнила его совсем смутно, помнила имя, да нечего было его вспоминать: это только отвлекало ее от рассказа. И она вдруг поспешно покончила со своей прической и отправилась в путь.

— Ты бы мог пойти со мной,— сказала она, кивая ему на прощанье.

Он стоял и глядел ей вслед. Когда он был эмигрантом и переживал кризис с Ловизой-Магретой, разве он не испытывал вполне искренне своего рода религиозное настроение? Теперь, когда он снова близко столкнулся с вероучением детских лет, он не узнал его,— вера исчезла, вера угасла в нем. Каким далеким и чуждым звучало для него то, о чем говорила сестра и что для нее было так глубоко важно! Для него это даже смысла не имело, тут не было никакой пищи для человеческого разума,— так, благочестивая болтовня. О, до чего безразлично было для него, как бог называется по древне-еврейски, и всякие там Суламифи! Папст,— вот это другое дело: тут сразу вспомнились карманные часы, которые шли, и часы, которые остановились, и юные годы, и ярмарочный шум, и женщины, и ухаживания, безумства, шкиперские дни, плавание вдоль берега, Доппен, подобранные паруса...

Но даже и это переживал он в воспоминании с тупым равнодушием. Он не улыбался, не радовался. Все это было так давно. С тех пор он побывал в Америке, и воспоминания поблекли. Но взамен их он ничего не получил.

А Паулина? Она только что стояла здесь, наряжалась и прихорашивалась для другого человека. Не значило ль это лишь то, что и она тоже человек и прислушивается к голосу сердца? А сердце властвует, как тиран. Паулина тяжело работала всю неделю, а в день отдыха, послушная приказу сердца, шла целые полмили в церковь и полмили обратно.

А что невозможного сделал бы он сам по приказу своего сердца? Его сердце не давало ему никакого приказа. Ну, разве не был он каким-то выродком? Без сердца, без влечений!



— Что ты тут делаешь? — спрашивает его Иоаким с порога своей избы: ему хочется поговорить. — Сегодня воскресенье, что ж ты не приоденешься?

В самом деле, зачем стоял он здесь, посреди двора? Как он мог объяснить, что он стоит здесь и старается снова стать человеком?

— Я разговаривал с Паулиной, — отвечал он.

Медленно и понуро побрел он прочь со двора, за околицу, мимо Новоселка Эзры, подальше от жилья. Там, куда он шел, было укромно и тихо, только листья осины дрожали, да, прячась в зелени, с ветки на ветку перелетали птички. Он сел. По временам слышал он звон колокольчиков далекого стада, кроткий, милый, зовущий звон: он то исчезал, то вновь появлялся, как перелетная песня; слушая его, он шептал: «господи, господи», так, невесть для чего, только чтобы шептать.

Как снова стать человеком, как вернуться на прежнее место? Возвратившийся из Америки Эдварт Андреасен не представлял собой ничего особенного, он опять стал тем, кем был; он, как человек, был теперь на своем месте. Разве жизнь плохо обошлась с ним? Сделала из него не то, к чему он был предназначен, сбила его с пути? Ничуть. То, чем он был двадцать лет тому назад, лежало теперь на самом дне, то, чем он постепенно становился позже, в течение лет слой за слоем укладывалось внутри него; теперь ни одного из них нельзя было выбросить, и вот он сидит здесь со всеми своими наслоениями, настоящий, законченный бродяга.

О чем же грустил он, о чем задумывался? День был ясный, солнечный, к тому же был праздник, в кустах — птички, звон колокольчиков, кругом — вереск, лес в сладостной тишине, — и все-таки беспросветное отчаяние в душе. Может быть, что-нибудь повреждено в нем, или у него была какая-нибудь болезнь, от него дурно пахло? Ха-ха-ха, какие тонкости! Ведь у него не было никакого особенного горя, не было сломанной кости в теле, у него было несколько сот крон в кармане и башмаки с толстой подошвой на ногах. Что же его мучило? Может быть, собственно, только то, что он, бродяга, вернулся домой. Он стал чужим самому себе, даже его суеверия и предрассудки исчезли; они были когда-то его неотъемлемой собственностью, но теперь больше их нет. Душевная жизнь его оскудела, он стал ничемным вырождаком.

Бог с ним! Конечно, бог очень заботится даже о бродягах и дает им жить. Бог словно почувал, что они — ничто. что даже их опустошенность — чистейший пустяк, без всякого

величия, одна только жалость, простое малодушие, но он позволяет им вдыхать и выдыхать окружающий их воздух.

Сидеть как-то неудобно; не встать ли и не поместиться ли на более мягкую кочку? Но это сопряжено с неудобством, с излишним беспокойством, лучше прямо пойти домой. Эдварт встает и, шатаясь, делает несколько шагов, одна нога у него онемела, но это пройдет; он идет и пошатывается. Вот вддали на фоне пейзажа показался Иоаким; он далеко, но его можно узнать по его председательской осанке. Он собрался, верно, зайти к Эзре и Хозее, сегодня он принарядился и надел шляпу по случаю праздника. Что за человек этот Иоаким! Он твердо стоит на родной почве, он бодр духом, он доволен, весел и крепок. Только бы он не был так слишком уж уверен в себе. Конечно, это имеет свои преимущества, это его манера держаться среди других людей, из которых у каждого своя манера. Он не удалялся далеко от дверей своей избы, не был за границей и не знал, что такое опустошенность.

Иоаким поджидает брата.

— А я хочу зайти в Новоселок, — говорит он. — Может быть, ты зайдешь тоже?

— Нет, — отвечает Эдварт. — Мне надо написать письмо.

Да, ему нужно было написать это письмо, и он все его не писал. Он работал, как лошадь, не жалея себя, этому он выучился в эмиграции — работать, работать и благодарить бога за это! Но написать письмо, послать привет домой, не дать умолкнуть родному языку сердца, проявить ненужную память, шепот воспоминаний о прошлом, — нет, это было сверх его сил.

Тот-топ-топ на толстых подошвах. Он силен и не чувствует усталости, он сыт, и его не мучит жажда. Вот у ручья стоит женщина и наполняет ведра; это жена Теодора, Рагна. Ноги сами несут его в сторону к ней. Дело в том, что хотя его ноги и помнят, что он идет домой, но ему нужно извиниться перед ней. У нее есть привычка появляться перед ним в темных закоулках и почти не давать ему прохода. В последний раз он обманул ее и сказал: «Берегись, там стоит Теодор!» Теперь по дороге домой он делаек крюк, чтобы только сказать ей что-нибудь более приятное.

Рагна делает вид, что она ищет что-то на земле, оглядывается во все стороны; она так неряшливо и плохо одета, и когда он замечает, как ей это неприятно, он сворачивает и делает вид, что ему необходимо зайти к Каролусу. Проходя, он все-таки кивает Рагне, не желая изображать из себя важного американского богача.

Ане-Мария вышла и остановилась в дверях, ей очень хочется заполучить его к себе.

— Что ж ты не в церкви? — спрашивает она.

— Да ведь ты тоже не в церкви, как я вижу.

— Да, тоже, — отвечает она и смеется. — По-моему, достаточно, что Каролус ходит за нас обоих.

— А за меня пошла Паулина, — пошутил Эдварт.

А н е - М а р и я. Ну, тогда заходи, поговорим немного,

— Нет, — говорит Эдварт, — я ищу Августа.

— Не ищи его: Август во Внешнем Полене. Он всегда там.

Эдварт улыбается:

— Да, ему там нравится.

Ане-Мария спрашивает:

— Понимаешь ли ты, почему парень не женится? Или ему это не надо?

Эдварт опять улыбается:

— Ему, верно, некогда. У него столько дел!

А н е - М а р и я. Я одна дома, это так скучно. Зайди ко мне, сделай милость!

— Нет, — ответил он и вдруг заторопился. — Очень тебя благодарю, Ане-Мария, но мне нужно написать письмо до отхода почты.

Ах, это письмо! По правде говоря, оно лежало на нем, как ярмо, оно снилось ему и часто приходило ему на память во время работы. Но когда он приходил в комнату над кофейней и собирался начать писать, он садился и впадал в размышления. «И к тому же, — думал он с облегчением, — она знает, что я не любитель писать». Может быть, написать маленькой Гобьере? Но зачем? Ведь она тоже не писала ему. Миссис Адамс была красивой молодой американкой, у нее был свой дом, свой муж и два мальчика, а теперь, верно, еще и мать Андрыус. Хе-хе, смешно подумать, его жена, миссис Андрыус, нагромодила одно имя на другое и так носила его по улицам и сквозь жизнь, нисколько не тяготясь им. Как странно все это было! Ловиза-Магрета и он встретились однажды друг с другом в каком-то блаженном чуде! Он понимал теперь, как уже много раз догадывался и прежде, что Ловиза-Магрета отлично может обойтись без него. Конечно, может, и всегда могла, с самого начала. У нее была к нему доброта, несомненно также и мимолетная любовь, и это было хорошо, но она всегда готова была покинуть его ради другого, к которому была привязана более прочно. Только женская нежность; да, отлично, но было ли что кроме этого? Было ли

цельное чувство? Теперь, когда она уехала опять от него, это не тяготило ее. Он мог идти на веслах в тяжелой громадной лодке до места пароходной остановки, только чтобы разок махнуть ей платком, а она бы и не подумала это сделать, ей бы это и в голову не пришло. Теперь она опять в стране своих мечтаний, в своей дорогой ужасной Америке. Нет никакого сомнения, что там она опять переезжает с места на место, она не привязана к какому-нибудь определенному пункту и будет продолжать метаться. В ней нет спокойствия, в течение более двадцати лет она меняла города, это какая-то могучая потребность в ней — она все ездит и ищет чего-то. Упорная и ужасная фантазия овладела ею и гонит ее. Она не упоминает о нем, но шепчет во сне его имя; она не упоминает и о детях, которые были у нее от первого брака, но это не значит, что она их забыла: теперь, когда она одна в Америке, она побывает у этих детей. Может быть, она ждет от них чего-нибудь особенного? Конечно: она поручила детям разыскать его и теперь будет справляться, не нашли ли они его. Но эта задача выше сил человеческих. Прошлый раз, чтобы уехать из По-лена, — это было двадцать лет тому назад, — она ссылалась на то, что дети нашли его. Но то был предлог, вынужденная ложь, пусть так! Но, может, она теперь снова поверила своей выдумке. Она не щадила себя, но продолжала упорствовать, она могла бы жить спокойно, но не позволяла себе такой роскоши. Двадцатилетние мучения. Она искала и сама на свой страх и риск бродила по гостиницам и столовым в городах, искала и через Армию спасения, ездила в гости к своим соседям по ферме в прериях, хотела посещать пикники и собрания, чтобы искать и там, но не могла выезжать на мулах. Ха-ха, он бы всласть посмеялся над ней, если бы она нашла его, и он увидал ее на мулах.

В его маленькой комнате жарко; он дремлет и продолжает фантазировать, он дремлет и фантазирует. Вдруг он вскакивает, услыша шорох из комнаты Августа, скрип пола.

— Это ты, Август? — кричит он.

Дверь открывается. Нет, это не Август, это Рагна. Он глядит на нее: да, это Рагна, жена Теодора, такая тихонькая; она умоляюще улыбается ему. Он предлагает ей свой единственный стул, а сам садится на кровать. Они начинают разговор, они не говорят ни о чем определенно, хотя у нее, несомненно, есть что-то на сердце. Она нарядилась, как могла, — в пальто, которое подарил ей ее сын Родерик, но у нее рваные башмаки, которые она старается спрятать за ножки стула.

Как она только может кутаться в пальто в такой жаркий день!

— Тут у меня так жарко. Сними пальто! — говорит он.

Она вешает пальто на спинку кровати и шепчет:

— Я надела его по случаю праздника.

Бедная Рагна! Конечно, она надела его, чтобы быть понаряднее. И потом, тоже для того, чтобы казаться лучше одетой, она прицепила к вороту зеленую брошь. Нужда и блеск. Она сидит, хочет сказать что-то, но у нее не хватает духу.

Э д в а р т. А Теодор где? В церкви?

— Нет, я не знаю, где он.

Так как Эдварт кажется ей добрым и приветливым, то она становится храбрее и высказывает, что много времени прошло с тех пор, как у него была лавка в Полене и он сам торговал в ней.

— Я столько раз благословляла тебя, — говорит она, — к тебе было легче обращаться с просьбой, и ты постоянно помогал то тем, то другим.

На это он ничего не отвечает.

Р а г н а. Я слыхала, что ты очень богат.

Эдварт улыбается:

— Все это выдумки!

— Но все же у тебя пять тысяч в банке. Страсть сколько!

— Нет, — говорит он, — у меня нет пяти тысяч в банке. Ты сама узнаешь об этом когда-нибудь.

— Разве? — удивленно спрашивает она. — Тогда я этого не понимаю. Но во всяком случае ты выстроил целый город в Полене, и это замечательно.

Но и на это он ничего не говорит.

— А Родерик выстроил себе избу, — продолжает она. — Это Август помог ему. Да, время идет. Родерик — взрослый парень и все такое, у него есть лодка, и он возит почту. Так странно думать об этом. По-моему, было совсем недавно... Ты, вероятно, видал Родерика?

— Да.

— На кого он похож, по-твоему?

Эдварт уклончиво:

— Родерик — красивый юноша. Он был у меня как-то и взял рубанок.

— И вернул его? — спрашивает она.

— Как же, в тот же вечер.

— Вот видишь! — восклицает она. — Он всегда такой. Он булавочной головки себе не присвоит.

Э д в а р т. Все твои дети — хорошие люди.

Лицо Рагны просветлело.

— Ты слышал об этом? Да, это правда. Куда бы они ни попадали, они всюду отличаются. Да, ты слышал об этом? И Родерик и обе девочки, они у меня ничего, слава богу. Одна уехала с семьей священника, когда его перевели на юг, она у них в экономках, или вернее — она им как дитя родное, у нее все ключи, и она все знает.

— А вторая твоя дочь служит у доктора во Внутреннем приходе, слышал я?

— Заведует у него хозяйством, хотя, по-моему, она еще совсем ребенок.

— А как ее зовут?

— Эсфирь. В честь той, которая стала королевой, знаешь?

— Да-а. Кем-то станет твоя Эсфирь?

— Все в воле божией. Ее дразнят доктором, но это только пустая болтовня. Он для нее слишком важен.

— Говорят, она очень красивая.

— Да, этого нельзя отрицать. Но неправда, что она ест уголь.

Воспоминание о таинственном и странном пороке всплывает перед ним; в его детстве в Полене ходили слухи о нескольких девочках, которые ели древесный уголь. Такая молва преследовала их, и это не считалось безразличным, наоборот, в этом видели какое-то бесстыдство или болезнь. Эдварт улыбнулся при этом воспоминании: может быть, эта дурная привычка была даже полезна — от жевания угля становились чище зубы. Он сказал:

— Ну, пусть у нее и будет этот недостаток. Красивая девушка может себе это позволить.

— Да, но это неправда, это чья-то выдумка. Как будто ее плохо кормят у доктора! Боже упаси!

Молчание.

Эдварт погрузился в размышления. В сущности, это было несколько подозрительно, что Теодорова Рагна сидела у него, но он не знал, как ему быть; а просто попросить ее уйти он не хотел. Было очень удачно, что дом был пуст, в особенности, что Паулины не было дома. О самой Рагне он не беспокоился: она столько раз становилась на его пути, особенно с тех пор, как уехала Ловиза-Магрета, она всегда умела вывернуться, словно троль какой.

Рагна спрашивает:

— Я видела, ты не зашел к Ане-Марии. Разве она не пригласила тебя?

— То есть как? — спрашивает он в свою очередь. — Я заходил спросить о Каролусе, но он был в церкви.

Маленькая Рагна казалась теперь старше и более походила на замужнюю женщину, но вокруг ее рта, когда она улыбалась, было все то же милое выражение, совсем как тогда, когда она была девочкой, почти никакой разницы. Она не согнулась под бременем трепетного раскаяния в грехах и ошибках, которые могли бы скопиться на ее совести за целый ряд лет; она определенно не переменила своего поведения в сравнении с прежним в сторону скромности или легкомыслия, она не предъявляла к себе чрезмерно строгих требований, но в то же время она и не выставлялась на показ уверенно и молодцевато. У нее был нежный голос.

Взять хотя бы Ане-Марию; о ней также говорили, что она была влюбчива, гоняется за мужчинами, и у нее был прямой и уверенный взгляд. Но этого совсем не было у Рагны: она была застенчива, взгляд у нее был стыдливый, она совсем не была испорчена. Она всю жизнь прожила здесь, она корнями выросла в нищету и будни; если она и делала что-нибудь дурное, так ведь на то она и жила в таких условиях. Она из всякого нового греха выходила невинной.

Рагна снова хочет сказать что-то и все никак не решается. Он должен помочь ей:

— Что это за письмо у тебя в кармане? От твоего возлюбленного?

— Ну, ты увидел его? Господи, Эдварт, не погуби нас, не сделай несчастными!

Эдварт удивился:

— Но что с тобой?

Рагна вынимает письмо из кармана пальто и продолжает просить:

— Не делай нас несчастными. Все равно, что будет со мной и с Теодором, но дети... Дети!..

Он протягивает руку:

— Покажи мне его!

— Оно адресовано тебе, — говорит она. — Письмо из Америки. Я в таком ужасе...

Постепенно Эдварт заставляет ее объяснить все по порядку. Теодор воровал письма из почтовой сумки. У него было много писем, он носил их в кармане, — о-о, такой ужас! Но хуже всего то, что он распечатывал и читал их, — подумать только, какое бесстыдство! Сегодня он сидел на кухне около печки и жег их; Рагна ходила на ручей и пришла как раз вовремя, чтобы спасти письмо Эдарта из печки.

— Посмотри, оно даже загорелось немного с одного бока. Ужас что такое! Письмо из Америки...

Эдварт задумался. Как это похоже на Теодора! Тицичная для него, жалкая выходка. Вот он нахватал себе писем из почтовой сумки, и все из пустого любопытства, по-обезьяньи, оттого, что пальцы чесались; письма ему вовсе не нужны, он распечатывал и читал их только для того, чтобы знать, кто кому пишет в Полен и о чем. Это было похоже на него: ничтожный человек проглядывает в каждом поступке, дурак, всегда немножко злой, но почти всегда глупо злой. Какую выгоду мог он иметь от этой проделки? Ровно никакой. Полуголодный и полураздетый, как и прежде, будет он бродить по местечку, с тем лишь различием, что он знает разные тайны о людях, о юношах, которые писали девушкам, и наоборот.

— Меня нисколько не удивляет, что ты сердишься, — говорит Рагна и испуганно смотрит на него.

И она чувствует необычайное облегчение, заметив, что Эдварт улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Нет, я нисколько не сержусь, — отвечает он. — Это так глупо. Но мне-то все равно.

«Опять письмо из Америки», — подумал он про себя. Пропустили недели после первого, да, много недель, месяцы, ему бы следовало ответить, поблагодарить. Почему он не отнесся серьезно к этому?

— А ты читала письмо? — спрашивает он Рагну.

— Читала ли я?! — восклицает она. — Читать чужие письма — боже меня сохрани от такого греха!

Конечно, она прочла его. Это, впрочем, ничего не значило. Он говорит:

— Я только хотел спросить, не знаешь ли ты, где именно в Америке она сейчас? Посмотри и прочти, пожалуйста, что стоит на штемпеле.

Она читает по складам. Рагна хорошо училась в школе, в детстве она смеялась над Эдвартом, которому грамота давалась трудно. Она прочла: «Денвер».

«Так и есть!» — подтверждает Эдварт свою мысль. Ловиза-Магрета покинула восточную часть страны и свою дочь, миссис Адамс, и опять пустилась на розыски, теперь она была у сына в Денвере. Ну что же! Или она нашла того, кого искала, или не нашла его и хочет, чтобы Эдварт приехал к ней. Он знает содержание письма и откладывает его в сторону.

— Ты не прочтешь его? — боязливо спрашивает Рагна.



— Потом,— отвечает он.— Но как же это Теодору удалось добраться до писем? Разве почтовую сумку не кладут в мешок и не запирают его замком?

Р а г н а. Я не знаю. Вероятно, он вынул их на остановке, прежде чем они попали под королевский замок. Такой стыд и срам!

— А что он сказал, когда ты взяла и спрятала мое письмо?

— Тогда уж его не было. Я ходила на ручей за водой, как ты видел, а когда я вернулась и стала искать, почему в избе так странно пахнет, то и нашла его.

— Так что он не знает, что ты пошла ко мне с письмом?

— Нет. Но ради бога, Эдварт, сжался над нами и не доноси на него! Это будет так ужасно для всех нас, и хуже всех придется Родерику: он потеряет место.

Эдварт спрашивает:

— Но ведь Родерик ничего об этом не знает?

— Нет, нет, нет! — восклицает Рагна.— Как ты мог подумать это?! Он чист, как ангел. Родерик весь в тебя.

Эдварт сидит все так же неподвижно и молчит. Вдруг он насторожился: скрипнул пол в комнате рядом. Но больше он ничего не слышит и он успокаивается. Верно, пол вовсе и не скрипел, это ему только показалось.

Она продолжает:

— Я хотела назвать его в честь тебя, да не посмела. Это Теодор придумал ему такое имя. «Это твой мальчишка,— сказал он,— так и назови его в честь себя самой».

Рагна улыбается, говоря это, и губы у нее становятся такими милыми.

— Ты предупреди Родерика, пусть он знает, с каким человеком ему придется возить почту,— говорит Эдварт.— Он должен быть начеку.

— Да, не правда ли, он должен это знать? Ведь ему, Родерику, приходится отвечать за обоих. Письмо-то из Америки, за это строго накажут.

— А что касается меня,— говорит Эдварт,— то я ни слова не скажу. Ты этого, пожалуйста, не бойся, Рагна.

Ярче улыбка, и еще милей ее губы. Она благодарит его, встает и стоит около пальто.

Тут или сама стена подтолкнула ее, или она, может быть, оступилась, но они очутились совсем близко друг от друга и стали целоваться и шептаться. Они прямо с ума сошли.

Но в комнате рядом все-таки кто-то был: послышался осторожный, предупреждающий кашель.

— Теодор! — шепнула она и освободилась.

Минута была испорчена.

Дурак-дураком смотрит он, как она надевает пальто и уходит. Она не просит проводить ее и защитить; по-видимому, она не нуждалась в этом, она сама могла постоять за себя. Черт знает, как обидно, что так вышло! Минута была испорчена.

Вдруг им овладевает злость, бешенство его юных дней; бледный, вне себя, шагнул он в комнату Августа, но нет, там никого не было. Одним прыжком спускается он по лестнице, как буря влетает во двор и осматривается по сторонам, он хочет схватить Теодора, уличить его на месте, но Теодора не было. Рагна в своем пальто мирно идет домой.

Широкими торопливыми шагами Эдварт рыщет всюду между постройками и в дровяном сарае находит Августа.

— Так это был ты? — простонал он, запыхавшись.

— Где это я был? — спрашивает Август.

Но отрекаться бесполезно, он сознает, что находится в опасном месте: сарай для дров был полон смертоносных орудий — тут был топор, козлы для пилки дров и огромные поленья. Но вдруг он перестал бояться взбешенного товарища, он решается возразить ему, посылает его к черту, не двигаясь с места, стоит с пустыми руками и говорит:

— Заткни свою глотку, Эдварт!

Тот так и осел в своем наскоке, его верхняя губа сморщилась, как будто он хватил крепкой водки.

— Ты кашлянул, — прохрипел он.

— Ах, ты ничего не понимаешь! — отвечает Август. — Но ты бы лучше помолчал. Мне так плохо сейчас приходится, что нужно иметь лошадиные силы, чтобы удержаться от кашля.

Эдварт, сбитый с толку:

— То есть как — плохо приходится?

— Да, и так будет еще несколько месяцев. Сообрази же наконец! Зря я не стал бы кашлять. Или, может быть, ты скажешь, что я целыми днями хожу и кашляю? Нет.

Это кончилось неожиданно и смешно. Вышло, что обижен Август, что к нему были глубоко несправедливы: эта чертовка Рагна устроила ему испытание; она, верно, почувствовала, что он сейчас никуда не годен, у женщин в этом отношении очень тонкий нюх, от них никак не утаишься.

— Но пусть она подождет, пусть только подождет, говорю я, тогда увидит, — сейчас я никуда не годен, но наступит день, и я постою за себя!

Постепенно лицо Эдварта приняло опять свой смуглый оттенок, улыбка раза два мелькнула на нем, и вдруг он расхохотался, расхохотался от всей души. Это он-то, который не смеялся, быть может, целые годы.

Однако Август от этого не смягчился:

— Да, тебе хорошо скалить зубы, ты-то ведь совсем здоров. Но, впрочем, я тебя в грош не ставлю, ты для меня все равно, что мой башмак, у которого тоже все в порядке. Для настоящего матроса, как я, ты просто грудной младенец. Да. А попробовал бы ты побыть на моем месте: ведь я же занят делами, работаю, устраиваю банк и стою вдалеке от всего житейского, и вдруг сегодня рядом за стеной...

— Ха-ха-ха!

— Я бы охотно проломил тебе голову, обезьяна ты этакая! — ворчит Август, до крайности раздраженный. — Я не стал бы смеяться над тобой. А теперь поищи себе кого-нибудь другого, чтобы хохотать и издеваться над ним.

## ГЛАВА XI

---

Август пошел еще раз к Эзре и Хозее в Новоселок.

— Приезжал сюда владелец сети, который хочет построиться и поселиться в Полене, — сказал он. — Это тот, что сделал самое большое заграждение сельди за последнее время, так что его стоит заполучить к нам. Его фамилия Оттесен.

— Так, — равнодушно сказал Эзра, — значит — Оттесен.

— Да. И дело в том, что ему очень хотелось бы купить часть болота у Эзры, кусок трясины, и построиться там.

Эзра лишь криво ухмыльнулся в ответ на такую нелепость.

— Да, — совсем трезво сказал Август, — я понимаю, что хуже этого я ничего не мог сказать тебе, но все-таки...

— Да, — согласился с ним Эзра, — если бы это был не ты, то я прямо не знаю, что сделал бы с тобой.

— Так, значит, ты окончательно рехнулся!

— Только, пожалуйста, не деритесь, — смеясь, заметила Хозея.

А в г у с т. До чего трудно иметь дело с некоторыми идиотами! Тут приезжают люди из других округов, из отдаленных частей страны, хотят поселиться — и не могут купить участка под дом. Каролус единственный понял свою выгоду, вчера он положил на текущий счет семь тысяч, не считая пяти тысяч, которые уже раньше у него были в банке.

— Двенадцать тысяч! — воскликнула Хозея.

— Да, но он продал всю свою землю, — сухо заметил Эзра.

— Но у него двенадцать тысяч!— закричал Август.— Или ты не понимаешь, что тебе говорят? Давай я повторю тебе по складам.

Эзра все так же настойчиво и холодно:

— Я не хотел бы быть на его месте.

Август в отчаянии качает головой:

— Ну, как с тобой разговаривать? Ты хуже маленького ребенка. Если бы это не было грехом перед всем Поленом, то я бы бросил все и ушел,— не стоит. Я открыл здесь почтовое отделение, основал банк, выстроил несколько домов, на которые приятно посмотреть, превратил Полен в местный центр, в маленький городок; скоро мы выстроим здесь фабрику рыбьей муки и потом еще здание для банка и для общины,— ну, все, что только можно выдумать. Но на некоторых людей ничего не действует.

— А на что вам банк? — спросил невозмутимо Эзра.

— Ну, послушайте только! В банк мы будем класть деньги, оттуда давать их займы и так зарабатывать друг на друге. Ведь так именно поступают на всем свете, значит, это правильно. Но, по-твоему, мы этого не должны делать, мы не должны идти нога в ногу со временем, развивать торговлю и промышленность и создавать Норвегии кредит на мировом рынке. А если стране придется делать заем? Бессмысленная болтовня, глупая болтовня! Скажи-ка мне, пожалуйста, одну вещь: что ты делаешь со своими деньгами? Ты спишь с ними?

— Ха-ха-ха! — презрительно засмеялся Эзра.— Разве у меня их двенадцать тысяч?

— Нет, конечно. И ты сам виноват в этом.

— Их у меня совсем немного.— Эзра смотрит куда-то вверх и говорит: — Мне кажется, они лежат где-то на полке в серой бумаге.

— Так. Но разве не лучше было бы поместить их в банк и получать на них проценты?

— Нет, Август, в этом ты ничего не смыслишь. Ты знаешь толк только в крупных вещах, в предприятиях, в серебряных рудниках, в фабриках. А те гроши, что у меня есть, я скопил, чтобы уплатить налоги. Когда я заплачу их, я опять буду без гроша.

— Я знаю толк не только в серебряных рудниках и фабриках,— сказал обиженно Август.— Насколько я помню, я помогал тебе осушить твое болото и строить этот самый Новоселок.

Х о з е я. Да, разве это не правда?

— Зачем они едут в Полен, все эти люди? — спросил Эзра без всякого перехода.— Разве они не могут оставаться дома?

А в г у с т. А нам бы следовало гнать их обратно? Но только Полен не стал бы от этого больше. Нашел, что спросить! Конечно, у каждого человека на свете есть своя родина, свой дом или дача, где он живет. Но они переезжают сюда потому, что сюда чуть не каждый год заходит сельдь, они строятся, селятся здесь и удваивают число населения. Для тебя это, может, ничего не значит, но это имеет крупные последствия: благодаря этому является большой спрос на твоё молоко, на твой скот и живность, один покупатель стремится перебить твои продукты у другого, и ты набавляешь на них цену.

— Но откуда же им брать все больше и больше денег, тем, которым нужны мои продукты? Тогда им приходится брать все больше и больше за другое, — задумчиво сказал Эзра, — а мне, значит, надо будет давать больше за то, что мне потребуется. Это не может быть по-другому. Но не значит ли это только, что все цены вздуются?

— Да, против этого ничего нельзя возразить, — отвечал несколько сбитый с толку Август, — но ведь это в сущности тебя ничуть не касается, лишь бы ты сам получил свое!

Впрочем, такой ответ не удовлетворил и самого Августа, он натянуто засмеялся и поглядел в сторону на Хозею.

Август оборвал разговор.

— Но, как я уже заметил, говорить с тобой совершенно бесполезно. А как поживаешь ты и дети? — спросил он Хозею.

— Благодарю тебя за внимание, — отвечала она. — По-немножку.

— Ты, кажется, опять в положении, вижу я. Сколько их всего у тебя?

— И сказать не посмею, — отвечала она, смеясь. — Он у меня троль!

Вдруг Эзра говорит необычайно серьезно:

— Стольким людям здесь не прокормиться, Август.

Август, пораженный его тоном, спросил:

— Как так?

— Да так. Ни один человек на свете не может прокормиться банками и промышленностью. Ни один человек на свете.

— Ну, а что же их кормит?

— А кормят людей три вещи, — отвечает Эзра, — хлеб в поле, рыба в море, да звери и птицы в лесу. Вот эти три вещи. Я думал об этом.

— Но ведь есть люди, которых кормят деньги.

— Нет, — отвечал Эзра. — Деньги не кормят ни одной души. Молчание.

А в г у с т. Гм! А что это ты собираешься ткать, Хозея? Я вижу у тебя мотки пряжи.

— Да так, ничего особенного, это пряжа для белья.

— И ты находишь время, чтобы ткать?

— Да, иногда,— отвечала Хозея.— Впрочем, этим занимаются теперь по большей части девочки.

— Но у твоей сестры в лавке достаточно материи и белья.

— Нам эти вещи не годятся, они слишком тонки и непрочны.

— Если бы все так рассуждали, Паулина никогда бы ничего не продала и не накопила бы себе денег.

Эзра сидел, как всегда погруженный в свои мысли; он был так поглощен ими, что не слышал, что говорят другие; он покачал головой и повторил:

— Нет, здесь не прожить стольким пришлым людям, здесь нет поблизости пахотной земли.

Август раздражен:

— Ты все лучше знаешь, Эзра! Но пока бог посылает нам сельдь, нечего бояться, что не хватит земли для пропитания в Полене. Я скажу тебе одно, мой милый Эзра, что ты из числа тех, которые, вечно недовольные, ворчат себе под нос, надрываются от работы и все же работают по той же старинке и знать не хотят ничего нового. Ты упорно не хочешь прозреть и остаешься одиноким, ведь у тебя в Полене нет ни одного близкого тебе человека.

— Я занят своим делом,— отвечал Эзра.— И до сих пор дела наши не шли под гору, а идут в гору.— Он улыбнулся и продолжал: — С каждой новой коровой у нас новый ребенок. Под конец у нас будет много коров, так как Хозея не плошает с детьми.

Но Хозее было не до шуток, она вздохнула и сказала:

— Да, мы одиноки. Все соседи против нас.

— Это ничего не значит,— утешил ее Эзра.

— Они думают, что нам помогает из-под земли нечистая сила.

— Да, они действительно так думают, и пусть думают, как хотят. Зачем нам помощь? Мы оба, Хозея, и ты, и я, работаем, сколько можем, из года в год, мы справляемся с нашим хозяйством, мы никому не должны ничего, и каждые два года у нас прибавляется новое возделанное поле. А это вовсе не так уж плохо. Дети теперь подрастают; старший, того и гляди, вернется домой из Троньема и станет нам помогать. Здесь в Полене жил когда-то один старик, мы звали его — Мартин Рулевой; да ты, верно, помнишь его, Август? Он научил меня довольствоваться своей судьбой.

Все это был пустой разговор и ерунда, ни малейшего намека на торговлю и промышленность. Августа всего передернуло и он спросил:

— Так ты, насколько я понял, не продашь Оттесену участка?

— Нет,— отвечал Эзра.

— Ты получил бы за него здоровый куш.

Хозяя прерывает его:

— Лучше не говорите больше об этом: кроме неприятности из этого ничего не выйдет.

Но Август настаивал:

— Я хочу только сказать, что ему дали бы за это большие деньги.

— Я понимаю,— возражает на это Эзра,— но мне и без того хватает на налоги. А в новомодных лавочных товарах мы особенно не нуждаемся.

— Это бог знает, что такое! — воскликнул Август.— Время, мода, прогресс,— ты с ними не имеешь ничего общего. Может быть, ты не станешь покупать и рыбью муку, которую мы собираемся фабриковать?

— Может статься, что и куплю,— отвечает Эзра.— Если скажется лучше и выгоднее кормить скот ею, чем прямо сельдью, как я это делаю теперь.

Август прекратил дальнейший разговор, высказав свое мрачное мнение о странном образе мыслей и недальновидности некоторых людей:

— Прямо-таки стыдно, что такой отличный человек, как рыбный промышленник Оттесен, не может достать себе участка земли.

Август ни за что не примирится с этим, скорее он уступит свой клочок луга. Ведь у него был кусочек луга, который предназначался для кой-чего, очень важного и полезного для Полена; земля была уже вспахана и взборонена — готова, так что можно было уже произвести посев.

— А что ты посеешь? — спросил Эзра.

— Но теперь она тоже отойдет под участок для стройки,— оборвал разговор Август.

Как ни странно, но на Августа нашло легкое сомнение: а что, если, действительно, в Полене окажется слишком много народу? Он думал об этом и пришел в отвратительное настроение, глупости Эзры раздражали его: неужели нельзя жить за счет банка, промышленности и прогресса? Но сколько он ни

странствовал по земному шару, об этом никто не спорил. А как банк обойдется без несгораемого шкафа и без помещения? Ведь это нужно в первую очередь для банка. То есть в первую очередь нужен участок, а откуда его взять? С горечью вернулся он опять к этой мысли, которая мучила его в последнее время, — строй хоть у себя на голове. Конечно, это опять было преувеличением, и он зубами заскрежетал на эту свою привычку говорить лишнее, — ведь была же полоса земли возле Каролусова сарая. Но разве это подходящий участок для банка? И даже если бы ему удалось заставить снести сарай, так как Каролус не нуждался в нем больше, участок оставался все так же неподходящим из-за своей непристойной близости к хлеву. Тут мысль его перескочила на коммунальное помещение, — где бы построить его? И здесь то же затруднение: нет участка. Черт возьми! Стоило пройти только сто метров за околицу, и земли было сколько угодно. Но в том-то и дело, что коммунальное здание должно было находиться в самом Полене и всем бросаться в глаза своей башней на фронтоне, которую Август специально выдумал для этого случая. Август попал в переделку, но это не беда: он выпутывался и из худших переделок, он должен найти выход из безвыходного положения, не беспокойтесь об этом! Но в этот миг он раздраженно искажал положение вещей и издевался над людьми. Вероятно, кончится тем, что Полен, который он представлял себе таким большим, так и останется каким-то жалким подобием города; в нем будет в лучшем случае пятьсот человек, то есть что я говорю?! — сто человек, пятьдесят человек, пятьдесят идиотов, негодяев и несчастных бедняков. Правление будет заседать в избе у старосты и решать важные вопросы, сидя в своей компании возле печки. Какой срам! Когда прибудет несгораемый шкаф для банка, шкаф, который он выписал по телеграфу, то для него не будет дома. Но дом должен быть!..

Когда он вошел в лавку, там вместе с другими покупателями стояла Ане-Мария. Шел оживленный разговор, и Ане-Мария была центром внимания.

— Хорошо, что ты пришел, Август, — сказала она, — ты мне поможешь.

Август, все еще в дурном настроении, отвечал ей коротко: — Я не могу помогать всем. Что тебе надо?

Нет, — сказала она, — он может помогать всем и без него никто ничего бы не сделал. Но пусть он выслушает, о чем они сейчас говорили: у нее нет своих детей, так она хочет взять на воспитание двух бедных детей, вместо своих собственных. Вот что ей было надо.



— Ну?

— Да.

А что же скажет Август на это, кого он предложит?

Август оживился и был доволен, что и это дело не обошлось без него, — действительно, ведь не было ни одной вещи, которой он не улаживал бы.

— Ты прямо святая и замечательный человек, Ане-Мария, ты думаешь не только о себе! — сказал он.

— Ты находишь?

Ане-Мария ничего не имела против такой похвалы. Она могла бы попробовать самостоятельно достать двух ребят, но ей хотелось раздуть это дело, рассказать о нем в лавке, распространить новость и послушать, что о ней скажут.

— Этого не только я хочу, — сказала она, — но и Каролус тоже.

— Вы оба — настоящее благословение для нас, — порешил Август. — Без вас Полен до сих пор состоял бы из семи домов да двух сеновалов.

— Ты и себя не должен забывать! — очаровательно кокетничая, протестовала она.

И они взаимно признали свои заслуги, и оба остались очень довольны. Паулина примкнула к Августу и тоже стала расхваливать Ане-Марию; она говорила ей «вы» и выказывала ей всякое уважение.

— Не все думают о бедных невинных крошках, как это делаете вы, — сказала Паулина, эта сухая, костлявая старая дева, вовсе не интересовавшаяся детьми.

— Двое бедных детей, — повторил про себя Август и стал усиленно думать. — Они должны быть братом и сестрой?

— А как по-твоему?

— Пожалуй. Они должны быть незаконные?

— Не знаю, — отвечала Ане-Мария несколько смущенно.

Но Август действовал основательно и по-научному и продолжал спрашивать:

— Маленькие?

— Да, совсем крошечные. Впрочем, я буду довольна, какими бы они ни оказались.

— Девочка и мальчик?

— Да как выйдет, — устало отвечала Ане-Мария. — Мы ведь придумали это, чтобы сделать хоть маленькое доброе дело на наши средства.

— Да, у вас им будет хорошо, — сказал один из покупателей возле прилавка.

А другой покупатель подбавил еще и сказал, качая головой:

— Им будет у вас, как ангелам в раю!

А Ане-Мария не возражала, раздулась от гордости и подтвердила, что да, у нее они не будут терпеть нужды ни в пище, ни в питье.

— Но все же какими они должны быть? — спросил Август и задумался еще крепче.

Словно он по пальцам мог перечесть всех ребят в Полене, тогда как, на самом деле, он не знал ни одного. Да и как он мог знать поленских детей? Он отсутствовал более двадцати лет и теперь даже не всех взрослых узнавал при встрече.

— Я хочу знать, должны ли у них быть карие или голубые глаза, темные или светлые волосы?

— Это безразлично, как придется, — отвечала Ане-Мария. — Какими бы они ни были, они будут для меня одинаково желанными.

— Что касается меня, я видел всякие породы людей на земном шаре, — сказал с достоинством Август. — И у некоторых были черные глаза, а у других обыкновенные белые, но хуже всех были люди с красными глазами, страшно похожими на медные гвозди, — вот к таким было опасно приближаться. А со мной случилось однажды, что триста или четыреста таких медных гвоздей глядели на меня; так потом, что бы я ни съел, все имело привкус меди.

— Вот это замечательно!

— Так что никак не может быть безразлично, какие у человека глаза, — поучал Август. — Но раз уж ты отдаешь это дело в мои руки, то я постараюсь. Будет не так-то легко найти двух детей как раз таких, какие тебе нужны. Потому что они должны быть такими, чтобы не посрамить тебя, когда они появятся на людях в красивых платьях и одежде, в которую ты будешь их наряжать. И потом родители их должны быть людьми уважаемыми и нравственными. Но я найду именно таких, не беспокойся об этом...

Более предприимчивого человека, чем Август, трудно было найти для этого дела. Он тотчас же пустился на розыски подходящих детей. Это было вовсе не легко: времена были хорошие, был удачный лов сельди, рыбаки хорошо зарабатывали, деньги не были редкостью, и трудно было найти людей настолько бедных, чтобы они согласились отдать своих детей в чужие руки. Ему пришлось пройти далеко, в Северный приход, и только там начать свои поиски; но Северный приход также хорошо использовал сельдяные уловы во Внешнем Полене, здесь

не было нищеты в собственном смысле этого слова, и Август не раз подвергался насмешкам. Что ему вздумалось? Неужели он воображает, что в Северном приходе родят детей, чтобы поставлять их другим?

Август вернулся домой, уселся, отирая пот, перед Ане-Марией и стал ей докладывать. Он сделал все, что мог, он из кожи лез, чтобы угодить ей, но в результате его высмеяли.

Ане-Мария с удивлением выслушала такое сообщение.

Что же это значит? Неужели весь приход превратился в богачей? Обычно детей было сколько угодно, настоящее изобилие детей; за эти годы она имела обыкновение зазывать к себе тощих и дрожащих от холода детей, что доставляло ей большое удовольствие при ее любви к детям, и давать им какие-нибудь остатки еды, что-нибудь вкусное; теперь она стояла с распростертыми объятиями, но никто не шел к ней.

Однако Август не потерял надежды, он опять стал напряженно думать и наконец сказал:

— Если бы ты не решила во что бы то ни стало иметь этих детей безотлагательно, то я бы мог заказать их кому-нибудь парочку.

Ане-Мария быстро взглянула на него, чтобы узнать, уж не смеется ли он над ней; но Август не шутил: он был настроен совершенно серьезно, даже, пожалуй, религиозно.

— Не понимаю, что это за времена настали! — сказала она. Теперь люди какие-то неестественные. В дни моей молодости дети так и кишели вокруг: двое ребят каждые три года считалось нормой. А теперь...

Август продолжал развивать свою мысль:

— Но ты, верно, не захочешь ждать год?

А н е - М а р и я. Нет, мне хотелось бы иметь их теперь же. Через год — бог знает, что еще будет через год. А теперь, пока у нас есть такие большие средства...

Все это дело начало раздражать его, и он задал ей вдруг следующий вопрос:

— Но почему, черт возьми, ты сама не родишь этих детей, Ане-Мария? Вот что я хотел бы знать.

— Я? Я бы очень охотно это сделала, да вот не удается.

— Но почему? Что вам мешает обоим?

— Каролус старается изо всех сил, а детей все-таки нет.

— Мне бы следовало быть на его месте! — воскликнул Август.

И на этот раз это не было пустым хвастовством. Он покраснел и беспокойно заерзал на стуле. Но, конечно, он и тут

преувеличивал и заявил, что с ним, с Августом, у Ане-Марии было бы достаточно этих так называемых детей.

— Ты это серьезно говоришь? — спрашивает она.

Ну, конечно, совершенно серьезно. Как она не хочет понять, что он объездил весь свет, и никто никогда не жаловался на какие-нибудь недочеты с его стороны!

— Ну, так вот какой ты был молодец!

— Да, и равный мне вряд ли найдется.

— В таком случае я была бы рада, если бы мы с тобой тогда составили пару, — сказала она. — Но теперь это для нас слишком поздно.

— Поздно? Почему же? Уж не думает ли она, что он вроде тех, какие встречаются в Турции и в Египте?

И они еще долго разбирали во всех подробностях этот вопрос.

Упоминание о Турции и Египте дало толчок фантазии Августа, и он стал рассказывать о своих похождениях на белом свете. Его возбуждение, по-видимому, ослабевало, и он опять отдался во власть вымыслу. В настоящее время с ним дело обстоит так, что он проклял все, что называется женщиной и любовью, — и это произошло оттого, что он был однажды в одном обширном королевстве, где влюбился в даму. Она сама не была принцессой, но, может быть, сестрой принцессы или еще кем-нибудь; она была очень знатная, и у нее было пять или, то есть, три рабыни, которые отгоняли от нее мух, когда было жарко. «Но как это случилось, не знаю, — министр ли ее заставил или еще что, — но она изменила мне», — сказал Август, и с тех пор он стал не знающим покоя мучеником и проклял женщин.

— Это пройдет, — утешала его Ане-Мария.

Август продолжает:

— Правда, она была не совсем белая телом, но и не черная, только не белоснежная. У нее были огромные богатства; она дала мне однажды полную горсть жемчуга просто так, словно это был пустяк, горсть больших жемчужин из тех, что ловят в Тихом океане, они дороже любого брильянта.

Но Ане-Марии хотелось вернуться к сути дела, и она спросила:

— А ты делал с ней что-нибудь?

— Разумеется, — ответил он.

— А давно это было?

— Да, давно, давно, очень давно. А почему ты спрашиваешь?

— Раз это было так давно, то ты, пожалуй, не мог бы теперь этого сделать.

Август снова загорелся.

— А почему же нет? Почему ты думаешь, что я больше ни на что не годен? Хочешь испытать меня? А? Почему ты не отвечаешь?

— А о чем ты спрашивал? Я не слыхала. Я хочу как раз того же, чего и ты хочешь.

Тут Август сделал нечто, что было совсем непонятно Ане-Мари: он вдруг вскочил и сделал два широких шага по направлению к двери, где он остановился и застонал, ломая руки. Она подумала, что он увидел кого-нибудь в окне, и спросила:

— Кто это? Каролус?

— Каролус? Нет,— отвечал Август и стал понемногу приходить в себя.

Прежде чем уйти, он нашел, однако, время сказать несколько слов, но взгляд его при этом не выразил бесконечной или беспримерной нежности:

— Если ты хочешь того же, что и я, то нечего бояться, что у тебя не будет ребенка для воспитания! — сказал он.

## ГЛАВА XII

---

Но вскоре Август спохватился, что обещал Ане-Мари слишком много, чересчур много, он избегал ее несколько дней и наконец бежал от ее преследований во Внутренний приход, в надежде найти там двух детей. Он нарядился и, насколько позволяло приличие, прибавил к своему костюму кое-что красное.

Впрочем, надежда его была не особенно велика: во Внутреннем приходе, высоко мнившем о себе, вряд ли бы кому захотелось отдать на воспитание детей. Он пошел к священнику, но капеллан Твейто еще не освоился в своем приходе и так далее. Август направился к ленсману: уж он-то должен знать самых жалких и неимущих, которых он описывал за неплатеж налогов.

— Двух бедных детей? Нет, таких у нас не имеется.— Ленсман оказался патриотом Внутреннего прихода и посоветовал искать детей в Полене: — Там ты их найдешь достаточно,— сказал он.

Отлично! Он говорил ему «ты», да и вообще был невыносим, Август должен отплатить ему той же монетой. Это был молодой человек, сын предыдущего ленсмана, которого ува-

жал весь приход; сын же был достаточно самодовольный и не особенно далекий человек, может быть, тоже добрый и хороший, но не семи пядей во лбу. Август, быстрый на реплики, отвечал ему сначала мягко и хитро:

— У нас много чего есть, но бедных детей нет. И вот я решил поискать их здесь.

— Ха-ха-ха! — засмеялся ленсман. — А что же, собственно, есть в твоём Полене? Одна сельдь!

— Да, есть и сельдь, — согласился Август. — В общем же много такого, чего нет в твоём Внутреннем приходе.

Ленсмана покорило, что его «тыкают».

— Может быть, и так. И все же есть некоторая разница между тобой и ленсманом, с которым ты говоришь.

— Конечно, — как ни в чем не бывало, отвечал Август, — но разве я даю тебе чувствовать свое превосходство?

Ленсман вытаращил глаза, его лицо потеряло всякое выражение. И оно все еще оставалось без всякого выражения, когда Август раскланялся и вышел.

Август боялся, как бы по той или иной причине не пришлось вернуться ему домой с пустыми руками; он был в безвыходном положении: необходимо было раздобыть этих детей, вместо того чтобы делать их самому. Справляться в частных домах было бесполезно. Август пошел к звонарю. И тут его направили куда следует. Действительно, звонарь Ионсен был учителем детей Внутреннего прихода и мог сообразить; он не мог указать на кого-нибудь определенно, но...

И от радости, что его направили на путь истинный, Августу ужасно захотелось выставить в настоящем свете священника и ленсмана, не сообразуясь с тем, было ли это политично или нет. Он начал со священника:

Обитатель Гельгеланда, может быть, даже вшивый и во всяком случае с грязным носом. Он посмотрел бы на капитана с океанского парохода: широкие золотые нашивки на фуражке и на рукавах, золотые звезды на обшлагах, золотая цепь поперек живота, золотая ручка, золотой карандаш, золотой портсигар, золотые часы, золотые кольца, — золото и золото повсюду. А капеллан, этот Твейто, сидит и жует щепку, ничего-то он не знает и только красно говорит, — может быть что-нибудь хуже этого?

Звонарь только улыбнулся и кашлянул в ответ. Август решил оставить ленсмана в покое. Звонарь Ионсен не мог, как он уже сказал, за что-нибудь ручаться, но тут есть кузнец... Несколько лет тому назад переселился во Внутренний приход кузнец Эйде Николайсен с женой и кучей малолетних

детей. Они переехали из Стокмаркнеса и были очень бедны, так что тамошняя община оказывала им все время вспомоществование. Августу следовало осведомиться у них. Самого кузнеца не очень-то хвалили, он несомненно также побывал в руках у полиции, жена его казалась измученной и усталой, но дети могли оказаться подходящими.

— Наплевать на родителей! — решил также и Август. — Из таких детей могут выйти губернаторы и президенты, — видал я достаточно этого на белом свете. У короля Индо-Китая не было другого крахмального белья, кроме того, что я одолжил ему, когда ему в первый раз пришлось танцевать во дворце. Но разве это имеет значение?

Тут и с лица звонаря исчезло всякое выражение, он несколько испуганно поглядел на Августа и добавил, чтобы окончить разговор:

— Да-а, так вот сходите к кузнецу и попробуйте там.

И на этот раз Августу действительно посчастливилось продвинуться в своем деле на шаг вперед. Кузнец в некотором роде обещал ему двух детей, двух мальчиков пяти и шести лет, один немного старше другого, оба большеглазые и худые, именно то, что надо. Они оба казались заброшенными и, может быть, были настоящие сорванцы, но они вовсе не были так уж плохи для данной цели; у них были, между прочим, голубые глаза и крупное, хорошее телосложение. Ане-Марии они должны были понравиться.

Август мог войти только в предварительные переговоры; приемная мать должна была прийти сама и договориться окончательно, но она была готова прийти хоть завтра. Кузнец почти не делал никаких возражений, он имел, скорее, довольный вид, зато пришлось преодолевать колебания матери, которая плакала и напугала своими слезами малышей. Да и в самом деле зрелище было пренеприятное. Бесшабашный моряк Август смутился и растрогался, ему поручили свинскую работу, и он был дурак, что взялся за нее.

— Вот вам, — сказал он, протягивая матери несколько бумажек, — купите себе что-нибудь на эти деньги! Итак, будем считать дело законченным. Да вы не беспокойтесь, мальчиков ваших хотят взять хорошие люди.

Мать разливалась в три ручья, может быть, ей казалось, что она получила задаток, что она продала своих детей. Августу пришлось в заключение добавить:

— А если через некоторое время вам захочется взять их обратно, то это можно будет устроить. Пожалуйста, не плачьте, тут нет никакого насилия.

Август шел домой куда более довольный, чем шел из дому: поход его увенчался успехом, он возвращался, так сказать, с добычей,— пожалуйста, вот вам два мальчика! Разве это не великолепно? «Да»,— сказала Ане-Мария. Но все же она предпочла бы другой исход, она даже не сдержалась и намекнула на один проект, который возник несколько дней тому назад, почему же он отказался от него? Август извинился, но указал на то, что в таком случае ей пришлось бы ждать большую часть года. И кроме того, подчеркнул он, не следует забывать, что это были дети из гордого Внутреннего прихода, триумф и победа для Полен. Но если это так,— заявил он, оскорбленный,— если Ане-Мария отказывается от детей, то он сам возьмет их — сам он, Август, возьмет их к себе. Да, потому что он никогда в жизни не видел таких милых и исключительных детей, и он нисколько не удивится, если они займут высокое и знатное положение,— какое именно, он не хочет назвать.

Все отлично устроилось. Ане-Мария пришла домой, частью протащив, частью пронеся на спине двух маленьких мальчиков. Она усиленно занялась ими, кормила их, пошла с ними в лавку и показала их там, купила им разные вещи и вещички, купила одежду и обувь, и кроме того, сама принялась им шить нешуточное приданое. Она была ужасно занята.

И началось веселье, игры и выдумки с раннего утра до позднего вечера; мальчикам жилось хорошо; их кормили как следует и с ними обращались лучше, чем дома; они играли с другими детьми и к вечеру под собой ног не чувствовали. Но иногда у них бывали тяжелые минуты тоски по дому, и они плакали; без этого никак нельзя уж было обойтись. Ане-Мария, впрочем, отлично умела их утешить. Два раза она водила их домой, и они возвращались с ней обратно; один раз они попросились остаться ночевать во Внутреннем приходе, чтобы показаться товарищам в новом платье, и через несколько дней сама мать привела их обратно в Полен. Опять наступил трудный момент, когда мать должна была проститься с ними и идти домой, но тут оказалось, что приемный отец Каролус купил им два маленьких топорика, чтобы мальчики могли ими рубить дрова и зарабатывать себе эре на сласти.

И у Каролуса были свои радости от мальчишек: с ними жилось совсем по-другому; это были дети, они глядели на него своими большими глазами и часто спрашивали то о том, то о другом. И ведь подумать только, что они выдумали,— они прятались от него за угол дома и кричали ему «ау-ау», когда он уходил в Полен. Каролус не мог играть с ними постоянно,



но он смеялся им в ответ, сжимал кулаки и грозился, что он сейчас придет и утащит их. По многим причинам было ему приятно, что мальчики вошли в его жизнь; так, например, он мог спать один на кровати в горнице, а Ане-Мария спала теперь вместе с мальчиками за перегородкой, так как они не могли обойтись без нее.

Действительно, Каролусу было теперь хорошо и спокойно, и он был к тому же на вершине своего богатства и почета. Когда он встречал знакомых по дороге, то он не отделялся пустым кивком, нет, для этого он был слишком хорошо воспитан, он не рассуждал также без конца о погоде и ветре с любителями поговорить, он вынимал из кармана часы и говорил, уходя:

— Я бы охотно еще поболтал с тобой, да некогда: тороплюсь на важное совещание в банк.

Какая разница по сравнению с прежним!

Эти совещания в банке были иногда тягостны. Обитатели Полена и другие всем известные люди просили иногда о ссуде, хотя их поручители не были достаточно правомочны. Что тут делать? Неужели отказывать в займе? Август и Каролус были щедры и готовы были дать, но Паулина, наиболее осведомленная, настаивала на отказе. Большинство голосов удалось провести несколько довольно сомнительных ссуд, и Паулина не захотела больше оставаться в совете: ей надоело быть в меньшинстве, и она вышла. Так как оба оставшиеся, так сказать, подарили несколько небольших ссуд, Август понял, что дело неладно, и хотел было затормозить. Но разве Август может тормозить? Тогда бы прекратилось всякое оживление и оборот, наступило бы затишье. К черту тормоза! И потом Августу пришлось по вкусу сидеть в банке и решать человеческие судьбы; просившие ссуду прямо шли к нему, он был всемогущ, банк считался его банком, а Каролус был ничто. Теперь случалось все чаще и чаще, что Август прибавлял свое собственное имя к именам двух неправомочных поручителей, чтобы провести ссуду. В приходе говорили, что он тратит свое богатство из серебряных рудников на благотворительность.

С величайшим беспокойством и досадой следила Паулина за тем, какой опасности он подвергал пять тысяч крон ее брата. Она не думала о жалких пяти акциях Иоакима или о своих собственных десяти, нет, она тревожилась только за старшего брата, который был всегда серьезен и молчалив и никогда не выставлялся вперед.

— Видно, кончится тем, что вы пустите его по миру,— говорила она Августу.

— Да нет же! — возражал, улыбаясь, Август и высказывал надежду, что старший брат не пострадает.

— Ваши ссуды опустошат скоро весь банк, — говорила она.

— Тебе лучше знать. Ведь ты же хранишь все деньги.

— Да, наличность теперь меньше, чем была, когда вы начали.

— Хорошо, но зато у банка есть теперь ценности, которых тогда и в помине не было.

Август перечислял: у них целый ряд поручителей, несколько дворов взято в залог по ссудам, а за ссуды на стройку отвечает целая нарядная улица в Полене с новенькими домиками. Разве у них было все это, когда они начали?

Паулина сказала:

— А все-таки я молю бога, чтобы Эдварт благополучно отделался от вас.

Август, опять улыбаясь, стал успокаивать ее: ей нечего было тревожиться за Эдварта, он ничуть не рисковал. Дела банка шли отлично, банк существовал и действовал всем на пользу, они с Каролусом очень много работали.

Одним словом, Август и не думал отказываться от своего всемогущества в банке.

Но когда прибыл несгораемый шкаф, положение несколько изменилось. О боже, что это был за шкаф! Целый дом, целая крепость! Пришлось послать за ним на остановку большую лодку из-под невода, и когда причалили с ним в Полене, то понадобилось восемь человек и две лошади, чтобы доставить его на место.

— Да, — сказал Август, — но мне приходилось видеть шкафы в десять раз больше этого.

Но куда же поместить его? Хотели было отвезти его в лавку, но Паулина отказала наотрез. Шеф банка, Ролансен, предложил свои услуги: он охотно поместил бы этот великолепный шкаф в свой роскошный дом. Шкаф был черный, с золотом и с мельхиоровой ручкой, он бы поместил его на почетное место в свою гостиную, между диваном и зеркалом.

— Но почему ты не хочешь взять к себе этот красивый шкаф, Паулина? — спросил Август.

Паулина отвечала коротко и ясно:

— Потому что он проломит пол.

— Мы подведем фундамент под пол, — сказал Август.

Но не так-то легко было ему уломать ее, ему пришлось еще долго разговаривать с ней. Восемь человек и две лошади стояли и ждали окончательного решения, но Паулину это ничуть не смущало: она не могла примириться со всеми сомни-

тельными ссудами, которые раздавали Август и Каролус, несмотря на ее предостережения, и таким образом как бы подготавливали разорение ее старшего брата.

— Ты думаешь, мы сами не понимаем, что глупо давали ссуды? — сказал Август, чтобы не противоречить ей. — Мы были идиотами!

— Я не желаю иметь ничего общего с вашим банком, — продолжала сердиться Паулина. — Придите и возьмите ваши деньги, а я не хочу больше их хранить.

А восемь человек и две лошади стояли и ждали. Август кротко и настойчиво продолжал уговаривать разгоряченную Паулину. Ну, пусть она окажет благодеяние и приютит у себя шкаф; ведь она одна только подходит для этого, так как у нее почта, страхование и лавка; нельзя же допустить, чтобы нестораемый шкаф находился где-нибудь за околицей. Она, а не кто другой, должна хранить деньги Эдварта и всех остальных.

Это упоминание об Эдварте было ловким приемом. Паулина заколебалась и одумалась.

— Ну, хорошо, — сказала она, уходя, — но только вы подведете под пол фундамент.

Под полом был проложен фундамент, и балки подкреплены подпорками. Когда оказалось, что шкаф почти целиком занял маленькую контору, решено было увеличить помещение при помощи пристройки. Позвали Эдварта, и он тотчас же принялся за дело с двумя помощниками. Банк оплатил работу.

Наконец-то можно было пользоваться шкафом, как раз вовремя. Хорошо, но он был заперт и никак не желал открываться. Каждый знал, что такие шкафы совершенно недоступны ворами и разбойникам, но все же для порядочных-то людей должны они открываться, — черт знает что такое! Август вертел и толкал ручку, вертел и толкал кружок с буквами и цифрами, — какая-то загадка, дьявольский ребус! Подошел Каролус и продолжал исследование; Теодор, только что привезший почту, тоже, конечно, остановился и стал подавать различные советы: может быть, можно было вынуть заднюю стенку шкафа? Август снова взялся за дело, и у него ничего не вышло; он пришел в ярость и ворчал, что готов послать шкаф обратно, швырнуть его в рожу фабрике. Теодор сбегал в лавку и принес оттуда клещи, которые пустил было в ход, но так как ему помешали, он положил клещи в карман и предложил позвать кузнеца из Внутреннего прихода, Эйде Николайсена, чтобы он взломал дверцу шкафа.

— И ты туда же, словно что-нибудь понимаешь! — прошипел Август.

— А почему же нет? Разве лучше стоять и смотреть на шкаф? — огрызнулся Теодор.

Август дошел до белого колена и про себя изрыгал проклятья.

— Где же Иоаким? — спрашивал он то и дело.

Пришла Паулина и позвала обедать.

— Ты взял у меня клещи? — обратилась она к Теодору.

— Какие клещи? Нет!

Впрочем, да, правда, он совсем забыл! И Теодору пришлось вернуть клещи.

Явился Иоаким, и они пошли обедать; во время трапезы Август все время негодовал на шкаф. До Иоакима дошло, что Теодор предлагал взломать дверцу, — уж этот Теодор! Иоаким хохотал на всю комнату, Август присоединился к нему и тоже хохотал над отчаянной глупостью Теодора.

— Представь себе, он собирался также вынуть заднюю стенку у шкафа, ха-ха-ха!

Один только Эдварт ничего не сказал.

Когда Август стал уходить, чтобы снова приступить к изучению шкафа, Паулина сообщила ему, что с последней почтой пришло на его имя важное заказное письмо.

— Это, вероятно, относительно одного крупного заграничного предприятия, — сказал он, — я давно жду этого письма.

Но письмо оказалось от фабрики несгораемых шкафов, и в нем заключался ключ к загадке и комбинации, подробное объяснение, как открывать и закрывать шкаф: на столько-то цифр и букв повернуть кружок направо, затем на столько-то цифр и букв налево, и шкаф откроется. Ха-ха-ха! Ну, какие были они ослы и идиоты! Столько-то раз сюда и туда, — вот и все, что нужно было сделать. Боже, до чего они были глупы!

В письме говорилось, что объяснение должно держаться в тайне от посторонних лиц. Конечно, Август и не собирался вовсе сообщать комбинации первому встречному, он сам принялся вертеть кружок и потребовал, чтобы кое-кто из зрителей отошел в сторону...

Но когда Август, прочитав несколько раз письмо и повертев кружок направо и налево, все-таки не сумел открыть дверцу шкафа, он позвал Иоакима.

— В чем дело? — спросил Иоаким.

— Да никак не могу открыть этот несчастный шкаф, — злился Август. — В пустяке дело-то: чуть-чуть повернуть кружок туда или сюда, да вот поди же ты!

Иоаким засмеялся.

— А ты пригласи Теодора! — сказал он.

— А ты, вместо того чтобы издеваться, попробовал бы сам! — заметил раздраженно Август. Казалось, его терпение окончательно истощилось.

— Да я не могу, если ты не можешь,— извинился Иоаким.— Я ничего не смыслю в нескороаемых шкафах.

— Да, но ведь ты же староста,— настаивал Август, не зная, как выйти из затруднения.

— Позови Паулину помочь тебе,— сказал Иоаким и ушел.

И действительно, Паулина, тщательно изучив письмо, под конец открыла шкаф. Вышло очень удачно, что именно она, а не кто другой, знала секрет. Она взяла письмо к себе, комбинации были в надежных руках.

Таким образом Поленский банк для сбережений продолжал спокойно работать день за днем, нисколько не обращая внимания на банковские законы и распоряжения властей, но также и без внимания к своей собственной выгоде. Это был дружеский банк. Он давал займы в небольших размерах под обеспечение и, действительно, изредка принимал вклады от людей, хорошо зарабатывавших во Внешнем Полене. Все шло отлично. Паулина снова стала членом правления и забрала там такую власть, что, если даже Каролус и Август решали что-нибудь большинством голосов против нее, деньги все равно не выплачивались, так как «комбинации» были в ее руках. Правда, наличные ресурсы банка значительно сократились, что, по ее мнению, было дурным признаком, касса заметно опустела, когда заплатили за шкаф, но после того Паулина особенно внимательно стала следить за тем, чтобы расход не превышал прихода. Она была провидением для банка.

Месяц проходил за месяцем. Полен, так сказать, приступил к деятельности в качестве города: у него была улица с домами по одну сторону, перед ним был залив с сельдью, кормивший его, у него было почтовое отделение и банк. Август пока дипломатично умалчивал о каменном строении с огнеупорным сводом для банка, но он часто приставал к Иоакиму-старосте с коммунальным зданием для города.

— Это не к спеху,— возражал Иоаким.

— Нет, к спеху, потому что вся частная стройка прекратилась и Эдварт ходит без дела.

— У нас еще недостаточно денег,— говорил Иоаким.

— Вы можете занять,— отвечал Август.— Я ни за что не поверю, будто Паулина станет возражать против этого.

Но все напрасно. Иоаким оставался непоколебим.

Но какой толк, что Полен стал городом, раз ни один человек в городе ничего не предпринимал? Август с печалью видел, что никто не хотел даже шевельнуть пальцем. Так, например, отнеслись к его плану расставить номера на домах.

— А зачем нам номера? — спросил старина Каролус.

— Потому что они имеются во всех городах. И у тебя будет номер первый.

Тогда Каролус согласился, но он так и остался единственным, имеющим номер над дверью дома.

Ничто не двигалось, никто не действовал. Разве мысль Августа построить фабрику рыбьей муки занимала чьи-нибудь умы? Пусть банк был против, но ведь и помимо него заинтересованные люди могли бы, сложившись, собрать на фабрику, которая приготавлила бы рыбью муку, оживляла бы промышленность и продукцию съестных припасов и давала бы массу денег. Или Полен был совсем уже мертвым городом?

Август говорил с Каролусом о фабрике. Каролус и на этот раз согласился участвовать, он хотел вложить кое-что из своих средств в такое хорошее дело. Но все остальные отказались. Август обращался к Эзре, к Иоакиму, к рыбопромышленнику Габриэльсену, к директору банка Ролансену; он, не жалея подметок, еще раз сходил в Северный приход и, как Златоуст, проповедывал там свою идею. Но нет, у всех едва хватало на пропитание.

Тогда он, как это бывало и раньше, прибегнул к шкиперам и рыбакам во Внешнем Полене. Здесь он потерпел крушение, потому что рыбопромышленник Оттесен все еще не мог получить участок для стройки. Рыбопромышленнику Оттесену необычайно везло, он сделал еще новое ограждение сельди, отчего его звезда поднялась особенно высоко в глазах рыбаков и скупщиков: все, что он говорил, было хорошо обосновано, он был замечательный человек, необычайно сведущий,— посмотрите-ка, он опять загородил сельдь! Да, Август соглашался со всеми, что Оттесен молодчина. Он сравнивал Оттесена с президентами и правителями, которые достигли головокружительных высот.

— Ну что ж, согласны вы принять участие в фабрике рыбьей муки?

— Да, а Оттесен соглашается?

Нет, Оттесен не соглашался.

Но он не соглашался только из важности и тщеславия; удача сделала его высокомерным: ведь нигде бы на свете не отказали ему в участке земли. Август крепился изо всех сил, чтобы не уступать свой крошечный клочок поля, он закрепил его за собой, чтобы иметь хоть что-нибудь про черный день, если все остальное пойдет прахом. Ведь никто не знает, что будет, а судьба обычно и раньше не щадила его. А на этом клочке земли, который Родерик вспахал и огородил для него, он собирается посеять кое-что, одни семена, из которых должны были вырасти большие широкие листья, — умолкни, ни слова больше! И Август предвкушал то мгновенье, когда обитатели Полена будут сражены еще большим удивлением, чем когда они в первый раз увидели мир сквозь цветные стекла.

Но неужели рыбопромышленник Оттесен не сдастся? Неужели нельзя его чем-нибудь соблазнить?

— Ну как, Оттесен, думали ли вы о том, что я предлагал вам в прошлый раз?

— А что это было?

— Да уж очень нам хочется заполучить вас к себе, хочется, чтобы такой человек, как вы, поселился в Полене. Каролус сносит свой сарай.

— И не говорите мне об этом! — оборвал его Оттесен, ревниво оберегая свою честь.

— Конечно, вполне понятно, что вы не хотите строиться на участке, где стоял какой-то сарай, — кротко согласился Август.

Хотя этот сарай и принадлежал самому богатому человеку в Полене, но все-таки как-то неприятно.

— Ну, а если я отдам вам свой клочок в придачу?

Оттесен сразу смягчился.

— Да, но как его использовать?

А в г у с т. А там можно устроить сад с фонтаном, посадить разные редкие заграничные деревья. Я могу себе приблизительно представить, что именно вам надо.

После краткого разговора они пришли к соглашению. Но когда Август, исходя из того, что долг платежом красен, завел речь о фабрике рыбьей муки, Оттесен тотчас же воспротивился. Он попросил не вмешивать его в это предприятие, он мог сообщить, что такая фабрика в его родной деревне должна была закрыться за недостатком сырья, и дорогое бетонное строение до сих пор стоит пустым, — оно не может служить даже сараем для лодок. Оттесен покачал только головой.

Итак, соблазнить его не удалось. Но, может быть, удастся заставить?

— Но какой же недостаток сырья в Полене? — воскликнул Август.— Самый богатый сельдью фьорд вдоль всего берега! Можно с таким же успехом говорить о нехватке ветра или бури. Да и кроме того, есть тут один человек, который осведомлялся о фабрике и готов взять несколько паев, с условием, что ему дадут участок под стройку.

— А кто это? — спросил Оттесен.

А в г у с т. К сожалению, я не имею права назвать его. Но между нами: мы предпочли бы, чтобы вы участвовали в нашем предприятии, Оттесен. И не то, чтобы человек был недостаточно хорош, но с вами он все-таки не сравнится.

— Он не здешний?

— Нет, он с юга страны.

— Тогда я, кажется, знаю, о ком вы говорите,— сказал Оттесен и задумался.— Сколько он хочет вложить?

— Три тысячи,— не моргнув глазом, отвечал Август.— Я не преувеличиваю, я не имею этой привычки.

— Три тысячи! — фыркнул Оттесен.— На такие деньги не построишь фабрику! Нет, если я буду участвовать, то дам, по крайней мере, пять тысяч.

— Ах, это было бы отлично! — воскликнул Август, понимая, что дело выиграно.

Но Августу дали понять, что он имеет дело не с первым встречным, что рыбопромышленник Оттесен слишком крупный человек и не позволит себя одурачить. Он сказал:

— Я пришлю кого-нибудь из моих людей с деньгами. Куда вам их доставить?

— В банк,— отвечал Август.— Вы сдадите их в самый банк и получите квитанцию!

— Отлично!

Оттесен дал понять, что он покончил с этим делом. Он взглянул на небо, как человек понимающий, увидел, что оно предвещает бурю, переменял шляпу на зюдвестку и накинул на руку непромокаемое пальто.

— Я тороплюсь к своему неводу,— сказал он.

Август охотно поговорил бы еще: ведь так и не порешили с его участком, а нужно бы составить бумагу, купчую, что ли.

— Ну что ж, составьте бумагу,— сказал Оттесен и прошел мимо Августа, не замечая его, словно он был воздух.

Мимоходом он крикнул стоявшим у берега судам, предсказывая им бурю, настоящий шторм,— на их месте он подтянул бы потуже канаты. С этими словами он поднял парус и один поплыл к неводу, далеко в море.



Оборотистый и решительный малый. И как он плыл! Небрежно, но смело и быстро, как молния,— руль налево, руль направо. Он предсказал бурю, шкиперы на судах слепо верили ему и подтянули канаты.

### ГЛАВА XIII

---

И действительно, разыгралась буря, которую предсказал Оттесен, и шкиперы поступили умно, послушавшись его совета и подтянув канаты. Единственным, кто оказался недостаточно благоразумным, был, к сожалению, сам Оттесен: он благополучно добрался до невода и сделал с ним, что нужно, но потом на следующий день он захотел высокомерно поспорить с затянувшейся непогодой и поплыл на парусах по одному делу к месту остановки пароходов; обратно он больше не вернулся. Да, обратно Оттесен больше не вернулся. Его лодку нашли потом далеко у Лофотенских островов, она была пуста и разбита, одни обломки. Иоаким прочел об этом в своей газете.

Это была важная и незаменимая потеря для Полена и для остального мира,— неудавшийся риск, прерванная крупная игра. Но, странным образом, Августу этот случай был на руку: он успел получить пять тысяч на постройку фабрики рыбьей муки, они были внесены в банк, и при этом он не потерял своего участка, который теперь обратно попадал к нему. Удача, которая, действительно, что-нибудь да значила! Злая ирония судьбы: несчастье Оттесена послужило на благо другому!

Но дальнейшие расчеты Августа не оправдались: кроме этих пяти тысяч он ничего не получил для фабрики, все отступились от него. Без сомнения, Оттесен при жизни был дальновидным человеком, они доверяли ему; но теперь, когда он, несмотря на свою дальновидность, погиб, они отказывались слепо следовать за ним повсюду.

— Ну что ж, пять тысяч у нас все-таки есть! — сказал Август и заказал по телеграфу большую партию цемента.

— Во сколько же это цемент обойдется? — спросила Паулина.

— Этого я не знаю, — отвечал Август, — в несколько тысяч. Паулина нахмурила брови и сказала:

— Ты хочешь опустошить банк. Но этого никогда не будет!

Август дружественно уговаривал:

— Господь с тобой, Паулина, эти пять тысяч не принадлежат банку, они принадлежат фабрике. Мы на них построим фабрику рыбьей муки.

Паулина упорствовала.

— Деньги находятся в банке, — сказала она.

Август продолжал:

— Теперь дело пойдет по-настоящему. Ты никогда не видала такого количества цемента, какос мы получим, — может быть, целых тысячу тонн, или, чтобы не преувеличивать, двести тонн. То-то закипит работа в городе Полене!

Но его планы пролетали мимо ушей Паулины, ее мысли заняты другим: капеллан Твейто будет сегодня инспектировать и экзаменовать поленскую школу, и Паулина хочет накормить его обедом, угостить его всем, что только есть в доме.

— Ты бы помог мне ошипать кур, — сказала она Августу.

Август неизвестно по какой причине стоял и курил пенковую трубку и был также заметно принаряжен; он достал из своего чемодана трость со стилетом внутри ее, он обнажил оружие и принялся хвастать им: однажды оно спасло ему жизнь. Между прочим, эта трость принадлежала императору, которого звали Наполеоном.

— Щипать кур! — сказал он. — А это зависит от того, что ты мне дашь за это.

Так всегда говорили они, будучи детьми, когда хотели поцеловаться друг с другом.

Паулина жестко и равнодушно:

— Ты, наверное, и не умеешь щипать кур?

А в г у с т. Как — не умею? Назови мне что-нибудь, чего бы я не умел делать!

Паулина криво усмехается.

— Я строил фабрики на Бермудских островах и ночевал в лагере у прокаженных.

Паулина смеется и говорит:

— Обычные твои истории!

— Ты мне не веришь? — спрашивает он. — В самом ближайшем будущем я докажу тебе, что я не разучился строить фабрики!

Он снова разошелся. Заговорил о телефоне, об электричестве, о летательных машинах: человек садится только в кресло и летит по воздуху. Да, но все это требует денег; потому-то у них и должны быть банк и фабрика рыбьей муки, и промышленность, и заработки, масса денег. О-о, вскоре он по крохам соберет богатства и высоко поднимет Полен; настанет день, и

люди будут оказывать ему почести, сам атаман приедет за ним в коляске, запряженной четверкой.

Август стоял на недосыгаемых высотах, около него как будто никого не было — ни выше, ни ниже, весь мир служил лишь фоном для него.

Но Паулине, говоря по правде, он ужасно надоел, его фантазия начинала выдыхаться.

— Я уж столько раз слыхала это твое вранье! — сказала она и пожала плечами.

Август присмирел и спросил:

— Ты говорила что-то о курах?

— Да, но ты слишком хорошо одет, к тебе пух приста-  
нет.

Действительно, он стоял нарядный и гораздо более торжественный, чем всегда.

— Я нарядился, чтобы посвататься, — сказал он вдруг.

— Вот как! А куда же ты направляешься?

— Сюда. Дальше этого мне не надо.

Паулина, не понимая, в чем дело, смотрела на него.

— Что ты скажешь на это, Паулина?

О боже, какое бесстыдство! Какой распутный и бессовестный малый! И черт возьми, он стоял тут, перед ней совсем не тот, каким был всегда, — с лицом в морщинах, с сединой в волосах и с большой лысиной, — нет, он подтянулся, грудь — как у гусара. Он начал объясняться:

— Гм, это совсем не так просто, шут побери. Одним словом, я направлялся именно сюда, дальше этого мне не надо.

Но Паулина была не маленькая, она не фыркнула, она воскликнула:

— Боже мой! О чем это ты болтаешь?

А в г у с т. Я обдумал и решил сделать тебе предложение.

— Мне?! — вскрикнула она, сурово посмотрела на него и принялась наводить порядок на полках.

Чтобы произвести впечатление, он намекнул на то, что был обручен несколько раз и прежде, — как же, не без того, — но теперь он свободен.

Это было, пожалуй, самое неудачное, что могло прийти ему в голову, и Паулина тотчас подхватила:

— Хорош гусь, нечего сказать!

А в г у с т. А что такое? Ведь так легко в конце концов забыть одну и полюбить другую гораздо больше.

— Молчи, пожалуйста!

— Я имел большой успех, скажу я тебе. Но испытывала ли ты, Паулина, такую вещь? Попробуй быть связанной с одним

и тем же человеком целый год и потом посмотри, не начинаешь ли ты забывать его! С каждым месяцем это становится легче.

Но как он ни старался, у него ничего не выходило.

— Я слышал, что капеллан будет здесь сегодня,— сказал он.— Так это о нем ты задумалась?

Паулина покраснела.

— Ну и что же? Какое тебе дело до этого?

— Ну хорошо, не буду,— сказал он и сдался.— Но ведь мне могло прийти в голову серьезно привязаться к тебе, Паулиночка. И я хочу теперь обзавестись домком.

— Ха-ха-ха! — расхохоталась Паулина.

— И для тебя это было бы вовсе не так уж плохо.

Молчание. Паулина прилежно убирала на полках, фыркала и поводила носом.

— Можно подумать, что ты что-нибудь понимаешь! — бормотала она.

Снова молчание. Август вдруг почувствовал себя обиженным и спросил:

— Что-нибудь понимаю? Разве у меня в этом отношении не все в порядке? В первый раз слышу. Я слишком даже хорошо понимаю!

— Так покажи это на деле! — закончила она.

Так ничего и не вышло. И бог знает, имел ли он, эта перелетная птица, вообще серьезные намерения, делая предложение. Вряд ли.

Она сама ощипала обеих кур. Она все могла сделать сама. Руки у нее были грубые и ловкие, работа так и спорилась, и через какие-нибудь полчаса куры, ошипанные и опаленные, уже лежали в котле. Она привела себя в порядок, причесалась, завивши волосы и надев сверху сетку, подшила новый крахмальный воротничок к вороту платья, потом стала накрывать стол в горнице, приглядывая все время за жарким, носилась по комнате, торопилась.

Он может зайти в лавку, чтобы купить табаку или спичек, может, ему придет в голову заглянуть в контору, где красуется великолепный нескораемый шкаф. Паулина навела там порядок, поставила стул на место, стерла пыль. На столе лежали почтовые, торговые, банковские и страховые протоколы; она принесла из горницы псалтырь и проповеди Линрута и положила их поверх протоколов. А в ящике стола находилась ее рабочая коробка с иисусовым сердцем. В общем получился религиозно настроенный стол и верующая швейная коробка. Ей

как раз мог понадобиться ящик, и она могла выдвинуть его так, чтобы он видел.

Он зашел во время перемены и спросил перьев.

— Пожалуйста! — И подумав о том, что в котле у нее жарятся для него куры, она позволила себе скромную вольность: — И пачку табаку? — спросила она.

— Нет, благодарю вас! Впрочем, да, дайте мне и табаку, лучше иметь маленький запасец. Сколько же это будет?

— Ах, ничего, такие пустяки!

И она могла бы тут же пригласить его пообедать, но как раз в эту минуту в дверь вошел Теодор, и она замолчала. Ей не хотелось, чтобы все кругом знали об этом обеде в честь пастора.

Он еще раз попытался заплатить.

— Мне ничего не дают даром в лавках Внутреннего прихода, — сказал он.

— И говорить об этом не стоит, — несколько перьев да чуть-чуть табаку. Да, что это я хотела сказать? Не желаете ли вы зайти в контору — поглядеть на несгораемый шкаф и на то, как мы живем?

Неужели у него мелькнула мысль, и он что-то заподозрил?

— Не знаю, успею ли я, — сказал он и вынул из кармана часы. — Как я уже сказал, мне ничего не дают даром. И не будут давать и там, куда я сейчас собираюсь. Я уезжаю в скором времени в Финмаркен.

— Вы уезжаете в Финмаркен? — тотчас же спрашивает его Теодор.

Пастор кивнул головой.

Теодор не преминул сообщить, что ему знаком и Нуффьорд и Берлевог, короче сказать, все места. Где он только не был в Норвегии!

Очень вероятно, что у капеллана Твейто мелькнула какая-то мысль, и он, как честный человек, хотел предупредить даму.

— Я получил небольшой приход в Финмаркене, — говорит он, обращаясь к Паулине. — Туда я теперь и поеду.

— Когда же? — спрашивает Теодор.

— Как только устрою свои дела, — отвечает священник, по-прежнему обращаясь к Паулине. — Но сперва я съезжу к себе в Гельгеланд и женюсь.

Так он раскрыл свои карты.

Теодор, как рыба на суше, стал задыхаться и ловить ртом воздух, он спросил: так, значит, он женится? Ему было теперь с чем обегать всех кругом. А на ком?

Священник не ответил ему, свою речь он предназначал для одной Паулины.

— Моя бедная невеста давно ждет меня, она, верная своему чувству, ждала меня до тех пор, пока я не окончил школу и не стал человеком; теперь она получит награду.

Т е о д о р. Так вы женитесь?

Паулина не нарушала их разговора. Священник рассказывает ей о своем обручении.

Вначале маленький зеленый росточек, нежная незабудка и детская любовь, потом пышный садовый цветок. И как это было чудесно: чувство жило в нем все время, пока он учился, и сопровождало его повсюду. Она поддерживала его и не давала падать духом. Это были трудные годы, сначала в семинарии, потом в университете, много учебы, изучение языков, но ее вера в него не поколебалась. Редкая женщина.

Паулина почти не слушала и ничего не отвечала, она приводила в порядок что-то на полке, вытирала пыль и молчала. Последнее, что она слышала, было то, что священник вышел в сопровождении Теодора и что тот спрашивал, где именно он будет жить в Финмаркене. Ведь он, Теодор, знает все места.

Паулина продолжала вытирать пыль еще довольно долго после того, как она за это принялась; в этом только сказало ее горе. Чад и гарь из кухни дали ей о себе знать, она стремглав бросилась туда, чтобы спасти, что еще осталось от жаркого. Покончив с этим, она убрала со стола всю ненужную теперь обстановку, унесла из конторы божественные книжки и старательно замела все следы.

Она была благоразумна и, конечно, не питала особенных надежд, но ей хотелось хоть немного утолить жажду своего сердца и выразить симпатию этому божьему человеку. Прошло совсем немного времени, и она стала прежней Паулиной со своей торговлей и всеми другими повседневными делами.

Так как скрыть жаркое было невысказано, то она прямо пошла к Иоакиму и во всем призналась ему: она хотела предложить капеллану на обед куриную лапку или две, да не удалось.

Иоаким хорошо отнесся к ее сообщению:

— Почему не удалось? Разве он был приглашен в другое место?

Этого она не знала, но ему дали приход в Финмаркене, и он скоро должен уехать отсюда. Поэтому ей не хотелось приглашать его.

— И хорошо сделала, что не пригласила! — сказал Иоаким.

Паулина облегченно вздохнула:

— Мы можем сами съесть наших кур. Пойди и сейчас же разыщи Эдварта.

И о а к и м. А сколько всего кур?

— Две.

— Ну, тогда их на меня только и хватит,— сказал Иоаким, этот шельма, и сердито тряхнул головой.

— Посмей только не предупредить Эдварта! — грозит ему Паулина и оставляет его.

Жаренные куры на всю семью, на двух братьев, сестру и Августа. Хозяйя из Новоселка должна была бы тоже прийти, но Паулина пояснила, что она отложила ей полгрудки, на что Иоаким опять рассердился, боясь, что ему не хватит.

Ах, если бы не Иоаким, обед был бы очень мучительный, но он болтал и шутил, хотя ему и трудно было примириться с жарким из кур среди недели.

— Искренне говоря, я предпочел бы добрую порцию рыбы,— сказал он.

— И я бы тоже,— отвечала сестра, относясь к жареным курам как к чему-то пустячному и не важному.— Но дело в том, что старых кур приходится съедать, не то они околевают сами. Что я вижу, Август? Да никак ты не ешь костей? А ведь тут почти одни кости. Ты уезжаешь?

— Да,— лаконично ответил Август.— А в чем дело?

— Да ни в чем, я только вижу, что ты нарядился.

Эдварт, как всегда, молчал. Станный, постаревший человек, бесцветный, подавленный и равнодушный, словно рабочая лошадь. После обеда Паулина отозвала его в сторону и предложила ему спасти его деньги.

— Какие деньги?

— Пять тысяч, что в банковских акциях.

Паулина отказывалась дальше отвечать за эту сумму.

Ах, так. Ну хорошо, он подумает об этом.

Нет, пусть он возьмет их сейчас! Того и гляди, прибудет громадный груз цемента, и деньги исчезнут.

Эдварт был в недоумении: акции были не его, но ему было приказано держать язык за зубами. Он должен обсудить это с Августом. Пока что он говорит:

— Но ведь это акции, Паулина, ты не можешь выдать мне из банка за них деньги.

— Ты так думаешь? — сказала в негодовании Паулина.— Что же, я должна смотреть, как тебя разоряют, и не могу даже спасти моего родного брата!

— Разве дела банка так плохи? — спросил он.

— Отвратительны, совсем дрянь! Несколько залогов под дворы и дома, но ни одного порядочного поручителя, и хуже всего то, что в один прекрасный день мы останемся совсем без денег.

— Да неужели так?

— Я-то уж знаю!

— Подожди до вечера,— сказал Эдварт и ушел.

Ему необходимо было поговорить с Августом. Но Августа нигде нельзя было найти, и Эдварт совсем расстроился. Куда пропал Август? Он ушел сразу после обеда и словно сквозь землю провалился. В течение года он несколько раз был у доктора, может быть, он опять пошел к нему?

Эдварту хотелось поскорей выйти из этого фальшивого положения с деньгами и не считаться больше богачом, владеющим пятью тысячами; это вызывало лишь беспокойство в его инертной душе, он имел от этого одни неприятности.

Вечером он пошел к Паулине и признался ей во всем.

Эти акции — Августа, и деньги — Августа.

Паулина онемела. Так, значит, это богатство не принадлежало старшему брату? Старший брат был по-прежнему жалок и беден. Она бы с радостью отдала ему свои десять акций, но это был совершенный пустяк, они не могли сохранить и капли той значительности и уважения, которые поленцы последние месяцы оказывали ее брату. Это был тяжелый удар, она готова была разрыдаться.

— Не горюй! — сказал старший брат. — У меня несколько сот крон в кармане.

Но что такое несколько сот крон? Хотя он сам за двенадцать лет бродячей жизни работника привык иметь ровно столько, чтобы не умереть с голоду, и был доволен этим, Паулина жалела его. Что случилось с ее старшим братом? В юности он был всегда первый из всех, был честлюбив и строил планы, имел красивую наружность, девушки гонялись за ним, он был молодцом, а теперь что случилось с ним? Чтобы не дать ему упасть духом, она подбадривала его, выказывала ему полное свое доверие: он еще выкарабкается, в любой день он может перенять у нее лавку, опять орудовать с рыбацкими судами и в какие-нибудь два-три года разбогатеть. Она поддержит его.

— Не понимаю, о чем ты говоришь,— сказал Эдварт.

С этого дня она стала иначе относиться к Августу, этому чертовски ловкому парню, ходячей загадке, которую никто не мог разгадать. Что значило, что он бескорыстно пустил в оборот под чужим именем свои пять тысяч крон? Из-за налога? Он был не только вралем и выдумщиком, она серьезно



поговорит с ним, она готова спасти также и его деньги. Ведь он все силы свои отдает Полену, так неужели же ему из-за этого оставаться нищим?

Она твердо обеими ногами стояла на земле и здраво рассуждала. Потребность в деятельности у нее была чрезвычайная. Ее огорчало и раздражало, что банк имел такое дурное правление, он не зарабатывал даже на соль к обеду, он расточал свой капитал. Неудачные ссуды не давали ей покоя, она единственная в правлении принимала их близко к сердцу. Что представлял собой Каролус? Старый дурак без головы. Голова была у Августа, но сумасшедшая голова. Ролансен? Дрожь пробегала у нее по телу при виде его изуродованных ногтей, похожих на струпья ран. С тех пор как он сделался директором банка, он не показывался больше в будничном платье, он не прикасался к работе; его личный долг банку рос с каждым днем, а если она напоминала ему об этом, то он лишь высокомерно улыбался. Уж не воображал ли он, что банк обязан его кормить? Когда обсуждалось какое-нибудь дело, он только сидел, крутил на груди свою золотую цепочку и ни во что не вникал; о-о, он приобрел такие важные и благородные привычки, он мог сидеть и своим перочинным ножом чинить карандаш, и казалось, конца этому не будет.

— У меня нет времени засиживаться здесь с вами, — говорила тогда Паулина, потеряв терпение.

— Мы готовы, — отвечал Каролус.

— Готовы? — спрашивает она. — Я жду, что Ролансен опять попросит записать за ним несколько крон.

Благородный Ролансен только спокойно улыбается и отвечает:

— Я считаю, что я могу себе позволить эту роскошь.

— А я считаю, — говорит Паулина, — что вы могли бы раз навсегда взять долговое обязательство и выплачивать постепенно свой долг, как это делают все.

Но Ролансен возражает против этого: он не какой-нибудь обыкновенный должник, как все, отнюдь нет, он не хочет делать заем в банке, он хочет только, чтобы ему помогли наличными, пока не появится сельдь; у него есть пай в рыбацких артелях.

— Это каждый может сказать, — настаивает на своем Паулина. Ролансен начинает сердиться.

— Но ведь есть же разница между мной и остальными, я не беглый каторжник, я сижу с вами здесь каждый день в банке. Выдумали тоже! Хорошо еще, что вы не требуете, чтобы я отправился на лофотенский лов! — говорит он.

П а у л и н а. Никто не должен гнушаться этим!

— Да, но мне это не подходит. Я никогда не занимался этой работой.

— В таком случае пора познакомиться с ней!

Каролус добродушно старается помирить их.

— Если Ролансену нужны деньги, запиши их за мной, Паулина. Я ничем не рискую с таким человеком...

Лофотенский лов! Но обитатели Полена почти совсем забыли о нем, они кончили с ним, считали себя слишком важными для этого. Большую часть года они стояли в море у своего невода, а в тихие месяцы оставались на берегу, бродили по местечку и дожидались только нового прихода сельди. Были признаки, указывавшие на то, что добром это не кончится, но время шло, и перемен не наступало.

Было явно, что добром это не кончится. Иоаким был один из немногих, понимавших это и давно все предвидевших. Он не принимал участия в банковской комедии, если не считать пяти жалких акций, потерять которые он ничуть не боялся; были вещи похуже этого: весь Полен был перевернут вверх ногами. И это было серьезно.

Куда девались поля и луга? Вся плодородная земля была застроена городом.

Где был скот? Съеден. Его нечем было кормить, и его весь перерезали. Хлевы стояли некоторое время пустыми, потом их снесли, отдельные балки лежали и гнили под дождем и ветром, пока их не взяли на топливо.

Муку и крупу приходилось покупать на юге. Почтовый пароход привозил каждый раз огромные мешки из южных селений и городов. Паулина бойко торговала мукой для всего населения города Полена.

Все было ничего, пока была сельдь и заработки во Внешнем Полене. Но вскоре появились признаки, что сельдь изменила свой ход: нет больше стай птиц на небе, нет больше полчищ рыб в море, и от перегруженных неводов не оставалось и помину, так, лишь жалкая ловля сетями, не дававшая никакой выручки.

Народ начинал беспокоиться. Вот и Паулина тоже набавила по две кроны на мешок муки; что бы это могло значить? Почему она так безбожно поступила с ними в самое трудное время, когда они ждали прихода сельди? Все жаловались на такую бесчеловечность.

Паулина показала им фактуру: столько-то за муку и столько-то за тару.

— За какую тару?

— За мешок.

— Как, разве надо платить за мешок?

— Если вы пойдете в город и возьмете муку в кулак, то вам не придется платить за мешок.

— А сколько же он стоит?

— Две кроны.

— Вот они, вот эти две кроны!

Паулина продолжала объяснять: столько-то за доставку, потом ей самой совсем маленькая прибыль, если подсчитать и вычесть, что стоит привоз с места остановки, да процент за хранение, да время, которое уходило на поездку за мукой и обратно и на продажу муки в розницу.

Это заставляло людей задумываться. Но почему же мука так вздорожала и у купцов в городе?

Пришел Иоаким. Он был староста и умная голова, он основательно и со смыслом читал свою газету.

В России неурожай,— объяснял он,— за четыре месяца непрерывной засухи были выжжены поля по всей Области войска Донского. Теперь поставляла хлеб, можно сказать, одна Венгрия, и она тотчас же взвинтила цены. Оставалась еще надежда, что Канада и Соединенные Штаты уступят часть пшеницы нового урожая за сходную цену, но там не имели обыкновения спасать людей от повышения цен на другом краю света. Потом была еще Индия с Австралией, если бы Англия могла получить оттуда такое количество хлеба, чтобы его хватило также на помощь другим странам, попавшим в нужду. Это вполне возможно. Вот так обстоит дело. В Южной Америке, в Аргентине, теперь земледелие поставлено по-новому, на широкую ногу, но пока там еще недалеко ушли.

Со стороны Иоакима было совсем излишне и смешно изображать положение с такой высоты птичьего полета: ведь не пшеница была хлебом насущным в Полене, а просо,— просо на кашу и просо на плоский пресный хлеб, в лучшем случае с примесью ржи,— другой хлеб там знали только понаслышке. Правда, ходили слухи, что такие персоны, как рыбопромышленник Габриэльсен и директор банка Ролансен, привезли каждый по мешку пшеничной муки, но ведь эти господа были новыми жителями Полена, и поленские старожилы позволяли себе слегка подсмеиваться над их мотовством.

Но цена на муку не переставала повышаться, и последнюю партию Паулина отказалась принять. Это была рожь. Она отказалась взять муку с паровой остановки, она телеграфировала и писала, что неммыслимо сбыть с рук такую дорогую муку. Купец ответил ей и советовал взять муку и еще поблагодарить его, так как по всем признакам и приметам цена будет все возрастать. В Америке устроили нечто, что

называется «корнер». Иоаким тоже посоветовал ей взять муку домой. Ей хотелось бы поговорить с Августом: как-никак Август был удивительный человек, с таким огромным кругозором, но Августа нигде не было.

Август исчез. Ходил слух, что он вдоль берега дошел до пристани и там сел на пароход, шедший на юг.

И какая пустота чувствовалась без него! Паулине нужно было поговорить с ним, многим людям в местечке хотелось спросить его совета: не поздно ли сейчас сеять что-нибудь, так чтобы посев созрел до снега? Почти у всех у них было несколько футов земли возле дома; может быть, еще не поздно посадить там что-нибудь из овощей? Август говорил ведь о ранних и поздних посевах, — кажется, в Японии. Он знал все сорта семян на свете.

Они спросили Эдварта. Но он знал только о пшенице да о маисе в прериях, а эта порода зерна требовала ста дней тепла.

#### ГЛАВА XIV

---

Август вернулся на почтовой лодке вместе с Теодором и Родериком. Он вез с собой большой тюк, обшитый брезентом; обращался с ним очень бережно и сам вытащил его на сушу.

Его встретили на берегу у сараев и тотчас стали жаловаться: уж так плохо живется, цена на муку поднялась, и может быть, скоро муки совсем не достанешь; ужасные наступят времена, а сельдь все не приходит.

— Пожалуйста, не садитесь на этот тюк, будьте осторожней, очень прошу, — говорил Август, чтобы выиграть время.

— А что тут? Стекло? — спрашивали его.

— Нет, тут нечто более драгоценное. Растения!

Они глядели друг на друга и удивлялись:

— Как — растения? Неужели этот удачливый Август уже нашел выход?

— Пожалуй, теперь слишком позднее время года, чтобы сажать что-нибудь? — осторожно осведомлялись они.

— Как раз время! — отвечал он.

— Замечательно! — воскликнули они и тотчас же окрылились надеждой: теперь спасены.

— Вот что значит иметь обо всем понятие и все знать, как вы! А мы, например, мы только и умеем, что сеять просо да репу весной, да при нашей убогости сажаем еще немного картошки.

И они не знали, чем бы еще выразить свою униженность, они были детьми, которые ждут, что вот им покажут сюрприз, и никак не могут сдержать своего нетерпения. Они предложили понести его тюк, но он отстранил их.

— Да,— говорили они,— мы ведь ничего не понимаем в некоторых вещах, это сущая правда. Но что же это за растения вы привезли?

— А вот увидите,— ответил он, неся свой тюк на руках, как спеленатого младенца.

— Да разве может что вырасти теперь до зимы? — говорили они, стораая от любопытства.— Однако вот что значит иметь голову на плечах! Как ты думаешь, Кристофер, какие у него травы и хлебные злаки?

К р и с т о ф е р. А я как раз тебя хотел спросить.

Август, правда, ничего не имел до сих пор против того, чтобы быть загадочным: стоило проучить поленцев, эту сволочь, поленцев, которые совсем не оценили всей его огромной работы на них.

— Это вовсе не хлебные злаки, добрые люди,— вдруг решительно заявил он.— Это совсем не съедобное.

— Ах! — воскликнули они.

— И если вы так думали, то этот глупо с вашей стороны. Я не стану тратить время на дорогие поездки за несколькими горстями зерен для вас.

— Да,— мрачно бормотали они,— конечно, это так!

— Вот именно так. А теперь отправляйтесь-ка по домам, у меня много всякого дела. Отныне дело пойдет всерьез.

— Но только, дорогой Август, скажи ты нам, ради бога, как нам быть,— раздались отчаянные голоса.— Здесь нет ни сельди, нет еды, цена на муку растет почти с каждым днем, она стоит уже на семь крон дороже, чем весной. И откуда нам взять просо? Мы получили только ужасно дорогую рожь, которая крещеному народу и на похлебку-то не годится. А теперь даже и ржи не будет.

Август только головой покачал.

— Мы хотели попросить вас,— вы ведь знаете больше, чем мы, несчастные,— не научите ли вы нас, что нам посеять возле домов для пропитания и сохранения жизни? Только все выходит шиворот-навыворот, ведь уже ноябрь, приближается зима.

Август стал соображать. Он сделал вид, будто считает такую мысль не лишенной основания, и не стал смеяться над людьми, сделался опять добрым и участливым и с быстротой молнии окинул мысленно свой мир опыта и переживаний: ка-

кое бы выдумать такое съедобное растение, которое осенью в течение двух-трех недель созрело бы в Полене?

— Я подумую,— сказал он.

— Ах, только бы вам удалось помочь нам!

— А теперь ступайте домой, я уж сказал вам!

Но они не уходили, они сбились в кучу и шли за ним.

— Дело в том, что некоторым из нас совсем плохо приходится, у нас нет ни крошки хлеба. Мы были в лавке, но Паулина ответила нам, что у нее самой ничего нет.

— Я телеграфирую! — сказал Август.

Вся толпа встрепенулась: Август хотел телеграфировать. Они были сражены, их глаза увлажнились, и они бормотали:

— Мы так и знали, мы никак не могли дожидаться, когда вы вернетесь домой. Кристофер, он телеграфирует!

— Ты думаешь, я сам не слышал? — сказал Кристофер.

Август заволновался:

— Я еще ни разу не слышал, чтобы мир вымирал из-за недостатка в хлебе. Если нет хлеба в одной стране, то есть в другой. Мне ли этого не знать!

Но люди продолжали обращаться к нему.

Говорят, это происходит оттого, что в Америке устроили одну вещь, которая называется «корнер». Что это такое? Иоаким читал об этом.

А в г у с т. Корнер? Я знаю, что такое «корнер», вы можете спросить меня об этом. Это значит, что все зерно запирается в огромные амбары и выпускается потом в продажу только по бешеным ценам. Вот что значит это слово по-английски. Но и в Америке должны вести себя прилично! — угрожающе добавляет Август.

Он сам увлекся и почувствовал себя преисполненным силы, он от всего сердца давал несбыточные обещания, зажигал легкомысленные надежды и укреплял людей в их нужде. Кто, как не он, мог успокоить бурю? Но надолго ли все это? О-о, перелетная птица, — он был таким непостоянным; кто его знает, — вот он вернулся домой с новым сюрпризом для поленцев, он нес его на руках, как младенца.

— Знаете что? — сказал он вдруг. — Не сажайте ничего съедобного у ваших дверей. Это некрасиво. Я привез с собой кое-что гораздо более подходящее для этой цели: деревья, декоративные кусты.

— Ах, вот что! — сказали они.

— Это елки, — сказал Август. — Зимой они защищают от ветра, а летом от зноя. Вы не увидите ни одного города, где бы не было деревьев.

— Да-а,— сказали они.

Теперь они не говорили ничего больше, кроме этого «да-а». И всегда так! Они опять не оценили его, когда он явился к ним с блестящей идеей.

Он торопливо забежал в лавку, а люди следовали за ним. Он поздоровался с Паулиной, справился, нет ли телеграмм и писем, заказных писем из-за границы или денежных,— ах, уж эти иностранцы, до чего они медлительны! Но пусть поступают, как знают, им же хуже!

— Мне бы хотелось поговорить с тобой,— сказала Паулина.

Это его не устраивает: ему некогда, он должен непременно побывать в Новоселке и обсудить с Эзрой одно важное дело. С другой стороны, он не успел еще совсем забыть, что несколько недель тому назад делал предложение Паулине и получил отказ. Может быть, она передумала?

— Ты хочешь, чтоб я зашел к тебе в контору? — спросил он.

В контору? Неужели он осмеливался предполагать какой-нибудь секрет, вроде того, что она изменила намерение и хочет помириться с ним? Ну и нахал! Он навязал ее брату фальшивое богатство в виде акций банка и выставил его к позорному столбу. Теперь все обнаружилось. Эдварт сам рассказал об этом, чтобы избавиться от людей, хотевших занять у него денег.

И она ответила вдруг сердито:

— Я вовсе не желаю, чтобы ты заходил в контору. Между нами не может быть никаких тайн. Единственно, что я хочу тебе сказать,— это, что Эдварт хочет возвратить тебе твои акции и разделаться с тобой.

— Эдварт? — переспросил Август в замешательстве.— Как так?

— Да так. Можешь быть уверенным в этом!

— В чем могу быть уверенным? Ты словно сердисься, Паулина?

— Как бы там ни было, но Эдварт вовсе не такой человек, чтобы он нуждался в твоих акциях. Он может сегодня же, если только захочет, взять обратно свою лавку и торговать в ней, и не нуждаться в средствах всю свою жизнь. Я очень рада, что обо всем этом вам сообщила,— закончила Паулина.

А в г у с т. Я не понимаю, что ты там болтаешь.

Без дальнейших разговоров он направился, захватив свои растения, к Новоселку, оставив сопровождавших его людей на месте.

Акции! Да, значит, Эдварт сознался. Впрочем, это ничего: если что случится, то это даже пойдет на пользу и ему и

его делам, он выиграет в глазах других. Ну и дурак этот Эдварт! Август хотел поделиться своими излишками со старым приятелем и нашел для этого безобидный предлог, он хотел поднять его значение в Полене, а у самого Августа был ведь избыток средств. Но раз тот не хочет,— счастливого пути!

Он застал Эзру за работой: тот вспахивал поле под озимые. Август, весь горя своим новым проектом, стал тотчас его излагать: подходящее место в его владении, обращенное на юг и защищенное, глинистая почва, две тысячи елок прямо из ботанического питомника.

— Елок? — переспросил Эзра.

— Да, елок, настоящих рождественских елок.

— Рождественских елок?

— Да разве ты не слышал о рождественских елках? Это настоящий клад для тебя, золотое дно. Ты будешь продавать елки всему округу: Полену, Внутреннему приходу, Северному приходу. Когда появится сельдь, то всем капитанам на судах захочется привезти домой по елочке, и ты будешь продавать за крону, за две, за три штуку,— ну-ка, сосчитай!

— Гм! — откашлялся Эзра и задумался.— Мне бы хотелось узнать об этом поподробнее.

И Август не стал увиливать, а говорил долго и хорошо, говорил молодо и зажигательно: у Эзры еще тот козырь в запасе, что он один на рынке, он может запрашивать сколько ему вздумается.

Эзра соображал медленно.

— Да, но дело в том, что земля всегда земля,— сказал он,— и она нужна мне для другого.

Август отвечает весело и непринужденно:

— Но соберешь ли ты хлеб, или деньги на хлеб, будет ведь одно и то же. Но нужно заметить, что здесь речь идет о крупных деньгах, гораздо более крупных, чем деньги на хлеб. Смешно глядеть на тебя. Разве тебе не нужны деньги на школу и образование твоих детей, на газеты и телефон и на платья понаряднее для твоей жены?

Но Эзра не находил эти доводы убедительными.

— Ну, разве не нужны деньги на приличную еду, с черным и белым хлебом, и на все, что ты покупаешь: на сахар, на кофе, на сардинки и мед и изредка, на крестинах, на сигарету и рюмку водки?

— Ха-ха-ха! — расхохотался Эзра.

Август добродушно вторил ему, он ударил Эзру по плечу и напомнил ему одно общее дельце, которое у них было, когда



они заставили провести для себя канаву через болото, вспомнил и крики мертвеца и другие веселые проделки.

— Помнишь, как они работали на нас? — воскликнул он. — Они не смели отказаться, Теодор — тот прямо потом обливался. И, пожалуй, другим манером тебе не удалось бы заполучить болото.

— Верно, — согласился Эзра.

— Ну вот, и после всего, что между нами было, ты должен и сегодня последовать моему совету. Вот как раз здесь подходящее место, чтобы посадить елки.

— Здесь, в поле? — громко воскликнул Эзра.

Август понял, что перехватил, и обернул свои слова в шутку.

— А ты уж и испугался, земляной червяк. Но у тебя вон там есть отличный лужок, он тоже годится.

— Неужели ты серьезно это говоришь?

И Август сказал менее шутливо:

— А почему же нет? Ведь для саженцев нужна хорошая земля, чтобы они быстро росли и через десять лет превратились в настоящие рождественские елки.

— Через десять лет? — опять закричал Эзра.

— Ну да, или, может быть, через пятнадцать.

Все хуже и хуже. Эзра ушам своим не верил, он вытаращил глаза и разинул рот. Уж не издевается ли над ним Август?

— Мы должны иметь в виду далекие цели. Ведь во всем мире это так. Да, далекие цели. Что значит пятнадцать лет по сравнению с целой плантацией елок? А когда в один прекрасный день ты умрешь, то дети твои благословят тебя. Вот что значит далекая цель. Мы должны работать для будущего.

Э з р а. А сколько, по-твоему, я могу снять с этого луга в течение пятнадцати лет?

Август помолчал немного и сказал:

— Но ведь до сих пор я не давал тебе плохих советов. Разве ты сам не видишь, что ты глуп, коли думаешь, что рождественские елки вырастают в один год!

Эзра пропустил это замечание мимо ушей и спросил:

— А когда я через пятнадцать лет срублю эти елки под самый корень, что тогда?

— Тогда посадишь новые, — ликовал Август. — Ты только посадишь новые, понимаешь? В ботаническом саду их сколько угодно, я дам тебе адрес.

Но так как Эзра продолжал стоять все с тем же безнадежным выражением на лице, в голове Августа блеснула новая идея, и он предложил раскрыть тюк.

— Посмотри-ка, посмотри, с чем я пришел,— самое лучшее, что я видел в этом роде, ведь мне знакомы и пальмы и бамбук. Погляди-ка только, они лежат здесь; как маленькие детки, в своем сыром мху, им всего по два года; кажется, слышишь, как они пищат.

Но Эзра все отвиливал и сказал:

— Как бы там ни было, но сейчас слишком поздно сажать что-нибудь. Можешь взять все это обратно с собой.

Но широкая осведомленность Августа заставила его улыбнуться на такое невежество:

— Ты думаешь, что сейчас слишком поздно? Ты опять говоришь глупости. Когда лиственные деревья теряют свою листву, тогда как раз время сажать ель. Неужели ты думаешь, я этого не знаю?

Эзра пришел в отчаяние:

— Я не хочу об этом больше разговаривать с тобой, Август. Я не уступлю тебе для этого ни поля, ни луга. Как сказал, так и будет!

Август обиженно помолчал мгновенье и потом сказал:

— Я бы ни за что не пришел к тебе, если бы в твоих руках не оказалась вся земля.

Эзра подобрал поводья и собирался продолжать пахать.

— Так ты уступишь, быть может, кусочек из твоего пастбища? — огорченно спросил Август.— Ведь я стараюсь для твоего же блага и для твоих елок.

— Но кусочек, насколько я понимаю, должен быть порядочный?

Август прикинул и назвал соответствующую величину.

— Нужно расположить растения попросторнее, так, чтобы они могли свободно ветвиться вниз и заостряться кверху, в виде настоящей рождественской елки.

— Но что за толк сажать этих малюток на пастбище? — устало заметил Эзра.— Ведь все равно скотина растопчет их.

— Ха-ха-ха, еще глупость! Разумеется, ты должен огородить насаждения. Неужели ты не понимаешь? Ты должен врыть столбы и обтянуть их крепко в несколько рядов колючей проволокой. Это необходимо сделать во что бы то ни стало.

Но Эзра ответил решительно:

— Оставь ты, пожалуйста, всякие разговоры об этом. И так уже пастбище слишком мало, и я не могу отнять у скота и этот большой кусок.

— Тебе стоит только сократить число коров,— сказал Август. На это Эзра усмехнулся. И теперь он уже действительно тронул лошаадь.

Август посмотрел ему вслед и крикнул:

— Ты чудак! Я хотел задаром отдать тебе растения, а теперь я по двойной цене продам их во Внутреннем приходе.

И он опять затанул тюк и потащил его обратно в город Полен. Усталости он не боялся. Духом он не падал.

Следующие дни он был усердно занят посадкой деревьев перед дверьми жителей местечка. У некоторых домов он посадил по десяти саженцев, у других по деревцу по обеим сторонам крыльца, смотря по тому, как позволяло место. Людям очень хотелось иметь побольше деревьев возле дома: ведь это была ель, такое красивое дерево, и притом даром. Уж этот Август! Даже Родерику, почтарю, которого он взял себе на подмогу, он платил из своего кармана. Он никогда не был корыстным. И среди всеобщей подавленности из-за нужды в куске хлеба народ получал некоторый подъем настроения при виде Августа за его невозмутимой работой по украшению местечка. Раз он не унывал, то не следовало унывать и им.

Спросили Иоакима, не хочет ли он, чтобы возле его дома стояли и шумели вершинами настоящие елки.

— Да,— отвечал Иоаким,— но только посоветуйся с Паулиной.

Правда, Август не был особенно дружен с Паулиной последнее время, но он все-таки спросил ее. Вышло так, что он сделал это не совсем как следует и даже немного насмешливо, но она отнеслась к этому спокойно, не зашипела в ответ и не обрызгала его ядовитой слюной. Она позволила ему посадить несколько маленьких растений возле дома и перед окном конторы, она одобрила его выдумку, заявив, что она ничуть не хуже его остальных фантазий.

— Я приглашу сюда твоего капеллана освятить их,— сказал он,— чтобы они лучше росли.

— Нет, уж лучше воткни их в свой цемент,— возразила она.

И они оба несколько успокоились, и она стояла и глядела, как он рыл небольшие ямки и сажал в них растения. Все шло благополучно, пока она не упомянула об акциях.

— Неужели ты не понимаешь, что ты рискуешь потерять все, вплоть до последнего гроша? — спросила она.

Но он не соглашался с этим. Акции банка были в надежных руках, они были в ее чистых и невинных ручках.

Это она спустила ему. Но когда она предложила ему спасти также и его деньги, то дело обернулось плохо. Она могла заплатить ему сполна за все акции из кассы банка. Ведь не оставаться же ему нищим за все его старания и благодеяния, оказанные Полену.

Как, она хочет ограбить его банк? Она хочет уничтожить фабрику рыбьей муки, и коммунальное здание, и все его другие предприятия!

Сама того не замечая, она дала ему в руки оружие против себя, он не воспользовался им до конца, но и то, что он сказал, заставило ее побледнеть.

— Так, значит, ты хочешь обворовать банк? Заметь себе это, Родерик!

— То есть как? — пролепетала она. — Я хотела только помочь тебе.

— Ты хотела сделать меня таким же негодяем и мерзавцем, как ты сама.

— Ха-ха-ха! — хрипло засмеялась она.

— Но я советую тебе честно пройти свой жизненный путь и не доводить до того, чтобы тебя арестовали!

— Слыхал ли ты что-нибудь подобное, Родерик? Прямо чудовище какое-то! — сказала она и ушла.

Он продолжал сажать деревья и делать свое дело; управившись возле лавки, он пошел дальше. У дома Каролуса и Ане-Марии было посажено двадцать деревьев, целый маленький лес; эти добрые и уважаемые люди, уступившие городу столько земли, вполне заслуживали этого. Тут он опять увидел обоих «принцев», приемных детей Ане-Марии, за которыми она отлично ходила. Они были опрятно одеты, лица у них были свеженькие; умные мальчишки, — было отрадно глядеть на них.

Дальше посадка деревьев продолжалась несколько дней. Перед каждым домом были посажены деревца для украшения. Подвернулся Эдварт, и Август тотчас же нанял и его для работы, и вот втроем, вооруженные лопатой и кирками, они переходили от дома к дому, что было внушительно. Когда каждый фут земли был уже занят, Август подарил изрядную партию саженцев Родерику. Это вышло очень удачно: они не были выброшены на ветер. Молодой человек отправился со своим сокровищем в Северный приход, где хорошо на нем заработал, поштучно распродав деревца. Нельзя сказать, чтобы это предприятие Августа вовсе не удалось.

— Но когда же будет зерно и еда для местечка? — спрашивали люди.

До сих пор Августу удавалось поддерживать в людях бодрость, но теперь они быстро начинали сдавать: нужда стояла у самых дверей.

— Я телеграфировал, — говорил Август.

— Ну что ж, подождем, — отвечали люди.

Они ждали несколько дней и занимали друг у друга муку по глубокой тарелке, потом окончательно теряли терпение и сознание своего достоинства и снова шли к Августу. В конце концов, захватив с собой Эдварта, он с остатком растений ушел во Внутренний приход; они отправились туда тайком, ночью, они почти что сбежали.

Бог знает, не проявилась ли в том своего рода справедливость, что Август был принужден бежать из Полена. Но это привело к тому, что оба старых приятеля были опять заняты общим делом. Сначала они оба были также в бодром настроении и, высоко подняв голову, обходили дворы и предлагали свои растения, но товар трудно было сбывать с рук, тем более, что они хотели получить за него настоящую цену, а Внутренний приход становился таким же бедным, как и Полен, нужда в хлебе сказывалась и здесь, хотя жатва была уже снята.

— Елки? — говорили люди. — Да разве елки здесь примутся?

— Если они не примутся, вы получите деньги обратно, — говорил Август.

Кроме того он убавил несколько время, в течение которого саженцы должны были превратиться в шумящие вершинами деревья: он намекал, что уже через пять лет они будут радовать глаз.

Но это еще не давало желательного результата, народ спрашивал:

— А как же господа: ленсман, священник и доктор? Купили ли они растения? Идите сперва к ним.

И они пошли к доктору, с которым Август был знаком. Он был покладистый человек и взял пятьдесят штук. Во время их посадки между Августом и доктором произошел таинственный разговор.

Один сказал:

— Ну, как твои дела, Август? Все хорошо?

— Да, — отвечал другой. — Но только мне это надоело, я совсем здоров.

— Тебе остается еще шесть месяцев.

— Да, как бы не так?

Так они и не столковались. Камнем преткновения являлись эти полгода: Август старался выторговать их, но доктор не шел ему навстречу со скидкой.

Август разгорячился:

— Да я не стану вас спрашивать. Мы, моряки, плюем на то, что говорят врачи. Мы делаем, что хотим.

Д о к т о р. Попробуй только, Август!

— И попробую!

— Тогда я сегодня же вывешу в лавке в Полене предупреждение против тебя!

— Что? Да вы с ума сошли! — воскликнул Август. — Нет, вы этого не сделаете!

— Не сделаю только потому, что ты будешь вести себя, как порядочный человек, я это вижу, — сказал доктор и ушел.

Август смотрел ему вслед, он как будто задыхался. В скором времени он принялся за работу и, казалось, стал приходить в себя.

— Слышал, что он сказал, Эдварт? — спросил он.

Эдварт пробормотал что-то.

Август окончательно овладел собою:

— Мне бы следовало схватить его за шиворот, как ты думаешь? Но ведь он купил пятьдесят елок за раз, и этого мы не должны забывать.

— Да, — сказал Эдварт.

— Но если бы он сказал еще хоть полслова, я бы убил его.

— Да, — сказал Эдварт.

— Я, как ни в чем не бывало, убил бы его этой киркой, — продолжал Август. — Я чуть было это не сделал, мне бы следовало показать ему, с кем он имеет дело! Слыхал ли ты что-нибудь подобное? Вывесить предупреждение в лавке! Но теперь ведь он этого не сделает?

— Нет, — сказал Эдварт, — вряд ли.

— Если ему дорога жизнь, то он этого не сделает, вот и все! Как ты думаешь, Эдварт, он понял, что со мной шутки плохи?

Эдварт что-то пробормотал.

Они сажали последние растения. Август был задумчив и взволнован. Под конец он говорит:

— Знаешь что, Эдварт, ступай вперед. Я сейчас приду.

— Ты не пойдешь со мной? — спросил Эдварт.

— Нет, не могу. Я был у этих господ уже раз и им обоим надерзил, от меня порядком досталось и священнику и ленсману.

Э д в а р т. Гм. Мне бы хотелось, чтоб ты пошел со мной. Ты лучше умеешь говорить.

— Я сейчас приду. Ступай сначала к ленсману, расскажи ему, что доктор купил сто растений, ленсман возьмет тогда двести. Он дурак

Эдварт пошел.

Этот большой и неповоротливый детина был робок, он боялся продавать на свой собственный страх и риск; если ему где-нибудь откажут с первого слова, он не будет настаивать и уйдет. О-о, Эдварт, как он сдал за последние годы по сравнению с юностью! А что сделал бы в таком случае Август? Он стал бы рассказывать о других государствах и странах, где никто не может жить без этих красивых деревьев, дети привыкают там смотреть на них, еще лежа в колыбели, а старые люди, сидя в кресле и поджидая смерть, тоскуют, если не видят перед собой елок.

Но Эдварту, к его крайнему изумлению, действительно посчастливилось: ему удалось поговорить с самим ленсманом, он кое-как объяснил ему, в чем дело, упомянул о докторе и в конце концов продал двести растений.

Немного погодя пришел и Август, лицо его сияло, и он был необычайно доволен.

— Он сдался! — сказал он. — Такой чудак, хотел прибить плакат в лавке, — задал я ему плакат! Да ты никак уже сажаешь? Сколько же он взял? Ха-ха-ха, двести, я так и знал!

Они работали на лужайке, на красивом местечке, в загоне для телят. Эдварт рыл ямки, а Август сажал.

— А я отправился, конечно, прямо к доктору, — рассказывал он. — И разумеется, он сразу побледнел. Но я не выношу слез, и когда мужчина поднимает руки кверху, у меня не хватает духу что-нибудь с ним сделать. Никто тогда меня не может заставить... Да, так ты сказал, что доктор взял сотню растений? Досадно, нам бы следовало сказать — двести, тогда бы он взял четыреста. Но я раз навсегда перестал преувеличивать и прибавлять лишнее, чтобы это не вошло у меня в привычку.

Они окончили посадку у ленсмана и пошли к двору священника.

Нет, капеллан Твейто не хотел покупать елок. Зачем ему сажать здесь деревья? Ведь он вот-вот уедет.

Но почему бы ему не сделать этого на пользу и во славу прихода? — спросил Август.

Конечно, это можно бы сделать. Но он надеется, что он послужил на пользу и во славу прихода другим способом.

Август заявил, что не считал этого невозможным. Но почему бы ему не оставить на память и видимый след после себя?

Но капеллан предпочитал предоставить это своему премнику. Он сам считал бессмысленным сажать деревья теперь, перед самым своим отъездом.

А в г у с т. А вот доктор! Он ведь тоже собирается уезжать через некоторое время отсюда, а купил целых четыреста штук.

— Ну, неужели доктор купил столько? Но у него больше денег, и потом он не собирается жениться, как я. Но, впрочем, все равно, я могу взять сотню растений, если вы оба посадите их мне задаром.

Они сами выбрали поле и снова начали работу, но на этот раз они решили насадить аллею, два ряда по сторонам дороги к месту причала лодок, где сходило на сушу много народу по пути в церковь. Так как сотня растений никак не могла их устроить, то Август прибавил еще триста своих собственных, выражаясь об этом поступке как о священнодействии; ведь они находились в некотором роде на священной земле и, может быть, с неба следили за ними.

— Растите во имя господне! — сказал он, когда они покидали это место.

Теперь продажа пошла куда быстрее. Мужики подражали господам и отдавали приказ посадить двадцать или десять растений, смотря по средствам. Зато с едой приятелям приходилось плохо.

Даже важным господам из Внутреннего прихода приходилось туго; они сняли жатву с своих полей-лоскутов и перемололи зерно в муку, но это был совершенный пустяк; обыкновенно они покупали для себя муку с юга, но теперь муки нельзя было достать. Август издевался над положением во Внутреннем приходе и сплевывал далеко в сторону, хотя и был очень голоден. Что делали в Полене? Как поступал он сам? Без всяких разговоров заказывал только муку по телеграфу, вот и все!

Приятель провели во Внутреннем приходе четыре дня, и им было очень плохо; на обратном пути они все еще тащили целую партию елок, и Август начал слабеть. Они пришли на границу между Внутренним приходом и Поленом, и уже во владениях Полена Август предложил без дальнейших колебаний посадить остаток растений разом, без всякого порядка и на чьей придется земле. Они выбрали место покрасивей на солнечной стороне и принялись за работу. Им бы следовало уступить ленсману четыреста штук, — сказал Август.

— Я почти что раскаиваюсь, что мы этого не сделали. Но тогда бы у этого жулика вырос целый лес, и кто знает, уж не использовал ли бы он его на рождественские елки. Я ни за что



не простил бы это Внутреннему приходу. И к тому же всегда лучше не отклоняться от истины.

Они работали около часа. Август сел. Он не был ленив и сердился сам на себя за то, что нуждался в отдыхе, но у него дрожали уже колени. «Выходит так, что я почти уже ни на что не гожусь»,— говорил он. Эдварт еще крепился: он был выносливее и сильнее. Август смотрел на него некоторое время и вдруг вспыхнул:

— Вот что я скажу тебе, Эдварт, ты все больше и больше делаешься похожим на животное; ты говоришь только, когда я тебя спрашиваю. Почему это? Ты превратился в ничтожество. Я так голоден, что мне тоже не до смеха, но разве ты слышал, чтобы я молчал, как покойник?

— Но о чем же мне говорить? — неохотно сказал Эдварт.

Август молчал. Лицо у него было серое, и он то-и-дело облизывал губы.

— Я сижу и смотрю, как ты работаешь и за себя и за меня. Ты не только роешь ямы, но и сажаешь, но это у тебя не выходит. Ты только что посадил два растения вместе, но так не сажают ели.

Никогда Август не был менее самим собою, чем теперь, он вдруг стал маленьким и жалким. Но разве он был серьезно раздавлен? Ничуть! Его стошнило, и он скорчил гримасу, точно его обидели. И вдруг он заорал, как бешеный:

— Пусть леший тебя возьмет, если ты будешь сплетничать и болтать повсюду об этих акциях! Запомни это!

Эдварт рыл ямы и сажал.

— Довольно! — кричал Август.

Эдварт поглядел на него.

А в г у с т. Говорят тебе — довольно! Теперь ты выроешь большую яму, Эдварт, и мы положим в нее все оставшиеся растения.

Эдварт стал копать. Когда яма была достаточно велика, Август встал и осторожно сложил в могилу все оставшиеся растения.

— Мы поступим с ними, как с людьми,— сказал он.— Они ни в коем случае не должны валяться и погибать поверх земли, словно мы их забыли. Ведь в них тоже есть жизнь. Впрочем, мы все сойдем когда-нибудь в могилу.

Август пришел в Полен совершенно больным и жалким и должен был слечь в постель.

— Отныне дело пойдет всерьез,— сказал Август.

Короткие дни и пасмурная погода; хлеба нет, бледные лица и общее уныние.

Несомненно, люди совсем сбились с пути истинного, они забыли добродетель самоотречения, они не умели довольствоваться малым, нет, они тотчас падали духом. Так как Август не достал им муки, они набросились на Иоакима, приставали к нему и шумели, ударяли себя в грудь, вопили: он, как староста, обязан найти выход из положения. Но Иоаким отнесся к этому холодно.

— Подождите, когда по-настоящему будет на что жаловаться,— сказал он.— Будет еще хуже. Пока, небось, у каждого есть бараний окорок или кусок сала.

Он выработал в себе твердость характера. Сперва он был такой же, как и все: его легко соблазнили участвовать в покупке Августова невода, а потом проводить время за бесплодным ловом, в безделье и лени. Дух времени поразил его, и он взял пять акций в Поленском банке сбережений; но тут он остановился и призадумался: ну, а что дальше? Чем это кончится? Землю он обрабатывал по календарю, следя за фазами луны и памятуя приметы.

Много полезных дополнений к своим мнениям об обществе и людских отношениях он получил от своей излюбленной газеты. Беда надвигалась на Полен и его окрестности, будет еще хуже.

И действительно, становилось все хуже. И люди снова стали наступать на него, требуя пищи. Всюду по домам чувствовалась нужда; у Кристофера уже целую неделю не было в доме еды.

Иоаким жестко и вызывающе:

— Зачем вы сделали город из наших полей?

— Да, зачем мы это сделали? — повторяли они.— Но почему же ты вовремя не остановил нас?

Иоаким уже более мягко:

— Я сам чуть было не сделал того же.

— Ты должен был устроить собрание и запретить нам.

Молчание. Вспыльчивость проснулась в Иоакиме, он побледнел и отвечал с запальчивостью:

— Собрание вам не нянька. Но, между прочим, вы можете поискать себе другого старосту!

Чей-то благоразумный голос остановил пререкания:

— Как бы там ни было, а теперь поздно говорить о городе и полях.

С этим Иоаким вполне согласился, и в заключение он сказал:

— В Северном приходе есть еще картофель.

И народ устремился в Северный приход. Люди покупали картофель на последние деньги и бессовестно клянчили, да случалось, и воровали. Но и это не было выходом, и картофеля не хватило даже на неделю; зато о поленцах прошла дурная слава по Северному приходу, потому что из одного хлева исчезла свинья, а из другого коза.

Но тут Эзра сделал нечто странное. Эзра из Новоселка, этот раб земли, приехал в город Полен с целым ворохом зерна и свалил его у Каролуса и Ане-Марии. Это было вечером, было уже довольно темно, так что все произошло очень тихо; сам он был также крайне неразговорчив и даже мрачен. Ане-Мария всплеснула руками и спросила: что это он выдумал? Что же это, ради бога, значит? Да где это на белом свете видано!

— Это — твоему городу, — сказал Эзра, и в его голосе не слышалось ни малейшей нежности. — Куда бы это свалить?

— Свали в кухню, да благословит тебя господь!

Пришел и Каролус и был точно так же потрясен:

— Какой ты был Эзра, такой и останешься! Это я всегда говорил и за глаза, а теперь и прямо скажу тебе в лицо. Ане-Мария, мы ведь не нищие, у нас, наверное, найдется кофе, чтобы угостить Эзру?

— Если он только захочет?

— Ну, конечно. Эзра, оставь лошадь и войди.

— Нет уж спасибо, мне некогда, — сказал Эзра, высыпая мешки на пол в кухне.

Он уехал и вернулся обратно с новым возом.

— Что такое? Ты самого себя не жалеешь, — говорили ему, — у тебя жена и дети, так ведь?

— Распределяйте! — сказал Эзра и поехал за третьим возом. — «Делите!» Четвертый воз был с мешками картофеля, — «Делите!» Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый — картошка, — «Делите!»

Человек, верно, совсем рехнулся. Странно, что жена его Хозяя и все их дети не пришли, плача и ломая руки по поводу такого ужасного случая, нет, они не пришли. Зато со всей местности стал стекаться народ, в восторге от безумия Эзры, и все помогали ему вносить мешки и высыпать их в кухню. О-о, они сделались такими услужливыми, они устроили пе-

регородку между зерном и картофелем и отправились вместе с Эзрой за новым возом; они хотели поглядеть, живы ли еще обитатели Новоселка, и не убил ли безумец всю свою семью. Они вернулись приниженные: и Хозея и дети помогали сами наполнять мешки. Вся семья, должно быть, сошла с ума.

Когда забрезжило утро, на полу в кухне лежали две больших кучи съестных припасов. Эзра уехал и больше не вернулся.

Теперь оставалось только распределить эти припасы так, чтобы их хватило на всех. Люди приходили с мешками и корзинами. Каролус был вполне на высоте положения и умел делить. Теперь жизнь снова вознесла его, как в то время, когда он был старостой: недаром же Эзра не поехал со своим подарком в лавку к своим родственникам, он знал, куда ему обратиться. О-о, Каролус гордился возложенной на него миссией; с утра до вечера он стоял у себя в кухне, развешивал и отмеривал, а Ане-Мария писала. Нужно было видеть, как хорошо все это шло: ни на одну картошку больше, ни на одну картошку меньше. Ане-Мария была отличной помощницей, она знала Полен и могла регулировать раздачу, сообразуясь с величиной каждой семьи; ее невозможно было провести, послав двух нуждающихся из одного дома. Она стояла и наблюдала за всеми; поставленная вверх дном бочка служила ей пюпитром, ей опрокидывали чернильницу, может быть нечаянно, а может быть нарочно, чтобы испортить ей запись и заставить вписать себя еще раз, но Ане-Мария не давала себя провести.

— Кристофер, будет, — говорила она. — Ты получил уже утром, а теперь посылаешь своего ребенка, чтобы получить еще раз. Это не пройдет!

Это был великий день. Эзра показал себя истым гражданином Полена и благодетелем; действительно, если бы появилась комета или другое какое-нибудь знамение с неба, это не произвело бы такого впечатления. Народ ошибся в Эзре; к сожалению, целый ряд лет о нем злословили, ему закрывали доступ в свое общество и оставляли его в одиночестве. И теперь неувыдаемой хвалой ему было то, что он не помнил зла, но пришел на помощь, когда пробил час нужды. Если бы капеллану Твейто не нужно было уезжать, он мог бы произнести по этому поводу проповедь. Эзра стоил этого.

— Да, — сказал Каролус, — если бы это было в те времена, когда я был старостой, собрание поблагодарило бы его в своем протоколе. Уж я бы непременно позаботился об этом.

— Ну что ж, — говорили ему, — вы можете стать опять старостой. Что вы на это скажете?

— Нет,— отвечал Каролус,— у меня и без того слишком много дел: и банк, и прочее такое.

Но это была отличная мысль. Каролус не имел ничего против того, чтобы об этом говорили: это звучало, как музыка, в его ушах. Для Каролуса это был тоже великий день, а длинный список и опрокинутая чернильница давали ему иногда повод прогуляться в лавку и там закупить новый запас писчебумажных принадлежностей. Да, ему нужно было не так уж мало, Паулина была его неизменной поставщицей чернил.

— Вы много тратите чернил,— сказала Паулина.

— Да, у нас немалая отчетность,— отвечал он.— Ведь все местечко приходит ко мне, просит и требует, и все надо записывать. Я редко когда так уставал от работы.

Паулина не имела никакого основания важничать и презрительно относиться хотя бы к самой ничтожной выручке: лавка растеряла всех своих покупателей, и Паулине только оставалось радоваться, что она может продать чернила такому человеку как Каролус. Правда, она могла бы распродать всю лавку дочиста хоть сейчас же, кто мог ей помешать? Но у людей вышли все деньги, а раздавать в кредит ей больше не хотелось. Когда вышла вся мука, люди стали приходиться за другими вещами, которыми можно было утолить голод: они требовали кофе и чай, табак, маргарин, сласти, изюм и патоку; но когда Паулина спрашивала деньги, они выворачивали карманы и сделка расстраивалась. Все эти товары принадлежали старшему брату, она была только его заместительницей по лавке и без денег не могла больше отпустить даже пакетика табаку.

Иоаким, ее брат, имел однажды вечером с ней такой разговор: он советовал ей поступить, как Эзра из Новоселка, и отдать все, что у нее имелось в лавке съестного, все до последней крошки.

Паулина не соглашалась.

— Что же, ты хочешь, чтобы тебя заставили отдать? — сказал Иоаким.

— То есть как? Что ты этим хочешь сказать?

И о а к и м. Эзра вовсе не дурак. Он знал, что то, чего он сам добром не отдаст, люди заберут потом силой.

В голове у Паулины тотчас промелькнул целый ряд отличных планов: она попросит старшего брата повесить ставни на окна, сделать засов у дверей и замуровать отверстие в погребу, она сама будет стоять с вилами. А что хотел бы сделать Иоаким?

— Я буду стоять и только смотреть,— сказал Иоаким.— Больше ничего не остается.

— Как тебе не стыдно!

Она ни за что не хотела примириться с этим, она тяжело дышала и грозила призвать ленсмана.

— Подумаешь — ленсмана! — сказал Иоаким и только улыбнулся.

Он браковал все ее прекрасные планы по мере того, как она их перечисляла.

— Ну, а ты, староста, разве ты не можешь написать амтману? — кричала она в бешенстве.

— Я уже обращался к нему, — отвечал Иоаким. — Я не писал, а телеграфировал.

И это было действительно так. Иоаким-староста тоже переставал важничать: картофеля из Северного прихода хватило ненадолго; по зрелом размышлении он должен был обратиться к амтману, никакого другого выхода не было.

Но что мог сделать амтман? Верно, он сам кусал себе пальцы. Повсюду был голод.

Раздосадованная Паулина продолжала фыркать:

— Можно подумать, что мы живем в дикой стране.

— Я пошел еще дальше, — сказал Иоаким-староста, — я телеграфировал в Королевский совет.

Это здорово. Обращение в Королевский совет было делом совсем серьезным. Даже Паулина теперь приутихла, ей больше нечего было сказать.

Впрочем, мир и тишина водворились на некоторое время в Полене: провиант из Новоселка уменьшил самую острую нужду, народ занялся хождением на мельницы, куда относили зерно в мешках и откуда брали его обратно в виде муки. На рождество пришлось на этот раз туго, и было бы и еще хуже, если бы Паулина не повела себя как достойная уроженка Полена и благотворительница номер два. И о ней односельчане имели превратное понятие: она тоже раздала народу все, что было съедобного и годного для питья в ее подвале и в лавке, и никому не вписала ничего в счет, и никто ничего не платил. И подумать только, это Паулина-то! Правда, запасы у нее были не такие уже большие, но все-таки у нее было свиное сало, маргарин и патока, хватило понемногу и взрослым и детям. Паулина, которую никогда и никак не трогали дети, вдруг заинтересовалась ими и послала им печенье, баранки и сласти, а взрослые получили кофе и табак. Конечно, Каролус и Ане-Мария распределяли и Паулиныны товары. Каролус опять сходил за канцелярскими принадлежностями, а Ане-Мария записывала.

— Я бы сказал, что тут, пожалуй, слишком много работы для одного лица,— заметил Каролус.— А что, если бы я к тому же был еще и старостой!

От правительства через амтмана пришла телеграмма: будет сделано все, что возможно; пусть люди возьмут себя в руки и потерпят немного, власти занялись этим делом.

Иоаким-староста прибил телеграмму на стене в лавке.

Это известие от Королевского совета пришло вовремя: нужда снова возросла, провиант из Новоселка был съеден, угощение из лавки испарилось, к тому же и мясо осеннего убоя было уничтожено до последнего кусочка. Мучимые голодом, многие ударились в набожность и молитвы, ходили со следами слез на изможденных лицах; матери, посадив на колени детей, рассказывали им о молоке, которое им дадут на небе, когда они умрут от голода и попадут туда. Две женщины, встретившись у ручья, без конца могли говорить о «том свете», и Теодорова Рагна особенно отличалась и часто блистала своей ученостью. Как ни странно, даже Рагна, достаточно привыкшая к лишениям,— она ведь терпела нужду всю жизнь,— и та очень страдала теперь от голода, хотя Теодор то-и-дело притаскивал домой с паровой остановки чего-нибудь съестного. Самому Теодору приходилось не так плохо: он иногда заходил во Внутренний приход к своей дочери, жившей у доктора, и поедал ее обед. Но Рагна скорее предпочитала голодать сама, чем «объедать родное детище». Она стала взвинченной и религиозной, как и многие другие; поветрие начало распространяться. Но у Рагны было одно преимущество перед другими: она хорошо училась в школе и многое еще помнила из того, что учила когда-то. Для остальных женщин было очень поучительно встречаться с ней у ручья: лицо у нее похудело, и глаза блестели, но у нее все еще было достаточно сил, чтобы рассказывать о сарептской вдове и о том, как бог однажды пришел под дуб мамврийский и ел телятину. После этого она перебирала засохшими губами и глотала слюну, точно она говорила о пяти хлебах и двух рыбах для многих тысяч людей.

Маленькая Рагна из Полена всегда так красиво улыбалась. Конечно, ей не повредило бы хоть изредка наесться досыта, но она приучила себя к лишениям, она относилась к себе, на самом деле, чрезвычайно строго. Нечего и говорить, что не было более никаких встреч в темных закоулках, никаких нескромных мечтаний в одиночестве, она отказалась да-

же от теплых, возбуждающих чувственность, платьев. Пальто, которое подарил ей Родерик, было теперь слишком хорошо для нее, а Эсфирь, ее дочка, жившая у доктора, отказалась взять его себе, — так оно и висело без употребления.

Да, в общем это было хорошо, она стала другим человеком. Но все-таки это был великолепный момент, когда маленькая Рагна явилась к Ане-Марии, с тем чтобы обратить ее на путь истинный. О-о, тут она зашла слишком далеко и вернулась ни с чем.

О них обеих ходила дурная молва среди местных жителей: про Ане-Марию говорили, что она была недовольна своим супругом, а про Рагну — что она распушена. Но что из этого? Это было их личное дело. Оно ничем не было связано с теперешним моментом и голодом.

Намерение Рагны возникло в сущности в торжественную минуту перед рождеством, когда распределяли товары в лавке и Рагне не дали патоки.

— Зачем тебе? — сказала Ане-Мария. — У тебя нет больше маленьких детей в доме, и я не знаю, что ты будешь делать с патокой.

Рагна промолчала на это, но обиды не забыла. Она, конечно, и не собиралась съесть эту патоку сама, но бог знает, была ли патока у доктора, где жила ее Эсфирь. Теперь ей нечего было подарить дочери, и это было по вине Ане-Марии. Можно было опасаться, что Ане-Мария была черствым человеком. Рагна решила ее образумить и обратиться к богу.

Но дело кончилось неудачей, хотя все ограничилось только самым простым разговором.

Ане-Мария стояла и слушала, лицо ее от нужды сделалось худым и старым, груди исчезли. Вначале она ничего не могла понять: неужели же Теодорова Рагна собирается обращать ее?

Да. Со всем смирением. И в особенности она хотела бы предупредить Ане-Марию против встреч с Эдвартом Андреасеном.

— Да ты что, совсем рехнулась? — спросила Ане-Мария. — Я так редко видела твоего Эдварта, что даже и говорить-то не о чем.

— Ну, а Августа? Если бы только знала, как он бегал за мной и тискал меня!

У Ане-Марии сразу вытянулось лицо. До сих пор ей скорее льстило, что ее подозревают в пристрастии к мужчинам, но последнее сообщение Рагны огорчило ее и вызвало в ней ревность; Рагна была ведь гораздо моложе ее и гораздо больше походила фигурой на девушку, эта чертовка.

— Вот как! Значит, он тискал тебя? Но ты, конечно, ничего не имела против этого.



Ах, Ане-Мария не должна теперь думать о ней так дурно: ведь она пробудилась.

Как бы там ни было, а Август при смерти, лежит в бреду.

— Ах, если б я могла только серьезно поговорить с ним! — выразила желание Рагна.

Тут Ане-Мария засмеялась и глубоко задела маленькую Рагну. Эта черствая душа не должна была бы смеяться, эта великая грешница, которая к тому же понесла наказание по суду за убийство шкипера.

— Право, не знаю, какие у тебя причины и основания смеяться, Ане-Мария, — сказала она.

Вот теперь она тоже говорила ей «ты», ей, Ане-Марии, которой все говорили «вы» с тех пор, как она разбогатела.

— Я тебя ни во что не ставлю, — сказала Ане-Мария и хотела уйти.

Р а г н а. Настало время и тебе одуматься, какого бы высокого мнения ты о себе ни была. Мне было указано свыше прийти и предупредить тебя.

— Ты бы лучше пошла домой и починила бы себе платье и не показывалась в таком виде на людях.

— Неужели ты думаешь, что я забочусь о своем жалком теле и о том, холодно мне или нет? Ибо день страшного суда близок!

— Ну-ну, — говорит Ане-Мария. — Кто же это сказал?

— Это сказано в писании. Судный день наступит, когда мало будет света вокруг, вот как сейчас. И к тому же у нас до-роговизна, и голод, и помрачение в душах наших, и мы не молимся богу.

— Говорят, есть признаки, что сельдь близко, — сухо заметила Ане-Мария.

Рагна проглотила слюну, и глаза ее сверкнули.

— Хорошо, если бы это была правда! — пожелала она. — Но сколько раз уже это говорили, да поможет нам бог!

— Говорят, и птицы прилетели.

Рагна опять проглотила слюну.

— Может быть, это милость господня нисходит на нас, вот увидишь! И если это так, я не встану с колен и буду без конца благодарить его.

— У тебя, верно, еды совсем нет? — спросила Ане-Мария.

Рагна слабо пошевелила помертвелыми губами и отвечала:

— Да, со среды.

— А Теодор дома?

— Нет, у него какое-то дело во Внутреннем приходе.

— А почему ты сама не сходишь как-нибудь во Внутренний приход?

По лицу Рагны промелькнуло дикое выражение, и она прохрипела:

— Я скорее умру.

— Бывало, ты и похуже делала, а что за беда — навестить Эсфирь?

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила Рагна. — Разве я недостаточно грешна и без того, а тут еще объедать родное детище!

Ане-Мария сказала:

— Я дам тебе несколько картошек.

— Не надо! — истерически крикнула ей вслед Рагна.

Ане-Мария пошла в кухню и вернулась обратно со своим даром, с несколькими картошками, с несколькими небольшими картошками.

— Я бы с удовольствием дала тебе больше, но у меня живут сейчас ребятишки. А вот кусочек мяса.

Рагна. Я не возьму этого!

Ане-Мария завязала в узелок картофель и мясо и передала Рагне.

И слезы проложили новую борозду по серым щекам Рагны.

— Грешно тебе так искушать меня, — говорила она, рыдая. — Тебе это самой нужно, тебе самой нужно, слышишь? На что мне это в моей жалкой судьбе? Да что же такое? Раз ты сама голодаешь...

С улицы ворвались в избу мальчики, два «принца», упитанные паренечки, в башмачках и костюмчиках, веселые и чистенькие.

— Слава богу, они не знают нужды, — кивнула на них Ане-Мария.

Перед тем как уйти, Рагна, по-видимому, вспомнила, зачем она в сущности пришла, и сказала, пристыженная:

— Да, да, я лишь ничтожная посланница того, кто призвал меня! — Она была такой робкой и говорила смиренным голосом из благодарности за подарок. — Мне бы очень хотелось, чтобы ты тоже попыталась умерщвлять свою плоть, Ане-Мария. Так, значит, Август при смерти? Да, но Эдварт пока еще среди нас.

Ане-Мария сердилась на нее. Нет, она не привыкла, чтобы ей говорили «ты». Впрочем, это еще куда ни шло, но никак уже не следовало Теодоровой Рагне пытаться проповедовать.

Она считала это кривляньем.

— Перестань! — сказала она. — Я в этом деле побольше смыслу, чем ты; я прошла через это раньше тебя, тогда, в

Троньеме. Мое обращение к богу было так бурно, что и священник и директор пришли в ужас и приказали сторожить меня день и ночь.

Религиозность в Полене особенно сильно распространилась среди матерей. У них не было никакого руководства кроме их собственного, они встречались друг с другом у ручья или у себя дома, они брали с собой проповеди и псалтырь, и Теодорова Рагна читала им вслух. Это были, по их мнению, благословенные часы; и даже некоторые мужчины примкнули к ним, например Кристофер, который всегда был отчаянным малым, но теперь был так сильно потрясен голодом и религиозностью, что иногда уединялся и плакал.

А Август лежал больной.

Его случай носил несколько иной характер. Да, он был болен и бредил, и в бреду называл себя «масса» и капитаном и все смотрел в бинокль на морской берег на каких-то купающихся женщин.

С чердака ему слышались чьи-то голоса, и он отвечал им. Дело шло о негритянской девушке, молившей о пощаде, но он не обращал на это внимание. «Ха-ха, масса не был так глуп!» Перед ним носился грандиозный план устройства ярмарки в Полене. Почему бы нет? Придет весь Внутренний приход, народ с пароходной остановки и из соседних приходов. Будет громадная карусель и денежная лотерея. Но медведя не будет. «Нет, на кой черт! — кричал Август в жару. — Пусть будет так, молчите!»

Эдварт сидел у него день и ночь или лежал в соседней комнате с открытой дверью; доктор назвал болезнь «каким-то воспалением легких», сделал ему впрыскивание и дал капли; пациент не должен оставаться один, иначе он в бессознательном состоянии мог соскочить с постели.

Он не был все время без сознания, на третий день около полудня он пришел в себя; он не исключал возможности близкой смерти, наоборот, боялся, что дело как раз идет к тому, и был сильно озабочен вопросом, каково ему придется на «том свете». Вдруг он спросил Эдварта, какая на дворе погода, нет ли бури и откуда дует ветер. «Так, с Атлантического океана!» — сказал он и кивнул головой.

Голова у него была совсем ясная, но он горячо обсуждал всевозможные вопросы, которые, казалось, не имели никакой связи между собой.

— Я хотел посеять кое-что к весне, но теперь я, наверно, умру.  
— Ты не умрешь,— сказал Эдварт.  
— Ты думаешь, что не умру? Да, что я хотел сказать?  
Когда у тебя была ферма, ты не возделывал на ней табак?  
— Табак? Нет.  
— А ты видел когда-нибудь табачное поле?  
— Нет, кажется, не видел. А почему ты спрашиваешь?  
— Так что ты не знаешь, какие у табака листья на корню?  
— Нет.  
— Вот видишь ли,— сказал Август без всякого перехода,— если буря идет со стороны Атлантического океана, то где-нибудь можно ждать появления сельди.

## ГЛАВА XVI

---

Очень плохо стало в городе Полене: ни пищи, ни помощи; отчаяние все возрастало, и никто больше не улыбался. Нет, никто больше не улыбался. При встрече люди мрачно глядели в землю.

Правда, то и дело возникали слухи о сельди в фиорде, но каждый раз надежда поленцев оказывалась обманутой. Был уже конец марта, лофотенский лов ничего не дал тем из Северного прихода, кто выезжал еще на лов, а помощь, обещанная властями, не приходила. А что такое власти? Департамент, люди сидящие на местах с приставленным пальцем ко лбу. Дело дошло до того, что Полен подумывал уже закрыть свое собственное почтовое отделение, потому что у Теодора и Родерика не хватало больше сил ездить на пристань.

И вот люди опять стали справляться об Августе. Было великим несчастьем, что он лежал при смерти именно теперь. «Смотрите-ка, ведь действительно прибыл цемент!» — невероятная тяжесть, которую выгрузили на пристани, и который так и остался там лежать, потому что ни у кого не было сил, чтобы привезти его на лодке в Полен. «Но цемент ведь не пища». — «Конечно, нет, не говори глупостей. Цемент — это цемент и больше ничего, цемент для фабрики». Но человек, которому стоило сказать слово — и цемент появлялся тоннами, такой человек, может быть, нашел бы и средство, чтобы помочь людям в крайней нужде.

Это было возможно. Разве был такой случай, когда Август оказался бы беспомощным? Иоаким, как староста и руководитель, был неплох в своем роде, этого нельзя было отрицать. Но на этот раз во всяком случае он оказался бессилён.

Он вывесил на стене телеграмму и больше ничего не делал. А что бы сделал Август? Он поехал бы на юг и ударил бы кулаком по столу у самого короля. Не так ли?

Да, все так думали.

Они пошли к кофейне и потихоньку вызвали Эдварта со второго этажа вниз. Эдварт сошел. Они осведомились о больном, в каком он состоянии, не бредит ли, узнает ли кого. Они просили Эдварта поклониться ему от них, — даст бог, он скоро совсем поправится.

— Что им надо от тебя? — спросил Август.

— Они приходили спрашивать о твоём здоровье.

— Ах, так, — равнодушно говорит Август.

— Они просили кланяться тебе.

— Да-а?

Это его не трогает, какое значение может это иметь для него: он очень болен и слаб, он никуда не годится и должен умереть. Иногда он испуганно смотрит на Эдварта и хватается за руку, он боится смерти, плачет и подавлен. Страх смерти затемняет его рассудок, с ней невозможно примириться, он с воплями восстает против нее, но что же он может выдумать? Он спрашивает Эдварта:

— Доктор нашел, что это опасно?

— Да, — говорит Эдварт.

— Ну, вот видишь, значит, я умру! Будь так добр и дай мне еще капель.

— Нет, — отвечает Эдварт, — ты их только что принял.

Больной закрывает глаза, в груди у него хрипит мокрота, дыхание учащено.

— Да, это опасно, — повторяет он. — Эдварт, поговори с доктором, пусть он поможет мне. Все равно, сколько это будет стоить. Он велел мне ждать шесть месяцев, да, ждать шесть месяцев. Но ты скажи ему от моего имени, что я готов ждать шесть лет, о-о, я готов ждать целую жизнь, — даже так ты можешь сказать ему.

— Хорошо, — отвечает Эдварт.

— Раз он сказал, что опасно, так значит — опасно. Только мало ли что говорят эти доктора! А как ты сам думаешь, Эдварт?

— Я не знаю.

— Ты никогда ничего не знаешь и не можешь даже поговорить со мной, — захныкал Август. — Но что же ты сказал людям, которые справлялись обо мне?

— Я сказал им, что тебе, несомненно, немного лучше. Ты перестал жалобно стонать, и ты узнаешь меня.

— Ну, так, вероятно, мне лучше. Между прочим, я думаю, что если бы здесь была аптека и я мог купить достаточное количество капель, я бы выздоровел. А как ты думаешь?

— Что такое? — спрашивает Эдварт.— Я даю тебе достаточно капель, по рецепту.

А в г у с т. Мне бы следовало открыть здесь, в Полене, аптеку. Я давно уже думал об этом. Ах, мне хотелось бы сделать еще столько всего! Но прежде всего нужно будет посадить кое-что на моем поле, если я только доживу до весны. Но я, вероятно, не доживу, вряд ли это возможно. Как ты думаешь?

— Но доктор вовсе не говорил, что это смертельно.

— Ну, а чем же иначе это кончится? Я великий грешник, Эдварт. Когда я лежу здесь и размышляю, я прихожу к заключению, что я гораздо хуже, чем ты, хотя у тебя имеются и тут и там незаконные дети, а мне это не удавалось, мне каждый раз что-нибудь мешало. Но, видишь ли, это мне все равно не поможет, раз я грешил и в мыслях и на словах. И знаешь, я не заплатил за мои прежние зубы, за золотые, и это было очень нехорошо; но я не заплатил также и за эти новые. Так вышло. Это большой грех. А теперь дай мне немножко воды.

Затем Август продолжает:

— Но я никогда не принадлежал к числу тех, кто хладнокровно убивает людей.

— Конечно,— сказал Эдварт.

— Я не убил ни белого, ни чернокожего. Этого греха нет на мне.

— Конечно, нет.

— Ты говоришь: «Конечно, нет». Но как можешь ты знать это наверное? — раздраженно спрашивает Август.— Должен сказать тебе, я был отчаянным повесой за границей и любого мог заткнуть за пояс в уменье обращаться с ножом или револьвером. А у тебя, вероятно, и револьвера-то никогда не было?

— Не было,— признается Эдварт.

Но что из этого? Он хорошо знал своего старого товарища и знал, как мало веса имели его слова и как мало на них можно было полагаться. Может быть, он никогда никого не убивал хладнокровно, даже ни разу и не стрелял из револьвера. А может быть, он лежал теперь и лгал самому богу, и притворялся более невинным, чем был на самом деле. От него всего можно было ждать.

— Но я сделал и еще много дурного,— продолжал Август.— Однажды я взял лодку на одном берегу реки и продал ее на другом. В этом я очень раскаиваюсь. Хотя я мог бы

вернуться на следующую ночь и взять еще лодку, но я этого не сделал, чтобы не приучиться воровать.

— А не попытаться ли тебе немножко поспать? — говорит Эдварт.

Вдруг Август встрепенулся:

— Какое у нас число сегодня?

Эдварт считает, соображает и делает вывод, что сейчас приблизительно конец марта, около двадцать восьмого марта.

— Так! — с облегчением говорит Август. — Значит, не восемнадцатое, а я было испугался. Видишь ли, я однажды говорил глупости о восемнадцатом числе, издевался над ним, говорил, что восемнадцатого должно было случиться нечто важное. Все это была чистейшая ложь, но с тех пор я до смерти боюсь этого числа, и в этом нет ничего странного: я боюсь, что черт явится и заберет меня восемнадцатого.

Э д в а р т. До следующего восемнадцатого целых три недели, и к тому времени ты выздоровеешь!

— Хорошо бы было! Но мы все великие грешники, Эдварт; не мешало бы и тебе также подумать об этом немного, а то ты только сидишь и зеваешь без конца.

— Я устал, — говорит Эдварт, — я день и ночь сидел около тебя.

— Мы все великие грешники, — повторяет Август, — и вопрос только в том, что с нами будет, когда наступит конец. Час ничего не стоит потерпеть, обыкновенный час, но представь себе, терпеть целую вечность да еще год в придачу!

Эдварт тяжело покачал головой.

— Вот видишь! А знаешь ли ты, что там в семь раз жарче, чем в огне?

— Кто это сказал?

— Да, подумай только — в семь раз жарче!

Эдварт встает.

— Ну, теперь довольно тебе разговаривать. Через час я дам тебе капли. А теперь я пойду и посплю.

Августу делалось то лучше, то хуже; после хорошо проведенной ночи он чувствовал себя утром бодрее, но такое улучшение не было продолжительным. На него по-прежнему находили припадки ужаса перед смертью: ее нельзя было обойти или остановить, она была непонятна и ужасна. И сколько он не успел еще сделать! Как всем умирающим, ему было некогда расстаться с жизнью и со своей деятельностью, на него стре-

мился целый поток дел, которые он должен был осуществить. Эдварт рассказал ему, что прибыл цемент. Да, это было хорошо. Если бы он был на ногах, то тотчас бы принялся за работу. Но цемент отнюдь не был самым главным, нужнее всего теперь была аптека. Он расписывал Эдварту благословенные последствия открытия в Полене аптеки, где бы народ мог получить множество лекарств от всякой болезни и под конец выздороветь. Существует огромная разница между аптекой и аптечным шкафом у доктора.

— Представь себе множество микстур, самые дорогие и блестящие пилюли. Ах, Эдварт, так приятно было бы лежать больным при таких условиях!

Он знал это по собственному пребыванию за границей: великолепные дни, жизнь на широкую ногу; в соседней комнате лежал миллионер.

Ему становилось все хуже, аппетит почти пропал, да и с едой было плохо. Ему пригодилось, что он всю свою жизнь был умеренным в пище, кроме тех дней, когда он в молодости «сходил на сушу» и хотел похвастать; тогда самое дорогое казалось ему недостаточно дорогим. Он выразил желание попробовать своей обычной еды детских лет: молока и вареной картошки.

— Сбегай вниз, Эдварт, и попроси Паулину!

Пока ему принесли желанные блюда, прошло в действительности не больше получаса, но как долго тянулись эти полчаса!

— Сбегай вниз, Эдварт, и спроси, скоро ли будет готово. Я не могу больше ждать, может быть, мне осталось жить совсем уже недолго.

Наконец пришла Паулина с подносом.

Август нахмурил брови. Паулина пришла не по его желанию, он стеснялся ее и отвернул свое исхудалое лицо к стене.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.

— Лучше, — коротко отвечал он. — Эдварт сам бы мог принести еду.

— Я все равно шла сюда, так уж кстати. Тебе пришло письмо.

— Да, из-за границы, должно быть. О делах. Положи его там.

— Как ты спал?

Ответа не последовало. Больше ей не удалось добиться от него ни слова, и она ушла.

После еды и непродолжительного забытья он снова заговорил:



— А башмаки и одежду я брал не раз. Невозможно было не соблазниться: они висели на улицах, в городах, я подходил, рассматривал их и смотрел на цены. Ты, верно, ни разу не брал себе платья так на улице?

Эдварт думал долго и наконец ответил:

— Нет, кажется, не брал, насколько я помню.

— Ну да, ты уж слишком неповоротлив. И потом, как я уже сказал, я гораздо больше нагрешил по сравнению с тобой, гораздо больше. Знаешь что, возьми мою шерстяную куртку. Она почти неношенная.

— Я не хочу брать ее у тебя.

— А на что она мне, если я все равно умру? Возьми ее, пожалуйста, она досталась мне даром.

— Ты взял ее на улице?

— Этого я не помню. Но как бы там ни было, я не могу вернуть ее. Дай мне капель, я по себе чувствую, что уже пора их принять.

Он съел опять немного картофеля, выпил молока и спросил:

— Что это со мной, Эдварт? Я, кажется, опять начинаю терять сознание?

— Что ты! Нет. Почему ты так думаешь?

— Мне чудится пение.

— Да, это женщины поют, — говорит Эдварт.

— Где? На улице?

— Да, у ручья.

— Ах, а я так испугался: мне послышалось похоронное пение. Если бы я был здоров, то я, конечно, спел бы им что-нибудь. Помнишь, как я пел о девушке из Барселоны? Все плакали вокруг меня. Что поют эти женщины?

— Они поют псалмы.

— У ручья? — спрашивает Август. — Они с ума сошли, что ли?

— Не знаю. Они обратились на путь истины.

Август задумался. Немного погодя он спросил:

— Обратились? А что это значит? Что они молятся богу и все такое?

— Да.

— Так. Ну, а теперь, Эдварт, мне, наверное, можно дать капель.

— Хорошо, немного погодя, — терпеливо отвечает Эдварт.

— Они обратились на путь истины. Нет, это ни к чему, — говорит Август. — Всю жизнь обращаться; этому нет конца, ты не можешь ни сморкнуться, ни чихнуть, чтобы не согреть-

шить, а потом ходи и кайся и будь обращенным,— так все время, целую вечность.

— Да,— бесстрастно отвечает Эдварт.

— Да, они обратились. А кто же они?

— Да все. Рагна, пожалуй, самая рьяная.

— Это Теодорова Рагна? — спрашивает Август и опять задумывается.— Да, я великий грешник,— говорит он.— Знаешь, чему я радуюсь сейчас? Так как я должен умереть, то я рад, что мы насадили елок вдоль дороги к церкви. Ведь это же благое деяние перед лицом бога.

— Да.

— Вообще же я занимался одними мирскими делами, но теперь я окончательно решил покончить с суетой и соблазнами сего мира. Между прочим, ты можешь взять мою трость, что стоит там у стены.

Эдварт отрицательно качает головой.

— Трость, а также и моя пенковая трубка очень тебе пригодятся по воскресеньям, например, когда ты, расфрантившись, пойдешь по соседним дворам и будешь шутить с девушками.

— Нет, благодарю, уж лучше не надо.

Почему это Августу хотелось во что бы то ни стало разделаться со своим имуществом? Может быть, чтобы не одному владеть этим наворованным добром; он почувствовал бы облегчение, если бы товарищ согласился взять на себя часть его греха, у него был бы соучастник. Отказы Эдварта раздражают его, и он пробует соблазнить его чемоданом:

— Ты от всего отказываешься, но ты же ведь не думаешь, что я украл трость? Во всяком случае чемодан-то я купил и заплатил за него.

— Да, я не сомневаюсь.

— Ты не спал из-за меня и ухаживал за мной все время и вообще помогал мне. Это так. Ты должен взять чемодан.

— Но ведь он же понадобится тебе самому,— ободряюще говорит Эдварт.— Вот ты увидишь!

— Ну, ты думаешь? — тотчас подхватывает Август и успокаивается на мгновенье.

Он снова выпивает немножко воды и приободряется, повертывается, что-то обдумывает и продолжает болтать:

— Все это обращение — одно кривлянье, прости меня, господи. Я лежу вот и думаю, что все это можно устроить гораздо проще. Знаешь, как поступают католики? Они вовсе не каются всю свою жизнь. Когда они согрешат, то священ-

ник дает им отпущение грехов, и выходит так, как будто они совсем не грешили.

Пустое «гм!» со стороны Эдварта.

— А католики ведь тоже люди, не видать никакой разницы между ними и нами; я встречался со многими из них. Однажды, когда мы стояли в Бельфасте и грузились, с подъемного крана спустился железный блок и свалил одного такого католика прямо на палубу. Мы все думали, что ему пришел конец; ему доставили доктора, и пластырь, и капли, и все такое. Прошла ночь. «Священника!» — сказал он, и дело походило на то, что настал его последний час. Но не тут-то было. Пришел священник, понятно, тоже католик, и после того как они оба пробыли некоторое время одни, произошло словно чудо какое: человеку стало лучше, он ожил и повеселел и ничего не имел против того, чтобы умереть. И это потому, что он сознался во всем том дурном, что он совершил за свою жизнь, а священник взял на себя все его грехи и дал ему прощение от самого бога. Таковую власть имеют католические священники, — а ведь это огромная власть! Это совсем не то, что наши священники. Ну, какая у них власть? Я никого из них не уважаю. Мы должны бодрствовать целую жизнь, здесь — все обделано в полчаса!

— А тот человек выздоровел? — спрашивает Эдварт.

— Нет, он, конечно, умер: ведь его же почти раздавило. Но он был счастлив, став безгрешным и ожидая вечного блаженства. Какую удивительную власть имеют католические священники! Говорят, у нас, в Сенье, есть несколько католиков. Ты слышал об этом?

— Да, — говорит Эдварт, — ты, верно, их помнишь, мы встречали их, когда бродили в молодости офенями.

А в г у с т. Это время я не буду вспоминать; это было грешное время, я не хочу о нем говорить. Во всяком случае в Тромсе есть католики, это я знаю наверное. Но, конечно, нечего и думать пригласить сюда их священника.

— Нет, конечно, нельзя, — соглашается Эдварт.

— А все-таки, съездил бы ты в Тромсе и поговорил с ним. Эдварт молчит.

— Мне безразлично, сколько бы это ни стоило.

Э д в а р т. Я знаю. Но давай подождем еще немножечко, по-моему, тебе сегодня гораздо лучше.

— Ты находишь? А чем лучше?

— Да глаза у тебя лучше и общий вид.

— Ах, если бы это так было! — вздохнул Август. — Эдварт, зажги свет, подними мою руку и посмотри, есть ли еще у меня кровь между пальцами.

Эдварт не понимает приказания и вопросительно смотрит.

— Потому что, если между пальцами у меня нет живой крови, то дело мое плохо.

— Все это глупости,— говорит Эдварт,— я не могу просвечивать твои руки раньше, чем ты умер.

— А почему нет? Мне это ничуть не повредит. Но тебе, конечно, лень,— ворчит Август.— А теперь можешь делать что угодно, я больше ни о чем тебя не буду просить. Ты, конечно, не дашь мне и капель?

— Нет, дам, немного погода.

— Немного погода, все время — немного погода! Впрочем, мне сейчас хочется спать, и ты не буди меня с каплями. Ты можешь оставить их себе.— Август горячился все больше и больше.— Вся беда в том, что капли мне дает такой святой и богобоязненный человек, как ты. Если б ты сидел на опрокинутой лодке, ты бы не столкнул своего товарища в море. Как это можно! Это было бы совсем не похоже на тебя. Но чем бы все это ни кончилось для тебя, разве не лучше было бы, если б ты спас свою жизнь и имел бы время для себя обратиться к богу? Я великий грешник перед лицом бога — отца и сына и святого духа, мне необходимо время, чтобы подготовиться к смерти. А также, если бы на негритянскую девушку напало четверо матросов, ты бы защищал ее и не поступил бы с ней, как все остальные. Да, да, было бы очень хорошо, если бы все думали, как ты; я тебя за это не осуждаю. Но, впрочем, и ты ведь был не все время святым и богобоязненным: помнишь, как мы были ночью на кладбище и разрывали могилу, чтобы достать золотое кольцо?

— Помню,— отвечает Эдварт.

— Мы осквернили священную землю,— это несомненно. И ты, конечно, не станешь отрицать, что мы нарушили могильный покой. Не было ничего удивительного в том, что я принимал в этом участие: ведь кольцо было мое, и я хотел вернуть его себе. И я думаю, бог поймет это.

— Мы оба участвовали в этом,— возражает Эдварт,— а все же это была твоя затея.

— Я не намерен отвечать тебе,— заявляет в заключение Август.

Он, казалось, сердился на то, что ему не удавалось снизить Эдварта до своего уровня.

— А что, если бы ты сбегал к Паулине и попросил у нее псалтырь для меня? — говорит он.

— А на что он тебе?

— Да ведь я же не прошу тебя тащить сюда все проповеди. Конечно, это тебе слишком трудно. И я не собираюсь вовсе лежать здесь и распевать псалмы, а также не стану читать псалтырь от доски до доски и перечитывать его без конца. Нет, я раскрою наугад на каком-нибудь стихе и посмотрю, что там стоит. Может быть, мне будет указание.

Эдварт сидит безучастный.

— Указание от бога. Тут нет ничего невозможного. Но как заставить тебя понять хоть что-нибудь! — раздраженно выпаливает Август.— Ты никогда не был особенно проницателен, и — прости, господи, мое согрешение! — теперь ты даже не человек, только получеловек, а может быть, и еще того меньше. А помнишь, в молодости как ты бегал за женщинами? Другого такого не было. А женщины, в свою очередь, за тобой. Тебе оставалось только выбирать. Вот если бы я был на твоём месте! — неожиданно оживился Август.— Впрочем, я проклял женщин и никогда не буду больше даже говорить о них. Совсем другое дело, когда ты здоров. И все-таки, ты как будто бы гораздо более мертв, чем я,— прости меня, что я это говорю тебе!

Э д в а р т. Я захвачу псалтырь, когда буду внизу.

— Можешь не захватывать,— с горечью говорит Август.

Эдварт невозмутим, его вспыльчивость юных дней теперь совсем исчезла, он только чуть краснел или бледнел. Вот он сидит здесь на стуле и чувствует глубокую преданность к своему товарищу, потому что такая спокойная жизнь ему по душе.

Но, правда, вне всякого сомнения, Август заметно поправляется, он стал капризным и нетерпеливым, и на него трудно было угодить. Картофель и молоко были величайшей благодатью для старого поленца, он выздоравливал, он возвращался к жизни.

— Откуда дует ветер сегодня? Нет ли шторма на море?

Эдварт оставлял его на долгое время и, возвратившись, всегда находил его готовым продолжать обычную болтовню.

## **ГЛАВА XVII**

---

День проходил за днем. Люди голодали, пели псалмы, и их тошнило зеленой желчью, поднимавшейся из пустых желудков. Теперь была положена преграда вылазкам в темные вечера и возвращения домой среди ночи с бараньей тушей на плечах: так как такой образ действия превратился в настоящее

бедствие для прихода, то на стене лавки появилось предупреждение, что в хлевы посажена вооруженная стража. Так далеко зашло дело, все выходы оказались закрытыми.

— Да, да, — говорил народ, — теперь остается только лечь нам в могилу!

Но среди мужчин находились еще и такие, что ворчали, они даже ударяли исхудалым кулаком по столу и принимались ругаться. Но боже мой, что это была за ругань! Они не решались дать себе волю, — кто знает, может быть, поведение женщин, с их обращением к религии и пением псалмов, было вернее, надежнее. О-о, до чего жалки были проклятия, которыми они раздражались, и на кого они могли подействовать! Эти проклятия были прямо смешны в устах взрослого мужчины, они были ни к чему в эти времена сурового голода. И все же иные после такого жалкого проклятия гордо озирались вокруг и словно спрашивали: «Слыхали вы, какой я молодец?» Вот до чего дошло. Обыватели Полена, любезные и добродушные люди, попали в тяжелое положение и тотчас раскисли.

Они ходили и замышляли что-то: это было совершенно ясно. До Эдварта дошел слух о каком-то тайном поручении, возложенном на Теодора: он должен был в качестве глашатая собрать ночью к определенному часу всех окрестных мужчин на дороге в Новоселок. Можно было ручаться, что у кулака Эзры оставалось еще кое-что из съестного, и вот они решили проникнуть к нему в подвал и в помещение и поразнюхать. Правда, Эзра привозил провиант в избу Каролуса для раздачи, но большую часть он, конечно, сберег для себя, малую толику припрятал, — негодяи они, жулики оба — он и его жена! Люди, знавшие с нечистым и принимавшие помощь самого ада, не могли остаться без еды, нечего и говорить. Новоселок нужно обследовать.

Но Теодор, как всегда, остался верен себе. Ему было сказано: завтра утром, в четыре часа. Но он, конечно, не мог дожидаться, он был вне себя, подавлен подвигом, который предстояло ему совершить, и он стал обходить избы и будить народ чуть ли не в полночь, когда было еще темно-темно. Результатом этого было то, что люди, поглядев на часы, опять ложились спать, и многие проспали и опоздали на сборный пункт. На дороге собралось, быть может, человек десять.

— Мы идем навстречу нашей собственной гибели, — говорили они, — мы можем умереть, наевшись этой нечистой еды.

Это заставило их призадуматься, они стали колебаться, и кто-то вспомнил даже место из священного писания о том, что можно есть и пить во вред и осуждение себе. Но тогда

этот черт Кристофер, тот самый, что в кухне у Каролуса пробовал получить двойную порцию, отпустил сравнительно веское ругательство и заявил, что ведь это же глупо — ломать дурака тут, посреди дороги! Разве они не ели продуктов от Эзры раньше — и все-таки остались живы? А что ж это была за еда, как не от Эзры, которую распределяла между ними Ане-Мария?

— Правда, правда!

И всем десятерым ужасно захотелось поесть сатанинской пищи, и они пошли дальше, прихватив с собой на всякий случай лопаты и топоры.

Когда они подошли ко двору, Эзра, маленький и плотный, словно вырос перед ними из земли.

— Это сам леший,— сказали они, смутно различая его фигуру на снегу.

— Куда вы? — спросил он.

— Сюда,— отвечали они и приступили к двери погребца.

— Смотрите, он купил себе новенький замок, прежде его здесь не было!

— Не взламывайте двери! — предупредил Эзра.— За это вы попадете в тюрьму.

Отдельный голос. Мы хотим только поглядеть, что у тебя в погребе.

Эзра. А ровно ничего нет, кроме нескольких картошек. Я донесу на вас сегодня же, предупреждаю вас!

Взломав двери, они зажгли спички и осветили. Они невольно смутились: погреб был большой, но совершенно пустой, немного картофеля лежало в одном углу, совсем немного. Теодор засунул себе несколько штук в карман.

— Теперь пойдём в кладовую! — сказали они.

— Я донесу на каждого из вас в отдельности! — закричал Эзра, весь дрожа.— Я знаю вас всех, и ты, Теодор, не будешь больше возить почву!

— Ну и наплевать! — сказал Теодор; он был в отчаянии и на все махнул рукой.

— Мы ведем собачью жизнь,— сказал кто-то другой почти жалобно, хотя старался быть суровым.— Если ты зарыл картошку где-нибудь в другом месте, Эзра, то помоги нам и дай каждому по две картофелины, несколько штук, да прибавь еще хоть чуточку мяса.

Эзра. Вы видели весь мой картофель в погребе, а больше у меня нет.

— Пойдемте в кладовую,— сказал Теодор.

Маленький, плотный Эзра очутился вдруг перед кладовой с поднятым топором в руке, и в предрассветной тишине четко раздался его крик:

— Первому, кто приблизится к двери, я раскрою череп!

Молчание. Они стали такими тупыми, что почти не понимали, как это могут им не позволить взломать дверь и грабить.

— Да он никак с топором? — говорили они.

Из дому вышла напуганная Хозея; голос ее дрожал, она едва могла говорить, но все-таки ей удалось произнести, что у нее есть для них немного молока.

— Вот видите, тут есть и молоко и еда! — говорили они.

Она проходит сзади Эзры и раскрывает дверь кладовой.

— Войдите и поглядите! — сказала она. — Здесь почти не осталось ничего съестного, только немного для детей.

— Я отвез всю свою пищу вам, зверям, — сказал Эзра. — Лучше бы я отвез ее в море.

— Не говори так, Эзра, — произнес один из толпы; он был из Флатена. — Это во всяком случае спасло меня и мою семью в те дни. Господь сурово испытывает нас. Дома у меня голодные дети, а сам я скоро совсем рехнусь. Я никогда раньше не был грабителем.

— Ты предлагала нам молока, Хозея? — перебивает его Теодор.

Эзра. Да, конечно, нехорошо, если ты не будешь первый, Теодор! Только вот у тебя одна картошина вывалилась, — у тебя худой карман.

Теодор чрезвычайно удивлен:

— Картошина? Если кто-нибудь из вас сунул мне ее в карман насмех, то я покажу вам!

Кристофер рассердился и отвечает:

— Как раз теперь время шутить!

Т е о д о р. Во всяком случае это не моя картошина.

— Так, значит, моя, — говорит Эзра и поднимает ее.

— Я хочу, чтобы вы вошли в кладовую и сами убедились, — взволнованно настаивает Хозея. — Зажгите спички!

Эзре пришлось покориться, но он ворчал, как собака, и казалось, вот-вот начнет кусаться. Он отлично знал их всех, это прямо бессовестные скоты, он сегодня же донесет на них. И как это можно вламываться в чужие владения, разрушать дома и грабить! Зачем застроили они всю годную землю городом? Город не пища, в городе можно только жить или умереть тем, кто кормится за счет других. Теперь они могут жить или умереть, пожалуйста, как им угодно.



Они слышали голос Эзры и прежде, и мнение оратора было им хорошо известно. Он был прав: зачем они выстроили город на своих лугах и полях? Но вот теперь, когда обрушился на них гнев божий за их преступление, стоят они здесь в ужасно глупом положении и не знают, как им быть. Они ни слова не могли сказать в ответ Эзре, а слушать его им было так утомительно и скучно. Они отвернулись от него и обратились к Хозее; она требовала, чтобы они заглянули в ее кладовую, и они послушались, зажгли спички и осмотрели все, что там было. И на этот раз им стало стыдно: кладовая была самая нищенская, — несколько горстей муки да обглоданная баранья кость, несколько штук селедок на дне бочонка, да на столе миска с молоком. Хлеба не было, ни одной лепешки плоского хлеба. А во дворе были маленькие дети; чем же они питались?

— Вот,— сказала Хозея и подала ковшик,— выпейте молока!

Теодор схватил ковш и стал пить, он передал ковш другому, и другой тоже пил.

Но человек из Флатена, который, может быть, особенно нуждался в подкреплении, попросил, чтобы ему налили его порцию в бутылку. Когда бутылку наполнили, он схватил вдруг руку Хозея, бессильный вымолвить слово от душивших его слез, и вышел из кладовой. Он отделился от всех остальных и побежал: он спешил домой.

И вот они опять очутились на дороге с лопатами и топорами в руках. Становилось уже совсем светло, было около шести часов.

Их поход на Новоселок окончился ничем, или почти что ничем — каплей молока, выпитой тут же, на месте. Они глубоко пали духом от истощения и уныния. Эзра обещал им на прощанье самую суровую расправу.

— И думать не смейте, что ваше преступление забудется, и не воображайте этого!

Они не разговаривали; девять человек шли друг за другом по снегу и все молчали, но у каждого, верно, проносились свои мысли в тупой голове: «Кто же придумал это, кто был зачинщиком? Не я, ни в коем случае не я, куда мне! Какой я разбойник и убийца, я и мухи не обижу!» Девять человек шли гуськом, и никто из них не сделал ничего плохого, а только следовал за остальными, они сваливали вину друг на друга, они были вовсе уж не так преступны, они долго сопротивлялись, но...

У места встречи, откуда они вышли часа два тому назад, стояло теперь несколько человек запоздавших, четверо не-

счастливых, проспавших назначенный час. Да, конечно, они пришли слишком поздно, но они хотели только узнать, что удалось достать остальным. Человек из Флатена только что пробежал мимо них и так плакал, что ничего не мог сказать от слез. Что они с ним сделали?

— Разве сейчас четыре часа? — холодно спросил их Теодор.

— Уж ты бы лучше молчал, Теодор, — сказали они. — Урод ты этакий, ты пришел и разбудил нас в полночь!

Нет, им не было никакого дела до Теодора, и они не хотели совсем ему отвечать.

— Ты даже Родерика не сумел уговорить, своего родного сына. Он сидит дома.

Г о л о с и з т о л п ы. Было бы, пожалуй, лучше, если бы мы все оставались дома!

Это говорил Николай, известный своей трусостью, он даже верил в приметы и в привидения.

Но те четверо, которые еще ничего не испытали, были пока бодры. Услыхав о результатах экспедиции, они говорили:

— Выбили дверь в погреб и сломали замок! Не стоит и говорить о таких пустяках. То, что не удалось в одном месте, может отлично удалиться в другом, нужно попытаться. Может быть, это не совсем законно, но кто станет обращать внимание на закон, когда такая отчаянная нужда!

Они долго рассуждали и совещались, стояли и переминались с ноги на ногу, плевались, обдумывали и высказывали свое мнение. Четверо запоздавших были особенно энергичны; им, верно, хотелось загладить, что они проспали. Было уже семь часов, на небе и над землей разливался дневной свет. Они снова тронулись в путь.

Дойдя до лавки, они остановились. На дворе было довольнолюдно. Иоаким стоял и разговаривал с владельцем невода — Габриэльсеном; три женщины стояли тесной кучкой, посинев от холода и пряча под передниками руки; директор банка Ролансен ходил не спеша взад и вперед и казался озабоченным. А в дверях горницы стоял Эдварт, большой и грузный, и смотрел на собравшихся; рядом с ним изредка появлялась Паулина и снова исчезала внутри дома.

Иоаким сделал вид, что он крайне изумлен приходом стольких людей, и сказал, обращаясь к владельцу невода Габриэльсену:

— В чем дело? Двое, шесть и четыре будет десять... Тридцать человек, удивительно!

Люди поклонились.

— Да вас тут целый отряд, — дружелюбно сказал Иоаким. Никто не ответил. Тут подоспел Теодор:

— Мы были в Новоселке и искали там съестного.

— Ну что ж, нашли?

— Нет. Но каждому из нас дали немного молока.

Из дверей послышался резкий голос Паулины:

— Так вы были в Новоселке и искали съестного? А теперь хотите поискать здесь? Только здесь вы ничего не найдете.

И о а к и м. А ты тоже тут, Николай?

Николай отвечал, как выученный урок: он ведет собачью жизнь, он не знает, что с ним будет дальше, никогда раньше он не был грабителем. И вот он пошел со всеми в Новоселок, чтобы поглядеть, не найдется ли там две-три картошины или немного сушеной рыбы. Он не видел, кто из парней взломал дверь погреба, никто не безобразничал, не кричал, они не разбудили детей, не лазили в хлев и не взяли ни одной скотины.

— Что же сказал Эзра? — спросил Иоаким.

— А что он мог сказать, как не настаивать на своем праве? Меня это ничуть не удивляет. Мы думали, что у него полным-полно снеди от нечистой силы, но, оказывается, что это не так: мы, грешные люди, остались в дураках. Что нам делать, Иоаким?

Иоаким-староста качает головой и отвечает:

— Да, плохо быть поленцем теперь!

— Ах, господи! Сил нет терпеть дольше, мы гложем щепки, мы забыли уж, какой вкус у еды. Остается только лечь в могилу.

Дружелюбный и вполне естественный разговор, с обеих сторон ни одного грубого слова.

Стоя в дверях горницы, Паулина спросила:

— Ты тоже был в Новоселке, Теодор?

Теодор отступил немного: Паулина ведь в некотором роде его начальство.

— Да, я тоже забегал, — говорит он, — но ты видишь, у меня нет ни лопаты, ни топора.

— Да и зачем почтарю лопата или топор? Ему нужно только быть честным и уважаемым человеком, вроде тебя.

— Что тебе надо от меня, Паулина? — вскрикивает вдруг истерическим голосом голодный Теодор. — Если ты хочешь отнять развоз почты и мой хлеб насущный, отнимай, — наплевать мне на все!

Но тут один из мужиков пробирается вперед и объявляет, что он более не намерен слушать бабью болтовню: не за тем

пришел он сюда. И с этими словами он подходит к двери лавки, сует под нее лопату и начинает ломать, еще раз сует и опять ломает. Крепкая дверь, чертовски ловко обшита железом, здоровенная дверь, прочные железные петли, совсем новые, доски в два вершка толщины.

— Давайте сюда топор! — кричит парень.

Удары и стук разносятся по всему двору. Паулина хватается Эдварта за руку и хочет выдвинуть его вперед; он как будто обдумывает что-то и осматривается кругом.

— Иоаким! — кричит она.

Но Иоаким не отвечает. Иоаким, чья вспыльчивость была всем хорошо известна, на этот раз медлит; он, как и старший брат, стоит тихо, он бледен, но улыбается.

— К чему весь этот труд, Кристофер? — спрашивает он спокойно. — Дверь ведь открыта.

— Разве открыта? — в свою очередь спрашивает Кристофер; пробует ручку двери: дверь отворяется.

— Она была открыта, дверь была открыта! — раздается в толпе.

Кристофер останавливается на мгновение, чтобы прийти в себя. При обычных условиях, конечно, ему не удалось бы избежать всеобщего смеха, но сейчас в толпе не осталось ни капли веселья: момент был слишком тяжел; один лишь Иоаким улыбался побелевшими губами. Кристофер распахивает дверь настежь; он ожидал, быть может, что вся толпа хлынет внутрь разом, но так как этого не случилось, то надо же было кому-нибудь войти первым, и он это сделал сам. Но, войдя внутрь, он тотчас же остановился у открытой двери, на виду у всех.

Теодор не мог удержаться; он тоже вошел в лавку, заявив, вместо извинения, что он не тронет ни одной вещи. Вслед за Теодором сунул нос и третий и сказал:

— Я хочу только посмотреть, что вы двое тут собираетесь делать.

Но тут уже вся лавка наполнилась народом.

— Вот явились покупатели за твоими товарами, Эдварт, — сказала Паулина.

— За моими товарами? У меня нет никаких товаров, — отвечал старший брат.

— Если бы я только могла понять, каким образом дверь оказалась открытой. Я заперла ее.

И о а к и м. А я ее отпер.

— Так это ты сделал? Хорош староста, нечего сказать! Если б я была мужчиной, я бы сумела выгнать их отсюда.

Эдварт был мужчина, но он хладнокровно отнесся к происшествию.

— Все равно они не найдут ничего съестного,— сказал он.

— Съестного? Какое там съестное!

Иоаким кричит:

— Николай, ты последний. Что же ты не входишь?

— Незачем,— отвечает Николай,— раз вы говорите, что там нет ничего съестного.

— В таком случае что же ты не идешь домой? — сердито спрашивает Паулина.

Н и к о л а й. Да, отчего я не иду домой? Но это не так-то просто. Они смотрят на меня, когда я вхожу. Они это делают каждый раз. Смотрят, нет ли у меня картошки или еще чего-нибудь в кармане. Так и глядят на меня. Нет ли у тебя двух-трех картошин, Иоаким?

— Пожалуй, найдется.

И оба мужчины идут к погребу. Паулина кричит им вслед:

— Да не забудьте, что в доме есть больной: его надо кормить!

В одном углу погреба было немного картофеля, неполный четверик, каких-нибудь ведра два. Иоакиму пришлось, как и всем, поделиться с неимущими.

— Да благословит тебя бог! — бормочет Николай и набивает себе карманы.

Потом Иоаким показывает ему на кладовую.

— Там висит кусок баранины,— говорит он.— Дверь открыта. Нет, не тут. Обойди кругом дровяного сарая, не то Паулина увидит тебя.

— Да благословит тебя бог! — бормочет ему Николай. Три женщины по-прежнему стоят и мерзнут на снегу. Иоаким подходит к ним и спрашивает, чего они здесь стоят.

— А мы и сами не знаем, чего стоим,— отвечают они.

Иоаким говорит, что лучше бы им вернуться домой, к своим детям.

— Мы ждем наших мужей,— отвечают они.

Лавку продолжали обшаривать. В дверях показывается человек, он держит в руках лакричную палочку. Это Кристофер.

— Вот, Паулина, я беру эту палочку при тебе,— говорит он.— Я не хочу красть.

— А что это с твоим носом? — спрашивает Паулина.

— Я не знаю, чтобы было что-нибудь особенное с моим носом.

— Он у тебя здорово вздулся. Говорят, тебе порядком досталось в последний раз, когда ты воровал овец.

— Это чистейшая ложь! — воскликнул Кристофер. — Би-ли вовсе не меня.

— Но как ты можешь заниматься воровством, раз ты покался в грехах?

— Да ведь это было еще до моего обращения. Это было давным-давно.

— А разве это было не на прошлой неделе?

— Ну и что ж? Наплевать мне на твою болтовню! — грубо отвечает Кристофер и направляется к трем женщинам. — Вот вам, — говорит он и делит между ними лакричную палочку.

Некоторые выходят из лавки, покончив с осмотром. Добыча была крайне жалкая, и само выступление глупо: не грабеж и насилие, а какая-то детская проделка. Никто не срывал полок со стен и не бил стекло. Люди выдвигали из прилавка ящики, но не оставляли их открытыми, а задвигали обратно; эти мужики совсем размякли. Один вышел, жуя кусочек корицы, который он нашел в одном из ящиков, у другого в руках был перец. Теодор и еще двое каких-то вышли с новыми трубками во рту, а один человек шел и кусал стеариновую свечу.

— А ты куришь холодную трубку, Теодор, — насмешливо говорит Паулина.

— Да, мы не нашли табаку.

— Понятно, раз я отдала вам табак на рождество, весь до последней крошки.

— А не будет ли у тебя капельки молока, Паулина? — не стесняясь, спрашивает Теодор.

— Как же, есть! — отвечает она. — Можешь сказать Рагне, чтобы она пришла за ним.

Т е о д о р. Я отнесу ей сам.

— Нет, ты выпьешь его по дороге.

— Да, но Рагна лежит.

— Она больна?

— Да, она совсем плоха. Она, кажется, надолго слегла.

— Тогда я пошлю ей молока, — сказала Паулина. — Не правда ли, Эдварт, ты охотно отнесешь ей небольшой жбанчик?

— Ну, нет! — закричал Теодор, неожиданно разгорячась. — Нашла кого послать к женщине, лежащей в постели!

Никто не засмеялся. Эдварт, тот даже не улыбнулся.

— Так, значит, даже капли молока не добьешься от этих людей! — раздражается вдруг Кристофер. — А вы, бабы, чего глядите? Отчего не пойдете в хлев и не подоите коров?

П а у л и н а. Коровы уже подоены.

— Вы, конечно, найдете в хлеву какое-нибудь ведро или поддоник,— продолжает Кристофер, словно отдавая приказания.

Когда три женщины зашевелились и как будто стали совещаться, Паулина пришла в ярость и закричала:

— Только посмейте! Я доила коров утром, в семь часов, а вы хотите беспокоить их опять!

Одна из женщин спрашивает:

— В таком случае, дорогая Паулина, ты не откажешься дать нашим детям капельку утреннего молока?

— Нет,— отвечает Паулина,— не откажусь. Сходите домой за кринками!

— Сходите да сходите! — вмешивается Кристофер. Он говорит нелепость, но ему кажется, что у него есть какие-то основания для нее.— Сходите да сходите! Словно мы собаки у дверей нашего старосты.

Паулина. Ты болтаешь, как дурак!

— Да, так ты думаешь? У тебя в лавке под потолком висят совершенно новенькие жестяные жбаны всевозможных величин; на что они тебе теперь? Разве ты не знаешь, что сейчас голод и что мы умираем?

Эдварт зашевелился, он не стоял уже больше в дверях избы, он сходит с крыльца и направляется к Кристоферу. В этом нет ничего странного, или особенного, но все, по-видимому, обратили на это внимание.

Вмешивается Иоаким, он шепчет что-то на ухо старшему брату, а потом громко и примирительно говорит:

— Налей им молока в бутылки, Паулина! Ведь у нас много пустых бутылок.

— Да, дайте нам молока в бутылки,— раздается в ответ со стороны женщин.

Старшего брата не легко остановить, если он пришел в движение, но сейчас он замедлил ход. Кристофер отступил на несколько шагов от него и даже слегка улыбнулся.

— Я уж знал, что как-нибудь да устроится,— говорит он и кивает головой. Ведь нам и без того трудно, Эдварт,— продолжает он вкрадчиво,— мы ходим и ходим, а скоро и на ногах не будем держаться. Вот какие наши дела! Но Иоаким говорит сущую правду: нет посуды более удобной для молока, чем бутылка, потому что жезь всегда дает привкус. Я даже и сам не понимаю, как это мне пришло в голову сказать о жестяных жбанах.

Порыв Эдварта мало-помалу перешел в смущение. И зачем он прошел этот длинный путь от дверей? Что подумали о нем присутствующие? Он отвечает Кристоферу:

— Вот как раз по этому поводу я и подошел к тебе и хочу спросить,— неудобно было кричать об этом с крыльца. Я как раз хотел спросить тебя, не лучше ли взять бутылки?

И их разговор окончился.

Кристофер снова обрел свое мужество и сказал:

— А любопытно бы знать, дадут бабам по полной бутылке, или же они пойдут домой только с половинкой? Паулине ведь нельзя доверять.

Эдварт, который хотел было уйти, круто повернулся к нему:

— А разве Паулина должна тебе сколько-нибудь молока?

Кристофер неохотно пробормотал:

— Я даже не желаю отвечать на это!

Эдварт подошел к нему вплотную; его опять обуял гнев, лицо побледнело, губы дрожали, он сказал:

— Я спрашиваю тебя, должна ли Паулина тебе сколько-нибудь молока?

— Нет,— отвечал Кристофер и опять потерял всякое мужество.

Но Кристоферу тяжело было отступать: вокруг стояло столько народа, и все слышали его слова. Да у Кристофера и не было такой привычки — сдаваться по первому слову; это был отчаянный малый, много претерпевший на своем веку. Теперь он был уничтожен, он терпел лишения более долгое время, чем Эдварт, который в сущности еще не голодал. Кристофер не был больше героем.

— Нет, Паулина не должна мне никакого молока, ни в коем случае,— сказал он.— Мне и в голову не приходило говорить что-нибудь подобное. Тебе нечего было и спрашивать.

— Нет, да что же это? — закричали вдруг в толпе вокруг них, и взоры всех устремились на кофейню.— Да кто же это идет? Да ведь это же...

Это казалось настоящим чудом. А между тем это не было ни землетрясение, ни сошествие святого духа,— это появился человек, так сказать, с порога могилы — Август.

Все заинтересовались им и окружили его. Эдварт хотел сейчас же вернуть его обратно, но он сопротивлялся, отталкивал его, спрашивал, что происходит на дворе, что за стук и крики были слышны утром, зачем все эти люди пришли сюда? Ему вкратце сообщили, в чем дело. Эдварт опять хотел водворить его в комнату и в постель, но он снова стал сопротивляться, растолкал толпу и взосел на крыльцо, чтобы не стоять на снегу.



— Август! — говорили друг другу люди.— В самом деле, Август! Но до чего он худ, и как он оброс бородой!

Он догадался надеть на себя несколько пар штанов и чулок и шерстяную куртку, которую он хотел отдать, прихватил даже трость, которую тоже хотел подарить, и поверх всего этого завернулся в одеяло, концы которого свисали до самой земли. Странная фигура, еще совсем недавно добыча смерти, а теперь снова Август. Август переодетый, но всеми признанный; конечно, это был Август, и благодарение богу за это,— так весело и отменно видеть его.

— Может быть, он в бреду? — спросил Иоаким других.

— Нет,— сказал Август.

Он был страшно худ и слаб, но вынослив; он ни разу не сдавался смерти во время своей болезни, а теперь быстро двигался на пути к выздоровлению. Ну и ловкач же этот Август!

— Нет,— сказал Август,— я вовсе не в бреду, со мной нечто другое!

И в словах этих заключался, вероятно, глубокий смысл, потому что после них он закрыл глаза и задумался.

— Как бы то ни было,— сказал Эдварт,— но только ты сейчас же вернешься к себе!

— Подожди немного, чуточку! Когда человек встает с одра болезни и употребляет целое утро и все свои силы, чтобы одеться одному,— когда ты, Эдварт, все время не приходил...

— Если бы я знал это, я связал бы тебя!

— Хорошо, что ты этого не сделал! Хорошо, что мне удалось выйти к вам!

И в самом деле, Август возвращался в свое нормальное состояние, к лжи и деятельности, к остроумным выдумкам и отчаянным несуразностям. Может быть, лишь простое любопытство заставило его покинуть постель; глухие удары, которые он слышал, когда Кристофер выламывал дверь лавки, взволновали и заинтересовали его. Когда он поглядел вниз на площадку двора и увидел, что двор наполнен дружественно к нему настроенными и любующимися им согражданами, он вдохновился и начал фантазировать; он намекнул, что кто-то приказал ему встать с постели, что он получил таинственное веление свыше. Больной, в плаще из одеяла с многочисленными складками, говорил в соответствующем стиле. Раз ему было веление встать с кровати, так он старался извлечь из этого возможно больше, хотя на самом деле веление это пришло ему в голову в то самое мгновение, как он поднимался на

крыльцо. Это нашло на него, как порыв ветра. У Августа не было привычки создавать планы, и его поступки и истории возникали мгновенно; он был находчив и изобретателен, в нем не было никакого чувства ответственности, он не знал стыда, но был самоуверен и ловок. Как приятно было хоть на одну минуту забыть болезнь и смерть и опять, как в прежние дни, проповедовать, обращаясь к целой толпе поленцев! Где был равный ему по уменью овладевать умами, направлять толпы и находить выходы? Хорошо, что он вышел к ним!

Вот стояла здесь целая кучка друзей и знакомых и не знала, как ей быть. Судя по объяснению, которое было ему дано, дело дошло до насилия и крайностей из-за отсутствия продовольствия. Подумайте только, отсутствие продовольствия в цивилизованной стране и в таком крупном центре, как Полен! Он, к сожалению, был болен и лишен возможности вмешаться вовремя, чтобы устранить нужду.

— А где же Паулина? — спросил он, оглядываясь по сторонам. — Ах, так! Она раздает молоко? Это очень хорошо и похвально с ее стороны. Но только в этом мало толку: молоко выпьешь — и больше нет молока.

— Что правда, то правда, — соглашался народ.

— Ну, а ты, Август, знаешь лучший выход? — спросил Иоаким несколько свысока. Он не привык относиться к Августу серьезно.

Август отвечал:

— Не мне давать старосте советы, но, по твоему собственному разумению, разве дело идет сейчас как следует? Я не знаю, случалось ли когда-нибудь в Полене прежде, чтобы порядочные люди, крещенные и конфирмованные, стали насильниками и разбойниками из-за недостатка пищи? А ты разве знаешь, Иоаким?

— Ну, а как же помочь?

— Ты можешь помочь, — сказал Август.

— Я?

А в г у с т. Мы должны помогать друг другу? — Он спросил, обращаясь к слушателям: — Не отнесет ли кто-нибудь из вас мою телеграмму?

Молчание.

— Далеко идти, — говорили они. — Мы не можем, у нас сил нет.

Немного погодя Теодор предложил свои услуги. Он, вероятно, и так собирался сходить к дочери во Внутренний приход и поразведать насчет обеда.

— Я дам тебе запечатанный конверт,— сказал Август,— чтобы ты не мог прочесть телеграмму.

— Я вовсе и не собираюсь читать ее,— обиженно отвечал Теодор.

Август обратился к Иоакиму и сказал ему многозначительно:

— Выходи в море с неводом!

Иоаким разинул рот, все чрезвычайно удивились. Да, значит, им нужно выйти в море с неводом. Но зачем же? Разве в море есть сейчас сельдь? Люди думали и качали головой, они начали обсуждать вопрос между собой.

Иоаким спросил опять несколько свысока:

— Разве есть сельдь у берегов?

— Да,— уверенно и определенно ответил Август.

— Ты шутишь над нами, вижу я.

Август торжественно:

— Когда человек так долго пробыл, как я, в стране смерти и вечности, то он не станет шутить. Потому что там многое открылось ему. Ты не веришь?

Иоаким не верил ему, он стоял на реальной почве:

— Выйти с неводом? Ведь фиорд покрыт еще льдом.

А в г у с т. Ну, этот лед, что лежит на фиорде, не лед, а какая-то жидель. У тебя самого хватит сил стать на штевень и расталкивать лед веслом по мере того, как лодка будет продвигаться вперед.

Иоаким задумался над предложением Августа. Так, как было сейчас, долго продолжаться не могло, необходимо было изменить направление умов и унять волнение. Ну, разве это порядок, когда соседи приходили и рылись в лавке, шли в хлев и доили его коров? С другой стороны...

— Не знаю, стоит ли,— сказал он.— Но что вы думаете, земляки?

— Что мы думаем,— говорили они.— Мы прямо погибший народ, мы ничего не знаем.

— Вот именно! — вставил Август.— Вы — все равно что вороны на поле. Вы не знаете, что много людей живет на свете, вы думаете, что вы одни на земле. Ступайте и достаньте невод, слышите!

Перед Августом снова была цель, его слова звучали властно. Но действие было несколько ослаблено появлением Паулины, вышедшей из кладовой. Лицо у нее было отнюдь не ласковое: ей пришлось отдать свое утреннее молоко, чтобы избавиться наконец от трех женщин. Но ее кислое выражение тотчас сменилось глубоким удивлением, когда взгляд ее упал на Августа в одежде пророка:

— Что такое? Неужели Август?

— Да, он хочет послать нас с неводом в море,— отвечает Иоаким.

— Почему же он хочет? Разве появилась сельдь?

— Он говорит!

— Вот как! Но все же, Эдварт, уведи поскорее Августа отсюда и не давай ему стоять на холоде. Ну, какой ты чудак, Август! Ступай и ложись!

— Подожди немного,— опять говорит Август.— Я уйду, когда наступит мой час. Ну, как же, Иоаким, сам-то ты решил выйти в море?

И о а к и м. Так, как же вы думаете, люди добрые? Где же Кристофер и все остальные? Они ушли?

— Как будто бы,— отвечали, оглядываясь, люди.

— Если хорошенько все обдумать и обсудить,— сказал Иоаким,— то выходить сейчас с неводом — дело нелегкое. Пищи нет, охоты идти нет, люди совсем обессилели, приходится брать гораздо большую команду. Я не решаюсь.

Вдруг показался директор банка Ролансен, он почти бежал. Все время он держался в стороне, теперь же он спешит, он бледен и взволнован.

— Они вывели корову из хлева,— докладывает он.

— Что такое? Кто вывел?

— Они взяли корову и увели ее. Я сам видел!

Паулина бежит к хлеву, исчезает на мгновение, возвращается обратно, кричит и всплескивает руками:

— Быка! Они увели быка!

— Не может быть!

Иоаким собрался было бежать. Эдварт удерживает его и хочет идти сам.

— Позволь мне,— говорит он.— Я сейчас...

— Подождите минуту! — кричит Август, собрав все свои силы.

— Вон они! — говорит директор банка Ролансен и показывает.

П а у л и н а. Да, вон они! И Кристофер идет впереди. Разве вы не видите, что они ведут быка? Чего же вы стоите?

— Подождите минуту! — опять кричит Август.— Молчи ты, Паулина! Пускай они возьмут быка. Я заплачу за него.

— То есть как? — спрашивает Иоаким.— Ты дашь им увести быка из моего собственного хлева?

А в г у с т. Я заплачу за него.

— Заплачу да заплачу! А Кристофер будет делать, что ему угодно?

— Ты заплатишь! — говорит и Паулина. — Но нас еще надо спросить, хотим ли мы продавать быка.

А в г у с т. Но еще больше имеет значения — сохранить жизнь, Паулина!

— Вот до чего мы дожили в Полене! — восклицает Иоаким.

— Ты можешь изменить положение, если выйдешь в море с неводом, — говорит Август. — Я уверен, ты это сделаешь.

И о а к и м. Попытаюсь.

— Когда? Сейчас?

— Сегодня же. Идемте со мной, ребята!

## ГЛАВА XVIII

Эдварт не вышел в море с неводом вместе с остальными. Он был самым сильным человеком в артели, но Иоаким потребовал, чтобы он остался дома и стерег двор и хлев. Никто не мог знать, на какие безумства был способен народ.

Августу пришлось поплатиться за свою неосторожность новым припадком болезни. Его выдумка отправить людей с неводом и усилия, направленные на то, чтобы преодолеть сопротивление толпы, ничего ему не стоили: это было легкой работой для его мозга. Даже составить срочную телеграмму от имени старосты Иоакима Андреасена и отправить ее с Теодором не составило для него труда. Нет, но зато соприкосновение с холодом и сырым воздухом подействовало на него.

— Ведь я же говорила! — ворчала Паулина.

— Ты говорила, и он говорил, и все говорили... молчала бы ты лучше, Паулина! — ворчал в свою очередь Август.

Ему было горько и досадно на это позорное возвращение болезни: она отрывала его от различных неотложных дел; опять поднимается этот кашель, и наступят бессонные ночи, и, что хуже всего, опять придется выпрашивать у Эдварта эти капли, на которые тот был так скуп.

— Уж молчала бы ты лучше, Паулина! Ты подумай только, что было бы, если бы я не вышел к ним? Одна скотина за другой исчезла бы из твоего хлева.

Паулина фыркнула:

— У нас и без тебя есть ленсманы и другие власти в стране!

— Ну, пусть так, — сказал Август, которого ее упрямство раздражало и утомляло. — Паулина, теперь давай мне как можно чаще кувшин горячей воды, прямо кипятку. Я буду пить его.

Он был настойчив и вынослив, он собирался пить кипяток и потеть, чтобы вместе с потом изгнать из себя простуду.

Он опять занялся проектом устройства ярмарки в Полене и обсуждал его с Эдвартом. Он много ждал от тира и собирался закупить целую партию монте-кристо и револьверов для продажи и выдачи во временное пользование, чтобы молодежь могла выучиться владеть огнестрельным оружием.

— Если бы я в свое время не выучился стрелять, то много раз был бы убит на месте,— говорил он.

Эдварт кивает головой.

— Так что в этом деле я кое-что смыслю. А с тиром мы устроимся так: мы будем брать крону за билет и кроме того за патроны. Пусть платят за науку, ведь нам всем приходилось платить. Потом мы с тобой построим отличную карусель,— я объясню тебе ее устройство.

Эдварт кивал головой.

— Давай обсудим, что у вас будет еще. Что ты скажешь о канатных плясунах?

— Ну что ж,— сказал Эдварт.

— Ведь у Паулины есть и тонкий и толстый канат. Ужасная досада, что я сам не выучился танцевать на канате, хотя чему только на свете я не учился. Но я научу приемышей Каролуса, они как раз подходящего возраста.

— А ты думаешь, их тебе дадут? — спросил Эдварт.

— А то нет! Почему же?

— Ане-Мария не согласится. Ведь она бережет их, как зеницу ока.

— Я не причиню им вреда.

— Но они могут упасть.

— Не упадут. Мы начнем у самой земли. К тому же ведь я достал ей мальчиков, и им будет только полезно выучиться чему-нибудь. А потом хорошо бы ввести у нас такую замечательную вещь, как бокс,— знаешь, как в Англии и Америке? Но, пожалуй, нечего и думать об этом у нас теперь, мы еще не дожили до такого прогресса.

Август не сомневался, что его ярмарка во всяком случае доставит много развлечений молодежи. Он вспомнил еще много вещей, как, например, лотерею. Ему недоставало только обезьяны. О торговле, о товарах, которые должны были продаваться на ярмарке, он молчал.

Все время он лежал и считал часы, когда наконец придет известие от вышедшей в море артели. Куда-то она направилась? Вдоль берега на запад, или прямо на север к Птичьему

острову? Он усердно потел, проделывая свое лечение кипятком, становился совершенно мокрым и слабым, терял аппетит и еще больше худел, но продолжал работать головой.

— Теперь уж совсем скоро мы услышим что-нибудь о рыбаках, — говорил он Эдварту. — У Иоакима легкая рука, и я очень рад, что мне удалось отправить его в море. Даже если он загородит не больше чем две-три тысячи мер сельдей, или, не преувеличивая, скажем, пятьсот или две-три сотни мер сельдей, и то придется изрядный пай на каждого человека. Сколько их?

Эдварт не знал.

— А которого числа они отплыли?

И этого Эдварт не знал, он должен был припомнить.

— Ты никогда ничего не знаешь!

Эдварт сидел неподвижный и равнодушный, а у Августа был жар, и он раздражался на своего товарища. Он презрительно фыркнул и так выразился о нем:

— С тобой дело обстоит хуже, чем со мной, потому что в тебе нет уже никакой жизни. Но во всяком случае ты можешь мне сказать, забирался ли кто-нибудь к вам в хлев после того?

— Нет, насколько я знаю. Они, верно, все еще едят быка и живут хорошо.

— Внутри тебя мрак, Эдварт. Почему в тебе нет того света, что во мне? Сейчас придет сюда сельдь!

— А ты почему это знаешь?

Да, это была, очевидно, тайна Августа; он отвечает только, что он знает это, да и все тут. Уж не оттого ли он так часто спрашивал о направлении ветра и о шторме в Атлантическом океане, и может быть, на этом шатком основании и построил свою уверенность? Это была именно уверенность, он ждал чуда и притом в самом скором времени. Для него это не было случайностью, чем-то, что могло быть, а могло и не быть, чем-то неопределенным, одним случаем из сотни возможных. Нет, это было предрешено заранее. Ему дана была задача, и он решил ее.

— Сейчас придет сюда сельдь! — сказал он. — А теперь дай мне капель!

Эдварт ускользает, он идет в свою комнату.

А в г у с т. Да что ты, глухой, что ли? Я хотел сказать: моих капель.

— Вот в Полен входит лодка, — говорит Эдварт.

— Лодка?

— Да, в ней трое. Это четырехвесельная лодка Родерика.

— Наконец-то! — восклицает Август. — И с грузом?

— Полна-полнешенька!

— Да, наконец-то! Я и ждал ее сегодня или завтра.

Эдварт докладывает дальше:

— Кажется, что это кто-то из артели. Вот и народ спешит на берег к сараям для лодок.

— Они загородили сельдь! Что я говорил! — раздалось вдруг за спиной Эдварта.

Эдварт обернулся, на мгновение разинул рот и потом, не говоря ни слова, схватил товарища и потащил его в постель.

А в г у с т. Я только погляжу.

Эдварт, возвращаясь к своему окну:

— И не думай, пожалуйста, ты весь мокрый от пота!

— Это не твое дело! — восклицает вдруг Август в бешенстве. — Какое отношение имеешь ты к этой лодке? Ведь это я послал за сельдью людей!

Эдварт спокойно докладывает:

— Теперь у сараев стало черным-черно от женщин. Вот и Ане-Мария идет вниз со своими питомцами.

— Заткни свою глотку! — вскрикивает опять Август. — А лодка еще не пристала?

— Она пристала. Это Каролус и оба почтаря.

И действительно, оказалось, что в лодке была сельдь, и по Полену распространилось ликование и довольство. Но сельдь эта была не из невода, а поймана плавными сетями, что гораздо лучше, — нежная сетевая сельдь, отборный товар.

Нет, невод не сделал заграднения, в этом Август ошибся; это старый Каролус скупил сельдь у рыбаков и тем спас Полен. Он ходил, как всегда, с набитым бумажником и попал прихода на четыре севернее Полена, где люди питались морем и где деньги еще не потеряли ценность. Здесь он скупил у рыбаков, ловивших рыбу плавными сетями, весь их дневной улов и заплатил за это большие деньги. Старый Каролус опять занял положение, удовлетворяющее его самлюбие; он давно уже не был в таком отличном расположении духа.

Когда рыбаки стали набавлять цену, Каролус сказал:

— Дело не в цене, мне необходимо нагрузить лодку доверху! И если вы до сих пор не знали Каролуса из Полена, то вот он перед вами!

Он подавил рыбаков своею щедростью, они стали говорить ему «вы» и называть его капитаном, он казался им сказочной фигурой.

— Боже мой, до чего же он должен быть богат! — говорили они.



Положение мгновенно улучшилось, небо над Поленом прояснилось; дети, женщины и мужчины снова увидели пищу, они жевали сельдь и пили воду, питались, набирались сил и новой жизни. После того как Родерик и его отец ели и переваривали пищу в течение нескольких дней, они опять взялись за доставку почты к пароходной остановке и обратно в Полен, снова появился народ на дороге в церковь, всякий разбой прекратился. И еще одна замечательная перемена: люди подняли голову, даже начали опять улыбаться, пение псалмов у ручья прекратилось. Одна только Рагна, жена Теодора, все еще не оставила своей сосредоточенности и богобоязненности; она, по-видимому, повредила надолго. Люди качали головой, глядя на нее, и находили, что она хватает через край.

Конечно, Август был сильно разочарован, что Полен был спасен не неводным заграждением, давшим обильный улов. Что это случилось с Иоакимом, почему он до сих пор не произвел заграждения? Сельдь была в море, в этом не было никакого сомнения, он только не нашел ее. Узнав, где находится артель, Август тотчас телеграфировал, чтобы искали рыбу дальше к северу, еще дальше к северу, вдоль всего фиорда и потом в обратном направлении. Он жаловался Эдварту:

— Видишь ли, мне бы следовало отправиться с ними, но как быть, когда я болен! Как бы то ни было, а в Полен не пришла бы лодка с грузом сельди, если бы я не отправил в море артель с неводом. Ужас, сколько времени надо, чтобы выздороветь. Я, конечно, не жалуясь, — это не по-христиански, — но никогда время не шло так медленно. Дай-ка мне капель!

Несколько дней спустя случилось нечто, что Август счел за личную удачу: почтовый пароход привез хлеб. Не особенно много зерна, всего двенадцать мешков, и кроме того еще двенадцать мешков картофеля были выгружены на остановке. Когда Август получил известие, глаза его сделались совсем светло-голубыми, до глупости бледно-голубыми, от радости и волнения.

— Вот видишь, это ответ на мою телеграмму амтману, — сказал он Эдварту. — Я знал, что это поможет!

— А что ты написал? — спросил Эдварт.

— Я написал, что если и на этот раз он не ответит, то я обращаюсь к королю. И я бы не побоялся!

И вот в Полене опять была пища для всех, тут было зерно из Гульдалена, из-под самого Тотена и картофель из Хедемаркена и из деревень с берегов озера Мьезена; зерно мололи, и в муку подмешивали картофель, чтобы она так скоро не выходила. Правда, хлеб из этой смеси имел то неудобство, что

быстро плесневел, но зато он был вкусен, пока был свеж, утолял голод лучше, чем хлеб из проса, и этим давал экономию на другой еде. А другой едой была сельдь. Каролус сам обошел все избы и осведомился о наличии сельди в каждой семье, и задолго до того, как сельдь вышла, он запасся деньгами и отправился за новой партией. Это доставляло ему удовольствие.

И опять началось в Полене привольное житье.

Даже больной путешественник вокруг света стал поправляться, хотя и медленно. Никак нельзя отрицать, что возмутительно много времени ушло на то, чтобы совсем выздороветь, встать на ноги и снова управлять городом. Теперь он смиренно, со спокойным достоинством, лежал в постели день за днем; шестимесячный срок, который доктор назначил ему для своего рода домашнего ареста, заметно сократился, оставался уже совсем небольшой промежуток времени, которым он при других обстоятельствах не преминул бы пренебречь, но сейчас он лежал тихо и даже не помышлял ни о каких вылазках. Правда, его мысли становились понемногу все более вольными, но он продолжал охотно говорить на религиозные темы и сознавался, что он великий грешник; да, однажды он признался даже, что совершил несколько убийств.

Эдварт тотчас подцепил его:

— Но ведь ты же говорил, что никого не убивал?

А в г у с т. Ну, чего же здесь удивительного? Я говорил так, потому что боялся. Я не смел, я был слишком болен и на волосок от смерти. Зачем тебе было это знать? Ведь ты настолько лучше меня, ты никогда не делал ничего дурного. Я и без того рассказал тебе слишком много. Теперь другое дело, теперь среди бела дня я уже не думаю, что могу умереть, и делаюсь смелее. Впрочем, почему ты думаешь, что это так ужасно — убить кого-нибудь? Разве лучше, если убьют тебя самого?

Такие рассуждения обнаруживали, пожалуй, что ему наскучило его покаянное настроение, и невероятный страх смерти, владевший им, также начинал ослабевать, и он уже спокойно мог размышлять о загробной жизни с ее адским огнем, который в семь раз жарче здешнего.

Но он еще не чувствовал себя совсем вне опасности.

— Слышал ли ты что-нибудь о миссис Андрыус? — спросил он Эварта.

— Нет, — отвечает Эдварт.

— Мне кажется, для тебя было бы хорошо, если бы она была здесь.

— Как была бы здесь? Она ведь в Америке.

— Я не понимаю, как ты можешь обходиться без нее.

— То есть как?

— Нет, я больше ничего не скажу. Больному человеку и этого не следовало бы говорить, прости меня, господи!

Он лежит и смотрит на свои руки, он ничего не говорит, а только ласково гладит их и складывает вместе.

— Чертовски долго тянется время, пока не выздоровеешь совсем! — говорит он в двадцатый раз. — Уж не помолиться ли мне? Как ты думаешь?

— Помолиться?

— Это пришло мне в голову, когда я сейчас сложил руки. Но вряд ли это принесет какую-нибудь пользу.

— Да, вряд ли, — соглашается Эдварт.

— Нет, единственное, что стоит сделать и в чем я вижу смысл, — это обратиться к католическому священнику и получить от него прощение за все старые грехи и начать новую жизнь. В этом есть смысл. Огромную власть имеют они от бога, эти люди, уж настолько я знаю их. Так что ты ничуть не страдаешь без миссис Андриус? Удивительно, как это некоторые люди устроены! А я — совсем другое дело!

Эдварт на это ничего не говорит.

Август сердится, что он не получает ответа; его обычное легкомыслие пробудилось в нем, и он был расположен поговорить о греховных радостях жизни.

— Теперь я понимаю тебя, Эдварт! — вдруг выпалил он. — Ты больше не человек, и ты, вероятно, скоро умрешь, прости мне, что я говорю это тебе! Каким ты был прежде безумцем, а теперь ты будто овца какая или труп!

Но когда даже и этот залп слов не заставил Эдварта открыть рот, Август заявил, что он давно бы выздоровел, если бы ему было с кем поговорить. А теперь Эдварт может уйти, никто в нем не нуждается.

Но Эдварт и не подумал уйти. Он был тяжел на подъем и предан другу, он говорил о нем с Паулиной и решил быть терпеливым до конца. Ведь они знали по опыту, что больной мог вскочить с постели и выйти на мороз и ветер, еще совсем не выздоровев. К тому же Эдварту приходилось следить за сумасшедшим пациентом, чтобы он самовольно не принимал слишком крупных доз капель.

Паулина говорила:

— Подумай только, этот чудаков воображает, что может поступать, как ему вздумается!

Оказывается, Паулина тоже была почему-то заинтересована в том, чтобы обуздать и укротить Августа.

Она пошла к нему и сказала:

- Как твое здоровье? Тебе опять пришло письмо.
- Из-за границы?
- Нет, опять с цементного завода, кажется.
- Отлично, положи письмо. Мы ведь получили цемент.
- Да, вероятно, они ждут, чтобы им заплатили.
- Чтобы мы заплатили? — сказал Август и, казалось,

был обрадован. — Разорви конверт и прочти, так ли это. Да, это так. Дай мне сюда мой бумажник, Эдварт!

Он получил бумажник и принялся перебирать всевозможные бумаги и проспекты разных цветов с большими числами на них.

— Ну, чего ты стоишь и зубы скалишь? — спросил он Паулину.

— А как ты думаешь? — спросила она в свою очередь.

А в г у с т. Если бы только этот цементный завод знал толк в иностранных деньгах, то я бы послал ему любую из этих бумажек, и это было бы больше чем достаточно. Но при настоящем положении дела тебе придется заплатить за цемент, Паулина. Сколько там? Возьми и посмотри, сколько там. Так, не больше! Ну что ж, оплати счет.

Паулина не стала ломаться и фокусничать: она охотно заплатит за цемент, — сказала она. Она только обратила внимание Августа на то, что в таком случае от его акций мало что останется.

— От каких акций?

— От твоих акций, которые лежат в банке.

Он не мог не улыбнуться такой наивности и посмотрел на нее так сердечно, словно она была его невестой.

Паулина стала объяснять:

— Но ведь это же большой счет.

— Ну что ж, и цемента тоже много, — отвечал Август.

— Хорошо, — согласилась Паулина. — Но если ты заплатишь за весь этот цемент, то у тебя останется очень мало, или даже вовсе ничего не останется от твоих акций. Вот все, что я хочу сказать.

А в г у с т. Но, Паулиночка, ведь я же вложил пять тысяч крон на фабрику.

— Да, ты вложил пять тысяч крон. И они там значатся.

— Пять тысяч, честно и законно добытые от судовладельца Оттесена на фабрику рыбьей муки! — прогремел Август.

— Да, — говорит Паулина. — Но, видишь ли, Август, это вклад, а из вкладов я не плачу.

Август смотрит теперь на нее совсем другими глазами, он не понимает ее. Ее странное объяснение остается загадкой для него.

— Так, значит, ты не платишь из вкладов? — спрашивает он несколько снисходительно.

— Нет,— уверенно отвечает она.— То, что люди вложили в банк, это они получают обратно, и не потеряют при этом ни одного эре.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Август.— Никогда не слышал ничего более забавного! Так, по-твоему, лучше брать из основного капитала и растрачивать его?

— Да,— отвечала Паулина и кивнула головой.

— Ну, хорошо,— устало согласился Август.— Оплати счет из моих акций.

— Но тогда у тебя ничего не останется, Август,— говорит Паулина почти сочувственно.

Август удивился:

— А может быть, ты ошиблась в подсчете?

— Не думаю. Впрочем, ты можешь прийти сам и подсчитать еще раз.

— Ведь у меня, насколько я помню, пятьдесят акций? — спрашивает он.

П а у л и н а. У тебя больше, у тебя шестьдесят акций. Пятьдесят, которые сперва числились за братом Эдвартом, и десять, которые взял ты сам.

— Да, верно, я забыл свои собственные десять. Вот видишь, Паулиночка, все это вместе составит шесть тысяч крон. Неужели я истратил так много за такое короткое время?

— Так выходит,— говорит Паулина.— Ты ведь помнишь, что ты охотно давал деньги направо и налево. Я знаю по крайней мере трех, которым ты помог выстроить дом, а может быть, их было и больше.

— Глупости! — прерывает ее Август.

— Ты помог Родерику, Николаю и человеку из Флатена,— не знаю, как его зовут.

— Но это пустяки,— говорит Август,— несколько сот крон. Все это вместе не составит тысячи крон.

Но Паулина продолжает:

— Ты делаешь дорогие поездки на юг.

Август смеется:

— Что еще?

— Ты покупаешь быков.

— Быков? Ты начинаешь преувеличивать, Паулина! Я купил одного единственного быка! Вот если бы ты видела те сотни тысяч быков и коров, которыми я распорядился в Перу! Однажды в моем распоряжении было два миллиона бы-

ков. Это было в Австралии. Тогда я ни шага не делал пешком, а все верхом; в моем распоряжении было десять лошадей, седла — все в серебре.

— Да замолчи ты! — говорит Паулина.

— Зачем молчать? А ты говоришь мне об одном единственном быке!

— Ну, конечно, для тебя это пустяк! — насмешливо соглашается она.— Но одно к одному. И в заключение имеется еще одно, что хуже всего, вместе взятого. Знаешь, о чем я говорю?

— Нет, отвечает крайне веселый Август.— Может быть, я купил слишком много изюма в твоей лавочке?

Паулина серьезно:

— Дело в том, что ты поручился за многих несостоятельных заемщиков банка.

Август думает, морщит лоб и думает:

— Так,— говорит он.— Это вполне возможно, и я не подумал об этом. По-твоему, я должен заплатить за них?

— А ты сам как думаешь? Ведь ты отвечаешь за них.

Август задумался еще больше, стал мрачным, потом опять просветлел и говорит:

— Я плюю на всякую ответственность, Паулина!

— Смотри, как бы тебе от этого не пришлось плохо,— говорит она.

— Плохо — мне? Как бы не так!

По мере того как Август поправлялся, все труднее и труднее было удерживать его в постели: жажда деятельности не давала ему покоя ни на минуту. Он добился, что ему позволили одеваться и сидеть на стуле, хотя его комната была вся в щелях, и в ней дуло от двери и от стен. Ох схватил насморк и, отложив в сторону всякую набожность, всячески проклинал свою новую болезнь, но не переставал при этом носиться с тем или иным планом. Аптека и ярмарка занимали его теперь менее, чем фабрика. Ему захотелось узнать мнение на этот счет Эдварта и Паулины.

Эдварт не стал возражать против фабрики. Но цемент лежал на остановке, а как привезти его сюда, когда самая крупная поленская лодка находилась в море с неводом?

Для Августа и это было пустячным делом, он готов был немедленно вернуть лодку обратно домой.

Паулина возмутилась:

— Уж очень ты заважничал, Август! Ты считаешь, что можешь распоряжаться артелью и гонять ее туда-сюда. Точно рыбаки сами не могут распорядиться собой.

— И не могут,— возразил Август.— Они ушли в море с моим неводом.

— Но ведь они давным-давно купили его.

— Да. Но до сих пор не заплатили ни гроша ломаного.

Да, Паулина оказалась побежденной. Было чертовски трудно поймать этого молодчика, этого сорвиголову; как бы она его ни уличала, в последнюю минуту он всегда выскальзывал. Старший брат присутствовал при этом споре, но он стоял только и пребывал немым свидетелем ее поражения. Иоаким отсутствовал, а она сама не могла заткнуть рот этому краснобаю. А что, если ей призвать как-нибудь на помощь Эзру? О, Эзра — молодчина, необыкновенный человек, он вмиг скрутит краснобая в веревочку! Она мысленно уже представляла себе, как это будет.

Она захотела выиграть время и сказала:

— Но во всяком случае ты должен подождать с фабрикой, пока сам не встанешь как следует на ноги.

— За этим дело не станет,— отвечал он.— Но нам необходимо сделать еще очень многое, прежде чем начнем строить. Сейчас, Эдварт, ты должен разыскать Теодора и послать с ним две телеграммы: одну — о том, чтобы лодка с неводом возвращалась обратно, другую — с заказом на формовочные материалы, как мы их называем! — Он осмотрелся кругом, гордый своими техническими познаниями.— Ты все еще не веришь, Паулина, что я отлично знаю свое дело?

Паулина отвечала ему кисло, что ей вовсе и не приходилось думать, знает ли он свое дело, или нет. Пусть си и не воображает, что это ей интересно! Она только советует ему поступать осмотрительно. Разве у него есть деньги на постройку фабрики?

— Целая куча денег! — отвечал он.— Во-первых, как известно, пять тысяч в банке, а потом будет открыта подписка на фабричные акции. Банк подпишется, община подпишется, он съездит на юг и постарается заинтересовать округ, он сам возьмет большую партию акций.

— Уж молчи лучше, Август! Хорошо, конечно, иметь такую твердую уверенность, но ни один из тех, кого ты перечислил, не возьмет акций твоей фабрики.

— Слышишь, Эдварт? Даже я не возьму акций!

— Да, ты, конечно, хочешь их взять,— отвечает Паулина,— но только ты не можешь.

Но даже такой серьезный удар по голове не мог заставить его одуматься. Ничуть не бывало! Этот удар в ухо заставил его наклониться немного вбок, но он не заскрежетал от этого зубами, а сказал особенно ласково:

— Но ведь ты, кажется, сказала, что тебе вовсе и не приходилось думать о том, знаю ли я что-нибудь, или не знаю?

Она была раздражена и продолжала осыпать его ударами: она отнюдь не уверена, может ли он распорядиться пятью тысячами.

— Нет, дорогой Август, я в этом совсем не уверена. Это зависит от того, за сколько заемщиков со стороны тебе придется отвечать. Будь осмотрительнее, Август!

Хорошо, но этот удар в другое ухо заставил его только прийти в равновесие, он снова выпрямился. Его лицо просияло, было явно, что он придумал что-то, и он сказал беззаботно:

— Отлично, но тогда пусть и Иоаким-староста, и Каролус, и все остальные тоже заплатят мне за невод. И у нас опять будут деньги!

Паулина кричала:

— Ты хочешь истратить все из того, что ты имеешь, до последнего гроша, так, чтобы у тебя уже ничего больше не осталось? Да ты совсем спятил, что ли?

— Я вовсе не собираюсь брать с собой деньги в могилу, — сказал он.

— Но тебе следовало бы позаботиться о том, чтобы тебя похоронили, как христианина.

Август за последние дни заметно поправился, и в той же мере к нему вернулись его приверженность к мирскому и его дерзновенность; он плевал теперь на христианство, он сознавал свое величие и отвечал:

— Меня не зароят в землю, меня сожгут.

У Паулины даже дыхание захватило. Она слыхала, как Иоаким читал в газете о сожжении трупов и о многих других нечестивых мерзостях; она содрогнулась: ей было невыносимо думать о людях, которые так обращались со своей бессмертной душой.

— Ты этого не понимаешь, — говорит Август. — Я знаю об этом из Индии, там мы сжигаем наших покойников и не станем от этого менее блаженными, чем обитатели Полена.

— Ну разве не богомерзко и не стыдно слушать такие вещи! — обращается Паулина к старшему брату. — Точно он сам из Индии!

— Это так и есть, — упорствует Август. — Я столько же оттуда, как отсюда, я из всех мест земного шара и таким ос-



танусь. А что касается Индии, то я побывал и там, и хорошо знаю и Великого Могола и всех его принцесс, пожалуйста, не думай! У меня до сих пор стоят там, во дворце, десять, — если не все шестнадцать, — сундуков и ящиков, а ключи — у меня здесь.

— Да молчи ты, Август! — в отчаянии восклицает она. И она почти плачет от гнева и бессилия: — Ну, как может человек сидеть здесь передо мной и так бессовестно врать? Я прямо спрашиваю тебя: уж не злой ли дух, о котором мы читали, что он вошел в свиное стадо? Но я клянусь тебе, как правда то, что я стою здесь, — я буду платить каждому, кто захочет получить за свои акции. Так ты и знай! И когда я заплачу последнему человеку, то больше не будет акций, и не будет банка. Понимаешь ты это? Не будет банка! Я сделаю тебя нищим за твою дикую болтовню и за все фокусы, которые ты проделываешь над нами. А потом ступай и обращайся в кассу для бедных. Меня это не касается, но ты непременно обратишься в кассу для бедных; только я не заплачу от этого, я ничуть от этого не заплачу, и не думай.

Паулина выбежала вон. До чего она была раздражена и нелепа, она не походила на саму себя, лицо ее пылало гневом. Дверь за ней осталась открытой настежь.

## ГЛАВА XIX

---

Неожиданное счастье, да, быть может, и незаслуженное: по дороге домой артель сделала заграждение. Не особенно большое заграждение, но при данных обстоятельствах — счастливый случай, настоящая удача. Это произошло как раз, когда рыбаки огибали Птичий остров, собираясь повернуть по направлению к Полену. Сельдь оказалась сзади них, но стая чаек, кричавших и метавшихся в воздухе вниз и вверх, заставила их вернуться.

Так неожиданно пришло счастье.

Радостная весть достигла Полена уже к вечеру и вызвала оживление и веселье в избах; в последующие дни уныние стало заметно исчезать: пора испытаний проходила, и возвращались времена великого подъема. Новый улов означал сельдь и деньги! Даже Теодорова Рагна заметно посбавила свою религиозность и опять стала носить пальто, хотя стояла теплая погода и время шло к весне. Бедная Рагна, она наряжалась ведь в пальто, чтобы скрыть свои лохмотья!

Август возгордился:

— Ну, что я говорил! Разве не оказалась сельдь в море!

Он телеграфировал во все стороны и оповестил об улове; одно время он носился даже с грандиозным планом отправки сельди в чужие края, где он был хорошо известен. Когда он узнал, что улов был такой маленький, что и говорить-то о нем, в сущности, не стояло, он все же не пал духом: тем лучше, что это не бог весть какая добыча, крупный улов занял бы лодку на более долгое время и задержал бы постройку фабрики. Именно потому, что у него в голове был не один, а много планов сразу, он всегда мог, когда рушился один из них, утешаться другим, который пока еще держался.

Произошло некоторое недоразумение с прибывшими скупщиками: Иоаким отказался продавать сельдь. Иоаким был не только главой артели, но также и старостой, удача не вскружила ему голову, он хорошо помнил эту голодовку дома, эти грабительские выступления и хотел сохранить улов для своего родного прихода и города. Против этого нельзя было спорить, но скупщики, созванные телеграммами Августа, оказались в дураках.

— Тебе не следовало телеграфировать. Ты ставишь меня в затруднительное положение перед этими людьми,— сказал Иоаким.

Август взялся лично переговорить с ними.

— Пошли их ко мне! — сказал он.

Они пришли. Это были старые знакомые и акционеры банка. Судовладелец Иверсен, который вышел в море со своим неводом, но ничего не загородил и теперь собирался закупить рыбы; другим старым знакомым был Людер Мильде со шхуны «Роза», у него все судно было полно пустых бочек для соления. К этим двум присоединился судовладелец Габриэльсен, что жил в самом красивом доме Поленя; этот — без определенной цели, в то время как первые два пришли жаловаться, что их надули. Как мог Август телеграфировать о большом заграждении, когда сельди едва хватало для самих поленцев!

— Да,— сказал Август,— это не по его вине им не продали сельди. Он слишком долго пробыл у пределов мрачной долины смерти, чтобы строить козни своим старым друзьям и знакомым. Если б они только знали, что ему пришлось пережить! Он даже стал религиозным из-за этого.

Но Иверсен прервал его и, горячась, спросил, на кой черт он телеграфировал о большом заграждении?

Это оттого и вышло, что он стал религиозным. Он не имел привычки преувеличивать и прибавлять лишнее, этого греха

за ним не водилось; но разве они сами не видят, как велика была милость божия, спасшая Полен? Велика была благодать божия, а не заграждение. Вот именно это он и хотел сказать.

— Ерунда! — сказал Иверсен и рассердился еще больше.

Конечно, ерунда. Август сам отлично понимал, что сказал глупость. Он молчал. Он не приобрел еще привычки врать, благочестиво потупляя взор.

Иверсен настаивал:

— А не заплатите ли вы нам? Что вы на это скажете?

Тут подоспел Людер Мильде и стал говорить спокойно: надо принять во внимание, что им было довольно трудно совершить это бесполезное путешествие, такое далекое и сопряженное с такими расходами, — не найдет ли Август возможным вознаградить их за это, хотя бы отчасти?

— Ну что ж, — сказал Август тоном крупного дельца.

Иверсен продолжал горячиться:

— Нет никакого сомнения, что мы с телеграммой в руках...

М и л ь д е. Не горячись, Иверсен! Ведь ты слышишь же, что он согласен.

Август согласен, он оставляет милость божию и его благодать, и он опять на земле, где он чувствовал себя привычно и уверенно.

— Дай-ка сюда мой бумажник, Эдварт.

Он показал им целое множество бумаг и разноцветных проспектов со штампами и большими числами.

— А на что это нам? — спросили они.

— Да, на что это вам! — согласился Август.

Они не знали толка в иностранных ценных бумагах. Он попросил дать ему время поправиться, он съездит тогда на юг в Троньем, прямо в Норвежский банк, и обменяет их.

Они обсудили все вместе, какая сумма могла быть достаточной компенсацией за обман. Август шел на все и говорил, говорил. Порешили, что он заплатит каждому по сто крон, он пошлет деньги, как только обменяет бумаги. На это они согласились не очень охотно.

— Да, кстати, раз уж они здесь, — сказал судовладелец Иверсен, — им бы хотелось знать, как обстоит дело с банком, в котором лежат их вклады?

— Банк! Хо!

Август никогда не слышал о предприятии более блестящем. Он заговорил об огромных стадах, о серебряных рудниках, о пещере в стране, называемой Боливией.

— Ведь вы же знаете эту страну, капитан Мильде?

Но шкипер Людгер Мильде нигде не был, кроме как на севере, в Вестфьорде. Он был ведь еще очень молод.

— Так вот, в Боливии есть пещера. И там президент устроил банк.

Очень плохо, что они не знают иностранных языков, а то бы он прочел им кое-что. Но только он хочет сказать, что банк, — он говорит о Поленском банке сбережений, о Поленской сберегательной кассе, — он процветает все равно, как серебряный рудник, и ничуть не уступает банку в пещере. Чего там! Ему скоро будет принадлежать весь город. Пусть не беспокоится такой важный и богатый человек, как Габриэльсен, которому принадлежит самый красивый дом на севере от Бодде. Кстати, не были ли они у него в коридоре и не смотрели ли сквозь разноцветные индийские стекла? Они не должны этого упустить.

Габриэльсен, до сих пор молчавший, спросил:

— Ну, а как, не будет ли прибыли какой от наших акций? Немного «Ausbeute», как говорят немцы?

— Верно!

Август — того же мнения. Этот вопрос недавно обсуждался в банке.

— А не созвать ли более обширное собрание из нас всех?

— И это верно!

Но дело в том, что болезнь на недели и месяцы приковала его к постели, и ничего не было сделано. Он запустил даже свои крупные заграничные дела и потерял на этом десятки тысяч. Но приходится радоваться хоть тому, что он остался в живых.

— Сколько процентов получают они, по мнению Августа? — спросил Габриэльсен.

Август сдержанно и с видом специалиста: они сами могут представить себе, сколько может заработать банк в первый год своего существования в таком новом городе, как Полен. Он может владеть домами и недвижимой собственностью, но что касается денег... У кого сейчас есть деньги? Совсем у немногих: ну, у Габриэльсена, у старого Каролуса, да кроме того у Паулины и еще кой у кого в этом же роде. Но разве есть деньги у людей вообще? Да, с деньгами положение не улучшится, пока фабрика не будет построена и пущена в ход. Вот тогда другое дело! Кстати: они, вероятно, с удовольствием возьмут несколько акций фабрики рыбьей муки?

— Гм!

Нет, к сожалению, они не располагают такими средствами.

— Не располагаете средствами вы?

Августу делается прямо смешно при этой мысли. Все трое — богатые люди, владельцы домов, земли, судов, рыболовных снастей, банковских акций.

— Ну, знаете ли...

— А что это за фабрика? — спросил Людер Мильде, который был молод и любопытен.

— Да вот фабрики рыбьей муки — индустриализация Полены. Одна только промышленность может создать деньги. Покойный Оттесен по первому же слову подписался на пятнадцать тысяч.

— На пятнадцать тысяч! — восклицает судовладелец Иверсен.

— Да, кажется, что на пятнадцать. Их тут столько подписывалось, что я и не помню. Но ведь вы же знаете, что Оттесен был чрезвычайно осведомленный и опытный во всех отраслях рыбопромышленник, и раз уж он пошел на это...

— В таком случае надо подумать, — сказали они, прекращая разговор.

— Подумайте! И при первой же возможности сообщите мне, сколько вы хотите взять акций. Эдварт, попроси, пожалуйста, Паулину скорее прийти сюда!

Паулина пришла.

Август, не потупляя глаз, сказал ей:

— Сходи, пожалуйста, за двумястами кронами, норвежскими деньгами, которые я должен этим господам.

Паулина собиралась уже протестовать самым резким образом, но Людер Мильде успел тем временем заявить, что с деньгами не к спеху.

— Я так и думал, — сказал Август. — Вы не из тех людей, которые нуждаются в таких пустяках. Но я не хочу, чтобы за мной числились эти кроны и эре, в то время как у Птичьего острова у меня стоит невод, загородивший сельдь. Это во всяком случае несколько тысяч!

Это было сказано для Паулины. Она тотчас вышла и вернулась обратно с деньгами. Как же ей было не сделать этого!

— Благодарю тебя, Паулина, — сказал Август; он держался как начальник и как человек, соблюдающий форму.

Он обратился к мужчинам:

— Я связан по рукам и ногам, пока не выздоровлю и не съезжу в Норвежский банк. Но пока что я пользуюсь кредитом на норвежские деньги у Паулины.

— Ах, вот как! — заметила Паулина, скрежеща зубами, и прибавила: — Я об этом и не знала.

Август подмигнул мужчинам. Они поняли эту ссору просто как шутку между Августом и Паулиной, и гоготали и смеялись над ними. Паулина покинула комнату в раздражении.

Мужчины, несколько смущенные, продолжали сидеть, каждый со своей большой красной кредиткой. Ведь дело не к спеху, они охотно бы подождали денег. Но они не могут не одобрить такой быстроты и точности.

— Хоть бы чуть поторговался! Ведь ты слышал, Иверсен, он не просил сбавить даже десяти крон?

Похвала Иверсена была, пожалуй, особенно пряма:

— Единственно, что я слышал, был приказ о том, чтобы нам немедленно заплатили.

— Дело — делом, — сказал Август.

И он принялся просвещать трех мужчин, которых хотел уловить в свои сети, держась с ними, как близкий друг семейства. Он не парил в облаках, он ощущал под ногами свою «земную кору», он был себе на уме и в то же время доверчив; одна ложь сменяла другую, он приводил числа и вычисления, выкидывал фокусы, показывал настоящие перлы в области надувательства — и при всем том был невинен в своих намерениях. Он был невинен, он верил в свое призвание и лгал честно и бескорыстно во имя его. Он сидел на своем стуле, больной и лживый, — живое олицетворение своего времени и прогресса.

— Фабрика готова появиться на свет божий хоть сейчас же, — говорил он. — Цемент лежит уже на пристани, купленный и оплаченный, нужно только привезти его. Место для стройки не стоит нам ничего: фабрика только одним краем будет находиться на земле и оттуда протянется по отмели до глубокого места, так чтобы суда могли непосредственно приставать к ней. Когда мы выстроим стены, то мы получим машины по мерке. Я кое-что смыслю в этом, я и прежде строил фабрики и мельницы, а вот Эдварт, который здесь сидит, отливал из бетона церкви и большие пароходные пристани в Америке.

Эдварт встает, переходит развалкой в свою комнату и начинает смотреть в окно. Спина его согнулась; даже для того, чтобы посмотреть в верхние стекла окна, ему приходилось нагибаться. Так высок был ростом Эдварт Андреасен, старший брат.

А мужчины в другой комнате продолжали свой разговор.

А в г у с т. Первые подписавшиеся на акции фабрики, будут первыми, кто получит даровые акции. Деньги можно вносить не сразу: пока лишь всего десять процентов, остальные по мере надобности. Уже вычислено с точностью до одного эре, что фабрика своим помолом сельди будет приносить девяносто шесть процентов прибыли.

— Девяносто шесть процентов! — восклицает Иверсен.

— Да, если будет сельдь,— говорит Габриэльсен.— Но она то и дело отходит от Полена.

Август улыбается:

— Отходит? В море есть сельдь, взгляните на Птичий остров! Я сказал молодцам: поезжайте и загородите сельдь, много или мало — все равно! Они так и сделали.

Л ю д е р М и л ь д е. Если уж вносить что-нибудь, так, чтобы это имело смысл, нужно внести по крайней мере две тысячи, а у меня сейчас и на первый взнос не хватит. А у тебя как, Иверсен?

— А у меня и подавно,— говорит Иверсен.

Но Август тотчас сумел придумать, как устроиться с первым взносом, он хотел помочь им и при этом делал вид, что они тем самым окажут и ему услугу. Дело в том, что фабрика не дает ему покоя и ему хочется поскорее начать стройку. Не могут ли они сделать рейс на пристань за цементом, один на шхуне, другой на своей большой лодке, и захватить с собой всю партию за раз? Это выйдет опять по сто крон на каждого из них.

Они тотчас согласились. Это возьмет у них немного времени, они ничего не потеряют, и сверх того еще получают деньги. Август умел удивительно ловко выходить из затруднений.

Теперь еще один, последний удар.

Он бы, конечно, не стал торопить их, если бы Поленская община и управление Нордланда не зарились так на акции. Если же крупные подписчики пойдут в первую очередь, то рядовые люди останутся без даровых акций. А это вовсе не такой уже пустяк.

— Даровые акции! Это что такое?

— Акции, которые будут дарить, отдавать задаром. Подумайте только!

Кончилось тем, что все трое подписались в тот же день, не встав со стула. Это оказалось неизбежным. Вышло так, что двое из них, пришедшие требовать долг, уходя, остались должны крупную сумму. Они были из Вестеролена, и у каждого был небольшой хутор с четырьмя коровами и лошадьёю. Третий, Габриэльсен, из купцов, подписался в качестве поленского переселенца. Он был владельцем красивого дома и невода и, в отличие хотя бы от директора банка Ролансена, ничего не был должен банку. Зато у него был порядочный долг в Паулининой лавке. Уходя, он сказал, беззаботно смеясь:

— Я пришел, в сущности, чтобы заплатить Паулине, но — плакали мои денежки!

— Их еще много там, откуда они пришли,— отвечал Август, желая польстить ему.

Теперь Август облегченно вздохнул. Конечно, он не совершил подвига, но все же фабрика приобрела новых шесть тысяч, и он был доволен собой.

— Ну, нельзя сказать, чтобы ты помог мне,— обратился он к Эдварту.— Ты не мог даже кивнуть головой в знак согласия. Или ты, может быть, все-таки кивнул?

Эдварт молчал.

— Ты, верно, недоволен чем-то и ворчишь про себя, думается мне. Конечно, я говорил недостаточно правдиво для такого благочестивого кутилы и отца детей по всем приходам, как ты! Я был бы рад, если бы ты ответил мне.

Эдварт молчал.

Август ждал, вероятно, одобрения, ждал какой-нибудь похвалы, но некому было разделить его радость, и он пришел в ярость:

— Да скажи же наконец, что я сделал дурного? Разве я не должен был объяснить им все, чтобы заручиться их участием? Ты думаешь, вероятно, что я верил всему, что говорил? Но никакого греха здесь за мной во всяком случае нет, и бог видит в моем сердце, что я не такой уж закоренелый грешник. Как бы там ни было, а теперь у нас есть деньги на постройку фабрики.

Август махнул рукой на своего товарища, отвернулся от него и замолчал.

Но тут Эдварт произнес следующие слова, которые, вероятно, он долго вынашивал в себе:

— У тебя такая жажда жизни, Август!

И действительно, жажда жизни у Августа была непоколебима. Он поправлялся все больше и больше, и в один прекрасный день надел на себя две фуфайки и вышел на свет божий. Паулина покосилась на него, когда он проходил мимо.

Едва успела земля оттаять, как он нанял людей и лошадей возить песок и щебень для постройки, невероятное количество песку и щебня, так что народ удивлялся. Он сколотил плот, измерил участок, произвел математические вычисления, отлил бетонные массивы, дал им сперва просохнуть, а потом опустил в море для фундамента. Было приятно смотреть, как быстро это делалось. В работе принимало участие большое количество людей, Эдварт был заправилкой, а почтарь Родерик его правой рукой. Но руководил всем сам Ав-



густ, хотя в то же время он был самым рьяным работником и первый прыгнул в воду, когда опускали на место бетонную глыбу. Ему это было по душе.

Таким образом прошло несколько недель. По субботам Август рассчитывался с рабочими и хозяевами лошадей; он платил охотно, пока у него были деньги, а когда артель вернулась обратно с Птичьего острова, он получил из кассы общины круглую сумму наличными за свою долю улова. Все, что ему удалось наскрести, он употреблял на жалованье рабочим.

Зато деньги за невод поступали крайне медленно. Каролус заплатил свою часть и Иоаким-староста — свою, но все остальные члены артели не оказались хозяевами своего слова. Что теперь было делать? Август начинал нуждаться в деньгах. Постройка далеко продвинулась вперед, фундамент теперь заметно возвышался над уровнем моря, но для пола понадобились тяжелые стальные рельсы, которые необходимо было соединить между собой густым переплетом из железных прутьев; все это дорогое железо и сталь пришли, но не были оплачены. Август обратился в своей нужде к Каролусу.

И он сделал это не напрасно: Каролус, в качестве всеми уважаемого и видного лица, обещал внести все неоплаченные пай за невод; ведь было бы некрасиво, если бы он, человек со средствами, уклонился от этого.

— Ступай за мной, — сказал он, — мы поговорим с Паулиной.

Паулину пришлось уговаривать. Она имела предубеждение против фабрики и сказала:

— Я была бы рада, Каролус, если бы такой человек, как вы, нашел лучшее применение своим деньгам.

— То есть как? — спросил Каролус.

— Я говорю то, что думаю.

— Августу нужны деньги для его постройки, это его кровные деньги за невод; разве можно что-нибудь возразить против этого?

Паулина раздраженно пожала плечами:

— Разве вы не видите, что он вгонит себя в гроб этой постройкой? Среди дня он прыгает в море и кладет камни на эту свою стену и так, насквозь промокший, ходит до самого ужина; с него течет вода, у него под ногами образуется лужа, когда он сидит за столом.

— Правда, что ты так глупо ведешь себя, Август? — отчески строго спрашивает Каролус.

— Да, да, этот твой Август — такая драгоценность!

Август кротко:

— Да, но теперь мы строим уже над уровнем моря и больше не будем промокать. Поверь мне.

— Вы лучше не слушайте его, Каролус! Он думает, что перестал быть сумасбродом и посмешищем для честных людей. Лучше всего было бы, если бы вы помогли ему убраться отсюда, потому что здесь он умрет. Весь день он работает насквозь промокший, словно строит священную стену храма Соломонова. Меня это, конечно, нисколько не касается, но мне просто досадно смотреть на него.

Каролус поддерживает ее и говорит:

— Обещай мне, что ты не будешь ходить мокрым, Август, слышишь ты?

— Обещаю,— покорно отвечает Август, так как ему нужны деньги.

— Но этого еще мало,— продолжает Паулина.— Ведь он тратит на строительство не только все то, что у него есть. Вы говорите — кровные деньги? Если бы это было только так! Он зарабатывает на одном, он зарабатывает на другом, и все идет на эту его стену. Он высасывает из себя все до последнего гроша и не оставляет себе даже на рубашку.

— Неужели ты так глупо ведешь себя? — опять спрашивает Каролус.

— Ерунда! — отвечает Август и вытаскивает свой бумажник.— Паулина не понимает, что мне надо побывать в Норвежском банке,— вот с этими ценными бумагами.

— Все это сплошная ложь! — кричит она.

— Покажи-ка мне! — говорит Каролус и рассматривает его бумаги со множеством штемпелей и чисел.

Каролус сдался, длинные числа убеждают его, и он говорит:

— Послушай, Паулина, будь справедлива! Я не разбираюсь ни в одной из этих бумаг, так что ему не миновать везти их в Троньем, в Норвежский банк. Потому что я не думаю, чтобы в Бодэ решились принять такие бумаги.

— Ну,— говорит Паулина,— пусть и едет в Норвежский банк и раз навсегда покончит с этим!

А в г у с т. Если бы у меня было время, я поехал бы сегодня же.

— Ему некогда,— заступает Каролус и качает головой.— Итак, Паулина, не упрямясь и выдай мне из банка, сколько там следует Августу. Нечего больше говорить об этом. Потому что я не хочу состоять в артели с людьми, которые несправедливы к нему...

Этими деньгами Август оплатил счета за сталь и железо и тут же заказал листовое железо для крыши. Но опять не хва-

тало денег, чтобы заплатить рабочим за неделю. Он стал просить судовладельца о новом взносе за акции. Габриэльсен должен был обратиться за помощью к родственникам из купечества и получил также несколько сот крон, которые и принес Августу.

— Благодарю,— сказал тот,— это лишь временное затруднение!

Он предвидел, что в скором времени он опять не будет знать, что делать, и телеграфировал акционерам из Вестеролена — Людери Мильде и судовладельцу Иверсену. Никакого ответа. Он телеграфировал еще раз. Наконец пришло общее письмо от обоих вместе о том, что у них денег нет. Август рвал на себе волосы. Послал третью телеграмму, на этот раз полную угроз, и получил ответ, что они никоим образом не могут продать своих коров теперь, к лету, когда скот не требует на себя никаких расходов, находясь на подножном корму, и должен дать приплод. Таково положение. Но какое дело ему до коров и приплода? Денег, денег!

Он обратился к Паулине, требуя, чтобы она выплатила ему пять тысяч крон Оттесена, вложенные в банк с определенным назначением, как раз на постройку фабрики. Паулина ответила тем, что собрала своего рода совет из жестокосердых и черствых людей, которые и должны были решить этот вопрос. В нем заседали: директор банка Ролансен, Каролус, Паулина и, наконец, сам Август. Ролансен раскрыл один из протоколов и указал, что все пять тысяч Оттесена, а может быть, даже и больше, уйдут на покрытие многочисленных поручительств Августа. Само по себе Августа нисколько не огорчило бы, что он таким образом просадил эти деньги, если бы у него были другие взамен их; теперь же он очутился на мели. Паулина упрямылась, а противный Ролансен с изуродованными ногтями поддакивал, потому что был должен и в лавку и в банк. Мелочные рассуждения, скверное отношение. В Мексике и на Суматре люди смотрели шире на вещи.

— Сколько тебе надо? — спросил Каролус.

— Крон шестьсот,— отвечал Август.— Это лишь временное затруднение, пока я не разменяю своих денег.

Шестьсот крон было немного, это было ничто, но он не смел назвать большую сумму. И то Паулина снизила ее до половины, так что Август вышел из банка с деньгами всего лишь на одну неделю жалованья.

Он обращался в другие места, занял все, что было у Эдварта, а когда истратил и эти деньги, то уговорил людей пока

работать в долг. Он упорно боролся неделю за неделей и все-таки строил фабрику; четыре стены вздымались вверх и свидетельствовали о затраченных усилиях.

Тут зарядили дожди, началась весенняя слякоть, и строительство пришлось прервать. Август рвал на себе волосы, негодуя на задержку. Так продолжалось целую бесконечную неделю, но вот проглянуло солнце, подул восточный ветер, и Август снова созвал рабочих. Новые испытания. Люди пришли, но они разленились за время безделья и не находили больше возможным работать в долг.

— Разве у вас есть другая работа? — спрашивал Август.

Нет, но они не в таком уж состоянии и положении, чтобы ждать заработанных денег.

— Но разве ваше состояние и положение улучшается от того, что вы бездельничаете? — спросил Август.

На стройке осталось всего лишь двое: он сам и Эдварт. Когда почтарь Родерик бывал дома, он тоже принимал участие в работе. Итак, их было трое. Дюйм за дюймом возводили они стену и наконец дошли до чердака, где опять нужно было класть стальные рельсы и бетонировать пол. Но снова пошел дождь, и Августу пришлось прекратить работу.

В это время он много ходил, бродил по окрестностям, размышлял, говорил вслух сам с собою и охотно заходил в лавку. Паулина ядовито намекала, что ему следовало бы воспользоваться свободным временем и съездить в Норвежский банк. Август делал вид, что обдумывает ее слова, но затем качал головой и говорил, что не решается оставить постройку в таком виде.

— Ты, может быть, боишься, что мы украдем твою фабрику, пока тебя не будет? — спросила она.

Он отвернулся и молчал. Что такое? Он плакал! Паулина сразу изменилась, и даже схватилась за грудь. Неужели же он плакал? Вероятно, он был в большом затруднении, может быть, у него даже не было денег на поездку в Троньем.

— Я могу дать тебе займы на поездку, — сказала она.

— Ну что ж, — отвечал он, не поднимая глаз, — ты можешь дать мне те триста крон, которые оттягала тогда у меня из денег Каролуса?

Бедный! Он предпочел, верно, эту форму просьбы, как менее унижительную. Она открыла большой несгораемый шкаф, разыскала кредитки и положила их на прилавок. Они лежали теперь там.

Вдруг Август обернулся, взял деньги и сказал:

— Спасибо, Паулина. Я так и знал, что ты одумаешься. Ведь это только сейчас я нахожусь в затруднении. Втроем нельзя поднять тяжелые стальные рельсы, нас должно быть шестеро.

Он направился к двери. Не было заметно, чтобы от только что плакал.

И в тот же вечер Паулина видела, как шесть человек поднимали с земли невероятно тяжелые стальные балки и клали их на стены, для настилки пола на втором этаже. Дождь и буря ничуть им не мешали.

За ужином Паулина сказала Августу:

— Деньги, которые я дала тебе на дорогу, ты истратишь на постройку?

— И не подумаю! — отвечал он. — Дело в том, что необходимо было положить эти балки теперь же, а это можно сделать и в дождь. Нет, Паулина, ты ошибаешься. У меня осталось на дорогу вполне достаточно.

Но на укладку балок, на устройство сотен переплетов из железных прутьев, на бетонирование пола и множество других мелочей ушло столько времени, что непогода прекратилась, и опять засияло солнце. Как же было не отложить поездку в Норвежский банк и, пока хватало денег, не продолжать постройку вшестером.

## ГЛАВА XX

---

Деньги вышли. Трое людей из прихода вернулись домой, остались лишь Эдварт, Родерик и Август, но и им по случаю ненастья пришлось сидеть сложа руки.

Это было, впрочем, благодатное ненастье, — теплый дождь, что согнал с земли весь снег и растопил все замерзшие ручьи. Но для Августа это было опять время, полное испытаний, тяжелое время.

Он не был только перелетной птицей и спекулянтом, у него бывали и серьезные часы. Не всегда на него можно было положиться? Это, пожалуй, так, но зато он был бескорыстен, трудолюбив, как муравей, даже когда он ничего за это не получал, худ и непривередлив, изворотлив и с меньшими потребностями желудка, чем у кого-либо. И разве хоть кто-нибудь был ему равен в умение продвинуть дело? На него нельзя было полагаться? Правда, но это свойство было, так сказать, его профессиональным и логически неизбежным свойством: как мог человек, который так много всем обещал, всегда держать свое слово?

Возьмем фабрику рыбьей муки. Она была так очевидно полезна, никто в сущности не возражал против нее, но ему одному приходилось создавать ее. Листовое железо для крыши пришло, и было так приятно поднимать тяжелые листы и с грохотом ронять их. Но ему не хватало еще стольких вещей: оконных рам и дверей, петель, задвижек, водосточных труб, мешков и бочонков для готового товара, тачек, подъемного крана у моря и цепей для него. О, много, много еще чего ему не хватало! А разве ему не нужно было также машин, самой мельницы для молки сельди? И затем — чем двигать мельницу? Ручной силой? Ни в коем случае! Но был ли у него тогда уголь или электричество, чтобы приводить ее в движение? Нет, не было. Может быть, у него был водопад на примете? Нет, не было.

«Н и ч е г о н е т!» — кричал сам себе Август, без конца бродя по окрестностям и размышляя. Но ведь наступит же наконец такое время, когда люди будут приходиться толпами подписываться на акции!

Во всяком случае он не позволит шутить с собой шутки; пусть судовладелец Иверсен и Людгер Мильде в Вестеролене знают это. Дело — делом. И он подал на обоих акционеров в суд. Для перемены он решил показать зубы.

Тем более, что последнее ненастье раздражало его, оно выбило его из колеи и не позволяло ему сдвинуться с места. Разве он этого заслуживал? В сущности, он с полным правом мог бы разгуливать в шапке набекрень и только посвистывать. Весна сказывалась и на нем: он расцветал. Эдварт с удивлением смотрел на то, что он пустил в ход свою пенковую трубку, ходил с тростью и даже выражаться стал более свободно: «Все трын-трава, черт побери!» А эта поленская молодежь совсем никуда не годилась: к тридцати годам она уже теряла весь свой пыл, взять хотя бы Эдварта Андреасена. Август чистил свои сапоги и платье, несмотря на то, что шел дождь, причесывал волосы на затылке и бороду и даже, из своего рода тщеславия, стал после обеда ложиться отдыхать, словно он был важный барин и хотел немножко подремать. Эдварт и по этому поводу не мог скрыть своего удивления: Август спит в полдень!

— Да, это так принято. Я приобрел эту привычку, когда был начальником на серебряных рудниках, — говорил Август. — Но, между прочим, я и тебе советую умыться, причесываться и чистить сапоги, Эдварт. Ведь ты видишь же, я не хожу, как свинья, хотя я гораздо старше тебя!

В самом деле, весна сказывалась и на Августе: он расширялся как только мог. Он не обладал свойством быть долго

несчастливым из-за чего бы то ни было на свете. В нем не было тяжеловесности, — вот в чем дело; он держался непринужденно, а поэтому в нем и не было тяжеловесности. Он был легок, как сами деньги, как механика, торговля, промышленность и весь прогресс.

Было очень неудачно, что отсутствие денег и дождливая погода помешали ему работать. Он сделался беззаботным, забыл слово, данное доктору, и по ночам бродил и высматривал кого-то. Возвращаясь на рассвете, он был мокр, как ворона. Этот кривляка и сумасброд, которому перевалило за пятьдесят, не был счастлив и мало испытывал радостей жизни на своем веку: постоянно что-нибудь становилось ему на пути, — говорил он. Разве он этого заслуживал? На его долю выпадали лишь сомнительные и небезопасные утехы матроса и бродяги.

Эдварт не говорил ему ни слова по поводу его ночных мечтательных прогулок, но Август сам был слишком заинтересован ими, чтобы молчать.

— Ты все еще ничего не слышал о миссис Андриус? — спросил он.

— Нет.

— Она, вероятно, хочет остаться одна?

— Я не ответил ей на три письма, — говорит Эдварт, выгораживая жену. — Так что это, конечно, моя вина.

— Вот если б я был на твоём месте!

— Я так и не удосужился ответить ей. А теперь уж поздно. А в г у с т. А ты бы взял и телеграфировал!

Эдварт молчит.

— Если бы ты тогда же телеграфировал ей, то она была бы теперь здесь.

Э д в а р т. Я не знаю. Они, кажется, не хотят, чтобы она жила здесь.

— Посмели бы они не хотеть у меня! — высокомерно хохорится Август. — Она твоя жена, и больше это никого не касается.

Эдварту не хочется говорить об этом, он выглядывает в окно и бормочет:

— Погода как будто бы проясняется.

— Я не понимаю, как ты можешь обходиться без нее, — говорит Август.

— Нечего больше об этом разговаривать.

— Нечего об этом разговаривать! Разве ты не женатый человек и все такое? Что касается меня, например, то я устроен совсем по-другому. Мне хочется немножко поразвлекаться и повеселиться, я выхожу по вечерам и бросаю ка-

мешки то в одно, то в другое чердачное окошко в местечке. Тогда за окном появляется лицо, чтобы посмотреть, в чем дело, но дальше ничего не выходит, и если я подхожу к двери, то она крепко придерживает ее с другой стороны. Но это неважно, она меня вовсе не интересует. Как-то вечером я был во Внешнем Полене. В прежние времена это было славное местечко, а теперь... Но, может быть, ты сам ходишь во Внешний Полен?

— Нет.

— Да, ты умер. Все вы тут мертвецы, и во Внутреннем Полене — тоже мертвецы. И Теодорова Рагна тоже мертвая.

— А ты был у нее? — спрашивает Эдварт.

— Ну, конечно, был. Только она стала такая глупая и совсем как мертвая. Я ушел.

Нет, и у Теодоровой Рагны ему не повезло, и он не скрыл этого, он дал отчет о своем посещении; в озлоблении он не забыл ничего, что говорило бы против нее. К тому же он хотел предупредить товарища и в наказание оставить даму без кавалера. Говорило ли в ней чувство недавно пережитой религиозности, или старый холостяк казался ей смешным, но только она и знать его не хотела. Он развернулся и рассказал много удивительных происшествий из своей жизни среди цветных народов, но она не обратила на это внимания, а только спросила, были ли они язычники, не верующие во Христа? Повсюду богобоязненность. Тогда он вынул стилет из своей палки и показал ей, как он с этим оружием в руке боролся за себя и за даму своего сердца, но маленькая Рагна только поглядела на него и даже не улыбнулась. А ведь у нее были такие красивые губы, когда она улыбалась! Она была мертвой и глупой. Он уселся и начал разговаривать со своей тростью, стал похлопывать по ней и говорить, что она была его спасителем и его опорой во многих опасностях, он никогда не расстанется с ней. Между прочим, она принадлежала некоему Наполеону.

— Наполеону? — переспросила она, и вдруг в ней пробудился интерес к мирским вещам.

«Ну, — подумал он, — наконец-то клюнуло!»

Но оказалось, что это было лишь детское воспоминание с ее стороны, она сказала:

— Я видала однажды куколку в шарманке: это был Наполеон. Она была очень хорошенькая. Это было много-много лет назад, я была тогда маленькая, я потеряла блестящую пуговицу в снегу.



Но, конечно, Август ничего не мог рассказать о Наполеоне и не мог растрогать ее. Он взял ее за подбородок, она оттолкнула его, он толкнул ее в бок. О, нет, она была мертвая. Когда это наскучило ему, он попрощался.

— Прощай! — отвечала Рагна.

— Она — кривляка, — закончил Август. — Так что ты лучше забудь ее и не думай о ней больше.

— Я вовсе и не думаю о ней, — ответил ему друг.

Наступила хорошая погода, но Август не ходил больше на стройку; он мечтал, фантил и корчил из себя шута. В воскресенье кто-то из ходивших в церковь принес ему письмо из Внутреннего прихода. Увидав, что оно не из-за границы, он равнодушно сунул его в карман. Он промечтал все воскресенье, был у портного, играл в жмурки, причем молодежь смеялась над ним и больно толкала его о стены; под вечер он очутился где-то во Внешнем Полене, где танцевали, и хотя там он обычно пользовался почетом, девушки не захотели танцевать с ним. Он приписывал это тому, что они были мертвые. Придя домой, он лег спать в дурном настроении.

Поутру Эдварт напомнил о постройке, — не пойти ли им и не поработать ли? — Нет. Август отвечал, что он был бы рад, если бы эта постройка провалилась ко всем чертям. Какой смысл строить втроем такой огромный дом? Ему все это опротивело. Вот он опять ночью был во Внешнем Полене; там было много молодежи, оживленные танцы, но обратил ли на него там кто-нибудь хоть каплю внимания? Что скажет Эдварт на это? Там было совсем не подходящее общество для такого человека, как он, одна беднота и рвань; девушки выклянчили у него на музыканта все до последнего гроша.

— Погляди-ка, — сказал Август, выворачивая карманы, — ни одного эре!

Он нашел письмо в одном из карманов и бросил его на стол.

Э д в а р т. Ты получил письмо?

— Да, люди по пути из церкви принесли его.

Ну и наплевать на эти гроши, что попали музыканту! Это пустяк для такого человека, как он, он не об этом говорил. Но почему не приходят люди и не берут акции фабрики? Он должен признаться, что не понимает этих людей. А Эдварт понимает их? И все эти девушки — совсем ведь бедные, а он мог бы подарить каждой из них по платью и каждой повесить золотую цепь на шею; но пожелала ли хоть одна из них протанцевать с ним вальс? Они называли его дедушкой.

— Я охотно бы покружился с ними, но они говорили, что я слишком стар.

— И это тебе обидно? — спросил Эдварт.

— Слишком стар! — воскликнул он. — Это не я слишком стар, а вы, все остальные!

И он развил эту мысль далее, уверял, что даже Ане-Мария не понимает больше, когда ее толкают в бок. Она говорит: «Отстань!» и отряхивается.

А он разговаривал с Ане-Марией?

— Как же, и даже очень долго, но она нисколько не лучше других. Она завела себе этих двух приемышей, чтобы на них перенести свою любовь, и больше ей ничего не нужно. Как ей не стыдно! Она стала такой старой и глухой.

Э д в а р т. От кого же это письмо?

— Не знаю. Нет, Эдварт, я не пойду на стройку: днем все равно пойдет дождь. Лучше давай ляжем опять в постель.

— Ты бы взглянул, от кого письмо.

— Да ведь оно только из Внутреннего прихода. Они все пишут и пишут. Верно, опять о налоге.

— А может быть кто-нибудь из Внутреннего прихода хочет купить акции, — говорит Эдварт.

— Так ты думаешь! — восклицает Август и вскрывает письмо. — От доктора, — бормочет он и морщит лоб. — Он пишет, чтобы я сейчас же пришел к нему. Что ему нужно?

— Может быть, до него дошли слухи, что ты гуляешь по ночам?

— А какое ему дело? У меня все в порядке. Я плюю на доктора!

— Но ведь он, кажется, грозился тебе, что вывесит плакат? — спрашивает Эдварт.

Август задумчиво:

— Да. Но сейчас это ведь не о том? Как ты думаешь?

Он испугался и искал помощи у товарища, как прежде, когда был болен. Он был по-своему смел, временами даже рисковал собою, в делах был решителен до дерзости, но это был человек без тяжести, без внутреннего балласта, в самой глубине своей трусливый и суеверный. Он сразу стал маленьким и слабым, он нуждался в поддержке.

— Я сейчас сбегаю туда!

— Да, придется, — поддержал Эдварт.

— Да, что это я хотел сказать? У тебя нет никакого дела во Внутреннем приходе?

— Я могу пойти с тобой, — сказал Эдварт.

Август тотчас приободрился:

— Вот и отлично! Не то, чтобы я боялся доктора. Я прямо говорю, что ему следует быть осторожным!

Во Внутреннем приходе они уговорились, что Эдварт останется снаружи, пока товарищ будет у доктора.

— Я потороплюсь, — говорит Август.

Он входит через черный ход.

— Доктор дома?

Удивительно красивая девушка эта Эсфирь, но он слишком озабочен в эту минуту, чтобы принести к ее ногам свое поклонение, он только передает ей поклон от домашних и сообщает, что ее мать и все остальные живы и здоровы.

— Войдите! — говорит доктор из-за двери.

Входя, Август кланяется и улыбается. О-о, он сейчас боится до смешного, он так жалок; но вдруг его страх превращается в дерзость, и он говорит громко, чтобы Эсфирь слышала:

— Вот хорошо, что вы мне написали, доктор. Я надеюсь, вы возьмете несколько акций моей фабрики.

Они одни.

Доктор смотрит на него и морщится:

— Какие акции? В первый раз слышу!

И он тотчас начинает говорить о похождениях Августа в Полене. Он был уличен, он не сдержал своего обещания, а срок еще не прошел.

— Вот взгляните-ка сюда, молодой человек: плакат готов, хоть сейчас вывешивай!

У доктора сбоку на подбородке ранка, определенно свежая и красная, полукруглая, словно от укуса.

Август невинен. Он спрашивает, кто это так бессовестно оклеветал его, кто это такой? Он не выходил за порог избы; в Полене и день и ночь, в течение двух недель, шел дождь, а до тех пор, — доктор сам это отлично знает, — он был при смерти и принимал капли. И он должен признаться, что это несравненные капли: каждый раз как он принимал их, ему казалось, что жизнь по ложечке входит в него.

Все это так. Но не успел он встать, как тотчас принялся ухаживать? И это — в его состоянии!

Напрасно так доктор думает! Август не мог отрицать, что в юные годы он был первым кутилой и повесой из своего экипажа, и в Америке и на тропиках был прямо-таки нарасхват.

Доктор начинает терять терпение.

Итак, он гулял по ночам, ухаживал, бегал за юбками и не сдержал данного слова. Его бы следовало арестовать!

Но Август сразу догадался:

— Эдварт Андреасен ходит здесь возле дома и дожидается меня; не позвать ли мне его?

— Зачем это?

— Он из благочестивой семьи и сам на редкость благочестивый человек. Мы живем с ним в одном доме, и он знает, что я теперь больше никогда не разговариваю с женщинами. В моем возрасте они уже мне не интересны. И стоит вам только сказать, и я подожду еще шесть лет, прежде чем пойти на танцевальный вечер. Это мне ничего не стоит. А потом, — извините, доктор, что я спрашиваю, — уж не собака ли укусила вас?

Доктор еще больше морщит лоб, говорит о долге и ответственности, об опасности, о несчастье. К тому же человек в таком возрасте мог бы прекратить все эти дурачества.

— Да, шестьдесят лет! — говорит Август как бы про себя и качает головой.

Доктор справился в своих записях:

— Вы несколько прибавили, но в данном случае это не важно.

И потом ему, старому сорвиголове, необходимо запомнить раз навсегда, что нельзя пренебрегать такими предписаниями врача, как в этом случае: за это его могут притянуть к суду.

Длительная болтовня со стороны Августа. Никогда ему и в голову не приходило, — чего только не выдумают! — этого греха нет на его душе. Кстати, Эдварт Андреасен стоит на дворе...

Доктору не хочется выслушивать свидетеля, и он спрашивает:

— Ну, а какой тебе интерес посвящать других в это дело?

Удивительно добрый человек этот доктор: он не желает зла своим больным, он охраняет их. Август, по-видимому, растроган и благодарит, теперь он обещает от всего сердца.

— Ну, а чего стоят все твои обещания?

А в г у с т. Простите меня, что осмеливаюсь задать вам вопрос: верите ли вы в причастие?

Доктор пристально смотрит на пациента.

Да, — объясняет Август, — если доктор желает, то он пойдет к причастию и тем самым скрепит свое обещание.

Доктор смотрит по сторонам и на потолок и несколько смущен:

— Поступай, как знаешь, тебе виднее.

— Так, значит, доктор не верит в это?

— Я тоже не верю!

Верит — не верит,— все эти фокусы ни к чему. Человек должен держать свое слово!

— Вот именно! И все, кто знает меня, знают, на что рассчитывать, раз я обещал что-нибудь.

Доктор приходит к тому заключению, что ему, в сущности, ничего другого не остается, как принять еще новое обещание, и он говорит:

— Ну что ж, придется поверить тебе еще раз.

Август опять растроган: «Чертовски добрый человек этот доктор!» И ведь с самого первого раза он обнаружил свое сердце: «Бедняга!» — сказал он Августу.

Немного погодя отношения у них стали самые непринужденные, они шутили, доктор смеялся и от души потешался над матросом. Единственное, на чем они не могли сойтись, было время, определенный промежуток времени, который доктор ни за что не хотел сократить.

Нельзя ли этому человеку продать акции? Август пробует:

— Ввиду того, что вы так необычайно добры ко мне, не возьмете ли вы акцию моей фабрики?

— Нет,— отвечает доктор и отрицательно качает головой.— Это что еще за выдумка — эти акции?

— Вы купили ведь елочки у меня осенью. И это имело то последствие, что я распродал весь товар.

— Да, но акции!.. — с недовольством говорит доктор.

— Я ничуть не удивляюсь вам,— соглашается Август,— ничего другого и ожидать было нельзя, это вполне понятно.

И при этом Август, действительно, кажется таким подавленным и несчастным.

— Почему это ты постоянно впутываешься в такие дела? — спрашивает доктор.

— Н-да,— говорит Август.— Да потому, что никто другой не хочет этого делать. А разве мы не должны следовать за временем, иметь торговлю и промышленность, и фабрики и зарабатывать деньги, как это делают повсюду? У меня осталось всего несколько акций:

— Нет, лучше попроси меня о чем-нибудь другом; акциями и прочим в этом роде меня не соблазнишь. И не стоит ссориться из-за этого. Я ничего не имею против тебя, только я немного боюсь оставлять тебя на свободе.

Август решительно:

— Нет, теперь вам нечего больше бояться!

— Ты ведь все в этом своем Полене. Я удивляюсь, как это у тебя сил хватает в твои годы. А тебе, небось, и спасибо не скажут?

И на это Август не затрудняется ответить:

Его возраст еще не бог весть какой, и ему приятно служить на пользу и благо человечества, где бы он ни был на земном шаре, и так далее.

Доктор благосклонно слушает его и по временам одобрительно кивает головою. Но от акций они удалялись все дальше и дальше.

Но Август умен, как сатана, он сообразил все и сделал вывод (он не брезговал никакими средствами): ранка на подбородке доктора нанесена зубами, острыми белыми зубками, привыкшими жевать древесный уголь. Может быть, эта ранка была нанесена в борьбе: кто-нибудь кусался, защищаясь.

Августу стало жаль этого доброго человека, который потерпел неудачу в борьбе. Ему самому приходилось столько раз быть отвергнутым и отступать без особенной чести. Он хочет сделать что-нибудь, он хочет помочь ему и говорит:

— Неужели же это человек укусил вас так? А то я поговорю с ней!

Доктор раздраженно поворачивается и встает. Август остается сидеть как ни в чем не бывало. Он не понимает, что ему пора уходить, или, может быть, он слишком хорошо это понимает.

— Итак,— говорит доктор,— нам, пожалуй, не понадобится этот плакат. И потом тебе остается немного, всего несколько недель. Но я требую, чтобы ты строго выдержал это время; таково требование моего старого великого учителя. Ты можешь выйти этим ходом! — говорит доктор и хочет открыть парадную дверь.

Август медленно встает.

— Я пойду через кухню, если вы ничего не имеете против. Мне нужно поговорить с Эсфирью. Она ведь тоже из Полена, мы хорошо знаем друг друга, мне нужно передать ей поклон от ее родных.

— Как хочешь,— говорит доктор. Он задумывается, смотрит в пол, моргает.— Между прочим, какие же это акции? Что за фабрику ты строишь?

— Фабрику рыбьей муки. Это самое необходимое в настоящее время, она будет молоть деньги, только ссыпай. Дорогой доктор, высчитано точно, что она будет приносить дохода сто девяносто восемь процентов. Так что вы сами понимаете.

— Так это прямо счастье — получить твои акции?

— Таково было мнение судовладельца Оттесена незадолго до того, как он покинул этот мир. Он подписался на пятнадцать тысяч крон.

— Но доктора не могут бросаться такими суммами. Сколько же стоят акции?

— Пятьсот крон. Фабрика уже построена, осталась только крыша, но это будет сделано очень скоро, мы работаем все время вшестером.

Доктор отходит к окну и смотрится в зеркало, он гладит ранку на подбородке и восклицает:

— Отвратительный лишай подхватил я,— чертовски чешется.— Потом он поворачивается и говорит: — Ну что ж, я возьму одну акцию, только ты сдержи свое слово!

— Великолепно! — отвечает Август.

И когда он увидел, как доктор отсчитывает красные кредитки, он его не останавливает. Тот хотел уплатить наличными всю сумму сполна.

— К сожалению,— говорит доктор,— при мне сейчас только четыреста крон.

А в г у с т. Это ничего не значит: можно подождать!

Доктор задумывается, садится к столу и наскоро пишет записку:

— Вот, отнеси эту записку лавочнику, он охотно даст мне займы для тебя сотню крон.

Все устроилось как нельзя лучше...

Август был очень непрочь пошутить в кухне с Эсфирью, но ему некогда, и он не желает делать неприятности доктору. Он хвалит доктора, хвалит не нахвалится: вот он стал пайщиком фабрики, словно это для него сущий пустяк.

— Ну, а как твои дела? — спрашивает он.— Пожалуй, у вас с доктором кончится свадьбой?

Эсфирь, смеясь, отнекивается:

— Как ты мог выдумать такую несуразицу!

— Слух идет по Полену. Но, боже мой, до чего у тебя красивые зубы, Эсфирь! Так приятно смотреть на них, когда ты смеешься. Но я не хотел бы, чтобы они меня укусили!

Краска заливает ей лицо, и она резко отворачивается и отходит к плите, делая вид, что у нее что-то убежало.

— Ну как же? — спрашивает Август на прощанье.— Кляняться твоим?

— Да,— отвечает она.— И скажи им, всем вместе, чтобы они не болтали обо мне.

Она стоит перед ним молодая и красивая, обольстительная. О-о, в ней не было никакого порока, у нее были такие хорошие зубы.

Август выходит к Эдварту и отдает ему отчет о своей встрече с доктором:

— Да, он взял одну акцию. Я уступил ее за полцены, но наличными. Пойдем теперь с запиской к лавочнику.

— А что он сказал о плакате? — спрашивает Эдварт.

— Даже не упомянул о нем, — отвечает Август.

Они пошли к лавочнику, Август отдал записку и получил деньги. Они разговорились. Августу, конечно, и в голову не могло прийти промолчать о фабрике, таким разиней Август не был.

— Вот видите, доктор по первому моему слову взял акцию, и вы должны сделать то же самое, — говорит он.

— Я слышал, что вы строите фабрику, и больше я ничего не знаю, — был ответ.

— Да, фабрику рыбьей муки. В наше время не годится, чтобы скот пожирал сельдь целиком.

— Да, вы становитесь важным в вашем Полене, далеко нам в нашем приходе до вас. Какой курс акций?

— Пятьсот, при наличном расчете.

Лавочника ничуть не поражает эта сумма. И во Внутреннем приходе деньги за время голода падали все ниже и ниже в цене: ничего нельзя было купить за деньги, они вышли из употребления, и их перестали уважать. У лавочника залежалось, верно, несколько красных кредиток; он охотно одолжил одну из них доктору, и так же охотно купил акцию фабрики за несколько других. Почему бы не купить?

Они поговорили о деле. Август изложил цель фабрики, сообщил все вычисления, здание было почти готово, доход будет сказочный.

— Ну, а если не будет сельди?

Как — не будет? Разве сельдь вымерла? Разве нет сельди в море? Так же рассуждали и в Полене; тогда Август послал в море свою артель с неводом, и у Птичьего острова они сделали заграждение!

Да, лавочник вполне мог взять одну акцию.

Август покинул Внутренний приход, отлично устроив свои дела.

— Вот, — сказал он Эдварту, — получай обратно деньги, которые я занял у тебя!

И безделье Августа разом пришло к концу. Он снова с жаром набросился на работу и подвел фабрику под крышу; оставалось только поставить стропила да покрыть их сверху листовым железом.

Но тут он встретил новое препятствие. Лесной материал для крыши пришел на пристань, но он пришел на редкость обидным способом: наложенным платежом. Август не мог выкупить эти балки и стропила, и Эдварт опять должен был дать Августу займы те деньги, которые тот ему только что отдал.



Но что значил, между прочим, такой поступок? Уж не усомнился ли склад строительных материалов в денежном благополучии Августа? Он сам, горя желанием отомстить, поехал на пристань расследовать, в чем дело.

Что это значило? Разве он был недостаточно кредитоспособен? Пускай эти владельцы досок не задирают нос, он видал леса в тысячи квадратных миль, он сам владел небольшим участком леса на Аляске, так — в несколько сот миль. Отсылайте материал обратно в Намсен!

Его спросили, не все ли ему равно, заплатит он сейчас или позже? Или он не может заплатить сейчас?

— Как — не могу, милые детки? — спросил Август, вытащил бумажник и помахал своими замечательными бумажками. — Я могу пятнадцать сотен раз заплатить за весь ваш склад, и то не разорюсь от этого. Отсылайте материал!

Чем это он размахивал? Это было похоже на лотерейные билеты. Разве у него не было обыкновенных норвежских денег?

— Как же, ребятки, у меня есть и эта прелесть. Вот глядите! Но я сказал уж: пошлите груз обратно!

— Но зачем же? Поговорим серьезно!

— Так. Значит, вы боялись потерять проценты? Вы спрашиваете, зачем отсылать? Да потому, что Август не привык, чтобы какой бы то ни было склад на свете обращался с ним так нахально, и он не допустит этого. К тому же цены совершенно недопустимые.

Они вместе просмотрели счет. Август, выстроивший в Полене несколько домов, хорошо знал цены на строительные материалы.

Непринятие груза повлекло бы за собой целый ряд осложнений: чтобы отправить его обратно, пришлось бы произвести новые расходы; возможный судебный процесс также потребовал бы расходов; при таких обстоятельствах комиссионер решил телеграфировать. Он немедленно получил ответ, что можно понизить цену. Август оставался непримирим: пусть отошлют груз обратно, этот урок послужит фирме на пользу! Опять телеграммы с обеих сторон.

Кончилось тем, что Август получил свои стропила и балки за бесценок. Так и надо этим торгашам! С этим покончено!

Теперь Август начал сбывать свои акции. У него оставались еще две штуки, и он был непрочь их продать. Но здесь, на крупной пристани с телеграфом, пароходами и торговлей люди стояли ближе к жизни и миру, они не голодали так сильно зимою и пока еще уважали деньги. Август говорил с ними, как Златоуст, но его часто прерывали вопросами: а где же устав

общества? Имеются ли у них отпечатанные акции? Ведет ли общество протокол? Август отмахивался от всех этих мелочей, он оскорблялся и отвечал, что не имеет обыкновения таскать с собой повсюду уставы и протоколы. Кому нужны какие-нибудь разъяснения, пусть обращается в его контору в Полене. Обычно люди довольствовались его словом.

Нет, здесь Август ничего не мог добиться.

Но на пристани нашлось два лоцмана, оказавшихся более благоразумными, тоже старые моряки, Август разговорился с ними по душам, и каждый из них взял по акции за полную цену, заплатив предварительных десять процентов.

Поездка Августа на пристань была богато вознаграждена.

## ГЛАВА XXI

---

Крыша закончена и покрыта листовым железом. Здание стоит теперь там, сооруженное по всем правилам искусства при помощи отвеса и наугольника, достойный памятник победенных трудностей.

Сейчас май, светлые ночи и солнце, зеленая трава и желтые лютики, шелестящая листва и пение птиц, подножный корм на лугу для отощавшего за зиму скота.

В Полене почти не оставалось скота. У Паулины в лавке все еще висели на стене различные колокольчики, которые покупали в прежнее время, когда был еще скот в Полене. Теперь только у Иоакима-старосты оставалось несколько коров да в Новоселке у Эзры и Хозеи было порядочное стадо, но в самом Полене стало совсем пустынно. Было так тяжело и странно на душе: в лугах зеленела трава, но пастбище было пусто. На всем протяжении до Внешнего Полена, где прежде раздавался звон колокольчиков, теперь ни звука. Нет, птицы не пели уж больше, потому что птицы следуют за стадом и сливают свое пение с переливами колокольчиков; теперь они улетели в другие места.

Для Эдварта, бродившего там по воскресеньям, это — большое лишение. Он посидит немного у пяти осин и опять немного побродит. Тишина вызывает в нем такое ощущение, будто ему заложило уши, или будто он забыл что-то, или будто остановились часы. Так странно и пустынно, покинутый край.

Эдварт — представительный, красивый мужчина, спокойный и ко всему безразличный. Иногда он качает головой, точно спрашивает себя о чем-то и отвечает на это отрицательно; он

думает тысячу дум, но он слишком ограничен, чтобы разобратся в них. Внутри у него что-то повреждено; он ложится спать каждый вечер и встает каждое утро, чувствуя это внутреннее повреждение, но не пытаясь исцелиться от него: до такой степени он безучастен ко всему. Но что же особенного случилось с ним? Он потерпел неудачу, только и всего; другой бы на его месте и в ус не дул. Ну, какая беда, что почва выскользнула у него из-под ног? Он мог продолжать жить, как живут другие, которые тоже когда-то покинули родной край. Ну, какая беда, что он стал бездомным?

Он думает тысячу дум, и его душевное состояние мучит его, но он тяжелодум и ничего не знает, и ни в чем не может разобраться.

Другие отлично понимали себя, они действовали и принимали что-то. Август не мог жить без того, чтобы что-нибудь не устраивать, у него была жажда жизни. Эдварт ничем не захвачен, нет ничего, что бы он мог считать удачей для себя, он ни во что не вмешивается, он может отказаться от всего. Он может сидеть на кочке — и больше ничего. Это он переносит. Он переносит все: дурную и хорошую погоду, тяжелый труд и безделье, он и людей-то переносит, как сидение за обедом, или как пенье, или как узкую обувь, то есть с полным равнодушием. Изредка он улыбается, словно что-то пришло ему в голову. Он щупает свой пульс. Да, пульс бьется. Он глядит на свои ногти и замечает, что они выросли за последнее время. В чем же дело? Но когда ему задают вопрос, сообщают какую-нибудь новость, дарят что-нибудь, выражает ли его лицо хоть какой-нибудь интерес? Пожалуй, так было недавно, в тот раз, когда он получил письмо с бумажкой в двадцать долларов. Тогда он, смущенный, поднял брови и прошептал что-то. Может быть, он повторил этот шепот раза два ночью, но вот поутру встал он, все такой же безучастный, как всегда, равнодушный ко всему, даже не ответил на письмо, даже не плюнул ни разу на самого себя.

Август относился ко всему в мире с жадным интересом, а для Эдварта гибель и благополучие, смерть и жизнь были одинаково безразличны; он больше не желал ничего, — прощайте!

Он покинул когда-то свою родину и не мог этого перенести, он не сумел отнестись к этому так же легко, как относились другие, направив свою жизнь по ложному пути. Вернувшись после своего пребывания за границей обратно в Полен, он заметил, что и тут также он стал чужим.

Вероятно, ему опять пришло что-то в голову, потому что он глупо улыбается еще раз и кладет руку на сердце. О, да, оно бьется. Хорошо, тепло возле сердца, рука нагрелась,

сердце еще не холодное. Он вспомнил, как это сердце распорядилось им однажды, много лет тому назад, ранним утром, в глухом местечке Доппене. Там был зеленый заливчик с маленькими домиками, двумя детьми и молодой женщиной Ловизой-Магретой. Он вспоминает об этом и говорит: «Ах, нет, нет!» и, как от боли, качает головой. Там он оставил свою любовь и никогда с тех пор не мог забыть это чудо: было так хорошо на душе, — слезы и блаженство зараз, терпкая сладость. Это было давным-давно, давным-давно! И до сих пор еще сердце его бьется и все еще теплое, но оно любит лишь по памяти, по воспоминаниям.

Но оставим это. В конце концов это было самой обычной вещью, он не придавал этому большого значения, бродил молчаливый, ложился вечером спать, а утром вставал с тем же своим внутренним повреждением. Ничего особенного не было в том, что случилось с ним.

Хотя он долго сидел и отдыхал, он встает все такой же усталый, направляясь домой. Ему не хочется встречаться с толпой, что идет из церкви, где люди слушали нового приходского священника. В сущности ему все равно, встретится ли он с толпой или нет, но если он избежит встречи с ней, то ему не придется шевелить губами, чтобы поздороваться. Пожалуй, надо войти в горницу и победать вместе со всеми; но после обеда он пойдет к себе в комнату и ни до чего не дотронется. Он на это мастер. Конечно, Август прав, говоря, что он мертвый; но что из того? И что из того, что Август живой? Ни мертвый, ни живой не скажут последнего слова.

За столом собрались все четверо. Иоаким побывал в Новоселке, а Паулина в церкви, каждый был занят своим. Паулина носила с собой телеграмму от Августа относительно срочной присылки одной машины для фабрики рыбьей муки, длинную и важную телеграмму о размерах и лошадиных силах, потом относительно еще новой остроумной добавочной машины, при помощи которой можно было использовать все отбросы, выжимая из них жир, сельдяной жир. Август видал этот аппарат на Ньюфаундлендских островах и поставил себе целью ввести его в разных местах земного шара; он возлагает на него большие надежды. Только бы торговый дом разобрал его телеграмму.

— Но ведь ты же читала ее, Паулина, и поняла?

— Да, — говорит Паулина.

Но на самом деле она не отправила телеграммы. Она сожгла ее в кухонной печке, когда пришла домой.

Эдварт сидит молча.

— Где ты был? — спрашивает его Паулина.

— Нигде особенно, — отвечает он. — Прошелся только немного по лугам.

— Небось, на лугах уже высокая трава?

— Да, но там совсем нет скота и не слышно колокольчиков.

— Какое безобразие, нет скота!

— Нет никакой пользы от такой ерунды, — говорит Август.

Паулина тотчас вспыхивает:

— Конечно, больше пользы, если трава пропадет даром!

— Ничего не поделаешь, — продолжает Август, — но единственно, от чего есть польза, — это крупное животноводство.

— Было время, когда мы в Полене и понятия не имели, что такое голод, — продолжает Паулина. — Тогда у каждого было по две коровы, не говоря уж об овцах, а у некоторых, как например у Каролуса и Ане-Марии, даже по четыре. И не было ни одной такой несчастной избы, где бы не имелось хоть одной коровы или четырех дойных коз. В те времена мы в Полене не голодали. А теперь?..

В горнице становится тихо, все едят молча. Иоакиму хотелось бы еще картошки, но он ждет, чтобы это заметили и передали ему миску.

Паулина полна светлых и приятных воспоминаний.

— Помнишь, братец, когда мы были маленькими и мама приходила и говорила нам, что отелилась корова, — как мы радовались тогда?

Э д в а р т. Да.

— А ты, Иоаким, помнишь?

— Да.

— Для нас это был настоящий праздник. Мы больше радовались тогда, чем теперь, когда у нас восемь коров и лошадь. Так вот мать приходила и говорила это. И тогда появилось парное молоко и творог, вдоволь молока для всех нас. А теперь как будто ничего и не случилось, когда отелится корова. Не знаю, в чем дело, но тут что-то неладно.

А в г у с т. Это имело бы смысл, если бы было много коров на каждом дворе, чтобы можно было выстроить молочную ферму и сыроварню и продавать молоко, развить торговлю и вывоз масла и сыра. Все же остальное — только жалкое прозябание и нищета.

Паулина не сдается:

— Но в прежние времена мы не знали нужды. У нас был хлеб, картофель и молоко; когда наступало время, мужчины выходили в море и привозили рыбу на обед. Жили в таком

благополучии изо дня в день, что оставалось только бога благодарить. А теперь?

— Ну что ж,— говорит Август,— ты рассуждаешь по-своему, Паулина. Каждый рассуждает по-своему, а что касается меня, то я видал немножко больше на своем веку, чем ты. И я могу тебя уверить, что если бы сюда явился иностранец, такой, который бывал в разных странах и кое-что понимает, так он бы лопнул со смеху, глядя, как вы сидите и доите ваших двух коров, или как вы прядете нитки из шерсти, вместо того чтобы сходить в факторию и обменять шерсть на готовую ткань.

— По-твоему, иностранец стал бы смеяться?

— Да, да еще как!

— И я должна считаться с этим?

Август не сразу нашелся, что ответить. Впрочем, эта Паулина ничего не понимала, буквально ничего.

Она раздражала его все больше и больше, продолжая спорить:

— Стала бы я обращать внимание на твоего иностранца! А вы бы испугались его? — спросила она братьев.

Иоакиму надоело это словопрение, он и так отлично знал, что они еще скажут друг другу.

— Передайте мне картошку! — попросил он.

— Дело в том,— сказал Август примирительно,— что нам необходимо учиться у иностранцев. Другого выхода нет. Чтобы не отстать, мы должны подражать им. Или ты считаешь, что мы должны остаться единственным народом, который ничему не может выучиться?

— Мать выучила меня ткать,— упрямо отвечала Паулина.

А в г у с т. Ты говоришь точь-в-точь, как твоя сестра! Хозяя ведь совсем как ты. Сидит и ткет материю для платья. Ну на что это похоже? Как будто ей больше нечего делать! Я сказал ей, чтобы она лучше сходила к сестре в лавку и купила платье.

— А что она отвечала на это?

— Сказала, что эта материя никуда не годится, что в ней слишком много бумаги.

— Ну что ж, это правда,— говорит Паулина.— А теперь я скоро стану ткать тебе на платье, Эдварт. И уж это будет ткань на славу!

Эдварт очнулся; он поднимает на мгновенье голову и снова опускает ее.

— Я не нуждаюсь в нем,— говорит он.

Август бродит по окрестностям. Ему нечего делать, но он все же доволен собой, потому что фабрика была готова. Оставалось доделать еще совсем немного, так, кое-какие пустяки, да не хватало еще машин, но они должны были прийти в самом скором времени.

Он был доволен еще тем, что ему удалось построить фабрику, не разорив обоих акционеров из Вестеролена. Он не был кровопийцей, наоборот, он был добродушный и участливый моряк, а ведь судовладельцу Иверсену и Людериу Мильде было бы очень плохо, если б им, беднягам, действительно пришлось расстаться со своими коровами. Впрочем, если бы у фабрики не было другого выхода, Август не постеснялся бы и привлек бы их к суду. Так что он оказал им большую услугу, обратившись за деньгами в другие места.

Он заходит к Каролусу. Он ничего не имеет против того, чтобы поболтать со старым почтенным человеком, хотя жена его Ане-Мария далеко уже не та, что была раньше.

С тех пор как у нее появились приемные дети, она целиком ушла в них. Удивительно, до чего изменилась эта страстная, сумасшедшая баба! Верно, ей всю жизнь недоставало детей. Она была создана быть матерью, но судьба обманула ее.

Она сидит и читает газету, которую с некоторых пор выписывала. Муж тоже чем-то занят, но он кивает Августу и приглашает его сесть:

— Не стой в дверях, в горнице как будто есть еще стулья.

— Да здесь их по две штуки на человека, и даже больше, — польстил Август. — Бог на помощь!

Каролус играет с мальчиками. Это прямо-таки занимает его самого; он впадал в детство, хотя ему еще не более шестидесяти лет. Он очень ловко прячет кусочек грифеля в своих большущих руках, но мальчики уже изучили все его хитрости и тотчас отыскивают грифель, и при этом все трое весело смеются, вытирают доску и начинают новую игру. И так продолжалось довольно долго.

— Ну, довольно, пора кончить игру, — говорит Ане-Мария. Она складывает газету и обращается к Августу: — Что новенького на свете, Август?

— Да по правде говоря, ровно ничего. — Он добавляет, тут же выдумав: — Говорят, что сельдь идет.

— Хорошо, если бы так!

— Сельдь-то придет, это меня ничуть не беспокоит, — говорит Август. — После пронесшейся бури она двинется в про-

межуток между Гренландией и Норвегией и под конец войдет в фиорды.

— Да кончайте же наконец игру! — нетерпеливо говорит Ане-Мария.

Ей не нравилось, что мальчики так долго обходились без нее, обычно они оба висели на ней.

— В чем дело? — спрашивает Каролус.— А разве я не могу тоже побыть с ребяташками?

Она снова обращается к Августу:

— Да, ты ведь выстроил теперь твою фабрику и все такое. Отличный получился домина!

— Да ведь он крошечный на вид.

— Наверное, о нем напишут скоро в газетах. Я как раз смотрела, нет ли чего.

— Вероятно, — соглашается Август.— И в этом не будет ничего странного. Ведь в газетах пишут и о гораздо менее важных вещах.

— Да, это так. Все-то ты умеешь делать, Август, и все-то у тебя выходит!

В прежнее время, когда Ане-Мария говорила такие вещи, это означало что-то, и она сопровождала свои слова ласковым взглядом. Теперь же она говорила только для того, чтобы сказать, что ей нужно, и при этом глядела на Августа прямо, широко открытыми глазами, не тая в них никакой нежности. Нет, она была далеко уже не та, что раньше. Но, черт возьми, неужели ее никак нельзя вернуть к жизни!

— Пойдемте, мальчики, помогите мне! — говорит она и встает.— Пойдемте, сварим кофе.

Каролусу пришлось прекратить идиотскую игру и отпустить детей.

— Ты, кажется, говорил, — спрашивает он Августа, — будто появилась сельдь?

— Да, есть признаки, — отвечает Август и встает, чтобы уйти.— Я и не выдаю это за что-нибудь большее.

К а р о л у с. Да, по правде говоря, у нас нет особой нужды в сельди после всей той сельди, которую я купил на севере, в Сенье.

— Да, и к тому же еще загородили сельдь у Птичьего острова, — присовокупляет, чтобы не отстать, Август.— Но если появится сельдь, то будет сельдь и для фабрики, а ведь это как раз нам и нужно. Если будет сельдь, то будет и заработок, и деньги, и занятие для всех.

— Что же ты стоишь? Ведь ты не собираешься уходить? Подожди кофе! Да, заработок нужен очень многим, в особен-



ности беднякам, которые нуждаются в деньгах. Но что касается меня, то я никак не могу взять на себя еще какое-нибудь дело, я и так занят по горло. Куда ты торопишься? Войди и сядь! — говорит он Августу, стоящему в дверях.

Август идет на кухню, открывает, ни слова не говоря, дверь и входит.

Ане-Мария взглядывает на него, тотчас понимает, зачем он пришел, отступает, качает головой и говорит тихонько:

— Чего тебе надо здесь?

— А ты как думаешь?

— Мальчики побежали за дровами, — говорит она, — они сейчас вернутся.

— Нет, они не придут!

Он глух и слеп, он схватывает ее и хочет повалить на кучу хвороста, но встречает сопротивление.

Она решительно говорит ему:

— Оставь меня!

И так как это не помогает, то она напрягает все свои силы и отбрасывает его к стене. Как раз в это время вошли мальчики и усталились на них, и они оба принуждены были засмеяться и пошутить.

— Черт знает, до чего ты сильна! — говорит он.

— Ничего не поделаешь! — отвечает она. — Вот умные детки, хорошо, что сходили за дровами. А теперь оставайтесь тут, больше не надо ходить: кофе уже кипит, — говорит она и снимает кофейник с треножника.

Ей стало жаль этого чудака Августа, очутившегося в положении человека, который дошел до самой двери и вынужден вернуться обратно. О-о, сейчас ей не чуждо его душевное состояние, она грустно улыбается и качает головой.

— Теперь уже нам поздно, Август, — говорит она. — Нечего нам дурака валять.

А в г у с т. Но ведь осенью еще не было поздно?

— Осенью — нет, но где ты был тогда? Ты пропал, и хорошо сделал, потому что я стала думать о других вещах. Ведь мы оба с тобой — не годовалые телята, наше время прошло. А теперь пойдем в горницу, ты выпьешь кофе. Это так полезно людям в нашем возрасте.

Ему ничего не оставалось делать, как пойти вместе с нею, но по дороге он сказал ей:

— Уж когда-нибудь я добьюсь своего!

— Не смей и думать об этом! — отвечала она.

Он и сам понимал, что потерял ее. Ане-Мария была достаточно тверда, и как бы она низко ни опускалась, она всегда высоко держала голову. Ведь это была та самая женщина, которая не побоялась отказать в спасении человеку, завязшему в болоте, и дала ему утонуть. И она стойко перенесла разговор суда и людское осуждение.

Мальчики, войдя в горницу, рассказали, что приемная мать боролась в кухне с Августом и одолела его.

— Я так и думал, — сказал Каролус.

Она все еще кружила головы мужчинам! Он был рад, что Август вернулся в горницу и тотчас снова начал болтать с ним о своей грандиозной покупке сельди в Сенье:

— Подумай, дорогой мой: сначала одна нагруженная лодка, потом другая, тоже с грузом сельди, и все с одной сельдью, с лучшей сельдью первого сорта.

Болтовня и хвастовство. Но Август слушал, у него была своя цель. В сущности, он зашел сюда, чтобы получить новую поддержку от толстосума; интермедия в кухне была глупой выходкой, вызванной игрою его фантазии, и ничего общего не имела с его делом. Он пьет кофе, чашку за чашкой, и слушает бесконечную болтовню, то и дело поддакивает он Каролусу, чтобы расположить его в свою пользу. Каролус не мог вдоволь насладиться, имея его своим слушателем:

— Но ты сидишь на скамье, Август, пересядь в кресло! — говорит он.

И Августу волей-неволей приходится занять единственное кресло в горнице и слушать дальше. Наконец и ему удается взять слово:

Гм! Следует заметить, что до сих пор Каролус всегда поддерживал фабрику. Если когда-нибудь опять понадобится помощь, не поручится ли он еще раз и не поможет ли получить немного норвежских крон и эре из банка? Только на самый короткий срок, пока не будут оплачены сполна акции.

— Но разве цемент не оплачен? — спрашивает Ане-Мария.

— Давным-давно, нашла о чем вспоминать!

Нет, осталась лишь кое-какая отделка: двери и окна, машины, мешки и бочки для сельдяной муки, канаты. Одним словом, не так уж много чего, но все это нужно. Не согласится ли Каролус замолвить словечко?

Каролус думает и соглашается. Да, он это сделает. Фабрика будет иметь большое значение для бедняков и нуждающихся, и он не посмеет уклониться от участия.

А н е - М а р и я. Ах, не обещай теперь слишком много, Каролус!

Каролус с достоинством:

— Я полагаю, что могу себе позволить это.

Ане-Мария спрашивает:

— Но ведь, кажется, Паулина предупреждала тебя на днях?

Каролус удивляется:

— Да. А ты откуда знаешь?

— Она и мне говорила.

Это заставляет Каролуса задуматься.

— Так, она тебе тоже говорила? — спрашивает он обиженно. — Не знаю, на каком основании она могла это сделать? Паулине не следовало бы болтать по приходу о таких вещах.

Август тоже вмешивается:

— Паулина становится совершенно невозможной. Если бы вы только знали, что она говорит мне! Что я попаду на содержание прихода, что мне нечем даже оплатить свою собственную могилу.

— Но у Паулины хранятся все книги и все деньги, — говорит Ане-Мария, — она отлично знает, как обстоит дело с каждым из нас.

— И я тоже знаю. Я сам сижу в правлении банка и каждый раз подписываю свое имя, — говорит Каролус. — Одним словом, Август, будет так, как я сказал. Как только тебе понадобится, я помогу тебе.

Август благодарит: он так и знал, Каролус не мог поступить иначе. Да и Ане-Мария тоже: ведь она первая поняла, какой капитал лежал в земле, отошедшей под постройку.

— Деньги, — тихо говорит она, — деньги становятся редки.

Каролус добавляет:

— У нас пока еще есть, сколько нам надо.

Август громко смеется:

— Я думаю.

Он счастлив и рад за фабрику, рад тому, чего ему удалось достигнуть; он пьет кофе, выгибая локоть, и называет мальчиков принцами. Прежде чем уйти, он дает своей фантазии свободный полет и рассказывает о необыкновенном приключении, случившемся на другом конце света.

Паулина опять дает ему понять, что она недовольна им; она ворчит на него за его безделье и шатанье по местечку и как будто даже немного ревнует. Она говорила ему:

— Я не понимаю, чего ты ищешь в избах и вокруг них! А когда он отвечал, что он ходит к людям и разговаривает с ними, Паулина фыркала и бормотала:

— Да, конечно, ты ходишь к людям вроде таких, как Теодорова Рагна!

Но вот она спрашивает его прямо, без обиняков:

— Отчего ты не съездишь со своими бумагами в Норвежский банк?

А в г у с т. Разве могу я уехать сейчас, когда я каждую минуту жду прибытия машин?

Но, впрочем, и Август сам был расстроен и не в духе. Не получив никакого ответа от машинной фирмы в течение двух недель, он принужден был телеграфировать еще раз.

— Я отправлю телеграмму завтра, по дороге в церковь, — сказала Паулина.

Она взяла телеграмму и опять уничтожила ее.

За этот новый период ожидания Август придумал целый ряд планов. Так, ему пришло в голову возобновить попытку ввести нумерацию домов в Полене. До сих пор только большая изба Каролуса имела номер, и это был номер 1; почему бы великолепным виллам Габриэльсена и Ролансена не быть номерами 2 и 3? Следующие все более и более крупные номера можно было бы дать всем остальным избушкам, вплоть до самых лодочных сараев. Он затруднялся несколько с домом Иоакима-старосты, заключающим в себе и банк, и лавку, и почтовое отделение, и все прочее, но так как номер 1 был уже отдан, то Иоакиму оставалось только получить букву А. В каждом городе улицы имеют свои названия, а дома — номера, и очень часто также и буквы. Все сводилось теперь к тому, чтобы разыскать умелого человека, который мог бы нарисовать номера; лучше всего это сделал бы сам Иоаким, но к нему не имело смысла обращаться: у Иоакима не было сознательного отношения к своему городу.

Прошла еще неделя, а он все еще ничего не получал от машинной фирмы. Черт знает что такое! Он ходил по городу и исследовал, как перенесли его елки зиму. Он нарочно задерживался у каждого дома и старался, чтобы его увидели в окно; он становился на колени, втыкал в землю мерку и делал вид, что он действует по всем правилам науки. И что же? В этих крошечных созданищах, в этих маленьких растеньищах теплилась жизнь; это было почти невероятно, они поднимались из земли, как южное чудо, как дружеский привет здешним северным людям. Когда он убедился в том, что они живы, он вдруг растрогался.

— Боже мой, как хорошо! — сказал моряк. В нем вспыхнуло вдруг что-то детское, какая-то нежность, молитвенное настроение.— Боже мой, боже мой! Одно дело — мертвые машины и индустрия, и совсем другое — жизнь...

К нему выходили из избы и просили позволения посадить картофель на его огороженной земле.

— Ни в коем случае!

Они жаловались, что у них не осталось ни фута земли, нет даже нескольких дюймов земли, чтобы посадить шесть картофелин. Что же с ними будет теперь? Ведь они такие бедные, у них дома маленькие дети.

Он не мог уступить им этого клочка, он собирался посеять на нем кое-что, нечто замечательное, чего они никогда еще не видали.

Дело в том, говорили они, что у них, может быть, и хватило бы земли на мерку картофеля возле избы, да Август посадил там елки осенью, так что теперь им совсем капут.

— Подождите немного. Вот пустим фабрику,— говорил Август,— тогда вы будете зарабатывать деньги и сможете купить картофеля, сколько вам нужно.

Он ушел от них, взял да и ушел. Было невыносимо слушать все эти жалобы. Когда он отказывал нищим на островах Фиджи, те уходили от него; а как поступали обитатели Поле-на? Продолжали виснуть на нем.

Они приходили опять, были жалки и не скрывали своей нищеты. Они теперь уже предвидели, как плохо им придется осенью, когда картофель с юга будет съеден, а своего не будет в земле. Не позволит ли он им посадить хоть по полуведру на его поле? Ведь с божьей помощью в сентябре у них будет по пяти ведер, если урожай будет сам десять, и это было бы замечательным подспорьем для них осенью.

Август не посмел больше откладывать: эти люди были способны применить в один прекрасный день насилие и устроить все по-своему, как зимой; он разыскал Родерика и поручил ему обработать поле. Родерик вскопал его, унавозил, разровнял граблями, поднял по краям, еще раз разровнял граблями, у Иоакима заняли решето,— готово!

— Какой у нас день сегодня?

— Четверг.

— Подождем тогда,— сказал он Родерику.

Пятницу он тоже пропустил. Пришла суббота, это было под праздник, как-то более набожно; к тому же была мягкая погода, первый теплый июньский день, мелкий дождик.

Он стоит с двумя мешками: в одном — семена, в другом — зола; он тщательно смешивает семена с золою и говорит Родерику: — Я буду сеять, а ты сверху засыпай землей через решето. Сними шапку! Ни с кем не разговаривай, если кто-нибудь придет, и не отвечай им!

И он сам снимает шапку и сеет.

Родерик не ребенок, он отлично понимает, что священнодействует и сыплет через решето землю во имя отца, и сына, и святого духа.

Конечно, от взоров людей не укрылось, как двое людей без шапок ходили и сеяли что-то на Августовой земле. Стали подходить люди и смотреть на них; пришел Теодор, кое-кто из маленьких избушек.

— Что вы делаете? — спросил Теодор.

Никакого ответа.

Многие приходили и спрашивали, и никто не получил ответа. Они начали шепотом говорить между собою:

— Что же это за семена? Они какие-то темные, похожи на лебеду.

— Что вы сеете? — спрашивает опять Теодор.

— Молчи! — говорили ему остальные.

Бог знает, может быть, Август, без шапки и в дождь, сеял какой-нибудь волшебный порошок, может быть, это было какое-нибудь хлебное семя, которое могло прокормить весь Полен и было способно прорасти и созреть в течение трех дней! Август был необыкновенный человек, и когда он сеял и молчал, как убитый, это имело свои основания. Некоторые завидовали даже Родерику, которому досталась честь сыпать землю через решето и безмолвствовать.

— Нельзя ли мне зайти за загородку и поглядеть? — спросил Теодор, этот ненасытно любопытный попугай.

Как мог посторонний надеяться попасть за загородку в такую минуту! Вероятно, он думал попасть туда даже в шапке, эта обезьяна, совсем не соображая, что через колючее ограждение вообще нельзя перешагнуть.

Зрители дождались, когда сеятели надели шапки и опять могли заговорить. Но Август и тут не дал им никакого объяснения, он сказал, что когда придет время, они сами увидят, что вырастет из земли.

— А сколько времени на это понадобится? — спросил Теодор.

Уж этот Теодор! Он не понимал торжественности минуты! Они присутствовали, может быть, на церемонии со священным семенем, но Теодор ничего не понимал.

— Кончено! — сказал Август Родерику.

И оба сеятеля пошли прочь от зрителей, прочь от толпы, которая еще долго не расходилась.

## ГЛАВА XXII

---

Почему он не едет в Норвежский банк? Паулина прямо мучила его, без конца задавая ему этот вопрос. Ведь теперь же он мог ехать?

— Я не считаю нужным отвечать тебе больше, — сказал Август.

— Конечно, потому что эти твои заграничные бумаги — одна ложь и жульничество. Я готова биться об заклад, что это так, — сказала Паулина.

И она не знала, как бы еще больше задеть его самолюбие. Но Августа это ничуть не задевало. Мужчину он бы застрелил, от молодой, красивой девушки ушел бы глубоко оскорбленный, но с Паулиной ничего нельзя было сделать: уйти от нее было невозможно, — она имела большую власть.

Он приходил и справлялся о письмах каждый раз, как приходила почта. Если уж машинная фирма не сочла нужным телеграфировать, она во всяком случае должна была написать и поблагодарить за крупный заказ. Но письма не было, и Паулина едва отвечала ему. Случалось, что иногда она передавала ему письмо из-за границы. На конверте стоял штемпель Гамбурга, Мадрида или Копенгагена, а внутри лежали новые бумаги с крупными цифрами. Август не скрывал, что это — прибыль с серебряных рудников в Боливии или доход от виноградника, который был у него в Канаде. Но машинная фирма не писала.

— Как это понимать, Паулина? — спрашивал он.

Паулина была с ним чрезвычайно нелюбезна, она не утешала его, наоборот, она смеялась и дразнила его, если только не была занята. После зимней голодовки писание писем в Полене быстро стало возрастать, кроме того, многие стали выписывать газету; у Паулины в связи с почтой было немало работы. Она отлично знала все отношения в приходе и многое угадывала, исследуя письмо хотя бы только снаружи. Многие из них содержали в себе одни глупости и гадости, и она с трудом удерживалась, чтобы не сунуть их в печь: ну, о чем мог такой-то из Внутреннего прихода писать такой-то в Полене? Ни о чем, кроме как о любви, о поцелуях, объятиях и прочих гадостях!

Иногда Паулина роняла такое письмо на пол и несколько раз нечаянно наступала на него.

— Вот опять пришло письмо нашему директору банка, — сказала она Августу. — Конечно, это о займе, который у него имеется на юге. Я не хочу об этом говорить, но и в нашем банке у него изрядный долг.

Август сердился на нее и отвечал:

— Не суй свой нос в чужие письма. Тебя вовсе не касается, что в них написано. А потом Ролансен достаточно хорош для нас, у него красивый дом.

— Обезьяна! Может он прожить, что ль, на свой красивый дом?

— Да, он имеет кредит из-за него. Но я должен сказать тебе, Паулина, что об этом ты не можешь судить, потому что ты ведь только женщина. Ты не знаешь, какое значение имеет на свете кредит.

Паулина в бешенстве:

— Как там ни ври, но ты не получишь больше из банка ни одной кроны! Уж я сумею настоять на своем!

— Это не от тебя зависит, — сказал Август.

— О-о!..

И это, и многое другое зависело от Паулины. В ее руках была большая власть, — пусть Август запомнит это раз навсегда. Словопрение продолжалось, и предисловие было сущим пустяком по сравнению с тем, что последовало: Паулина наотрез отказалась признать поручительство Каролуса за машины.

— Как это так? — спросил Август. — Ведь сам же Каролус обещал мне поручиться за меня.

Паулина отвечала:

— Пусть так, но он не может сдержать своего обещания. У Каролуса ничего нет в банке.

При этом известии Август вытаращил на нее глаза: он считал это за шутку, глупую мальчишескую выходку. Такой человек, как Каролус, такая видная личность в Полене!

— Совершенно верно, у Каролуса были когда-то деньги, — соглашалась также и Паулина, — и много денег, против этого никто не возражает! Но он не умел обращаться с ними. Он вел себя совершенно как Август, — сказала она. Они оба не умеют ни считать, ни рассчитывать. Они умеют только тратить. А что сказано в писании? В писании сказано, что мы должны приумножать свой талант.

Август подумал немного и спросил, куда же Каролус дел все свои деньги.



Растрянжирил, прозевал их так же, как и Август, ручаясь за самые негодные займы в Полене. В самое последнее время его здорово надули при покупке сельди на севере, в Сенье. Да, нельзя не согласиться, что некоторые мужчины бывают порой удивительно умны!

— Но ведь что-нибудь да осталось у него?

— Ничего! — отвечала она. — Та капля, что еще осталась в банке, нужна Ане-Марии, чтобы как-нибудь продержаться летом.

— А почему бы Каролусу не употребить эти деньги на машины?

— Этого не будет! — отвечала Паулина.

Как так? Неужели она поступит по-свински с таким человеком, как Каролус?

Август сам поступает по-свински!

Он смотрел на нее и молчал, его глаза метали молнии, но он молчал. «Уж не вышибить ли ей два-три передних зуба, чтобы навсегда лишить ее возможности распевать псалмы в церкви?» — пронеслось у него в голове.

Хулиганство! Конечно, он не думал этого делать серьезно. Но все же осадить упрямую девушку он должен, должен.

— Однако, Паулина, это не твой банк, и ты не можешь отдавать хотя бы часть средств Каролуса его жене.

— А вот увидишь, — отдам!

— В протоколе значится, сколько имеет каждый в банке, и этого нельзя переменить. Берегись, Паулина, а не то я донесу на тебя!

Паулина, бледная от бешенства:

— Ты донесешь на меня? Я храню все деньги, которые поручены мне, и я сумею ответить за каждое эре, можешь не сомневаться! А этот банк твой, как ты его называешь, совсем и не банк, и он даже не зарегистрирован у высшей власти. Иоаким говорит, что все это незаконно. Просто несколько человек взяли, собрали деньги и поручили их мне, а потом опять выдали займы несколько тысяч крон; но насчитывать проценты нельзя, потому что это незаконно, — говорит Иоаким. И мне остается только хранить остаток денег, что лежат в шкафу, а если угодно вам их пересчитать, то пожалуйста ко мне.

— Да будет, будет! — останавливал он ее. — Передохни немного!

О-о, Август держался спокойно и разумно, но он был страшно подавлен; если бы она была мужчиной, он бы застрелил ее. Вот награда за все, что он сделал для Полена! Все пошло

прахом. Он не щадил самого себя, не страшился никаких трудностей, работал, не жалея сил, охотно тратил для дела свои собственные деньги. Он отдал все и оставил себе только чемодан, палку с клинком да пенковую трубку. Или, может быть, от тратился на пьянство и привольное житье? Но что мог тратить человек с пустыми руками? Все, что он заработал на страховании, на продаже невода, на стройках, он тотчас вкладывал в другие предприятия; каждый день его был борьбой с людьми и с судьбой. Ну чем он заслужил неприязнь бога и мира?

Но, может быть, где-нибудь во вселенной существовал взор, устремленный на него, власть, которая тем или иным способом узнала о его разрушительной работе? Он построил город, которому нечем было питаться, и фабрику без машин. Но разве у него не было самых лучших намерений? Однако этот провозвестник механики и промышленности работал бесплодно. Уже его первые шаги на поленской почве были отмечены бесплодием, половой болезнью; он произвел свой въезд вместе с грузом неестественной, мертвой пищи — с грузом консервов.

Понял ли он это теперь? Конечно нет. Он чувствовал себя только незаслуженно обиженным.

— Отлично! — сказал он вдруг и кивнул головой. Он был мрачен, зол, он был полон желчи. — Отлично! Вы все желаете только зла мне!

Паулина даже сразу растерялась; его слова и голос заставили ее насторожиться, он представился ей вдруг совсем иным, чем прежде. Она отвернулась от него, поглядела на свертки материй на своих полках и сказала:

— Я вовсе не желала тебе зла.

А в г у с т. Ты была хуже всех.

— Не говори так, я желала тебе добра. Я просила тебя образумиться и поработать хоть немного для самого себя. Ты бы мог скопить немного денег и отложить их на черный день.

— Я не собираю денег в чулок!

— А ты заплатил доктору?

Август смутился:

— Нет.

— Он был здесь два раза, когда ты был при смерти, и принес тебе много лекарств.

— Я за полцены уступил ему одну акцию фабрики.

Если Паулина и улыбнулась, Август во всяком случае этого не заметил.

— А потом, — сказала она, — ты ведь ни разу не подумал, что ты хоть немного должен за еду и за свое пребывание здесь во все это время.

Август выпрямился и в то же мгновение опять весь согнулся,— он, эта перелетная птица, весь съежился от стыда. Конечно, она сказала сущую правду, и он никак не мог отделаться от этой мысли. Столько раз в своей жизни он жила в гостиницах, пока его не выгоняли, и он никогда не думал о том, что могло быть иначе. Но тут было совсем другое дело.

— Подожди, вот я разменяю деньги! — пробормотал он.

— Я ничего от тебя не требую,— продолжала она, полная сознания своей правоты и великодушия,— но вовсе уж не так глупо собирать деньги в чулок! Иоаким ничего не говорил,— ты, пожалуйста, не думай, и сам ты даже не заикайся ему об этом. Но вот старший брат,— он все время платил за себя, пока ты не занял у него денег, хотя все в доме и без того принадлежит ему.

Перелетная птица, меньше всего он думал о своем собственном праве. Ему не приходило в голову указать на то, что ведь он, а не кто другой, учредил почтовое отделение в Полене и тем самым создал Паулине положение и заработок. До его появления она не занимала поста в банке, и у нее не было никакой власти; она только стояла за прилавком да заворачивала товары в бумагу и перевязывала их веревочкой.

— Подожди, вот я разменяю деньги,— повторил он еще раз.

— Это не к спеху,— отвечала Паулина.

И она не была кровопийцей, а только человеком порядка, и старалась перевоспитать необузданного поленца. Она вовсе не была жадна до денег, в ее книгах было столько «неоправданных» расходов, и к тому же эта взбалмошная женщина много месяцев подряд из своих собственных средств оплачивала содержание Августа, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать его поведение в глазах Иоакима.

В них обоих таились запасы сердечной доброты.

Паулина перешла к другой стене и смотрела вверх, на полки, она говорила, будто обращаясь к потолку:

— Нет, я никогда не желала тебе зла, Август. Я хотела, быть может, совсем недавно тебе только добра. Но я не хочу говорить об этом.

Она молчала, и он молчал. Она ждала, может быть, что он что-нибудь скажет как раз теперь, но он на это не пошел.

— Ты был слишком необуздан, по-моему,— сказала она.— Мне хотелось направить тебя на путь истинный.

Он молчал.

— Ты мог бы достаточно скопить себе, чтобы начать здесь, в Полене, жизнь скромную и приличную. Но ты не хотел и слушать меня.

Он молчал.

— Да нечего больше говорить нам об этом! — решила она вдруг и за него и за себя и направилась в контору.

Август пошел и сел у себя в комнате. Он был один, Эдварт работал в дровяном сарае. Он чувствовал себя в этот миг совсем обездоленным и считал себя погибшим. Внизу, у морского берега, ему была видна фабрика, построенная по отвесу и наугольнику, дом механики и промышленности, мельница, готовая молоть деньги; но ей не хватало машин, и следовательно все предприятие было обречено на гибель. И у него самого ничего не оставалось, кроме сомнительной славы вдохновителя Полена. У Иоакима-старосты теперь даже и этого не было.

Паулину можно было извинить: ведь она была только женщина. Эта ослица, может быть, и не желала ему зла, но у него до сих пор болела голова после столкновения с ее непоколебимой правотой и бесконечно скучной порядочностью. Что это она говорила: будто она хотела ему только добра? О, это животное, змея с лживым языком! Фабрика теперь уже могла бы молоть деньги, если б она захотела. Пять тысяч крон, предназначенных для фабрики, лежали в денежном шкафу.

Впрочем, Августа не покинули еще счастливые идеи: он решил, что он был бы вправе открыть шкаф и взять что ему надо. Ведь это было бы кражей своих собственных денег, вложенных в банк покойным Оттесеном специально на фабрику рыбьей муки.

Но как открыть шкаф? Паулина должна была отсутствовать; это случалось по воскресеньям, когда она бывала в церкви, что отнимало у нее не менее трех часов. Иоаким должен был отсутствовать; это случалось, когда он отправлялся часа на два в свою обычную воскресную прогулку в Новоселок. Два часа — это довольно много, это вполне достаточно для тонкой работы при помощи динамита, о чем он часто слышал, но чему, к сожалению, не выучился, — опять пробел в его образовании, такой же, как и неуменье ходить по канату. Итак, шкаф из-за его невежества придется вскрыть с задней стороны, разрубить топором по самому слабому месту; он попросит Родерика помочь ему при помощи лома отодвинуть шкаф от стены. На Ро-

дерика можно положиться: между ними и без того есть уже тайна. А Эдварт не может служить препятствием: он все воскресное утро просидит в размышлениях о самом себе у пяти осин на дальнем поле...

Была еще и другая возможность: под предлогом поездки в Норвежский банк он может отправиться на фабрику несгораемых шкафов и добыть себе новый ключ к комбинациям; такой «ключ» есть ведь не что иное, как бумажка с объяснением. Само собой разумеется, что он в конце концов научится понимать эти несчастные комбинации, это его не смущает...

Но до дела так и не дошло.

Однажды вечером он отправился в Новоселок. Почему бы не предложить кулаку Эзре несколько акций и не попытаться спастись таким способом?

Все семейство было в сборе. После целого дня работы на воздухе Эзра сидел и читал вслух газету, которую выписывал с недавних пор, а Хозяю и старшая дочь пряли. Прилежание и уют, божье благословение и довольство собою. Двое детей помоложе сидели и чесали пряжу.

Хозяю встала:

— К нам гость! Садись, пожалуйста, Август!

— Нет, я не сяду. Я на минутку.

— Что скажешь новенького? — спрашивает Эзра.

— Говорят, идет сельдь.

— Вот хорошо бы было!

— В особенности для моей фабрики. Я теперь каждый день жду свои машины.

— Чего ты только не устроишь! — говорит Хозяю.

Август тотчас привязался к ее словам:

— Вот видишь, Эзра, фабрика выстроена, так что теперь ты можешь взять две-три акции.

— Нет, это мне не по силам.

— Просто ты не хочешь. Ты хочешь, чтобы все было, как сейчас: только бы свести концы с концами.

— Ты прав, пожалуй, — соглашался Эзра.

— Но я не могу жить так. И теперь я хочу, чтобы ты взял две акции, я говорю серьезно. Я бы сам мог заплатить за машины, но у меня только крупные заграничные кредитные билеты, и я должен их разменять сперва. Ты, верно, их видел?

— Нет.

— Вот досадно-то, что я их не захватил! Ты бы в них, конечно, разобрался. Одним словом: две акции!

Эзра пропускает это мимо ушей.

— В первый раз, когда ты вернулся домой, в Полен, ты учил нас обрабатывать землю, учил нас осушать болота и строить удобные службы. А теперь об этом больше что-то не слышно от тебя.

— О-о! — взвизгивает Август и хватается за голову. — Я давно это бросил, это не оправдывает себя, этим не зарабатываешь денег. А как поступают в других местах, когда дело не оправдывает себя? Принимаются за что-нибудь другое. Почему бы и нам не поступить так же, почему бы не последовать хорошему примеру? Взять хотя бы тебя, Эзра, и тебя, Хозея. Ну что вы имеете за все ваши труды с землей и скотиной? Превращается ли это в мягкий, пушистый меховой воротник на шею вашей дочке, что вот здесь сидит? Или в душистую гаванскую сигару в твоих зубах, Эзра? Я не говорю, что это совершенно необходимо, но зачем нам отставать от других? Никогда вы не выиграете в лотерею, никогда не съездите в город; как живете, так и умрете в Новоселке. Ну почему бы вам не посмотреть на слона? Сколько бы вы ни старались, все уйдет на кашу к ужину да на налоги общине и королю. Разве я не прав?

— Пожалуй, что и прав, — снова соглашается Эзра.

Август продолжает проповедовать; его уверенность в том, что он провозглашал, была чрезвычайна, он не знал сомнений, вера делала его самонадеянным до дерзости. Положение вещей в Полене угнетало его, ничто не двигалось вперед; мир, как бешеный, мчался все дальше и дальше, а Полен оставался на месте. Взять хотя бы то, что когда-то, в прежние времена, перед этим самым Новоселком он очистил скалы от торфа, — пользовались ли теперь этими скалами? Приходят ли сюда лофотенские шхуны, чтобы сушить на них здесь рыбу? Ведь это давало хороший доход, дети и женщины зарабатывали деньги; теперь скалы оставались пусты. И потом даже отсюда, из окна, видно было здание на морском берегу, построенное по всем правилам науки из цемента и железа, — фабрика. Она замолла бы деньги всюю, только бы пустить ее в ход.

— А что же ты будешь фабриковать? — спросил Эзра.

— Сельдяную муку. В огромном количестве. Бесперывное производство. Вывоз. Это самое полезное, что можно себе представить в настоящее время, великая благодать для Полена: деньги в изобилии, уровень жизни повысится, налогов — как не бывало, так как тяжесть всех поленских налогов ляжет на фабрику. Итак, две акции, Эзра?

— А ты уверен, что всегда будет сельдь?

Это так верно, как то, что он, Август, сидит сейчас здесь! В том или другом месте, на побережье всегда есть сельдь. Эзра сам отлично это знает, ведь он получает газету и читает ее.

Эзра миролюбиво возразил, что сельдь во Внешнем Полене и сельдь на юге Норвегии — далеко не одно и то же для его фабрики. Сейчас есть сельдь у Хаугесунда, но сколько же будет стоить провоз ее оттуда? Неужели суда пройдут девять градусов широты к северу, мимо сотен фабрик рыбьей муки на берегу, чтобы попасть на фабрику в Полен?

Август смутился.

— Ну, все-таки,— сказал он,— пока еще нельзя сказать, чтобы здесь поблизости вовсе не было сельди. Я сам убедился. Ведь вот я сообразил тогда зимой, что здесь есть сельдь, когда послал Иоакима в море с неводом.

Но все же на возражение Эзры было трудно что-нибудь ответить. Август барабанил пальцами по столу и думал; под конец ему удалось преодолеть некоторое внутреннее беспокойство. И вдруг этому человеку, обычно спасавшемуся из трудного положения при помощи какого-нибудь фортеля, пришла в голову действительно идея. На тот случай, если здесь, на севере, не будет постоянно сельди, фабрика не останется без работы. Август никогда не думал молоть только сельдь, у фабрики было два назначения: вторым из них было — молоть торф.

— Торф? — переспросил Эзра.

— Да, торф.

Он не станет рассказывать Эзре о пользе торфяной подстилки в конюшне и в хлеве,— но это значит удвоить количество навоза. А для него такая комбинированная фабрика рыбьей муки и торфяной подстилки не является новостью. Это будет, пожалуй, десятая, выстроенная им по этой системе или, чтобы не преувеличивать, шестая или седьмая, если считать ту, что в Китае.

— Замечательно! — сказал Эзра и покачал головой.

И здесь имеются такие обширные пространства глубоких торфяных болот вплоть до самого Внешнего Полена. И потом он узнал недавно, что весь Птичий остров — сплошное торфяное болото. Какой это даст прирост навоза для всего мира!

— Замечательно! Но, пожалуй, было бы столь же разумно превратить все это болото в пашню?

— Опять все то же! — раздраженно восклицает Август.

Пашня, это, конечно, очень хорошо, против этого ничего не скажешь, но ведь это не дает денег. Ведь у Эзры у самого

есть пашня, но разве может он купить себе хоть что-нибудь? А фабрика, превращающая торф в подстилку, — это все равно, что серебряный рудник. Конечно, производство в широком масштабе, экспорт пароходами за границу. В этом отношении фабрика построена очень удачно: она доходит до конца отмели, огромные пароходы могут подходить вплотную и в тот же день и час при помощи крана получать свой груз. Эзра обыкновенно говорил, что у Полена нет окружающей его земли. Ну что ж из этого! Фабрика превратит Полен в порт, как например Роттердам в Голландии. Будут приходить и уходить суда, капитан будет стоять на мостике и отдавать команду; офицеры и экипаж — на своих местах, канаты — на берег.

— Замечательно!

— Пожалуйста, откушайте! — говорит Хозяя, поднося угощенье.

— Боже мой! — восклицает удивленный Август. — Целую вечность я не видал ничего подобного.

— Это от нашего сына из Троньема, — гордо говорит она. Эзра объясняет более подробно:

Да, их сын живет в крупной усадьбе, в Троньемском округе; он был послан туда, чтобы выучиться как следует земледелию и кузнечному ремеслу для нужд своего хозяйства и затем вернуться домой и помогать. И что же! Теперь он не хочет возвращаться домой! Зачем ему ехать домой, какая тут будущность? Он поехал в Троньем и хочет там жить. По какой части он там работает, бог его знает; вернее всего — делает что придется: один день занят в хлеву, другой — на пристани. Там другая будущность, чем здесь! А теперь вот он прислал домой две бутылки вина, ха-ха-ха!

Август выпил свой стаканчик, и ему налили еще; он говорил от всего сердца, — жизнь, эта несравненная комедия, занимала его чрезвычайно. Дух времени сошел на него, он мог говорить на площади. Тонкие переходы были ему чужды, но он был знаток в таких вещах, как продукция и потребление, цирк и театр, промышленность, забастовки, конгрессы и прочие международные развлечения.

— Ну, что тут удивительного, что ваш сын хочет остаться в городе? Но сейчас мы наблюдаем такого рода явление, что в городе желает жить гораздо большее количество людей, чем город может вместить. Как помочь этому чрезвычайному жилищному кризису? Да, государство может помочь: оно должно расширять старые города и строить новые. Непременно! А то на что же это будет похоже, если людям нельзя будет жить там, где им хочется? Так что не будет



ничего странного, если в Полене поселятся тысячи людей, церковь и кладбище перенесут тогда сюда из Внутреннего прихода, и начальство, и генералы, и епископы будут жить здесь, каждый в своем громадном дворце. Фабрика рыбьей муки? Хе, и говорить не стоит об одной фабрике. Десять фабрик, множество фабрик, сотни машин на полном ходу, свистки, гудки и сирены по всей окрестности, над морем и над сушей!

Еще стаканчик.

Эзра ничего не сделал, чтобы прервать эту высокопарную болтовню, да кажется и внимания не обратил на нее. Он продолжал подсмеиваться над сыном в Троньеме:

— Видите ли, здесь ему недостаточно хорошо, нельзя заработать, нет будущности. Ну, что же, он угаснет, как свеча, и преждевременно сойдет в могилу!

Хозяйку заступилась:

— Он еще вернется! Пусть попробует поносить покупные чулки.

Эзра продолжал свое:

— Здесь жил человек, что прозывался Мартин Рулевой. «Избушка моя мала, — говорил он, — в ней всего одно окно, да и то низенькое. Всю мою жизнь мне приходилось нагибаться, чтобы поглядеть в верхнее стекло; сидя на скамейке, я мог глядеть в нижнее. И то, — говорил Мартин Рулевой, — бог дал мне дожить до восьмидесяти лет!»

О-о, Августу ничего не стоило бы разбить по всем пунктам Мартина и его взгляды, но ему не хватало духу на это: он не был жестоким, он никому не желал зла.

— Забавно бы было, если б мы все еще жили как при Мартине Рулевом, — сказал он.

Тогда бы он, Август, до сих пор продолжал скупать собачьи шкурки, играть на гармонике и зарабатывать себе на соль. Но он на своем веку объездил весь свет, нет такого местечка на земном шаре, где бы он не был, и таким образом он узнал один народ, который не стремится к лучшему и ничему не хочет учиться, и живет у Черного моря. Черное море для настоящего моряка просто лужа, все равно как жалкое Балтийское море. Так вот у Черного моря проживает теперь этот народ. Они там всегда лушат какие-то семечки, а шелуху выплевывают, потом опять набивают рот, лушат семечки и снова выплевывают. Целое облако шелухи вылетает у них изо рта. Ну, имеет ли это какой-нибудь смысл в наши дни, когда можно курить настоящие гаванские сигары, которые в прежние времена были доступны только одним королям? Он ни-

когда не забудет, как он подарил однажды вождю малабарского племени такую сигару, а вождь дал ему за это двух своих жен.

— Как? Ну что ты? — переспросила недоумевающая Хозея.

— Но я их не взял, — закричал Август. — Взять двух женщин за одну сигару! Неужели она такого плохого мнения о нем? Наоборот, вождь получил еще одну сигару задаром и ни за что. Но сейчас, вот здесь, они видят человека, который стремится вперед и хочет приобщиться ко всякому нововведению и прогрессу. А те, у Черного моря? Дрянной народ, бездельники, одеты в лохмотья и живут в хижинах, шатаются целый день, а потом спят. И Эзра хочет, чтобы обитатели Полен стали такими же? Но прежде чем церковь и кладбище перевели в Полен, люди здесь были все равно как бессловесные дети. Они должны были ходить во Внутренний приход причащаться, там же и хоронили их, так что Полен не владел даже своими собственными трупами.

— Так вот помоги нам, Эзра, с устройством первой фабрики.

Хозея поставила на стол хорошенькую коробочку — папиросы.

— Папиросы! — воскликнул Август и всплеснул руками. — И чего только у вас нет!

— Да, и вот это тоже он прислал, я забыл об этом, — сказал Эзра с налившимися кровью глазами. — Две бутылки вина и вот это!

А в г у с т. Вы позволите взять одну и закурить?

— Кури, выкури их все, возьми их с собой! Давно уже прошло то время, когда я был мальчишкой и курил цыгарки.

И Август закурил с видом знатока и похвалил товар:

— Отличный табак, дорогой марки, американский! Ну, разве нет различия между этим и тем, чтобы пускать изо рта целые облака шелухи?

Но он мог говорить сколько угодно, — его хлопоты о фабрике не увенчались успехом: Эзра был упорен и не взял ни одной акции. Пусть уж Август извинит, у мужика Эзры есть его Новоселок, он принадлежит ему, он купил у Каролуса его дальний участок и возделал его, поработав и руками и головой. То, что здесь был его дом и дым его очага, — этого добился он сам, но то, что маленький, красивый ручеек лето и зиму бежал мимо их избы, — это было от бога.

Август шел домой, покуривая, он чувствовал еще в себе вино и не был угнетен или принижен. Итак, фабрики пока не будет, но это его ничуть не расстраивает: пусть не будет, напле-

вать! Он поездил по белу свету и видал виды, он знал, что будет дальше. Вполне может случиться, что сельдь исчезнет на некоторое время: она вроде пассажирского парохода, который возьмет да и пропустит остановку. Но она вернется в Полен, цены на землю и дома увеличатся во много раз, фабрика рыбьей муки получит свои машины, церковь переведут из Внутреннего прихода, город разрастется. Ничего не потеряно, все пойдет своим чередом. Под конец за ним приедут—таки в карете, запряженной шестеркой или — чтобы не преувеличивать — четверкой лошадей.

Он вдруг остановился и поднял руку, как бы водворяя тишину:

— Дорогие мои, если весь свет идет моим путем, не значит ли это, что путь мой правильный? Настанет время, когда и Полен в Норвегии принужден будет сдать!

И он пошел дальше, щегольски подкидывая ноги и сожалея о забытой трости, он распахнул куртку и подбоченился. Чрезвычайно сильно действовало это вино на свежем воздухе.

## **ГЛАВА XXIII**

---

То, что Август и Родерик посеяли, взошло. Вдоль всего стебелька на каждом растении торчали листочки, образуя в целом зеленый ковер, странную травяную поросль, таинственную и необычайно много обещающую. Что-то из этого выйдет?

Август каждый день посещал свою плантацию, выходил, как барин, с тростью в руке, как бы только для того, чтобы взглянуть на свои владения, но, будучи от природы человеком деятельным, он вскоре откладывал трость в сторону и начинал возиться с маленькими созданиями. Повсюду он ползал, вырывая сорные травы, некоторым растеньицам он давал возможность выпрямиться, освобождая их от двух лишних листочков у основания стебелька. Это была чрезвычайно кропотливая и тонкая работа, вовсе не похожая на то, как полют репу, например.

Он гордился своим полем, окидывая его критическим взглядом: посмотрим, все ли в порядке, нет ли каких недочетов? Почва для растений, по-видимому, вполне подходящая, и разрастаются они как следует. Его плантация обещает быть вполне удавшейся.

Приходил народ и смотрел, как он работает. Он не появлялся больше с обнаженной головой, но все-таки никто

не решался подходить к нему слишком близко; он не отвечал на вопросы, он держал всех на почтительном расстоянии от себя. Но это не было вовсе шуткой или кривляньем с его стороны, что он держался так таинственно; он делал это исключительно для того, чтобы уберечь свое поле от обитателей Поленна.

Пришел Теодор. Он купил себе новую желтую зюдвестку и разгуливает теперь в ней повсюду и показывается всем. Он поднимает тулею кверху и наклоняет ее вперед, поднимает ее кверху и наклоняет ее назад; потом надевает фуражку набекрень, а иногда снимает ее и сдувает с нее пыль и сор. Боже мой, у этого старого младенца куриное тщеславие, не больше, но с него и этого достаточно. Он все еще недоросль, но делает вид, будто он совсем взрослый. Голова его не годилась для решения великих вопросов, он не мог рассуждать о боге и о судьбе, о жизни и смерти без того, чтобы не намолоть при этом невероятной ерунды. Но зато он и не обижался, когда никто не обращал внимания на его слова, нет, ничуть. Словно в нем жило глубокое сознание, что он всего лишь муравей, что есть муравьи, у которых есть крылья и они летают, но он сам лишь пеший муравей, ползучий муравей. Теодор не был хуже того, чем он мог бы быть. Он выучился разбирать буквы и может совать нос в чужие письма; у него длинные руки и известная способность стянуть что-нибудь такое, но воров определенного калибра его отнюдь нельзя было назвать. Впрочем, жизнь ни разу не поощрила его склонности к чужой собственности в виде более или менее крупной добычи.

Теодор непременно уж там, где люди. Приближаясь к Августу в своей новой желтой зюдвестке, с непринужденностью женщины подняв кверху свой нос, он имеет вид человека, которому надо поговорить по делу. Но Август не понимает его, Август понимает только свою механику и прочую современность в людях, по этому-то делу Теодора и не выгорело.

Он сказал — и притом был вежлив и говорил на «вы»:

— Интересно узнать, что вы здесь посеяли?

Никакого ответа.

— Вполне возможно, что вы не хотите говорить этого всем, но, может быть, скажете мне.

Август даже и не слушает, что говорит Теодор, что говорит это ничтожество.

— Это сильно напоминает картофель, — пытается угадать Теодор.

Никакого ответа.

— А может быть, это новый сорт репы?

Август вдруг как будто очнулся и отвечает:

— Нет, это картофель.

— Вот видите, значит, я угадал! — восклицает Теодор, очень довольный. — Я сразу заметил, что похоже. Но ведь это какой-то новый сорт картофеля?

— Да.

Однако для Теодора большая честь, что ему вообще ответили, он воспользовался случаем и заговорил; говорил без конца. В заключение ему стало интересно узнать, есть ли уже клубни на корнях.

Никакого ответа.

— Не разрешите ли вы мне зайти к вам за изгородь, чтобы посмотреть несколько корешков?

Август стоит мгновенье будто в нерешительности, затем он схватывает трость, вытаскивает клинок и делает прыжок в сторону преступника. Он в ярости делает выпад. Хорошо, что он был в ярости, — он плохо нацелился и не попал. Он продолжает колоть сквозь изгородь, делая все большие и большие размахи, по мере того как Теодор отступал все дальше и дальше, наконец перестает и кричит:

— Посмей только войти внутрь! Посмей только!

Теодор идет домой. Ему ничуть не обидно, что его прогнали, это сущий пустяк. «Но до чего он рассердился!» — думает он. «У него в палке ножик!» — думает он дальше. Во всяком случае Теодор явится в местечко с великой новостью, что Август посеял на своем клочке поля картофель, посеял новый сорт картофеля в виде порошка. Распространение этой новости по избам возьмет у него по крайней мере полдня.

Желтая зюдвестка и важная новость целиком захватывают Теодора. Конечно, он был наименее несчастным из всех несчастных людей Полена.

А что же с тем, который остался на месте? Август — это, пожалуй, муравей с крыльями, который может летать; но завидовать ему уж вовсе не стоит: он не летает на своих крыльях, он только машет ими, а махать крыльями трудно и утомительно и часто надоедает.

У Августа бывают неудачи, и не будь он так бесконечно легкомыслен, он не всегда бы мог махнуть рукой на всякую ответственность и на все свои заботы. Так, например, совсем незадолго до троицы он наткнулся на человека, который вырывал из земли елочки, посаженные перед его избой.

— Зачем ты это делаешь, скотина ты этакая? — резко спросил Август.

— А что мне делать? — отвечал человек. — У меня нет другой земли, кроме этой полоски, и вот я, помолясь, сажаю на ней немножко картошки!

— Тут было десять елочек, — сказал Август, — напрасно я сажал деревья перед твоей избой!

Но Августу пришлось наблюдать то же явление и возле других избушек по дороге вниз к морю: все мужчины были заняты вырыванием его елок и посадкой картофеля на их место. Это были те самые люди, которые смотрели, как он ходил с обнаженной головой и сеял священное чудесное семя; верно, та торжественная минута не захватила их, и они заподозрили его в кривлянье и балаганщине. Дикарь из Патагонии — и тот понял бы, что тут происходило нечто религиозное, и упал бы, уткнувшись носом в землю.

Но он ничего не мог поделать с этими людьми из маленьких избушек. «Пусть вредят сами себе! — думает он. — Они не получают больше от меня ни одного деревца!»

Возьмем теперь муравья Теодора. У него не бывает неудач такого рода, потому что он никогда ничего не предпринимал. Август встречает его в тот же день, несколько позже. Теодор — точь-в-точь такой же, как всегда, ходит из избы в избу, показывая свою зюдвестку и рассказывая свою новость, ползучий муравей, у которого как будто есть свое дело. Кое-где его угостили кофе, кое-где дали нахлобучку, — и из этого Теодор заключает, что он повсюду желанный гость.

Август встречается с Эдвартом, но и от него ему радости мало. Эдварт идет вразвалку от лодочных сараев, где, по поручению артели, он должен был осмотреть и починить лодку и снасти.

— А разве у твоей фабрики не будет трубы? — прямо спрашивает он Августа.

Август озадачен. Он был раздражен заранее, и его легко было рассердить:

— Что, труба на фабрике? Наконец-то выдумал хоть что-нибудь! Да, ты остер, нечего сказать!

Эдварт бормочет:

— Я давно уже заметил, что не хватает трубы.

— И подумал, конечно, что я забыл про нее? Но скажи, пожалуйста, мог ли я ставить трубу на здание, пока я не решил, чем буду топить? Предположим, что в один прекрасный день я решил бы приводить машины в движение электричеством, — потому что эта область мне тоже не безызвестна. Ну, на что бы мне тогда была нужна труба?

— Н-да, — говорит Эдварт.

— Ну, вот видишь! А крышу все-таки нужно было построить, ведь не мог же я оставить строение без крыши. Ах, Эдварт, Эдварт! А ты думал, что я забыл про трубу!

Эдварт хочет уйти.

— Но мне кажется,— говорит Август,— что мне не обойтись без трубы, и она будет в полтораста футов вышины.

— А чем же ты тогда будешь топить?

— Ну, а как по-твоему? Откуда здесь я возьму электричество? Я принужден сложить трубу. Но раскрыть крышу ровно ничего не стоит, этого я не боюсь.

Эдварт опять хочет уйти.

— Я буду топить торфом,— говорит Август.

— Торфом?

— Да, торфом. Ты думаешь, может быть, что торф дает меньше дыма, чем уголь, но ты ошибаешься. Торф дает превосходный дым. Я все это высчитал, у нас будет чрезвычайная, громадная добыча торфа; здесь ведь болото до самого Внешнего Полен, и потом мне предлагают болото еще в другом месте.

Э д в а р т. А разве надо так много болот?

Август смягчается. Ведь что-нибудь да значило добиться от Эдарта двух-трех-вопросов, и вот Август пользуется случаем, чтобы объяснить все. Фабрикация торфяной подстилки в крупном масштабе, сельдяная мука будет лишь незначительным добавлением, и то лишь в особенно богатые сельдью годы. Да, торфяная подстилка для экспорта, товар для мирового рынка, количество удобрений удвоится, огромное производство, больше не будет свободного тоннажа в Норвегии. Что думает Эдварт об этом?

— О, да! — сказал Эдварт.

А в г у с т. Я проведу небольшую железную дорогу во Внешний Полен для транспорта. Может, мне придется выпустить для ее постройки акции, и тогда уже, конечно, вся Норвегия подпишется, не так ли?

— О, да.

Август был оживлен и весел: наконец-то все обернулось к лучшему. Сам Иоаким-староста, который все время оставался глух и слеп к делам фабрики и банка, конечно, теперь должен прозреть. Только представить себе, каким отличным покупателем торфяной подстилки будет, например, Аргентина! Сельдяная мука, конечно, чрезвычайно полезна, этого нельзя отрицать, но коровам придется пока пожирать сельдь целиком, как они это делали до сих пор; зато торфяная под-

стилка являлась спасением от плачевного состояния земледелия, ответом на SOS всего света. Впрочем, что мешало Августу построить потом и несколько фабрик рыбьей муки!

Август берет свои папиросы и не тратит их попусту, не пускает дыма зря, без зрителей. Сейчас он закуривает одну, потому что заметил у ручья Рагну. Он тотчас же приободрился, замахал тростью и выпрямился — кукареку!

Но Август скоро замечает: что бы он ни делал, все напрасно. Рагна отворачивает лицо и при виде его не выказывает никакой радости, она наполняет только свои ведра и хочет уходить. Что же ему оставалось, как не быть веселым и игривым, как всегда — «Те-те-те, маленькая Рагна!» — и ни в коем случае не обнаруживать своих серьезных намерений тут же, у ручья.

Рагна теперь почти такая же, как была раньше: бедная и оборванная, но опять располнела и лицо ее по-прежнему красиво.

— Я должен передать тебе поклон от Эсфири,— говорит Август.

При одном упоминании имени дочери сердце Рагны смягчается.

— А ты видел ее?

— А то как же! Я был во Внутреннем приходе и продал доктору несколько акций. Она такая румяная и здоровая, зубы у нее белые, а глаза совсем бархатные. Я никогда не видел такой девушки, как Эсфирь, я совсем погибал, когда она взглядывала на меня: такие у нее замечательные глаза. Она велела тебе кланяться.

— Когда же это было? Я сама была у нее на прошлой неделе.

Август заинтересованный:

— А ты видала доктора? Ну, как его ранка, зажила?

— Его ранка? Я понимаю, на что ты намекаешь, но только это тебя совсем не касается.

Она взяла ведра и хотела было уйти.

— Да, ранка от шести белых передних зубов. Говорят, она грызет ими уголь?

Рагна прочно поставила ведра на землю.

— Это самая черная клевета. Она так же жует уголь, как и я. И бедного ребенка всю жизнь будут обвинять в такой гадости!

— Совершенно определенно от шести передних зубов,— бормочет себе под нос Август.— Вероятно, он хотел поцеловать ее?



Рагна осматривается кругом, нет ли чего под рукой, чем бы бросить в него, и грозитя:

— Я окачу тебя водой с головы до ног!

А в г у с т. Как бы там ни было, но из них выйдет славная парочка, насколько я заметил. И он не найдет другой, которая сравнялась бы с ней, — я это ему прямо скажу. Интересно знать, кто ее отец!

— Дождешься ты у меня, что я окачу тебя водой с головы до ног.

Август с небрежным видом закуривает новую папиросу:

— Потому что, конечно, это не Теодор, ты можешь мне этого не рассказывать; он ведь никуда не годится.

— Мы только что получили карточку Иоганны, которая с семьей священника уехала на юг, — рассказывает Рагна. — Так она, как две капли воды, похожа на сестру и такая же красивая.

— Так значит, у них один и тот же отец?

— А то нет! — говорит Рагна. — Перестань наконец дразнить меня! У всех моих детей один отец.

Август смеется:

— Против этого я не возражаю.

— Я не желаю больше слушать тебя, — заканчивает Рагна и берет ведра.

— Да, как это мы порешили? — спрашивает Август. — Так, значит, ты отдаешь за меня Иоганну?

— За тебя?

Август не докурив еще папиросы, но он бросает ее и закуривает новую, чтобы показать себя во всем великолепии. Перед ним стояла Рагна, она была теперь совсем мирской и такой привлекательной, и к тому же замужем за каким-то недорослем.

— По правде говоря, — сказал Август, — мне бы больше всего хотелось иметь тебя, Рагна. Потому что ты — моя старая любовь, с которой я не расставался в моих скитаниях по всему свету. Но ты убежала от меня и вышла замуж за этого простофилю.

Рагна уходит.

Он идет за ней; да, он идет, но ничего не добивается. На пороге он просит ее:

— Позволь мне зайти, посмотреть портрет Иоганны.

— У меня его нет, — отвечает Рагна, — я дала его на время Эдварту.

И с этими словами Рагна закрывает за собой дверь.

Август пошел домой возмущенный. Она дала его на время Эдварту. Ну что ж! Это имело свое основание. Но она вошла и

захлопнула дверь, словно никто не стоял за ней. Убийство — совершенный пустяк в сравнении с таким поступком! Он был огорчен и готов был скрежетать зубами и стрелять из револьвера. Какая вечная несправедливость! Вот он шел здесь опять молодой, и пылкий, и здоровый, и все прочее, в нем таились такие возможности, он учился больше, чем кто-нибудь другой, он жаждал жизни, любил — и все ни к чему! И потом он столько сделал для Полена; кто имел большее право ездить на четверке, чем он? Он побывал-таки за порогом своей избы, он был, черт возьми, единственным обитателем Полена с голубой кровью в жилах. Когда он был болен зимою, он был, конечно, самым важным пациентом в Полене, в руках его находились чужие судьбы; о миллионере из соседней комнаты справлялись меньше, чем о нем. И все это ни к чему! Эдварт сегодня же мог бы иметь ее, хотя был мертв, как труп в гробу. «Пожалуйста, вот тебе портрет нашей Иоганны!» Этот идиот, верно, даже не понял, зачем она приходила.

— Я-то уж понял бы! — громко восклицает Август, взмахнув своей тростью. — Вот если бы я был на его месте!

Он пошел в лавку; куда же ему было идти? Лавка была рынком Полена, где люди встречались друг с другом. Там было несколько покупателей, но почти никакой торговли, там стоял Кристофер, две-три бабы, двое мужчин висели у прилавка и расспрашивали о новостях. Вошел Август; никто не подвинулся в сторону и не уступил ему места, нет, его знали слишком хорошо, — это был Август. Так они с ним обращались: то были за него, то против, смотря по тому, пользовался ли он их благосклонностью в данную минуту. Но даже в своем упадке он был тем, кем он был, и новый трюк, новая выдумка с его стороны мгновенно бы смирила их, всю эту сволочь.

Вошел Эдварт и получил лист почтовой бумаги и конверт.

— Ты собираешься писать письмо? — спросил Август. — Ты бы лучше телеграфировал!

Кристофер ни с кем не считался, он едва обернулся, чтобы взглянуть, кто пришел, и опять отвернулся. Он наполовину лежал на прилавке, курил и болтал с бабами, болтал с мужчинами, кого-то громил и болтал. Он презирал кругосветного путешественника Августа и вернувшегося на родину американца Эдварта; для скандалиста Кристофера они были просто пустым местом. Он считал, что может делать что угодно, потому что его не арестовали ни за грабеж в Новоселке зимою, ни за увод быка из хлева старосты, — видно, его остерегались, с ним, дескать, шутки плохи! Сейчас он громил приходское управление кассы для бедных, неудачный весен-

ний лов в Финмаркене, господ из Внутреннего прихода и бедняка-рабочего, которого бог, сидя у себя на небе, водит за нос здесь на земле.

Паулина не выносила, когда неуважительно отзывались о боге, который, действительно, ниспослал великое благословение на ее торговлю; она сердито фыркнула:

— Трещотка!

Кристофер заметил, что он как нельзя лучше забавляет присутствующую публику.

— Трещотка? — возмущенно переспросил он. — Тебя-то это не касается, Паулина, ты хорошо живешь, высасывая из нас, несчастных, последние гроши, наши кровные денежки, которые мы, бедняки, к тебе тащим.

Эдварт тотчас остановил его:

— Заткни свою глотку, Кристофер!

Он опять обратился к Паулине и попросил у нее еще один конверт «на случай, если он что-нибудь не так напишет в адресе».

Кристофер заворчал:

— Прошу прощения, важный господин, президент Америки. Я не знал, что я тебя беспокою!

Местные жители злорадно захихикали, они веселились.

Но ворчать на Эдварта было все равно, что ворчать на Паулину. Она рассвирепела:

— Ступай домой, Кристофер, мы за тобой не присылали!

— Я пойду домой, когда сам пожелаю, — отвечал Кристофер. Он заметил палку в руках у Августа и покачал головой: — Ах ты, Август, сухопутный и морской, ты стал настоящей полицией и начальством нашим, ты ходишь среди нас с тростью.

Август тотчас нашелся, он отвечал:

— У меня болит нога.

— Одна только нога? У меня болит и здесь и там, но я не важничаю и не разгуливаю с длинной палкой. Знаешь, что мы сделали с твоими елками? Мы бросили их в навоз.

А в г у с т. И ты, кажется, даже картофеля не посадил на их место?

— А что я мог посадить? — спросил Кристофер. — Мы съели всю посевную картошку.

— Так зачем же ты вырвал елки?

— Зачем я их вырвал? А вот сейчас скажу тебе: я их вырвал потому, что мне противна вся эта твоя возня со всякой дрянью. Вот почему!

— Так, так, — сказал Август.

— Потому, что ты ведь только и делаешь, что возишься со всякой дрянью здесь, у нас в Полене. Вот теперь ты собираешься поставить номера на наши избы. Но не забудь предупредить меня заранее, в какой день ты придешь ко мне, — уж я тебя встречу!

Местные бабы и мужики смеялись теперь откровенно, но все же прикрывали рты. Рабы веселились за спиной господина.

Паулина рассвирепела:

— А Август заплатил, однако, за быка, которого ты украл из нашего хлева.

— Там был не один я, — отвечал Кристофер.

— Во всяком случае ты был зачинщиком.

— Как бы там ни было, но, пожалуйста, не думай, что я тебя боюсь, Паулина. Уж очень вы разважничались у нас здесь все, но вы меня не запугаете. Покажи-ка мне твою палку, Август!

Август расталкивает стоящих с ним рядом и в то же мгновение обнажает клинок. Он бледен и не владеет собою; он как будто совсем потерял рассудок, — он, который никогда хладнокровно не убивал ни одного человека. Эдварт вовремя успевает схватить его за руку.

Теперь уже никто не смеялся. Сам Кристофер побледнел и съежился, он хотел уйти, торопился убраться. У открытой двери, чувствуя себя вне опасности, он приободрился и заявил, что здесь не место порядочному человеку, что здесь его ноги больше не будет. Есть и другие лавки, куда можно пойти: и во Внутреннем приходе и на пристани.

Покупатели взяли свои пакетики и мешки и попрощались: больше нечему было смеяться, веселья больше не предвиделось.

— Однако этот Кристофер здорово им задал! И ни перед кем этот Кристофер не спасует, никому не спустит, будь тут хоть сам черт!

Август постепенно приходил в себя, он был смущен, чувствовал себя лишним, он глядел по сторонам и осматривал висевшие на стенах товары: железные ковши, калоши, колокольчики для скота, связки сетей для наваги. Он снял с гвоздя козий колокольчик, посмотрел на него и опять повесил его на место.

— Что это тебя так прорвало? — спросила Паулина.

— Меня прорвало? Я хотел только испугать его.

— Не видно было, чтобы ты шутил.

Он надеялся, что Паулина пощадит его и не станет с ним заговаривать; она ведь стала на его сторону и напомнила, что он заплатил за быка, а теперь она торчала тут перед ним и

допрашивала его, нельзя сказать, чтобы с особенно ласковым и восхищенным выражением лица.

— Ты хотел убить его? — спросила она.

— Да что ты, с ума сошла! За кого ты меня принимаешь?

— Да, похоже на это было,— продолжала она настаивать.— Вот теперь мы видим, что это за человек. Не так ли, Эдварт?

— Он только рассердился,— сказал Эдварт.

А в г у с т. Да, я этого не отрицаю. И если бы это случилось на другом конце света... О чем ты болтаешь тут, Паулина? У меня нет такого обыкновения.

Паулина содрогнулась:

— У тебя были такие страшные глаза!

— Нет, все это ерунда,— отрицал Август.— В данном случае я ни в чем не виноват.— И он обратился к Эдварту: — Послушай меня, Эдварт, не пиши совсем письма, лучше возьми и телеграфируй, и ты получишь ответ, что она приезжает немедленно. А то ты все ждешь и ждешь, и только людей смешишь.

— По крайней мере он никого не убивает,— упрямо продолжала Паулина.

У нее был такой вид, словно она хотела попросить его убраться отсюда, уйти далеко-далеко и никогда больше не возвращаться,— она отлично проживет без него остаток своей жизни! Такой жестокой она была; на то, чтобы обуздать его и сделать из него порядочного гражданина Полена, у нее не хватало сил. В голосе ее не слышалось переливов арфы, козий колокольчик звучал приятней для него, хотя его трескотня и резала ухо. Счастливого пути ей! Очень она ему нужна со всем своим изюмом! Вот она стояла перед ним, такая чопорная и нарядная, с белым воротничком на шее и с жемчужным кольцом на руке,— как будто он не видал целые груды жемчуга! В ней не было ни малейшей округлости, сплошная резкость, и если даже ее лицо можно было назвать миловидным, то все же оно походило на цветок из жестяного венка.

— Что это ты сказал,— спросил Эдварт, чтобы переменить разговор,— у тебя болит нога?

— Совсе не болит,— отвечал Август.— Я сказал это нарочно, чтобы не хвататься своей тростью, не лгать, не превозноситься и не приобрести этой дурной привычки.

Эта его черта нравилась Паулине, она отчасти примиряла ее с ним.

— Странный ты человек! — сказала она.

— Чем странный?

— Ты притворяешься, что ты хуже, чем это есть на самом деле.

Август не видел, быть может, в этом никакой заслуги, но он решил воспользоваться случаем,

— Конечно,— сказал он,— это лучше, чем обвинять других в убийстве и кровопролитии, как это делаешь ты.

Паулина, справедливая и точная до крайности, обратилась к старшему брату и спросила:

— Ну, как ты думаешь, Эдварт? Если б ты не схватил его за руку, было бы кровопролитие, или нет?

Э д в а р т. Да нет же. Ведь он только рассердился.

#### ГЛАВА XXIV

---

Прошло около месяца.

В Полене было тихо, никакой деятельности, никакого движения, но лужки и полосы возделанной земли Иоакима-старосты действительно радовали глаз, да за околицей, в Новоселке, было настоящее раздолье зеленеющих просторов земли, от жилья вниз, вплоть до прибрежных скал. Что же это справляло так летние дни, росло и зрело на солнце? Просо, овес, кормовая свекла, картофель и трава — пять сортов чистой пищи для людей и скота.

Кулак Эзра мог радоваться, глядя на свои владения, он видел, что его труд не пропал даром. Только одна земля проявляла такую благодарность за уход и заботу о ней, она отдавала полученное ей сторицей, вознаграждала по-матерински, вознаграждала по-божески. Осенью Эзра не знал другого дела, как только принимать и принимать. Это не была пшеница или кукуруза, — нет, Эзра и Хозяя знали только те сорта хлеба, которыми питался Мартин Рулевой и другие поленцы, доживавшие до глубокой старости, некоторые до восьмидесяти, а другие до девяноста и до ста лет. Достигая преклонного возраста, они с полным правом уходили на покой и смотрели на то, как старятся другие.

Август, кругосветный путешественник, говорил им о промышленности и о деньгах; на что они им? Попу давали, как полагается, четверик зерна и пуд других продуктов, королю и общине платили подать телячьей кожей, приплодом и березовыми дровами, всего понемножку, и изредка господам во Внутренний приход отсылали быка. И все выходило, и выхо-

дило отлично, по-мужицки. Август, кругосветный путешественник, научил их многому в свое время, теперь он учил их другому: что все должно «приносить» тысячи, какие-то невообразимые числа.

Август, по-видимому, расстался с мыслью получить машины еще при жизни. Ни на одну из телеграмм, которые Паулина брала с собой на телеграфную станцию, контора, у которой он покупал машины, не ответила ни слова. Август обсуждал с Паулиной этот странный случай, и никто из них не понимал, в чем дело.

— Вероятно, они сомневаются, что ты можешь заплатить,— сказала она.

— Значит, они совсем глупы к тому же,— отвечал он.— Тогда почему же они не напишут и не попросят гарантии? Я бы сделал это по их первому требованию; у меня есть ценные бумаги трех-четырёх стран!

Август смачно выругался и обещал непременно зайти в контору и сказать там, что он о них думает, когда он в ближайшем будущем поедет в Норвежский банк.

— А почему ты сейчас не едешь? — спросила Паулина, как всегда ничего не соображая.

Ну, как он мог уехать от своей плантации, как раз когда она стояла почти уже в цвету!

Он был очень занят своим полем. Удивительно, как хорошо разрослись его растения, какими они стали пышными и как шумели своими широкими листьями на ветру. До сих пор Август не открыл никому, кроме Теодора, что он возделывает картофель; но на обыкновенный картофель это растение походило все меньше и меньше; по правде говоря, оно скорее походило на репу. Но тогда что же это был за картофель? Странно было также то, что Август постепенно обрывал самые крупные листья со своих растений, клал их дома под пресс и давал им преть и бродить.

Эдварт работал одно время у Эзры, они возделали еще несколько десятков саженей земли, потом он вернулся в свою комнату над кофейней и жил там со своим другом, как прежде.

Он и на этот раз так и не собрался написать письмо. Он оправдывался тем, что Август отсоветовал ему писать.

— Так ты телеграфировал? — спросил Август.

— Да нет еще.

Август возмутился:

— Ты совсем рехнулся! Если бы ты телеграфировал сразу, то она была бы уже здесь. И из чего ты сделан? Из камня или из дерева, прости меня, господи.

Эдварт сидит и думает об этом, хлопает глазами и думает, он был такой вялый и нерешительный.

— Да это не так просто,— говорит он.— И денег у меня не было, пока я не получил немного от Эзры.

Для Августа это пустяк:

— Не было денег на телеграмму? Паулина могла бы одолжить тебе пока.

— Да потом я и сам не знал, телеграфировать мне или нет,— пробормотал Эдварт.

— Так, ты, значит, не знал, телеграфировать тебе или нет!

Теперь Август совсем уже был сбит с толку, он никогда не слышал ничего подобного: собственная жена была в чужой стране, а он здесь,— на что она ему тогда? Он говорил и рассуждал сам с собою, спрашивал и отвечал. Не отослать ли ему самому телеграмму от имени Эдварта и не призвать ли жену обратно к исполнению своих обязанностей? Какой ее адрес? Ему ничего не стоит в течение месяца доставить миссис Андриус сюда.

Эдварт моргал и думал. Он сказал:

— В том-то все и дело, что у тебя есть жажда жизни.

— А нужно, может быть, чтобы у меня была жажда смерти?

И Август снова заработал языком, пояснял, доказывал и наговорил бесконечно много. Но он не получил ответа. Под конец он, верно, догадался, что приятеля не так-то легко переубедить болтовней; он отошел к печке и спросил оттуда:

— Может быть, у тебя есть подозрение, что ты у нее не один?

Э д в а р т. То есть как? Нет, об этом я ничего не знаю.

— Меня это, конечно, не касается,— сказал Август.

Но на этот раз он несомненно задел Эдварта, задел эту рабочую лошадь за живое. Тот казался смущенным, наклонился, поднял с пола щепку и принялся вертеть в руках.

— Меня это совершенно не касается,— еще раз повторил Август и сделал шаг по направлению к окну.— Но я ни за что не стал бы расстраиваться из-за женщины.

Он сказал это, конечно, в виде утешения, но это ничуть не ободрило товарища: он нагнулся еще ниже над щепкой и казался совсем подавленным. Неужели в его сердце тайлось такое большое горе? Или он только делал вид, что это так?

А в г у с т. Понятно, это вещь не легкая. Но что же нам, морякам и путешественникам, оставалось делать, как не плыть в ближайшую гавань и забыть изменницу? А то что бы это было, если б все ходили и ныли.



— Дело в том,— сказал Эдварт,— что в свое время нас было только двое: я и она. И мы не могли быть врозь, и мы не могли насытиться нашей близостью.

— Да ведь всегда же так бывает! — с видом знатока восклицает Август.

— Да, но мы начали не с того конца,— продолжал Эдварт.— Она была уже раньше замужем и, вероятно, не могла забыть его.

— А он — дрянь-человек, как я слышал?

— Вовсе нет,— отвечал Эдварт.— Он был из ее родного угла, с ее родины, а я был совсем из другого места, чужой ей. Вероятно, это имеет значение, я не знаю. К тому же он был развязнее меня, и он был завидный жених.

— Да ведь и ты сам был неплох!

— Я-то? — мечтательно протянул Эдварт.— Я был так молод, я не умел ни на гармошке играть, ни петь, ни шутить с другими девушками. Для меня существовала только она. Он, кроме того, готовился стать жестяником и делал красивые вещицы вроде ситечек, ковшей и жбанчиков. Так что он был у нее на первом месте. Она уехала с ним в Америку.

— А он не мог разве поехать один?

— Нет, она захотела поехать с ним. А потом, через некоторое время, он исчез там, в Америке.

— Да наплевать на него! — прервал Август.— Ведь мы говорим о ней.

— Да, но неизвестно, куда он делся, умер он или сбежал от нее.

— Он удрал,— сказал Август,— он удрал к черту на рога, это очень на него похоже! Ни малейшего чувства ответственности перед женой и детьми!

Август не мог понять глупого беспристрастия товарища и даже содрогнулся. Ну, что это за ревность! Август же не пощадил бы своего соперника: чести в нем ни на грош, на вид — чудовище, не человек.

— Дрянь-человек,— сказал Август,— сидел в тюрьме и все такое! Тебе бы следовало быть с ней построже, Эдварт, ты слишком распустил ее. Вот если бы я был на твоём месте!

— Она все время была как следует, пока не принялась разыскивать его. Тут я действительно сплеховал.

Август удивленный:

— Она ищет его? Но ведь он умер! Я никогда не думал, что он удрал, хотя это чрезвычайно на него похоже; нет, конечно, он умер, да и то не как порядочный человек, а постра-

дал от несчастного случая на железной дороге или, еще того хуже, просто утопился в реке Гудзон. Я знаю множество людей, которые так поступили. И какого черта она рыщет по всей Америке и разыскивает мертвеца! Если бы только я мог сказать ей хоть несколько слов!

— Она и детей своих заставила также его разыскивать.

— Это бог знает что такое: разыскивать мертвеца!

— Если б она знала это наверное!

Август взволнованно шагнул обратно к печке.

— Удивительно, до чего смиренно и благочестиво ты говоришь об этом! Разве она не собственная жена твоя, по праву и по закону! О чем ты горюешь, чудак ты этакий? Или уж у тебя полное расстройство в голове? Говоришь о ее жестянике, как о золотых дел мастере каком-нибудь! Дай сюда посмотреть мне ее письма!

— Письма? — спросил Эдварт. — Зачем тебе это? Их, кажется, нет у меня.

Так, их не было у Эдварта; значит, он не берег этих драгоценных писем. Возвратившийся на родину бродяга был настолько равнодушен, что, может быть, даже и не прочел их как следует. По-видимому, любовь его была не так уж велика, хотя он сидел тут и говорил о ней. А ревность его была чистейший вздор.

— Покажи мне письма, говорят тебе! — скомандовал Август. — Потому что я знаю уже, что нам надо делать.

Эдварт встал рассерженный.

— На что тебе письма? Кажется, последнее у меня цело.

Он поискал в постели: письма не было, поискал в кармане, поискал также в карманах праздничного платья, висевшего на стене.

— Может быть, кто-нибудь взял его, — сказал он.

Такова была его великая и живая любовь! Под конец он нашел письмо на полу: оно завалилось под кровать.

Оно было от прошлой осени и не содержало в себе ничего особенно важного. Вот она пишет ему вечерком и думает, что он скоро, может быть, приедет к ней. Ее дело, которое заключается в том, что она снимает квартиру в шесть комнат и потом отдает их внаймы порознь железнодорожникам и держит буфет внизу, идет хорошо. Брови, о которых он так часто говорил, она каждый вечер натирает кокосовым маслом из аптеки, так что он может видеть, что она не забыла его. Она думала, между прочим, съездить в самый Фриско<sup>1</sup> в следую-

---

<sup>1</sup> Сокращенное название города Сан-Франциско. (Прим. перев.)

ший раз, но потом раздумала пускаться в такое дальнейшее путешествие зимой и неизвестно для чего; она не решалась ехать, хотя одежды у нее достаточно: она сшила себе новое пальто с воротником из скунса, а также на рукавах — скунс. Она просит его написать, как он поживает, и не забывать ее. Под конец следовал поклон от «нашей дочери», миссис Адамс, которая не говорит больше ни слова по-норвежски, а только по-английски.

Эдварт сидел и внимательно слушал, отдельные места в письме были для него новостью, он взглядывал и говорил:

— Так, значит, в следующий раз она поедет во Фриско. — Так, так. Она такой мастер путешествовать и пробираться куда угодно.

Август был неудовлетворен и высказался с сознанием своего превосходства:

— Нельзя вывести что-нибудь определенное из этого письма, — сказал он, — оно ни то, ни се. Ты ни в чем не можешь упрекнуть ее, она гораздо лучше, чем когда была здесь. Ты должен был ответить сразу и сказать ей свое мнение, а теперь дело обстоит так, что ты дал ей возможность поступать, как ей угодно, и уезжать и возвращаться, и быть главой над вами обоими. Я бы ей тут показал! Но теперь мы ей телеграфируем, — это решено и подписано! — «Исполни свой долг и приезжай немедленно. Смертельно болен. Вопрос о разделе наследства».

Эдварт, разинув рот, смотрит на него.

— Да, в этом нет ни лжи, ни преувеличения, — сказал Август. — Я сам был при смерти долгое время, и мы это впускаем. Уж я сумею написать. Между прочим, мы телеграфируем по-норвежски, и тогда это выйдет не совсем ясно.

— Нет, — сказал Эдварт и покачал головой.

Однако Август не обратил на это внимания и продолжал настаивать:

— Мы так и сделаем. Главное — надо потрясти ее. «Смертельно болен, вопрос о разделе наследства»...

— Какого наследства?

— Наследства, которое здесь, — сказал Август. — Если бы ты умер сейчас, ты, пожалуйста, не думай, что избежал бы этим дележа наследства. Ты не можешь отказаться от него и отдать его брату и сестре: тебя арестуют, посадят в тюрьму, потому что у тебя есть прямой наследник, — я не говорю о всех твоих незаконных детях. Уж я сумею написать. А когда она придет и явится сюда, то я поговорю с ней.

Эдварт отрицательно качал головой.

А в г у с т. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Как, по-твоему, она нашла своего мужа или нашла кого-нибудь другого?

— Что ты хочешь сказать? Как я могу знать это?

— Это правда. Но теперь ты дашь ей шанс, как это говорится, вернуться домой. Я все это напишу и пошлю по адресу, что имеется в письме. А когда она придет сюда, то пусть уж она попляшет по твоей дудке. Тогда больше уж не будет никаких скитаний по Америке в поисках давным-давно умершего мужа. Я отлично знаю, как с ней надо обращаться, потому что со мной был такой же случай.

Настроение Августа стало отличным. При мысли быть замешанным также и в это дело он окрылился, ничуть не сломленный всеми своими неудачами, пламенный, как всегда, забыв всякую осторожность. Он тут же, на ходу, сочинил историю, заговорил, заболтал, опять размахнулся во всю свою ширь, как во время самых невероятных историй в избе Иоакима. Выступать и играть главную роль было для него наслаждением; его белесые голубые глаза постепенно становились все больше и больше, как будто он сам почти не мог верить самому себе. До чего он был фантастичен, до чего он был бесстыден, быть может, даже развратен, болезненно извращен! Намерения у него были хорошие, он никому не желал зла; наоборот, и в этом случае он хотел помочь приятелю рассказом о происшествии из собственной жизни, но, как во всех своих историях, по пути он забыл о цели и заболтал что попало, пока не очутился в тупике.

Конечно, дело шло о даме или о двух дамах, во всяком случае одна из них была дочерью «генерал-президента», — сказал он. Так что когда миссис Андриус придет, то пусть узнает, чем руководствовались в своей брачной жизни и другие важные дамы.

Но разве Август имел представление о браке? Да, он был женат на ней, не очень долго, но во всяком случае как следует женат, он не преувеличивает. Ну, так вот, пусть Эдварт послушает!

Он был на нефтеналивном судне; оно грузилось нефтью, во время погрузки экипаж жил на берегу, потому что такая погрузка очень опасна и белые не принимают в ней участия. Тут он познакомился с одной девушкой, темнокожей туземкой: о-о, бесподобная женщина по своему сложению, а что касается ее волос, например, так они были у нее цвета шерсти огнедышащего льва и колесом стояли вокруг головы. Но не тут-то было, — она непременно хотела, чтобы они поженились, они должны были поселиться вместе, иначе она и знать

его не хотела. Никакие уговоры не помогали; тогда она просто уходила от него и шла к другому, а Август этого видеть не мог. Он размышлял уже о том, не взять ли ее с собой в Штаты и не показывать ли ее там, но на это она не соглашалась; она не хотела покинуть родину, они должны были непременно жениться и жить у нее в доме, у нее ведь был дом и плантация. Но что это был за дом и за плантация для человека, который звал нечто лучшее: бамбуковый навес с листьями сверху и без стен — нет, уж простите, пожалуйста! Но далеко не у всех женщин в той местности были такие навесы; у нее он остался после мужа, который сбежал, — точь-в-точь как жестяник миссис Андриус, который сбежал или умер, что-то в этом роде.

Тогда Август стал играть на гармонике перед ней, таким образом одерживая верх над соперником, а она, не жалея себя, танцевала. Потом он ее спросил: — «Ну что ж, пойдешь со мной?» Нет, сперва они должны были пожениться. «Благодарю покорно!» — сказал Август и пошел. Почему же она не соглашалась? Дело в том, что в тех краях женщины вовсе не так уж щепетильны. Но она-то была безумно влюблена в него и хотела привязать его к себе на всю жизнь, она не могла жить без него, — он сразу это понял. Ну, так счастливо оставаться — и он пошел.

После нескольких часов ходьбы он оглянулся: она шла за ним. Что такое? Да, она шла за ним. Она шла и плакала, она была влюблена в него и души в нем не чаяла, и не могла забыть, как чудесно он играл на гармонике и как был красив со своими золотыми зубами. Но ему не было жаль ее, и он шел все дальше и дальше. Она шла за ним три дня и три ночи, а потом остановилась и не смела идти дальше, так как тут начинались владения самого генерал-президента.

Август остановился там и был хорошо принят у власть имущих, а весь народ склонился перед ним, как перед белым богом с золотыми зубами. Тут для него наступили хорошие времена; он женился на дочери президента и поселился во дворце со стражей у ворот и с четырьмя докторами, на случай болезни, например; и это еще не все: там был кораблик на озере, плантации, множество рабов, семь слонов для гулянья, по слону на каждый день.

Август на минуту прерывает свой рассказ и качает головой: нехорошо было только то, что он поступил слишком опрометчиво, ничего не разузнав о даме, прежде чем жениться на ней. Но кто мог в чем-нибудь заподозрить такую важную особу? Но пусть теперь Эдварт послушает, что было дальше!

Была ли она красива и привлекательна на вид? И не говори,— изображение девы Марии ничто по сравнению с ней, а то Август и не взял бы ее замуж. Но к чему все это, когда дама и знать о нем не хотела? Тут ничего нельзя было понять или придумать. Дама расхаживала круглые сутки нарядная и важная, но с ним не хотела иметь ничего общего. Иногда они немного целовались, но в ней никогда не проявлялось сколько-нибудь нежного и предпочтительного отношения к нему. Ну, что ему было делать с такой женой? У нее было имя, которое нельзя произнести на норвежском языке, потому что в нем другие буквы, чем наши, и они такие недотроги, что каждый раз, когда Август звал ее к себе и хотел что-нибудь от нее, буквы эти портились и изнашивались, так что она должна была заменять их новыми. Но когда женщина становится такой недотрогой, то она уже не может быть женой для своего мужа, которому приходится звать ее к себе и просить у нее того или другого. Август спрашивал, нет ли у нее какого-нибудь недостатка. Нет, совсем нет! И она показала ему четырех ребят, которые, по ее словам, были ее собственными, так что в этом отношении у нее не было никакого недостатка. В таком случае это черт знает что такое! И вот Август позвал ее и хотел добиться от нее что-нибудь силой. Никогда он не забудет этого происшествия, пусть Эдварт послушает: она оказалась гермафродитом.

— Да неужели? — процедил сквозь зубы Эдварт.

У самого Августа, сделавшего это странное открытие, от удивления глаза полезли на лоб.

— Гермафродит! — повторил он.

Все ему пришлось испытать,— заявил он,— все изведать он на поверхности земного шара. Так в тот раз вот это помешало ему. Продолжением этого было, конечно, то, что Август немедленно покинул жену и дворец, сломя голову бросился бежать из той страны и государства и бежал, пока снова не очутился на берегу моря. Он считал, что никто не может преследовать его за то, что он покинул такую жену, а четверо чужих ребят, которых она показала ему, находились при ней лишь для отвода глаз.

Погрузка его судна окончилась, и оно должно было отплыть на другой день утром. Конечно, каждый моряк знает, как опасно плыть в жару с таким грузом. Давление приподнимает крышки, и через несколько часов пароход со всем, что на нем есть, взлетает на воздух. Но Августу все казалось лучше, чем быть женатым на дочери генерал-президента, черт ее побери! — говорил он. Эдварт и вообразить себе не может, до

чего противно и неприятно было ему это приключение с ней. На набережной стоял человек, он закурил сигару, а спичку бросил в воду. Что же произошло? Вода воспламенилась. Вода вокруг корабля горела от нефти, просачивавшейся сквозь остов корабля. Августу стало ясно, что он шел на верную смерть, отправляясь с этим огнеопасным судном, но ему хотелось поскорее убраться оттуда. Фу, черт, какая гадость!

Вечером накануне отъезда он сошел на берег и отправился к девушке с львиной гривой. И до чего только женщины бывают различны! Здесь и речи не могло быть о каком-нибудь недостатке, но только она, с позволения сказать, хотела опять замуж. Каждый раз что-нибудь непременно становилось ему на пути. Ну, к чему тут жениться? Только это была совсем необыкновенная женщина, она сплела венок из листьев и украсила им его голову, а сама нарядилась в крошечную юбочку, которую набросила себе на бедра, и другой одежды на ней не было, потому что было очень жарко.

Август прерывает рассказ и качает головой: даже сейчас, вспоминая тот вечер, он едва мог дышать!

Она принесла что-то вроде вина, которое они оба пили; это был перебродивший сок кокосового ореха, и они оба слегка опьянели и воспламенились от него, стали петь и кататься под бамбуковым навесом. Он повалил ее под себя и не выпускал. «Я не хочу этого, — сказала она, — завтра ярмарка, и я встречу с ним!»

Нечего сказать, очень приятно было ему услышать такую вещь. Словно огонь пробежал по нему. Тут Эдварту следует обратить внимание на то, что ему ничего не стоило убить ее, но он этого не сделал, он обещал ей жизнь.

Что она подумала, он не знает; может быть, она не поверила ему, но только она подняла коленку и толкнула его, и здорово толкнула. «Ты прямо черт какой-то! Разве можно это делать? — сказал ей Август. — Это неприлично и безвкусно», — сказал он. Она ударила его опять и в самое чувствительное место. «Нет, послушай, неужели ты сама не понимаешь, что так не годится поступать?» — спросил он и хотел слышать ее мнение. «Я должна встретиться с ним завтра!» — сказала она.

Тут уж и он ударил ее, только теперь, не раньше, но ударил ее кулаком и заставил ее успокоиться. «Так, теперь ты будешь лежать тихо!» — сказал он, и, чтобы не было недоразумения, он хотел ударить ее еще раз; он даже поднял руку, но затем опустил: может быть, она уже умерла, — добавочный удар пропал бы даром.

Но это была черт знает что за женщина! Он покинул бамбуковый навес и ушел от дамы, он пошел по пути к кораблю, немножко покачивался, ругался. Но женщина вскочила, как ни в чем не бывало, и пошла за ним. «Ты сегодня отплываешь?» — спросила она. Да, он должен отплыть. «Пойдем!» — сказала она и поманила его к себе. Они опять пошли под навес, она нашла удобное место, с подстилкой из листвы, и уронила юбочку.

Пусть Эдварт заметит себе: после этого она стала доброй и не знала, как ему угодить; до последней минуты она удерживала его под своим навесом и, когда он захотел, уступила ему во второй раз. У нее остались от него шишки и ссадины на лице, но она уверяла, что это пустяки; под конец она оправила его венок и вплела в него еще новые листья, и в нем он взошел на корабль.

И этот венок он хранил, сначала только в шутку, но позднее с особой тщательностью: на стеблях было много полураскрытых семенных коробочек, и у него зародилась мысль, что, может быть, это необыкновенные и ценные семена, которыми владеют немногие смертные. Так это и было.

Тут Август перевел дыхание и проговорил скороговоркой:

— Это те самые семена, которые я посеял на своем поле!

— Вот как! — сказал Эдварт.

— Ты только это и можешь сказать? Но ведь это те семена, которые, может быть, станут главнейшим источником питания и промышленности для Полена и всей нашей страны. Ну, что ты теперь скажешь?

— А разве это не табак? — спросил Эдварт.

Август так и подпрыгнул:

— Какой леший сказал тебе это?

— Мне так показалось.

— Ведь ты же говорил зимой, что никогда не видал табачной плантации?

Эдварт отвечал, что, может быть, все-таки видел, он сам не знал.

— Я не решался объявить об этом, — сказал Август, — потому что тогда, — я знал, — они все прибегут, примчится и этот Теодор, и они попортят все и изведут весь годовой урожай. Настоящее счастье, что ты, а не кто-нибудь другой, догадался об этом, потому что ты молчишь месяцами и откроешь рот не раньше, как к зиме, а тогда пусть весь Полен знает. Да, вот что я хотел сказать: а что, если в нашем округе начать в широком масштабе разводить табак? Фабрика уже построена, мы можем крошить табак, свертывать сигары и набивать папиросы и готовить нюхательный табак, за сбытом дело не станет;



а как только я попаду на юг, я добуду машины. Что ты на это скажешь?

— Ну что ж, — сказал Эдварт, — это так же хорошо, как и что-нибудь другое, может быть.

— Вот именно! Фабрика построена, и мы используем ее во многих направлениях. Всю зиму люди ходили, мерзли и пели псалмы, потому что у них был один только этот выход; они хотели картошки, но они не понимали, что нам нужны промышленность и деньги. Они говорили, что деньги — это не пища. А деньги-то и есть как раз пища! Если бы у нас было достаточно денег зимою, мы достали бы себе пищу.

— Ну, а чем же кончилось? — спросил Эдварт. — Вы взлетели на воздух с вашим кораблем?

— А еще бы не взлетели! — отвечал Август. — Я, например, мог спасти лишь свою особу — да, и еще семена. Ну, разве это не судьба, не указание свыше, что она надела мне венок на голову?

— Она тебя любила, насколько я понял.

— Не знаю. Впрочем, да, ужасно. Но она меня околдовала, о ней осталось у меня особенное воспоминание.

Август остыл; он произнес свою речь и выдохся. Когда он замечает, что все еще держит в руках письмо Ловизы-Маг्रेты, он пытается извлечь из своей истории подходящее заключение:

— Так что видишь, Эдварт, если бы я не обошелся решительно с этой женщиной, я бы так ничего и не добился. И они все такие: они хотят, чтобы с ними поступали решительно. Ну, на что это похоже, когда они начинают командовать нами? Они должны танцевать не под свою, а под нашу дудку. А то, как я был женатым человеком и ничего не добился от своей жены, это я сравниваю с тем, как миссис Андрыус находится в Америке, а ты здесь. Поэтому я и рассказал тебе, как все происходило. А теперь пускай миссис Андрыус явится домой, а ты можешь выйти на время, Эдварт. Я сейчас составлю телеграмму. И, пожалуйста, не стой и не качай больше головой по поводу этого.

Немного погодя он передал Паулине телеграмму, попросил ее заплатить за нее пока и в следующее воскресенье сдать ее на телеграф.

— Хорошо, — охотно соглашается Паулина, словно и ей хотелось заполучить миссис Андрыус обратно в Полен.

Пока еще поленцам жилось неплохо: они поедали продукты, прибывшие с юга, и сельдь из Сеньи и Птичьего острова; так шли дни за днями, и люди пока что терпели. Но они ждали сельди; это было действительно так: сколько-нибудь сносная жизнь никак не налаживалась без нового заграждения.

Иоаким выходил в море со своей артелью, но ко дню св. Олафа<sup>1</sup> принужден был вернуться из-за сенокоса, и к тому времени никаких признаков сельди все еще не обнаружил. Две-три лодки из Внешнего Полена пробовали ловить сетями и не поймали ни одной штуки.

— А ведь море-то полно сельди, — сказал Август. — Если бы только у меня было время отправиться вместе с вами!

Вполне возможно, что в море была сельдь, но в газете у Иоакима ничего не было сказано, где ее искать. Даже вдоль Хаугесунда и западной Норвегии ее нельзя было найти. Это было очень печально. Паулина торговала плохо, а банк был все равно что закрыт. Изредка в своих калошах, покачиваясь, приходил Каролус и справлялся, когда будет собрание, но так как ни директор Ролансен, ни Август не появлялись, то собрание все откладывалось. Август с утра до вечера возился на своей таинственной плантации, а Ролансен уехал к каким-то родственникам искать у них поддержки. Все шло хуже и хуже. Каролус все больше и больше глупел и дряхлел и ничего не понимал: ведь еще так недавно он был богачом и важной персоной, куда же девались его средства? У него больше уже не было кредиток; а так как он был честный человек, то он не набивал свой бумажник папиросной бумагой, так чтобы карман отдувался. Такой кунштюк ему даже в голову не приходил. Он был страшно удручен.

Но пока жизнь Каролуса в Полене была еще вполне терпима; правда, народ уважал его куда менее прежнего, но никто не обижал его. Зато Ане-Марию не щадили. Боже, до чего изменилось отношение к ней! Прежде она приходила в лавку и спрашивала целый фунт кофе, потом нюхала его, как бы желая определить, какого он года, а теперь — четвертушку кофе — и спасибо! И потом эта возмутительная привычка Ане-Марии: она ни за что не хотела опустить голову и смотреть в землю, а позволяла кому угодно глядеть ей прямо в лицо, — пожалуйста! Было бы гораздо приличнее, если бы она первая согнула

---

<sup>1</sup> День св. Олафа — 29 июля. (Прим. перев.)

спину, первая, в назидание другим, залилась бы обильными слезами и не давала бы себя утешить. Может быть, это было бы ей к лицу; ведь она все еще была недурна, и стала бы вовсе мила и симпатична, если бы в меру расстроилась. Но Ане-Мария не понимала своей выгоды и держалась чересчур смело, как всегда. А так немисливо заслужить уважение людей и райское блаженство!

Вот она взяла к себе приемышей из Внутреннего прихода, нарядила их, откормила и сделала из них принцев, словно она имела на то королевские средства. Но гордость ведет к падению. И на самом деле, разве хорошо было отдавать двух невинных малюток в руки женщины, убившей шкипера и отбывшей за это наказание? Не вредно было бы спросить насчет этого мнение священника и властей. Чудовищная женщина, вредная тварь! Не следовало бы уступать ей дорогу и говорить ей «вы», — не следовало бы ни в коем случае! Вечно она важничала: номер ее дома был, конечно, номер первый; вокруг стен у нее росли елки, на окнах висели занавески, в избе стоял мягкий стул, — всего не перескажешь! И все-таки мало кому теперь было хуже, чем ей: двор без земли, без скота и без лошади, даже козы не было, чтобы забелить кофе; у нее оставался только, как жалкое воспоминание о былом, небольшой клочок необработанной земли. Да и на что ей был нужен этот лужок? Ведь у нее не было уже ни одной скотинки, чтобы выпустить на него.

Паулина расхаживает за своим прилавком и слушает. Она лично никогда не увлекалась супругами Каролус, но ее воспитание и взгляды, привитые в детстве, заставляли ее быть справедливой.

— Они хорошие люди, — наставительным тоном заявляет она, — они хорошие, что бы вы там ни говорили.

— Да, — говорили они, не решаясь противоречить и возражать своему кредитору, но все же ворчали: — Что касается Каролуса, это правда. Но Ане-Мария!..

Щеки Паулины покрылись горячим румянцем:

— Было бы неплохо, если бы мы все были так добры к нашим ближним, как эти люди. До сих пор я еще ни разу не слыхала, чтобы кто-либо из них изливал столько яда и желчи на кого-нибудь из поленцев, как это делаете вы.

— Спаси нас, господи, Паулина, мы ведь, конечно, бедные, неученые и простые люди, мы пресмыкаемся по земле по божьему произволению.

— Не болтайте зря! — прервала их Паулина. — Кто привез вам сельдь из Сеньи, сначала одну лодку, потом другую? Он ведь взял тогда из банка свои последние сбережения!

— Да ведь мы это и говорили,— снова бормотали они.— Против Каролуса ничего не скажешь. А вот Ане-Марию!

— Да что же она вам сделала?

— Нам? Нет, нам она ничего не сделала. Но вы разве забыли, как она с важным видом стояла в своей кухне и раздавала множество возов Эзры, его картошку и прочую пищу? А потом перед рождеством она делила ваши же собственные огромные запасы и великую благодать для нас отсюда, из вашей лавки. А вы знаете, Паулина, как она их делила? Мы слышали об этом кое-что.

— Да прекратите же наконец вашу болтовню! Ни одной баранки, ни одной лишней изюминки не попало в дом Каролусу и Ане-Марию!

Молчание.

Потом они шепотом стали сообщать друг другу:

— Помнишь, с каким важным видом, словно конторщик какой, писала она на опрокинутом бочонке? И как ей только не стыдно было!

— Если вам ничего не нужно больше,— спросила Паулина,— я закрою лавку. Мне давно пора в хлев.

Один человек с рабским видом придвинулся к прилавку, согнулся весь, его глаза выражали робость, голову он склонил набок.

— Что тебе надо?

— Полфунта маргарина, Паулина! Только у меня нет с собою денег. Я знаю, что я вам должен и без того. Но я надеюсь, что вы мне поверите.

— Нет.

— Нам совсем нечего есть с хлебом.

Паулина. Если бы ты пошел и попросил Ане-Марию, она бы помогла тебе по мере сил. Она бы это сделала. А я — нет!

— Ну, четверть фунта?

— Нет! — сказала Паулина и выпроводила покупателей.

Паулина не без достоинства защищала супругов Каролус; это была в ней хорошая черта. В сущности, так проявлялась ее любовь к порядку, ее до скуки прямолинейное чувство справедливости: пусть человек пострадает за свой злой язык и не получит и четверти фунта маргарина.

Она вовсе не собиралась идти в хлев. Она засела за банковские счета и бумаги, чтобы привести их в порядок. Не было никакого сомнения, что Поленский банк очутился в тупике, не предвиделось ни новых дел, ни новых вкладов. Она посоветовалась с братом Иоакимом, и оба пришли к заключению, что пора его ликвидировать.

Никогда ни один банковский подсчет не был так прост и справедлив, как ее: за каждый сомнительный заем, проведенный Августом и Каролусом, она без дальнейших рассуждений списывала с их акций и вкладов.

— Ведь это так просто, — лукаво замечала она, — ведь вы обеспечены дворами и строениями неплательщиков, которые в качестве гарантии предлагали банку!

На самом деле банк был полон денег, и Паулина могла гордиться своей неусыпной бдительностью. Она не вела никаких книг со сложной бухгалтерией, у нее не значилось никаких процентов, никакого учета, никаких разных счетов, никаких выплат, — только с каждой акции списывалось несколько крон за некий несгораемый шкаф, «который пока стоит у меня в конторе».

Потом она принялась изготавливать большие и маленькие денежные пакеты акционерам, собираясь отослать им то, что оставалось от их акций. Конечно, они все должны были обрадоваться неожиданному возврату своих денег, и притом почти в том же размере. Плохо пришлось только директору банка Ролансену. Он был слишком важен и не хотел ничего делать, а теперь при погашении его долга в банк и в лавку от его тридцати акций почти ничего не осталось. С судовладельцем Габриэльсенем дело обстояло несколько благополучнее, потому что он получил поддержку от своих родственников из купечества. Впрочем, у обоих этих господ было по нарядному домику, которые являлись к тому же достопримечательностью Полена, хотя бог знает, владел ли все еще Ролансен, например, своим домом. Судя по тому, что Паулине удалось пронюхать из писем на почте, дом был заложен в банке в Боде.

Паулина все держала в своей голове. Она точно, вплоть до эре, подсчитала все, что она и брат ее Иоаким в качестве поручителей должны были банку, и только после этого она вынула из него остатки своих десяти и пяти акций. Теперь такие деньги казались уже крупными. Но в сущности больше всего радовало эту женщину, с ее доходившей до смешного аккуратностью, возможность послать обратно обоим вкладчикам из Вестеролена, судовладельцу Иверсену и Людери Мильде, так много денег, — одному потому, что он нуждается в них, а другому — потому что он был и молод, и красив, и шикарен. Уж эта Паулина! И никто никогда до конца не поймет человека, пусть и не надеется! Так, например, Паулина ничего не вычла в свою пользу за свою работу в банке, но она точно высчитала, во сколько ей обошлись конверты, сургуч и почтовые расходы, и вычла стоимость их из сумм, предназна-

ченных вкладчикам, не исключив отсюда и вестероленцев. Этого она им не скинула. И потом — потом Паулина надеялась, что когда придет время, она за бесценнок получит несоразмерный шкаф.

В ночь с субботы на воскресенье случилось нечто: кто-то побывал на плантации у Августа и разрывал ее, ломая растения, вырывал и уничтожал их. И кому могло доставить удовольствие такое вредительство?! Август обнаружил это только среди дня, он вскинул обе руки вверх, затем беспомощно опустил их и стоял там, словно громом пораженный, безмолвный.

Это натворил не кто иной, как Теодор: верно, он по своей глупости искал здесь картофель. Август вытянул из трости свой стилет, поглядел на него и вложил обратно. Август не знал, как помочь своему горю. Ах, зачем он не стерег по ночам свое поле! Он был слишком беспечен и надеялся на шесть рядов проволоки. В Порторико было бы достаточно одного ряда, но разве в Полене что-нибудь понимали? Разве у поленцев была совесть и умение держать себя? Разве все эти мерзавцы не плевали на всякую ответственность?

Когда он еще раз обдумал все дело, то решил, что Теодор тут ни при чем. Он выкопал бы всего два-три растения и, не найдя картофеля, ушел разочарованный. Здесь было не только разрыто, но расковыряно ногами, тут танцевали и намеренно уничтожали, зеленая листва была притоптана к земле. Может быть, скот зашел за изгородь? Немыслимо! Ну, конечно, скотина. У Августа даже дух захватило, какой-то свет осенил его как молния.

Август опять обнажает свой стилет, смотрит на него, щупает лезвие. Отличное оружие, трехгранное и опасное, настоящий штык. Правильный удар, нанесенный им, означает верную смерть, менее удачный оставляет во всяком случае рану, которая не скоро заживет. Август размышляет и опять вкладывает стилет в трость, но он делает это отнюдь не потому, чтобы он примирился с врагом, отнюдь нет. За одним из маленьких домиков на дороге к морю прячется человек и подглядывает за ним.

Он идет домой. Он ощущал потребность поговорить с Эдвартом, но не находит его: никого нет, в доме царила воскресная пустота: Паулина была в церкви, Иоаким ушел в Новоселок, Эдварт — под свои пять осинок в поле. Август осмотрел те немногие листья, которые он успел снять со своей плантации и которые теперь лежали под прессом: они красиво выривались, но на них не было семян.

Ведь он так старательно заботился о своем клочке земли, так любовно ухаживал за растениями, каждый день, каждую свободную минуту; было обидно, что он не спал возле них ночью. Как раз теперь он с нетерпением ждал, что вот проглянет несколько хороших солнечных дней и семенные коробочки начнут раскрываться; тогда бы у него были семена для будущего года, и он повел бы дело в более крупном масштабе. Теперь же все погибло. Он опять с полным основанием мог говорить, что и на этот раз что-то стало ему на пути.

Он никак не мог успокоиться, пошел опять на плантацию, остановился у изгороди и стал смотреть. Он делал вид, что ни на что не обращает внимания, кроме опустошения на поле, а сам, низко нагнув голову, исподлобья смотрел вниз, вдоль дороги к морю: тот же человек, который и прежде подглядывал за ним, прячась за углом дома, опять появился. Верно, ему было приятно видеть своего ближнего в таком горе.

Август идет домой, он все не может успокоиться, бродит между домами, немного пойдет, немного постоит, поморщит лоб. Подло и несправедливо поступили с ним, и развязка должна была последовать, — об этом уж не беспокойтесь! Он пошел к плантации в третий раз, свирепый и опасный. Да, человек по-прежнему выглядывает из-за угла, видна только его голова. Август как будто идет домой, но сам делает большой крюк...

Немного погодя он — на обратном пути домой; теперь он это уже сделал: проколол человека. Охваченный бешенством, он промахнулся сперва и ударил еще раз; тут он услышал крик, потом он обмыл свое оружие в ручье и вытер его о рукав. Было около полудня. Из трубы шел дым; Паулина вернулась и готовила обед.

Когда он вошел, все сидели за столом. Они были поглощены новостью: было прочтено приглашение о предстоящей свадьбе доктора Карстена Тессесена Люнда и девицы Эсфири, дочери Теодора из Полена.

— Как! — произнес Август. — Уже?

— В церкви наступила мертвая тишина, — рассказывала Паулина. — Да и не удивительно...

— Кто-то взрыл ночью всю мою плантацию, — сказал Август.

— Взрыл?

— Да, все поле. Ни одного цельного листочка не осталось.

— Какой ужас! Скотина забралась, что ли?

А в г у с т. Нет, человек.

Но новость из церкви была слишком потрясающей; было, конечно, жаль Августа, но они интересовались другим; теперь это, конечно, неслось, как лавина, по всему приходу. Подумать только, Теодорова Эсфирь будет замужем за доктором! Она выросла здесь, среди этих изб, ходила рваная и нищая, но была красива, с чудесными глазами, и способна к учению, как ее мать.

— Она чертовски красива,— сказал Август.

С этим все согласились: и собой хороша, и дельная, что правда, то правда. Говорили, что она была из тех, что едят уголь, но вряд ли это было так. Доктор был тоже молодец, но все же лет на десять старше Эсфири.

— А важные барышни из Внутреннего прихода остались, верно, очень недовольны,— сказала Паулина,— эта учительница из дома священника и дочь лавочника; обе они были в церкви и слышали оглашение.

Они подробно обсуждали событие, и Август помогал, сколько мог:

— Для меня это не является новостью: дело давно к тому шло. Доктор ничего не мог добиться от Эсфири другим путем, ему оставалось только жениться на ней, иначе она кусалась.

— А ты, почему знаешь? — спросила раздраженно Паулина.

— Он сам рассказывал мне.

— Так мы тебе и поверим!

А в г у с т. И потом я это сразу понял, глядя на них обоих. Я ведь хорошо с ними знаком; доктор до сих пор должен мне пятьсот крон за акцию.

Паулина встала, убрала со стола и принялась мыть посуду в кухне. Мужчины остались в горнице, и Август заговорил о своей плантации:

— Полное уничтожение отличного урожая, громадная ценность, тысячи!

Иоаким спросил:

— А что было на твоём поле?

А в г у с т. Теперь я могу сказать, потому что все безвозвратно погибло: на поле был табак.

Иоаким разинул рот:

— Табак? Настоящий табак?

Август грустно улыбнулся и покачал головой:

— Дорогой мой, самый лучший сорт Виргинии,— «суматра», настоящая «гаванна», — назови как хочешь. И все это погублено чудовищем, истоптавшим все в одну ночь.

Инертный и сдержанный Эдварт вдруг спросил:



- А ты знаешь, кто это сделал?
- Да,— отвечал Август.
- Я пойду к нему,— сказал Эдварт.
- Не надо. Я уже был у него.
- Табак? — еще раз говорит Иоаким и задумывается

над этим.

Он видел в поле это чужеземное растение, но не мог понять, что это такое, а спрашивать не хотел; вполне возможно, что это был табак.

- Но разве табак может расти здесь? — спросил он.

А в г у с т. Я доказал это на деле, и никто не может больше сомневаться в этом: у меня лежат под прессом листья с поля; если кто-нибудь придет и потребует документы, они у меня налицо. Меня некому учить чему-нибудь в области табачной промышленности, потому что эту науку я хорошо знаю, в Вест-Индии я был однажды управляющим в одной области, где шага не ступишь, чтобы не раздавить табачных листьев. Под моим наблюдением работало семь тысяч человек. А здесь не могли оставить в покое даже мое крошечное поле!

- Э д в а р т. Давай я схожу к нему.

— Нет,— опять отвечает Август,— я уже сам все сделал.

Иоаким не участвует в дальнейшем разговоре, он прислушивается к шуму из кухни и говорит, удивленный:

- Что это там? Кто-то плачет?

Все трое прислушиваются.

— Да, кто-то плачет,— говорит Август и встает, чтобы посмотреть.

В то же мгновенье Паулина распахивает дверь и спрашивает:

- Это ты проколол Кристофера?

Август не отвечает.

- Я тебя спрашиваю, Август.

- Да, это я сделал,— отвечает он,— я проколол его.

Паулина всплеснула руками:

- Да помилует тебя господь, Август!

В дверях, простоволосая и расстроенная, показывается жена Кристофера, она протягивает к Августу растопыренные руки и голосит:

— Ты — убийца и душегубец! Но я ничуть не боюсь тебя, я пойду и донесу на тебя, тебе на плахе отрубят голову. Это так же верно, как то, что я стою вот здесь, грешница перед господом!

- Ерунда! — сказал Август.

— Ерунда? — Она обращается к другим: — Он два раза уколол его длинным ножом. И даже драки между ними никакой не было; он ударил его в бок раз, потом еще раз,— два раза ударил и почти убил его.

— Он жив еще? — спросил Август.

— Жив еще? И тебе не стыдно спрашивать! Он был жив, когда я ушла, но он истекал кровью. А теперь беги за доктором, убийца и раб греха! Да кстати донеси на себя: пусть тебя закуют в кандалы.

Август немного подумал и сказал:

— Я могу пойти. У меня все равно есть дело к доктору: он должен мне за акцию.

Паулина закричала:

— Ну, каково это слышать! У него и без того есть дело. Ну, не возмутительно ли это? А может, человек уже умирает. А ты чего тут стоишь? — спрашивает она женщину и хочет увести ее с собой.

Но женщина сопротивляется и продолжает голосить:

— Добро бы еще в драке, а то длинным ножом два раза, и они почти ни слова не сказали друг другу.

Паулина стояла как на иголках:

— Но ведь он лежит сейчас, истекая кровью, и ждет помощи?

— Да, ждет,— отвечала женщина.— Теодор побежал за доктором.

— Замечательно! — восклицает Паулина.— А ты стоишь тут, вместо того чтобы находиться при Кристофере и присматривать за ним!

Женщина наконец соглашается уйти, и становится тихо.

— Да, Август, хорошо показал ты себя, нечего сказать! — говорит Иоаким; он в качестве старосты и в некотором роде начальства не мог, пожалуй, промолчать.

— Ну, а что мне оставалось делать? — спросил Август.— Ну, как бы ты поступил, если б сегодня ночью истоптали все твоё картофельное поле?

— Я пошел бы путем закона.

— Это с Кристофером-то? Как бы не так!

Вечером, когда Август со своей тростью со стилетом и пенковой трубкой во рту отправился пройтись по окрестностям, Эдварт позвал его обратно: доктор сидел у них в горнице и хотел видеть Августа.

— Это он хочет доплатить мне за акции,— сказал Август.— Удивительно приятный человек! Ну, уж и жена ему достанется, просто прелесть! И какая честь для нас! Нам бы следовало отпраздновать ее свадьбу здесь, в Полене. Знаешь что, Эдварт, по-моему, из всех твоих незаконных детей... Впрочем, говорят, Иоганна нисколько не хуже ее, но...

— Заткни глотку! — говорит Эдварт.

В горнице сидел доктор. Его угостили кофе и домашним печеньем, он поговорил, а теперь сидел и курил.

— Добрый вечер, Август! — сказал он.— Ты опять впутался в неладное дело?

— Да,— отвечал Август.

— Я только что был у Кристофера. Он говорит, что вы не дрались.

— Нет, не дрались.

— Он говорит,— ты подстерег его.

— Н-нет. Я подошел к нему окольным путем, но он хорошо меня видел напоследок. Я даже кашлянул, чтобы не испугать его.

— Он тебя дразнил?

— Да, он упрямо продолжал стоять на месте и не отскочил.

— Тогда ты обнажил свое оружие?

— Нет. Я сказал, что он давно хотел посмотреть мою палку, что вот сейчас он ее увидит.

— А что же он ответил на это?

— Этого уж я не знаю. Видите ли, Кристофер хорошо известен как лгун, как человек, который никогда слова правды не скажет, так что я не собирался разговаривать с ним.

— Но тогда ты и проколол его?

— Да. Он уничтожил мою плантацию прошлой ночью.

— Я слышал об этом,— сказал доктор.— Он говорит, ты два раза кольнул его, но я обнаружил лишь одну рану.

— Это также преувеличение,— отвечал Август.— В первый раз я промахнулся, потому что он стоял как-то не с руки. К тому же у меня не было тренировок.

— То есть как? Ты хочешь сказать, что ты не упражнялся?

— Да. Но в Южной Америке и вообще в тех краях, там мы попадаем с первого же раза. Там не бывает промахов!

— Да, там не бывает промахов.

— Но это не значит,— поспешно добавил Август,— что я лично когда-нибудь прежде проколол кого-нибудь. Но я слышал об этом.

Доктор сказал:

— Я ведь не полиция, и эти вещи меня вовсе не касаются. Но, насколько я понимаю, тебе не избежать суда.

— Да,— сказал Август.— Но он истоптал поле табака, нанеся мне ущерб на несколько тысяч крон.

— Ты разве смыслишь что-нибудь в табакководстве?

Август улыбнулся в ответ на такой вопрос и сказал:

— Еще бы! Ведь у меня в Голландской Ост-Индии была табачная плантация, на которой работало семнадцать тысяч человек! И то это пустяки,— на соседней плантации работало тридцать пять тысяч. Я не преувеличиваю.

— Я верю,— говорит доктор.— Но, как я уже сказал, я не полиция, так что это не допрос. Я хотел поговорить с тобой только потому, что ты был моим пациентом.

А в г у с т. Да, и что за капли вы мне дали!

— Покажи мне, пожалуйста, твою палку!

Август передал ее и гордо сказал:

— Оригинал!

Доктор внимательно осмотрел оружие.

— Нож наносит рану,— сказал он,— а такой штык оставляет после себя дыру, которая с трудом заживает. Ты повернул оружие в ране.

— Это так полагается! — сказал Август.

Доктор опустил глаза и оставался серьезным. Он сказал:

— Говорят, ты помог этому Кристоферу выстроить дом, дав ему денег?

Казалось, Август точно не помнил об этом, он поглядел на Паулину и спросил:

— Так это было?

— Да,— отвечала Паулина.

Доктор заявил, что в таком случае Августу должно быть приятно, что он оказал помощь Кристоферу.

— Стало одним домом больше в Полене,— сказал Август, никакого значения не придавая этим затраченным деньгам.— И к тому же это была совсем ничтожная сумма,— полагал он.— Когда я наконец достигну того, к чему стремлюсь, тогда у меня будет множество денег. Я знаю, где их достать. Так, например, я могу заняться шелководством в Китае.

До сих пор Иоаким-староста не проронил ни слова, но тут и он, может быть, из доброжелательства, решил помешать Августу унести в заоблачные выси.

— Во всяком случае, Август, доктор может сообщить тебе приятное известие, что рана Кристофера не смертельна.

— А-а, так, — сказал Август.

Доктор. Да, к счастью, стилет скользнул вдоль ребра.

— Уж очень мне было не с руки, — извинился Август.

— Но когда тебя притянут к суду и допросят, — продолжал доктор, — то тебя посадят под арест и накажут. Этого тебе не избежать. И кроме того тебе придется платить штраф.

Август заметил, что такой пустяк не имеет значения:

— Конечно, это не будет особенно большая сумма. И потому он нанес мне убыток на несколько тысяч, я потребую точного определения стоимости моей плантации.

— Ну что ж, это выход! — согласился доктор. — Но подумал ли ты о том, что тебя могут судить за покушение на убийство и что тебя могут посадить в тюрьму на несколько лет.

— Мне некогда сидеть в тюрьме.

— Я тоже так думаю.

— Ни в коем случае! — решительно заявляет Август. — Сидеть в тюрьме? А что же будет тогда со всем тем, что у меня сейчас на руках и со всеми моими заграничными делами? Нет, это совершенно невозможно!

— Кстати, в каких ты отношениях с ленсманом, в хороших?

— С ленсманом? — смеясь, сказал Август. — Ну, нет!

— Это может иметь значение, когда он прибудет.

Август. Я ни в коем случае не стану давать объяснений этому шуту, уж лучше я отправлюсь прямо к амтману и расскажу ему все, как есть. Я хорошо с ним знаком.

— Это хорошо, если у тебя есть такой выход, — сказал, вставая, доктор. — Насколько я понял, Кристофер не замедлит донести на тебя.

— Вот видите, что это за человек! — обратился Август ко всем присутствующим, как бы приглашая их в свидетели. — Я раздобыл ему землю под стройку здесь в Полене и дал ему много денег на дом...

— И заплатил за быка, — не утерпела Паулина.

— Да, и заплатил за быка, которого он похитил из хлева у самого старосты. Одним словом, я все время самым лучшим образом обращался с этим негодяем, а теперь он хочет донести на меня, и все из-за какой-то несчастной дырки в груди, размером всего-то в десять эре!

Доктор покачал головой:

— Но это совсем не безопасная рана!

Август заинтересовался:

— Так, значит, он мог бы умереть? Но как бы то ни было, я сам получил в свою жизнь шесть колотых ран, и в теле

моем до сих пор сидит множество револьверных пуль. Мне не пришлось лететь на аэроплане на Барбадос, так как я оказался слишком тяжел из-за свинца. Но разве я хоть раз донес на кого-нибудь?

— Послушай-ка, Август,— сказал доктор на прощанье, протягивая ему трость.— На твоём месте я не стал бы разгильятиваться с этой вещью, пока не попал опять в Южную Америку. Пойди, убери ее куда-нибудь!

## ГЛАВА XXVI

---

В сущности Августу следовало бы уехать в то же воскресенье, но он не спешил, он откладывал свой отъезд.

Паулина настаивала и торопила его, считая, что он напрасно рискует.

Он возражал, говорил, что сперва ему нужно устроить свои дела.

Она упрекала его, что он хвастает и хочет казаться героем.

На это он возразил следующее:

— Во-первых, мне нужно приготовить табачные листья, которые лежат под прессом; потом я хочу пристроить колокольчик к двери твоей лавочки, как это полагается в городах.

— Колокольчик?

— Ну да. Чтобы тебе не надо было каждый раз отпирать ключом. Я уже давно обдумал это.

— Ты все думаешь! Но это вовсе не нужно.

— И наконец, мне необходимо сходить посмотреть на мою фабрику у моря, хорошо ли просох цемент и не намочить ли мне его еще раз.

— Все это одни глупости,— сказала Паулина.

— Во все нет,— отвечал Август.— Да потом есть еще одна важная вещь: какое число у нас сегодня?

— Семнадцатое?

— Как раз! Впрочем, я сам следил за числами. И ты, конечно, обратила внимание на то, что я никогда не предпринимаю никаких поездок восемнадцатого числа, а завтра — семнадцатое. Такую клятву я должен был дать белому ангелу, когда я был миссионером. Я попробовал однажды нарушить эту клятву и выехал на нефтеналивном судне восемнадцатого числа, но я больше этого не повторю. Именно тогда я был укушен ядовитой мухой, привившей мне болезнь на несколько лет.

Но Паулина страдала за него и сказала прямо:

— И как тебе не стыдно говорить такую ерунду! Ты будешь болтаться здесь, пока за тобой не явится ленсман. Ведь вы с ним такие друзья!

А в г у т. Послезавтра меня не будет здесь.

— Но, может быть, это будет слишком поздно,— сказала Паулина.

Впрочем, тут случилась одна вещь, которая отчасти рассеяла беспокойство Паулины за Августа и отвлекла ее мысли. Не успело и дня пройти, как разнесся слух, что приходила жена кузнеца из Внутреннего прихода и увела своих мальчиков домой. Верно, она не могла дольше оставаться глухой к наветам остальных женщин.

Случилось именно так, как говорила Ане-Мария: многое может перемениться за год, и ей следовало торопиться и скорее брать себе воспитанников, пока она была еще важной и имела деньги. Теперь все прошло, благополучие Ане-Марии и Каролуса рушилось. Но приемыши были сыты и довольны, у них были сапожки, одежда и чистые рубашки; они учились также читать по новенькой азбуке и, по сравнению с прежним, жили, как принцы.

Ане-Мария глубоко огорчилась, хотя была благоразумна и знала, что это должно было случиться. Она говорила себе, что при изменившихся обстоятельствах она не может иметь на иждивении своих принцев веки вечные. Но дело в том, что она сильно привязалась к мальчикам, пекла им вафли, делала сладкое из свеклы, ходила к Паулине в лавку за молоком и благословляла каждый день, проведенный с ними.

Теперь все это кончилось.

Мать понимала, что ее мальчикам будет, пожалуй, хуже дома.

— Нельзя сказать, чтобы они нуждались у вас, великий боже,— с благодарностью в голосе сказала она.— Но теперь на вас самих едва хватает, слыхала я.

Каролус тотчас почувствовал себя задетым:

— Кто это сказал?

Женщина объяснила, что слыхала это от многих, и в последний раз вчера в церкви.

— Ну, что об этом говорить! — сказала Ане-Мария.— До сих пор мы не терпели нужды, а дети подавно. И сколько бы они у нас ни пробыли, на них всегда бы хватило.

Женщина начала колебаться, она робко заявила, что не настаивает, что не хочет вовсе брать мальчиков непременно сегодня.

— Да нет уже, ты сейчас пришла за ними,— сказала Ане-Мария.— Когда-нибудь это должно же было случиться! А как у вас дела? Есть ли у твоего мужа работа?

— Как когда.

— Сколько же душ вас всего?

— Семеро с детьми. Нам немножко помогает наш приход, откуда мы родом.

— Ну, эта помощь от прихода — плохая помощь,— проворчал Каролус и глубокомысленно покачал головой.— Каждый грош, прежде чем послать, раз десять пересчитают.

Ане-Мария встала и принесла молока.

— Выпейте молока, мальчики,— сказала она.— Вам ведь далеко идти.

Мальчики были очень оживлены и рады пойти с матерью. Как все дети, они любили перемены, для них было новостью опять попасть домой и попробовать, каково там живется. Но так как Ане-Мария была очень подавлена и не шутила, то и они сдерживались.

— Поблагодарите за молоко и за все добро, которое вам сделали, и попрощайтесь,— сказала им мать.

Эти маленькие ручки хватали ее за нос, трепали волосы, щекотали ей щеки; вроде того — и с Каролусом: они теребили его за бороду, тянули за уши, шарили по его карманам и находили там монеты. Да, но было совсем не то, когда эти маленькие ручки протягивались, чтобы проститься.

— Вы должны приходить навещать нас,— сказал Каролус,— не забывайте нас. Мы опять поиграем в прятки.

Но Ане-Мария торопливо прервала его:

— Да, да, детки! А вот это их вещи,— сказала она, обращаясь к матери, и указала на узел с вещами.

— Боже мой! — опять сказала женщина.

Пожалуй, там было не так уж много, чтобы всплескивать руками, но все же в узле была одежда, будничное платье и смена белья, кроме того — азбука с петушком на обложке и грифельная доска с кусочком грифеля на тесемке. Потом были еще гвозди, катушки, пуговицы, спичечные коробки, стеклышки,— все, что обычно бывает в карманах у маленьких мальчиков. Но топорики мальчики сами должны были нести в руках.

Они вышли из дому все вместе. Ане-Марии хотелось проводить детей. То же самое хотелось и Каролусу, он был обижен и сказал:

— Разве только ты пойдешь провожать детей, Ане-Мария? Мне тоже хочется повести немножко их за руку...



Паулина из лавки видела, как прошли эти пять человек, и видела также, что вернулись только двое из них. Она поняла, что произошло. Сегодня приходилось интересоваться не одним только Августом, сегодня случилось так много неожиданного...

Разнесся слух о сельди в Эйдсфьорде. Может быть, это была выдумка, новая робкая надежда обездоленных людей, но только Эйдсфьорд с давних пор был местом прохода сельди, так что всего можно было ожидать. И на случай, если бы слух подтвердился, как следовало поступить обоим рыбопромышленникам, Ролансену и Габриэльсену? Снова покинуть Полен и продать свои виллы, которые никто не собирался покупать? Вернуться в свои старые гнезда в Вестеролене, которые принадлежали теперь другим?

Может быть, это было неблагоприятно с их стороны — переменить местожительство. Правда, сельдь подобна пароходу, который согласно расписанию заходит в фиорд два раза в год. Но вдруг он не пришел, он пропустил пристань и прошел мимо. Как тут быть? Это судьба. Словно туча нависла над Поленом: никакой жизни, не услышишь шуток; чайки и крачки исчезли; из труб поднимается скудный дымок, взоры поленцев устремлены в землю, а земля застроена, превращена в город.

С Габриэльсеном дело обстояло вовсе уж не так плохо. У него была большая лодка, и, взяв еще одного помощника, он мог бы отвозить на безлесные Лофотены дрова и жерди и тем зарабатывать хлеб насущный. К тому же Габриэльсен был молод и ловок, дельная голова, не говоря уже о том, что он обучался немецкому языку у гувернантки.

Бывшему директору банка Ролансену приходилось гораздо хуже. В лавке рассказывали, что он давно уже вернулся из своей поездки на юг, и с тех пор не показывался на улице и все сидел дома. Верно, его родственники отказались от него, и он потерял всю свою самоуверенность. Но вот этим утром, в понедельник, разнеслась весть, будто Ролансен облачился в будничное платье, надел на себя зюдвестку и отправился в Северный приход наниматься на лофотенский лов, в первый раз за свою жизнь.

— Да этого быть не может! — воскликнула Паулина недоверчиво.

Но одна из покупательниц засвидетельствовала, что сама встретила его в таком виде направлявшимся в Северный приход, именно по этому делу.

— Это он-то, со своим благородством!

Иоаким-староста, становившийся с каждым годом все обрваннее, заявил в духе своей газеты:

— Неудача нередко бывает отличной школой, неудача может превратить глупца в дельного человека...

Все местечко кишело в это утро новостями и событиями, лавка была полна народа, явившегося туда обсуждать их. Конечно, главной новостью было оглашенное с амвона: Эсфирь, дочь Теодора, выходила замуж за доктора.

Многие от всего сердца желали ей счастья, она унаследовала от матери ее своеобразную прелесть, и ее любили: прекрасная девушка, и к тому же отличная работница, самая красивая девушка к северу от Боды.

— Хе-хе! — не соглашается кто-то.

— Мы готовы побиться об заклад.

— Но никто из нас не знает, что происходит к северу от Боды.

— Верно. Но каждый и так это решит, глядя на нее.

Одна из женщин:

— Говорят, она ест уголь.

— Едва ли это так.

— Однако,— говорит женщина,— это, к сожалению, именно так.

Паулина вмешивается в разговор и спрашивает:

— А ты видала? Что, она была у тебя и съела твой уголь, что ли?

Женщину поддерживает другая:

— Успокойся, Паулина! Многие из нас знают про Эсфирь, что это именно так.

— Уж вы всегда все знаете! — передразнивает их Паулина.— А что, если в один прекрасный день эту гадость и непристойность будут распространять про твою дочь? Все это — только из одной зависти. Это выдумали какие-нибудь девушки, потому что Эсфирь красивее их.

— Об Эсфири рассказывают это не первый год,— говорят женщины.

— Ну и что из этого? — кипятится Паулина.— Сначала она попала к Хозее, так ведь? Но Хозея не нахвалится ею, так же, как и Эзра. Они говорят, что она не ела уголь у них.

— Мало ли что эти колдуны говорят! — шепчет одна из женщин на ухо другой, и обе, опустив глаза, ехидно улыбаются.

Потом стали обсуждать происшествие с Кристофером и полученную им рану. Нанесение раны строго осуждалось. Пусть Кристофер вел себя подло и позорно, разрыв картофельное поле, которое так отлично зазеленело, но пырнуть человека в грудь длинным ножом — это мог только негодяй и убийца! Августа следовало бы немедленно задержать.

— А вы знаете, что было посажено на поле? — спросила Паулина.

— А разве не картошка, особый сорт картофеля?

— Табак!

Все разинули рты:

— Как! Табак? В самом деле табак?

Когда они узнали, что это был табак, настоящий табак, табак для людей, их отношение к делу тотчас изменилось, и они порешили, что Кристофер — настоящее чудовище. Но, вероятно, он и не подозревал, что это не картошка росла в поле. Подумать только — табак! Но неужели же этот Август умел разводить табак? Удивительным человеком показывал себя он все время в Полене.

Пришел Август и хотел прикрепить колокольчик над дверью лавки. По мнению Паулины, он мог бы заняться чем-нибудь поважнее в последний вечер, но так как он, не говоря ни слова, выбрал себе один из козых колокольчиков, висевших на стене, и так как у него, кроме того, была уже готова пружина, на которой колокольчик должен был висеть, то Паулина не стала препятствовать ему в его последней затее.

Работа была очень быстро закончена, колокольчик попробовали, и он громко и предупреждающе зазвенел на весь дом.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Август. — Совсем как в других городах.

Но благодарности он не получил.

— Разве ты не думаешь собраться и уехать с почтовым пароходом сегодня вечером? — спросила Паулина.

— Сегодня вечером? Нет. Сегодня — восемнадцатое.

— Ты просто с ума сошел! — воскликнула она. — Ну, как же ты тогда попадешь на пароход?

— Я попаду именно на тот пароход, на который мне надо, — пожалуйста, не беспокойся! И потом, Паулина, будь так добра, дай мне пряностей.

— Поступай, как знаешь, мне нет дела до этого, — сказала она. — Но завтра утром, часов в семь, ленсман непременно явится за тобой.

— Завтра, часов в семь, меня здесь не будет, — ответил он. — Я уйду в двенадцать часов с минутой ночи. Тогда будет уже девятнадцатое.

Загадочная болтовня, глупая игра в таинственность. Его невозможно было переделать.

— Дай мне, пожалуйста, пряностей, Паулина.

— Каких пряностей? На что они тебе?

— Они мне нужны для табачных листьев. У меня в кухне кипятится раствор для них.

Он взял соли, сиропа, селитры, уксуса и других вещей всего понемножку, и все это смешал.

— Теперь пусть никто не приходит и не беспокоит меня некоторое время,— сказал он и ушел.

Он заперся у себя в комнате и снял фуражку. Уж не захотел ли он потешить себя колдовством? Он снял фуражку, тщательно отварил каждый листок, держался при этом очень благоговейно и набожно и все время молчал. Последний листок он сжег и надымил им в комнате.

Для чего все это? Может быть, какой-нибудь пещерный народ с родины табака научил его этому священнодействию? Может быть, какая-то связь между чертом и восемнадцатым числом напугала его и настроила на религиозный лад? Чего только не приходило Августу в голову!..

Он явился к Паулине с документом, подписанным им самим и двумя свидетелями. Он попросил Иоакима и Эдварта присутствовать при его прочтении: это была доверенность на имя Паулины получать, владеть и распоряжаться всеми письмами и всеми деньгами, которые будут приходиться на его имя из-за границы. Кроме этого он передал ей запечатанный конверт, в который было что-то вложено. Паулина была почти в отчаянии, что он до последней минуты занимается такой ерундой; она приняла доверенность и конверт, даже не поблагодарив, и отложила в сторону. Уж эти заграничные дела! Она столько слышала о них с первого же дня его появления в Полене, и теперь они должны преследовать ее и после его отъезда! Иоаким держался серьезно и глядел в пол.

Август вышел с таким видом, будто он рассчитался сполна и заплатил весь свой долг вплоть до последнего зре. Братья и сестра остались втроем. Иоакиму вовсе было не до смеху, но он все-таки протянул руку и сказал:

— Желаю тебе удачи, Паулина. Теперь ты главный наследник всей заграницы!

Паулина сердито отодвинула его руку и отвечала:

— Кривляка! Пароход теперь ушел, а он не уехал с ним. Ну, как ему быть теперь?

— Верно, он закажет себе отдельный пароход.

— Оставьте его в покое,— медленно изрек Эдварт.— Он знает, что делает!

Это выражение доверия, может быть, порадовало бы Августа, но он его не слышал: он ушел. Он ушел, и его все не было.

Ужин был готов, но Август не пришел к столу. Они обсуждали это и удивлялись, спрашивали прохожих; оказалось, что один мальчик видел, как он с ведром в руках шел по направлению к морю, это было уже довольно давно. Так, значит, он пошел посмотреть на свою фабрику, как говорил. Они подождали, сели за ужин, говорили о нем, — что его так долго нет? Паулина начала беспокоиться.

Иоаким поддразнивал ее:

— Вот вы увидите, он утопился.

Паулина встала из-за стола и вышла наружу. Она промелькнула мимо окон, потом ее было видно по дороге вниз к морю, она бежала.

Что случилось с Паулиной из лавочки? Уж не попала ли ей в ухо оса! Эта чопорная, сухая женщина бежала, словно за ней гнались, она рассекала воздух, высоко при каждом размахе подбрасывая ноги. Ну и прыжки! Иоаким был ее братом целых тридцать с лишком лет и никогда не видал раньше, чтобы она так бегала.

Подойдя к морю, она крикнула. Возле фабрики она во весь голос стала звать его по имени. Ах, она кричала слишком громко, — он вынырнул совсем рядом с ней, из-за угла, и с недоумением поглядел на нее.

— А-а! — взвизгнула она. — Ты тут?

— Что случилось? — спросил он.

— Что случилось! Куда ты пропал?

— Я смачивал пол здесь, в строении. Это не было необходимо, но я заставил себя сделать это, потому что сегодня — восемнадцатое. Я только что управился.

Паулина, обессиленная, опустилась на плоский камень.

— Я так испугалась, — мне стало страшно за тебя, что ты что-нибудь над собой сделаешь, прости меня, господи!

Август уставился на нее в чрезвычайном изумлении:

— Что-нибудь над собой сделаю? Это я-то!

— Ты так странно говорил сегодня о восемнадцатом и девятнадцатом, — принес уверенность...

— Эту уверенность, — с достоинством сказал Август, — я счел своим долгом передать тебе. Так чтобы у тебя было на что опереться в будущем.

П а у л и н а. Нечего сказать, хорош гусь! Какое там будущее? Ты бы мог устроиться в Полене, зарабатывать бы свой хлеб и со временем стал бы человеком. Ну, разве это на что-нибудь похоже, что ты теперь принужден бежать отсюда?

— Для меня это пустяк,— отмахнулся Август.— Что же касается того, чтобы зарабатывать свой хлеб, то ведь я произвел здесь много крупных работ и многому научил вас, но я ни от кого не получил за это благодарности, и никто не последовал моим советам. По-видимому, пока Полен не может служить ареной деятельности для такого человека, как я. Но ты можешь быть уверена, Паулина, что в конце концов правым окажусь я, потому что весь мир идет по пути, который я указал вам. Фабрика, что стоит здесь перед тобой, сейчас бездействует, и никто о ней знать не хочет, но вот ты увидишь, в ближайший приход сельди ею воспользуются. Опять закипит шумная жизнь, с подъемом деятельности во всех отраслях, появятся фабрики, крупные предприятия, мастерские, ткацкое производство, аэропланы и деньги, деньги без конца, миллионы; стоимость домиков по дороге к морю удесятерится.

— Но, хорошо, хорошо,— перебила его Паулина,— я вовсе не об этом говорила.

— Но это путь, по которому идет весь свет.

— Я хотела сказать, что тебе следовало бы устроиться и жить, как живут все остальные, и не быть таким сумасшедшим и таким беспечным по отношению к тому, что ты заработал.

Август покачал головой.

— У меня есть кое-какие сбережения,— сказала Паулина.— Мы могли бы помочь друг другу.

— Ты мне? Но никто не относился ко мне хуже, чем ты.

— Не говори так, Август!

— Если бы я получил те пять тысяч на фабрику, она была бы готова теперь...

Она поняла, что продолжать разговор бесполезно: она говорила об одном, а он — о другом. Она быстро поднялась с камня и сказала:

— Пойдем, и ты поужинаешь.

Да, перелетная птица, и на этот раз он не хотел сдаться: непостоянство гнало его в другое место, и он должен был опять покинуть страну. Разве он в свое время не сватался к ней? Да, но, без сомнения, только для того, чтобы иметь поддержку в своих предприятиях.

Когда они шли мимо избы Кристофера, в его окне виднелись лица.

— А что, по-твоему, они там о тебе думают? — спросила она.

— А что, по-твоему, я беспокоюсь о пыли на моих башмаках? — отвечал он.— Да, но мне нужно еще кое-что сде-

лать сегодня вечером, я должен побриться и привести в порядок свой костюм.

— Сперва пойдй и поужинай.

— Нет,— сказал он.— Пусть мой ужин стоит до ночи, я поем перед тем, как уйти.

Он сошел вниз из своей комнаты в половине двенадцатого с тростью и с пенковой трубкой, и больше ничего при нем не было, если не считать одежды на теле. Эдварт следовал за ним.

Никакой подавленности в нем не чувствовалось, он держался чертовски самоуверенно. Правда, в Полене его разбили по всем пунктам, но все-таки он еще не сдался и считал, что прав он, а не все остальные. Он был несокрушим и вынослив, и пока у него была его трость со стилетом, пенковая трубка и восемь ключей в кармане, он был бессмертен.

Иоаким, спавший в горнице, тотчас встал, когда вошли оба товарища.

— Спи спокойно,— сказал Август,— я сейчас уйду.

Он сел за стол и стал ужинать. В комнате было почти темно, но Иоаким заметил, что он сбрил себе всю бороду,— очевидно, с какой-то целью.

Вошла Паулина и хотела зажечь лампу.

— Ведь неприятно же есть в темноте,— сказала она.

— Я ем не рыбу, костей тут нет,— отвечал он.

Паулина тоже обратила внимание на то, что он снял бороду, она почти только по голосу узнала его.

Ел он немного, но сидел долго за столом и все глядел на стенные часы. Ел он плохо и не скрывал, что у него нет аппетита. Поужинав, он не остался сидеть и благодумствовать, не стал поглаживать себя по животу, а тотчас встал, схватил фуражку и протянул руку:

— Прощай, Паулина! Прощай, Иоаким!

— Какой же путь ты теперь избереешь в жизни, и куда пойдешь на этой земле? — сказала Паулина.

— Обо мне не беспокойся! — отвечал он.

Когда часы показывали одну минуту после двенадцати, он вышел из горницы. Эдварт последовал за ним.

Они шли по направлению к пристани, но когда из виду скрылись последние поленские домики. Август свернул в сторону и стал описывать дугу. Казалось, все было им обдуманно заранее.

— Так ты, значит, хочешь попасть на север? — высказал свое соображение Эдварт.

— Ну да, для начала,— отвечал Август.— Два-три месяца ходьбы к северу, затем на восток. Путь дальний.

Эдварт кивнул в знак согласия.

И приятели завели прощальный разговор, но в нем не было ни жалобных нот, ни торжественности. Была ночь и тишина. Они шли по тропинке вдоль русла реки, и было настолько темно, что они лишь неясно различали друг друга.

— Мой чемодан тебе понадобится для хранения в нем табачных листьев,— сказал Август. Через неделю ты вынешь листья и повесишь их на веревку для просушки, но это нужно делать осторожно. Ты просверлишь щель в черешке одного листка и проденешь в нее черешок другого, так чтобы листки держались вместе. Это ты сделаешь со всеми листьями, соединишь попарно.

— Хорошо,— сказал Эдварт.

— Когда они просохнут, ты аккуратно сложишь их в чемодан. Пусть они полежат, прежде чем ты начнешь употреблять их; лучше всего, если они пролежат год, нужно только следить, чтобы не завелась плесень. И у тебя получится отличный товар. Ты получил ответ от миссис Андриус?

— Нет.

— Тогда телеграфируй еще раз. Сделай это непременно, мне ужасно досадно, что я не могу помочь тебе. Но ей так легко не отделаться!

— Уж не знаю,— нерешительно сказал Эдварт.

— Ну да, ты ничего не знаешь, ты можешь обойтись без нее, ты мертвый.

— У тебя есть деньги? — спросил Эдварт.

Август свистнул:

— Деньги? Что ты хочешь этим сказать? Деньги для меня лично?

Последовала длинная и заносчивая болтовня. На что ему лично деньги в таком путешествии? Между прочим, мимоходом он заявил, что у него нет ни одного зре.

— Паулина послала со мной вот эти деньги,— сказал Эдварт и протянул несколько кредиток.— Она велела передать их тебе.

А в г у с т. Мне? Ей бы не следовало тратиться. Паулина и банк должны мне пять тысяч для фабрики, но она, конечно, шлет не эти деньги?

— Тебе бы следовало взять их,— сказал Эдварт.

— Никогда этому не бывать! Отдай их ей обратно и скажи, чтобы она зачла их за мой стол и за комнату. Деньги! —



опять загорячился он.— Доктор должен мне пятьсот за акцию, но у меня не хватило духа потребовать их с него.

Немного погодя Эдварт сказал:

— Кончится, вероятно, тем, что ты опять попадешь в Америку.

— Да, в этом не сомневайся! — отвечал Август.— Для такого человека, как я, нет более подходящей части света.

— Тогда передай ей, пожалуйста, вот эту бумажку. Тут двадцать долларов. Они — ее, а здесь я все равно не могу использовать их.

— С величайшим удовольствием! — воскликнул Август и сразу согласился.— Это совсем другое дело, потому что в путешествии эта бумажка будет иметь огромное значение для меня. Я могу показывать людям настоящие заграничные деньги, а не только ценные бумаги. Можно мне ее у тебя взять?

— Можно ли тебе ее взять у меня! Только это так мало...

— Этого хватит с избытком. Между прочим, я должен тебе еще несколько сотен крон, которые я раньше занял у тебя, и за них тоже, пожалуйста, не бойся, я их вышлю тебе.

— Хорошо,— сказал Эдварт.— А сейчас мне хочется сказать тебе одну вещь. Я хочу сказать,— это мне не дает покоя...

Эдварт, запинаясь, объяснил, что это он летом донес доктору на Августа о его ночных вылазках и похождениях в Полене.

Август непритворно не хотел этому верить:

— Да не может этого быть!

— Нет, это так.

Может быть, он и нехорошо поступил, но Эдварт боялся и за товарища и за Полен.

Август задумался было, но ненадолго, и вот он разразился громким смехом:

— Ну и жулик же ты! — сказал он.— Ты, конечно, боялся, что я отобью у тебя всех женщин в Полене,— вот оно что! И ты имел на то некоторое основание, потому что в этом отношении я всегда был молодчиной: на борту судов никто не мог сравниться со мной!

И Август развил свое утверждение, разукрасив его живыми и занимательными историями; он воодушевился, насвистывал, ругался и ускорял свои шаги.

Вдруг он остановился и сказал:

— Так, Эдварт, теперь поворачивай обратно, я побегу!

— Да, да,— сказал Эдварт.— Счастливого пути!

— Ты ведь не обижаешься на меня, что я это говорю, но мне нужно сейчас спешить и двигаться поскорее. Я побегу некоторое время. Прощай и спасибо за приют!

И он быстро и легко побежал по тропинке в мутном свете ночи. У него ничего не было с собой, он был налегке.

## ГЛАВА XXVII

Нужно признаться, что отсутствие Августа было очень заметно. Эдварт скучал без него, Паулина чувствовала себя как будто немножко более одинокой и жалела, что не подарила ему зонтик из своей лавки. Он пригодился бы ему в путешествии.

Она сказала Иоакиму:

— Перед уходом он заплатил за себя.

— Как! — воскликнул Иоаким. — Тебе бы не нужно было принимать денег.

П а у л и н а. Я и так отослала ему деньги, но Эдварт принес их обратно. Вот они!

Иоаким покачал головой и замолчал. Во всяком случае он ни малейшим движением лица не обнаружил, понимает ли он, в чем дело, или нет.

Но что значила эта мелочь за стол и пищу, что значит зонтик по сравнению с двадцатью тысячами немецких марок! Разве что могло сравниться с чудом! И какое из всех чудес могло сравниться с этим!

С почтой пришло письмо на имя Августа, оно было от агентства из Троньема, заказное и все в сургучных печатях. Август отсутствовал, у Паулины было полномочие поступить с письмом, как ей угодно. Она пощупала его, подержала против лампы — ничто не помогло. Она могла бы открыть его при помощи вязальной спицы, — искусство, в котором она не была новичком, — но письмо было запечатано сургучом. Она его вскрыла.

Даже если бы лошадь с экипажем очутилась в ее маленькой конторе, и то она не больше удивилась бы этому, чем сообщению о двадцати тысячах марок, выигранных Августом в Гамбургской денежной лотерее. «Наши поверенные в Гамбурге (следовало название известной фирмы) предлагают вам немедленно получить через нас наличными деньгами пятнадцать тысяч норвежских крон, причитающихся вам как выигрыш, по представлении лотерейного билета,

такой-то и такой-то номер. Копия предложения прилагается полностью».

— Иоаким! — кричит Паулина.— Эдварт! — кричит она.

Большой совет. Как хорошо, что Август отправился на юг! Когда он уладит свое дело с амтманом, он, наверное, поедет дальше, в Троньем, и сам все устроит.

Эдварт молчал.

Паулина тотчас попросила Иоакима обратить внимание на то, что Август не врал, когда говорил, что у него есть дела с заграницей.

— Дела? — отвечал Иоаким.— Разве это дела?

— Называй, как хочешь! Ах, если бы я могла сказать ему хотя бы два слова!

Иоаким с важным видом старосты:

— Согласно его последней воле ты являешься единственной наследницей его имущества.

Паулина обратилась к Эдварту:

— Как ты думаешь, дойдет до него телеграмма, если я пошлю ее на имя амтмана?

Эдварту пришлось сознаться:

— Он отправился не к амтману.

— А куда же?

— Пусть это останется между нами: он пошел на север. Правильнее было бы, пожалуй, назвать это бегством.

Новое совещание. Теперь Паулина уже ничего не могла придумать и была в отчаянии. Иоаким выразил некоторое сомнение относительно агентов в Троньеме да и относительно самого чуда. Но торговая фирма «Паулина Андреасен» хорошо знала троньемскую контору по имени.

А не показать ли Габриэльсену немецкое письмо? Да, про рыбопромышленника Габриэльсена было известно, что он учился немецкому языку с гувернанткой, но Паулина не собиралась вовсе доверять ему сразу все письмо и рисковать тем, чтоб имена и суммы еще до захода солнца разнеслись по всему Полену. Наоборот, она хотела сходить к Габриэльсену и спросить у него сперва о том, потом о сем, наконец, сказать, что вот тут в одном месте написано что-то по-немецки, — ну, где угодно, например в циркуляре почтового ведомства, — так что это значит по-норвежски? О-о, Паулина была хитра. Не то, чтобы она хотела скрыть богатство Августа, отнюдь нет: когда настанет время, она сама расскажет поленцам, что за человек этот Август, и что уж одно это письмо делает его владельцем пятнадцати тысяч норвежских крон.

И о а к и м. По представлении лотерейного билета!

— Ну да, но этот билет, конечно, у него есть. Он же не дурак.

Но только он сам должен получить свое богатство, а он даже не знает о нем. И его нет. Величайшее смятение.

Эдварт сказал, кивая головой:

— Я отправлюсь за ним.

Иоаким подумал и заявил:

— Ты его не догонишь. Ведь он — сколько же это будет? — на девять часов пути опередил тебя.

— Да, пешком мне его не догнать, — сказал Эдварт и, в виде исключения, улыбнулся. — В последнюю минуту, как я его видел, он даже бежал. Но морским путем я его быстро настигну, придется только нанять почтовую лодку.

— Конечно, найми.

— Я еще сегодня вечером догоню его, — сказал Эдварт. — Ветер отличный.

— А какой ветер?

— Хороший зюйд-вест.

— Зюйд-вест — самый скверный ветер, насколько я знаю, — сказала Паулина. — Во всяком случае не отправляйся один, Эдварт, возьми с собой кого-нибудь.

Но он отправился один.

Новое затруднение в деле: что, если Эдварт привезет беглеца, а его арестуют? Эдварт, конечно, не мог быть таким наивным, но Паулина беспокоилась. Сначала брат ей почти не помогал и предоставлял ей решать, как поступить:

— Да, пусть Август придет! Он непременно должен явиться, ему никак не следует отсутствовать. Человеку, владевшему пятнадцатью тысячами, вообще не следовало уезжать, и во всяком случае теперь надо вернуться!

А если Кристофер вздумает донести, то тем хуже для него самого! Кристофер тотчас будет обвинен в уничтожении плантации, в краже со взломом и в насильственных действиях этой зимой, в уводе быка, в похищении овец; свидетелей против него имелось достаточно.

И о а к и м. Но кто решится донести на такую личность, как Кристофер?

— Староста местечка! — отвечала Паулина.

— Я?!

— А не хочешь, так и не надо. Тогда я приглашу Эзру и донесу на него сама. Ты меня не отговоришь.

— Черт знает что за женщина! — проворчал Иоаким.

Да, она устраивала все так, чтобы Август мог свободно явиться, она все улаживала для него, расчищала ему путь, чтобы ленсман не тронул ни одного волоса с головы его, как сказано в писании. Конечно, старший брат будет настолько сообразителен, что захватит с собой товарища. Иначе зачем он поехал? Только затем, чтобы рассказать ему новость? Брат не так глуп.

Разумеется, Иоаким отправился к Кристоферу в тот же вечер. Недоставало еще, чтобы он отложил это до следующего дня, когда старший брат и Август уже могли вернуться в Полен.

Иоаким отправился. Он нашел Кристофера важным и суровым: да, сегодня он донес на Августа, донес на убийцу; он был бы чудачком, если бы не сделал этого, на то в стране и существуют закон и порядок.

Староста несколько иначе смотрел на это дело: обе стороны были виновны. К тому же на душе у Кристофера был еще с зимы не такой уж маленький грех, так что вполне можно было выдвинуть против него основательное встречное обвинение. И так далее.

Несколько раз были повторены одни и те же доводы. Кристофер все не сдавался.

Немного погодя он спросил жену, была ли она во Внутреннем приходе у ленсмана и требовала ли ареста Августа. Она ответила, что отложила до завтрашнего утра.

— Н-да,— сказал Кристофер и задумался.

Староста полагал, что в данном случае было бы лучше всего, если бы обе стороны помалкивали.

Кристоферу пришлось согласиться, хотя ему и очень горько было согласиться. Но только пусть Август уж не попадается больше ему на пути! Убийце ни за что бы не сносить головы, если бы Кристофер не стал опять религиозным и не покаялся бы в своих грехах. Эти дни он провел в размышлении о своем спасении: только чуть-чуть в сторону от ребра — и он был бы мертв. Это происшествие открыло ему глаза на милосердие провидения к нему. И так далее...

Паулина устроила генеральную чистку в двух комнатках над кофейней, чтобы все было готово к возвращению друзей. После Августа осталась большая серая шляпа с пряжкой на боку, та самая, в которой он приехал; он носил ее набекрень, и на ней еще остался толстый шнурок на случай ветра. Она вычистила щеткой шляпу и повесила ее на место. Она разыскала его обшитый медью чемодан; он был открыт, в нем бы-

ли табачные листья, бог знает, может, и дорогие листья, и настоящий табак. Станный человек был этот Август: он разводил табак в Полене!

На следующий день она была у рыбопромышленника Габриэльсена, и он перевел ей отдельные куски немецкого письма. Все вышло очень удачно. Габриэльсен знал множество немецких слов и очень ловко листал свой словарь. Оказалось, что агентство предлагало свои услуги по выплате выигрыша наличными исключительно для того, чтобы избавить Августа от излишней траты времени и всевозможных формальностей.

Она долго размышляла о различии денег в обеих странах: равнялись ли пятнадцать тысяч норвежских крон двадцати тысячам немецких марок? Получал ли Август все, что ему следовало, или его обсчитывали? Брат Иоаким пришел ей на помощь и по таблице курсов в своей газете установил, что Августу предлагали на три тысячи крон меньше, чем следовало.

— Как же так? На три тысячи крон!?

— Да, агенты берут эту сумму за выплату наличными.

Паулина быстро сообразила:

— Но ведь это же свинство — брать такие проценты!

— Пожалуй что, — поддразнил ее брат Иоаким. — Но все же ты будешь богатой невестой.

Он напрасно это сказал: она рассердилась и стала ругаться.

— Но ведь ты же имеешь полномочие на все, ты можешь объявить об этом на сходке.

Паулина привскочила:

— Уж я объявлю об этом по-своему! Я швырну это полномочие ему в лицо, как только он явится. — Она разыскала доверенность и запечатанное письмо, переданное ей Августом, и сказала: — Здесь вот все, я верну ему это обратно.

И о а к и м. А что в письме?

— Этого я не знаю. Но я верну ему все это обратно.

— А ты бы все-таки посмотрела, что там. Может быть, письмо уничтожает доверенность?

— Ну и пусть!

Иоаким вскрыл письмо. Лотерейные билеты!

Лотерейные билеты, вроде тех, какие Август носил в своем бумажнике, — иностранные, целая масса, среди них немецкий билет как раз с требующимся номером, и еще датские, мексиканские, испанские. Иоаким помог разобраться в них.

Паулина, сраженная, уселась на стул, и голова ее заработала: кроме этого билета, на который он уже выиграл, может быть, и другие стояли на очереди. Его болтовня о заграничных делах не была, значит, выдумкой. Ну и чудак этот Август!

Время шло, а друзья все не возвращались. Вероятно, Эдварт не так скоро напал на его след, как думал.

В четверг вечером Иоаким отправился в Новоселок. Эзра и Хозяя еще ничего не знали о чуде. Они тотчас стали рассуждать об Августе, о беглеце, обладателе пятнадцати тысяч. Свояки имели каждый свое мнение и находили для него не раз удачное выражение, заимствованное каждым из получаемой им газеты. Староста Иоаким, кроме того, пополнял свое образование при помощи протоколов собраний и официальных документов и вообще всяких попадавшихся ему под руку материалов, писанных или печатанных; он был смышлен, в нем были задатки политического деятеля, государственного человека, и, черт возьми, он обладал, быть может, даром красноречия. Об Августе он выразился, что он представляется ему своего рода агентом, представителем нашего времени, этого мира. Он сказал о нем, что он — символ, «что значит — образ или пароль». Август вообще казался ему несколько загадочным. Иоаким, пожалуй, даже немножко боялся его, не доверял его всевозможным затеям, но иногда не мог не удивляться его осведомленности: он знал несомненно тысячу разных вещей! В этом отношении Эзра, пожалуй, был проницательнее, хотя именно ему надлежало бы быть особенно благодарным Августу.

— Да, теперь Август вернется в Полен, и притом таким богачом, каким он никогда еще не был. Интересно знать, что он теперь придумает!

— Новый фокус,— сказал Эзра.

Хозяя находила, что к Августу были несправедливы: он учредил в Полене почтовое отделение, достал местечку невод, многим помог построиться.

— Да,— сказал Эзра,— и многих разорил. И Каролусу и Ане-Марии не миновать теперь кассы бедных. Стыд и срам!

Мужик Эзра понимал и знал только одно: землю, только землю, он был рабом своих полей и лугов; кроме пашни были еще море и горы, был весь мир, но это его не касалось.

— Август приходил сюда и хотел посадить елки на моей земле! — сказал он и захохотал.

— Дело в том,— начал Иоаким,— что Август развивал Полен и в хорошую и дурную стороны: он осушил болото и в то же время породил спекуляцию. Он был выражением духа времени: давал одной рукой и отнимал другой. В чем же была выгода? Он вносил изменения, но в каждом отдельном случае то добро, которое он приносил, уравнивалось последующим злом. Август отвечал иногда в своих спорах с Паулиной, что да, развитие именно так и происходит, что это борьба и конкуренция. Но разве это ответ? Он явился откуда-то извне и хотел научить нас модным заграничным вещам. Но для чего это? «Но ведь не должны же мы отставать в борьбе и конкуренции». — «Да для чего это?» — кричала Паулина. — «Да потому, что иначе нам, например, не будут без конца давать займы в Лондоне...»

— Ха-ха-ха! — сухо смеялся Эзра и готов был плюнуть на такое ученье. — Ты как раз это и говоришь! Но к чему он все клонил? Он застроил всю землю под город, а нас заставил голодать. А чем город должен был жить? Там даже вороне нечем пропитаться, только дома да люди. Он оставил после себя нам и то и другое: много домов, банк, фабрику, рождественские елки и все прочее; а последнее, о чем я слышал,— это то, что он развел табак,— ну, чего в нем питательного? Ничего нет,— ответил бы он мне,— но в этом развитие, это деньги, на которые можно купить еду! Деньги? Да, деньги, и заработок, и прогресс, и все такое. А я говорю, что это погибель. Мы едим и едим всю эту его покупную еду, и только все больше есть хочется; ведь это все равно, что ветер: мы глотаем, он нас не насыщает. Я вижу, Хозяя, ты хочешь что-то сказать. Ты хочешь предложить нам кофе?

— Да,— сказала Хозяя,— Иоаким, может быть, и не отказался бы от чашечки кофе, да у меня его нет: мне не на что его купить.

Э з р а. Очень нужен Иоакиму твой кофе! Дай ему лучше чашку молока. Вот чем угощали гостей раньше. Да и к чему все эти пустые и глупые требования от жизни, к которым Август хотел приучить нас, это стремление к дорогим и вкусным лакомствам! Теперь дело стало так, что если человек не ест мяса и праздничных кушаний каждый день, то он уже недоволен и воображает, что терпит нужду. Недовольство и все возрастающая требовательность у всех людей. Последний всем довольный человек в Полене был Мартин Рулевой. Он не был слишком избалован жизнью, но благодарил бога и прожил свыше восьмидесяти лет.



— Дело в том,— опять начал Иоаким, стараясь высказать свою мысль возвышенным языком,— что Августа не так-то легко было понять. Если он был орудием духа времени, то он имел основание настаивать на своем: он являлся миссионером. Лично он имел большой опыт и был вынослив, как лошадь. Он мог потерпеть крушение в одном деле и тотчас взяться за другое; он был молодчина в своем роде, неподражаем и в отношении безответственности и в отношении доверчивости. Когда он был болен зимой, говорят, он сожалел о том, что не выучился танцевать на канате. Но в сущности он и это умел, только он танцевал головой: он был сумасброд. Эзра совершенно правильно говорил, что он был занят сотнею дел, и он со всеми ими справлялся ловко и без лишних колебаний. Он работал весело и с увлечением, он был шутником и вралем, в нем отражалось новейшее время, и современная механика, и американизм, и хорошее и дурное,— все это. Но в одном отношении он был безупречен: он был добр и бескорыстен, он отдавал все вплоть до последней рубашки и уехал без единого эре. У него не было собственности.

Х о з е я. Все это совершенно верно!

— И это тоже только от безответственности,— сказал Эзра.— Ему не о ком было заботиться, он был одинок.

— Многие одиноки, и все-таки им всегда всего мало.

Что-то странное творилось в воздухе, какая-то тревога, какая-то тяжелая беззвучность. В пятницу разразилась буря. Паулина беспокоилась за Эдварта: если он был уже со своим другом на возвратном пути, то ему приходилось преодолевать встречный ветер. Это должно было задержать его. Каролус зашел в лавку и стал утешать ее: за Эдварта ей нечего опасаться — в лодке он чувствует себя как дома!

— Уповаю на бога! — сказала Паулина.

Каролус бродил вразвалку по местечку и всех утешал. Он жил воспоминаниями о том времени, когда был богачом и мог дарить займы в банке; его старые глаза были такие безучастные, с угасшим взором, без всякого выражения, как будто после сонных капель. Он очень горбился, и у него образовалась огромная спина, как будто на своей спине он носил еще вторую спину. Но Каролус не жаловался на судьбу, пока в лавке еще можно было получить калоши.

Ане-Мария была совсем иной: она не была мертвой, и до сего времени ее чувства были в полном порядке. Это было непростительно со стороны судьбы — что ей не оставили ее приемышей, но она не сторбилась от этого и не вырастила себе двойной спины, она держалась прямо. В один прекрасный день она уничтожила знаменитый № 1 над своей дверью, в другой раз написала письмо тюремному надзирателю в Троньем, что ей живется очень хорошо. Жена кузнеца из Внутреннего прихода, мать «принцев» пришла к ней, разговаривала, передала поклон от мальчиков и рассказывала о них: «Если мы не давали того, чего им хотелось из еды, они грозились, что уйдут обратно к приемной матери». Ане-Марии было приятно слышать это, она внутренне плакала от радости и чувствовала себя подкрепленной. По утрам она брала лопату, топор и мотыгу и шла на небольшой клочок земли, уцелевший на дальнем поле, и начинала на нем работать. Что с ней творилось! Однако она не потеряла рассудка, она прилежно вскапывала, вырыла одну канаву, потом две, целыми днями трудилась на своей крошечной пашне: обирала камни, переворачивала дерн, разбивала комки. Каждое утро она проходила мимо болота Эзры, где когда-то потопила шкипера из Хардангера; теперь это ее не трогало. Если б она встретилась со шкипером теперь, она прошла бы мимо и была бы права: он добивался ее, но добивался слишком короткое время, он недостаточно упрашивал ее.

Слух о том, что Ане-Мария работает одна на своей дальней земле, разнесся по деревне. Муж ее опустил и больше никуда не годился, зато она возделывала поле и не скрывала, что весной посадит на нем картошку. Это каждого заставляло призадуматься, и бывший директор банка Ролансен, у которого не было ни пяди земли при его роскошной вилле, серьезно подумал о том, чтобы снести великолепную пристройку с разноцветными стеклами из Индии и на ее месте посадить картошку. И это не было барской прихотью; он просто не имел достаточно средств на то, чтобы быть дураком.

Но Эдварт с его другом все не возвращался. Наступила суббота, а буря все продолжалась. Паулина начинала приходить в отчаяние, успокоительные слова Каролуса больше на нее не действовали.

Теодорова Рагна пришла тоже в лавку, чтобы справиться, нет ли вестей об Эдварте.

Нет, никаких вестей.

Она справлялась не для себя,— сказала Рагна и опустила глаза.— Ее послал сын, почтарь Родерик. Дело в том, что Эдварт взял почтовую лодку, а послезавтра надо отвозить почту.

— Да, все это так ужасно,— сказала Паулина.

— Да ничего,— сказала Рагна,— ничего ужасного нет, просто Эдварта что-нибудь задержало. А если он не придет до понедельника, то Родерик вовремя позаботится и наймет четырехвесельник во Внешнем Полене. Он так и просил сказать.

Маленькая Рагна, она не хотела усугублять чужое беспокойство и действовала осторожно. И она и муж ее возвысились в последнее время в глазах поленцев: во-первых, они получали жалованье за перевозку почты, а потом они были в родстве с доктором Люндом. Уж Теодор непременно бы нахвастал на весь Полен, если бы Рагна все время не оттаивала его. Она явилась на свет с даром привлекать к себе людей, привлекать и мужчин, и женщин, и детей и была скромна и застенчива. Кое-кто начинал уже говорить ей «вы», и маленькая Рагна становилась совсем пунцовой. Но и тогда она не переставала быть красивой.

Покинув лавку, она пошла домой среди обломков потерпевшего крушение города и несла в себе, быть может, обломки своей сокрушенной добродетели, вполне возможно. Но маленькая Рагна не испорчена. Конечно, иногда она должна была поступать иначе, чем она поступала, она должна была бы иначе провести свою жизнь,— но кто провел свою жизнь так, как следовало! Она заронила в сердце Паулины новую искру надежды, она так уверенно говорила о том, что Эдварта просто задержали; может быть, она была права, может быть, к счастью, она была права! Буря улеглась. Наступило воскресенье, наступил понедельник; почту повезли в нанятой лодке. Во вторник они вернулись. Теперь прошла ровно неделя с того дня, как Эдварт отплыл из Полена, за это время он успел бы доплыть до самого Тромсе и телеграфировать оттуда. Паулина все еще не теряла надежды: старший брат не из тех, что телеграфируют или пишут. Она надеялась еще целую неделю, и вот почта вторично вернулась с письмами и привезла весть: лодку Эдварта прибило к берегу.

Итак, старший брат ушел от них и уж больше не вернулся. Так видно было угодно богу.

Она продолжала заботиться о своей лавке, о хлеве и о кухне, ходила, как прежде, в церковь и даже не надела особенно темного платья, чтобы показать свое горе, но она была глубоко подавлена.

Так как и Августа не удалось настичь в его бегстве на север, то она воспользовалась своим полномочием и стала действовать от его имени. Она согласилась получить пятнадцать тысяч норвежских крон в обмен на немецкий лотерейный билет, и как только деньги пришли, принялась платить долги Августа. У нее было справедливое сердце и толковая голова. Она заплатила за пропажу почтовой лодки, заплатила доктору, лавочнику из Внутреннего прихода и обоим лоцманам с пристани; выплачивала Кристоферу пособие, пока не зажила его рана; заплатила Каролусу и Ане-Марии за их застроенные луга и пашни. Чета Каролус была, пожалуй, благодарнее всех остальных; зато доктор отказывался принять деньги от такого «забавного пациента» и уступил только потому, что Паулина настаивала, чтобы он это сделал ради порядка.

Она со всеми рассчиталась и ничего не забыла. Даже те пять тысяч крон, которые судовладелец Оттесен вложил в банк на фабрику рыбьей муки, она намеревалась со временем выплатить его семейству, — со временем, когда дела Августа опять пойдут в гору и фабрику продадут. Что же еще оставалось? Ее собственные таинственные расходы на содержание Августа в течение долгого времени. Уж не забыла ли она о них? Отнюдь нет! Этого еще только не хватало!

Теперь Августу оставалось только вернуться. Ничто не стояло на его пути, он был в безопасности. Изрядная сумма денег оставалась также для него и дожидалась его возвращения в банке.

Может быть, Паулина почувствовала теперь некоторое облегчение: все было кончено; и в тот день, когда она действительно, за дешевую цену приобрела несгораемый шкаф, ее душа, так любившая порядок, была вполне удовлетворена: она не получила ничего лишнего, она вполне заслужила признательность банковских вкладчиков, они уплатили ей за ее службу по хранению денег.

Она говорила с Иоакимом-братом о приятелях: удивительно, что они были так дружны, хотя один из них был такой сумасброд, а другой такой тихоня. Так, например, старший брат давал займы своему другу много денег; Паулина не знала в точности, сколько именно, и вследствие этого не могла по этому пункту произвести расчет, но она отметила

это в своих записях. К тому же старший брат не нуждался больше в деньгах, да он и никогда ни в чем не нуждался, ни в чем, даже в карманных деньгах. Он был труженик и, боже мой, какой он был сильный и большой!

— Да,— сказал Иоаким,— мы все по сравнению с ним казались мальчишками. В тот раз, когда твой шкаф везли с пристани, нас было семь мужчин и две лошади, и мы не могли сдвинуть его с места. Но как только появился Эдварт, мы могли бы отпрячь лошадей.

У Иоакима блестели глаза, он с упоением расхваливал брата:

— А как он был добр к нам, когда мы были маленькими! Помнишь, как он возвратился домой?

Иоаким громко закашлялся и шагнул к окну, словно заметил что-то на дворе.

П а у л и н а. Так грустно входить в его пустую комнату. Его рабочая одежда висит там по-прежнему. Я не в силах отдать ее кому-нибудь.

— Гм! пусть висит! — молвил Иоаким.— Гм! Что я хотел сказать?..

Он ничего не сказал.

Паулина увидела, что его спина трясется.

Она спросила, чтобы отвлечь его:

— Ты сходишь сегодня вечером в Новоселок?

— Чтобы он чего-нибудь хотел?! — сказал Иоаким.— Мне пришлось пригрозить ему хлебным ножом, чтобы заставить его принять суший пустяк. Но, помнишь, ему пришлось-таки сдаться в тот раз, ха-ха-ха! И он сдался, хотя ему это и ужасно тягостно было, жулик он этакий! — Иоаким засмеялся невероятно громко; заставил себя засмеяться, чтобы не заплакать.— Да, по-моему, пусть она висит там. Конечно, пусть висит его одежда.

Паулина опять проявила находчивость и старалась отвлечь Иоакима:

— Ты говоришь — несгораемый шкаф? Подумать только, несгораемый шкаф в Полене! Что бы сказали отец и мать!

Иоаким поддался на эту удочку:

— А помнишь, Август никак не мог открыть его.

— Да, и ко мне пришел Теодор и взял клещи.

— Уж этот Теодор! Он хотел, чтобы кузнец из Внутреннего прихода пришел и взломал шкаф,— сказал Иоаким, и ему заметно стало легче на душе.

Он отошел от окна и сел. Под конец ему стало жаль и Августа.

— Он напрасно трудился, — сказал он.

— Да, совершенно верно! Что бы он ни предпринимал, ничто не удавалось. Это преследует его даже и теперь в его странствии: он мог бы вернуться — и не возвращается.

— Но, пожалуйста, не думай, что он страдает от этого, за него опасаться нечего, — сказал Иоаким и опять заговорил возвышенным языком: — Август должен был отправиться в странствие, потому что его сроки здесь истекли. Он следует за веянием духа и живет неугомной жизнью. В следующий раз он вынырнет в ином месте «земной коры» и там будет снова творить добро и зло. Повсюду есть новые веяния и неугомная жизнь. Не беспокойся за Августа: он — дитя нашего времени и везде чувствует себя как дома.

Высокий слог. Вряд ли Паулина поняла все.

— А между прочим, — сказала она, — его маленькие елочки все еще стоят перед нашим домом, и ты, пожалуйста, протяни перед ними проволоку, чтобы их не затоптать, когда выпадет снег.

Трудное время наступило для поленцев. Кризис затянулся. Зима и снег, недостаток в пище, никаких происшествий. Август, бродяга и кругосветный путешественник, отсутствовал. Становилось все хуже, не стало сельди, — голод и беспомощность; некоторым помогал приход. По мере того, как шла зима, все большее количество впадало в нужду. Многие из переселенцев переживали тяжелые дни: у них не было земли, чтобы посеять хоть что-нибудь, у них были только одни дома в этом подобии города, но нечем было поддерживать существование, вода замерзала в ведрах возле печи, по углам жались тощие дети. Осталось только благодарить бога за каждый прожитой день. Переселенцы навещают друг друга, оборванные и полуголые; иногда они так голодны, что смеются от слабости, они — олицетворение нищеты. О чем же они говорят? О сельди. Не «замечена» ли сельдь? Не видала ли почтовая лодка птиц над морем?

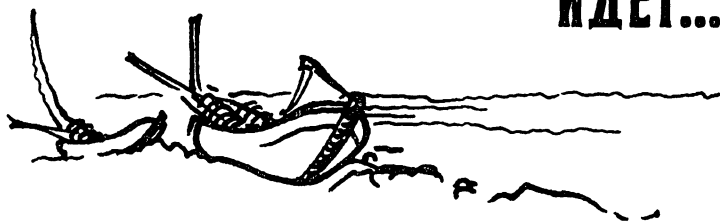
Зима идет своим чередом. Вот уже февраль и март. Весеннее оскудение совсем одолевало, переселенцы едва перебиваются изо дня в день, голодают, мерзнут и погибают — наконец успокаиваются в последнем сне.

Хуже всего детям. Дети вроде Августовых елочек: почва для них здесь неподходящая, слишком тощая, они хиреют и заболевают.

Наконец снег начинает таять, некоторые растения начинают становиться на верхушке светло-зелеными, чуть-чуть светло-зелеными на самой верхушке; и — о, чудо! о, волшебство! — в них все время таилась искра жизни, и они из всех своих силенок старались вырастить себе корешки. Но некоторые растеньица засохли. Некоторые дети умерли.

И вот возникает новый слух о сельди в Эйдсфьорде.

**А ЖИЗНЬ  
ИДЕТ...**







Третье поколение хозяйничало в большой мелочной торговле Иенсена в Сегельфоссе. Основателем был Пер Иенсен, по прозвищу Пер Из-лавки, продолжил дело его сын Теодор, Теодор Из-лавки, который пошел очень далеко и был самый видный и передовой человек в городе. Это было недавно, люди хорошо его помнят: он жил в одно время с сыном старого лейтенанта, того самого, который интересовался только музыкой и из которого ничего не вышло.

Зато Теодор достиг многого, можно было бы написать длинный список всех его должностей: староста, крупный плательщик налогов, купец в дотоле не веданном масштабе, одно время даже посылавший коммивояжеров в города северной Норвегии и имевший трех приказчиков в лавке и заведующего конторой, который вел гресбух. Деятельный человек был этот Теодор Из-лавки, честолюбивый, год от года богатевший, владелец рыболовного судна, лодок с двумя неводами и другими рыболовными снастями. Впрочем, он становился также все добрее и добрее, отечески приходил на помощь нуждавшимся и с годами сделался популярным. В год неурожая на суше и плохого улова в море многие обращались к Теодору Из-лавки, и он сохранял им жизнь,— что правда, то правда. Но само собой разумеется, они должны были усиленно восхвалять его или, еще лучше, только головами качать, сраженные его могуществом и величием.

— Одну только меру муки? — спрашивал он иногда.— Но надолго ли ее хватит тебе и семье?

И когда бедняк отвечал, что не смеет рассчитывать на большее, Теодор поворачивался к своему приказчику и говорил:

— Отпусти ему две меры!

Отдав такое приказание, он внутренне надувался от гордости, и имел на это полное право.

Он обратил свои взоры на дочь владельца мельницы Хольменгро, но не имел успеха. Тщеславие Теодора Из-лавки завело его на этот раз слишком далеко: он принял на службу заведующего конторой, главным образом, чтобы блеснуть в глазах барышни, но после он его уволил. Теодор Из-лавки решил образумиться и доказал это тем, что в один прекрасный день женился на юной дочери звонаря, которая отнюдь не побрезговала им. Удивительно ясная голова была у этого Теодора Из-лавки, несмотря на все свои причуды,— он взял себе прелесть какую жену, красивую и горячую, как кобылица, и в довершение всего ей было шестнадцать лет.

Но до чего глупа оказалась барышня с сегельфосской мельницы! Дела ее отца шли все хуже и хуже. Ей следовало принять предложение Теодора Из-лавки и устроить прочно и в довольстве свою жизнь. С ее стороны было не что иное, как высокомерие, поступить так, наперекор своему собственному благу. Бедняжка! Ее жизнь сложилась совсем несладко: под конец она устроилась на место экономки в Тромсё. Так сложилась судьба дочери Хольменгро с сегельфосской мельницы.

Но что же произошло с сегельфосской усадьбой и имением? Старый лейтенант был господином, он мог построить сегельфосскую церковь, оплатить роспись и изображения апостолов в алтаре, пожертвовать серебряную купель для прихода и многое другое. У него было целых двадцать арендаторов, и возделанные земли простирались до соседнего местечка. Умом даже не охватить этого великолепия! Он женился на благородной даме из Ганновера в Германии, почти что на дворянке, и они жили в большом белом доме с колоннами, во дворце, который можно было видеть с пароходов на море. Хольмсен был прямой и гордый, справедливый человек. Если подпись внушала доверие, люди говорили: «Хороша, как подпись Виллаца Хольмсена!» Его слово было ненаруσιμο, как клятва, его кивок подчиненным был благословением для них.

Но какая польза от всего этого, раз Хольмсены из Сегельфосса были обречены на гибель? Такова была судьба третьего звена рода. Будучи барами, они могли еще жить, ничего не зарабатывая, хотя у них были крупные расходы на многочисленных слуг и на благотворительность, на путешествия, большие приемы, как в тот раз, когда Карл

XV был на Севере, или когда амтман\* созывал съезд. Но ко всему остальному присоединялся еще расход на сына, который жил господином и учился в дорогих музыкальных школах за границей. Это должно было кончиться плохо. Старый лейтенант и его жена умерли вовремя; сын, молодой Виллац Хольмсен, не мог придумать ничего другого, как распродать отцовское добро. Это было прежде, чем Сегельфосс стал городом; тогда земля и дома не представляли еще особой ценности. Тут счастье улыбнулось Теодору Из-лавки. Когда молодой Виллац стал все превращать в деньги, Теодор обратил свой взор на дом с колоннами, на дворец, на королевскую резиденцию, и тут его тщеславие одержало крупную победу. Он стал владельцем всего этого великолепия.

Да, тогда были плохие времена, постыдные времена в северной Норвегии: плохой улов, глубокий сон и затишье в делах, не более шестидесяти шиллингов за меру крупной, ровной рыбы.

Те, у кого были средства от прежних лет, могли свободно покупать дворцы с землями и угодьями вдоль всего побережья. Впрочем, Теодор вовсе не был таким богачом, чтобы эта покупка ему легко далась, наоборот, ему было очень тяжело платить. Но нечего было и думать о рассрочке: так низко пали эти Хольмсены. У молодого Виллаца были такие крупные долги и внутри страны и за границей, что просто жалость,— ему пришлось нанять целый пароход и свезти драгоценные произведения искусства и всевозможную мебель из гостиных в Сегельфоссе на юг страны, чтобы продать их там. Тяжелый жребий, горькая судьба.

А Теодор Из-лавки и его жена,— что им делать во дворце? У них имелись стулья и стол для горницы и постели для спальни, а во дворце было два больших зала, кроме двадцати с чем-то комнат, оклеенных голубыми и красными обоями, на стенах одного зала золотые цветы и разводы, а другого — шелк,— и ни одного стула. Когда Теодор стал старостой, он разрешил устраивать собрания в одном из них и внушал своим односельчанам большое уважение таким сказочным великолепием.

У них родилась дочь, и мать была в восторге. Отец заблаговременно достал из Троньема фейерверк, но не пустил его. Еще через год с небольшим у них родилась вторая дочь, новое благословенное создание, порадовавшее мать, но не в той же степени отца, который думал о

---

\* Амтман — начальник округа. (Прим. перев.)

практической стороне жизни. Фейерверк не был пущен и на этот раз. Но еще некоторое время спустя, когда отцу было уже за сорок, а матери немногим больше половины, у них родился сын, обрадовавший их обоих,— десяти фунтов весом, с густыми волосами и сильными цепкими ручонками, маленький крепыш. Вечером отец попробовал зажечь фейерверк, который у него был спрятан, но он не загорался. Теодор поджигал его и раскаленными углями и пламенем, но ракеты так и не удалось пустить. Впрочем, это означало только, что порох отсырел.

Мальчика окрестили Гордоном Тидеманом, имя, которое мать в качестве ученой дочери звоняря где-то разыскала. Имя как имя, ничего против этого не скажешь, и мальчик не умер, наоборот, он развивался, ел и пил, но со временем у него сделались карие глаза. И это было не худо. Голубоглазые родители смотрели на это как на игру природы и откровенно показывали другим: «Поглядите-ка, до чего у него темные глаза!» Они и не думали скрывать эти карие и немного колючие глаза.

Но в один прекрасный день у отца зародилось ужасное подозрение.

Если б это случилось с ним в более юном возрасте, когда кровь горячее, Теодор Из-лавки потребовал бы жену к ответу за эти карие глаза. Но теперь дело обстояло иначе: весь день он был занят своим торговым делом и другими обязанностями. К тому же ему надоело, что каждый раз у него рождались дочки, которые никогда не смогут заменить его в деле, и он взял себя в руки: победил здравый смысл. Правда, раза два он стукнул кулаком по столу, рассердившись на жену, и случалось, что он тайком поглядывал за ней, особенно когда ей нужен был помощник с пристани, чтобы зарезать теленка или прокоптить лосося; но далее он не шел. Он даже не прогнал красивого дьявола, молодого цыгана, работавшего на пристани и очень ловко справлявшегося с неводом для лососей.

Практичный и рассудительный человек был этот Теодор Из-лавки, человек, вполне отвечающий требованиям своей среды, один из тех, которым на могилу кладут кругом исписанную мраморную доску. Достойный человек, хотя с немного извращенной моралью. Ракета не зажглась, ему не удалось пустить ее в поднебесье, к звездам. Ну, что ж из этого? Ничто не может сравниться со звездами. Стоило ли из-за этого прогонять цыгана и терять дельного человека? Кто лучше его умел ставить невод для лососей? Он покрывался ожогами от медуз, и все-таки приносил в

дом неожиданно крупный, чистый барыш. Кто, как не цыган, днем и ночью выплывал в лодке навстречу пароходам, привозившим столько ящиков с товарами? И разве цыган Отто не был по-своему из хорошей семьи, из многочисленной семьи Александер, прибывшей из Венгрии и ставшей известной по всей северной Норвегии.

К тому же, что Теодору было известно? Что он знал достоверно? Была только пара карих колючих глаз и какое-то подозрительное безумство у жены, с тех пор как цыган поступил на службу в Сегельфосс: глаза у нее оживились, она стала неслышно бегать по лестнице, часто пела и носила на шею, на черной бархотке, золотой медальон,— юная дикая птица. Затем, если говорить все,— отчаянные объятия в коптильне, с поцелуями и ласками, как-то вечером, когда Теодор пошел подглядывать. Наконец, повторение подобного же безумия лунным вечером прямо перед входом на пристань, у моря. Но это все, больше он ничего не знал. Отец Теодор рассуждал так: во всяком случае это была не девочка, и если все произошло не так, как должно, то он ничем не мог здесь помочь.

Время шло, и детям наняли учительницу. Это была дама, с которой Теодор Из-лавки мог,— если уж говорить все до конца,— с которой он мог кокетничать и откровенно показывать свою влюбленность в нее, чтобы отомстить и доказать, что и он был способен кое на что. Конечно, он был способен,— поглядите-ка на него! Он ходил с дамой в церковь вдвоем, без жены, и на рождество даже подарил учительнице кольцо для салфетки из толстого серебра. Каково! Не угодно ли жене проглотить эту пилюлю? Что об этом будут говорить, ему было безразлично: ведь не он же родил ребенка с карими глазами, люди, конечно, будут на его стороне. Впрочем, господин из Сегельфосского имения мог поступать, как ему было угодно.

Но и молодая жена поступала так же и заставила цыгана сопровождать себя в церковь. Там они оба уселись на местах, отведенных владельцам Сегельфосса, и весь приход видел их, хотя Отто Александер был всего лишь цыган и простой рабочий с пристани. «Это уже чересчур!» — подумал, вероятно, Теодор Из-лавки и в тот же день рассчитал цыгана.

Впрочем, время шло уже к осени, и ловля лососей прекращалась.

Но Теодор Из-лавки был лучше, чем он казался, и он решил сдать ся. Он поговорил с женой о новом порядке вещей. Дети были теперь уже большие, в особенности девочки, пора было пригласить к ним домашнего учителя,

образованного человека. Ну и пройдоха же был этот Теодор Из-лавки, такой хитрец! Он не был поклонником любви, он устал для вида волочиться за учительницей и не в силах был долее изображать глубокую страсть. Он был лучше, чем хотел казаться.

Это был прекрасный выход — отъезд учительницы и приезд учителя. Теперь дети могли учиться всем наукам, но в особенности полезно было мужское руководство Гордону Тидеману: он был развит не по летам и сообразителен, — отличная голова! Когда пришло время, его отправили в Троньем, сначала он поступил в школу, где был первым учеником, затем нанялся в приказчики и продавал, стоя за прилавком, и, наконец, он года два изучал в Германии «все, что имеет отношение к делу»: ведение книг, валютные расчеты, биржевые курсы, учет векселей, — обширные и излишние знания для человека из торгового местечка Сегельфосса, но развивающие и необходимые для образованного купца. Теодор Из-лавки старался подражать старому лейтенанту. Он хотел, чтобы и его сын получил заграничные знания, массу заграничной учености, и так как в то время он заработал много денег на двух-трех удачных уловах сельдей, то мог позволить себе несколько необычные траты. Теодор поручил своему сыну, еще очень юному, закупить старинной и дорогой мебели для зал и комнат в Сегельфоссе, вроде той, которая стояла там раньше: зеркала в золоченых рамах от пола до потолка, софы и стулья с золочеными сфинксами на львиных лапах, панно, вазы, столы и ларцы с инкрустациями, — много различных вещей разыскал Гордон Тидеман за границей и послал их в больших ящиках домой. Что за зрелище представлял собой дворец, еще раз убранный, — настоящие и поддельные украшения вперемежку, часы, которые, как и следовало ожидать, не шли, люстры с разбитыми хрустальными подвесками, бронзовые вещи, склеенные мастикой, но была и великолепная деревянная мебель, как, например, кровати с золочеными амурами и ангелами для комнат гостей. Роскошь во много раз превосходила старую утварь, вывезенную молодым Виллацем, и Теодора с женой это немного смущало. Они решили до приезда сына не расставлять вещей.

В Лондоне Гордон Тидеман встретил молодого соотечественника, Ромео Кноффа, который тоже был послан за границу совершенствоваться по своей специальности. Он приехал из крупного торгового пункта в Хельгеланде, лежавшего

как раз на пути пароходов, которые там останавливались, из красиво отстроенного местечка, где на главном здании красовались башенки, имелась пристань с солидной цементной набережной, голубятня, птичник с павлинами. Хотя в прежние времена как раз солидности-то и не хватало старому Кноффу: он оправился только после двух-трех удачных банкротств и теперь вел крупную игру, скупая рыбу в Лофотенах, занимаясь бочарным делом, постройкой лодок и многим другим. Деятельный человек и крупная личность в своем местечке. У него остались в живых двое детей: сын Ромео и дочь Юлия,— Ромео и Юлия!

После того как Ромео познакомился с Тидеманом в Лондоне, молодые господа часто встречались. Они были ровесниками и стали товарищами, они изучали одно и то же и были ровней, и домой поехали вместе. Они уговорились также навестить друг друга, когда придет время.

Теодор Из-лавки был рад заполучить такого гостя, как Кнофф,— он чувствовал себя польщенным. Кноффы по происхождению были иностранцы, и уже несколько поколений Кноффов занималось торговлей в северной Норвегии, тогда как Теодор был норвежец, происходил от Пера Из-лавки и родословную вел, так сказать, с прошлого года, кроме той, которая осталась за усадьбой от прежних владельцев Сегельфосса, от благородного семейства Хольмсен. Во всяком случае было удачно, что в главное здание навезли столько золоченой и полированной мебели.

Ромео приехал со своей сестрой Юлией, и еще с парохода они получили должное впечатление от усадьбы: так красиво выделялись колонны дворца, длинная березовая аллея и башенки на амбаре. А когда они прибыли в усадьбу и вступили в великолепие дома, оба Кноффа всплеснули руками, и Юлия сказала:

— Боже мой! Мы так не живем.

Теодор Из-лавки раздулся от гордости. Когда Кноффы поехали домой, они взяли с собой Гордона Тидемана и его двух сестер. Теодор Из-лавки остался очень доволен и этим.

Несколько лет молодежь ездила взад и вперед друг к другу, познакомилась как следует, и это привело к обручению и свадьбам: Ромео увез к себе дочь Теодора, Лириан, а Юлия Кнофф переехала в Сегельфосс. Так равномерно был произведен обмен. Только Марна, вторая дочь Теодора, осталась в девушках и еще не скоро вышла замуж.

Вначале город состоял всего лишь из нескольких домов. Сегельфосская усадьба представляла собой ядро, но она



лежала отдельно, несколько в стороне; потом понемногу стали строиться вдоль побережья, вокруг большой лавки Теодора да возле пристани. Изредка приходил с юга и обосновывался какой-нибудь ремесленник: портной, фотограф, кузнец, пекарь или мясник. Приходили также и мелкие торговцы и оседали в городе, но им трудно было прокормиться. Первому мяснику пришлось вернуться обратно к себе на родину, но на его место приехал другой; часовщик временно получил работу: он починил многочисленные часы во дворце, а потом и ему пришлось уехать. Никакого выхода.

Но Тобиас Хольменгро, прибывший из Мексики и имевший крупное мельничное дело на реке, внес сразу оживление в округу. В его время появилось много новых людей, они строили дома, и местечко разрасталось. Но Хольменгро процветал недолго: окрестные поселения были малы и бедны, а расстояние от городов, нуждавшихся в муке, слишком велико, и мукомольное дело заглохло, а его рабочие стали варить пиво.

Но понемногу город все-таки увеличивался,— несколько новых построек в прошлом году, несколько в этом. Приехал окружной врач, и открылась аптека. На протяжении года здесь возникли: почта, телеграф, «Гранд-отель», окружное правление, банк и кинематограф. От прежнего времени оставались церковь и священник, теперь появились школа и учителя, ленсман\*, нотариус и полиция, затем маленькая типография и «Сегельфосские известия». Большого здесь и быть не могло. В окрестностях были разбросаны маленькие дворы и избы, где люди жили и кормились морем и землей.

Мало что осталось от старого города и его людей. Несколько человек из времен старого лейтенанта и мельницы, но их было немного, а те, которые еще жили, не имели значения. Они как бы принадлежали к мертвым, выходили большей частью по вечерам, словно ночные птицы, и были рады, что их никто не замечает. У них не осталось больше детей, о которых они должны были бы заботиться: их дети выросли и уехали. Кое-кто из мужчин ловил рыбу, некоторые убирали город по ночам, двое стариков служили могильщиками на кладбище. Но было время, когда и они были людьми, как все,— и это было совсем уж не так давно. Теодор Из-лавки был еще жив тогда, но теперь и он уже умер.

По вечерам, в сумерках, старухи собирались у колодца. Им было что вспомнить: мельница работала тогда, их мужья

---

\* *Ленсман* — представитель полицейской и податной власти в пригородах и сельской местности,

имели заработок, у них были и одежда, и кофе, и жар в печи, и патока в каше. Иногда господь был милостив к ним и посылал им полный невод сельди или удачную Лофотенскую ловлю, изредка кто-нибудь рождался, женился или умирал по соседству; все было хорошо, все благословенно. Взять к примеру хотя бы Лассена, того самого, что тоже родился здесь и потом стал епископом и советником самого короля, все равно как Иосиф у фараона в Египетской земле.

Тогда здесь не было ни «Гранд-отеля», ни банка, ни кинематографа, но то время было этим людям более по душе.

## ГЛАВА II

---

Жизнь в Сегельфосском имении складывалась при новых господах несколько иначе, чем прежде. Будничные дни протекали теперь в более высоком плане, на большем расстоянии от деревенского люда. Гордон Тидеман проделывал в экипаже короткий путь от дома до лавки и обратно, и кроме этого приобрел ряд других барских замашек. К чему, например, надевал он в жару, во время этой непродолжительной поездки, желтые перчатки? Он купил себе маленькую нарядную моторную лодку, хотя вовсе не нуждался в ней, исключительно для того, чтобы выезжать навстречу почтовым пароходам и показываться путешественникам, в то время как он перекидывался словами с капитаном. Да и было на что посмотреть, — он был высоким и статным человеком, цвет его кожи и волос был темен по-иноземному, нос с горбинкой, глаза сверкающие, и узкий и твердый рот. Он всегда был красиво одет, и его башмаки сияли. Нет, он был другим, нежели Пер Из-лавки или Теодор Из-лавки.

Пока был жив его отец, артели ежегодно выезжали в море, — каждая артель в свой фарватер; нередко — дважды в год: осенью, перед Лофотенами, и весной, после них. Рыбный промысел — ловля сельдей и засол их — были тем, что прежде всего интересовало его и давало крупные доходы. Но вовсе не этому учился Гордон Тидеман в школах и путешествиях, он знал слишком много о ведении книг, о биржевых курсах и иностранных расчетах, — о вещах, которые не имели ровно никакого значения в его деле. Какая польза была от составления прекрасных и точных счетов мелочной торговли, когда она отнюдь не приносила тех

доходов, что крупная удача и везение в рыболовном деле? Он содержал даже коммивояжера для поездок в города северной Норвегии, но особенной выгоды от этого не имел. Однажды он попросил его к себе в контору и указал ему на стул. Шефом он был вежливым, но сдержанным.

— Дела не особенно блестящи,— сказал он.

— Да, как будто бы.

— Последние образцы могли бы продаваться успешнее. Я говорю о шелковых кимоно.

— Да,— отвечал коммивояжер,— но люди только головой качают, глядя на них.

— Это товар от самых лучших фирм.

— Народ предпочитает спать в бумажных рубашках. Это старая история.

— А как идет дело с шерстяными платьями? — спросил шеф.— Ведь это сейчас самый модный товар.

— Да,— отвечал человек и покачал головой.— Но дело в том, что дамы предпочитают шелк. Шерсть внизу и шелк снаружи,— добавил он и засмеялся.

Шеф в ответ на смех поморщился.

— Вообще дела идут плохо. Тут что-нибудь не так. У вас достаточно денег для представительства?

— Я имею все, что полагается нам всем в разъездах.

Тогда шеф вдруг сказал:

— Но вы сами могли бы одеться получше. Вы бываете у купцов вот в этом платье?

— Этот костюм почти что с иголки. Предыдущий был, пожалуй, немножко узковат, но этот...

— Откуда он у вас?

— Из Тромсе, из самого лучшего магазина в Тромсе.

— Вам следовало бы набить на ваши чемоданы с образчиками медные углы,— сказал шеф.

Человек разинул рот:

— Вы считаете это необходимым?

— Пожалуй. Мне пришло это в голову. Но дело не только в чемоданах и в костюме,— все зависит от манер. Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать. Думали ли вы когда-нибудь о ваших манерах? Вы являетесь представителем крупной фирмы, и так и должны себя держать. Эта ваша рубашка и этот галстук,— простите, что я об этом говорю!..— тут шеф кивнул головой и дал понять, что он сказал все, что хотел.

Но, вероятно, этот человек был слишком плохо воспитан или не имел такта: он не догадался, что должен уйти. Он сказал:

— Дело в том, что на этом пути нам часто приходится самим таскать чемоданы. Иногда нельзя бывает получить место в каюте на пароходе, и мы пользуемся моторной лодкой. При этих условиях трудно всегда быть нарядным.

Шеф молчал.

— Иногда мы грязными приезжаем к месту назначения.

Шеф прекратил разговор:

— Хорошо, подумайте о том, что я вам сказал. Тут что-то не так...

Впрочем, Гордон Тидеман вовсе не был только франтом или шутком; его учили, что одежда и галантное обращение имеют большое значение, но это не сбило его с толку. Поэтому он сразу последовал совету матери и занялся приготовлением неводов для ловли рыбы.

Такая мать во многих отношениях клад. Она могла бы быть сестрой своих детей: все еще молодая и красивая, она смеялась и не утратила жара в крови, но при этом была деловой и практичной. Про нее говорили, что она была несколько распутна в первое время своего замужества, потому что муж был не по ней, но ведь уже много времени прошло с тех пор, и все забылось. Ее звали Старой Матерью, но это было глупое прозвище. Это только ее муж, Теодор Из-лавки, состарился раньше времени и покончил расчеты с супружеством и жизнью. Она сама была все та же.

— Если ты хочешь отправлять суда, кто у тебя будут рулевые? — спросила мать.

Гордон Тидеман был куда как горазд писать, он составил список всех прежних рыбаков отца.

— Ты записываешь каждый пустяк, — сказала, смеясь, мать. — У твоего отца все они сидели в голове. Как! Ты и Николая записал? Да ведь он умер на днях.

— Ну что ж, тогда мы вычеркнем его имя и вместо него запишем На-все-руки.

— На-все-руки слишком стар. Нет, тебе следует подобрать молодых рыбаков.

— Он хоть и стар, но ловок и вынослив. Я считаю его вполне пригодным.

— Мы не можем обойтись без него в усадьбе.

Старая Мать хорошо знала На-все-руки и очень ценила его сообразительность; она несколько раз разговаривала с ним и выслушивала его мнения. Это был старый моряк или бродяга, который однажды пришел и попросил работы. Он был худой и подвижный, много скитался по белу свету и умел рассказывать. Когда его спросили, откуда он

пришел, он ответил: «Отовсюду». Но где же был он в последнее время? «В Латвии».

Шефу он понравился. Разговор происходил у него в конторе; незнакомец положил свою шапку на пол у дверей и стал навтыжку. В чем чувствовалась дисциплина, и это пришлось по вкусу Гордону Тидеману. Он знал толк в вежливом обращении, любил также помочь другому; однажды он нашел должность на складе для одного юноши из Финмаркена только потому, что тот играл на скрипке. Мальчик сделался потом приказчиком в мелочной лавке.

Теперь перед ним стоял человек более крупного калибра.

— Как вас зовут?

Тот назвал себя; впрочем, ему давали всевозможные прозвища всю жизнь, поэтому имя ничего не значило для него, — добавил он.

— А что вы умеете делать?

— Да все понемножку, я, так сказать, мастер на все руки. Я буду делать все, что вы мне скажете, может быть, даже немного сверх того.

— Это здорово! — сказал, улыбаясь, шеф.

И он не раскаялся, что взял себе на хлеба этого человека. Оказалось, что старик мог быть полезен при самых различных обстоятельствах. Так, когда однажды начался пожар, загорелась сажа в трубе, он потушил его, всыпав в трубу ведро поваренной соли, — черт возьми, он словно заговорил огонь. Ему поручили наблюдение за мясорубкой, за машиной для выжимания белья и за катком для белья, и он заново отремонтировал их. Он по собственному почину принялся чистить и полировать лодки и снасти, покрыл цементом невзрачный и темный свинарник и превратил его в светлое и приветливое жилище. «На-все-руки! Иди сюда, помоги нам!» — кричали ему, когда окно почему-либо не закрывалось.

Впрочем, он был, кажется, религиозным, потому что он иногда крестился и вел тихий образ жизни. Не слышно было, чтобы он горланил, или распевал по дорогам дикие песни, или стрелял ни с того ни с сего из револьвера.

В Сегельфосском имении стали рождаться дети: за три года двое детей, а потом и еще. Удивительно, сколько старания и какая плодovitость! Молодая жена была высока и гибка, как змея, и вдруг у нее появлялся круглый живот, можно сказать — внезапный живот. Молодые, безумные люди, они не могли забавиться любовью без того, чтобы

тотчас же не зарождались дети. Старая Мать качала теперь внучат, и у нее осталось мало надежды потешиться самой.

Рождались дети и в избах, в маленьких дворах вокруг, люди рано вступали в брак и сразу становились бедными; да и нечего было ожидать другого. Впрочем, они и не ждали. Так, Иёрн Матильдесен, которого так звали потому, что неизвестно, кто был его отцом, женился на девушке Вальборг из Эйры. Они не имели ни клочка земли, ни денег, чтобы жить по-человечески, и только немного одежды, которую выпросили в разных местах, но они все-таки поженились и жили в лачуге.

— Зачем ты это сделала и не пожалела себя? — спрашивали люди.

— А лучше разве было доставаться каждому? — отвечала Вальборг.

— Но ты красивая, — говорили они, — и тебе только девятнадцать лет.

— Это правда, но ко мне начали приставать сразу после конфирмации...

Иёрн и Вальборг выпрашивали милостыню, и, вероятно, воровали слегка; во всяком случае за ними присматривали, когда они появлялись в городе и заходили к торговцам.

— Ну, что же вы купите сегодня? — спрашивали насмешливо купцы.

— А разве к вам и зайти нельзя? — говорил в ответ Иёрн.

Когда его оставляли в покое, Иёрн справлялся, сколько стоит красная с зеленым материя, которая бросилась ему в глаза, или полфунта американского сала.

— Но какой смысл называть вам цены? — ворчали иногда торговцы. — Все равно ничего не купите.

— А разве уж и спросить нельзя? — говорил в ответ Иёрн.

Жалкую жизнь вели Иёрн и Вальборг, но у них по крайней мере не было детей, — нет, к сожалению, у них не было даже детей.

В соседних дворах были дети, — единственное, чего было достаточно, — и это было божие благословение. Без детей целыми днями и годами не услышать бы смеха, не было бы маленьких ручек, которые просили опоры, не задавались бы странные вопросы. Вообще же было пустынно и бедно во всех дворах. Осенью случалось резать овцу, слава богу, была картошка в доме и достаточно молока в хлеву, и казалось, что хорошо тем, кто владеет двором да еще тремя или четырьмя коровами, кроме лошади и мелкого скота. Но

принадлежало ли это им на самом деле? Во-первых, они были должны за все, что имели во дворе; к тому же у них были долги по заборным книжкам у торговцев в городе, они не выплачивали налогов и жили в развалившихся домах. Корова или пара овец, принесенные в жертву в счет огромного долга, не спасали положения, и если не удавалась лофотенская ловля, они опускались еще ниже. Им нечем было похвастать перед Иёрном и Вальборг, когда эти побирušки выходили нищенствовать. Поэтому-то один бедняк охотно помогал другому, давая полмешка картофеля или кринку молока и таким образом избавляясь от обязанности жалеть. Люди так охотно оказывали друг другу помощь, что это должно было радовать ангелов.

Приличные, обыкновенные люди — все одного уровня. Несмотря на близость города с его должностными лицами и новыми модами, уклад их жизни был удивительно встхозаветен. А кроме должностных лиц в городе, были еще господа из Сегельфосского имения, которые задавали тон. Но нет, деревенский люд жил, как выучился жить с незапамятных времен, и очень неохотно перенимал то белый галстук, то новый сорт табака для трубки.

Взять хотя бы сараи для лодок, которые, конечно, были все те же, что и во времена короля Сверре, и тогда еще соответствовали назначению. Стены были — осиновые да березовые жерди, а крыша — береста и торф. И если кто-нибудь находил, что стены этих сараев должны быть плотнее, то оказывалось, что именно плотнее-то они и не должны быть: их должно продувать насквозь, чтобы паруса и снасти, висевшие внутри, могли просохнуть к следующей ловле. А огромные деревянные замки на дверях сараев с длинным доисторическим ключом, — никакого железа, и ничто не ржавело. Когда замок и ключ сгнивали, тотчас мастерили новые; это не стоило ни одной копейки, лишь немного времени для ловкого человека, забавное вечернее занятие.

Эти люди были прилежны по-своему, хотя никогда не торопились. В подходящее время года запасали дрова на зиму или ловили рыбу. Дети пасли скот или делали, что придется, ходили по ягоды, часто в дурную погоду и в осенний холод, нередко отсутствовали весь день и ничего не ели. Морошку и бруснику продавали в городе и приносили выручку домой. Они рано приучались довольствоваться малым, и это не приносило им вреда. Их матери и сестры были заняты работой в хлеве и в доме; они пряли шерсть и ткали ее на станке, получалась чудесная, крепкая ткань для белья и для платьев; они окрашивали пряжу в

разноцветные цвета и ткали в клетку и в полоску яркие юбки для девочек и для себя,— нет, они не завидовали никому на свете, они нарядными ходили в церковь.

Люди малого достатка и бедные люди, они были довольны, они привыкли к этой жизни и не знали никакой другой. Часто в избах дети смеялись, по пустякам, конечно, но и взрослые охотно принимали участие в веселье. Это было большей частью вечером; нередко тогда заходил какой-нибудь сосед, хотя бы Карел, тот самый, который так складно пел песни, или же Монс-Карина,— она жевала табак, как мужчина, но не хотела в этом признаваться. Дети часто надоедали Монс-Карине: они подсовывали ей под руку обрывок кожи или лоскуток вместо табака и потом прыскали со смеху. Зато, когда приходила Осе, к веселью примешивалось чувство страха. «Мир вам!» — говорила она, когда входила, и — «Оставайтесь с миром!», когда уходила, но она слыла опасной.

Эти люди верили во всяких троллей, подземных духов и привиденья. То кому-нибудь снилось что-то, или слышалось предостережение, или чудилось что-нибудь дурное и непонятное. Был один человек, которого звали Солмундом; он возил дрова из леса, и возил до тех пор, пока совсем не стемнело. Как раз на последнем повороте перед домом, когда он шел за возом, он увидел вдруг, что у него на возу с дровами сидит женщина. Он понять не мог, откуда она взялась; во всяком случае дело было нечисто, и он стал молиться за себя и за лошадь. Когда они стали подъезжать к дому, лошадь его остановилась, вероятно, женщина уколола ее чем-нибудь, а сама соскочила с воза.

— Осе, это ты? — спросил он.

— Да,— отвечала она.

— Что тебе надо от меня? — спросил Солмунд.

— Я хочу, чтобы ты взял меня,— отвечала Осе.

— Этому не бывать,— сказал он.— Прочь с дороги! Чур меня, чур!

— Ты заплатишься за это! — отвечала Осе.

С того дня лошадь стала всего бояться, а бедный Солмунд — ждать судьбы.

Осе была высока ростом и смугла; говорили, что отец ее был цыган, а мать — лапландка. Она пришла в лопарской кофте, длинной, как юбка, держалась гордо, выступала, как царица, и говорила медленно и серьезно. Она до сих пор была еще красивой женщиной, но очень грязной, а несколько лет тому назад была, вероятно, очень хороша и лицом и



сложением. Она считалась лопаркой и была одета, как они, но на ее кофте не было ярких вышивок и всякой другой пестроты, как обычно бывает на лопарских кофтах; это была спокойная, коричневая одежда. Только с левой стороны на поясе у нее висели всевозможные побрякушки: ножницы, ножик, принадлежности для шитья в виде костяной иглы и жилы, вместо нитки, трубка и табак, кремь и трут, серебряные монеты и таинственные штучки из кости. Осе постоянно скиталась, бог знает, когда она спала. Она бывала и в Южной и в Северной деревне в один день, хотя никогда не торопилась. Вдруг она появлялась посреди избы. Когда приходила Осе, дети умолкали и забивались в углы. Она приходила без всякого дела и ни о чем не просила, но хозяйка всегда давала ей несколько зерен кофе или щепотку табаку, чтобы задобрить ее. Хозяин из вежливости спрашивал, откуда она идет и куда держит путь, и получал должный ответ. Он мог также спросить:

— Слышала, Солмунд и его лошадь упали вчера в водопад?

— Да,— отвечала Осе, но с таким видом, будто это вовсе ее не касалось.

— А разве Солмунд не знал, что на такой лошади опасно ехать так близко от водопада?

— Ты спрашиваешь меня, а я собиралась спросить тебя!

— А бедный Тобиас, у которого был пожар на той неделе,— ты ничего больше не слышала о нем? Ты ведь ходишь повсюду и встречаешь людей.

— Ничего,— отвечала Осе.

Она сидела с отсутствующими глазами и думала о чем-то своем, иногда бросала взгляд карих глаз, зловещий и непроницаемый. Что ее занимало, о чем она думала? Может быть, ни о чем, просто от природы была меланхолична, а может быть, томилась любовной тоской. Она не была замужем и жила в хижине у древнего лопаря, который никак не мог быть ее любовником. Осе, вероятно, все еще была невинной девой, тридцатилетней с чем-то невинностью и все еще красивым созданием. Странная она была. Она говорила на хорошем местном наречии, но медленно, и умела делать многое, чего не умели другие лопари. Осе была не без способностей. Хотя читала она с трудом, а писать совсем не умела. Если случалось ей принять участие в вечеринке и ее угощали, она охотно пила водку и могла выпить много, не пьянея.

Она вставала и говорила:

— А теперь мне, пожалуй, пора дальше.

— Да ты и так придешь вовремя,— из вежливости говорил хозяин.

— Мне надо в Северную деревню. Там ребенок опрокинул на себя котел с кипятком.

Хозяйка в ужасе восклицает:

— Тогда тебе надо поспешить, тебе надо поспешить!

— Я приду как раз вовремя! — говорит Осе и кланяется.— Оставайтесь с миром!

Хозяйка провожает ее и держит что-то в руке, а руку прячет под фартуком. Когда она приходит обратно, муж напряженно глядит на нее и спрашивает:

— Она не плюнула?

— Нет.

Все в доме с облегчением вздыхают, дети опять начинают шалить и дразнить друг друга:

— Ты здорово поблуднела,— говорит старший брат маленькой сестричке.

— Я?! Я могла бы подойти и потрогать ее,— хвастается сестра.

Но нет, Осе была слишком таинственна, маленькая сестричка не посмела бы дотронуться до нее, сделать это не посмели бы даже взрослые. Справедливо или нет, но про Осе говорили, что она может ворожить, может вылечивать животных, а иногда и людей, и приносить несчастье тем, у кого плюнет на пороге. Она окружала себя тайной: «Я приду как раз вовремя!» Люди, которые верили в ее искусство, присылали за ней, никто не смел ей противоречить, все боялись попасть в немилость.

— Замолчи! — сказала мать.— Не говори об Осе! Может быть, она стоит неподалеку и все слышит сквозь стену.

— Я говорю только, что сестренка боялась,— бормочет мальчик.

Другие дети вмешиваются, они заступаются за самую маленькую:

— Уже скорее старший брат сам струсил!

Потом они все злорадно смеются, и старший брат развенчан.

Они ссорились и мирились, были врагами и друзьями, вместе делили и горе и радость. Благословение сопровождало детей. «Что очаг без детей? Одинокий костер в пустыне. Нет средств, чтоб иметь их? Средства найдутся!»— думали родители. Если детей кормили, и не настолько плохо, чтобы это отражалось на их росте и здоровье, то жилось им все-таки скудно, в особенности плохо было с одеждой; впрочем, им не вредило, что они зябли и зимой и летом. Что касается

жилья, то и в этом отношении требовательность была невелика. В дождливую погоду, весной и осенью, протекали все торфяные крыши, и под капель приходилось подставлять посуду. Хуже всего было на чердаке, где спали дети. В постель к ним ставили чашки и лоханки, и если им случалось опрокидывать их во сне, поднималась возня,— кто сердился, а кто смеялся. Но разве эта дождевая вода в постели угнетала или обездоливала их? Под конец они научились терпеливо переносить беду и засыпали опять, а утром было что вспомнить. Они привыкли к протекающим торфяным крышам, они не знали других.

Каждую субботу полы оттирали песком, и они становились белыми. Отцу и матери казалось даже, что кто-то посыпал их крошеным можжевельником, но вряд ли это было возможно. «Ну, что за девочки! Благослови их господь. Так и есть! Они по бездорожью ходили в лес за можжевельником, мелко нарубили его и посыпали к празднику пол». От тепла можжевельник благоухал свежестью и цветами, и в каждой ягодке был крест. Что этим хотел сказать господь? Можжевельник — особенное растение, оно годно не только для посыпания пола; если хотели, чтобы в горнице хорошо пахло, то зажигали ветку можжевельника и размахивали ею в воздухе так, чтобы она только тлела. Когда мать собиралась мыть посуду из-под молока, она отваривала можжевельник и мыла кринки этим отваром.

### ГЛАВА III

---

Когда рыбаки вернулись домой с пустыми неводами, шеф сказал только: «В следующий раз будет более удачно». Он был не из тех, которые сразу падают духом, в этом отношении он был парень с понятием, и с ним было приятно иметь дело.

Расчет производился в конторе. Каждая партия, работавшая с одним неводом, входила отдельно, рулевой говорил за всех. Рулевые со времен Теодора Из-лавки привыкли рассказывать подробности ловли. Теодор сидел обычно на своем высоком вертящемся табурете и с большим интересом слушал, поддакивал, кивал головой, задавал вопросы.

Теперь не то.

Рулевой. Да, на этот раз не было удачи.

Шеф не отвечал, а только подсчитывал и писал.

— Но не знаю, что мы могли бы сделать еще.

Шеф продолжал писать.

Рулевой осмеливается спросить.

— А вы сами что думаете?

Шеф кладет перо и говорит:

— Что я думаю? Нам не повезло, больше нечего об этом говорить. В следующий раз будет лучше.

То же самое и со следующей партией, и со вторым рулевым, — ни одного лишнего слова со стороны шефа. Совсем не так было при его отце: как тот разговаривал с рыбаками! Чужаком и важной была Теодор Из-лавки, но другом народа, добрым и участливым, когда ему льстили. Сын, сидевший теперь на том же табурете, был толковый человек, человек с понятием, но с народом не являлся.

Да и что можно было сказать об этом неудавшемся предприятии? Стоило ли говорить и размазывать? На обе артели было затрачено немного провианта, пришлось заплатить за несколько недель жалованья, но это его не тревожило, наоборот, — пусть люди говорят: «Такого человека это не разорит!» К тому же, почему должно было ему повезти с первого раза? У кого был такой невод, который ловил всегда? И к чему это «Сегельфосские известия» поместили заметку, что обе артели вернулись домой без улова?

Он спросил мать:

— Как ты думаешь, не позвать ли нам гостей?

— То есть как это?

— Пригласить несколько человек из города, достать угощение, вино.

— Да ты с ума сошел! — смеясь сказала мать. — Ведь улова-то не было!

— Вот именно поэтому, — отвечал сын.

Уж этот Гордон! Его манера рассуждать была совершенно чужда и непонятна его матери, жене Теодора Из-лавки. Сын рассуждал по-заграничному. Она бы постаралась возместить потерю, постаралась бы сэкономить, чтобы восстановить баланс, а он на это только улыбался.

— Пойдем, — сказал он, — поговорим с Юлией!

Вечер с гостями был не из удачных.

Гордон Тидеман с женой не устраивали раньше больших приемов. На крестинах к обеду приглашали только священника да крестных родителей, теперь же во все концы были разосланы приглашения, и собралось много гостей. Но веселья не было. Отчего бы это? Мужчины не надели фраков, но дамы нарядились в самые лучшие платья. Тут была и красивая фру Лунд, то есть жена доктора, которая обычно

никуда не ходила, но на этот раз сделала исключение. Всего было много и на блюдах и на столах, и бутылки были полны; и на девушках, разносивших кушанья, были белые накрахмаленные фартуки. Ужинали в зале с золотыми цветами на обоях; пили шампанское; хозяин произнес речь, областной судья произнес речь, но ни тот, ни другой не сказали ничего зажигательного или остроумного.

И странно, что вечер не удался, потому что Гордон Тидеман был отличный хозяин, не чопорный и не скучный, а уж про фру Юлию и говорить нечего. Священник тоже не угнетал собравшихся, наоборот, он был самый добрый и самый сердечный из всех гостей. И аптекарь Хольм, который послал к черту всякий хороший или дурной тон, держался непринужденно.

Аптекарь был уже порядком навеселе, когда пришел в гости. Прежде чем уйти из дому, он угостился, вероятно, из собственного погреба и, кроме того, зашел еще в гостиницу. Хольм был холостяк, так же как и его друг, хозяин гостиницы, и оба из Бергена. Они часто проводили время вместе.

Впрочем, что это могло убавить или прибавить к такому обществу, если аптекарь Хольм приходил в гости счастливый и довольный?

Он не был мещанином. За столом ему пришлось сидеть рядом со Старой Матерью, и вот это было, пожалуй, неудачно: за обедом они слишком уж увлеклись частными делами.

Священник, в рваных башмаках и в потертом платье, не был каким-нибудь преподобием, а равным среди других. Он не уклонялся от веселья и сам даже пустил в оборот несколько смешных шуток. Его круглое доброе лицо покрывалось бесчисленными морщинками, когда он смеялся, и это дало повод нотариусу. Петерсену сказать его единственную остроту за всю жизнь, назвав священника Лознгрином\*.

— Петерсен сострил? — переспросил аптекарь, услышав это. — Будьте уверены, он где-нибудь это прочел.

У нотариуса Петерсена была слишком маленькая голова для длинного и массивного туловища, и когда священник услышал свое прозвище, он сказал только:

— У самого-то голова трубой!

---

\* Непереводимый каламбур: Лознгрин — имя героя, и Лознгрин — можно перевести, как «смеющийся скалозуб», от слов — прошедшее время глагола смеяться и grine — скалить зубы.

Это было не так остроумно, но настолько характерно, что пристало к нотариусу. Священник Оле Ландсен не был великим оратором и обращал своих прихожан не особенно успешно, но он от этого не страдал. Церковь стояла иногда почти пустой, потому что его паства предпочитала слушать странствующих проповедников, устраивавших молитвенные собрания по соседним деревням. «Это глупо со стороны прихожан,— говорил священник Ландсен.— Хорошо у нас в церкви, в особенности с тех пор, как поставили печь».

Жена его была прелестная маленькая женщина, еще красивая, и красневшая из-за всякого пустяка как девушка. Нельзя так сказать, и все-таки это правильно: у нее было лицо голубки. Она была очень тихая и застенчивая, но ее глаза зорко следили за всем.

— Сидите спокойно, аптекарь! — говорит Старая Мать своему кавалеру.

— Спокойно? Хорошо!

— Ха-ха-ха! А не то мне придется отодвинуться.

— Тогда я подвинусь.

Жена священника краснеет.

Окружной судья рассказывает, как он был с допросом у Тобиаса, у которого был пожар:

— Трудно у них узнать что-нибудь; они так боятся сказать лишнее, что от страха несут всякую чушь. Что вы скажете, например, о следующих вопросах и ответах? Я обращаюсь к дочери, хочу узнать у нее, где она нашла отца, когда заметила пожар. Я очень ласково спрашиваю: «Где ты нашла отца, когда пришла предупредить его?» — «Он спал», — отвечает она. — «В каморке?» — «Да». — «Он был раздет? Он перед этим никуда не выходил?» — «Нет». — «А почему ты думаешь, что отец твой спал?» — «Он зевал». — «Ты хочешь сказать — он храпел?» Тут она пугается и думает, что я хочу сбить ее с толку, и продолжает утверждать, что отец ее зевал, хотя он спал. Пришлось оставить ее в покое. Дело в том, что они сговорились, что им отвечать, но как только потребуешь от них объяснений, они путаются. Отец лежал и не спал, выходил перед этим, но это еще не значит, что он поджег. Такая славная девушка, с такой умильной улыбкой! Мне стало жаль ее.

— Ее сестра живет у меня, — говорит аптекарь. — Ужасная пила! Она так притесняет нас всех:

Все смеются:

— Так зачем же вы ее держите?

— Все-таки она служила в гостинице, слыхала, как надо готовить, хозяин уступил мне ее. Она хоть и тролль, но ловкая.

Старая Мать. Ах, бедный аптекарь, все его притесняют!

— Действительно бедный! К тому же она вольнодумка.

— Вольнодумка?

— Да она смеется над своей братией, которая ходит на молитвенные собрания. Она не хочет говорить с ними, не хочет с ними знаться.

— И все это приходится вам терпеть! — смеется Старая Мать, она стала такая розовая от вина.

Но тут, вероятно, аптекарь как-нибудь задел ее под столом, она подпрыгнула и воскликнула: «Ай!»

Окружной судья продолжает:

— Допрашивать бедных людей нередко бывает тяжелой обязанностью. Это трусость с моей стороны, но я обычно поручаю это дело своему уполномоченному. Он лучше умеет это делать, он из Троньема.

Нотариус Петерсен поправил очки и, улыбаясь, сказал, что ему приходилось работать уполномоченным окружного судьи, но что ему тоже было тяжело исполнять обязанности судьи, хотя он из Троньемского округа.

— Ах, бедняжка! — непринужденно замечает аптекарь.

Все улыбнулись на это, даже сам нотариус добродушно усмехнулся.

— Я думаю, что допрашивать всем более или менее трудно, — говорит священник. — Мы все уклоняемся от этого.

Нотариус. Ну, вы, священники, вы совсем особая статья. Стоит только вспомнить речи, которые вы произносите над могилой, хотя это как раз подходящий момент, чтобы сказать правдивое слово.

Священник. Это умершему-то?

— А вы вместо этого восхваляете умершего, превозносите его.

— Уж будто бы! — говорит священник. — Впрочем, конечно, и мы можем впасть в крайность. Но мертвый не слышит нас, и мы стараемся, по крайней мере, хоть немного утешить оставшихся.

Нотариус. Утешить оставшихся?! Даже когда они досмерти рады, что человек умер? Я имею в виду главным образом бессовестные преувеличения добродетелей общественных лиц. От этого вам следовало бы воздерживаться.

Священник тихо:

— В этом есть доля правды. Но если б у вас был опыт в этом деле, вы увидали бы, что это не так просто. Муж с женой жили, может быть, как собака с кошкой, но если один из них умер, то другой приходит ко мне с целым ворохом похвальных слов и благословений и просит меня сказать их.

— Боже, неужели мы такие? — восклицает жена окружного судьи. — Я хочу сказать — люди вообще. Неужели мы такие жалкие?

— Это вовсе уж не так плохо. Во всяком случае для детей имеет значение, чтобы их отца или мать помянули добрым словом при погребении. Представьте себя на месте детей, если бы случилось обратное.

— Я заранее отказываюсь от этого! — объявляет нотариус.

— Да у вас нет детей! — замечает аптекарь.

— Нет детей! Нет! — подхватывают несколько дам. — Священник прав!

Фру Юлия, слегка улыбаясь:

— И мы, Гордон, тоже хотим, чтобы нас помянули добрым словом ради детей, хотя мы, может быть, заслуживаем обратное.

— Согласен, Юлия! За твое здоровье!

Жена доктора через стол спрашивает своего мужа:

— Как ты думаешь, где теперь наши мальчики?

Доктор. Ну, вот! Наши мальчики!

— Да, я беспокоюсь, — беспомощно улыбаясь, говорит она. И при этом у нее прелестнейшее лицо и самые белые зубы.

— Вероятно, они опять на яхте и лазят по реям, — дразнит доктор.

— Ну, мальчики-то ловкие, — говорит нотариус.

Доктор подхватывает:

— Да, не правда ли? Но моя жена ни на минуту не выпускает их из поля зрения.

Старая Мать выходит вдруг из-за стола, неуверенно придерживаясь за спинки стульев. Никто не обращает на это внимания, но жена священника краснеет, как кумач.

Фру Юлия обращается к жене доктора и успокаивает ее:

— А вы потелефонируйте домой и справьтесь о мальчиках.

Потом пили кофе с ликерами в большой гостиной, но праздничного настроения все-таки не создалось. Гордон Тидеман был разочарован: «Пусть черт устраивает роскош-



ные обеды этим людям!» Каждый говорил несколько слов и умолкал, никто, казалось, не был сражен великолепием. Он больше никогда не пригласит их.

Когда подали виски, настроение сразу поднялось, стали разговорчивее, мужчины начали говорить громче, но ни одного слова о том, что было самым главным в данный момент: о празднике в старом доме, о великолепном приеме, угощении, о старинном серебре. Даже доктор, который происходил из видной семьи и знал толк в таких вещах, даже он держал себя как ни в чем не бывало.

Гордону Тидеману и в голову не приходило, что все это в сущности было не чем иным, как только — смесью хорошей еды с разными сортами вина плюс парад среди скупленной обстановки. Здесь жили случайные пришельцы, золотые цветы на стенах принадлежали другим. Гордон Тидеман не лез вперед, не хвастал, но все, что он делал, было заучено, и сдержанность его тоже была надуманной. В этом отношении у фру Юлии было больше прирожденного, к тому же она сразу побеждала своей естественной прелестью. А доктор Лунд? Он был окружным врачом, значит, не из этих докторов-выскочек, которые занимаются практикой в городе и постепенно вытесняют своих коллег. Когда-то он вышел из видной семьи, но об этом у него осталось лишь слабое воспоминание, и однообразное скитание по больным не обогатило его. Жену он взял из небольшого местечка на Севере, по названию Полен. Она была дочерью народа, звали ее Эстер, образования и лоска не имела, но была по-своему молодец, к тому же красива с ног до головы, великолепна, хотя и была матерью больших мальчиков. Когда она встала, чтобы пойти поговорить по телефону, никто не мог удержаться, чтобы не проводить ее глазами.

Фру Гаген, жена почтмейстера, начала играть на маленьком странном рояле, который Гордон Тидеман купил за границей и послал домой вместе с другими редкостями. Он имел привычку извиняться за свой инструмент: «Впрочем, у Моцарта не было ничего лучшего». Фру Гаген была маленьким белобрысым существом, худенькая, со слегка вздернутым носом; ей было почти тридцать лет. Глаза у нее были близорукие, она прищуривала их, когда глядела на что-нибудь и откидывала голову. Она трогательно сыграла две вещицы, ее попросили еще, и она сыграла две-три пьесы и под конец менуэт.

Гордон Тидеман. Вы извлекаете из этой шарманки больше музыки, чем она в состоянии вместить в себе.

— Шарманка эта достаточно хороша для меня,— сказала она и встала.— Потом она такая красивая: поглядите на эту лиру, на инкрустации!

— Вы учились в Берлине, я слыхал?

— Да, недолго.

— Нет, долго,— поправил почтмейстер, ее муж.

— Но я не достигла никаких результатов.

— Ну, как нет! — заявил аптекарь со своего места.

— У фру есть ученики, которым она дает уроки,— пояснила фру Юлия.

— Всего несколько учеников,— согласилась фру, все время умаляя свое достоинство.

Почтмейстер объяснил:

— Сначала она пела, но потом потеряла голос.

— О! И он не вернулся?

— Нет. Это было во время пожара. Ее спасли через окно, и она простудилась.

— Да у меня и не было особенно хорошего голоса,— сказала она, улыбаясь, и обратилась с вопросом к аптекарю: — Ваша гитара не при вас?

— Я не смею в вашем присутствии прикасаться к ней.

— Но я слыхала вашу игру и раньше.

— Да, при некоторых извиняющих меня обстоятельствах.

— Гм! — ядовито заметил нотариус.

— Замолчите, нотариус!

— Ха-ха-ха! Никогда меня прежде не лишали голоса, ни в одном деле...

— Никогда? Разве?

— Ну что ж, я выиграл и то дело, на которое вы намекаете.

Хольм. Выиграл дело! Норвежские законы позволяют даже нотариусам зарабатывать свой хлеб.

Окружной судья сидит и добродушно посмеивается над этой словесной перестрелкой двух противников, которые всегда готовы напасть друг на друга. В этот же момент вернулась жена доктора, и он спросил ее:

— Ну, что, фру? Мальчики ваши были на яхте и карабкались на мачту?

— Нет, они удят рыбу.

— Ну да, мальчики всегда придумают что-нибудь опасное для жизни,— поддразнил ее доктор.

— «Во всякое время пути его гибельны»,— процитировала жена нотариуса; она была религиозна.

— Да, а вот мой муж находит, что для мальчиков нет ничего опасного,— сообщила фру Лунд.

Доктор покачал головой:

— Ну на этот раз не я это нахожу, а сами мальчики.

— Ха-ха-ха!

— Впрочем,— говорит доктор,— по мнению моей жены, когда немного зябнут ноги, это равносильно лихорадке. Во всяком случае это грозит смертью.

— Ух! — содрогнулся кто-то. — Смерть!

— Да нам всем хотелось бы избежать ее,— как какую-нибудь мудрость изрек нотариус Петерсен.— Это так естественно.

Доктор. Разве естественно? Вот лежит старик, ему девяносто лет, он должен умереть, но ему не хочется. Он живой труп, но все еще не хочет сдаться. Лекарство, компрессы, питание... Уж до того отвратителен, грязен и худ, что до него невозможно дотронуться, а вот лежит на глазах у всех. Животное, которое должно сдохнуть, прячется.

Священник. Но ведь это же человек, доктор!

— Ну, а что особенно изящное или красивое представляет собой человек? И нам бы следовало прятаться. Человек приводит меня в содрогание: длинные, толстые, некрасивые члены, кое-где волосы; кости и мясо, целая куча разных материалов, связанных в одно целое и образующих гротеск — фигуру человека на земном шаре. Неужели это красиво, с объективной точки зрения?..

— Да, фру Лунд красива,— громогласно прервал его аптекарь Хольм.

Минута молчания, потом всеобщий смех в гостиной:

— Ах вы, аптекарь! Уж вы скажете!

Но фру Лунд не знала, куда ей деться, а жена священника покраснела.

Доктор продолжал:

— Поглядите на птицу, поглядите на самого обыкновенного щегла: чудесное создание, очаровательные линии и округлость, переливы всех металлов на перьях. Или поглядите на любой цветок: чудо, начиная с корня и до чашечки. А человек?

— Все это вы выдумали, чтобы казаться интересным,— непринужденно сказал священник.

Жена адвоката опять осмелилась и вставила:

— И это человек, созданный по подобию божию!

Доктор продолжал более мягко:

— Может быть, я был несколько груб. Но у меня есть впечатления от одра болезни и от смертного ложа, которые

заставили бы вас зажать себе носы. Вот вам один пример. Мне пришлось однажды брить покойника: умер один мой родственник, и я не захотел обращаться за помощью к посторонним. При жизни это был так называемый изящный господин, но теперь во всяком случае он был неизящен. Я намазали его и приступил к делу; он имел обыкновение гладко выбривать себе все лицо, и мне предстояла большая работа. Со щеками все обошлось благополучно, но под носом я его поранил, и он засмеялся. Я не преувеличиваю: нож не хотел скользить, и труп оскалил зубы: это произошло оттого, что кожа двигалась вместе с ножом и потом опять отходила на место. Ну хорошо, я покончил с верхней губой, но у меня оставалось еще самое худшее — горло, кадык. Непривычному человеку приходится занимать неудобное положение: нужно наклонить верхнюю часть туловища и при этом держаться наискось. Вероятно, я оперся на покойника на одну секунду; этого было достаточно, — грудь опустилась, и труп испустил протяжный вздох. Боже! какое зловоние ударило мне прямо в лицо! Я не упал в обморок, но я грохнулся на стул, стоявший позади меня. Запах был убийственный, сверхъестественная вонь, которой никто не может себе представить.

Слушатели сдерживались, но внутренне они все смеялись.

— Так вы и не обрили его до конца?

— Все-таки добрил. На следующий день к обеду я совсем оправился!

Священник. Ну что вы, в сущности, хотите сказать? Я не понимаю.

— Это был человек! — сказал доктор.

Священник задумался над этим:

— Нет, это не человек, это был покойник, труп человека.

Начальнику телеграфа пришло время дежурить, и он ушел. Он никак не проявлял себя, он только курил и наслаждался. Он был библиофилом, а так как в гостиной не оказалось ни одной книги, то ему не о чем было говорить. Его жена осталась.

Переменили стаканы и внесли токайское. Токайское! Неужели даже и оно не могло всколыхнуть общество, поразить и смутить его? Конечно, это было редкое, заграничное вино, но оно никому не понравилось.

— За ваше здоровье, фру Гаген! — Гордон Тидеман поклонился. — Вам, вероятно, знакомо это вино?

— Я пила его в Вене, — отвечала жена почтмейстера.

— Вот именно. В Австрии и Венгрии после обеда угощают токайским, в Англии — портвейном.

— А в Норвегии — виски с содовой водой, — вмешался аптекарь и стал пить за свое собственное здоровье.

Раздался смех.

— Да, в Норвегии пьют и виски и другие напитки.

— Но во Франции? Что пьют во Франции?

— Шампанское. Продолжают пить шампанское.

— Я никогда не пробовал этого вина, — говорит священник и читает по складам на этикетке: — «Токай-Шадали». Оно странное, — сказал он, пробуя вино языком.

Но так как к токайскому почти не притронулись, то фру Юлия распорядилась, чтобы внесли фрукты, виноград, яблоки, винные ягоды и шампанское. «О боже! какое великолепие!» — подумали, вероятно, все, и хозяин заметил наконец некоторые признаки почтительного удивления. Но они скоро исчезли, и праздник, как был, так и остался скучным. «Никогда больше не приглашу их! Никогда!»

Окружной судья поглядел на часы — не пора ли уходить? Но пока хозяева не обнаруживали усталости, и он решил посидеть. Фру Юлия велела принести детей и стала их показывать; получилось нечто вроде интермедии, слышались восклицания, ласковые словечки, гости удивлялись, щекотали детей, но так как в комнате было накурено сигарами, то малютки стали чихать. Старая Мать пришла с детьми, и она же увела их обратно; она опять выглядела как ни в чем не бывало, была свежа и улыбалась.

— Как это у вас нет детей, нотариус? — заметил аптекарь.

— Детей? А чем бы я их кормил?

— Ах, бедный!

Теперь окружной судья уж всерьез поглядел на часы и встал. Фру Юлия поднялась ему навстречу.

— Разве вам некогда? — стала она уговаривать его. — Так уютно, пока вы сидите.

— Но, дорогая фру, теперь уж действительно пора.

Все встали и, пожимая руки, благодарили и благодарили без конца. Аптекарь до самого конца оставался самим собою:

— Странные люди, которые уходят от всего этого! Поглядите на эту бутылку с шампанским, нотариус! Вот она стоит и погибает тут во льду, и никто не хочет ее спасти.

Гордон Тидеман не мог более сдерживаться:

— Не будем задерживать гостей, Юлия. Это нам следует благодарить их за то, что они были так любезны и заглянули к нам.

На это уж нечего было отвечать. Единственное, что оставалось,— это броситься на колени.

Он сказал потом жене:

— Это было неудачно придумано, и больше я не повторю такой глупости. Видала ли ты когда-нибудь таких людей!

Фру Юлия. Тише, Гордон!

— Да, ты всегда всех извиняешь.

— Они будут вспоминать этот вечер,— сказала она.

— Ты думаешь? Но они делали вид, что это им не в новинку.

— Им неудобно было говорить об этом, пока они оставались здесь.

— Да, говорить, конечно, неудобно. Но, черт возьми, они могли бы хоть изредка выразить удивление. Когда токайское принесли, например.

По мнению фру Юлии, вечер был отличный, а гости веселы и довольны. Аптекарь был в ударе и сиял, жена почтмейстера была очень мила.

— Ну да, она тоже побывала за границей,— сказал Гордон Тидеман.— Но остальные? Нет, это больше не повторится. А по-твоему, Юлия? Нет, черт возьми!

#### ГЛАВА IV

---

Наступила осень, а потом и зима. Зима — тяжелое время: снег и холод, короткие дни, темнота. От маленьких дворов и отдельных изб шли друг к другу глубокого прорытые в снегу дорожки, и изредка по ним проходил человек. Однажды, в один из лунных и звездных вечеров, женщина из Рутина направилась в соседний двор, чтобы занять юбку.

Да, все мужчины были тогда еще в Лофотенах, и Карел был тоже в Лофотенах, и жене его приходилось заботиться о детях и о скоте до третьей недели после пасхи, когда мужчины снова возвращались домой. Это было тяжелое время; ей нужно было все ее терпенье и все ее умение довольствоваться малым.

Когда-то она была девушкой Георгиной, Гиной по прозванию, бедной, как и теперь, и не особенно привле-

кательной, но молодой, здоровой и ловкой на работу; пела она бесподобно, отличным альтом. Теперь она была Гиной из Рутена. Она не очутилась в каких-нибудь более плохих условиях, чем другие, только она стала старше и много раз была матерью; ей исполнилось уже сорок лет. Но что из этого? Разве тут есть о чем говорить? Она привыкла именно к такой жизни и не знала никакой другой. Было вовсе уж не так плохо, вовсе нет; год за годом проходил для нее, для ее детей и мужа, у них был маленький дворик, скотина в хлеву, хотя все это почти не принадлежало им. И если муж был молодчина по части пения и даже славился как сочинитель вальса, то жена тоже не отставала от него: никто не умел зазывать так по вечерам скотину с поля, как Гина. Очень благозвучно, хотя это был всего лишь зов, заманивание животных домой, ласковый уговор бархатным голосом. И она по-прежнему пела в церкви, как никто другой, и те, кто сидел рядом с ней, умолкали. Голос она получила от бога, который имел возможность быть расточительным.

Гина идет по глубокой тропинке в снегу, тропинка эта как канава, и платье Гины до колен покрывается белым снегом. Сейчас дела у нее плохи: у скота кончился корм, и она должна как-нибудь выйти из положения. Завтра она вместе с другой женщиной, у которой тоже нехватка корма, пойдет по деревне занимать сено.

— Добрый вечер! — здоровается она, придя к соседке.

— Добрый вечер! А, это ты, Гина! Садись.

— Сидеть я, пожалуй, не буду, — говорит Гина и садится. — Я к тебе только мимоходом.

— Что скажешь новенького?

— Что я могу сказать нового, когда никуда не выхожу из избы?

— Да, у нас у всех все та же новость, — говорит женщина. — Бога благодарить приходится только за одно здоровье.

Молчание.

Потом, немного смущенно, Гина говорит:

— Помнится мне, я видала у тебя осенью тканье.

— Да, это правда.

— И это было очень красивое тканье, насколько я помню, с желтым и синим, — каких только цветов в нем не было! Если это было на платье, то очень красиво.

— И на платье и на юбку, — отвечает женщина. — Я совсем обносила.

— Если б ты согласилась одолжить мне юбку на завтра? Хотя мне и стыдно просить тебя.

Женщина удивлена лишь одно мгновенье, потом она говорит:

— Так у тебя нет корма?

— Вот именно! — отвечает Гина и качает головой над своей незадачливостью.

Да, соседке не надо было долго размышлять, чтобы понять, зачем Гина хочет занять юбку. Это не загадка. Ясно, что в хлеву у нее недостает корма. Не могло быть и речи о том, что Гина хочет нарядиться и шегольнуть юбкой: она хочет принести в ней домой сено. Это было унаследованным обычаем носить сено в юбках, обычай этот практиковался годами. Юбки вмещали так много, они наполнялись, как шары. То-и-дело можно было видеть, как женщины попарно пробираются по снегу с огромными ношами на спине — юбками, туго набитыми сеном и завязанными тесьмой. Эти картинки были неотъемлемой частью зимы: всегда у кого-нибудь не хватало корма, и всегда был кто-нибудь другой, у кого сена было немного больше и кто мог продать пуд-другой. У женщин редко водились деньги до приезда мужей из Лофотенов, но новая пестрая юбка способствовала открытию кредита на сено, даже больше: она давала понять, что нехватка здесь была не по бедности, а наоборот, от большого количества скота, на который никак не наготовишься корма и который сам представляет собой ценное имущество и богатство.

— Но мне стыдно просить тебя, — повторяет Гина.

— Ах, вовсе нет, — отвечает женщина, — я рада, что у меня есть юбка, которую я могу одолжить. Кто составит тебе компанию?

Гина назвала.

— А она у кого заняла юбку?

Гина сказала и это.

— Вот как! Ну, в таком случае, я думаю, тебе нечего стыдиться показаться с моей юбкой.

— Конечно, нет!

— Вот она. Двойная нить, и вся из летней шерсти. Хотелось бы мне знать твое мнение о кайме.

Г и н а. Чудесная кайма! Ну и мастерица ты! У меня не хватает слов для похвал.

Гина идет домой, полная радости и гордости, что покажется завтра с такой нарядной юбкой. Но по дороге она встречает Осе — троллиху, цыганку и лопарку в одном лице, блуждающую дурную приметку.



— Счастливая встреча! — говорит Гина сладким голосом и заходит в снег, чтоб уступить дорогу Осе.— Ты была у меня? И дома никого не застала, кроме детей?

— Я иду не от тебя,— отвечает Осе.— Я только заглянула мимоходом.

— Ах, как жалко! Если б я была дома, я бы не отпустила тебя с пустыми руками.

Осе ворчит:

— Я ни в чем не нуждаюсь! — И проходит мимо.

Гина торопится домой. Она знает, что ее дети сидят, досмерти перепуганные, где-нибудь в углу и боятся пошевеливаться. Гина сама подавлена,— ее легко испугать; но она должна предстать храброй перед детьми, и она говорит:

— Что я вижу? Вы никак боитесь? Очень нужно! Подумаешь — бояться Осе! Я встретила ее и не слыхала от нее ни одного дурного слова. Как вам не стыдно плакать! Посмотрите, месяц светит! Вам бы следовало прочесть «Отче наш», вот и все. Да, что, бишь, я хотела сказать,— она сразу ушла?

Дети отвечают зараз и «да», и «нет», они не знают, они боялись пошевеливаться.

— Но ведь она не плюнула, перед тем как уйти?

Дети отвечают по-разному, не знают наверное — не посмотрели.

Мать соображает несколько мгновений: теперь уже поздно бежать за Осе, чтобы сунуть ей что-нибудь в руку. О, она очень взволнована, но не смеет этого обнаружить. Тут самая младшая девочка, которая еще слишком мала, чтобы бояться спрашивать маму, что она держит под мышкой. Это разряжает настроение.

— Да поглядите только, идите все сюда, поближе к свету! В этой красивой юбке мама принесет завтра сена. Видали ли вы когда-нибудь раньше такую красивую юбку?

Через три недели после пасхи ловля рыбы кончилась в восточных Лофотенах, и мужчины вернулись домой. Улов был средний, шла ровная мелкая рыба, но цены стояли хорошие. В карманах завелись деньги. Еще раз жены и дети были спасены. Опять сияло солнце, снег повсюду темнел, появились маленькие ручейки, которые каждую ночь замерзали, а наутро снова оттаивали.

Комиссионер по северной Норвегии и Финмарккену опять собрался в путь с весенним товаром: шерсть и шелк, немного бархату, немного бумажных материй, модные платья, лаковые туфли. Шеф, Гордон Тидеман, находит

по-прежнему, что на комиссионере слишком дешевое платье, чтобы представлять его фирму, а тот обещает купить себе летний костюм на распродаже в самом шикарном магазине Тромсе.

И, как всегда, оборот заметно не увеличивался, в особенности в отношении дорогого товара, который приносит прибыль. В чем-то тут была загвоздка? Неужели там, на Севере, они совсем не хотят идти в ногу со временем?

— Нет, все-таки раскачиваются. Но Финмаркен есть и будет Финмаркен, и там приходится одеваться сообразно с климатом и условиями. Как же, там уже учатся ходить на высоких каблуках!

— Не понимаю,— говорит шеф,— почему нет заказов на великолепные корсеты? Отчего бы это? Они из плотного розового шелка, начинаются под самыми лопатками и доходят до голеней, они — все равно как пальто. Дороги? Но зато это действительно нечто, достойное настоящей дамы.

— Они слишком плотны.

— Как?! Что вы хотите этим сказать?

— Слишком плотны.— Комиссионер улыбается и говорит: — Дамы слишком неподвижны в них, в случае чего они как связанные.

Ему не следовало бы улыбаться, шефу не нравится этот тон, и он делает знак, что разговор окончен...

А в мелочной лавке стоит старый На-все-руки и ждет. Он желает получить приказание, но он почтителен и благочестив, он не надеется говорить лично с шефом, а посылает приказчика с вопросом.

Его скромность вознаграждается, На-все-руки зовут в контору. Он был там только один раз,— в тот день, когда его наняли.

— Ну что ж, На-все-руки, ты хочешь знать, что тебе делать?

— Да.

— Что делают рабочие?

— Они возят водоросли на поле.

Шеф размышляет:

— А не поглядеть ли тебе, в каком состоянии невода?

— Слушаю.

— Впрочем, это не значит, что они понадобятся теперь же.

На-все-руки. Если разрешите мне сказать слово, то, по моему мнению, они постоянно нужны.

— Ты думаешь?

— Потому что, по божьей милости, в море всегда есть сельдь.

— Но сейчас нам не собрать даже людей,— говорит шеф.— Они только что вернулись с Лофотенов и хотят отдохнуть. Им лень даже дров наколоть для печей.

На-все-руки. Я их уговорю.

Шеф пристально глядит на него:

— А ты не хотел бы стать рулевым в одной из артелей?

На-все-руки качает головой и крестится:

— По воле божьей я уже состарился. Если б это было прежде, тогда другое дело.

На прощание шеф кивает головой:

— Хорошо, уладь это, найди людей и пошли их в море с неводами. Куда же мы их направим?

На-все-руки. На Север. Я надеюсь на одно место, которое называется Полен...

Странно, что шеф стал питать такое доверие к старому На-все-руки, которого знал всего лишь два-три месяца. Они поговорили друг с другом кое о чем, старик знал многое, умел находить выходы, во многих случаях его советы пришлись очень кстати. Гордон Тидеман только на первый взгляд казался уверенным и дальновидным шефом, на самом деле он очень нуждался в дельных указаниях. Что понимал он в своем деле, помимо отчетности по отделению предметов роскоши? Он учился технике, языкам и конторской работе, точности и учету валюты, он мог прочесть надписи на французских трубках и на английских катушках, иными словами — у него было много сведений, но в сущности мало практической сметки и плохое понимание вещей. Он был тем, кем выглядел,— продуктом смешения рас, без ярко выраженных черт, без чистокровности,— только помесь, нечто ненастоящее, всего понемножку, первый ученик в школе, но полная непригодность для создания чего-нибудь крупного в жизни. У него были самые ограниченные способности и интересы, но зато сильное желание быть джентльменом.

Таков был этот человек, никак не больше. Ему очень и очень нужны были советы На-все-руки, мать тоже была хорошей помощницей.

— Я хочу отправить невода в море,— сказал он матери.— Поручил На-все-руки уладить это дело.

— А разве есть слух, что сельдь идет? — спросила она.

— Нет. Но в море всегда есть сельдь. Если бы я дожидался слухов, я бы с голода умер. Надо что-нибудь предпринимать.

— Дела, значит, плохи, насколько я понимаю?

— А как им не быть плохими? Мелочная торговля да всякие пустяки. Народ здесь ничего не покупает, они сами и прядут и ткут, это какие-то подземные существа, которые не нуждаются в нас, людях. Мы обречены жить за счет нашего собственного городишки, жалкого городишки, пристаньки, где у ста человек не найдется более шиллинга для покупок. Мне бы не следовало приезжать сюда и браться за это дело.

— Ну, давай обсудим, — сказала Старая Мать. — У тебя ведь есть всякие возможности, не можешь ли ты реализовать что-нибудь?

— Реализовать? Да что ты, мать! Может быть, пригласить нотариуса Петерсена, чтобы он устроил эту реализацию? Это мне не подходит. Люди будут говорить, что я прижат к стене.

— У тебя есть пух в птичьих гнездах, есть лососи, одно к одному. И прежде всего город расположен на арендованной у тебя земле, ты получаешь уж вовсе не так мало в год за арендованную землю.

— Вот в этом-то и проклятье! — восклицает сын. — Мне не удастся выгодно продать землю. Никто не в состоянии купить.

Мать. Отец твой никогда не хотел продавать землю. Он говорил, что если даже все остальное не удастся, то все же аренда земли даст нам верный годовой доход, на который мы сможем прожить.

— Пустяки! — горячился сын. — Кроны и зре. А птичий пух? У меня сохранились счета, я покажу тебе: два-три пуховика, два-три одеяла. Лососи? Ровно ничего.

— А когда-то это была крупная ловля, — проговорила мать и погрузилась в воспоминания.

— Нет, здесь никогда не было ничего крупного. Что такое Сегельфосс? Разве здесь что-нибудь развивается, движется? Все мертво. Взять хотя бы почту, которую я получаю: ведь это же пустяки, годные разве ленсману или школьному учителю. Однажды я получил письмо, вложенное по ошибке не в тот конверт; дело шло о лошади: один человек торгуется с другим из-за лошади. Я не знаю ни одного из них. На прошлой неделе я получил письмо от человека, который предлагает свои услуги для ловли лососей. Вот и вся почта. Это не то, что три человека в конторе только для разбора одной корреспонденции.

Старая Мать. Кто это пишет тебе о ловле лососей?

— Не помню; он говорил, что работал здесь прежде и что его знают.

— Как его зовут?

— Александер или что-то в этом роде.

Молчание.

Старая Мать, желая замести след:

— Так ты, значит, хочешь опять закинуть невода? Будем надеяться, что на этот раз ты будешь счастливее...— Она встает со стула, подходит к окну, смотрит на улицу.— Дружно тает, земля скоро обнажится,— говорит она, чтобы сказать что-нибудь.

Она неспокойна. В тот момент, когда собирается уйти, она словно вспоминает что-то и опять говорит о человеке и о ловле лососей:

— Гордон, ты непременно пригласи этого человека. Это был самый дельный служащий у твоего отца. Как он умело справлялся с ловлей лососей! Отец твой посылал лососину в соседние города, даже в Троньем. Копченую лососину. Зарабатывал большие деньги. Как — ты сказал — зовут человека?

— Александер, кажется. Да, впрочем, это неважно,— бормочет сын и ищет на конторке.— Вот это письмо, его зовут Отто Александер. Я даже не ответил ему.

— Тебе бы следовало это сделать, тотчас ответить ему. Он себя окупит во много раз. А сеть для лососей, вероятно, даже и не вытащена? А нам и в хозяйстве недурно бы иметь лососину.

— Очень может быть,— согласился сын.— Я охотно позову сюда этого человека.

Не прошло и недели, как На-все-руки сдержал свое слово и набрал полный комплект рыбаков. Но оба рулевых не очень-то доверяли старику и пришли проверить у хозяина.

— Да,— сказал хозяин,— все совершенно правильно.

— Но он делает какие-то странные знаки, складывает пальцы крестом, похоже на то, что он колдует.

— Об этом вам нечего беспокоиться.

На-все-руки показал им по карте, где они должны закинуть невода. Они народ мало ученый и потому позволяют себе спросить,— не значит ли это искушать бога? Не лучше ли плавать из бухты в бухту, искать и отмечать затоны? И ловить в тех местах, где рыба обычно идет.

Шеф позвонил и отдал приказание позвать На-все-руки.

— Покажите мне карту,— сказал он рыбакам.

Это был кусок береговой карты, взятой с яхты. Шеф внимательно поглядел на карту, сделал вид, что разобрался в ней, уселся поудобнее, взял циркуль и измерил:

— Вот это Полен, этот мыс!

— Так точно,— отвечали рулевые,— но он сказал, чтобы одна артель находилась вот тут, возле так называемого «Птичьего острова», и чтобы обе не трогались с места.

Шеф опять померил, кивнул головой и сказал:

— Все совершенно правильно. Он получил указания от меня.

На-все-руки вошел тихонько, положил шапку на пол возле двери, выступил вперед и поклонился.

«Черт знает как вежливо умеет вести себя этот старый На-все-руки!» — подумал, вероятно, шеф. Он сказал:

— По-видимому, они не совсем поняли наше приказание. Не объяснишь ли ты им еще раз?

За чем же дело стало? На-все-руки тотчас повторил свои указания, он вышел с честью из положения, назвал Полен и Птичий остров, точно указал все расстояния, упомянул о течениях.

«Может, он только хвастает?» — подумал, вероятно, шеф при виде такой осведомленности.

— А ты не хочешь заглянуть в карту? — спросил он.

На-все-руки вынул пенсне, но не надел его. Он улыбнулся и сказал:

— Карта у меня в голове.

— Это так,— сказали рулевые.— Но почему же мы должны стоять на месте?

На-все-руки стал оправдываться:

— Да, семь суток,— сказал я.— Если вы не нападете на сельдь за это время, то вы можете подвинуться на семь миль к северу. Но у вас будет улов раньше,— я так думаю! — сказал он и перекрестил себе и лоб, и грудь.

— Ловко! — проворчали рулевые.— Но почему же нам стоять именно вот на этих местах, никуда не двигаться и не искать в море?

На-все-руки вещал, как пророк и ясновидящий:

— Потому что именно там идет сельдь, если она бывает в наших краях. Лучше вам не сомневаться в этом. Сельдь знает свои пути в море. Киты и хищные рыбы могут несколько изменить ее ход, но это вы сами увидите и повернете за ней.

— Ты колдовством, что ли, заманил туда сельдь? — спросил один из рулевых, выведенный из себя.

— В таком случае мы не хотим принимать в этом участие, — сказал другой.

На-все-руки поглядел на шефа и спросил:

— Итак, больше вы ничего не хотели сказать?

— Нет.

Он поклонился, подобрал свою шапку возле двери и вышел.

«Черт знает что за дисциплина! Приобретена, вероятно, в плаваниях на больших кораблях», — подумал опять Гордон Тидеман и коротко сказал рыбакам:

— Ну, теперь вам объяснили мой наказ.

Сам шеф находил На-все-руки, пожалуй, несколько загадочным, но не препятствовал ему. Почему бы не попробовать и не последовать совету старика? В последний раз артели обыскали и осмотрели все старые рыбные места, которые они знали, и вернулись домой ни разу не закинув невода. Посмотрим, что будет на этот раз! Нет такого невода, который бы ни разу не потерпел неудачи, но и шансы на улов у всех одинаковы.

## ГЛАВА V

---

В течение весны Гордон Тидеман строил себе домик в горах. Он называл его охотничьей хижинкой, но для хижинки домик был, пожалуй, велик, — настоящее жилище, — на тот случай, если семейство пожелает выехать на дачу. У него работало большое количество людей, и дело шло быстро; тут были и каменщики, и столяры, и маляры. Пристроили веранду, откуда открывался вид на головокружильную пропасть, водрузили шест для флага. И потом на время постройку приостановили.

После улова Гордон Тидеман сразу начал много дел, он был человек деятельный, человек прогресса. Теперь к тому же у него были средства, потому что произошло нечто почти немыслимое, почти невозможное: колоссальный улов сельди у Птичьего острова, чудо, о котором писали во всех газетах и которое взволновало всю округу. Как назвать это иначе, если не удачей, не внезапной щедростью судьбы. А такой молодчина и глава Сегельфосса не мог же загребать деньги и ничего не предпринимать при этом! Он удлинил пристань до глубокого моря; теперь пароходы приставали к молу. Он расширил кредит в своей собственной мелочной лавке и помог многим беднякам в

деревне. Это было в его духе. Он обсуждал также со старым На-все-руки план организации в городе молочной фермы для всего округа.

Да, и это и многое другое было в его духе, но мать только головой качала. А когда он начал строить хижину в горах, она даже руками всплеснула:

— Уж этот Гордон! Уехать на дачу из Сегельфосской усадьбы! Почему фру Юлия не помешала ему?

Но фру Юлия этого не делала, она была хозяйка, любовница и мать, красивая и теплая, только женщина, теперь она снова ходила с круглым животом. Нет, это было не в ее нраве — препятствовать мужу.

Мнение Старой Матери имело уж вовсе не такое малое значение: у нее был богатый и разнообразный опыт, и она могла подать отличный совет. Жена Теодора Из-лавки имела обыкновение несколько обуздывать фантазию сына, когда та могла привести к крупным издержкам. Но как раз в этот момент ей не хотелось ссориться с ним. Наоборот, у нее были причины угождать ему и быть его верным другом. Разве он не согласился на ее просьбу и не взял в дом Отто Александра, того самого, который так ловко ловил лососину для хозяйства и так охотно коптил рыбу в коптильне, хотя бы и среди ночи?

Старая Мать выглядела моложе, чем когда бы то ни было, она порхала по дорожкам, как молодая девушка, и носила медальон на шее. Она была смелой. Разговоры о ней и о цыгане с пристани давно замолкли, но теперь возобновились с новой силой. Она распевает песни без всякого зазрения совести! Она с ним то в коптильне, то на борту яхты «Сория», туда они берут вино, — они ведут себя хуже молодых. Как ей только не стыдно!

Но Старая Мать не стыдилась. И что бы она ни делала, она никогда не раскаивалась; в этом отношении она была сорви-головой. Но возразить сыну она все-таки не решалась.

— Я вижу, появилось много парней с заступами и граблями, — сказала она. — Они твои?

— Да, это рабочие с Юга, они будут прокладывать дорогу к охотничьей хижине.

— Целую дорогу? Послушай-ка, Гордон, а не достаточно разве тропинки?

— Нет, — отрезал сын.

И мать тотчас сдалась:

— Да, впрочем, ты прав: на что тебе охотничья хижина, если туда не будет дороги?..



Случилось так, что Гордон Тидеман упомянул об этом проекте На-все-руки: ему нужно два-три опытных человека, и прежде всего кого-нибудь, кто наметил бы линию будущей дороги.

На-все-руки сказал, что, по его мнению, это не так уж трудно.

— Как?! — переспросил шеф. — Ты бы мог это сделать?

— Как раз такие вещи я и умею, — ответил На-все-руки.

Прямо таки незаменимый человек, никогда не поставишь его в тупик!

— Для этого есть разные способы, и провести тропинку не стоит большого труда.

— Нет, не тропинку! — фыркнул шеф.

— Так, значит, дорогу для езды?

— Да, потому что мы должны иметь в виду перевозку мебели и продуктов. Я предполагаю, что семья пожелает жить там в самое жаркое время лета.

— Как я глуп! — сказал На-все-руки. — Так, значит, дорога должна идти зигзагами, постепенно поднимаясь, или она может быть более прямой и крутой?

— На месте тебе виднее будет. Для меня безразлично, будет ли дорога крутой, или нет, но может статься, что моей жене захочется пройтись по ней.

— Возможно, что нам придется взрывать, чтобы продвигнуться вперед, — место очень нескладное. Я могу пойти взглянуть на гору хоть сейчас, если вы находите это нужным.

Шеф кивнул головой в знак согласия.

— И потом, когда будешь возле хижины, погляди, кстати, нельзя ли поставить решетку перед пропастью, из-за детей...

Незаменимый человек этот На-все-руки. И главное, его манера держаться пришлась очень по душе Гордону Тидеману. «Хоть сейчас», — сказал он. Словно он был обязан бежать по первому приказанию, хотя шеф был ему обязан уловом! Но разве он от этого стал важным или надменным, или может быть позволил себе вольности, когда пришла телеграмма? Ничуть. Когда шеф прочел ее, На-все-руки заметно взволновался, он перекрестился, облизал губы, проглотил слюну, глаза его стали светлоглубыми. Но он тотчас овладел собой и сказал:

— Так, значит, они соединили оба невода и загнали рыбу в один затон. И больше ничего не стоит в телеграмме?

— Только — что сельдь 7—8 и 9—10. Я не знаю, что это значит.

— Это важно,— сказал На-все-руки.— Это значит: столько-то сотен сельдей приходится на бочонок. Это товар средний и выше среднего.

И в то же мгновение он обнаружил практический ум: покупателей, покупателей прежде всего! Разослать телеграммы во все города; нужны соль и бочки, яхта «Сория» пусть тотчас же отправляется на Север,— «если вы находите нужным»,— добавил он.

Шеф долго глядел на него. Ни одного намека на то, что он заслуживает одобрения, ни одного корыстного слова. Только само чудо, игра сильно занимали его, и он сказал:

— Обидно, что я не видал этого.

Вот и все.

Гордон Тидеман не был эксплуататором, он отдавал себе отчет, чем он обязан На-все-руки и как должен быть ему благодарен. Он хотел как-нибудь отличить его, устроить в честь его праздник, угощение, но старик воспротивился этому. До сих пор он жил в каморке в людской избе, теперь шеф предложил ему комнату в главном здании, с зеркалом в человеческий рост, с ковром на полу, с кроватью красного дерева, украшенной золочеными ангелами и с бронзовыми часами на камине. На-все-руки только головой покачал и смиренно и почтительно отказался.

Да и вообще это был своеобразный человек. Он продолжал прилежно и бескорыстно работать на дворе, никогда не берег себя, не боялся никаких хлопот и не заикался о прибавке жалованья. Шеф сказал ему, что с радостью даст ему значительную прибавку.

— Все равно это будет ни к чему,— отвечал ему человек.

Может быть, ему нужна определенная сумма, чтобы начать какое-нибудь свое дело или купить что-нибудь?

— Так-то оно так, но, с вашего разрешения, не будем больше говорить об этом.

Тогда шеф уделил ему сумму, достаточно крупную, чтобы предпринять что-нибудь. С тех пор прошло уже несколько недель, а он по-прежнему оставался в своей должности мастера на все руки и ничего не изменил в своей повседневной жизни. Разве только вот что: кто-то видел его на почте рассылающим почтовые извещения за границу.

В горах поют, закладывают мины и взрывают, там почти что весело. Несколько артелей работают на дороге: одни взрывают скалы, другие мостят, некоторые роют канаву, а

другие отвозят землю. На-все-руки наблюдает за всем, вдумчивый руководитель, отлично понимающий дело.

Однажды он сказал:

— Взорвите этот камень, он давно нам мешает.

Они не захотели взрывать. Камень весил, вероятно, около полутонны, но рабочие считали себя молодцами и захотели отвезти камень в тачке.

— Взрывать такой пустяк!

На-все-руки поглядел на них внимательно: оказалось, что они выпили и водка ударила им в голову. Когда они стали взваливать камень на тачку, сломалось колесо, и тачку пришлось бросить.

— Взорвите камень! — сказал На-все-руки.

Они ни за что на это не соглашались, они рассердились на камень и отказались взрывать его.

— Ишь черт! — говорили они. — Это один из тех камней, которые нарочно делаются тяжелыми. Ну, а мы не сдадимся.

Пять человек справились наконец с камнем и в тачке отвезли его в яму. С торжествующим видом вернулись они обратно. Один из рабочих повредил себе руку.

На-все-руки подозвал к себе рабочего из другой артели и велел ему взорвать камень.

— Теперь!.. — закричали другие. — Но камень ведь убрал с дороги!

Но камень все-таки взорвали.

Рабочим это не понравилось, они ворчали и выражали недовольство поступком старосты, заодно спрашивая его, не дурак ли он. Он не отвечал. Они назвали его старым шутком и стали наступать на него. На-все-руки спиной отступил к скале, чтобы на него не могли напасть сзади, но двое из самых отчаянных сорви-голов преследовали его. Они хотели, чтоб он объяснился, ему нечего было важничать и корчить из себя немого, они грозились перебросить его за высокий барьер, показывали ему кулаки.

Вдруг На-все-руки выхватил из заднего кармана револьвер и выстрелил. Оба нападавших на минуту растерялись от неожиданного выстрела.

— Ты стреляешь? — закричали они.

Но, взглядевшись в старого На-все-руки, они поняли, что ему не до шуток: он был бледен, как полотно, и в бешенстве скрежетал искусственными зубами.

— Стоит ли принимать это всерьез? — говорили они, стараясь образумиться. — Мы не хотели ничего дурного.

— Да не стойте там и не валяйте дурака! — кричали им товарищи, желая их предостеречь.

В обеденный перерыв, после того как задор с них сошел, На-все-руки обратился к ним со следующими словами:

— Вы здесь рабочие и должны исполнять, что вам приказывают. Никто из вас не возьмет на себя ответственность за нарушение порядка, вы не таковский народ. Вот вы сломали тачку и принесли вред человеку. Что вы теперь будете делать? Тачка не для того, чтобы в ней возить полтонны, а человек с раздавленными пальцами не может работать.

Молчание.

— Да, но зачем же взрывать камень потом?

— Так нас учат уму-разуму на море.

Они продолжали ворчать:

— Мы не на море. А когда ты стрелял, ты ведь мог попасть в нас!

— Да, мне ровно ничего не стоило попасть в вас, — сказал На-все-руки.

Они еще раз внимательно поглядели на него и убедились, что он не шутит.

Но прошло немного времени, и мир опять воцарился.

Случилась другая история. К тому самому месту, где кончалась дорога, примчался разъяренный бык, огромное чудовище. Он был в бешенстве, рыл землю, расшвыривал рогами кучи щебня, ревел.

— Ступай и прогони этого комара! — сказал кто-то человеку из Троньемского округа.

Это был маленький коренастый человек с широкими плечами. Его звали Франсис.

— Ну что ж, с этим я справлюсь, — сказал Франсис и направился к быку с ломом в руке.

На-все-руки шел как раз вниз по дороге и закричал:

— Стой!

Где была голова у этого человека? Бык заревел, уставившись на троньемца, но никто из них не хотел уступить.

На-все-руки опять закричал: «Стой!» Но троньемец не обратил на это внимания, поднял камень и бросил его, камень попал в животное, но произвел на него впечатление не больше, чем капля воды. Вдруг бык разбежался, хвост прямо по воздуху, земля и камни полетели во все стороны, в следующий момент троньемец взлетел на воздух, описал дугу над своими товарищами и, перелетев через барьер, исчез в пропасти.

Готово!

Бык, казалось, сам удивился. Он неподвижно стоял одну минуту, потом опять стал рыть землю ногами и реветь.

На-все-руки отдал приказание:

— Принести цепи!

Выше на дороге у них были цепи, которыми они привязывали фашины, когда взрывали вблизи домов. Несколько человек побежало вверх; казалось, они были рады, что могут удрать. Оставшиеся попрятались, кто как мог, за большими камнями и скалами.

Рабочие вернулись с цепями, связали их стальной проволокой и принялись окружать животное. Все принимали участие. Кто-то предлагал протянуть цепи в узком месте и закрыть проход.

— Ничего не выйдет: бык перепрыгнет. Нам нужно поймать его! — сказал На-все-руки.

Они стали постепенно сужать кольцо; эта многочисленная перекликающаяся толпа смутила быка, он фыркал, но не двигался с места. Когда он наконец собрался сделать прыжок, одна из передних ног запуталась в цепи, и ему пришлось сдаться. Два человека без усилий отвели его вниз, ко двору.

Тут снова вынырнул троньемец, — маленький, плотный Франсис появился у края пропасти и попросил протянуть ему руку, чтобы перелезть через барьер.

— А ты не можешь перепрыгнуть? — пошутил кто-то.

— Нет, я расшибся, — ответил он.

Вот чертов сын! Нельзя сказать, что он остался цел и невредим: из головы у него текла кровь, и он ужасно выглядел, но он не убится насмерть и теперь сам не понимал, как это случилось. Он был молодчиной, бодро рассказывал о своем состоянии, у него было такое ощущение, словно весь он вывернут наизнанку.

— Я словно перемешан с грязью. Смотрите, я плюю даже грязью! Дайте мне воды, ребята.

— У тебя зверская дыра в голове. Ты, видно, здорово ударился о ландшафт.

— Да, но об этом после. Дайте мне воды.

Он стал ловить воздух и чуть было не потерял сознания. Нет, он не остался невредимым: доктор Лунд обнаружил, что у него сломаны два ребра и здорово повреждена голова.

Обитатели Сегельфосской усадьбы приходили смотреть, как прокладывается дорога. Кроме Гордона Тидемана и фру Юлии, изредка появлялась и фрекен Марна, та самая, которая до сих пор гостила у своей сестры, вышедшей замуж за Ромео Кноффа, жившего южнее. Она была

светлая, как и ее мать, Старая Мать; Марна старше Гордона,— ей было уже далеко за двадцать лет,— красивая дама со спокойной манерой говорить, слишком спокойная, пожалуй, даже немного ленивая.

Приходил кое-кто и из города: аптекарь Хольм, начальник телеграфа с женой, почтмейстер Гаген с женой. Дамские посещения всегда подзадоривали рабочих: те, кто минировал, принимались буравить и стучать с пением и свистом, а кладчики барьеров с громкими возгласами поднимали камни. Фрекен Марна особенно сильно действовала на них; пожалуй, даже все они влюбились в нее, и здорово влюбились.

— Вы пели так весело, что мне захотелось прийти поглядеть на вас,— говорила она иногда.

Адольф отвечал:

— А не хотите ли вы попробовать заложить мину?

— Я не сумею,— говорит Марна и качает головой.

— А вы попробуйте.

— Да вы с ума сошли! Я могу повредить вам руку.

Парень совсем был влюблен и поглупел:

— Мне наплевать на руку, если это сделаете вы.

На это она только улыбалась и опускала глаза, что придавало ей хитрый вид будто она себе на уме.

Рабочие выражали между собой удивление, почему фрекен Марна не вышла замуж, и спрашивали друг друга, как собственно обстояло с ней дело.

— Вот увидишь, она из тех, для которых все недостаточно хороши.

Троньемец Франсис более нескромен: у него все еще забинтованная голова, в кармане больничное пособие, он чувствует себя независимым и говорит:

— А что, если ее естественно не тянет к мужчине?

Адольф слепо и влюбленно выступает в ее защиту:

— Она безупречна, я ручаюсь за нее. А ты свинья, Франсис, ты не можешь видеть юбки, чтобы не распоясаться...

Однажды пришел Давидсен, редактор и издатель «Сегельфосских известий», он хотел написать заметку о дороге. Так как На-все-руки не было на месте, то он обратился к рабочим, достал карандаш и бумагу и начал спрашивать. Но дело в том, что рабочие не уважали редактора-издателя Давидсена. Они не читали его газеты, но у них был нюх, и они прислушивались к тому, что говорили о Давидсене в городе. В сущности он был дельный и старательный человек; его дочка, маленькая девочка, помогала ему набирать

каждую субботу листок, и он едва сводил концы с концами. Но никто не уважал его по-настоящему, может быть, потому, что у него не было хорошего костюма и он не важничал. В конце концов он был только наборщик и печатник, и они не считали его господином. У него были умеренные убеждения и хорошее понимание общественности, и когда он попал в коммунальное управление, оказалось, что ему было что противопоставить школьным учителям, которые ничего не знали и ничего не думали, но считались радикалами.

Бедный Давидсен,— длинный, худой человек в потертой одежде, отец пятерых детей, владелец двух ящиков со шрифтом и ручного пресса, одним словом — бедняк, вошь.

Рабочие не давали себе труда отвечать ему как следует, и когда он понял, что они подтрунивают над ним, он допустил ту ошибку, что рассердился и вступил с ними в спор. Тут он окончательно ничего не добился, они говорили, как говорят рабочие, отбросив всякую логику, острили — кто во что горазд, при дружном смехе остальных. Франсис не мог работать, но он придумал злостную шутку: он ухитрился поджечь сзади редактора немного взрывчатого вещества. Раздался взрыв, рабочие дико захохотали, а редактор отскочил далеко в сторону.

— Вам бы не следовало это делать,— сказал он.

Франсис засмеялся:

— Мы принуждены взрывать здесь скалы.

— Но, вероятно, не без предупреждения?

Молчание.

Давидсен опять совершил ошибку, он обратился к артели.

— Вы слишком нетребовательны. Разве тут есть над чем смеяться? Человек этот был просто груб. Как вы этого не понимаете? Мне жаль вас, люди, если это может доставить вам удовольствие и вызывает у вас смех! Грубость и есть как раз ваша сила,— то, чего нет у нас,— и вы не стесняетесь пускать ее в ход. Во всех наших сражениях с вами она является вашим оружием. Вы слишком нетребовательны! Вам бы следовало быть честолюбивее, ребята, стараться освободиться от грубости, но вы этого не хотите. Даже негр хочет совершенствоваться и стать выше своих товарищей, но у вас нет ничего общего с негром, кроме его разинутой пасти, его жадности.

Кто-то замечает:

— У нас нет также его черной кожи.

— Рабочие должны быть гордыми людьми, слишком гордыми, чтобы опускаться до пошлости.

— Поддай-ка ему еще жару, Франсис!

— Прощайте, ребята! Подумайте о том, что я сказал! — Давидсен поклонился и пошел.

— Ну и идиот! — сказали рабочие.— «Подумайте о том, что я сказал!» Садитесь, ребята, и думайте о том, что он сказал! Ха-ха-ха!..

Однажды и нотариус Петерсен пришел посмотреть на дорогу. «Это вот его зовут "Голова-трубой"»,— говорили рабочие, они знали о нем все подробности. Знали, что он был жестокий сборщик, что ему было поручено обследование несостоятельных должников и что он зарабатывает большие деньги на мелких делах. Его они уважали. К довершению всего он недавно сделался главою Сегельфосской сберегательной кассы, директором банка.

## ГЛАВА VI

---

Окружной врач Лунд знал большую часть рабочих, многих из них он лечил. Они почтительно здоровались с ним, снимали шапки. Слово огонь пробежал по всей артели, когда они увидели его жену. Самые отдаленные подталкивали друг друга и шептали: «Погляди-ка на нее!» Сама фру стояла и оглядывалась на На-все-руки, который занялся чем-то возле ящика с инструментами.

— Ты видишь, на кого он похож,— спросила она.

— Кто — он? Это, вероятно, староста,— отвечал доктор.

— Ах, как он похож! Он так похож...

— Ну, не все ли равно?

Доктор разговаривал с рабочими, со своими пациентами, с троньемцем:

— Куда это перебросил тебя бык?

Ему указали место, и он покачал головой:

— Это могло бы кончиться очень плохо, очень плохо.

Фру Лунд направилась прямо к На-все-руки, стоявшему у ящика с инструментами. Она глядела на него некоторое время и сказала:

— Здравствуйте, Август!

На-все-руки поднял глаза, испуганно оглянулся вокруг и ничего не ответил.

— Разве тебя зовут не Август?

— Меня зовут... здесь я На-все-руки, мастер на все руки.

— Я тебя узнала,— сказала фру.



На-все-руки стал рыться в ящике.

Фру. Ты не хочешь, чтоб я тебя узнавала?

— Зачем? Разве я такой человек, чтобы вам стоило поддерживать со мной знакомство?

— Ха-ха-ха! — засмеялась она. — Меня зовут Эстер. Разве ты не помнишь? Из Полена.

На-все-руки забеспокоился:

— Пускай доктор, — я хочу сказать, — пусть доктор ни в коем случае не слышит вас...

— Карстен, пойди сюда! Старый знакомый!

Доктор так же обрадовался, как и она, и он узнал Августа, поздоровался с ним за руку и смеялся над тем, что он хотел скрыться. Они долгое время говорили друг с другом. Август сказал, что ему было неприятно вспоминать то время, когда он жил в Полене; тогда он вел себя не так, как следует.

— То есть как? — спросил доктор. — Ты со всеми поступал по справедливости.

— Кажется мне, что нет.

— Все-таки да, то есть Паулина... Ведь ее звали Паулина?

— Да, — сказала фру.

— Так вот она рассчиталась за тебя. Впрочем, твоими же деньгами. Ты не должен ни одной душе. Разве ты об этом ничего не знаешь?

— Нет. Я ровно ничего не знаю. Моими деньгами, говорите вы?

— Как!? Ты даже этого не знаешь? Но ведь много денег еще осталось, насколько я слышал.

Август встрепенулся:

— Так, может быть, фабрика стала работать?

— Где же ты был все это время? — спросил доктор. — Какая фабрика? Об этом я ничего не знаю. Разве там была фабрика, Эстер?

— Да. И у тебя были акции там, но потом тебе вернули деньги.

— Может быть, они ее продали? — спросил Август. — Это было бы глупо. Если б я там был, этого никогда бы не случилось. Это была отличная фабрика, насколько я помню, со стальными балками внутри и под железной крышей.

— Одним словом, ты выиграл крупную сумму денег, — сказал доктор. — В лотерею, или не знаю уж как. Эстер, ты, верно, лучше об этом осведомлена?

— Да, крупную сумму. Паулина распорядилась ею.

— А, так! — сказал Август.

Доктор поглядел на часы:

— Нам пора, у меня прием с четырех часов. Приходи к нам, Август, мы расскажем тебе все, что знаем. Я помню, в прежние времена у нас бывали с тобой разговоры. Право, очень приятно встретиться с тобой опять. Как?! Ты действительно ничего не помнишь? Разве это было так давно? Когда же это было, Эстер? Ну, впрочем, все равно. Ты опять ездил в Южную Америку? Приходи же к нам. У нас два мальчика, им будет очень интересно.

И доктор и фру попрощались с ним за руку и ушли.

У рабочих сильно разгорелось любопытство, и они позволили себе задать старосте кое-какие вопросы. А староста — зачем бы он стал отрицать? — сообщил, что это его старые знакомые, друзья из прежних лет, когда и он представлял кое-что! Старика словно что-то подтолкнуло кверху, к нему вернулось его имя, он опять стал Августом, человеком, и узнал самого себя. Как это было давно! Это было как во сне. Да, это были его знакомые, его лучшие друзья...

— И жена тоже? — спрашивали они.

— Жена? То есть Эстер? Как же! Она много раз сидела у меня на коленях, я ее крестный.

— Она красива, как тролль.

— И я, пожалуй, могу приписать себе честь, что соединил эту пару.

— То есть как? Он не хотел на ней жениться?

— Нет, все к тому шло, но все-таки мне пришлось вмешаться.

Франсис. А, он без женитьбы хотел ее заполучить?

Адольф. Франсис, ты свинья! Она не таковская.

— Нет,— подтвердил Август,— в этом отношении она все равно как самая важная дама в золоте и шелку.

— Как странно это бывает! — сказали они.— Вот ты опять их встретил.

— По-вашему выходит так. Но, конечно, я давно знал, что они были здесь, я только не хотел, чтобы они меня узнали.

— Почему же нет, староста?

— Как-то нехорошо выходит. Я им неровня.

— Ну ты достаточно хорош.— Они старались поставить его на должную высоту.

Но он уклонялся:

— Нет, теперь я ничто. В прежние времена другое дело. Тогда у меня была большая фабрика и несколько сот человек под моим началом.

— Неужели так было?

— Больше я ничего не скажу,— пробормотал Август и снова принялся рыться в ящике с инструментами.

Встреча с докторской четой вселила в Августа бодрость и заставила его призадуматься. Он имел право на деньги,— сказали они,— он заплатил все долги в Полене, и осталась еще изрядная сумма. Сколько же у него было денег?

Правда, он и до этого не был нищим. Сегельфосс — отличная остановка на его пути. Харчи и квартира с самого начала, а теперь еще шеф подарил ему порядочную сумму. Но что это было для человека вроде Августа, привыкшего мерить на южно-американский аршин? После того как он разослал почтовые извещения за границу,— а стран было так много и ни одну из них нельзя было пропустить,— у него осталось совсем немного средств. Кое-что ушло на зеленую с красным матерью для Вальборг из Эйры, потому что муж ее, Йёрн Матильдесен, лежал с больными ногами и был нищим. Немного пришлось истратить на лошадь Тобиасу в Южной деревне, у которого был пожар. Одно к одному, деньги текли, как вода. Кое-что он проиграл в карты. Да в карты. Этому нечего удивляться. Неужели кто-нибудь думает, что карты и спекуляция противны натуре Августа, вызывают у него отвращение? Ставить на карту, рисковать и терять, пытаться судьбу, играть...

Он самым невинным образом ввязался в игру. По вечерам его каморку навещали и дворовый работник Стеффен, и кое-кто из городских мелких торговцев. Что же лучшее могли они придумать? Этот старый На-все-руки шатался по всему свету, и — боже, чего только не видели его глаза, каких людей и птиц, какую торговлю и прогресс, какие разнообразные сорта деревьев, горные цепи! И все это дико, нелепо, без всякого порядка и меры. Приходил также и цыган Отто Александер; он приходил каждый раз, когда освобождался от копчения лососей со Старой Матерью. Быстрые глаза цыгана шныряли по всей комнате Августа, как-то раз он заметил на полке толстую, большую книгу и совсем маленькую. Так это началось:

— Что это за книга, На-все-руки? — спросил он о большой книге.

— Это русская библия,— отвечал Август.

— Покажи-ка ее! — сказали все.

Август нацепил пенсне и показал им библию; она была в кожаном переплете с медными уголками.

— Я не хочу, чтобы вы прикасались к ней не весть какими руками,— сказал он, перелистывая книгу и изредка крестясь, но все же давая полную возможность подивиться странным буквам.

— Ты можешь ее читать? — спросили они.

Август улыбнулся в знак того, что ему ничего не стоит прочесть книгу от доски до доски.

— Но почему у тебя библия на русском языке?

— В ней больше силы,— сказал Август.

— Как — больше силы? Откуда ты знаешь?

— Она для того, чтобы возлагать на нее руку, когда произносишь клятву, наши библии для этого не годятся. И потом она может связывать и разрешать.

Они поговорили об этом некоторое время. Так и осталось скрытым, что эта библия может связывать и разрешать, но Август уверял, что своими собственными глазами видел действие ее силы.

— А может, ты продашь ее? — спросил один из торговцев.

О, эта мелкая, подлая душонка,— он рассчитывал, вероятно, заполучить святую книгу, чтобы потом перепродать ее! Такая бессовестность!

Август торжественно отказал ему: раз уж он владеет этой русской библией, то, пока жив он, ни за что не расстанется с ней.

Цыган продолжал разглядывать комнату.

— А эта маленькая книжка, что это такое? Да это никак...

— Это молитвенник,— отвечал Август.

— Это колода карт,— сказал цыган и потянулся к полке.

Она лежала, словно нарочно туда положенная так, чтобы ее увидели, взяли и пустили в ход, но все-таки странное дело, что цыган увидел ее.

Август сказал:

— Перестань рыться в моих вещах!

— Колода карт! — повторил цыган.

А в г у с т. Это невозможно, у меня нет таких вещей. Это колдовство. У меня лежал тут молитвенник, теперь его нет, а на его месте колода карт.

— Хе-хе-хе! — засмеялись парни.— Давайте испробуем ее. На-все-руки, сдавай!

Август перекрестился:

— Я не дотронусь до карт.

Они стали играть без него, а он глядел. Вынули мелкие деньги и стали играть на них, выигрывали и проигрывали, проигрывали и выигрывали снова. Август все глядел. Они увлеклись, стали громко божиться и горячиться, кто-то швырнул на стол целую крону.

— Я могу, пожалуй, поиграть, поиграть с вами часок, — сказал Август.

Деньги Августа недолго лежали без движения: они быстро потекли, его блестящие кроны одна за другой стали исчезать в карманах игроков. Вначале он сидел за столом будто бы невольный, с благочестивым выражением лица, с трудом принимал деньги, выигрыш оставлял на столе до следующей игры, удваивал его, и все с таким видом, точно парни силком, за волосы, втянули его в эту жалкую игру на кроны и эре, до которых ему не было никакого дела. Остальные горячились, стучали кулаками по столу, и их проклятья давно перешли за пределы дозволенного. Август продолжал охотно выкладывать деньги.

— Ты проигрываешь, — сказали они.

— По-вашему, это называется проигрывать? — отвечал он. — Ну, сдавайте! Ход следующего!

В этом отношении он был строг, он не позволял сидеть и болтать и задерживать других. Глядя на него, нельзя было сказать, что он намерен застрелиться из собственного револьвера, когда проиграет все деньги; нет, игра — игра! — приковывала его внимание, он оживленно и одобрительно кивал головой, когда игра делалась азартной, и даже протягивал руку за картой немного раньше, чем до него доходила очередь.

— Вот ты опять проиграл, — говорили ему.

— Сдавай дальше! Будем играть быстрее!

— Что ж ты не крестишься? — дразнили они его. — Так-то помогает тебе русская библия?

Эти дураки, идиоты воображали, что он дрожит над несчастными копейками, которые теряет, что он в отчаянии и тотчас, как только проиграется дочиста, пойдет топиться в водопаде. Они корчились от смеха и восторга, когда выигрывали крону, и торопились опустить ее в жилетный карман. Август же клал руки на карты, не поглядев на них, и назначил игру вслепую, — в с л е п у ю!

Ему повезло, и он несколько раз выиграл; это подзадорило Августа, его старые глаза загорелись.

— Пасс или вдвойне? — спросил он еще раз, не глядя в карты.

Они поглядели друг на друга, покачали головой и бросили карты.

— Пасс или вдвойне? — стал он искушать цыгана.

Цыган поддался и взял свои карты обратно, захватил нечаянно одну лишнюю и быстро сбросил другую.

— Это жульничество! — закричали кругом. — Сдавай еще раз!

Август, хотя это касалось его одного, ничего не сказал. Черномазое лицо цыгана побледнело, губы его дрожали.

Когда Август проиграл, все закричали:

— Но ведь это жульничество! Вам бы следовало перестать и принять и нас в игру. Ты вытащил валета и сбросил семерку, — сказали они цыгану.

— Я выиграл бы и без валета, — ответил цыган.

Они некоторое время пререкались. Август молча заплатил проигрыш. Игра окончилась.

Один из торговцев, уходя, попробовал было стащить колоду. Август остановил его:

— Давай сюда карты!

— Ты же сказал, что они не твои!

— Давай сюда карты! — повторил Август.

Всякие случайности, раздоры из-за пустяков, но они продолжали играть по вечерам. Приходили новые люди, явился и Иёрн Матильдесен. У него никогда не было ни копейки, но Август дал ему крону и велел сторожить под окном, а если покажется кто из рабочих, то постучать по стеклу. Инстинкт и опыт подсказывали ему, что нельзя играть со своими рабочими.

Август проигрывал, выигрывал и проигрывал снова. Иногда ему приходилось выкладывать даже крупные суммы, но он и вида не показывал, что это ему неприятно. Наоборот, казалось, что эти вечера с карточной игрой веселят его. Недавно ему пришли в голову еще два адреса для почтовых извещений за границу, и черт знает сколько они стоили. Тут оказалось, что от его денег остались сущие пустяки. А на что ему эти пустяки? Что с ними делать? Оставалось только проиграть их в карты.

Раз после ужина он зашел к доктору, где его приняли, обласкали и угостили. Доктор Лунд говорил уже с окружным судьей о деньгах Августа в Полене, может быть, они помещены в банк в Бодэ или в Троньеме, об этом решено было узнать.

— Ты действительно счастливеец, если в наше время деньги валяются тебе прямо с неба.

— Сколько же их может быть? — спросил Август.

Доктор этого не знал, а фру слышала только разговоры о крупной сумме в своей родной деревне.

Август разговорился с фру о живых и умерших односельчанах; изредка она получала письма от матери из Полена и могла порассказать кой о чем.

Он спросил об Эдварте.

— Какой Эдварт?

— Эдварт Андреасен, вы же знаете.

Но ведь он же умер двадцать лет тому назад, а Август ни о ком ничего не знал! Эдварт поехал на Север, чтобы догнать его, Августа, не допустить его бегства. Один-на-один с западным ветром. И погиб. Он взял тогда почтовую лодку. Это было по крайней мере пятнадцать лет назад.

Август долго молчал, погруженный в свои мысли, потом сказал, как бы про себя:

— Какое свинство, что он умер!

Вошли мальчики докторской четы, сели и стали слушать, — может быть, их предупредили. Но так как они ничего не услышали о Южной Америке и разбойничьих набегах, то ушли.

— А Паулина жива и по-прежнему торгует в своей мелочной лавочке, — рассказывала фру Лунд. — И Ане-Мария жива, а Каролус умер. А Эзра стал богатым мужиком, крупным землевладельцем. А рыбопромышленник Габриэльсен...

Август. Я возьму на себя смелость спросить: остались ли живы мои елки?

— Не знаю, — сказала фру. Но в ту же минуту как будто хорошо припомнила елки и растрогалась.

А его фабрика возле лодочных сараев? А красивые дома, которые он настроил в Полене? А скалы, с которых он велел счистить мох и сделал пригодными для вяления рыбы?

Оба мальчика опять вошли, уселись и приготовились слушать. Никакой перемены: все та же скучная болтовня о Полене.

Доктор спросил:

— Ну, а в Южной Америке ты не бывал с тех пор?

— Нет.

— Но откуда же ты приехал теперь?

— Теперь? Да как будто бы из Латвии. Не могу же я помнить все. Я посетил столько городов, видел сотни пейзажей.

«Вот начинается!» — подумали, вероятно, мальчики.

— Да, ты много видел и испытал. Как же было в Латвии?

— Эстляндия, Латвия, Лифляндия, все эти прибалтийские страны, да и сам Балтийский залив, впрочем...

— Они ничего особенного не представляют?

Август обнаружил свое давнишнее презрение к Балтийскому морю: оно коварнее всякого тигра, и при этом по нему невозможно плавать. Это озеро. И к тому же почти сухое.

Тут мальчики засмеялись и, вероятно, подумали: «Вот началось!» Но не тут-то было. Ни доктору, ни его жене не удалось извлечь из Августа ни одной истории, ни одной приличной выдумки. Это был не прежний Август из Полена, теперь он состарился и стал религиозным.

Фру Лунд. Как это называют тебя здесь, в Сегельфоссе? Я давно уже слыхала это прозвище, но я не знала, что это ты. Ты разве не хочешь больше называться Августом?

— Нет, как же, «Август» — мое христианское имя. А «На-все-руки» — это мое прозвище в повседневной жизни. Это я сам сказал шефу: «Запишите меня как мастера на все руки».

— У тебя шикарный шеф!

— Шеф! — воскликнул Август. — Более замечательного человека не выдумаешь! Я бывал у него в конторе, он может просматривать за раз три толстых протокола и кроме того еще разговаривать с тобой.

Доктор. А дорога в горы обойдется, пожалуй, недешево.

— Да, это будет великолепная дорога.

— Когда же она будет готова?

— Все в руках божьих. Мы работаем вовсю. Шеф оказал мне высокое доверие и облачил меня высокой властью.

Не оставалось никакой надежды на что-нибудь веселое, мальчики ушли совсем.

Доктор. Да, что, бишь, я хотел сказать, Август? Я видел тебя как-то на улице, ты разговаривал с дочерью Тобиаса из Южной деревни. Ты ее знаешь?

Август ответил не сразу, он покраснел и смутился:

— То есть как? Знаю ли я ее? Нет. Так вы нас видели?

— У этих людей всегда что-то неладно.

Август. Я это сразу увидел по ней. Она жаловалась.

— Несчастья так и сыплются на них. Теперь у них околела лошадь. У них был пожар, это уже само по себе несчастье, но они как будто бы и страховой премии не получают.



Август покачал головой.

— Ничего им не удастся. У них был взрослый сын, он остался в Лофотенах. Потом у них есть, кажется, подросток, а остальные — девочки.

Август ничего не сказал. Действительно, он сделался скучным стариком.

— Ну что ж,— сказал доктор,— когда твои деньги придут, так мы будем спрашивать человека по имени «На-все-руки». И так разыщем тебя.

Когда доктор ушел, у жены его тотчас развязался язык. Бедняжка! ее что-то мучило, ей хотелось поскорей поделиться своими мыслями, она все более и более волновалась и ни на минутку не закрывала рта. Август не мог скрыть удивленья: Эстер, которая всегда была так тверда и понятлива, которая получила в мужа доктора, которую бог сделал госпожой,— она собиралась заплакать!

Из ее восклицаний явствовало, что Август был для нее духом Полена. «Я возьму на себя смелость спросить»,— сказал он: это было так красиво, и так все говорили в Полене. А помнит ли он песенку о той, которая утонула в море? Следует ее помнить,— мало ли кто еще может утонуть в море?..

— Это так весело слушать, как ты говоришь по-нашему, как в Полене, Август,— мне не приходилось слышать наш говор целыми годами. Но ты забыл всех. Что ты за человек, раз не помнишь Полен? Мать моя жива, и отец жив. Ты ведь их хорошо знал; ее звали Рагна, помнишь? А Иоганна, сестра моя, которая с семейством священника уезжала на Юг, замужем теперь за булочником, и у них большая булочная и много рабочих. А Родерик, брат мой, почтарь, который работал у тебя на стройке и которому ты одолжил еще деньги на новую избу? Ты о них не вспомнил ни разу. Но ты заговорил по-нашему, по-поленски, и я сразу растрогалась. Я почти что забыла твои елочные насаждения, но ты сказал: «Я возьму на себя смелость спросить,— живы ли мои елки?» Боже, я не могу этого вынести! Их посадили у южной стены; а сам домик такой маленький, мать сидит на пороге, в доме только одно единственное окошечко с крошечными стеклами, это так мило. Она хотела отдать мне пальто, которое Родерик купил для нее самой...

Докторша плакала в три ручья.

Август испуганно и беспомощно озирался по сторонам.

— Он ушел,— сказала фру,— он оставил меня в покое. Он был так добр, что оставил меня в покое...

Она продолжала говорить о Полене, вспомнила маленькую тропинку по дороге к морю, лодочные сараи, которые годились только для четырехвесельных лодок или челноков, — так они были малы; упомянула ручеек, в котором они полоскали белье: он был такой хорошенький, и окружен плоскими камнями, по которым было так интересно прыгать. Докторша опять была только Эстер, беспризорный ребенок, голодный, босой и оборванный, но счастливый, как никогда потом. Как?! Он так и не помнит песню, которую все пели? Да, девушка пошла прямо ко дну, это правда, она помнит каждое слово...

Докторше достался крайне неблагоприятный слушатель. Если она хотела излить свою тоску по дому и надеялась найти утешение, то ей трудно было придумать более неподходящего человека, чем Август, у которого никогда не было дома на этом свете, который и понятия не имел, что значит тоска по родине. Этот одинокий бобыль и бродяга таскал свои корни из страны в страну и не знал другой жизни. Он не помнил ни отца, ни матери, никогда не садился с родной семьей за стол, не был привязан ни к одной могиле, божественный голос родины не звучал в его душе. Машина, построенная для внешнего употребления, для промышленности и торговли, для механики и денег. Жизнь без души. Самая счастливая пора его юности прошла, верно, на море, с которым он долго был связан, но фру Лунд не матрос и ее приходилось извинить за то, что она не умела его заинтересовать.

Фру Лунд чувствовала, что Август не в состоянии понять ее, но она была нетребовательна и потому говорила с ним. Для нее много значило то, что когда-то он был в Полене, жил в поленском доме, она льнула к нему, потому что он знал времена в Полене. «Я возьму на себя смелость спросить...» — вот язык и душа Полена.

Хотя фру и заметила, что Август совсем не понимает ее состояния, а лишь терпеливо выносит его, она все-таки никак не могла остановиться.

— Я была дома только один-единственный раз, с тех пор как мы поселились здесь, — рассказывала она.

Он не находил в этом ничего странного, но он все же принудил себя воскликнуть:

— А ведь всего-то два-три дня пути!

— Да, вот какво мне приходится! Никогда не побывать на родине! А ты зачем приехал в Сегельфосс?

— Я? Как — зачем?

— Что касается меня, то я с мужем. Но мне здесь ничего не нравится. Здесь слишком много шикарных людей, и я не умею играть на фортепиано и ничего другого. И если бы не мальчики, то я взяла бы и уехала.

— Но ведь вы говорите несерьезно.

— Хочу в Полен, хочу жить там!

— Жить там?! — воскликнул он. — Неужели вам туда хочется? Вернуться навсегда в Полен?

— Здесь меня все мучает. Ты не понимаешь, но я все равно как галка среди нарядных пав.

— Нет, нет, нет! Как вы можете так говорить! Вас даже и сравнить ни с кем нельзя в этом отношении.

— Это совсем не то! Ты не понимаешь. Это ровно ничего не значит — выглядеть немного красивой, — хотя, впрочем, за это он и взял меня. Но дело не в этом. Вот теперь я опять не буду спать ночью, и мне не дадут капель.

— Неужели вам не дают любые капли, какие вы пожелаете?

— Нет. Он отказывает.

— Я достану вам капли, — сказал Август. — Меня хорошо знают в аптеке.

Докторша покачала головой:

— Нет, я этого боюсь, мне достали однажды капли, но он догадался. Я не могу сказать, чтоб его неприятно было просить, но он скажет «нет», а я этого не выношу. Видишь ли, Август, у нас то плохо, что он взял себе жену не по положению, и мне бы не надо было выходить за него. Он потому-то и просил о переводе его в Сегельфосс, что не хотел, чтобы моя мать и мой отец приходили в докторскую усадьбу, а говорить что-нибудь против этого он мне не позволяет. Вот в том-то и вся беда, что я все равно как ворона среди всех важных дам. А это его раздражает, он сердится и жалуется. Мы берем книги в одном клубе вместе с другими. Книги и все такое — не для меня; мама моя в этом отношении была молодчина: когда она училась в школе, она знала наизусть все свои книги. А он говорит, что я должна прочесть вот эту и вот ту книгу, например. Я и читаю и понимаю большую часть, но когда он потом спрашивает, то оказывается, что я должна была понять самое противное и неясное, а не другое. И так всегда. Однажды он сидел в постели и вдруг ни с того ни с сего закричал на меня, чтобы я отвернулась. Я лежала и глядела на него. «Отвернись!.. Слышишь ли?» — сказал он. «Зачем?» — спросила я. «Как ты не понимаешь, что у тебя дурно пахнет изо рта!», — сказал

он и выпрыгнул из постели. Но у меня белые зубы и чистый рот.

Август заметил, что это он только от торопливости выпрыгнул из постели.

— А когда он сам приходит вечером домой после карточной игры, то у него изо рта несет, как от свиньи, но я никогда ничего не говорю, потому что он такой высокомерный. Он сказал один раз: «Один из нашей семьи мог сделаться министром». — «Вот как! — сказала я и чуть-чуть рассердилась. — Может быть, это был ты?» — «Нет, со мной этого не могло быть: ведь я женился на тебе, и этим все сказано». — «Ну что ж, тогда я лучше пойду обратно туда, откуда пришла. Может, и я снова обрету мир и спокойствие, — сказала я. — И кроме того, мне было лучше, когда я только готовила тебе еду и не была ни замужем за тобой, ни... ничего другого!» Так я сказала ему прямо в лицо и целый день не была его другом. Но ты сам знаешь, как это бывает: обоим нам захотелось, чтобы все опять было хорошо, и вечером он сказал: «Ты знаешь, мы не можем жить друг без друга, ни ты, ни я, Эстер!»

— Да, — сказал Август, — действительно, так всегда бывает. Я со своей стороны думаю, что вы оба составляете отличный экземпляр супругов.

Но фру, казалось, не разделяла этого мнения, она покачала головой и задумчиво проговорила:

— Нет, если бы не мальчики, то я сама не знаю...

Август. Два отличных мальчика! Не знаю, но мне кажется, что я никогда не видал прежде таких прекрасных мальчиков.

— Да, и им, конечно, не надо понимать, что их мать и отец такие враги. И муж мой тоже это находит. Потом он боится, что об этом заговорят в городе. Но такую вещь нельзя скрыть совсем. Прислуга наша слышит кое-что и догадывается об остальном; а она не станет молчать, и так все узнают. Я по разным признакам догадалась... Вот я слышу — он возвращается, — сказала фру и прислушалась. Она быстро произнесла свои последние слова: — Не рассказывай, пожалуйста, то, что я тебе говорила, Август. Это не для того, чтобы очернить его, а дело в том, что место мое в Полене, и там бы я и должна была остаться. Здесь я никогда не стану человеком. От этого я и заплакала, когда ты заговорил. Больше никто не мог довести меня до слез, но ты так чудно говоришь. Впрочем, все это ерунда с моей стороны.

Август пошел обратно в свою каморку, сильно задумавшись. Он наедине обдумал события вечера еще раз, как бы просмотрел его. О, он отнюдь не был глубоким стариком, так сказать, прахом придорожным. Милая Эстер, дорогая фру! И у знатных, и у нищих, у всех свои невзгоды,—исключений нет, все страдают. Но целый вечер говорить о Полене, оплакивать Полен,— что нам за дело до Полена? Его нет, он провалился сквозь землю. Вспоминать какую-то песню! Он часто играл ее на гармонике и даже пел при этом. Но девушка вовсе не бросилась в море, это чушь, никто не бросается в море; она только сочинила песню о том, что бросилась в море. Бог с тобой, маленькая Эстер! Она просто сидела на берегу и сочиняла об этом песню, а потом спокойно пошла домой. Да. А вы, любезный доктор, вы хотели, чтобы я рассказывал вашим мальчикам истории о Южной Америке и Латвии, но я не хочу больше выдумывать и преувеличивать...

Нет, Август отнюдь был не старый, не дряхлый, иначе он не стал бы пересматривать вечер, не думал бы о нем. А он мог не только это. Был ли он знаком с дочерью Тобиаса из Южной деревни? Да. Коротко и ясно: знаком. Но это никого не касается. Он повстречался с ней на улице, она поглядела на него жалобно и смиренно, у нее были такие просящие глаза. Почему она так поглядела на него, и почему он остановился и заговорил с нею? Верно, она слыхала, что он подарил шикарную материю на платье Вальборг из Эйры; а Август ничего не имел против того, чтобы прослыть богачом.

— Ты говоришь — лошадь? Что ж, этой беде можно помочь.

На самом деле, пока он стоял и говорил с ней на улице, он испытал к ней сладкую жалость,— да простит ему бог этот грех, если это грех! Он спросил, где она живет, и узнал. Он спросил:

— Как зовут тебя по имени?

— Корнелия.

Он записал это имя, записал, чтобы порисоваться. Август знал, чем произвести впечатление: дома она скажет: «Он вынул книжку из кармана и записал мое имя!»

К концу лета вышло все-таки так, что Тобиас получил страховку. Все, кто только мог, помогли ему: жена Тобиаса показала, что он вовсе не зевал во сне, наоборот, он кричал, испустил небольшой вопль во сне, а это нечто совсем другое. Нет, ему не поставили в вину пожара. И соседи и знающие плотники уже построили ему сруб; новый дом тоже получился небольшой, но все-таки вышли горница, кухня и две спальни, как и в старой лачуге,— а этого достаточно, большего и не требовалось. Было не так уж много домов с двумя спальнями.

Как прежде было у Тобиаса, так осталось и теперь: в одной каморке спали старики, а в другой — Корнелия и маленькие сестры. Но когда приезжали гости или бывали ночевщики, Корнелия с сестрами уступали им спальню, а сами устраивались каждая в своем углу в горнице. Это бывали или странствующие офени, или проповедники, или изредка какой-нибудь бедный турист либо пешеход; все они заходили к Тобиасу и находили у него ночлег. Как раз теперь первым ночевщиком в новой спальне был евангелист.

Это был благообразный, еще не старый человек с бородкой, как у Иисуса, и с фанатическими глазами. Он продавал или раздавал божественное писание и устраивал благочестивые собрания в соседних избах. Через неделю его кипучей деятельности в деревне воцарились богобоязненность и набожность. Так как избы не могли больше вмещать всех желающих, он пошел к священнику и получил во временное пользование школьное здание. Дело развернулось, на собрания стали приходить даже из города, и никто не жалел о часах, потраченных на молитву.

Станный был этот евангелист. Люди не находили, чтобы была какая-нибудь разница между его толкованием Библии и толкованием других проповедников, и все же у него это выходило по-другому: после окончания проповеди и молитвы он вел их к Сегельфосскому водопаду и там крестил. По его разумению, это был единственный выход из положения, ибо они погрязли в грехе, а он хотел дать им возможность спастись. Правда, они были крещены прежде, но разве в текучей воде? И разве купель — то же, что река Иордан? Вовсе нет, дорогие мои.

Проповедник с горящими глазами был здорово натаскан в писании, это был, так сказать, черт знает что за евангелист, он умел постоять за себя и даже на священника

не произвел плохого впечатления. Но священник Оле Ландсен был не из строптивых, он ни к кому не придирался. «Сегельфосские известия» запросили его, не могут ли эти собрания в школьном здании и вторичное крещение наделать вреда, но священник ответил, что этот вопрос нельзя разрешить иначе, как юридическим путем. Люди, посещавшие собрания и крестившиеся вторично, могли бы употребить это время на что-нибудь гораздо худшее. Может статься, что некоторым это шло на пользу,— что мы знаем? Эти люди нащупывали свой путь, так же как и мы это делаем. Никто ничего не знает, все только предполагают. Так высказался священник Оле Ландсен.

И здание школы наполняли главным образом женщины и дети, но являлись и мужчины. Непременно приходила Монс-Карина, которая и тут жевала табак, плевала на пол и растирала плевков ногой. Приходила Вальборг из Эйры; на ней было, пожалуй, слишком нарядное платье из зеленой с красным материи. Корнелия из Южной деревни приходила с матерью и братом, которого звали Маттис. Немного погодя появлялся также и Карел из Рутена и его жена Гина с малышами. Умение Карела играть на скрипке было очень кстати во время пения, но Гина своим прекрасным голосом заглушала всех. Изредка на собрание приходил какой-нибудь солдат из Армии спасения, а иногда даже и кое-кто из Августовых рабочих.

Переполненная комната, слезы и волнение,— против этого не пойдешь! Только окружной врач ворчал — крещение в водопаде дикая выдумка: от такого крещения пойдет простуда, может сделаться воспаление в легких, катар мочевого пузыря, во всяком случае верный ревматизм, искривятся суставы, распухнут пальцы. Так высказался окружной врач. Но в религиозных вопросах доктор Лунд ничего не смыслил.

Август беспокоится. Он ждет деньги из Полена, и ничего не может предпринять; приходится довольствоваться ежедневным надзором за постройкой дороги. В качестве правой руки самого Гордона Тидемана он не может поддерживать знакомство с кем попало, и по воскресеньям, разрядившись, он принужден в одиночестве отправляться на прогулку по окрестностям, помахивая тросточкой и рассуждая сам с собой.

Август пошел по направлению к новому дому Тобиаса. Корнелии не было, никого не было, дом пуст. Единственным живым существом оказалась стреноженная лошадь, которая паслась неподалеку. Август осмотрел дом и обошел

его со всех сторон. В качестве застройщика в прежние годы он еще интересовался строительством. Но здесь нечему было выучиться. Голые стены с мохом между бревнами, пристроенные сени, торфяная крыша. Никаких цветных стекол в двери.

Август поплелся к лошади. Этот свой подарок он еще не видал, а так как в тот же момент он заметил женщину, которая из соседнего дома шла прямо к нему, то постарался изобразить из себя основательного человека и знатока. Он хотел поднять переднюю ногу лошади, но она прижала уши и повернулась к нему задом.

Подошла Осе, высокая и своеобразная, одетая в лопарскую кофту и кумачи\*, с остроконечной шапкой на голове, с платком на шее и множеством побрякушек, свешивающихся с пояса. Он не взглянул на нее.

— Ты боишься лошади? — спросила Осе.

Он только поглядел на нее и ничего не ответил.

— Я вижу, что ты боишься.

— Бояться не боюсь, но я просто хотел поглядеть копыто.

— А что с копытом? — И она, не долго думая, подняла ногу лошади.

Август немного растерялся.

— Эта новая лошадь Тобиаса просто дрянь, — сказала Осе. — Прежние хозяева расстались с ней, потому что она брыкается. Хочешь поглядеть остальные копыта?

— Нет. Но на кой черт ты ввязалась в это дело?

— А ты чего здесь шляешься? Из-за лошади или еще из-за чего другого?

Чертова баба! Долго ли еще будет она приставать к нему?

— Ступай к своим ровням и ругайся с ними, — сказал он.

Они вместе подошли к дому, и Август убедился, что никого внутри не было. Но Осе не обратила на это внимания и вошла в дом. Выходя из него, она плюнула. «Вот ты каковская!» — подумал он, по всей вероятности, во всяком случае он перекрестился. Ему стало страшно, и он перекрестился еще раз, перекрестил себе лоб и грудь. Осе не обращала на него внимания, она уселась на пороге и стала набивать трубку.

— У меня есть одна вещичка, — сказал он и показал ей что-то. — Хочешь, я дам ее тебе?

---

\* Кумачи — лопарская обувь. (Прим. перев.)



— Денежка? С ушком?

— Я сам припаял к ней ушко, ее можно носить. Видала ли ты когда-нибудь такую прежде?

— У меня их много.

— Она святая,— сказал Август.— Освящена в России святой водой. Хочешь — возьми!

Она надела ее на цепь, присоединила ко всем остальным своим украшениям и испытующе поглядела на него. Теперь и Осе не захотела оставаться в долгу, неожиданно она вывернула свою шапку наизнанку и надела ее на голову подкладкой наружу.

— Покажи мне руку! — сказала она.— Нет, не эту, а ту, которой дал мне монету! — Она исследовала руку с обеих сторон, три раза подняла и опустила ее и кивнула головой.— Ты дитя, рожденное в пятницу,— сказала она,— одна дрянь и больше ничего.

Он отдернул руку и перекрестился ею. Оба были совершенно серьезны.

Когда она встала и пошла, он закричал ей вслед:

— Эй, у тебя шапка наизнанку!

— Да, так я должна сделать семь шагов,— она остановилась, поправила шапку и ушла совсем.

Время приближалось к обеду, он направился домой, помахивая тростью и что-то бормоча. Он мог бы спросить ее, что она увидела на его руке; Осе могла растолковать ему его судьбу, что с ним будет, когда придут деньги. Ерунда! Вряд ли она знала больше него. Но она плюнула, когда вышла из дому.

По дороге ему пришлось идти вместе с людьми, возвращавшимися с крещения в Сегельфосском водопаде. Один из мелочных торговцев в городе, которого Август знал по карточному столу, весело рассказывал об этом священнодействии:

— Монс-Карина вошла в воду с табаком во рту и не могла удержаться, чтобы не плюнуть,— ха-ха-ха! — плюнула в крестильную воду. Ее чуть было не отослали обратно. Но креститель смилостивился, велел ей только встать на несколько шагов выше по течению и окрестил ее. Вот был пассаж!

— Придешь сегодня после обеда сразиться в карты? — спросил Август.

— Нет,— сказал торговец.

— Как — нет?

— Сегодня я не беру карт в руки.

— Поступай, как знаешь! — обиженно проворчал Август.

Но Август все еще не узнал того, что хотел знать, и, спустя некоторое время, он спросил прямо:

— А крестился ли кто-нибудь у Тобиаса из Южной деревни?

— У Тобиаса? Нет, никто.

— Я так полагал, раз проповедник остановился там. Одна цыганка плюнула сегодня у него на пороге, поэтому, пожалуй, было бы недурно, если б он окрестился.

— Верно, это была Осе, эта троллиха. Она шныряет повсюду и плюется у дверей, накликавая несчастье.

Август спросил:

— И Корнелия тоже не крестилась?

— Нет. Нас было всего четверо.

Август остановился и воскликнул:

— И ты тоже?

Торговец кивнул головой:

— Ну, само собой разумеется!

— Ну, зачем же, черт возьми, зачем ты это сделал?

— Зачем крестится человек? Ты спрашиваешь, как дурак.

Август злобно передразнил его:

— Ты как свинья обращаешься со святыней. Разве ты не был прежде крещен во имя святой троицы? Нет, это безобразие какое-то!

Торговец стал извиняться:

— Положение мое было затруднительно, скажу тебе по правде. И Карел из Рутена, и жена его крестилась; а Карел этот постоянно покупает у меня то то, то другое.

Август покачал головой:

— Вы все словно дикари, полные суеверия и идолопоклонства. И к чему только этот проповедник и делатель новых ангелов ночует вместе с совершенно невинной девушкой? Мне бы следовало донести на него моему шефу.

— Этого ты не должен делать, — сказал торговец. — Проповедник уезжает, я был последний, которого он крестил, во всяком случае на этот раз...

Так в тот вечер карточная игра и не могла состояться: торговец крестился и раскаялся, а Стеффен, дворový работник, ушел на деревню к своей любезной. Даже цыган Александр и тот куда-то пропал.

Оставалось только поесть, поспать после обеда, поспло-няться немного и опять испытывать беспокойство и ждать деньги. Отчего, черт возьми, они не приходили? В чем дело? Одно хорошо, что проповедник уехал.

К вечеру он дошел до самой пристани и увидел там двух мальчиков, бросавших камни в яхту «Сориа»; слышно было, как камни попадали в цель и звенели стекла. Мальчики быстро убежали, но Август все-таки успел заметить их: это были сыновья доктора, два сорванца, вечно придумывавшие всевозможные проказы. Может быть, в каюте был кто-нибудь, кого им хотелось подразнить.

И все-таки игра в карты состоялась в тот же вечер. Во-первых, пришел Йёрн Матильдесен, получил крону и стал на часы. Торговец передумал и тоже явился.

— Ты зачем здесь? — спросил Август.

Тот отвечал:

— А разве ты не приглашал играть в карты?

— Но ведь ты же крестился сегодня! Ну, разве ты не свинья. Это после святого крещения-то!

— Но не можем же мы все быть Иисусами.

Дворовый работник Стеффен прервал свои любовные похождения и прибежал, словно испугался пропустить что-то важное; вместе с ним пришел и юноша, торговавший всяким скарбом на пристани, сущий черт в игре. Один только цыган отсутствовал.

Юноша в первый раз участвовал в игре, но он быстро набил карман мелочью других игроков.

— Никогда не видал ничего подобного! — сказал торговец и проиграл.

Августу пришлось еще хуже: он должен был вынуть свои последние ассигнации. Это был остаток, а на что ему остаток? Он играл горячо и бестолково.

Игра продолжалась за полночь. Юноша и Стеффен выиграли. Они дочиста обыграли своих партнеров и были в великолепном настроении. Ждать им больше было нечего, они встали, отыскивали свои шапки и, насвистывая и поддразнивая других, удалились.

Торговец был в бешенстве, он сердился на всех на свете и спросил Августа, отчего он не крестился. Он был просто взбешен и бледен от злости.

— Не плачь! — сказал Август и стал смеяться над ним.

— Мне бы следовало послушаться жены и не ходить сюда, — сказал торговец. — Теперь я гол, как сокол.

— У тебя осталось еще обручальное кольцо.

— Что?! — закричал торговец.

— Поставь его на карту.

— Вот безбожник! У тебя-то нет ни одного эре, чтобы поставить против меня.

— Я ставлю библию,— сказал Август.

— Библию! — воскликнул торговец. — Но ведь это грех!

Август смешал карты и сказал:

— Три раза по пяти раз.

Торговец выиграл в первый раз.

Август снял библию с полки и положил ее на стол. На что она ему? Ее так тяжело было носить с собой по стольким странам. Старая русская библия!

— Положи кольцо! — скомандовал он.

Человек с трудом стащил кольцо с пальца и положил его поверх библии.

Теперь Август выиграл. Оба в одинаковом положении. Следующую игру выиграл опять Август. Торговец дрожал теперь, но так как и он тоже выиграл во второй раз, то надежда опять вернулась к нему. Опять оба очутились в одинаковом положении.

Август сдал последнюю игру!

— Пересдай! — сказал торговец.

Август отказался.

Тогда торговец уронил одну карту на пол и стал пересчитывать оставшиеся.

— У меня только четыре карты,— сказал он.— Пересдай.

Август великодушно пересдал и сказал:

— Ты начинаешь.

Август проиграл. И невозможно было не проиграть с такими плохими картами. Ну что ж, старую библию было так тяжело таскать по стольким странам. Торговец тяжело дышал после испытанного им страха и волнения, он опять надел на палец кольцо, взял библию под мышку и ушел...

Так состоялась в тот вечер игра в карты.

Прежде чем Август успел лечь в постель, пришла Старая Мать. С румянцем на лице она выглядела молодой и красивой.

— На-все-руки! — сказала она,— я видела тебя в сумерках на пристани. Кто-то бросал камни в яхту.

— Вот как! — воскликнул Август из осторожности, из страха не сказать что-нибудь лишнее.

— Да. А я как раз была на борту яхты, но бросали камни, и было невыносимо. Будь добр, вставь новые стекла в иллюминатор.

— Слушаю!

— Завтра пораньше, прежде чем уйдешь на дорогу.

— Хорошо.

— Спасибо, На-все-руки! С тобой так приятно иметь дело,— сказала Старая Мать и удалилась.

Был уже час ночи. Вдруг появился цыган. Он был совершенно пьян, но держался отлично. По его словам, он все воскресенье провел в горах, где искал сладкий корешок.

## ГЛАВА VIII

---

Август встал на другой день в шесть часов утра. Он понял, что Старой Матери было очень важно, чтобы иллюминатор был починен раньше, чем встанет Гордон Тидеман.

Август не мог достать стекол и замазки до восьми часов, пока приказчики не откроют лавку, но решил осмотреть яхту, удалить старую замазку и все приготовить.

На пристани он столкнулся с Адольфом, рабочим с пристани. Август нашел это странным, но Адольф пожелал своему старосте доброго утра, глядя ему прямо в глаза.

— Как?! Это ты, Адольф?

— Да, я как раз собирался домой.

— Что ты тут делаешь?

— Ничего. Я просто пришел сюда.

— Почему ты не спишь?

— Я спал весь день вчера. Мы все спали целый день.

— Ты, верно, поссорился со своим товарищем по углу,— ведь так? — сказал Август.

— Нет. Но он говорит такие гадости!

— Не стоит обращать на это внимание. Ты ведь знаешь, какой он, этот Франсис.

— Да.

— Впрочем, это очень удачно, что я тебя встретил. Твоя артель должна приступить к новому участку. Кое-какие вежи стоят криво, ты их исправь. Я не могу прийти сразу, у меня тут дело.

Адольф на это кивнул головой и сказал:

— Нет, конечно, на это не стоит обращать внимание. Но он не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Просто стыдно слушать.

— Ерунда! Но что же именно он говорит?

Адольф на вопрос не ответил.

— Это началось с тех пор, как она перевязала мне палец, который я повредил тогда.

Август слышал об этом: сестра шефа, Марна, была как раз на дороге, когда Адольф поранил себе палец; она оторвала полоску от носового платка и перевязала Адольфу ранку. Вот и все. Очень может быть, что фрекен Марна не сделала бы этого для первого попавшегося, но Адольф был молод, имел приятную наружность, и он нравился ей. В этом не было ничего предосудительного. Но всю историю раздули, и под конец товарищи так задразнили обидчивого Адольфа, что тот бросил и постель и кров.

— Ты бы поговорил с ним,— сказал Адольф.

— Все это ерунда. Что же плохого он говорит?

— Всякие непристойности.

— Ступай домой и поспи еще с часочек,— сказал Август.

Он взошел на яхту, счистил старую замазку, вымел пол, убрал кое-что, свернул кольцами трос и повесил его на место: старый юнга знал все порядки на судне. В этот ранний час многое вспомнилось ему; опять под его ногами была палуба судна, ему было приятно, он окинул взором рей, по старой привычке поглядел, какая будет погода. Ступая по лестнице, он с удовольствием прислушивался к знакомому отзвуку своих шагов на пустом судне. Вот добряк шкипер Ольсен умел смывать трюм, ему бы следовало вымыть и этот трюм, который был очень плохо вычищен после ловли сельди. Но шкипер Ольсен нигде больше не показывался, он жил где-то далеко на суше, и внимание его поглощали теперь небольшое хозяйство и двор.

Август сошел в каюту и стал подбирать осколки стекол. Эти чертенята, дети доктора, весь пол усеяли стеклом; осколки попали и на стол, и на койку, ему пришлось встряхнуть постельное белье. На пол упали две шпильки, дамский пояс и еще одна белоснежная штучка,— резинка, что поддерживает чулок. «Кто-то забыл их,— подумал он.— Видно, она слишком спешила!» Он сделал маленький узелок из вещей, вышел на палубу и бросил узелок в море.

Уладив все на борту, он поспешил на дорогу, но все-таки опоздал: навстречу ему ехал Гордон Тидеман. Пренеприятная неудача: шеф не дал ему проскочить мимо.

Но впрочем, опасность быстро миновала: шеф был с ним любезен, как всегда.

— Вот что я хотел сказать тебе, На-все-руки,— смотри, чтобы дорога была широкой!

— Она будет широкой, об этом не беспокойтесь.

— Да, но я покупаю автомобиль, а будет ли дорога достаточно широка для автомобиля?

— Каких размеров автомобиль?

— Обыкновенный пятиместный.

Август невольно схватился за свой складной метр, но не успел раскрыть его и стал высчитывать в уме: «Один метр восемьдесят сантиметров, прибавка для крыльев — пятьдесят сантиметров».

— Хватит вполне! — заключил он.

— Спасибо, вот все, что я хотел знать, — сказал шеф и пошел дальше.

«Чертовски ловкая личность, этот На-все-руки! — подумал, вероятно, Гордон Тидеман. — Хорошо иметь такого человека, есть с кем посоветоваться относительно всяких дел на суше и на море».

Гордон Тидеман был на ногах ранее обыкновенного, — не то чтобы он серьезно беспокоился о чем-нибудь, но он был взбудоражен: у него в голове возник грандиозный план — учредить консульство в Сегельфоссе, первое в этих местах, может быть, даже единственное, — британское. Он работал над этим втихомолку, и ему помогали знатные особы, даже его знакомые в Англии действовали с ним заодно. Он был уверен в исходе дела. Но в последнее время его одолевало нетерпение, он торопился в контору за почтой. План его нигде не встретил препятствий: польза была очевидная, нужный момент наступил, и у него не было конкурентов, — только по всем инстанциям тянулась обычная канитель.

Он вошел в контору через особую дверь, которую велел пробить, чтобы не ходить через лавку. Занавески были уже подняты, почта лежала на конторке. Он дал себе время скинуть только правую перчатку и с жадностью накинулся на почту.

— Да, вот оно — письмо!

Он вскрыл его ножом, так как был во всем аккуратен, но рука его дрожала, и темные глаза стали острыми, как гвозди.

Он перечел письмо еще раз, не нашел ни одной ошибки, посмотрел — от которого числа, разглядел странные подписи. Потом снял пальто и другую перчатку, взгромоздился на высокий табурет и прочел все документы от начала до конца. Он был занят этим довольно долго; до остальной почты он не дотронулся.

Потом он начал ходить взад и вперед по комнате, и народ в лавочке догадался, что происходит что-то серьезное. И в этом они не ошиблись. Он думал о впечатлении,

которое произведет его назначение: немедленно нужно приобрести автомобиль, нельзя терять ни одного дня, а На-все-руки пусть переделает конюшню и каретный сарай в гараж. Нужно купить английский флаг, он должен заказать себе мундир. Пожалуй, и в делах произойдет подъем. Может быть ему следует назначить коммивояжера на линию Хельгеланд—Троньем. На его карточке будет значиться: «Поверенный в делах консула Гордона Тидемана, Сегельфосс...»

Он позвонил старшему приказчику в лавке, пригласил его к себе, ответил на его поклон и сказал:

— Возле самых дверей моей конторы появились какие-то ужасные вывески и плакаты, уберите их.

— Слушаюсь.

— Все рекламы маргарина.

— Слушаюсь.

— И все табачные вывески, и консервные. Уберите все.

— Слушаюсь.

— Больше ничего.

Нечего сказать, красивое получилось бы зрелище, если б британский консульский герб повесили рядом с изображением сардиночных коробок!

Он бросил взгляд на остальную почту, вскрыл несколько писем, счетов, таможенных извещений. Местное письмо, без всякого сомнения, заключает в себе просьбу; он получает много таких писем, по большей части из соседних деревень,— это неизбежно для человека в его положении.

Он вскрыл и просительное письмо. Лист линованной бумаги, заковыристый почерк, преднамеренно неуклюжий стиль, но вполне ясное содержание: ему не следует забывать о необходимости приглядывать за известными ему лицами и за яхтой «Сориа». «Так, сегодняшнюю ночь там в каюте происходила попойка и всякие мерзости, продолжавшиеся далеко за полночь, что, впрочем, имеет место в течение многих ночей. Есть старинная пословица: от черта беги, а цыгана бойся; но дама отнюдь не боится его. Я пишу это в качестве вашего друга на вечные времена, но если у вас его цыганские глаза, то мой совет — тотчас же прогоните его со двора, следуя старинной пословице, и после этого все будет забыто. С почтением д о б р о ж е л а т е л ь».

Он не стал кричать и не заскрежетал зубами, он только взял письмо и сунул его в печку. Так-то лучше. Гордону Тидеману было кое-что известно о сплетнях про его мать, подростком он часто слышал двусмысленные намеки о своем происхождении, но позднее, когда он стал уже



взрослым, никто не смел держать себя непочтительно с молодым барином. Это письмо не имело значения, оно было ни от кого, и консула оно не могло беспокоить.

Ему в то же время пришло в голову, что на дворе лето и в печке нет жара; он пошел и поджог письмо. И весь сор, который был в печке, сгорел вместе с письмом.

Так-то лучше.

Он некоторое время поработал над книгами, привел в порядок почту, кое-что переписал, но в общем он был слишком занят утренним известием, чтобы быть прилежным. Завтра тоже будет день, он сделает исключение на сегодня и пораньше закроет контору. Юлии, его матери и сестре будет приятно услышать новость.

Он отдал приказание опять запрячь лошадь, и когда вышел, то увидел, что старший приказчик, стоя на стремянке, снимает рекламы со стены конторы. Обычно шеф не говорил ни одного лишнего слова со своими подчиненными, теперь же он взглянул на приказчика и одобрил его:

— Да, так гораздо лучше.

Дома все онемели от удивления, когда он положил на стол документы с радостным известием. Ну и молодчага! И как это он ухитрился сделать консулом, ни разу не проронив ни одного слова об этом, и к тому же — британским консулом!

— Мы стали теперь матерью, женой и сестрой важного человека. Подойдите-ка, крошки, взгляните на вашего отца!

— Нет, детки, подождите! Вот когда я надену мундир...

— Боже мой!

Решено было на обед подать лососину и по стаканчику вина, а к кофе по рюмке ликера.

— Это самое меньшее, чем мы можем почтить тебя.

За столом все снова и снова поднимался вопрос: какова же его задача?

— Представлять Британское королевство в Сегельфоссе, приходить на помощь англичанам, потерпевшим крушение, например загнанным бурей из Атлантического океана. Тебе придется танцевать со штурманом, Марна.

— Ха-ха-ха! — смеялась Марна.

— А ты ничего не будешь получать за это? — спросила мать, эта умная и рассудительная жена Теодора Из-лавки.

— Ничего, кроме чести, — ответил он несколько сухо.

Но тут же взглянул на мать и раскаялся. Его мать была так хороша и умна, она от всего сердца желала ему добра и была моложе их всех.

— Но косвенным путем это может принести мне пользу,— сказал он.— Я думаю, что это расширит мою клиентуру, что я смогу посылать коммивояжера также вдоль южного побережья. Это вполне возможно. За твоё здоровье, мама!

— А я напишу Лилиан,— сказала Марна,— и подразню, что её муж не стал консулом! (Лилиан была её сестра, вышедшая замуж за Ромео Кноффа.)

— Ну и ты хороша! — сказал брат.— А твой-то муж кто?

Марна замахнулась на него салфеткой и попросила его помолчать.

— Что?! Ты велишь консулу молчать?

— Ха-ха-ха!

— За твоё здоровье, Юлия,— и он поклонился.— Я бы желал сделать тебя графиней!

— А я ничем не могу отплатить тебе,— сказала фру Юлия, и глаза её наполнились слезами.

Ах, эта любезная Юлия, она была уже на сносях, легко расстраивалась, и ему часто приходилось утешать её.

Он отвечал:

— Юлия, ты дала мне во много раз больше, чем я ждал. И твоё доброту неистощима, в этом нет тебе равной. Улыбнись, Юлия! Есть чему улыбнуться!

И все пили за её здоровье.

За кофе зазвонил телефон, и Старая Мать вышла. Она тотчас вернулась обратно и сказала:

— Это звонили из «Сегельфосских известий» и спрашивали, правда ли, что Гордон Тидеман стал консулом?

Юлия и Марна всплеснули руками:

— Да что ты говоришь?! Неужели?

— Да, это было напечатано в утренних газетах в Осло, и Давидсен получил телеграмму.

— Вот чудо-то! И что же ты ответила?

— Я ответила, что это так,— сказала Старая Мать.

Молчание.

— Да что же ещё могла ты сказать!

В течение дня многие ещё телефонировали и поздравляли. Начальник телеграфа, который раньше всех в Сегельфоссе узнал эту новость, был настолько осторожен, что сказал:

— Я шел мимо «Сегельфосских известий» и увидел сообщение, выставленное в окне.

Позвонил окружной судья, затем доктор. Действительно, это был великий день: телефон работал не переставая.

Аптекарь Хольм вызвал по телефону фрекен Марну и поздравил весь дом. Одна из его неожиданных выходов. Потом он добавил:

— Я не хочу, чтобы господин консул беспокоился из-за меня. Но вы, фрекен Марна, молоды и достаточно красивы, чтобы простить меня.

Она остолбенела. Он называл ее «фрекен Марна», хотя она почти никогда не встречалась с ним.

— Хорошо, я передам ваш привет,— сказала она.

— Благодарю вас! — ответил он.— Это все, о чем я смею умолять вас в данное время.

Аптекарь Хольм был чудак.

## ГЛАВА IX

---

Хольм был, впрочем, не только чудак, он был разносторонний человек. Веселый и задорный, несколько небрежный в одежде,— в одном башмаке толстый шнурок, в другом тонкий, шляпу носил годами. Внутренне сильный и добродушный, целое море всевозможных причуд, впрочем, порою он раскаивался в дурных поступках, которые совершал.

Он мог висеть на трапедии, управлять лодкой и вместе с тем отлично лазил по горам, и в таких случаях не остерегался и не щадил своих сил. К тому же он любил делать длинные прогулки по окрестностям, верно, чтобы размять кости, или просто от скуки; он близко сходил с людьми и любил слушать их рассказы. Так, например, о человеке, который съехал в Сегельфосский водопад, да так там и остался. Это было весной. И человек, и лошадь свалились в водопад, но, спрашивается, зачем ехал он так близко к краю на молодой лошади? Никто не может этого понять, и ленсман говорит, что это темная история.

— По-моему,— говорит рассказчик,— было бы еще понятно, если б он ехал на саних, но у него была тележка; вероятно, когда он стал сворачивать на крутом подъеме, задние колеса соскользнули и потащили за собой лошадь. Так я думаю. Но, впрочем, многое остается неясным в этом деле, говорят, что у него недавно была Осе и плевала на пороге. Можно было бы Осе вызвать в суд и допросить, но ленсман не захотел иметь с ней дело. Видно, тут ничем не поможешь. А семья осталась. И как они беспросветно бедны, жена и четверо детей! А кормилец и лошадь

пропали. Теперь двое старших ходят и нищенствуют сами по себе, а мать с младшими — сама по себе. Вы бы, пожалуй, могли им помочь, аптекарь!

— Конечно, конечно, — говорит Хольм. — Если б я только... Ах, это ужасно!

— Может быть, вы бы поговорили с кем-нибудь?

— А как звали этого человека?

— Да, видите ли, это все равно что произнести хулу — назвать его.

— Как так?

— Потому что нет такого человеческого имени.

— Да как же его звали?

— И не говорите!.. Солмунд!

Ему очень бы хотелось помочь как-нибудь сиротам Солмунда, но что мог сделать аптекарь в Сегельфоссе? Разве только совершать прогулки, встречаться с людьми, слушать их рассказы и опять возвращаться домой. Что он представлял собой? Ничего. Он мог раскладывать пасьянс, читать книгу.

Но, впрочем, он умел играть на гитаре, — и мастерски! Жена почтмейстера, которая знала в этом толк, уверяла, что она никогда не слыхала такой игры. И он пел при этом, правда, тихо и несмело, как бы стыдясь, но все же без срывов и музыкально. Впрочем, и почтмейстерша тоже не могла петь, но это не мешало им музицировать и находить в этом усладу: она играла на рояле Моцарта, Гайдна, Бетховена, он на гитаре — песни, баллады, — одним словом, музыка и искусство даже на жалкой гитаре.

У него была привычка кокетничать своим пристрастием к вину: Хольм уверял, что он никогда не осмелится играть перед почтмейстершей, кроме как в состоянии, которое она должна извинить ему. Это было своего рода хвастовство, застенчивость, может быть, желание подчеркнуть, что он не буржуа. Он любил общество почтмейстерши: она долго жила среди художников и с ним хорошо ладила, они играли, говорили и смеялись, Хольм был на редкость занимателен. Он был пьян вовсе не всегда, скорее — редко, и если он иногда и приходил к ней, забежав перед тем к своему земляку Вендту в гостиницу, то не становился от этого менее красноречив или находчив, — наоборот. Впрочем, и фру не отставала, отнюдь нет, эта маленькая хорошенькая дама, гибкая, как ивовая ветвь. Они могли вести самый невероятный разговор, увлекаться флиртом, до того своеобразным, так долго играть с огнем, что, бог знает, пожалуй, мог бы возникнуть и пожар.

— Пожалуй, не без того, что я люблю вас,— говорил он,— но ведь вы же не захлопнете перед моим носом дверь по этой причине?

— Мне и в голову не придет,— отвечала она.

— Да, потому что я ничтожество. И ведь моя наружность вас не соблазняет?

— О, нет! По-моему, мой муж красивее.

— Да, но он никуда не годится,— говорит Хольм, качая головой.

— Он любит меня.

— Да, я вас тоже люблю. Я подумываю, не начать ли мне делать пробор на затылке.

— Ну, нет! Нет, в таком случае я вас предпочту таким, каков вы теперь.

— Неужели?

— Потому что нельзя сказать, чтоб вы были некрасивы.

— Некрасив? Я просто-напросто был бы красив, если б не мой уродливый нос.

— Представьте себе, а я нахожу, что нос у вас большой и красивый.

— Вот как! А знаете ли вы, о чем я думаю? Я думаю, что мы услышим отсюда, когда муж ваш начнет подниматься по лестнице.

— Ну и...

— Ну, и что я успею вас поцеловать задолго до того.

— Нет,— говорит фру: она несогласна.

— Но это почти неизбежно,— бормочет он.

— Что бы я ему сказала, если б он застал нас?

— Вы бы сказали, что читали книгу.

— Ха-ха-ха! Какая дерзость!

— Я бы поцеловал вас осторожно, как будто это запрещено.

— Это так и есть. Я ведь замужняя женщина.

— Я этого не думаю. Вы молодая, очаровательная девушка, и я воспылал к вам любовью.

Фру говорит:

— Трудно заметить в вас эту любовь, в особенности, когда я знаю наверное, что ее нет.

Хольм. И это после всего, что я сказал вам?!

— Сказал? Ничего не было сказано.

— Да вы с ума сошли! Правда, я не сказал, что умру на вашей могиле, но об этом вы и сами могли догадаться.

— Давайте поиграем еще немного,— говорит фру.

— Ни за что! Теперь я возьму вас! — говорит Хольм и встает.

Но фру уклоняется от него, мягко отступая, и ловко занимает позицию у окна, где и стоит в полной безопасности в ярком свете с улицы.

— Пойдите-ка сюда, поглядите! — говорит она.

Немецкие музыканты, появляющиеся здесь каждый год, прибыли с Севера на местном пароходе и сошли на сушу на пристани Сегельфосса. Дела их устроятся; они обычно устраиваются, их приветливо принимают и кормят во всех домах, они всюду желанные гости. И первым делом они, конечно, идут в сегельфосскую усадьбу, где становятся перед входом в кухню и от начала до конца играют свой репертуар. Они делают это не напрасно: при первом звуке рожка в окнах показываются лица, к стеклам прижимаются детские носы, прекрасная Марна распахивает окно и садится на подоконник, чтобы насладиться вполне.

Но фру Юлия держится в тени и готова расплакаться: такое это на нее производит впечатление,— бедная, достойная всякой любви фру Юлия, ее так легко растрогать. Зато внизу, в кухне, девушки каждый раз, когда движутся от стола к плите и от плиты к раковине, ступают в такт вальса, и даже Старая Мать — и та покачивается под музыку, несмотря на то, что у нее на руках внучек.

А когда музыканты кончают играть, то старший мальчик выносит конверт с деньгами, даже с бумажными ассигнациями,— да, в Сегельфоссе люди не мелочны. Но если бы сам Гордон Тидеман был дома, то он округлил бы сумму, прибавил бы, и прибавил бы значительно. В этом отношении он был молодчина.

Вот музыканты раскланиваются, снимают шляпы и опять кланяются, сперва мальчику, маленькому господину, а потом людям в окнах наверху и внизу, и молодой черноволосый трубач посылает воздушный поцелуй прекрасной Марне, но она даже не улыбается в ответ, это невозмутимое создание. Ей нужно бешеного любовника, который смог бы расшевелить ее.

Потом музыканты идут дальше в город и следующую остановку делают перед домом почтмейстера. Здесь они привыкли разговаривать по-немецки с госпожой, здесь им в шляпу жоака бросают две-три кроны, завернутые в бумажку.

Целая ватага ребят и молодых людей следует за ними хвостом,— ведь это же настоящее переживание: труба, две скрипки и гармоника, четыре музыканта,— настоящая сказка.

Они играют, а жена почтмейстера и аптекарь Хольм стоят и слушают.

— Нет ли у вас кроны? — спрашивает она. — У меня только одна.

— У меня две кроны, — отвечает он.

Она раскрывает окно, шляпы слетают с голов, приветствия, радость свидания:

— Guten Tag, meine Herren!

— Guten Tag, gnädige Frau!

— Как вы поздно на этот раз! — говорит она.

— Да, милостивая государыня, на целый месяц позднее обычного: задержались на родине. Но теперь мы поторопимся и надеемся добраться в Гаммерфест до «собачьих дней».

Фру намечает шляпу трубача и бросает деньги; хотя она и очень близорука, но попадает в цель, потому что трубач ведь заметил, что она избрала его, и чуть было не ткнулся носом в землю от старания помочь ей попасть. Вся банда смеется, и фру смеется.

— Danke schon, gnädige Frau, vielen Dank!

Но тут словно черт вселился в молодого трубача: он подходит к самому окну, глядит на фру и посылает воздушный поцелуй. Но расстояние так мало, что у нее впечатление, будто он поцеловал ее на самом деле.

— Счастливого пути на север! — говорит фру и отходит назад от окна, чтобы скрыть, что она так сильно покраснела.

— Ну, вот и все, — говорит она.

Но аптекарь Хольм заинтересовался теперь чем-то другим и не отвечает. Он заметил маленького мальчика и маленькую девочку, которые стоят поодаль от городских детей и держат друг друга за руки. Верно, они не привыкли к городу и боятся отпустить друг друга. У обоих под мышкой по узелку, оба уставились на музыкантов, разинув рот, и оба превратились в зрание.

Хольм обращается к фру с глубоким поклоном:

— Я должен покинуть вас, фру. Я совсем было забыл про свое дежурство. Сердце мое разрывается на части.

— Господь с вами, ступайте! — отвечает она. Она чрезвычайно хорошо умеет скрыть свое удивление перед его выходками.

— Благодарю вас за сегодняшний день, фру. Сердце мое рвется на части.

Он торопливо выбегает и подбирает обоих детей, которые ведут друг друга за руки.

— Как зовут твоего отца? — спрашивает он мальчика.

Это глупый вопрос, и мальчик удивленно глядит на него.

— Вы из Северной деревни?

— Что ты говоришь?

— Я спрашиваю, из Северной ли вы деревни?

— Да.

— Ты, верно, не знаешь, как зовут твоего отца?

— Отец умер,— говорит мальчик.

— Он утонул в Сегельфосском водопаде?

— Да,— отвечают оба ребенка.

— Пойдемте, я покормлю вас! — говорит Хольм.

Кто знает, найдется ли у него дома что-нибудь, годное для таких малышей; их нужно накормить как следует и дать также с собой что-нибудь в узелки.

Он повел их в гостиницу.

И тут Хольм, что называется, попал впросак. Последнее, что Хольм в тот день сказал детям, было:

— Приходите завтра опять.

Потому что они протянули ему свои крошечные жалкие ручки и поблагодарили за еду, ручки были на ощупь словно птичьи лапки, и против них невозможно было устоять.

Ну, и конечно, на следующий день дети пришли в гостиницу спозаранку и после этого стали приходить каждый день. Это было хорошо, Хольм и не подумал избавиться от этого. Но потом пришла также их мать, и не одна, а с двумя младшими, всего их стало пятеро; а это все равно, что обзавестись семьей. Правда, мать пришла только с тем намерением, чтобы поблагодарить аптекаря, но разве он мог отпустить ее с двумя малютками, совсем не дав ей ничего поесть? У кого бы хватило на это духу? А на следующий день мать опять пришла в гостиницу в обеденное время: она потеряла платок,— сказала она,— и ей кажется, что она оставила его именно здесь. Да, ей было очень трудно с четырьмя малышами. Она стала приходить довольно-таки часто, и Хольм не мог ей отказать. Хозяин гостиницы спросил его, уж не намеревается ли он жениться на вдове.

Под конец ему пришлось обратиться к общественному призрению, словно он сам обзавелся когда-то этой семьей и теперь не мог ее прокормить. Это немного помогло: вдова с этого времени стала получать пособие, крайне скудное, конечно, мучительно недостаточное, но ей стали выдавать обеденные талоны, и детям не приходилось больше шататься по деревне.

Аптекарь Хольм облегченно вздохнул.



А музыка тем временем шла по городу. Вожаку все было знакомо: он бывал здесь из года в год; он останавливался перед гостиницей, перед аптекой, привел своих товарищей во двор окружного судьи и к священнику, а на обратном пути посетил доктора,— и везде его отлично приняли. Доктор Лунд сам стоял на лестнице, обняв свою жену за талию, и слушал; и мальчики тоже были случайно дома, а не заняты проказами; они сходили за своими накопленными деньгами, выпросили также денег у родителей и прислуги; получилось кое-что, и музыканты благодарили, как бы сраженные их великодушием. Музыкантам вынесли поднос с питьем и яствами, они еще поиграли и стали прощаться.

Прощались торжественно, не слишком быстро, но и не медленно, как подобает благовоспитанным людям, как в прежние годы. Но трубач опять выступил вперед. Парень этот понимал, что красиво. У него у самого были черные блестящие волосы и выразительные глаза. Но до чего же он был смел! Он поднялся по лестнице на две ступени, опустился на третьей на одно колено и поцеловал край платья Эстер. Какая необузданность! Это было нарушением дисциплины, в третий раз сегодня; вожак резко позвал его обратно, но он успел-таки выполнить задуманное, прежде чем вернулся к остальным. Вначале фру ничего не поняла, потом ее красивое лицо сильно покраснело, и она смущенно рассмеялась.

— Auf Wiedersehen! — закричал доктор им вслед и тоже засмеялся, может быть, несколько деланно.

— Вот сумасшедший-то! — сказала фру.— Его не было в прошлом году.

— Но может быть, он опять вернется,— сказал доктор. Фру поглядела на него.

— Я-то ведь тут ни при чем,— сказала она и вошла в дом.

Доктор последовал за ней.

— О чем ты говоришь? Ты думаешь, это меня затронуло? Ты с ума сошла!

— Тем лучше. Значит, все хорошо.

— Ты слишком много воображаешь о себе, дорогая Эстер.

Не сказав ни слова, она вышла из комнаты и поднялась по лестнице на самый чердак. Там у нее был темный угол, где она иногда сидела, отличный угол. Бедная Эстер из Полена, вовсе не так легко быть женой доктора! Легче было быть его кухаркой.

Черт бы побрал этого трубача! И надо было ему приехать из Германии, чтобы смущать людей в местечке Сегельфосс, в Норвегии. Вожак оркестра, кажется, не на шутку рассердился на трубача, и если бы он не был самым необходимым членом квартета, вероятно, его прогнали бы. Но труба, блестящая, удивительная труба со многими сгибами, ведь труба-то как раз и бросалась всем в глаза, и нужно было иметь дар от бога, чтобы извлекать из нее звук.

Мальчики доктора, которые пошли за музыкантами, попробовали дуть в трубу, но не могли извлечь из нее ни одного звука. Они рассердились и попробовали было опять подуть, но — ни звука! «Черт знает что за труба!» — сказали они и стали стараться изо всех сил, но все без толку. Труба словно онемела. Тогда один из них пальцем нажал клапан, и из трубы вырвался звук. Они обнаружили секрет. Это были самые озорные мальчишки в городе, но они не были глупы.

Уже на следующий день музыканты обошли весь Сегельфосс. В городе с прошлого года не произошло больших перемен; появилось, пожалуй, еще несколько ремесленников, например мясник и часовых дел мастер, который хотел попытать счастья на новом месте, но для этих людей не стоило играть. Поэтому музыканты обрадовались, когда узнали, что идущий на север грузовой пароход может за одну ночь довести их до следующей остановки Ленен.

Мальчики доктора убежали из дому и проводили их до самого парохода, хотя это и было среди ночи. А в «Сегельфосских известиях» поместили благосклонную заметку о немецких гостях-музыкантах: «Они, как перелетные птицы, посещают нас каждый год, останавливаются ненадолго и снова улетают, оставляя после себя сладкое воспоминание о радости, которая, увы, длилась слишком недолго. Добро пожаловать опять!»

## ГЛАВА X

---

Удивительно, что Сегельфосс не процветает, что торговля не развивается и люди не загибают деньги лопатами, что на улицах нет оживления. Поглядите, например, на Гордона Тидемана, консула: он как будто бы достаточно быстр и ловок и много у него всяких дел.

Он в банке и разговаривает с нотариусом и директором банка Петерсенем, с «Головою-трубой». Конто перегружено, правда совсем немного, так, ерунда.

— Но мне нужен кредит.

Голова-трубой с удовольствием предоставит ему кредит, с величайшим удовольствием. Потому что Голова-трубой знает, что у консула в крайнем случае останется земельная рента, даже если все остальное поколеблется. И к тому же у него по деревьям разбросано целое состояние, и Голова-трубой радуется, что он когда-нибудь приберет все это к рукам.

— Итак, предоставьте мне кредит, скажем, на десять тысяч. У меня много рабочих, и я жду автомобиль.

Голова-трубой записывает десять тысяч.

Это дело улажено.

Консул обращается к На-все-руки, и тот опять — весь жизнь, весь энергия. На-все-руки с головой ушел в работу, — он цементирует пол в гараже для автомобиля. Это до того к спеху, что ему пришлось передать надзор за дорогой Адольфу, потому что относительно автомобиля уже была послана телеграмма, и может быть, он уже в пути, — ну, как тут не торопиться? Ну, а дорога, по которой покатится автомобиль, когда семейство консула поедет на дачу в охотничью хижину, — разве эта дорога не к спеху? На-все-руки разрывается на части. У него нет возможности взять себе на помощь кого-нибудь из строящих дорогу, он должен довольствоваться Александером и Стеффеном, дворовым работником, хотя и эти двое тоже разрываются на части, — один занят ловлей лососей, а другой полет картошку и сажает свеклу. Жажда деятельности консула сбивает всех с ног.

— Послушай, На-все-руки, вот что пришло мне в голову, — говорит он. — Этот мой шкипер Ольсен никогда ни за чем не смотрит. Он занят разведением картофеля на своем клочке земли, изредка ходит в кино с женой и детьми, но тут ни за чем не следит. Я не знаю даже, в каком виде оставил он яхту.

На-все-руки молчит.

— Я боюсь, что он бросил все открытым и туда могут забраться посторонние. Мне кажется, надо запереть.

На-все-руки молчит.

— Так сделай это, На-все-руки. Запри яхту с кормы и носа. Ведь оттуда может пропасть и постельное белье, и многое другое. Замки возьми из лавки.

На-все-руки. Будет сделано.

Консул глядит на работу:

— А вы уже много сделали.

— Нам приходится спешить, чтобы вовремя успеть. Ведь у нас еще гараж.

Консул сначала опешил:

— А я было забыл!

— Консулу столько всего надо помнить! — говорит На-все-руки.

Но что касается второго гаража, который будет там, внизу, возле конторы и консульства, то На-все-руки самостоятельно решил этот вопрос: он хочет сломать стену между конюшней и каретным сараем и из обоих помещений сделать гараж.

— Разве надо, чтобы он был такой большой?

— Да, — отвечает На-все-руки. — Чтобы было куда поместить бидоны с бензином, запасные шины, масло и чехол для автомобиля на случай мороза.

— Да! Конечно! А ты управляешь автомобилем?

На-все-руки. У меня нет удостоверения.

— У меня оно есть, только на английском языке. Надо будет выхлопотать нам обоим норвежские удостоверения. Мне бы хотелось, чтобы ты в случае надобности мог заменять меня.

Консул кивнул головой и ушел. И вероятно, он опять подумал, что это очень удачно, что у него есть человек вроде На-все-руки, который знает каждую вещь и каждое дело, такой чудодей, мастер на все руки. И как он умеет держаться! Например, пришло ли На-все-руки в голову поздравить его с консульством? Он просто назвал его консулом. Может быть, некоторые вздумали бы трясти руку и поздравлять его. Так, вероятно, сделал бы шкипер Ольсен.

А На-все-руки стоит, цементирует пол и ничуть не в восторге от самого себя. Он все ждет какие-то деньги, которые не приходят, не потому, чтобы он вовсе был без гроша, — нет, он получает от шефа жалованье, которое распределяет с большой ловкостью, но ему не хватает капитала. Кроме того, он слишком разбрасывается: к нему обращаются со всех сторон, и ему не удается каждое дело провести с должным вниманием. То, что ему нужно запереть яхту, обозначает, что столько-то времени будет потеряно для работы: его подручные ничего не могут сделать без него. Одним словом, ему необходимо побывать в Южной деревне, но есть ли у него хоть один свободный час? Он отлично может сходить в Южную деревню по неотложному делу, и

это совершенно никого не касается! Но днем у него не хватает времени, а вечером она ложится спать...

— Вам придется заняться своими делами, пока я пойду замыкать яхту,— говорит он своим помощникам.

— Ладно,— отвечают они.— Но, может быть, нам продолжать без тебя, чтобы поскорее закончить? Что ты сам об этом думаешь, На-все-руки?

— Думаю? Это приказание.

Но Александер каким-то образом заинтересован в другом, он говорит:

— Это глупо — запирать яхту.

На-все-руки пропускает замечание мимо ушей.

— Потому что нет такого замка, который нельзя было бы отомкнуть,— говорит Александер, цыган.

На-все-руки глядит на него:

— Я бы тебе не советовал подыматься на борт яхты, после того как я побываю на ней сегодня.

— Да?

— Да, да, я бы не советовал. Если, конечно, ты не хочешь ввязаться в пренеприятную историю.

— О чем это ты? В какую историю я могу ввязаться?

— Я предупредил тебя,— бормочет На-все-руки и начинает креститься.

Цыган задумывается:

— Нет, на что мне яхта! Я сказал это только к тому, чтобы мы скорее окончили эту работу. Не сердись на меня, На-все-руки.

В воскресенье Август выполнил свое намерение и побывал в Южной деревне. Конечно, время нашлось. Но слышал ли кто-нибудь о человеке, который встает в три часа ночи и бреется, чтобы попасть в Южную деревню в десять часов утра?

Он далеко не так наряден, как мог бы быть, но на нем новая красная, в клетку, рубашка, и он застегнул всего лишь две нижние пуговицы своего жилета, чтобы была видна вся грудь.

Зачем Август пошел в новый дом Тобиаса? Действительно ли у него там неотложное дело? Это никого не касается. Он — Август. Он старый холостяк, моряк на суше, его специальность — мастер на все руки, его место всюду; смысл жизни для него в данном дне, не спрашивайте его о намерении. Это он может задать вопрос. Август был человеком, как и другие, только более одаренным, с большими возможностями, с жадой приключений, он умел

чувствовать величие и вымысел, строить планы и имел волю выполнить их, имел возможности — и все-таки...

Это он может спросить: «Куда же в самом деле девалось все то, на что я имею право в жизни?» Обманщик и лгунишка, преступник, игрок, хвастун, шут, но без всякой злобы, без вины, приветливый, умеющий радоваться, когда все хорошо, — вот он стоит перед нами, и на старости лет он имеет право на большее...

Август проиграл по всем пунктам, в любви, в счастье; у него нет даже того, на что он имел полнейшее право. При выигрышах судьба каждый раз вычитала у него изрядный куш. Его эксплуатировали; благословение никогда не сопутствовало ему, повсюду после него оставались руины, хотя он и делал все, что мог. А как он старался! Разве он хоть когда-нибудь боялся работы и хлопот? Он не пользовался жизнью, а он преодолевал ее. Теперь его время прошло, и он это знает: он не дождется никакой перемены, того, что ему следует, он не получит, справедливости он не ждет, не ждет также и снисхождения. И все-таки...

И все-таки Август идет в Южную деревню к Тобиасу и придумывает, что у него там неотложное дело, что ему надо поглядеть лошадь, которую он уже видел. Но это никого не касается.

Когда Август пришел, поднялся переполох. Вся семья была одета в воскресные платья, у Корнелии красовалось даже серебряное кольцо на пальце, но нашлось ли у них хоть что-нибудь вполне съедобное, чтобы угостить его? Они ничего не могли предложить.

Хозяйка стояла растерянная, прижав обе руки к груди, и говорила:

— Такой гость! Такой гость!

Корнелия сорвала с головы платок, вытерла им стул и пригласила его сесть.

— Пожалуйста, не беспокойтесь из-за моей персоны, — сказал Август. В глубине души он ничего не имел против того, чтобы им занялись.

Впрочем, они вовсе не в первый раз видели его: и Тобиас и его жена приходили в город, и благодарили и благословляли его за лошадь, но и в тот раз они были здорово смущены. Пожалуйста, в этом не было ничего удивительного, — им вдруг совершенно задаром досталась лошадь, и богатый незнакомец отклонил всякие разговоры о долговом обязательстве. Они перечислили все достоинства лошади, рассказали, у кого в соседней деревне они ее разыскали и как сразу купили: это кобыла такого-то

возраста, гнедая, с черной гривой и хвостом, со звездочкой на лбу, на четырех ногах, ну, конечно на четырех ногах, но надо сказать — на крепких ногах, все равно как столбы, на четырех столбах, одним словом. Единственный ее недостаток — это она, пожалуй, немного пуглива: она прижимает уши, но почти незаметно, совсем немного, хозяйка и Корнелия всегда могут заманить ее клочком сена. Они никогда не отблагодарят его за лошадь, во всяком случае в этой жизни... «Я приду и погляжу лошадь», — сказал Август. И вот он пришел.

Маленькие братья и сестры Корнелии стоят в углу и только глядят на него. Платья на них плохие, все они босые, у них серые голодные лица и, — семейная черта — длинные ресницы. Один мальчик на вид живой, все остальные вялые; их четверо. С Корнелией, старшим сыном, который остался в Лофотенах, и дочерью, которая служит в аптеке, их всего семеро. Плодовитая семья.

Повсюду разбросаны божественные книжки и брошюрки, они остались после евангелиста. Августу неприятно это напоминание о нем; он с горечью спрашивает, что это был за парень, стоило ли такого пускать к себе в дом.

— Это редкий человек.

— Чем же редкий? Просто вредная обезьяна и бродяга.

— Да, — говорит Тобиас, — особенный человек.

— Он заплатил за постой?

— Как же, как же! Купил целого барана. Мы зарезали его барана.

Августу не удастся очернить проповедника, они защищают его, простерли над ним свою длань. Он заплатил за барана, — но разве это так дорого? Он, вероятно, сам же и сожрал его, прежде чем уехал. Август несколько раз был близок к тому, чтобы оборвать этот разговор и попросить, чтобы ему показали лошадь, но все спрашивает и спрашивает: это был молодой человек? как он выглядел? Эти вопросы в течение трех недель не давали ему покоя. Может быть, они чистили ему башмаки, может быть, Корнелия пришивала ему пуговицы, они провожали его на пристань. Боже, сколько он натерпелся!

— И потом он подарил мне это серебряное колечко, — говорит Корнелия.

— Как?! — кричит Август на всю комнату. — За что ты получила его?

— Он просто так подарил мне его. Снял с пальца и отдал мне.

— Покажи мне лошадь! — говорит Август и встает.

Они выходят из дому, вся семья идет и показывает ему лошадь. Она бродит на привязи, глядит на них, в волнении прядет ушами, но продолжает щипать траву.

— Не подходите к ней слишком близко,— предостерегает отец. И он указывает на прекрасные свойства этой кобылы, прежде всего на ее замечательное пищеварение.— Сильная и широкая. Взгляните на ее ноги: прямо столбы! Я был бы рад, если б вы взглянули на ее морду, поглядели бы ее зубы...

Но Августу вовсе не хотелось рассматривать ее зубы; он сказал, что при первом взгляде убедился, что это отличное животное. Никто не может сказать ему ничего нового о лошади. Он видит ее насквозь! И в знак подтверждения он обошел лошадь со всех сторон, оглядев ее через пенсне на носу.

Они не стали загонять кобылу, ласкать ее и пробовать, насколько мягки ее губы. И хорошо сделали! Животное косилось на них, а когда кто-нибудь подходил ближе, поворачивалось задом.

— У нее есть эта дурная привычка,— сказал Тобиас,— но, впрочем, она кротка, как цветок!

И он опять благодарил и благословлял Августа, и все повторял, что никогда он не сможет отблагодарить его, во всяком случае на этой земле, и в этой жизни...

Август отвел Корнелию в сторону и стал вполголоса разговаривать с ней. Он видел ее всего лишь один раз; где она была все время? — Дома. Была дома все время, у нее много работы, полола картошку, а последнее время резала торф.— Она могла бы побывать в городе и пойти с ним в кино.— Вот было бы дело! Мать честная, совсем как другие люди на свете! — Не хочет ли она пойти с ним сегодня же вечером? — Вот хорошо бы было, если б только она могла! Но у нее на попечении скот, и пора уже доить коров.— А разве мать не может подоить? — Нечего и думать!

— Просто ты не хочешь! — сказал Август.— Ну, нет, так нет,— добавил он обиженно.

Август так хорошо понимал ее, и он в раздражении сделал несколько больших шагов, но не мог же он позволить себе дуться и уйти от нее.

Корнелия тоже чувствовала себя нехорошо, она догнала его, подошла к нему сбоку и сказала:

— Если б я могла немножко поговорить с вами?.. Только давайте отойдем к сеновалу.

Август не создавал себе иллюзий: его время прошло больше чем сто лет тому назад; он мог подавить ее своею



древностью, и у него не было никаких намерений, никакой цели. У него было лишь маленькое, глупое волнение в груди. Старость погрузила его сердце в многолетнюю пустоту, но в один прекрасный день на него были вскинута глаза, окаймленные бахромой ресниц, и его охватила жалость, сладкая потребность стать чем-то для нее.

Они шли против ветра, и ей это не мешало, но ему было очень неприятно: его старые глаза слезились, он принужден был то-и-дело вытирать щеки, и еще украдкой от нее. Но черт возьми, ведь он все же был Август в красной нарядной рубаше, человек, которому ничего не стоит подарить лошадь!

Сеновал был пуст и гол, без единой соломинки или пучка сена, и сидеть было не на чем; они рядышком уселись на пороге. Они сидели и глядели назад, на лошадь и избу; из соседнего двора вышел парень и зашагал вдоль дороги.

— О чем ты хотела говорить со мной? — спросил Август.

— Ах, нет, так, ничего, — отвечала она. — Не сердитесь на меня.

Август решил дать ей время прийти в себя и принялся втыкать трость в землю; она следила взглядом за молодым парнем, который шел по дороге. Очевидно она изменила намерение.

— Откуда был этот проповедник? — спросил Август.

— Проповедник? Я не знаю.

— Но должен же он быть откуда-нибудь?

— Да, вероятно.

— Ха-ха-ха! Мне делается смешно, когда я подумаю, что он крестил народ.

— Да. Но мы не крестились. Никто из нас.

— Но ему, верно, хотелось?

— Он говорил что-то об этом. Но решил подождать до следующего раза.

— Вот как! Значит, он опять приедет! Но ведь это зависит немного и от консула. Если я скажу ему... — и Август поджал губы.

Молодой парень, размахивая руками, проходил мимо, он был очень бледен и казался взволнованным. Поровнявшись с ними, он проговорил:

— Тебе очень хорошо, как я вижу!

Корнелия тоже побледнела, но Август ничего не заметил, он так был занят собой, что спросил:

— А была у него борода?

— У кого? — переспросила смущенно Корнелия. — У парня?

— Я говорю о проповеднике, о бродяге. Была ли у него борода?

— Ах, так! Да, длинная борода.

— Конечно. Он из таких, которые не бреются, а ходят, как свиньи. Мне-то на это наплевать!

— Да, — согласилась и Корнелия и засмеялась.

— Но, может быть, это была очень красивая борода? — иронически спросил Август.

Корнелия снова засмеялась:

— Нет, я не думаю. Обыкновенная.

— Он молодой?

— Молодой ли он? Нет.

Август почти униженно поглядел на нее и сказал:

— Да, но он, вероятно, все-таки моложе меня?

— Этого я не знаю. А сколько вам лет?

— О, — уклончиво отвечал Август, — я-то ведь очень стар. Старая посуда.

— Зачем вы так говорите? — ласково заметила она.

— Да, я это так прямо и скажу. Старая посуда!

Его презрение к бродяге вылилось вдруг в новую форму:

— Он даже не был так стар, как я? Тогда я хотел бы знать, чего же это он вертелся тут? Кланяйся ему и передай, что я уважаю его не больше вот этой самой палки. Слыхали ли вы что-нибудь подобное! И даже не сбрить себе бороду! Так, значит, вот кем он был, — мальчишкой, петушком с гребешком...

— Нет, нет. Нет, таким он не был!

— Все-таки был, насколько я понял. Но этим нечего хвастаться. Мужчина должен быть стар. Таково, по крайней мере, мое мнение.

— Да.

— Но я-то уж сумею его обуздать. Что ты на это скажешь?

— Я? Мне дела нет до этого человека.

— Как?! — удивился вдруг Август.

— Что вы думаете? Я не собираюсь выходить замуж за проповедника.

Август удивился еще больше.

— Ха-ха-ха! А я думал...

— Ха-ха-ха! — засмеялась и Корнелия, откинув голову назад.

Август тотчас пришел в себя и сказал с обычной находчивостью:

— Но в таком случае ты можешь пойти со мной в кино?

Она отрицательно покачала головой и сказала:

— Вы видели, кто сейчас прошел мимо? Молодого парня?

— Парня? Да. Так, может быть, это он, твой парень?

Она встала со своего места и, убедившись, что юноша ушел далеко, снова села и стала общительней. Ах, он так за ней бегаёт! Она никуда не может пойти, ни потанцевать, ни на собрание, он тотчас же приходит в ярость. Сейчас он так рассердился на нее, и все потому только, что она сидела с другим. Она прямо не знает, как ей быть с ним.

Август глубоко погрузился в мысли о разнообразии и запутанности жизни.

— Но,— сказал он,— раз проповедник тебе безразличен, чего же это я так страдал из-за него?

Корнелия засмеялась и сказала, что и она этого не знает.

Август проиграл в этой игре, на которую поставил так много. Так это досадно; он чувствовал себя словно его поставили кверху ногами. И серебряное кольцо, значит, тоже не имело значения. Мы остались с длинным носом, Август, остались в дураках, как много раз прежде. Мы ничего не понимаем в любви, это наша слабость, и с кислой рожой можем сами посмеяться над собой, над своим вечным поражением...

— Ну, если ты выйдешь замуж за молодого, красивого парня, Корнелия, то это, черт возьми, разница. Тогда я ничего не скажу.

Теперь настала ее очередь, и кажется, именно об этом-то она и хотела говорить с Августом.

— Дело в том, что у нас все еще очень неопределенно.

— Вот как! Может быть, он вовсе тебе не так уж сильно нравится?

На этот вопрос она не ответила. Потом покачала головой. Потом заплакала.

О, многообразие и запутанность жизни! Дело в том, что у нее был еще другой парень.

Август онемел.

И вышло так, что с другим все было гораздо определеннее, но только Гендрик не оставляет ее в покое. Теперь она совсем не знает, как ей быть. Сегодня днем он приходил и сказал, что застрелит их обоих.

— Тише, тише, подожди немного! Кто сказал, что он застрелит?

— Гендрик. Тот самый, который прошел мимо.

— А как зовут другого?

— Беньямин. Он из Северной деревни. Но Гендрик хочет застрелить его, стереть его с лица земли.

— О, как бы не так! — фыркнул Август.

— С него станется. Он ходил и спрашивал Осе.

— Осе? Это ерунда!

— Осе дала ему много советов, потому что она сердита на нас и хочет наказать нас. А это происходит оттого, что была одна ночь, когда мы не могли приютить ее; с того времени она непременно хочет проучить нас. Она такая злопамятная. И все вместе это так тяжело!

— Не стоит на это обращать внимания,— пробовал Август утешить ее.— Он не посмеет стрелять. А потом я устрою так, что Осе посадят под арест. Это я сумею сделать. Я давно уже думал об этом.

— Благослови вас бог! — сказала, всхлипывая, Корнелия.— Я так и знала, что мне надо было поговорить с вами...

Август почувствовал себя польщенным и стал еще больше утешать ее:

— И как только ты могла вообразить, что Гендрик посмеет стрелять! Сколько ему лет?

— Двадцать два. А Беньямину двадцать четыре.

— Тогда возьми лучше Беньямина,— порешил Август. Ему ужасно хотелось, чтобы теперь она поглядела на него, ему хотелось открыться ей, час наступил.— Не плачь, ведь ты еще такая молодая! Разве я плачу? Я-то ведь старая посудина,— да, это так, и ты, пожалуйста, не спорь,— я живой образчик старой посуды, все равно как падучая звезда, которая сверкнет по небу и исчезнет,— и ты не протестуй против этого. Но мое время было, и это было замечательное время! Да, побьюсь об заклад, что это именно так было. Будь уверена,— начал он хвастаться.— Боже мой, в молодости не было мне равного, такой я был молодчина! И один раз трое хотели меня, а у тебя их только двое. А в другой раз девушки побежали за мной и прямо по льду. Меня-то лед держал, но их было пятеро, и они все провалились. Я никогда этого не забуду. Две из них были замечательно красивы...

— А... а девушки спаслись? — спросила Корнелия в ужасе.

— Я спас их,— успокоил ее Август.

Если он дал маху с проповедником, то теперь он исправил свою оплошность. Он развлек ее, утешил самого себя выдумками, а может быть, и сам поверил им.

Рассказав много историй, он выдумал под конец и эту. Это было в жаркой стране, молодая девушка сидела на пороге своего дома и играла на губной гармонике. Было так приятно ее слушать, а имя девушки он даже назвать не хочет: такая это была красавица. Вокруг ее шеи обвивалось несколько нитей жемчуга, а на теле была лишь вуаль: стояло летнее время, и было жарко. На их языке она называлась Синьборой. Как только она его увидела, она тотчас встала, пошла к нему навстречу, улыбнулась ему, попросила его войти и не захотела сесть ни на какое другое место, как только к нему на колени...

— Ах, Корнелия, вот это была любезная! Но дело вышло дрянь, когда мне опять понадобилось вернуться на корабль, потому что я прибыл туда на своем корабле: не помогали никакие уговоры, она во что бы то ни стало хотела ко мне на корабль и ни за что на свете не желала расстаться со мной. И знаешь, что я сделал? Я взял ее с собой, я надарил ей всего, дал ей такое множество вещей! Но само собой разумеется, с берега по мне открыли бешеную стрельбу.

— Они стреляли?

— Да, но в те дни это не могло повредить мне. Но самое ужасное было после, когда ей пришлось расстаться со мной, сойти на сушу: она ни за что не хотела и так плакала.

— Почему же вы не остались с ней?

Август. Совершенно немыслимо. Разве мог я оставаться со всеми? Она была не единственная. Но она долго находилась в моем салоне и была очень довольна и счастлива. Да, это было время! — сказал Август и вздохнул.

Вероятно, ему нравилось размазывать эти трогательные истории, они его удовлетворяли, и удовлетворяли вполне. Когда Корнелия его спросила, не был ли он женат, ему хотелось ответить: нет еще! Но вместо этого он с грустным видом заявил, что, верно, это было ему не суждено. О, чего он только не испытывал! Однажды — это было в стране, где растут пальмы и изюм, — он был окончательно помолвлен и должен был жениться, и все-таки они не стали супругами.

— Она умерла?

— Да. Мир ее праху! — Ему стало жалко самого себя, и он несколько раз вздохнул; он был готов попросить Корнелию подуть на него, как будто бы он был ребенком и набил себе шишку на лбу. — Но довольно об этом! — сказал он. — Мое время прошло. Но я не только не женился на них и не бросил их с кучей малолетних детей, наоборот, я сделал для них все, что мог, перед ними я не виноват.

— Да, а нам-то, нам вы подарили целую лошадь! Боже мой! если б только мы могли хоть чем-нибудь отблагодарить вас!

— Пустяки!

— Мы говорили дома, уж не связать ли чулки для вас или что-нибудь в этом роде? Но, верно, и упоминать-то об этом стыдно. У вас, верно, есть все, так много всего, что и не перечислишь.

Вдруг из-за угла вынырнул Гендрик, он покосился на них и хотел пройти дальше.

Август тотчас встрепенулся:

— Гендрик, пойди сюда.

Гендрик оглянулся назад и остановился. Он заметил, что Август готовится к чему-то и что у него в руках револьвер.

— Я говорю, пойди сюда.

— Что вы хотите от меня? — спрашивает, бледнея, Гендрик.

— О нет, нет! Не надо! — просит Корнелия.

Август. Я слышал, что ты грозишься стрелять. Этого бы я тебе не советовал. Видишь ли ты вон ту осину?.. А красный лист на ней?

— Но чего же там глядеть?

Август перекрестил лоб и грудь, прицелился и выстрелил.

Красного осинового листка как не бывало, осталась лишь качающаяся веточка. Великолепный выстрел, чертовская удача! Гендрик разинул рот. То, что Август попал, было невероятнейшим чудом, и выстрел произошел с молниеносной быстротой. Но что он два раза перекрестился, произвело, пожалуй, еще более сильное впечатление: что-то слишком торжественное, вроде колдовства, словно знак нечистому, чтобы он помог, — тут пожалуй, и сама Осе оказалась бы бессильной.

Август поглядел на юношу:

— Да, со мной шутки плохи!

— Да...

— Теперь ступай к осине, я посажу тебе на ухо отметину.

— Не надо! Не надо! — взмолилась Корнелия.

Гендрик защелкал зубами от страха:

— Я не хотел... я вовсе не то думал... никогда... Я только сказал...

— Ступай домой! — скомандовал Август.

Корнелия вскочила, повисла на руке юноши и вместе с ним обратилась в бегство.

Яхту замкнули. Но что же именно вызвало эту меру предосторожности? Что это сделалось с Гордоном Тидеманом? Неужели он заподозрил свою собственную мать? Но он не мог ее заподозрить, у него для этого не было никаких причин: она входила на борт яхты только, чтобы осмотреть ее. Зато Старая Мать в течение нескольких дней ходила расстроенная по другой причине: она потеряла пояс, и если она забыла его на яхте, то он был теперь заперт там. Вещественное доказательство для сплетников.

Она не могла попасть на борт и поискать пояс, и не могла также спросить об этом На-все-руки. Положение было щекотливое. Конечно, На-все-руки мог сам бы проронить словечко, она даже давала ему повод к этому, смеялась и намекала довольно прозрачно, но он молчал. Больше ничем нельзя было помочь делу.

То, что яхта оказалась запертой, было поражением. Старая Мать была еще молода и душой и телом, ей было весело снова участвовать в жизни, и хотя она еще не во всех смыслах пережила свой опасный возраст, она чертовски мужественно рисковала всем, чем угодно.

Она принимала участие в копчении лососины. Это было ответственное дело: товар был деликатный, коптить его приходилось по-особому и точно рассчитывать время. В коптильне она была незаменима.

Но в той же степени был незаменим и Александр, цыган; оба они составляли незаменимую пару. Никто так не умел ловить лососей в море, никто так ровно и гладко, вдоль хребта, не мог свежевать их, никто так равномерно не распределял соль на спине и на брюхе рыбы. Стеффен, дворовый работник, попробовал было, но у него ничего не вышло. После всех этих приготовлений Александр влезал на крышу, ровными рядами развешивал в трубе лососей и, как надо, прикрывал их сверху. Этого тоже не умел Стеффен; один раз он упустил лосося прямо на очаг. Да, это было трудное искусство, целая наука.

Кроме того, в обязанности Александра входило поставлять торф, вереск и можжевельник для копчения, эту сложную смесь, которая способна была, не вспыхивая ярким огнем, дать невероятное количество дыма. Рядом с избой с большим очагом была небольшая закута, наполненная этим топливом. Хворост и можжевельник должны

были всегда сохраняться влажными, торф и вереск — сухими. Тут опять целая наука.

Александр был ценным работником, он знал свое дело. Лососевый промысел в Сегельфоссе возрос благодаря ему до небывалых размеров, завязались сношения с городами, стал источником дохода для местечка, и шеф начал считаться с цыганом. Уж этот Александр, этот цыган! Он был высок и худ, одинок, без товарищей в округе, но сильный сам по себе, словно стальной. В сущности, все были против этой темной, неведомой птицы, и он никогда бы не удержался в этом месте, если бы не был таким способным. И все-таки без Старой Матери он все равно не удержался бы.

Первоклассное, дерзкое безумие с их стороны, но не лишенное блеска, не без влюбленности и мечты. Верная и дикая цыганская привязанность друг к другу, которую ничто не пугало и которую при других обстоятельствах называли бы каким-нибудь красивым именем. Они могли бы разойтись и не подвергаться опасности, но они этого не делали, потому что их страсть была подлинна как первая любовь. Они рисковали, и их притесняли со всех сторон.

Они встретились еще в молодости, он и жена Теодора Из-лавки. Их свел случай. Стояло прекрасное лето, обильное ягодами. Она вышла из дому, пристально поглядев на него, а он пошел в обход и встретил ее. Насилие, — да, конечно, это было насилие, но такое желанное и без всякого раскаяния. И потом без перерыва продолжавшееся все лето и зиму и еще лето. Когда они расстались, у них было полное основание помнить друг о друге, и когда они снова встретились, то были по-прежнему так же безумны, как в своей ранней юности. Опять в Сегельфоссе, опять у нее, снова любовь, вино и радости — и риск. Они никого не обманывали: Теодор Из-лавки умер.

И кроме того, разве между ними не было глубокой тайны? Они никогда о ней не говорили, не намекали на нее, даже один-на-один, но она существовала, и они ощущали ее все время, — какое-то сладкое чувство, похожее на родительскую нежность. Оба были преданы Гордону Тидеману.

— Они замкнули яхту, — сказала она ему.

— Я знаю, — отвечал он.

Это как будто бы не угнетало его, он улыбнулся; у него были такие белые зубы на смуглом лице. Все находили, что у Александра колючие глаза, и немного боялись его, она же называла его Отто и любила его. Удивительно, как она любила его, это просто бросалось в глаза. Он был легкомыслен и хитер: он таскал, и крал,



и выглядел при этом как ни в чем не бывало; никто не почитал и не уважал его; он редко умывался, носил в ушах золотые серьги, сморкался, зажав одну ноздрю пальцем,— и все в этом роде, и даже еще хуже. Но он был легок и соблазнителен, гибок, как ивовый прут, он мог отскочить в сторону на целый метр, если вблизи щелкал капкан, и однажды выскочил с третьего этажа главного здания и опустился на землю на носках,— и все так. Это был леший, черт. Старой Матери не приходилось жаловаться на него: в нем жил любовный пыл его расы, и он постоянно держал ее в напряжении. Они не могли сговориться о том, чтобы встречаться три или четыре раза в неделю — ничего достоверного. У них не было больше пристанища, и они встречались только в коптильне, когда было что коптить. Но в таких случаях он не терялся, в одно мгновение он хватал ее, силой увлекал за собой в закуту для торфа и вереска. Она едва успевала вымолвить: «Дверь... дверь осталась открытой!» Безразлично, все на свете безразлично; запах торфа и вереска опьяняет их, словно они опять на ягодной поляне. После оба смущены: они видят, что слишком рисковали.

— До чего ты беззаботен, Отто!

— Но что же нам делать?

— А если бы кто-нибудь вошел?

— Гм, да! — отвечал он и качал головой.

— А если кто-нибудь придет потом когда-нибудь?..

Закута была ненадежным местом, и открытая дверь — глупой неосторожностью. Но открытая дверь в конце концов менее подозрительна, чем закрытая. К тому же одна половица в коптильне громко скрипела,— это было бы предостережением на тот случай, если бы кто-нибудь вошел. И все-таки это никуда не годилось, никуда не годилось в будущем. Надо было устраиваться по-другому. Они были в большом затруднении. Они не могли пройти вместе по двору, чтоб тотчас кто-нибудь не стал следить за ними в окно. Александер спал в каморке вместе со Стеффеном, дворовым работником, а комната Старой Матери в главном здании прилегала с одной стороны к детской, а с другой — к комнате Марны. И вот как-то раз во время неудачного посещения комнаты Старой Матери Александеру пришлось спастись бегством в третий этаж, а оттуда спрыгнуть вниз.

Все было не так.

В закуту с торфом и вереском легко было попасть: стоило только переступить порог.

Если им повезет, все будет хорошо.

— Свали вину на меня! — говорил Александер. — Свали на меня!

И ничто не изменилось.

Их несколько раз спугнули, но ничего серьезного не случилось. Они были беспомощны и дерзки, они не могли остановиться.

Изредка их звали за чем-нибудь: Старую Мать — к фру Юлии или к детям, Александера — оказать небольшую услугу в кухне, поднять что-нибудь тяжелое, или убить мышь в ящике с дровами. Они были ведь совсем поблизости, и их легко было найти; иногда, вероятно, им здорово мешали. Да, тяжело было быть на их месте.

Так, например, пришел На-все-руки и потребовал Александера для окончания работы в гараже. Цемент, который они налили в субботу, сох теперь уже в течение двух дней, можно продолжать.

— Мне некогда, — отвечал Александер.

— Дело в том, что нам надо устроить еще один гараж, — сказал На-все-руки. — И это надо сделать быстро.

— Ступай, Отто, — сказала Старая Мать.

Они быстро окончили гараж возле дома и переправили инструменты в торговое помещение в городе. В новом гараже нужно было сначала сломать деревянную стену, затем укрепить грунт, потом надробить щебня и наконец залить цементом. Сложная работа. На-все-руки был и тут, и там, и повсюду. Ему хотелось построить нарядный гараж. Консульский герб прибыл и являлся теперь единственным украшением конторской стены. На-все-руки решил подбавить сажу в цементную смесь для стен гаража и разделить их на квадраты. В крайнем случае это можно будет сделать уже после того, как прибудет автомобиль.

Вокруг его поля действия собрались зрители — бездельники, молодежь. Пришел редактор Давидсен из «Сегельфосских известий» и поговорил с На-все-руки об этой конюшне для автомобиля, похожей на избу богатого крестьянина. Оба докторских мальчишки постоянно торчали тут же; от них невозможно было отделаться, от этих чертовых ребят: они всюду лазили и садились верхом на поперечную балку под крышей. Высота была не бог весть какая, но в случае падения представлял опасность пол, покрытый цементом, твердый, как камень. На-все-руки часто предупреждал их и в особенности не советовал стоять на одной ноге там, наверху, как они это придумали делать за последнее время. И что же, он оказался прав: в один прекраснейший день старший мальчик свалился вниз. Высота,

правда, была небольшая, но пол был каменный. Мальчик, вероятно, больно ушибся; хотя он смеялся и уверял, что это пустяки, но когда попробовал встать, то не смог. Неудачное падение: нога оказалась сломанной. Александр посадил его себе на спину и отнес домой.

Что за представление началось в докторском доме! Мать была неутешной и вне себя от волнения, доктор хотел было поехать с сыном в больницу в Бодэ, но пароход местного сообщения должен отправиться на юг только через три дня, и отцу самому пришлось вправить ногу и положить ее в лубки. Мальчик больше не смеялся, он кричал.

На следующий день докторша прибежала к Августу, еще более неутешная: ее мальчик провел ужасную ночь, он все время кричал, может быть, он уже при смерти, отец, доктор, так крепко забинтовал ему ногу, что она отнялась,— по крайней мере так казалось; он дал мальчику сонные капли, но сын не спал всю ночь. Она просила дать ему дозу побольше, но он не дал. Впрочем, она слыхала... Докторша упростила Августа выйти с ней на улицу, отвела его подальше от гаража и все продолжала говорить и объяснять: люди были к ней так добры, одна соседка зашла к ней,— она знает кого-то, кто может усыпить ее мальчика, у нее у самой был мальчик, который тоже орал и не спал. Август должен помочь ей, да благословит его бог...

Ну, конечно, Август захотел помочь докторше, помочь маленькой хорошенькой Эстер, которая сама не спала всю ночь и была вне себя.

— Ступайте пока домой,— сказал он,— я только накину на себя куртку и догоню вас.

— Ты думаешь, что разыщешь ее?

— Об этом не беспокойтесь,— отвечал Август.

Уж этот Август! Он так хорошо умел уверить в том, что сдержит обещание. «Об этом не беспокойтесь!»

— И это было бы удачно именно сейчас,— говорит докторша. — Моего мужа после обеда позвали к больному, и он думает, что не скоро вернется обратно.

Август поглядел на часы и сказал:

— Она будет у вас прежде, чем на часах будет шесть!

Август сдержал свое слово, он привел ее. Ему пришлось хитро расспрашивать о ней в Южной деревне. Она, как обычно, пропадала где-то, вечерами уходила в город. Он нашел ее в хижине у старого лопаря, где она жила. Перед тем как войти, он перекрестился, чтобы с ним не случилось

чего плохого. Осе согласилась. Осе ничего не имела против того, что ее звали в дом доктора.

— Вот удачно, что я застал тебя,— сказал Август.

— Я ждала, что за мной придут, оттого я и дома.

— Это перелом ноги,— сказал он.

— Я чувствовала это на себе,— отвечала она.

Услыхав, что она чувствовала это на себе, Август опять перекрестился: чертова баба!

Они тронулись в путь.

— Ты, пожалуйста, не ходи со мной! — сказала она и отмахнулась от него.

И она зашагала одна, царственной поступью, с сознанием собственного достоинства. Дойдя до дома доктора, она, ничуть не усомнившись, поднялась по парадной лестнице; докторша впустила ее и повела в комнату больного. Словно по уговору, они шли по лестнице тихонько и не разговаривали. Правда, доктора не было дома, но и прислуга не должна была ни о чем знать.

Осе наклонилась над постелью и осторожно взяла больного за руки. Мальчик до того удивился, увидав ее, что свистнул. Его крик прекратился. В сущности, у него не было никакой причины кричать, и он кричал только потому, что был гадкий ребенок и криком добивался сочувствия матери.

— Погляди-ка! — сказала мать и откинула одеяло,— это была жалоба на мужа, доктора.— Погляди-ка, большие твердые щепки, привязанные чем-то вроде проволоки,— что ж тут удивительного, что он кричит! Завязано, забинтовано...

Осе провела рукой вверх и вниз по биндажу и опять накинула одеяло. Она заметила, что мальчик с любопытством разглядывает безделушки, которые свешивались с ее пояса, и даже хочет сесть, чтобы лучше их видеть. Осе отстегнула пояс, подала ему и сказала:

— Подержи немного!

— Подержать пояс?

— Да, можешь поглядеть на него.

Ей не пришлось спрашивать его. Удивительные вещи! Железная трубка с продырявленной железной крышкой,— тонкая работа, и сама трубка, хорошенькая и совсем крошечная. Табак в меховом мешке, нюхательный табак в другом, трут и огниво, вещицы из кости и из серебра, иностранная монета с ушком, ножик в ножнах, ножик с инкрустациями, ножны со значками и насечками. И наконец — сердце!

— Раскрой его! — сказала Осе.

Внутри маленькая губка, ничего странного, ничего бросающегося в глаза.

— Понюхай! — сказала Осе.

Мальчик понюхал и сказал:

— Дрянной запах! Мама, понюхай ты!

Они нюхали оба, и Осе сказала мальчику:

— Понюхай еще немного!

Никогда мальчик ничем так не интересовался, как всеми редкостями на поясе у Осе, но теперь он устал, руки его ослабели, и ему захотелось отдать всю эту роскошь обратно.

— Подержи еще немножко! — сказала Осе.

— Зачем? — запищал было мальчик, но покорился и опять стал разглядывать вещи. Он сильно устал и заплакал, глаза его стали маленькими, начали слипаться, потом он вздрогнул и закрыл глаза совсем.

— Он спит! Подумай только, он спит! — зашептала в экстазе докторша.

Осе направилась к двери и кивнула, чтобы и фру шла за ней. В коридоре они остановились. И тут Осе стала говорить таинственные и глубокомысленные вещи маленькой Эстер, она стала кривляться, гримасничать и притворяться, словно это было нужно, придумывать всякие странные вещи: вдруг схватила себя за язык и стала вертеть им во все стороны. Маленькая фру Эстер находила ее и страшной и великолепной в одно и то же время, с распущенными черными волосами, доходившими ей до плеч, с большими лошадиными зубами и холодным и гордым лицом под шапкой. У нее были длинные, нечистые руки, на пальцах множество крупных колец.

— Я не знаю, как мне благодарить тебя, — сказала фру.

О с е. Когда он проснется, снимите с него рубашку и наденьте ее изнанкой наверх.

— Хорошо.

— И пусть он лежит в ней целые сутки.

Фру кивнула головой в знак согласия.

— Потом вы можете отправить его в Бодэ! Это ему не повредит. Я погладила его и он выздоровеет.

— Он останется хромым или с несгибающейся ногой?

— Нет.

— Как?! Значит, он не будет хромым, и нога будет сгибаться! — восклицает в восторге докторша. — Осе, возьми вот это, всего лишь бумажку, немного денег, за такое великое счастье, не откажись!

Но Осе опять начинает кривляться и отказывается от денег:

— Прочь! Не хочу их видеть, они мне не нужны! Деньги,— да что вы думаете...

В ту же минуту внизу открыли входную дверь. Это вернулся доктор, он закрывает за собой дверь, проходит по комнатам и громко зовет:

— Эстер!

— Сейчас! — сдержанным шепотом отвечает ему с лестницы фру.

Она дрожит, она хочет спровадить Осе, хочет, чтобы та поднялась по лестнице на чердак, но Осе высокомерна и не двигается с места.

Нет, Осе не станет прятаться по углам.

Доктор поднимается по лестнице. Фру шикает на него:

— Он спит! Осе усыпила его.

— Что такое? — спрашивает доктор.— Осе?

— Да, она пришла и усыпила его.

Доктор в бешенстве смеется, скрежещет зубами:

— Вот шутницы-то!

Ф р у. Подумай только, он не спал полтора суток.

— Уходите! — говорит доктор Осе и указывает вниз по лестнице.

— У него мой пояс...

— Да,— объясняет фру,— он заснул с ее поясом, он у него. Я сейчас!

Доктор уже хочет войти в комнату, фру шепчет ему вслед:

— Не буди его! Только не буди его!

— Вот! — говорит доктор и передает пояс со всеми погремушками.— И теперь ступай, как я сказал!

Осе начинает надевать пояс. Но доктору кажется, вероятно, что она действует слишком медленно, он хочет отвести ее к лестнице, пробует сдвинуть ее.

Но Осе этого не хочет, в то же мгновение она оборачивается, протягивает руку со скрюченными пальцами и впивается ими в лицо доктора.

Глухой рев. Доктор подпрыгивает на месте и обеими руками хватается за глаза, в то время как Осе спускается с лестницы.

Он стоит некоторое время, нагнувшись вперед, стоит, словно собирается с духом.

— Что такое? — дрожа от ужаса спрашивает Эстер. — Она повредила тебе?

— Повредила? — Он выпрямляется и отнимает руки от лица. — Погляди сама!

Один глаз у него, весь в крови, висит вдоль щеки.

Сколько времени у занятого старосты отнимают самым нелепым образом! Августа зовут то туда, то сюда, с ним советуются и его отвлекают ненужными разговорами; иногда подходит шеф и задает ему вопрос, но Август не в состоянии покрывать цементом стены гаража и отвечать, он может отвечать, только стоя навтыяжку перед своим шефом.

— Умеешь ли ты сам управлять автомобилем, На-все-руки?

— У меня нет на это бумаги.

— Удостоверения? У меня оно есть,— говорит шеф,— но только на английском языке. Узнай, пожалуйста, что нам обоим необходимо проделать, чтобы получить разрешение ездить на автомобиле. Мне бы хотелось, чтобы в случае нужды ты мог заменять меня. Отличный выходит гараж.

— Только бы мы успели его сделать.

— Надеюсь, что успеете. Какая досадная история с этим мальчиком, который упал!

На-все-руки. Я предостерегал мальчиков не два, а десять раз, но это не помогло.

— Они совсем дикие. К тому же и у самого доктора вырвали глаз, и ему надо в больницу. Пароход отходит завтра. Знаете что, вы бы трое могли пойти на пристань и помочь доктору и мальчику подняться на борт.

— Будет сделано.

— Отлично, На-все-руки, и пожалуйста, разузнай, как нам добыть удостоверение. Кажется, нужно обратиться к ленсману или к окружному судье...

Немного погодя пришел начальник телеграфа, книжный червяк, и Августу опять пришлось стоять навтыяжку.

— Нет, больше нет русских книг, и никаких других редких книг.

— Дело в том,— говорит начальник телеграфа,— что я купил русскую библию.

— Ах, так! Ну, я так и знал! — восклицает Август.— Он обратил ее в деньги!

— Он сам принес ее мне.

— Сколько вы за нее заплатили?

— Скажите мне раньше, сколько он сам заплатил?

— Свинство по отношению к святой книге! — сказал Август.— Если б я это знал, я никогда бы ее не отдал ему.

— Я заплатил пять крон. Пожалуй, слишком много?

Август. Больше я не пушу его к себе. Однажды он попробовал утащить у меня совершенно новую... то есть я хочу сказать молитвенник, старинный молитвенник.

— На каком он языке?

Август принимается теперь за работу и говорит:

— Больше его ноги не будет у меня...

Потом у дорожных рабочих произошло недоразумение с кузнецом. Пришел Адольф и пожаловался: кузнец этот — безбожный человек, пусть На-все-руки сам потолкует с ним.

Прекрасно. На-все-руки бранился с кузнецом,— это неумелый парень, буравы ломаются, он не умеет их закаливать.

— Я не умею закаливать?

— Да, не умеешь. А если ты не будешь лучше работать, то ты получишь от нас заказ на последний бурав и последний крик.

Кузнец смеется:

— Я здесь единственный кузнец, и другого я не знаю. Может, ты хочешь звонаря попросить оттачивать твои инструменты?

— Я телеграфирую, чтобы мне прислали кузнечный горн, и буду работать сам. И как бы там ни было, но консул достаточно влиятелен, чтобы пригласить в Сегельфосс порядочного кузнеца.

Кузнец бледнеет:

— Порядочного кузнеца? Я учился у самого корабельных дел мастера Орне из Тромсе.

— Но ты не умеешь закалить бурав так, чтобы он не ломался.

— Прекрасно, я не умею. Но если ты умеешь, то в таком случае поучи меня, как делать! Ха-ха-ха!

На-все-руки некогда, совершенно некогда, но он крестится, кладет на огонь железный прут и велит Адольфу раздувать меха.

Кузнец злорадно созерцает. На-все-руки не кузнец, но он мастер на все руки, также и кузнец. Дело, к которому он прикасается своими руками, не может не удалиться; да ему и прежде случалось сталкиваться с каждым ремеслом, случалось стоять и перед наковальней и закалять даже сталь.

И конечно, ему удастся. Он делает прут более тонким, внимательно следит за жаром, держит наготове горсть песка на тот случай, если жар будет слишком силен, сплющивает прут, поколачивает тоненьким молотком, кладет в третий раз на огонь, на этот раз на малый огонь,— до чего осторожно, до чего обдуманно!



— Ну, как ты поступишь в дальнейшем? — насмешливо спрашивает он кузнеца. — Конечно, ты отправляешь прут в ведро с водой — и готово! Но не так поступаю я.

Да, он поступил не так: На-все-руки воткнул прут в ящик с песком, подержал там чуть-чуть, — о, всего лишь полмгновенья! — поглядел, получился ли нужный голубоватый оттенок, потом осторожно и испытующе опустил самый кончик в воду, подождал, чтобы голубоватый оттенок совсем сошел, опять опустил прут в воду, помешал тихонько в воде, дал ему постепенно остыть.

Они попробовали поточить его напильником, но напильник не взял. Кузнец одобрительно кивнул головой. Они попробовали твердость кончика о наковальню, кончик не согнулся. Кузнец опять кивнул головой.

— Хорошо, я попробую делать так же, — смиренно сказал он. — Теперь отточь бурав!

— Мне некогда. Но поступай приблизительно так же и с буравами, — поучал На-все-руки. — А крючья накаляй немного меньше, потому что они из сплава стали и железа. Ты должен научиться этому. И помни — осторожный и продолжительный закал!

На-все-руки повезло, и он заважничал, но неизвестно, повезло ли бы ему во второй раз. Может быть, он проделал несколько лишних манипуляций. Но он доказал свою правоту и остался победителем.

На-все-руки обратился к Адольфу:

— В некоторых местах нам следует проверить дорогу. А то, я боюсь, автомобиль с трудом проедет, крылья будут задевать за стену. Нам придется или надстроить с левой стороны, или взорвать больше с правой. Я зайду к вечеру и посмотрю, что обойдется дешевле. А так, верно, все у вас обстоит благополучно?

Адольф ответил не сразу:

— А все этот Франсис!

— Что с ним такое?

— Да он все продолжает.

На-все-руки. Что ты за чучело, Адольф, что позволяешь Франсису дразнить себя! Кланяйся ему от меня и передай, чтобы он не безобразничал на дороге и не ссорился. Сделано...

Но сколько времени потеряно! Опять задержка, тоска. На следующий день на работу не является Александер.

— Час от часу не легче! — восклицает огорченный На-все-руки.

— Он коптит лососей, — возражает ему на это Стеффен.

— Мы никогда не закончим гараж.

— Но консулу выгоднее отправить вовремя лососину.

— Выгоднее, выгоднее! — передразнивает его На-все-руки. — К чему вся эта мелочь? Я строю дорогу в горах и гараж в городе. Мало, что ли, я делаю для процветанья и прогресса всей местности, и города, и человечества? И как тебе не стыдно так говорить!

— Я только сказал, где Александер. Нечего из-за этого огрызаться.

— Ты хорошо знаешь Северную деревню? — спросил На-все-руки.

Стеффен. Я сам из Северной деревни.

— Значит, ты знаешь парня, которого зовут Беньямином?

— Как же! Так сказать, наш сосед.

— Парень двадцати четырех лет. У них свой двор?

— Да.

— Ступай и приведи его сюда.

— Как? сейчас?

— Да. Пусть он наденет рабочее платье и захватит с собой еду.

Беньямин пришел только после обеда; полдня пропало даром. «Полдня!» — думает, вероятно, огорченный староста. На-все-руки говорит кратко и повелительным тоном. Может быть, хочет порисоваться перед новым человеком, может быть, имеет на то особые причины. Беньямин приветливый парень, несколько медлительный, не особенно ловкий, но он делает то, что ему указывают. Это ему достанется Корнелия. Он обыкновенного роста и обыкновенной ширины в плечах, у него жирные черные волосы, веснушки на носу. Это ему достанется Корнелия, но, впрочем, это еще неизвестно. В нем нет ничего интересного, совсем ничего, ни капли.

Единственное, что в нем привлекательно, — это его молодость; но мужчина должен быть стар.

Они хорошо работают до самого вечера и затем готовят все к следующему дню. Вероятно, утром придет Александер, и их будет четверо. Это будет очень кстати. Только бы пароход пришел вовремя. Тогда они еще с вечера проводят доктора с сыном на пароход и не потеряют понапрасну рабочее время.

Но не тут-то было: на стене лавки появляется объявление о том, что пароход с севера запаздывает от самой Сеньи.

Утром они принимаются за работу, вчетвером им удается кое-что сделать, Беньямин здоровенный парень,

правда, не семи пядей во лбу, — не стоит преувеличивать, и к тому же он отпустил себе бороду, — удивительно, чего только люди не выдумают! Но На-все-руки постепенно приглядывается к нему.

— Здорово ты дробишь камень: все равно как царь какой или капитан. Надо отдать тебе справедливость.

Они работают часа два-три, затем с берега доносится гудок парохода. Ну, конечно, как раз тогда, когда они только что вошли во вкус! Словно ток пробегает по ним. Александр первый покидает их: он должен принять канат; остальные следуют за ним. Такой же ток прошел и по всему городу: взрослые, дети, собаки — все идут на пристань, появляется даже Иёрн Матильдесен со своей женой Вальборг из Эйры, он стоит и бесстыдно виснет на ней, хотя он в жалких отрепьях, а она в своем красном платье в зеленую клеточку.

Приходит доктор Лунд, голова у него забинтована марлей, и он без шляпы, а мальчика везут на пружинном матраце, положенном на линейку. Фру Лунд и другой ее сын провожают их, также и аптекарь Хольм; присутствуют консул со своей семьей и другие должностные лица города: все это так печально, им хочется выразить свое сочувствие.

— Но как же этот ужас случился с вами, доктор?

— И не спрашивайте! Видно, так суждено.

Фру Лунд плачет, нисколько не заботясь о том, что это портит ее; она стоит то возле мальчика, то возле мужа, ничего не говорит, только поглаживает их поверх одежды и любит их. Фру Юлия, как только может, утешает ее и собственноручно расправляет ее помявшийся воротник.

— Хуже обстоит дело с мальчиком, — говорит доктор. — Его бы следовало отправить тотчас же. Может быть, придется переламывать кость заново!

— Не известно еще, кому хуже! — отвечает маленькая фру Эстер и качает головой.

На вид, по крайней мере, мальчику вовсе не так плохо. Если его спрашивали, больно ли ему, он улыбаясь отвечал, что — да, деревянный лубок вокруг ноги чертовски жесток и на нем больно лежать.

Перенести матрац с мальчиком на борт было сущим пустяком, и после этого Александеру нужно было погрузить еще несколько ящиков копченой лососины, — драгоценный товар отправлялся на юг, золотая валюта. И потом четверо рабочих опять побежали в гараж.

Они могли бы поглядеть, как весь народ пойдет обратно с пристани, но они не захотели терять время даром: они работали:

И вдруг докторша очутилась в дверях гаража и позвала Августа:

— Август, на минутку!

Августу пришлось все бросить и пойти: фру Эстер была неутешна, и ее надо было успокоить. Август услышал о происшествии с Осе; под конец фру уже больше не плакала, а только рассказывала. У нее никого не было, кому бы она могла раскрыть эту жуткую тайну; доктор с большим достоинством перенес несчастье, но потребовал, чтобы она молчала. Да, доктор отнесся к этому замечательно: ни одного упрека, хотя она была кругом виновата. Он промыл глаз, вложил его обратно и завязал, но теперь прошло уже много дней, и глаз загноился; он сам думает, что грязные пальцы Осе занесли какую-нибудь заразу. Так ужасно думать об этом! А теперь он опасается и за другой глаз. Вдруг он будет слепой...

— Да нет же! — говорит Август своим обычным уверенным тоном и качает головой. — Этого быть не может.

— Ты так думаешь, Август?

— Да боже избави, — неужели же, если у меня загноится один палец и мне его отрежут, то из-за этого загноятся и остальные девять пальцев.

— Да, это правда, — соглашается она и уступает ему. Ей так легко поверить ему в этом случае.

А у Августа уже готов рассказ из его приключений по свету:

— Был один матрос, у которого выскочил глаз, он завернул глаз в бумажку, сходил к доктору, и тот вставил глаз на место.

— Тот же самый глаз? — спрашивает фру.

— Был ли это тот же самый глаз, или нет, на этом я не стану настаивать, чтобы не приобрести дурной привычки преувеличивать. Но достаточно сказать, что человек отсутствовал несколько дней, а когда снова вернулся на борт, то у него было ровно столько же глаз, как и у всех остальных. Мы подходили к нему вплотную, считали и пересчитывали, — факт оставался фактом. Дело, видите ли, в том, что ученые могут теперь сделать почти все, что им захочется. Я помню еще другого человека. Ему вставили однажды стеклянный глаз, и он уверял, что он совершенно так же хорошо видел этим глазом, как другим. Так что в конце концов ему было все равно, один

или два у него стеклянных глаза. И совершенно так же обстоит дело и с ушами,— продолжает Август.— Сколько раз случалось мне видеть в чужих краях, как они по воскресеньям, стоя и разговаривая, вдруг вынимали револьвер из кармана и отстреливали друг другу уши! Нельзя сказать, чтобы я оправдывал такие действия, но это им не причиняло никакого вреда: человек от этого слышал ничуть не хуже. Я, например, никогда не боялся потерять ухо или глаз, или еще что-нибудь, потому что теперь нет предела тому, что у человека могут починить. Этому вы можете поверить.

И фру очень хочется этому верить. Август внушает ей доверие, она говорит с ним языком ее детства и юности, на родном языке, ей нечего опасаться его, и уже одно это — благословение и радость.

Август. Вот дрянь-то дело с малышом вашим, который шлепнулся вниз!

— Да, но муж мой спокоен за него. Он говорит только, что ему будет ужасно больно, если придется ломать кость. Но он не останется хромым, и нога будет сгибаться,— так и Осе сказала.

— Да, перелом ноги в наши дни суший пустяк.

— Ну, прощай, Август, не стану тебя дольше задерживать. Но я непременно должна была рассказать тебе, как все это произошло. С тобой так хорошо говорить.

— Я бы мог проводить вас в докторскую усадьбу, только уж очень неважное на мне платье.

— Тебе нечего беспокоиться об этом, Август. Я отлично дойду и одна. Дни теперь светлые..

Но когда Август вернулся к работе, исчез Александер. Да, он воспользовался случаем и скрылся через отверстие в задней стене.

— Да куда же он делся, леший этакий? — воскликнул Август.— Куда он удрал?

— Он пошел к морю, смотреть невод.

Август мог призывать лешего, сколько ему было угодно. Александер ушел.

У Александера были свои заботы. Ему нужно вынуть лососей из невода, очистить его от водорослей и медуз и опять расставить. Ему нужно приготовить лососей, посолить, выпотрошить и закоптить их, и кроме того, вымыть и вычистить ящики из-под рыбы к следующей отправке. И наконец, он, вероятно, считает заслуженным повидаться сегодня со Старой Матерью. Она ведь только что была на пристани, возлюбленная его, и была моложе и желаннее

всех; она улучила минутку, взглянула на него и покраснела. Никто не краснел так очаровательно, как она, — эта теплая плоть.

Он вернулся в усадьбу с лососями и встретил ее. Все шло хорошо, они все приготовили и зажгли огонь на очаге. Дверь не заперта, ей страшно, но она позволила увлечь себя в закутку. Там темно и тихо.

— Отто!..

Но что-то неладно. Весь дом ходил сегодня на пристань, даже фру Юлия. Этот день не похож на обыкновенные дни: консула потревожили в его конторе, его консульстве, теперь скоро обед, и он вместе с другими возвращается в усадьбу. И это тоже не как всегда.

На этот раз любовники едва-едва успели заметить, как открылась дверь и в кухне скрипнула половица.

— Сваливай все на меня! — успел шепнуть Александер.

И она сейчас же начала браниться. Жена Теодора Из-лавки вспомнила язык своей молодости и пустила его в ход. Лицо ее не могло вполне скрыть, что с ней только что случилось что-то желанное, но она бранится упорно, выходит на свет и бросает ему прямо в лицо:

— Я не желаю, чтобы ты всюду совал свой нос! Ах, ты урод этакий, бурьян негодный! Приходишь сюда, чтобы учить меня!

— Черт знает как вы ругаетесь! — отвечает ей Александер.

Он тоже рассержен, он так взбешен и оскорблен, что мимо нее и мимо консула кидается прямо к двери.

— В чем дело, мать? — спрашивает Гордон Тидеман.

— В чем дело? Он хочет выучить меня смачивать хворост, — пусть только сунется! На что это похоже? Такой урод!

— Юлия просит тебя зайти на минутку к ней, — говорит сын и уходит.

А на следующее утро Александер опять приходит на работу в гараж. Он задумчив и молчалив. В одиннадцать часов он надевает куртку и говорит:

— Я сейчас приду.

Август с досадой строит ему вслед гримасу:

— Я буду рад, когда ты, наконец, перебесишься!

Александер направляется в контору шефа. Уж и нахал же этот цыган! Он задумал что-то, и нет границ его дерзости. Разве шеф может заподозрить, что вчерашнее столкновение между ним и Старой Матерью было услов-

лено заранее? Ничего он не знает, и ничего не хочет знать: он слишком высоко поднялся, чтобы выслеживать и подозревать. Но Александр не желает примириться с тем, что Старая Мать его ругала, Отто Александр этого не допустит, ни в коем случае,— и не просите!

Он стучит и входит. На-все-руки настолько воспитан, что имеет обыкновение оставлять свою шапку на полу у дверей, Александр этого не делает. Какое там! — он до того взбешен, что держит шапку в руке и начинает болтать и трепать языком, прежде чем шеф кивком головы разрешит ему это.

— Дело в том,— говорит он,— что я не желаю, чтобы меня ругали на ваших же глазах.

— То есть как это? — спрашивает шеф, поднимает брови и пробует понять: что такое?

— А вчера-то! Вы ведь слышали.

— Ах, это! — говорит шеф.— Но, дорогой мой, какое это имеет значение?

— В таком случае я лучше уйду,— продолжает Александр по программе, которую он продумал еще в гараже.

— Все это ерунда,— говорит шеф.

— Все может быть,— отвечает оскорбленный Александр и хочет уйти.— Так не будем больше говорить об этом!

И кроме того, он чуть было не надел на себя шапку еще в конторе. Никогда такой человек, как На-все-руки не позволил бы себе этого. Но шеф прямо ангел доброты и снисходительности: он не звонит в лавку за помощью и не велит выбросить цыгана за дверь. Наоборот, шеф старается образумить упряма и говорит:

— Но это вчерашнее — разве стоит на это обращать внимание?

— Да,— выпаливает Александр.

— Но не можешь же ты уйти только по этой причине?

— Как-так — не могу? Смешно даже слышать это.

Шеф взвешивает все «за» и «против», роняет как бы случайно взгляд на крупный счет за копченую лососину и говорит:

— Очень жаль, что ты не хочешь дольше оставаться. Как раз сейчас дело так хорошо наладилось. Ты ставишь меня в затруднительное положение.

Александр тоже взвешивает: может быть, немного рискованно еще туже натягивать тетиву, и он становится уступчивее:

— А как вы сами находите, разве приятно, когда вас называют бурьяном и уродом только потому, что вы немного поссорились?

— Да, это, конечно, неприятно,— отвечает шеф.— Я этого не понимаю, это совсем на нее не похоже. Она, вероятно, рассердилась потому, что ты стал учить ее мочить хворост. А ведь она это делает уже много-много лет: она это делала еще при моем отце!

— А разве я не знаю? — прерывает его Александр.— Я ведь тогда тоже был здесь. Вы были тогда совсем маленьким, только что родились. Тогда мы вместе мочили хворост, и она никогда не говорила дурного слова.

— Ну, вот видишь. И ты можешь быть уверен, что она всегда похвально отзывается о тебе.

Александр. Нечего сказать, замечательную похвалу услышал я вчера!

Он опять взвешивает и проявляет сатанинское лукавство, верх хитрости:

— Одним словом, как бы там ни было с ее похвалой, я никуда не уйду, если вы разрешите мне запереться от нее в коптильне.

Шеф откровенно ничего не понимает:

— Хочешь запереться от нее в коптильне?

— Да. Запереть дверь.

— А я думал, что ее присутствие совершенно необходимо?

— Это так и есть, этого нельзя отрицать,— соглашается Александр.— Но я многое могу делать совсем самостоятельно, а когда настанет ее черед проделывать все эти фокусы,— подкрашивать товар, придавать ему вкус и запах и все такое,— тогда я буду звать ее.

Шеф обдумывает это:

— Да, я думаю, что она не будет протестовать против такого порядка. Я поговорю с ней об этом. Я даже думаю, что она будет довольна.

Александр возвращается в гараж.

— Я ведь недолго отсутствовал,— не так ли?

Он работает за двух, шутит, таскает мешки с цементом, насвистывает и поет. И на следующий день он в таком же прекрасном расположении духа. И только через два дня Александр отправляется осматривать невод и собирается коптить лососей.



А со Старой Матерью он держит совет о том, какой момент будет наиболее подходящим, чтобы он смог запереться вместе с ней в коптильне.

### ГЛАВА XIII

---

Август ничего больше не слышал о деньгах из Полена. Может быть, слух был ложный, может быть, всего лишь шутка. Ну что ж, разочарования в жизни не были новостью для Августа, и все равно во имя прогресса надо строить гаражи для автомобилей и прокладывать дороги в горах.

Наконец, когда уже прошло столько времени, что Август потерял всякую надежду и остыл, в лице посланного из конторы окружного судьи пришло к нему напоминание об этих деньгах.

Посланный был молодой конторский служащий, очень серьезно отнесшийся к своей миссии:

— У меня в кармане письмо от банка,— сказал он.— Как вас зовут?

Август улыбнулся и назвал свое имя.

— Имя совпадает! Но, чтобы избежать недоразумения,— нет ли у вас какого-нибудь прозвища в наших местах?

— На-все-руки.

— И это совпадает. В письме сказано, чтобы вы немедленно явились в нашу контору, чтобы выслушать там важное сообщение. Лучше всего, если вы явитесь спустя два-три дня.

Август тотчас же подумал, что деньги пришли, он сразу почувствовал себя более важным, протянул руку и сказал нетерпеливо:

— Дайте мне письмо, я сам умею читать.

Молодой человек. Я охотно разьясню вам все. Это я сам написал письмо. Вы должны прийти от девяти до трех, когда открыта контора. Там вы сначала обратитесь ко мне, а я направлю вас дальше.

Август выхватил из кармана свою записную книжку и стал записывать. Этот фокус он проделывал уже много раз,— он хотел показать, что умеет писать буквы, да; он даже для пущей важности нацепил на нос пенсне.

— Итак, вы сказали — важное письмо? — Пишет.

— Нет, я этого не говорил, я сказал — важное сообщение. А это — большая разница. Я сказал, что вам следует прийти, чтобы выслушать важное сообщение.

Август зачеркивает и исправляет:

— От банка, сказали вы? — Пишет, смотрит на часы: — Я припишу время, когда вы мне это сообщили! — Пишет.

— Я не думал, что вы так опытни в этих делах, — сказал молодой человек. — Но теперь я вижу, что ошибался. Вы, может быть, знаете также, о чем это важное сообщение?

— Этого я не могу знать. У меня столько всяких дел, я деловой человек.

— Речь идет о наследстве или еще о чем-то в этом роде в Полене. Это-то я могу сообщить.

Август делает широкий жест:

— У меня столько всего в Полене: целый квартал домов, рыболовные снасти, фабрика, крупная фабрика. Уж не хочет ли государство присвоить себе мою фабрику?

— Нет, могу вас утешить, что это не так. Но большего, к сожалению, я не смею открыть.

— Вы сказали — от девяти до трех? — Пишет. — Спустя два-три дня? — Пишет.

Молодой человек. При сем передаю вам в собственные руки письмо. Итак, сегодня уже слишком поздно. Контора уже закрыта. Но в другой раз в ваших же собственных интересах — явиться к нам без опоздания.

И затем этот юный норвежский бюрократ, этот маленький будущий государственный муж удалился.

А теперь, следующим номером, завернул аптекарь Хольм. Он поздоровался с Августом, как со старым знакомым, и пошутил:

— Письмо от короля?

Август бросил письмо нераспечатанным на мешок с цементом и несколько небрежно сообщил:

— Пустяжное письмо. Только о том, что я должен явиться в контору окружного судьи и получить там некую сумму денег.

— Некую сумму? В наше время?

— Положим, я ждал эти деньги целую вечность. А вы, аптекарь, вышли погулять?

— Да, я все хожу и хожу и делаю idiotские прогулки. Послушайте, Август, я пришел к вам с поручением от фру Лунд. Вы знаете, она осталась совсем одна, и она просит вас, когда у вас будет время, заглянуть в докторскую усадьбу.

— Слушаюсь, — сказал Август.

— Она получила телеграмму от доктора и хочет поговорить с вами.

— Я схожу к ней сегодня же.

— Благодарю вас.

Аптекарь Хольм отчалил. Он идет для того, чтобы идти, идет быстро, оставляет за собой всю Южную деревню, приходит в соседний округ и наконец, после нескольких часов ходьбы, заворачивает домой. Этот парень умеет гулять.

Хольм находится в самой середине Южной деревни на обратном пути, когда вдруг останавливается. С ним что-то происходит. Сладкое чувство, розовый огонь пробегает по его жилам. Другой на его месте не заметил бы, но странствующий Хольм остановился, он повернул и прошел кусок дороги обратно. И когда он, наконец, сидел дома и раскладывал пасьянс, он все еще чувствовал себя размягченным этим сильным впечатлением.

На другой день он пошел к жене почтмейстера и рассказал ей, что с ним случилось. Он гулял вчера по окрестностям и забрел в так называемую Южную деревню. Когда он шел уже домой, он услышал нечто и разом остановился: на небольшом холме стояла женщина и зазывала домой скот. Что случилось? Ничего — и все-таки что-то, нечто необычайное: чудесный призыв, обращенный к небу. Бесподобно! Он пошел обратно и подстерег женщину, когда она спускалась с холма, худая и бледная, около сорока лет, зовут ее Гиной, Гиной из Рутена. Он проводил ее до дому и разговаривал с ней. У нее муж и дети, и не то чтобы нищета, а что-то в этом роде, крошечный дворик весь в долгах. Муж имел обыкновение помогать музыкантам и подпевать во время танцев, но теперь он больше не хочет петь песен, потому что он вторично крестился и стал евангелистом. И по той же причине и жена его не хочет ничего петь, кроме псалмов, да она, пожалуй, ничего больше и не умеет.

— Но боже, фру, если б вы знали, какая красота! — восклицает Хольм. Она знает все псалмы наизусть и сидела и пела их, а голос лился рекой. Знаете, что я сказал? «Иисус Христос». Смешно, не правда ли?

— Какой у нее голос?

— Альт как будто бы.

Жена почтмейстера по привычке сидела с откинутой назад головой и полускрытыми глазами, — она была очень близорука, — но слушала внимательно и наконец сказала:

— Я постараюсь повидать ее.

— Конечно. Гина из Рутена. Маленький дворик в Южной деревне. Я сказал ей: пусть она и ее семья хворают

сколько им угодно, я даром буду давать им лекарства. Ха-ха, странное признание, но зато чистосердечное.

— Это далеко?

— Нет. Но ведь мы можем пойти к ней вместе?

— Да, если вы обещаете хорошо себя вести.

— Что?! — восклицает он. — Посреди дороги?

— Я вам не верю.

— Другое дело здесь, — говорит Хольм и осматривается по сторонам.

— Вы с ума сошли!

— В моих объятиях...

— Замолчите!

— Вот в эту дверь.

— Ха-ха, хороши бы мы были! Ведь это кухня!

— Вот видите, к чему это ведет. Вы до сих пор держали меня в неведении. Я хочу сказать — относительно двери.

— Молчите! Вы ничего не хотели сказать. А относительно женщины? Когда мы пойдем?

— В день и час, который вам будет угодно назначить.

— У вас, вероятно, отличный помощник в аптеке.

— Отличный.

— Потому что вы и день и ночь отсутствуете. Вас никогда нет в аптеке.

— Наоборот. Теперь, в отсутствие доктора, я очень много работаю. Особенно по понедельникам.

— Почему — особенно по понедельникам?

— Люди невообразимо любят по праздникам, потому что тогда у них много времени. А по понедельникам приходят за каплями.

— Выдумщик!

— Честное слово! Им нужно что-нибудь подкрепляющее.

— Что же вы им даете в таких случаях?

— А что вы сами принимаете, когда устаете от такого рода занятий?

— Я никогда не устаю — от такого рода занятий, как вы говорите.

— И я тоже, — к сожалению, — говорит Хольм. — Поэтому я не знаю, что мне им дать. Я давал им серную мазь. Что вы об этом думаете?

— Зачем? чтобы мазаться?

— Нет, они принимают ее внутрь.

— Нет, этого быть не может! — Фру взвизгивает от смеха.

— Нет, это так, потому что в ней есть мышьяк, который я иначе не решаюсь давать без рецепта от доктора.

— Мы можем пойти к этой женщине сегодня же.

Хольм. О, благодарю вас, благословляю вас! Если бы вы только знали, как красиво вы это сказали! Ваш голос — звон золотой струны под сурдинку...

— С часу до двух у меня ученик. Потом обед. Мы можем пойти в три часа.

— Замечательно удобно! Никто, кроме вас, не может угадать так мой единственный свободный час.

— Ха-ха-ха!

— Нечего над этим смеяться. Вы всегда попадаете в цель, раните меня. «Сердце от этого становится таким большим», — как пишут в книгах. Я никого не знаю похожего на вас, кто был бы так любезен, и красив, и мил, и привлекателен.

— Ни одного порока?

— Нет, у вас есть порок.

— Какой же?

— Вы холодны.

Фру молчит.

— Привлекательны, но холодны.

Фру. А вы кто? Только говорун. Вот именно. Вы хвастаетесь испорченностью, вы афишируете, делаете вид. Но все это — одно притворство.

— Вот это здорово! — сказал Хольм.

— Ну, а теперь ступайте. Сейчас у меня будет мой первый урок за сегодняшний день.

— Вы серьезно думаете то, что сказали?

— По крайней мере отчасти.

— Знаете что, фру, вам бы следовало дожидаться меня, вместо того чтобы приехать сюда с этим вашим торговцем марок.

— Ну, знаете что, я все-таки предпочитаю его вам.

— Вот здорово! — опять сказал Хольм.

— Да, предпочитаю.

— Тогда я не пойду с вами к Гине в Рутен.

— Нет, пойдете!

— Ни в коем случае! Послушайте: как вы думаете, могу ли я надеяться на успех у фрекен Марны?

— У кого?

— У Марны. У Марны, дочери Теодора из Сегельфосского имения.

— Этого я не знаю.

— Она мне очень подходит. Она из этих многообещающих натур, большая и великолепная. Мне же надо когда-нибудь жениться.

— Да, надо. И вам, как нам всем. Попробуйте взять Марну.

— Вы мне это советуете?

— О нет! В сущности — нет.

— Люблю-то я вас.

— Теперь уходите.

— Значит, я найду за вами в три часа.

И они отправились, — аптекарь со своей гитарой на широкой шелковой ленте через плечо, а фру под руку со своим мужем. Да, почтмейстер освободился от своих дел и пошел с ними.

— Она так ко мне приставала, — сказал он.

Хольм подумал, вероятно, что еще не известно, кто к кому приставал.

Его ужасно бесило, что почтмейстер присоединился к ним, эта особа, эта личность, которая не даст ему подурчиться и пошутить с дамой. Но погода была отличная, и кругом зеленели, цвели и благоухали луга и поля, щебетали птицы, на деревьях были уже крупные листья, на дороге ни души.

Почтмейстер Гаген отнюдь не был человеком, которого можно было не замечать. Немного ниже среднего роста, но хорошо сложенный и плотный; вид у него был умный, отличный вид. Он не обнаруживал готовности болтать о пустяках, но он не говорил и глупостей.

— А что, если мы покажемся на дворе у фру Лунд? Она так одинока в данное время.

Хольм. Но боже, что же мы будем там делать?

— Вы будете играть, а Альфгильд петь.

— А вы сами?

— А я пойду с шапкой.

Никакого сочувствия. Да почтмейстер, пожалуй, и не ждал его; вероятно он сказал это только для того, чтобы не молчать все время.

— Все-таки странный это случай — совсем вырванный глаз! — сказал он.

Хольм прервал его и тут же сочинил:

— Что же тут странного? Доктор возвращается от больного, он торопится, бежит сокращенным путем через лес и прямо глазом натывается на сучок. Что, если это случилось именно так?

— Ах, так это было так! Но ведь в Бодэ ему исправят?

— Нет. Он телеграфировал, что ему придется поехать в Троньем. Может быть, он уже уехал.

Разговор прекратился. Но почтмейстеру опять показалось, что нужно что-нибудь сказать.

— Только бы нам не спугнуть хозяев, к которым мы идем. Нас слишком много.

Хольм. Да, слишком много.

— Да я, пожалуй, могу спрятаться где-нибудь снаружи.

— Ни в коем случае! — говорит его жена и прижимает к себе его руку.

Почтмейстер согласен:

— Слово твое — закон, Альфгильд. Знаете, это хорошо, что я пошел с вами. Я ведь сию один целыми днями, сосу свою трубку и разговариваю со счетами. Здесь хороший воздух.

Хольм. Что это значит: разговариваете со счетами?

— То есть точнее это значит, что я разговариваю сам с собой.

— Это должно быть очень скучно, — выпаливает Хольм.

Но почтмейстер был добродушным парнем.

— Нет, почему же? Я очень занимателен. Я говорю гораздо лучше, когда я один, чем при других. Это бывает со всеми одинокими.

— Это вы, фру, делаете вашего мужа таким одиноким?

— Я сама одинока, — отвечает фру.

Почтмейстер. Да, ты одинока. Но вы — художники и музыканты, вы не так уж одиноки. У вас искусство, пение, гитара.

— А ты рисуешь.

— Я? рисую?! — воскликнул почтмейстер.

— Конечно, ты рисуешь. Ну, а теперь ты придешь в бешенство из-за того, что я это сказала.

— Ну, в бешенство, не в бешенство, а все-таки ты мне обещала, что не будешь этим шутить.

— Так, значит, вы рисуете? Я этого не знал, — сказал аптекарь.

— Я вовсе не рисую. Если б было хоть сколько-нибудь подходящее место в Геллеристинген, я бы перевелся туда.

— Ха-ха-ха! — засмеялась фру. Она, казалось, гордилась своим мужем и прижала к себе его руку.

Они подошли ко двору. Нигде не слышно ни ребенка, ни собаки, повсюду тишина. В окно виднелась женщина с обнаженной верхней половиной туловища, работавшая

над чем-то белым, что лежало у нее на коленях. У нее были вялые и отвислые груди.

Они остановились.

Фру спросила:

— Что же мы стоим? — И нацепила на нос пенсне. — Боже! — воскликнула она.

Аптекарь. Да, что же мы стоим? Насколько я вижу, эта дама занялась изучением жизни насекомых на своей сорочке.

— Ах, вовсе нет. Она ее шьет, кладет заплату.

Почтмейстер тихо добавил:

— Уважение к бедности!

Фру. Теперь она увидела нас.

— Да, — ответил на это Хольм. — Но она не торопится одеваться. Должен признаться, что я не знал, что они до такой степени «подземные». А не то бы...

— А что? Что вы ворчите? Вот и дети появились.

— Да, да. И вполне человекообразные существа.

— Почему это вы вдруг сделались таким циником? — спросила фру. — Вы, вы ведь кормили в гостинице голодных детей.

— Что такое?

— Да, мне говорили.

— Но какое отношение имею я к этому? — закипятился аптекарь. — Это дело хозяина гостиницы.

— Пойдите и узнайте, можно ли нам войти!

Им разрешили войти, и они вошли. Но почтмейстер пожелал побыть еще немного на воздухе.

Он пошел прямо по лугу. Там стоял человек и чистил канаву. Это был Карел, крестьянин из Рутена. Он был босиком и стоял по колено в воде и жидкой грязи.

— Бог в помощь! — поздоровался с ним почтмейстер.

— Спасибо! — отвечал Карел и поглядел на него.

У него было веселое лицо, при первом удобном случае расплывавшееся в улыбку. Глядя на него, нельзя было сказать, что он серьезно настроен и крестился вторично.

— Только не знаю, насколько бог мне помогает, — канава каждый год зарастает опять. А осенью здесь столько воды, что хоть мельницу ставь.

Почтмейстер заметил на лугу пруд, небольшое озеро.

— А нельзя разве осушить этот пруд?

— Отчего же нет? Если мне когда-нибудь достанется эта земля, я сделаю ее сухой, как пол в избе.

— А как здесь глубоко?



— Теперь, летом, в самом глубоком месте мне по колону. А под водой отличный чернозем.

— Ты должен спустить эту воду, Карел.

— Непременно должен.

— Это будет отличной подмогой для твоего хозяйства.

— Так-то это так. Но я не знаю, хватит ли у меня на это сил,— сказал, улыбаясь, Карел.— И я не знаю, как долго еще могу я распорядиться своим двором. Не отнимет ли нотариус его у меня?

— Нотариус Петерсен?

— Да. Ведь он теперь работает и в банке.

— А ты должен банку?

— Ну, конечно. Хотя и не бог весть что,— две-три удачных лофотенских ловли, и самое главное было бы улажено!

Карел почти смеялся, говоря это.

Пение из избы долетало до луга. Карел склонил голову и прислушался.

— Она поет,— сказал он.

Почтмейстер рассказал, что его жена и аптекарь вошли в избу, чтобы послушать Гинино пение. Аптекарь принес с собой гитару.

— У него гитара? — переспросил, встрепенувшись, Карел. Он вылез из канавы, отер о траву жидкую грязь с ног и сказал: — Пойду послушаю.

И влюбленный в музыку Карел из Рутена, рожденный из ничего, вскормленный нуждою, непреходящий певец на всех вечеринках Южной деревни, бросил работу и заторопился домой, чтобы послушать игру на гитаре. Никаких признаков серьезности и вторичного крещения.

В избе поздоровались.

— Как тебе не стыдно показываться босым! — сказала жена.

— Да,— отвечал с отсутствующим видом Карел: он все свое внимание сосредоточил на гитаре и не обращал внимания на гостей.

Когда аптекарь начал играть, Карел впился в него глазами.

— Теперь спойте, Гина,— попросил кто-то.

И опять, и опять разверзался потолок от чудесного голоса Гины. Карел все время стоял, наклонившись над гитарой, и с широкой улыбкой следил за пальцами аптекаря. Когда ему предложили попробовать гитару, он тотчас ухватился за нее и начал наигрывать, улыбаться и наигрывать, и так музыкален был этот человек, что среди многочисленных

ошибок прибегал и к таким приемам, которые, в сущности, свойственны лишь хорошо обученному музыканту.

Уходя, аптекарь оставил свою гитару в руках Карела.

На обратном пути они наткнулись на Августа. Он стоял у кузницы и опять спорил с кузнецом, который не умел делать самые простые вещи. Крючья для развешивания автомобильных шин в гараже были до того перекалены, что ломались от тяжести, он просто пережаривал их. Август кипятился.

Мимоходом аптекарь спросил:

— Что же, вы были у фру Лунд?

Август молча кивнул головой.

— И вы были также в конторе у окружного судьи?

Август, расстроенный и мрачный, только поглядел на него.

— Я хочу сказать, ходили ли вы за деньгами, за миллионом? Может быть, стоит напасть на вас.

Август покачал головой.

Нет, он не получил никакого миллиона, у окружного судьи не было для него денег. Все важное сообщение заключалось в письме от Паулины из Полена, где она писала, что не намерена выдать ему чековую книжку, — «передайте это Августу». Во-первых, он не имеет никакого отношения к этим деньгам, потому что он оставил ей, Паулине, все, что у него было в Полене, — также и деньги, которые могли бы ему достаться в лотерее. Документ был подписан двумя свидетелями. А во-вторых, Август сам может приехать в Полен за деньгами, — иначе какая у нее гарантия, что он именно тот человек, за которого себя выдает?

Чертовка Паулина, верна себе до конца, ловкая, острая, как бритва и честная до глупости. Он словно видел ее теперь уже старую, с белым воротником вокруг шеи, с жемчужным кольцом на пальце.

Окружной судья охотно бы помог Августу, он бы сделал это, он был доброжелательный человек. (Кстати, через несколько лет судья погиб от случайного выстрела в Сенье.)

— Значит, есть какие-то затруднения с деньгами из Полена? Они были завещаны кому-нибудь другому?

— Да, — отвечал Август.

Но это ровно ничего не значит: он знает Паулину, — она не возьмет ни одного эре из этих денег, она только так говорит.

Тогда, может быть, Август сам поедет за деньгами?

Нет. Кроме всего прочего, он ни в коем случае не может бросить все свои дела у консула, в особенности постройку дороги. От него зависит много людей.

— А не можете ли вы удостоверить свою личность при помощи бумаг, чтобы дама Паулина почувствовала себя уверенной?

— Это будет трудно.

— У вас нет бумаг?

— Нет.

— Но разве доктор Лунд и его жена не знают вас по Полену?

Еще бы! Как им не знать? Не один стакан грога выпил Август у них. Если доктору и его жене хотелось видеть гостя у себя вечером, им стоило только позвать Августа, и он тотчас являлся. Он мог бы сходить в докторскую усадьбу сию же минуту и получить удостоверение, что он именно и есть настоящий Август, но самого доктора нет дома: он уехал в Троньем, и никто не знает, когда он вернется.

Августу чертовски не везло. Оставалось только ждать, ждать и ждать...

#### **ГЛАВА XIV**

---

Да, Сегельфосс не процветал. Что-то, вероятно, было не так. Может быть, город был основан не на том месте, может быть, слишком густо расположились кругом дворы, при каждом дворе было слишком мало земли, а землю слишком плохо возделывали. Вероятно, все происходило от этого. Ничто не преуспевало и не становилось полным и пышным во славу божию, не было ни одного человека, у которого глаза заплыли бы жиром, ни одного животного, хотя бы слегка обезображенного излишком питания. Напротив. Скотина целыми днями бродила по лугам и не наедалась, каждая кочка, каждый бережок возле ручья были обглоданы овцами, коровы принуждены были довольствоваться вереском и листьями с деревьев и не давали молока. Таково было положение. Но на расстоянии всего лишь какой-нибудь мили или полумили от Южной деревни лежали обширные пространства зеленых горных пастбищ, настоящий рай для мелкого скота. Существовало предание, что Виллац Хольмсен пас там летом своих овец.

А рыболовство для домашнего потребления, — какую роль играло оно в окрестных деревнях? Люди, жившие у самого

моря, приносили другой раз связку мелкой трески или мерлана, ровно на одну варку, и ничего для следующего дня, — что же это было за рыболовство для домашнего потребления? Рыбаки из города спохватывались иногда и проделывали длинный путь в полверсты до залива возле Северной деревни, где на белом песке острогами били камбалу. Да, но тогда им приходилось не спать целую летнюю ночь напролет, и в два часа они с бутербродами пили кофе, — что же они зарабатывали на этой ловле? И разве не приходилось им потом спать весь следующий день?

Да, условия жизни в Сегельфоссе были неважные.

Но Гордон Тидеман все же жил, жил широко и действовал, и был видным человеком и консулом. Он делал бессмысленные вещи только в силу своей тщеславной жажды деятельности; тому пример — дорога в горах и охотничья хижина. Но он делал еще худшие вещи просто из шутовства, например, купил себе блестящую моторную лодку, чтобы выходить навстречу пароходам и показываться. — Ну, на что она была ему теперь, когда пароходы приставали к его большому молу и грузились прямо с берега? А моторная лодка, сверкая политурой и медью, лежала без дела тут же и стояла и денег и забот.

Все это так. Но Гордон Тидеман был, по крайней мере, энергичный человек и, между прочим, с большим успехом поставлял лососей. Кроме того он серьезно взялся за дело и послал одного из своих дельных приказчиков в Хельгеланд, в качестве коммивояжера. Конечно, он снабдил его отличной экипировкой, дал ему прежде всего костюм и часы на золотой цепочке и затем изящные чемоданы для образцов, богато отделанные медью. Это стоило немало, но парень этого вполне заслуживал: он был как бы создан для своей специальности и прислал уже несколько заказов.

А помимо этого Сегельфосс был мертвым и даже нелепым городом.

Кое-кто начинал коситься на горную дорогу консула. Строительство украшало, пожалуй, пейзаж, но, глядя на него, многие ворчали и покачивали головой. Кто бы мог подумать об этом! Конечно, разговоры начались в Северной деревне, которая отставала и в смысле науки, и в смысле благородного обхождения и была занята лишь хождением в церковь и старинным благочестием, в духе отцов. Они возникли сначала среди женщин и старых мужчин, и может быть даже первоначальные слова были произнесены Осе.

— Бедным мышам и воробьям покоя нет,— сказала Осе,— так они стреляют и грохочут в божьих горах!

— Вот именно,— сказали старики Северной деревни и покачали головой.

И они принялись судить и рядить, и время перепуталось в старых головах, и годы переместились: франко-прусская война, кровавое северное сияние на небе, окружной врач Павел Фейн, погибший на море, предсказание пророка Иеремии о комете, опустившей свой хвост на остров и произведшей землетрясение,— все это сводилось к исходной точке, к словам Осе о шуме на горной дороге.

Ведь в горах жили люди, подземные люди, народ Хауга, со своим земледелием и своим скотом, богатые и мирные существа, которые не причиняли никакого вреда людям и земле, если только их оставляли в покое. Все эти сумасшедшие крики и предупреждения, когда взрывали горы, сами взрывы, стуки и громкие разговоры с ранней весны, верно, беспокоили подземных и мешали им, и может быть, даже принудят их переселиться в другую гору. Люди на земле ничего от этого не выиграют. Старики в Северной деревне до сих пор еще помнили, что пришлось вытерпеть их родителям от подземных, когда ставили первые телеграфные столбы и подняли такой громкий шум и суматоху людей с лошадьми. А на корабле, на котором везли телеграфную проволоку, с реи упал железный блок и убил матроса. Его еще похоронили на Гамарском кладбище, на острове. Но это еще не все. Никогда не было в этом краю столько грома, и молний, и непогоды, как тогда; у Виллумсена ветром крышу сдуло,— все это помнят. Новую крышу пришлось привязать двумя толстыми железными цепями, которые можно видеть и по сей день,— ступайте, взгляните! И верно, уж никто не забыл, до чего жалка была рыбная ловля в Лофотенах в ту зиму, нельзя даже сказать, что был средний улов,— так это было плохо. Потом наступила весна, и стало еще в десять раз хуже: под самый сенокос выпал снег, а рожь так и не созрела. Как раз в то лето потревожили подземных в местности южнее, и они перебрались в Сегельфосские горы. Здесь повсюду были глубокие пропасти, поэтому им легко было проникнуть внутрь, им даже не пришлось зарываться в горы, что, говорят, им вовсе не так-то просто. Они попадались людям, когда переселялись со всеми своими лошадьми и большими стадами; говорят, было очень много коров, лоснящихся и жирных, все равно как стая сельдей в море. Тот-то и тот-то из предков встречали их; вот Арон

видал, и он не один раз рассказывал об этом. Но когда он лежал на смертном одре и к нему пришел священник, то он не захотел признаться и сказал, что все это ложь. Но он так сказал потому, что был при смерти и ничего не соображал. В тот же самый день их встретила и Ингеборг из Утлена. Она шла и вязала серые с красным чулки и только собралась спустить две последние петли на втором чулке, как к ней подошла подземная женщина и попросила у нее чулок. «Носи на здоровье,— сказала ей Ингеборг.— А может быть, тебе дать и другой?» — спросила она. Та взяла и другой чулок. И Ингеборг не осталась в накладе до самого последнего часа,— это ведь она достигла такого богатства и знатности в Вестеролене, и вышла замуж сначала за одного брата, а потом за другого, и получила в наследство все после смерти обоих.

— Да, так-то всегда бывает,— сказал старик.— Когда угодишь подземным и окажешь им хоть малую услугу, они вознаградят тебя сторицей. А теперь что? Они стучат и стреляют в горах хуже всяких троллей и дикарей, стены и дороги пересекают и преграждают одну пропасть за другой, и бог знает, что случится теперь с нами, с земными людьми. Если б я был так молод, как я стар, то я бы знал, что предпринять. Они захотят покинуть гору, попомните мое слово, и счастлив тот, кто повстречает их на пути и даст им хотя бы небольшой подарок: он с той же минуты узнал бы, что такое счастье и успех и теперь и в будущем. Это ничего, если подарок невелик, потому что народ Хауга ценит доброе желание. Так, например, шиллинг был бы совсем не у места, как бы он ни был блестящ, потому что у подземных свои собственные деньги и наши им ни к чему. Вот, кажется, в денежном ящике в сегельфосской лавке заблудился каким-то образом престранный шиллинг. И это случилось как раз в тот день, когда подземный человек побывал в лавке и купил себе немного табаку того сорта, который курим мы, земные люди.

Кто-то из молодежи возразил, что это был вовсе не подземный человек, а немец, один из немцев-музыкантов, игравших в городе.

— Откуда у тебя эти сведения? — обиженно спросил старик.— Мне-то говорил об этом сам Мартин, приказчик.

— Да, но Мартин-приказчик ходил потом с монетой к консулу и спрашивал его. А консул едва на нее глянул, как тотчас определил, что это немецкая.

— Ну, конечно. Мы в наше жалкое время ничего не знали. Это вы, молодежь, читающие книги и газеты, вы

знаете все и ни во что не верите. Мой дед возвращался раз из лесу ясным зимним вечером, светила луна и звезды. Он отпряг лошадей, поставил сани оглоблями вверх и вошел в избу. Там сидело двое незнакомцев; это были звездочеты, утром они собирались пойти на Сегельфосскую гору, чтобы найти там звезду, которая у них куда-то пропала. «Ночью снег выпадет», — сказал мой дед. «А ты почему знаешь?» — спросили звездочеты, все равно как Фома Неверный, и указали в окно на лунный свет. «А я вижу это по лошади, — отвечал дед, — потому что она два раза вздрогнула, пока я ее отпрягал». И действительно, сбылось точь-в-точь, как он сказал. Утром он был до смерти рад, что поставил сани стоймя, а то бы под снегом он ни за что их не нашел.

— Ну, уж весной-то он, верно, на них наткнулся бы, — прошептал кто-то из молодежи.

— Расскажи еще! — попросил кто-то другой.

Но старик был все еще обижен:

— Нет, зачем я стану рассказывать? Вы же знаете все гораздо лучше меня. Звездочеты тоже знали все на свете.

— Да, но в горы им, вероятно, все же не удалось попасть из-за снега, этим звездочетам?

— Нет, в горы они не попали. Но звезду все-таки нашли.

— Как же это случилось?

— Так, они посмотрели повнимательнее в календарь и нашли там эту звезду вместе со всеми остальными.

Всеобщая сенсация:

— Вот это замечательно! Вот здорово!

Старику понравился успех, который имели его слова, он стал ласковее и заговорил опять:

— Консул мог бы поглядеть повнимательнее на деньги.

— Может быть. Да, пожалуй, мог бы. Расскажи еще.

— Нет, больше не стану рассказывать. Но как бы там ни было, а будь я помоложе, непременно пошел бы в лес попытать свое счастье, когда подземные станут переселяться.

— Интересно, что бы лучше всего поднести им в подарок?

— Да разное. Почти все равно — что: или галстук, или две-три сальных свечи. А лучше какое-нибудь блестящее украшение. Я бы протянул им подарок обеими руками и не побоялся бы. Но само собой разумеется, я бы сходил сначала к причастию, чтобы они не возымели надо мной власти.

Когда старик замолчал, молодежь стала говорить между собою:

— А Беньямин говорит, что видал их.

— Видал подземных? А где?

— Да вот этой осенью, раз вечером, когда он шел домой из Южной деревни. Вдруг перед ним на дороге очутилась женщина. Я сказал ему, что это, вероятно, была Корнелия. Но он только что вышел от Корнелии.

— Ну, и куда девалась женщина?

— Она упорхнула в лес.

— Это была Корнелия, я готов побиться об заклад. Беньямин немного боится темноты, вот ему и показалось.

— А я хотел бы быть на его месте! Он ел хлеб консула день за днем, в течение двух недель. От этого у него завелись деньжата, нужды нет, что теперь это прошло.

Теперь это прошло. Гараж был отстроен, и даже автомобиль прибыл. И шеф и Август ездили на пробу со знающим человеком с Юга, и оба с блеском заслужили свои удостоверения. Таким образом Беньямин сделался лишним, и Август отказал ему. Они расстались без тени благосклонности со стороны Августа. Беньямин получил свою отставку, написанную черным по белому.

В сущности Августа очень забавляла эта работа,— создание салона для автомобиля, будуара со стенами из плит стального цвета. Лучшим его помощником был Беньямин, этот славный малый из Северной деревни, избранник Корнелии, которым он мог командовать и распоряжаться. Конечно, он завидовал молодому человеку, и хотя Корнелия была так же далека от него, как на небе звезда, все же он преследовал Беньямина своей нелепой ревностью.

— У тебя ведь есть двор, почему же ты не женишься?— с заметным недовольством спрашивал Август.

— У меня нет двора,— отвечал Беньямин,— это двор отца.

— Дрянной двор, насколько я знаю, как все дворишки здесь в окрестности.

— Нет, это хороший двор, могу вас уверить.

— Там растут апельсины?

— И красивый двор,— продолжает невозмутимо Беньямин.— Вам непременно нужно прийти и поглядеть наш двор.

Август фыркает:

— Будто мне нечего больше делать, как ходить и глядеть!

— У нас четыре коровы и лошадь. Немного найдется таких крестьян, у кого больше.

Август зафыркал еще громче:



- А я был в одном имении в Америке, где было три миллиона голов скота.
- Ну, это я даже и не понимаю.
- Тебе бы следовало жениться на девушке из этой твоей Северной деревни — и дело с концом.
- Беньямин. Она не из Северной деревни, а из Южной.
- Август все не унимался:
- Ну, это еще не известно!
- То есть как?
- Дело в том, что работа у меня кончена. Тебе незачем больше приходить сюда.
- Так, значит, кончена?
- Да. Слышишь ты?
- Ну что ж, — сказал Беньямин, — кончена, так кончена. Но если я понадобится вам когда-нибудь потом, то, пожалуйста, пошлите за мной.
- Август. Ты мне не понадобишься. Да, что это я хотел сказать? Я не понимаю, чего ты ждешь. Ты ведь уж достаточно взрослый. В твоём возрасте я овдовел уже во второй раз. Может быть, у тебя нет даже невесты?
- Как же — нет? Тут нечего скрывать: у меня есть девушка, которую я люблю, и которая в свою очередь любит меня. Это та самая, которую зовут Корнелией.
- Я этого не знаю.
- Как же так?
- Разве ты танцуешь с нею? А на святках разве она сидит у тебя на коленях?
- Вы такой странный со мной! — говорит Беньямин.
- И вы охотно пьете кофе из одной чашки?
- Беньямин улыбается:
- Это бывает. Но почему вы спрашиваете об этом?
- Эти рождественские танцы — настоящая чертовщина и один грех. Меня ты там никогда не увидишь.
- Но и вы, вероятно, в молодости принимали в них участие?
- Нет, — говорит Август, — я считал это недостойным себя. В молодости? Я и сейчас еще не стар для этого, — можешь не беспокоиться. Ты думаешь, вероятно, что ты один молод, но ты бы поглядел на меня в большом заграничном зале. Стоило мне только появиться, и никто не смел ступить на паркет! Передай это Корнелии от меня.
- А вы ее знаете?
- Скажи пожалуйста, чего ты тут стоишь и задерживаешь меня? Я же сказал, чтобы ты шел.

Бенъямин. Ну, хорошо. Но вы так странно говорили со мной. Только она вовсе не из Северной деревни, нет, моя девушка из Южной.

— Я подумаю об этом,— сказал Август.

Боже, и чем только его не беспокоили! Бородатый малый из Северной деревни вообразил себе, что может говорить о своих любовных делах со старостой. Ничего подобного не случилось на белом свете...

Август должен был встретить своего шефа. Им нужно было вместе осмотреть дорогу. По дороге, которая вела от деревни к деревне и пересекала город, можно было ездить на обычной тележке, но консул, верно, пожелал узнать, как далеко он сможет проехать на юг и на север, чтобы поражать там своим автомобилем людей.

Консул сидит у руля. Он правит вполне свободно: еще бы — этому искусству он научился за границей! Народ отскакивает в сторону; эти люди до того удивлены, что смеются. Еще бы! Уж этот консул! Через Сегельфосский водопад перекинут каменный мост, старинный и невероятно прочный, с перилами из железа.

«Здесь где-нибудь происходит вторичное крещение»,— думает, вероятно, Август и, может быть, немало возмущается от такого свинства по отношению к святому духу. Когда громкий гул водопада остается позади, он говорит:

— Как жаль, что эта большая мельница пропадает зря там, на горах!

— Она не окупалась,— отвечает шеф.

— Может быть, она окупилась бы в качестве фабрики.

— Не знаю. В качестве какой фабрики?

— Можно было бы устроить бойню, кожевенный завод, ну, кстати, и камвольную фабрику. Три фабрики за раз.

Шеф останавливает автомобиль, думает и говорит: — Для этого здесь слишком мало овец.

— Здесь может быть столько же овец, сколько звезд на небе.

— Ты думаешь?

— Да,— продолжает Август,— и сколько песку на дне морском.

— Им нужен корм.

Август показывает на горы и отвечает:

— Там, наверху, целые квадратные мили корма. Тысячи голов могли бы пастись там. И кроме того, там имеется еще одно достоинство: там нет ни волков, ни медведей, ни рысей, никаких хищников. Нужен всего лишь один пастух.

Консул помолчал немного и сказал:

— Мельница, верно, скоро развалится. Я не был там с тех пор, как стал взрослым.

И консул неожиданно взглядывает на часы, словно собирается сейчас же бежать к мельнице. Но нет, он опять пускает машину в ход.

Дорога вела мимо церкви и еще довольно далеко, но потом становилась все уже и уже и под конец разветвлялась и разбегалась к дворам и избам. Им приходилось ехать тихо и осторожно: какой-то воз порядком задержал их, лошадь стала на дыбы, а парень никак не мог на них наглядеться досыта.

Август продолжает думать; ему, верно, кажется, что осенившая его мысль об устройстве фабрики, все равно какой,— блестящая мысль, идея. С самого начала это была случайная фантазия, возникшая в одно мгновение в его быстром уме, и она сразу выросла до трех предприятий. И он спрашивает как бы случайно:

— Консул не знает, кому принадлежит эта гора?

— Нет. Может быть, общине, а может быть, государству.

— Это бы отлично подошло. Она бы мигом стала вашей.

— Моей? Нет,— говорит консул и качает головой,— мне она не нужна. Впрочем, я слышал, что у кого-то из прежних владельцев Сегельфосса паслось много овец в горах. Одного я не понимаю,— откуда он брал корм для них зимой?

— Вероятно, овцы были вывезены откуда-нибудь.

— Может быть. Но и вывезенным тоже нужен корм.

Август замолк на некоторое время. Он понял по шефу, что вопрос относительно фабрики еще не решен, но ему и на этот раз, как всегда, хотелось щегольнуть своей выдумкой, на это у него была быстрая голова.

Шеф сказал:

— Ты человек с идеями, На-все-руки. И ясно, что тут у нас следует что-то предпринять. Но я не обладаю достаточной властью.

Но ровно настолько, насколько шеф остыл, Август разгорелся:

— Но ведь стоит только нагнать туда овец.

— Да, на лето,— сказал шеф.

Август тотчас воспользовался опытом, собранным им по белу свету:

— Мне приходилось видеть, как овцы хорошо переносят и зиму, и непогоду в Австралии и Африке. Это для них

ничего не значит. Ну, а вот засуха летом морит их, как мух.

— Здесь их убил бы снег. Ты не думаешь?

— Я наблюдал овец немного и здесь, в Норвегии.

Шеф молчал.

Но Август зашел на этот раз слишком далеко, да, к сожалению, слишком далеко, и погубил свою идею:

— Консул, может быть, не поверит мне, но это такая же правда, как правда то, что я стою сейчас перед вами: когда-то по всему Гардангерскому плоскогорью паслись мои стада.

Шеф остановил автомобиль:

— Как?! Я так долго жил за границей, что ничего не слышал и не читал об этом.

— Сначала я хотел его купить, а потом арендовал всю равнину.

— И у тебя были там овцы?

— Несколько тысяч, тысяч десять.

Консул старался понять, старался принять участие в этом бешеном полете:

— Но я не понимаю, а как же осенью? зимний корм?

— Нет, осенью я резал. Я посылал мясо во все страны, но вы, может быть, не читали об этом.

— Нет. Но как же? Раз ты зарезал всех овец, то у тебя ничего не осталось на племя?

— Нет, видите ли, консул, мне пришлось уехать. Я не мог больше оставаться, так как получил место в Южной Америке.

Консул замолчал. Потом поехал дальше.

Август тоже молчал. Он понял, что ему не верят, но это его не очень-то смутило; это никогда его особенно не смущало. Он не раскаивался ни в чем, что наговорил, ни в одном слове. Ведь это было его миссией — содействовать развитию и прогрессу, и он успел уже во многих местах произвести опустошение. Но он не знал этого и потому был невинен; он боролся за человеческое развитие, хотя эта борьба и кончалась бессмыслицей и гибелью. «Как же нам не идти в ногу? Позволить за границе смеяться над нами?» Время, дух времени отметил его и воспользовался им, мог воспользоваться даже им, он был странником, морским путешественником, весь в заплатах и внутри и снаружи, без сомнений, без совести, но с умной головой и ловкими руками. Время делало его своим пророком. Его призванием было содействовать развитию и прогрессу, даже уничтожая порядок вещей. Он был чудовищно лжив, как

само время, но не сознавал этого, и потому был невинен. Теперь он был уже стар, но еще дышал, бог позволил ему быть.

— Я смотрю, где бы нам повернуть? Дальше не проедешь.

На обратном пути можно было показаться большому количеству народа: вероятно, от двора к двору прошел слух. Что это было за зрелище! Не комета, а экипаж, который двигался сам собой. Уж этот консул! Какая досада, что он не мог ветром промчатся по полям и горам, а так даже куры не пугались.

Они вернулись обратно к мосту и переехали его, когда Август сказал вдруг:

— Это могла быть также фабрика иода.

— Что?

— Да, чтобы добывать иод.

Черт знает, что это делалось со старым На-все-руки и его фабриками! Теперь опять словно падающая звезда пронеслась в мозгу консула.

— Да,— сказал он.— Иод, кажется, хороший предмет торговли, это какое-то лекарство.

— А здесь пропасть сырья, из которого можно его делать: водоросли и медузы лежат грудями перед каждой дверью, даром пропадает добро.

— Это правда. Мы употребляем немного водорослей вместо удобрения, но как следует мы их не используем.

— Для этого нужно только несколько машин.

Консул спросил:

— Так ты работал и в этой отрасли?

— Немного.— Августу захотелось, верно, загладить несколько свое предыдущее хвастовство, и он сказал: — Я не был каким-нибудь начальником или чем-нибудь в этом роде, а только простым работником.

— Да,— пока я помню,— прервал его консул.— Необходимо поставить решетки перед самыми большими обрывами на горной дороге.

## ГЛАВА XV

---

Доктор Лунд и его сын вернулись обратно. Они оба вылечились, то есть мальчик должен был еще некоторое время ходить с палочкой, а доктор приехал домой со стеклянным глазом.

Проклятая Осе! Глаз не удалось спасти: ее грязные пальцы занесли в рану заразу и окончательно погубили глаз.

Но, впрочем, это ничего: стеклянный глаз был так же красив, как и настоящий, он только не мог двигаться и вспыхивать огнем. Никто не замечал особой перемены в докторе Лунде, но сам он чувствовал себя ограбленным и обезображенным.

И он сказал своей жене, хотя и шутливым тоном:

— Я не могу себе представить, что ты все еще хочешь меня!

И когда она засмеялась в ответ, он несколько обстоятельнее развил свою мысль: ведь это же на редкость отвратительно иметь такой недостаток, а такая красивая женщина, как она, легко найдет себе другого.

— Да что ты, совсем с ума сошел! — закричала она в восторге. — Я бы все равно любила тебя, даже если б ты ослеп!

И действительно, нет худа без добра: со дня своего несчастья доктор Лунд стал совсем другим человеком. Он сильнее привязался к своей жене, влюбился в нее снова, стал ревнив, как юноша. Что из того, что она была из Полена, из самой бедной избы и дочь самых простых родителей? Возродились жизнь, объятия, безумные брачные ночи, смех в доме. И фру Эстер никогда больше не прокрадывалась на чердак, чтобы плакать. Да будет благословенна Осе!

Пришел Август.

— Пойди-ка сюда, Август, посмотри здесь на свету и покажи, какой глаз у меня вставной?

Август посмотрел на свету на глаз доктора, но так бегло, что удачно указал здоровый глаз.

Доктор ничего не имел против такой любезной ошибки, но все же воскликнул:

— Ах ты, жулик! Ты сговорился с Эстер. Мне бы следовало указать вам обоим на дверь.

Август объяснил это тем, что не надел очков, и это казалось достаточно правдоподобным. Но доктор был пренаивно доволен. Если его недостаток виден не иначе как через очки и в лупу, то, верно, он уж не так ужасен, не правда ли?

— И потом вот что, Август, я слышал о твоём желании, чтобы мы засвидетельствовали, что ты именно тот, за кого себя выдаешь. Я с удовольствием сделаю это. Посиди немного, выпей еще чашку кофе.

Доктор написал что-то.

— Пойди сюда, Эстер, подпишись ты тоже!

После этого начался долгий дружественный разговор. Вошел мальчик с палкой.

— А вот и другой калека,— сказал доктор.— И он тоже выздоровел.

— Как — другой калека? — спросил Август, словно не понимая, в чем дело.

— Первый калека — это я.

— Не говори так! — воскликнула фру и зажала мужу рот рукой.

Доктор. Пойди, разберись в женщинах, Август. Возьмем хотя бы Эстер: она никогда прежде не была так мила со мной. Она перестала меня обижать.

Болтовня, шутки, домашнее счастье, полное единение, жизнь в мире.

Когда Август собрался уходить, фру проводила его.

— Что ты думаешь, Август, спрашиваю я тебя, что ты об этом думаешь? Видел ли ты когда-нибудь такую перемену? Мне не верится больше, что я на земле. Мне так хорошо стало жить.

— Вы заслуживаете всяческого счастья!

Фру продолжала:

— С тех пор как он вернулся и стал совсем другим, я ни разу не вспоминала Полен. Я не чувствовала в этом потребности.

— Какой там Полен! — Август махнул только рукой и ни на секунду не остановился мыслью на Полене.

И все-таки Август когда-то сам был из Полена и даже до сих пор еще не совсем покончил с этим жалким местечком. Он ждал оттуда денег. Письменное свидетельство супругов Лунд было отослано, и тотчас пришел на это ответ от Паулины. Она оставалась непоколебимой. Самое меньшее, что Август может сделать, — это приехать за деньгами. Ему следует ознакомиться с давнишним длинным счетом, она истратила из первоначальной выигрышной суммы в двадцать тысяч немецких марок значительную часть, оплатила все Августовы долги, но большая половина денег осталась; с течением времени она увеличилась вдвое, и даже больше. Паулина требует, чтобы Август приехал. Впрочем, он может и не приезжать, — как ему будет угодно.

— В сущности, я понимаю эту даму, — сказал окружной судья. — Она, кажется, ловкий делец.

— Да, не правда ли? — воскликнул Август. — Но более справедливого и религиозного дельца не существует по эту сторону Атлантического океана. В этом я смею вас уверить.

Окружной судья по-прежнему хотел помочь ему и сказал:

— А что, если вы сами напишете ей письмо и объясните, что у вас много дела и вы никак не можете уехать отсюда? Следовало бы это сделать.

Конечно, следовало бы написать, но день проходил за днем, а Август все откладывал. Он так и не написал письма, так и не собрался. И как в самом деле сочинить такое странное письмо? Это не деловое письмо от такого-то числа со ссылкой на такую-то бумагу, «честь имею» и прочее; в сущности, это была бы просьба, выпрашивание денег, которые он когда-то отдал одним мановением руки. Нет, он не написал. «Пусть уж лучше они останутся у тебя, Паулина! А я проживу те дни, которые мне осталось жить на земной коре, и без этих денег. Итак, с тобой навсегда прощается Август...» Но все же тяжело было терять такую крупную сумму, именно теперь, когда она могла ему понадобиться не для одного, так для другого. И как Паулине не стыдно было перед настоящим другом детства и перед товарищем!..

Нет, уж лучше он пошлет телеграмму. Эту широкую привычку телеграфировать он приобрел еще в молодые годы, — кто же станет писать длинное письмо, когда можно послать короткую телеграмму?

Он сидит на телеграфе, пишет и зачеркивает, пишет и зачеркивает. Он не сидел бы там так беззаботно, если бы знал заранее, что случится. Начальник телеграфа вышел к нему в переднюю комнату с тяжелой с медными уголками книгой под мышкой — с русской библией.

— Я увидел вас и хочу спросить кой о чем, — сказал он.

Дело в том, что начальник телеграфа, книжный червь, заподозрил, что русская библия была вовсе не библия, и не знал, как разрешить свое сомнение. Почему русская библия должна выглядеть именно так? Это могла бы быть и другая книга. С другой стороны, почему русской библии не выглядеть именно так? Очень это все сложно. Но она не похожа и на адресную книгу. Вопрос этот не давал покоя книжному червю; это была черт знает что за библия, из-за нее он не спал несколько ночей.

— Можете ли вы читать эту книгу? — спросил он.

Август улыбнулся:



— Для меня это — плевое дело.

— Что это за слово?

— Вот это? Оно означает по-норвежски нечто вроде Пилата.

— А это?

— Это означает: «ссылаясь на». Да, вот именно: «ссылаясь».

— Не знаю, уж не шутите ли вы,— сказал начальник телеграфа и грубо добавил: — Да, и вообще разве вы знаете русский язык?

Август опять улыбнулся.

Начальник телеграфа. Мне не известно, умеете ли вы читать по-русски, или нет, но только вы держите книгу вверх ногами. Я вижу это по греческим буквам.

Август смутился:

— Ну что ж,— сказал он,— я, пожалуй, переверну книгу, но для меня это одно и то же, потому что я могу читать и вверх ногами.

Начальник телеграфа. Вы совершенно уверены в том, что вот эта книга — библия?

Август обиделся:

— Если вы сомневаетесь в том, что это священная библия и божественные словеса, то я возьму у вас всю библию за те же пять крон, которые вы за нее заплатили.

Не оставалось ничего другого, как поступить именно так. Правда, расход был колоссальный, библия ему совершенно не нужна, он даже не мог бы дать ее взаймы. Но нужно было поддержать свой престиж.

Начальник телеграфа ткнул пальцем в книгу:

— О чем говорится в этом стихе?

— В этом стихе? О крещении. Да, об Иисусовом крещении.

Начальник телеграфа громко воскликнул:

— Тут? в самом начале? В Ветхом завете?

Августу очень не хотелось расставаться с пятью кронами, и он постарался выйти с честью из положения:

— Я плохо вижу в этих очках, никогда в них хорошо не видел, но это были единственные очки, которые мне удалось купить в то время. Я купил их на рынке в Ревеле, в стране, которая называется Эстонией. Там было множество других вещей, и я мог бы их купить. Но когда я увидел человека, продававшего очки, то пошел к нему. Он был одет в поддевку и подпоясан веревкой, а на голове у него был котелок, хотя ноги были босы. Вы, вероятно, никогда не видели такого продавца.

Начальник телеграфа ждал, все более и более волнуясь, и наконец, возмущенный, опять указал в книгу:

— Так, значит, в этом стихе говорится о крещении? о крещении Иисуса?

— Нет, я это не утверждаю, — отвечал Август. — Может быть, здесь идет речь и о чем-нибудь другом. В школе я учился довольно сносно, и вообще — чего я только не знал! Но что вы хотите от старого человека? Сейчас я хорошенько протру свои очки и погляжу еще раз. Но если у человека нет порядочных очков...

— Подождите немного! — попросил начальник телеграфа и бросился к аппарату, который все стучал и стучал. Август не стал ждать.

Август закончил свои разнообразные работы в усадьбе и опять мог посвятить себя постройке дороги. Напоследок ему пришлось показать редактору Давидсену автомобиль и снаружи и изнутри и объяснить устройство мотора. Это послужило материалом для статьи в газете.

Кроме того, не обошлось и без людей, которые приходили к нему советоваться, просили его помощи и хотели воспользоваться его осведомленностью. Так, например, двое из правления кино просили Августа покрыть цементом пол в зрительном зале. Он мог бы делать это вечерами, в свободное время. Но Август только головой покачал в ответ на такое предложение: он работал у консула и не мог принимать частные заказы от разных лиц из округи.

— Нет, нет, добрые люди, у меня и без того много обязанностей.

— Вот обида! — сказали члены правления. — Мы в таком затруднении: прежний пол прогнил окончательно.

Но занятой человек все же нашел время, чтобы сбежать ненадолго в Южную деревню. Был субботний вечер, погода летняя. Август начистил до блеска сапоги и нарядился в светлый полотняный костюм, купленный в сегельфосской лавке. Вместо пояса он повязал вокруг талии красный платок с бахромой. Он выглядел совсем чужестранцем, чего, вероятно, и хотел достичь. В кармане штанов позвякивала связка из восьми ключей, — это могло навести на мысль, что где-то у него имеются восемь запертых сундуков.

В доме у Тобиаса не было прежнего уюта, — все мирское было изгнано из душ и умов семьи: проповедник вернулся исполнить свое призвание. И кто бы мог ожидать это от

Тобиаса и его домашних! Ведь он был такой уравновешенный и дельный человек. Но проповедник, евангелист, произвел на Тобиаса впечатление, мысли Тобиаса спутались, дело со святым духом оказалось крайне сложным, кончилось тем, что не только он сам и его жена, но и Корнелия отправились к Сегельфосскому водопаду и крестились в текущей воде. Кто бы мог это подумать!

Движение охватило всю деревню. Креститель до многих дотянулся своими длинными руками, он улавливал даже кое-кого из конфирмандов, из детей школьного возраста, и заставлял их на собраниях свидетельствовать о своем обращении, стоя на коленях. А пока еще рано было надеяться на осень и на более прохладную погоду, в крестильной воде все еще было пятнадцать градусов.

Но нечто все-таки произошло: приехал проповедник, конкурент крестителю. Он остановился в Северной деревне и был только простым проповедником Нильсеном, без крещения и прочих атрибутов, но с хорошим письменным аттестатом на имя священника Оле Ландсена от других священников.

Он оказался более скромным, не особенно красноречивым, но с добрым лицом и доброжелательным. Впечатление, которое он произвел, было вовсе не так уж незначительно; люди, которые слышали обоих проповедников и считались знатоками в вопросах обращения, находили Нильсена чуточку лучше другого.

Он был прост, не носил даже галстука, а только желтый платок вокруг шеи, не носил длинного пальто, и руки его не были белы, но от этого он ничего не терял.

Конечно, он не мог не выступить против крестителя и его деятельности в Южной деревне. Божий ангел, и тот не смог бы этого избежать. И тут Нильсен оказался неожиданно ловким, чертовски ловким, и даже очень находчивым: — Они, в Южной деревне, крестятся вторично, — сказал он, — смеются над святым духом, только издеваются над ним. Но это очень дурно — смеяться и издеваться над отсутствующим! — ядовито добавил он.

Такой добродушной мужицкой болтовней он занимал своих слушателей, но не мог продержаться долго против проповедника в Южной деревне, который пустил в ход свой сложный аппарат со вторичным крещением и коленопреклонением. Это привело к расколу, вражде и ненависти среди паствы Оле Ландсена, и так как люди вступали в драку друг с другом на дорогах, то «Сегельфосские известия» еще раз обратились к окружному

священнику с запросом, не найдет ли он нужным вмешаться. Нет,— отвечал священник,— это ни к чему: к зиме все это кончится само собою.

Спор по-прежнему касался вопроса о святом духе. Никогда прежде этот скрытый в боге дух не пользовался такой популярностью. Креститель произнес проповедь исключительно о нем и сделал его более известным в сегольфосской округе, чем во всей стране. Удивительно, до чего его изображение святого духа было похоже, прямо портрет!

— И кроме всего я могу вам сказать, как он называется по-латыни,— сказал он.— Он называется — Spiritus sanctus. Пожалуйста, спросите кого угодно, правда это, или нет?

У Августа не было необходимой теологической подготовки, чтобы разобраться в этой божественной путанице. Тобиас не вспомнил даже о лошади, которую ему подарили, даже не обратился к разряженному Августу, опоясанному легкомысленной красной бахромой, он разговаривал с проповедником о завтрашнем дне, о воскресенье, когда опять предполагалось крещение. «А ну тебя!» — подумал, верно, Август при этом и даже не перекрестился.

— Мне необходимо сказать тебе два слова, Корнелия! — сказал он.

Корнелия неохотно встала и вышла вслед за ним. Подальше на лугу на привязи ходила лошадь и до самого корня обгрызла траву. Из соседнего двора вышел юноша и направился по дороге в их сторону.

— Ну, нравится ли вам кобыла? — спросил Август, чтобы хоть как-нибудь напомнить о подарке.

Корнелия ответила не сразу:

— Кобыла-то ничего, только здорово брыкается.

— Ну, хотя это хорошо!

— Но только отец начал сомневаться,— сказала Корнелия.— Уж не грех ли это?

— Против меня? — воскликнул Август-богач.— Вы думаете, что у меня нет таких средств?

— Нет, нет, дело совсем не в этом.

— Ну да, я тоже так думаю. Одна-единственная лошадь, хе-хе-хе! — И Август вытащил связку ключей и поглядел на нее с видом собственника.

— Но может быть, это грешно по отношению к тому человеку, который продал лошадь.

У Августа вытянулось лицо.

— Но он получил за нее деньги. И насколько мне известно, я не торговался.

— Нет,— сказала Корнелия.— Но вот теперь человек остался без ничего. Бедняга! Ему пришлось продать лошадь. Теперь он на себе таскает и дрова из лесу, и сено с луга. Несчастный безлошадник, один на свете!

Август подумал немного и потом сказал в отчаянии:

— Я могу взять лошадь обратно!

Молодой человек подошел тем временем к ним,— это был Гендрик из соседнего двора, жених Корнелии номер два.

Он присоединился к ним, и даже не поздоровался, а сразу спросил:

— О чем вы разговариваете?

— Он хочет взять лошадь обратно,— сказала Корнелия.

— Как?! Лошадь, которую подарил вам?

Август рассердился.

— Заткни ты свою пасть, когда я говорю!

Но это не подействовало. Ибо и Гендрик тоже обратился, стал религиозным и предался в руки божии. Что же при таких обстоятельствах был для него мир?

Корнелия заплакала.

— Не плачь, Корнелия,— сказал Гендрик.— Он вряд ли захочет взять у вас лошадь. Это невозможно.

— Послушай-ка,— предупредил Август во второй раз,— теперь ты уйдешь? — И одновременно он тихонько протянул руку к заднему карману.

И это тоже не подействовало. Гендрик хотя и побледнел, но не ушел, а Корнелия с плачем уцепилась за него и сказала:

— Нет, нет, не уходи, Гендрик!

Это подхлестнуло и Августа:

— Ах так! Вот в чем дело! — сказал он.

— Да, мы теперь одно,— объяснила Корнелия.— Гендрик совсем такой же, как мы все, завтра он тоже крестится.

Август подумал немного и понял, что у него ничего не выйдет. Он переменял тактику.

— Послушай, Корнелия, я пришел только затем, чтобы рассказать тебе, что Бенъямин работал некоторое время у меня — знаешь, этот твой жених, у которого ты сидела на коленях на рождественской вечеринке.

— Не обращай внимания на его болтовню,— сказал Гендрик.

Август продолжал:

— Он хорошо служил у меня, это отличный парень, и ловкий парень. За ним ты не пропадешь, Корнелия.

— Не говорите о нем! — сказала Корнелия. — Он больше не мой. Он слушает Нильсена и не принадлежит к нашей общине.

— С Беньямином так хорошо иметь дело: он какой-то особенный. Я даже передал ему ключи и поставил его над своим имуществом, и я не потерял ни булавочной головки по сегодняшнее число.

— Не трудитесь и не тратьте даром слов!

— И удивительно, чему он только не выучился под моим началом! И само собой разумеется, в любой день я дам ему самую лучшую аттестацию. Я дам тебе прочесть эту аттестацию.

Замешательство Корнелии все увеличивалось, и наконец она дошла до такой крайности, что сказала:

— Я не знаю, о ком вы говорите.

— О Беньямине, о твоём женихе. Да ты отлично знаешь, о ком я говорю: он целовал тебя много раз, целовал тебя со всех сторон.

Тут Гендрик воскликнул:

— Я не знаю, зачем мы слушаем этого человека?! Он не из наших людей, наоборот, он полон всякой скверны.

— Дрянь ты этакая! — сказал Август. — Мне бы следовало взять тебя за шиворот и, как метлой, подмести тобой луг. И с какой это стати ты висишь на руке у Корнелии? У него нет ни ножа, ни ложки, и он не может купить тебе даже пару сапог, чтобы защитить твои ноги от холода. Зато жених твой, Беньямин, в моих руках, и я научу его многим специальностям и ремеслам, которые хорошо оплачиваются. Об этом не беспокойся!

И Корнелия заплакала опять, — от этого она не могла воздержаться; но она не сдалась: до такой степени она была сбита с толку крещением и благочестием.

— Нам не надо ни богатства, ни золота. Хлеб насущный — вот все, в чем мы нуждаемся.

— Да, — поддакнул тоже и Гендрик.

— Ну что же, мне-то это совершенно безразлично, — сказал Август, — и я не намерен вовсе дольше уговаривать тебя. Но, пожалуйста, не воображай, что ты оставишь Беньямина в холостяках. Нет. Потому что нет девушки в Северной деревне, которая не захотела бы выйти за него замуж. Но самое главное — это то, что одна из служанок на кухне у консула не прочь выйти за него. Это-то я сразу понял, как взглянул на них.

Корнелия быстро взглянула на Августа:

— Так, значит, он на одной из них женится?

Август отвечал:

— Я ни слова не скажу об этом.

И он потащился обратно в город, раздосадованный и сердитый. Поход совершенно не удался, он не только поступился своими собственными интересами, но еще и хлопотал у Корнелии за другого, и тоже совершенно напрасно.

Он разыскал правление кино и послал в Северную деревню за Беньямином, чтобы он пришел заливать цементом пол в зрительном зале. Тут работы предстояло много, так как пол предполагалось сперва дренировать трубами. У Беньямина хватит работы до самого сенокоса.

«Что скажет на это Корнелия? Глупая, глупая она женщина!»

И нельзя сказать, что в любви Корнелия была хуже других: все женщины на всем земном шаре одинаковы. Август даже плюнул. Уж он-то их знает. Ничто не могло их удержать от любой глупости. Чего только не случилось с ним по вечерам, когда он возвращался домой! Кто мог удержать их, когда они распускались?

Вечером, вернувшись, он ходил по двору между домами и чувствовал себя одиноким. Он чувствовал себя выбитым из колеи и под конец зашел к Стеффену в его каморку, надеясь набрать партнеров для игры в карты. Но Стеффен был занят: к нему пришла его возлюбленная из деревни, и он угощал ее из пакета твердыми, как камень, пряниками и печеньем, которые принес из лавки.

— Входи, входи, На-все-руки! — сказал Стеффен. — Здесь только невеста моя да я.

— Да, сидим и едим всухомятку, — сказала невеста.

Стеффен извинился:

— Я взял это из лавки, чтобы тебе не пришлось идти голодной домой.

— Да это никак не разжуеть, — сказала она.

Стеффен жевал и хрустел пряниками, как лошадь, но дама на это не решалась. Потом вдруг решительно выкинула изо рта вставную челюсть и положила ее на стол. Она была красная от каучука и, кроме того, слюнявая, и Стеффен с отвращением косился на нее. Теперь дама без всяких зубов мусолила печенье.

— Ты свинья! — сказал Стеффен.

— А ты? Кто же ты с твоими лошадиными зубами?

— Убери это! — закричал он, потеряв терпение.

— Ну что ж! — равнодушно возразила она и сгребла свои зубы.

— От этой гадости меня чуть не вырвало,— сказал Стеффен.

— У! животное! — отвечала невеста.

— Ведь ты же обнаружила свои внутренности!

— Я не намерена отвечать тебе!

Оба рассвирепели, стали колотить кулаками по столу и плакать от обиды и злости.

— Я брошу тебя! — выла дама. — Ты мне не нужен.

— Ну что ж, ступай своей дорогой,— отвечал Стеффен.— Счастливого пути!

## ГЛАВА XVI

---

Рабочие на дороге были довольны, что Август вернулся в горы и опять стал их старостой. За последнее время он отсутствовал, приходил только изредка, чтобы решить тот или иной вопрос, а общий надзор над всем был поручен Адольфу. Им было трудно слушаться Адольфа, который нисколько не лучше их, они издевались над ним и спрашивали у него совета относительно пустяков, которые отлично знали и без него. В особенности вызывающе вел себя Франсис из Троньемского округа: он мог нагрузить тачку и потом вдруг подойти к Адольфу и спросить его, нужно ли увезти эту тачку.

Их антипатия к Адольфу, вероятно, вызывалась ревностью. Марна, сестра консула, не так уж редко приходила теперь на дорогу. Каждый раз она безошибочно отыскивала артель, где работал Адольф, и подолгу говорила с ним. Адольф, красивый молодой парень, снимал шапку и здоровался, вежливо выражался и изредка краснел. Ничто не ускользало от глаз приятелей, и когда дама уходила, наступал час расплаты.

Они работали как раз над тем, что в двух-трех местах взрывали скалы, чтобы расширить дорогу; в сущности дорога была уже проложена до самой охотничьей хижины, оставалось только выровнять полотно и увезти лишнюю землю. Но отколоть хотя бы только сорок сантиметров от отвесной скалы на протяжении двадцати метров было трудно и требовало множества взрывов. Август определил на эту работу четверых.

Впрочем, Август далеко не был прежним старостой, и рабочие сразу заметили это. Он не бегал больше взад и вперед, у него не было его прежней уверенности в решении



вопросов, и он не вершил суд и расправу. Он сознался, что слух и зрение начали изменять ему, но в общем здоровье его было сносно,—добавил он. Все рабочие пришли к заключению, что он страдал душевно. Его нельзя было сравнить с прежним Августом.

Конечно, он до сих пор не успел написать письмо Паулине в Полен, и деньги все не приходили. Это могло подействовать на кого угодно.

Злая судьба обрушилась на него и лишала его денег. Он был недалеко уже от того греха, чтобы пожаловаться на бога. Но нет, этого не будет. Он был зол и грустен, и то и другое одновременно, но он не был безбожником: он взирал на бога. Август знал по разным другим затруднительным положениям, в которые попадал не раз в своей переменчивой жизни, что бога хорошо было иметь за спиной, например, погибая на море, или в крайней бедности, или, например, когда вам угрожал удар ножом или выстрел из револьвера,— и вдруг вы были спасены. Да, бога хорошо было иметь про запас. А что, если он опять станет вести благочестивую жизнь? Это во всяком случае не повредит и, может быть, облегчит ему переносить отсутствие денег.

Работавшие на дороге с удивлением услышали, что не должны больше осыпать проклятьями камень, поранивший им палец на руке или ноге.

Впрочем, Август часто бывал теперь в кузнице: он помогал делать столбы и прутья для загородок перед пропастями на горной дороге. Приятная и удачная перемена в работе. Одновременно он мог следить также за работой Беньямина в зрительном зале кино.

— Не знаю, просил ли ты бога, чтобы он помог тебе в этой работе,— сказал он Беньямину.

Беньямин знал по опыту, что Август говорил иногда странные вещи, и потому не ответил. Он указал только на то, что он сделал, и пробормотал, что намеревается делать то-то и то-то,— он надеется, что справится.

— Поблагодари за это бога! — сказал Август.

Пришел Адольф и пожаловался на непокорность и непослушание товарищей, он просил даже Августа подняться с ним в горы. Рабочие теряют даром время, ругаются и ссорятся, работа не двигается с места. Август обещал прийти.

Он отлично понял, в чем тут дело. Он знал парней, они были прикованы к этой постройке дороги вот уже несколько месяцев, одни мужчины, и приходили в ярость по пустякам. В особенности они рассвирепели от ревности, и Адольф мог каждую минуту ждать нападения.

Было несколько лучше, когда Марна приходила в сопровождении аптекаря Хольма. Рабочие и аптекарю не уступали этой красивой девушки, ни в коем случае, но скорее мирились с ним, чем с Адольфом. Это, верно, происходило от того, что Марна ничуть не интересовалась своим кавалером. Казалось, она не выносила его. Замечательное было зрелище, когда аптекарь говорил что-нибудь милое и трогательное, а его дама в ответ на это скалила зубы. В таких случаях рабочие фыркали:

— О нет, ребята, ему не поможет цветок в петличке, пусть лучше не старается!

Цветок этот был гвоздика; она была свежа несколько дней тому назад и хорошо сохранилась, так как аптекарь ставил ее на ночь в стакан с водой, но теперь она боролась со смертью.

Хольм. Вот я стою и говорю, и говорю сам с собой и не знаю, что мне предпринять, чтобы заинтересовать вас.

— Вам следует замолчать, — сказала фрекен Марна.

— Разве вы так жестоки? В таком случае я теряю все шансы на успех.

— У вас нет шансов.

— Да, я это чувствую. Я воткнул в петлицу гвоздику, выросшую в моей гостиной, причесался на пробор, но вы этого не замечаете.

Казалось, Марна не хочет слышать от него ни одного слова больше, и рабочие зафыркали:

— Нет, ребята, от нее он ничего не добьется. И так ему и надо! Такой старый дурак, — она слишком хороша для него!

— Куда вы спрятали Адольфа? — спрашивает Марна рабочих.

Никто не отвечает.

Марна тихонько идет вверх по дороге и надеется найти Адольфа повыше. Аптекарь следует за ней.

Франсис, троньемец, первый нарушает молчание:

— Я не нахожу, чтобы аптекарь был уж такой старый дурак. Все-таки он лучше Адольфа.

— Аптекарь! — восклицают другие. — Отличный человек! Никогда не откажет выдать бутылку-другую из аптеки. А Больдemanу он дал даже две бутылки, когда тот плакал и говорил, что это на похороны. Не так ли, Больдeman?

— Я мог бы получить целых четыре, — хвастается Больдeman. — Вот какой он человек!

— «Где у вас Адольф сегодня?» — передразнивает кто-то и кривляется при этом. — «Давайте сюда Адольфа, немедленно приведите его ко мне». Ха-ха-ха!

— Да, аптекарь — это другое дело! — говорят они. — Сильный парень, широкие плечи, а как здорово он гребет! И потом все-таки этот человек кое-что... Тогда как Адольф...

В следующий раз Марна приехала верхом, а аптекарь следовал за ней пешком. Дело в том, что когда брат, Гордон Тидеман, купил себе автомобиль, то лошадь, которая возила тележку, перешла к Марне в качестве верховой. Она тяжело сидела в седле, но выглядела отлично; лошадь отдохнула и горячилась, изредка поднималась на дыбы и мотала головой. Аптекарь опять говорил ей всякие нелепости и ухаживал за ней, — а уж он-то умел это делать. Но Марна не обращала на него никакого внимания и едва отвечала; наоборот, она поспешила подъехать к артели Адольфа, чтобы показать ему, как она красива на лошади, и перескочила даже через тачку, которая стояла на дороге.

— Какое удовольствие видеть, как вы управляете вашим арабским конем! — сказал аптекарь.

— А вы заметили, какой красивый у Адольфа взгляд? — мечтательно отвечала она.

— У меня тоже красивый взгляд, — сказал аптекарь, — когда я гляжу на вас.

— Этого я не знаю, — отвечала она. — Я, кажется, не видала ваших глаз, вы скользите ими.

Аптекарь наклонил голову:

— Это происходит от моего смирения. Я и сам склоняюсь, я осмеливаюсь обращаться только к вашему стремени.

Когда она поехала домой и дорога пошла под гору, она тотчас ускакала от него. С тех пор она и аптекарь Хольм не показывались вместе на дороге.

Но аптекарь Хольм никогда не терялся, и через несколько дней он появился на дороге под руку с матерью Марны, со Старой Матерью. Он был в отличном расположении духа, наряден, в новой шляпе набекрень, кончик белого шелкового платка торчал из кармана на груди. Почему он пригласил Старую Мать на прогулку, никто не мог сказать, — может быть, чтобы повлиять на дочь через мать, или просто из чудачества. Во всяком случае аптекарь Хольм не растерялся. И они, казалось, составили вполне подходящую пару: аптекарь был занятен, а дама его охотно и молодо смеялась всем его выдумкам. Они оживленно беседовали.

Но теперь на дорожной стройке стало уж совсем нехорошо. Марна появлялась с небольшими промежутками, а так как аптекаря совсем отстранили, то Адольф остался без соперника. Это привело к возмущению рабочих. Адольфу пришлось пойти к Августу в кузницу и попросить избавить его от надзора за работой. Август заметил, что в таком случае он не получит прибавки. Ну что ж, Адольфу было все равно.

Август задумался. Может быть, ему следует назначить Больдемана старостой на то время, которое еще нужно было, чтобы закончить железную изгородь, но Больдеман имел сильную склонность к вину. И потом разве это поможет Адольфу? Марна все равно разыщет его среди остальных, и товарищи за это проучат его.

Это вполне возможно.

Необходимо удалить с дороги Марну. Все безумие происходит от этой дамы, из-за нее рабочие превратились в порох и перестали думать о боге.

Август вошел в контору консула, положил шапку возле двери и поклонился.

Консул сошел со своей высокой табуретки и приветливо сказал:

— Хорошо, что ты пришел, На-все-руки. Я как раз хотел спросить тебя, когда, по-твоему, будет окончена дорога?

— Вы хотели спросить меня, я — вас.

— Как-так?

— Да, потому что это зависит от разных вещей. Дадут ли людям спокойно работать, например.

— Кто же им мешает?

Август подробно описал состояние рабочих на стройке: они сошли с ума, они с трудом переносят, когда молодые, красивые дамы прогуливаются у них на глазах, они забыли о боге.

Консул с неуверенностью поглядел на своего старого доброго На-все-руки: что это он сказал о боге?

Август продолжал:

— Эта чудесная летняя погода, горный воздух и еда, к тому же табак, — от всего этого, извините меня, они страсть как возбуждены, и природа требует своего... Пусть это будет хотя бы Осе, насколько я слышал.

— Фу, стыд какой! — сказал консул.

— Да. И я хочу предупредить вас относительно одной из ваших дам: лучше бы она не приходила больше на дорогу.

— То есть Марна? Она больше не сделает этого.

— Это ведь опасно для нее самой. И кроме того, ребята ничего не хотят делать, пока она там; они бросают работу и глядят на нее, она их тревожит, и, извините меня, они все влюблены в нее, а она разговаривает с Адольфом.

— Ну, хорошо, хорошо,— сказал смущенный консул.— Марна не пойдет туда больше, отныне это кончено! И так, На-все-руки, когда же будет готова дорога?

Август не сразу ответил:

— Если все будет спокойно, то дорога должна быть готова недели через три. Если будет спокойно! Впрочем, все в руках божьих.

— Я вовсе не хочу вас торопить,— сказал консул,— но я жду друга из Англии к началу охотничьего сезона. Тогда дорога будет мне нужна. Но времени, как я вижу, вполне хватит. Видал ли ты дичь в горах этим летом?

— Порядочно. Я даже могу сказать — в большом количестве. Куропатки шныряют целыми выводками, довольно много зайцев.

— А ты сам охотник, На-все-руки?

— Да, в прежние годы охотился. Еще бы! Я настрелял и наловил однажды зимою целую массу выдр с самым лучшим мехом, а потом отвез мех на рынок в Стокмаркнес.

— Какой мех?

— Выдра и лисица, немного рыси, немного тюленей. Да, это было в те времена. И потом в горах, и на Яве, и вокруг...

Консул прервал его:

— Англичанин, которого я жду сюда к осени,— очень важный господин, он дворянин и владелец большого имения. Мы вместе учились, я гостил у него, и теперь мне хотелось бы отблагодарить его хорошенько. Если ты можешь придумать что-нибудь особенно интересное для него, то придумай, На-все-руки.

— Все зависит от бога,— сказал Август.

Консул опять удивился и сказал «да».

— Я хочу сказать: будем ли мы живы до тех пор?

— Да,— опять сказал консул.

Но старый На-все-руки был сам на себя непохож, и верно, с ним недавно что-то стряслось. Консул спросил о его здоровье. Здоровье в порядке. Не было ли у него какой неприятности? Нет, наоборот, он должен получить значительную сумму денег, но только эта сумма все еще не дается ему в руки; зато бог помогает ему переносить утрату, и сердце его переполнено радостью...

Вернувшись домой, консул тотчас отправился к жене и сказал:

— Прежде всего, На-все-руки стал благочестив. Иначе это нельзя назвать.

Фру Юлия. На-все-руки? Вот как! Впрочем, я видала, как он крестится.

— Да, но теперь еще больше. И я попрошу тебя, когда ты его увидишь, не упоминать нечистого и не говорить с ним в легкомысленном тоне.

— Ха-ха-ха! — Фру Юлия рассмеялась.

Затем он сообщил о положении на постройке. Так как все это было невероятно комично, то они шутили и смеялись. Гордон Тидеман, который был немного нерешителен и уклончив, а может быть, и слишком важен для такого дела, уговорил свою жену объясниться с Марной:

— Поговори с Марной, ты это сделаешь гораздо лучше меня. Скажи ей, что все дорожные рабочие с ума сходят по ней, что они не могут без нее жить — ха-ха! — и что в особенности один, которого зовут Адольфом, имеет на нее самые серьезные виды. А другие за это хотят убить Адольфа. Ха-ха-ха!

Фру Юлия смеялась тоже, но она как будто бы знала взгляд Марны на это дело.

— Может быть, она сама влюблена в этого Адольфа, — сказала она.

— Тогда она с ума сошла, — сказал Гордон Тидеман, — и мы отошлем ее обратно в Хельгеланд, откуда она приехала. Пускай ноги ее не будет больше на дороге, она не должна задерживать работу, — передай ей это. Где это слыхано! И ты будь с ней решительной, Юлия, как если бы это был я сам.

— Хорошо, — сказала фру Юлия.

Гордон Тидеман, избежав объяснения с сестрой, почувствовал, вероятно, облегчение, он опять стал шутить:

— Кстати, Юлия, и ты не вздумай показываться на дороге. Я запрещаю тебе это, а если пойдешь, я застрелю тебя.

— Ха-ха-ха!

— Потому что я не знаю никого, кто бы больше тебя возбуждал нас, жалких мужчин, и заставлял бы нас терять последние остатки разума.

— Ха-ха-ха! Да замолчи ты, Гордон! А не хочешь ли ты за это поговорить с нашими девушками? — спросила она. — Они тоже сошли с ума. Они ходят к крестителю в Южную деревню, а теперь придумали «вымачивать себя и готовиться», как они это называют.

Занимают ванну по два раза в день, и никто из нас не может попасть туда.

— Возмутительно! — сказал Гордон Тидеман.

— Я спросила их, к чему вся эта чистоплотность? Они ответили, что делают это для того, чтобы не быть грязными, когда им придется снять рубашку и креститься в Сегельфосском водопаде.

— Не верится, что это возможно. А кто же из девушек это выдумал?

— Горничные. Я надеюсь, что ты их здорово прохватишь.

— Я? А не думаешь ли ты, Юлия, что было бы лучше...

— И ты будь с ними решительным, как если бы это была я сама, — сказала фру Юлия.

— Но почему же я? — отвечает Гордон Тидеман, консул. — По-моему, это скорее касается тебя. Нет, серьезно, девушки, горничные — твой департамент. Ты же не позволишь им делать, что им вздумается, в твоём доме. Если б я был хозяйкой, они б у меня по-другому заплясали. Где это слыхано! Другое дело было бы... Но раз уж у нас так много неприятностей, не покататься ли нам вдвоем в автомобиле после обеда? Что ты об этом думаешь?

— Да, это было бы неплохо.

— И потом погода такая чудесная, что можно взять и детей. И самого маленького тоже.

И на дороге наступили мир и тишина. Марна отсутствовала.

То, что приходил аптекарь и Старая Мать, не тревожило рабочих: стоило ли из-за этого беспокоиться? Адольф неукоснительно и прилежно работал в своей артели. Больдман был старостой, и женщины для него не существовали. Работа близилась к концу. Август имел полное основание быть довольным.

Но много было людей, которым Август должен был помогать и советом и делом. Существовало такое мнение, что его легко было просить и что он умел находить выходы. Так, например, пришла Старая Мать и смиренно сказала:

— Будь так добр, На-все-руки, и удели мне крошечку своего внимания!

— К вашим услугам!

Старая Мать переживала кризис, она была в величайшем затруднении и последние две недели ходила, погруженная в тысячу мыслей. Ведь не правда

ли, было же совсем немисливо заператься ей вместе с Александром в коптильне? Это был, конечно, временный выход, и долго так продолжаться не могло. Ведь все равно приходилось отпереть дверь, для того чтобы один из них мог выйти, и тогда всякому легко убедиться, что другой остался внутри. Открытие это сделали обе девушки, Блонда и Стинэ, две сестры, которые жили в услужении у Старой Матери с юных лет и были одного с ней возраста. Сестры не хотели ничего дурного своей старой хозяйке, но они сделались религиозными и решили спасти и ее.

Больше нельзя было заператься в коптильне.

И это еще не все. Старая Мать была уверена, что с этого времени будут следить также и за ее окном, чтобы длинноногий человек не мог проскользнуть туда.

Даже и последний выход был теперь закрыт.

Однажды, когда Старая Мать бродила по городу, она встретила аптекаря Хольма, который обратился к ней со своими обычными веселыми шутками и ужимками и пригласил ее в гостиницу.

— Стаканчик вина, не так ли? — спросил Хольм.

Было весело, торжественно — среди бела дня, на глазах у всех, самым невинным образом, в большом красивом салоне гостиницы; ничего похожего на закуту в коптильне в усадьбе. Они не шептались, они говорили громко, во всеуслышание, потом пошли вместе вверх по дороге, — «Пожалуйста, смотрите все, кто желает!»

Это было в первый раз.

— Это нужно повторить, — сказал Хольм. — Очень приятная для меня прогулка, мне не пришлось возвращаться домой и раскладывать пасьянс.

И Старая Мать была не менее довольна; ей нравилось опять выходить на свет божий, это было весело, она в первый раз после многих лет смеялась от всего сердца, впрочем, и разумно беседовала, — Старая мать умела и это.

Они повторили прогулку, обоим это было приятно. Да, у Старой Матери зародилась даже маленькая радость в груди. Ах, это было так давно, это было очень весело! Она могла благословлять обеих девушек, которые направили ее на путь истинный.

Старая Мать не сердилась на сестер, они были орудием добра для нее. И она решила наилучшим образом освободить их от караула у ее окна.

В воскресенье Блонда должна была отправиться на вечернюю молитву к крестителю в Южную деревню.



— Ну вот,— сказала она,— я уйду и оставлю вас одних. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните. Да звоните погромче.

— Мне ничего не понадобится,— сказала Старая Мать.

— Я думала,— если Стинэ, например, ляжет спать...

— Стинэ не ляжет спать.

Блонда удивилась:

— Разве вы просили ее не ложиться?

— Я? Нет, но ты это сделаешь перед тем как уйти.

Сестры переглянулись.

— Вот что,— сказала Старая Мать,— вам нечего бодрствовать и караулить мое окно. Никто больше не полезет ко мне.

Блонда так и села:

— Нет? Вот как! Ну что ж...

— Спокойной ночи, Блонда!..

Вот тогда-то Старая Мать и пришла к Августу и смиренно попросила позволения крошечку поговорить с ним. Она переживает кризис, она целыми днями погружена в тысячу мыслей, она не может справиться, не знает, как спастись. На-все-руки должен дать ей совет.

— Молитесь богу! — сказал Август.

Старая Мать от удивления подняла брови и поглядела на него.

— Нет, я не шучу,— сказала она.

— И я не шучу,— сказал он.

— Видишь ли, На-все-руки, теперь дело со мной обстоит так, что я не могу больше продолжать это: он должен оставить меня в покое. Я не могу больше коптить с ним лососину. Но как быть тогда Гордону? Может быть, он рассчитает его. Это было бы самое лучшее. Но кого же возьмет он на его место?

У Августа мгновенно возникает мысль о Беньямине, но он не хочет быть до такой степени мирским, не хочет строить счастье одного на несчастье другого. Пусть Беньямин посмотрит пока на лилии полевые...

Старая Мать продолжала, мучимая всевозможными трудностями, которые обрушились на нее. Остается уж совсем немного до того времени, когда ловля лососей будет запрещена на этот год,— она не помнит точно числа, но она и не подумает спрашивать его об этом, она спросит своего собственного сына. Во всяком случае, времени осталось совсем немного, и если Гордон захочет прекратить ловлю сейчас же, что на это скажет он, На-все-руки? Но,— сказала рассудительная и дельная жена Теодора

Из-лавки,— бросить ловлю сейчас очень жаль: рыба пока еще идет, и чем меньше становится лососей, тем выше цены. Она просто не знает, как ей быть. И говорить-то об этом с Гордоном она не может. Ну, как она станет рассказывать ему о том, что не хочет больше коптить рыбу и все такое? На-все-руки сам понимает, что по сотне причин это немыслимо, но он должен найти выход.

У Августа выход уже давно найден, затруднения Старой Матери были для него пустяками, он мог уничтожить их двумя словами, если уж быть ему таким мирским:

— Не беспокойтесь об этом,— сказал он.

— Как же так?

— Пусть он один коптит лососину!

Старая Мать. Я уже думала об этом, но... Да, я уже думала об этом. Но тогда это выйдет наружу, да, все тогда обнаружится. И то, что я никогда не была нужна...

Август погружался все больше и больше в мирские дела, в его быстрой голове вспыхнул свет:

— Вы, вероятно, были нужны, пока он не умел? Я только спрашиваю. Но теперь, когда вы его выучили, это уже большая разница?

— Да,— сказала она,— да, это так.

Оба задумались.

Старая Мать качала головой:

— Только бы он согласился.

— Кто? Он не посмеет. И что это за занятие для вас — стоять в грязи и коптить лососей? Родная мать консула!

— Только бы благополучно сошло!

— Хе, вы простите меня, но я не могу не смеяться. В первый раз — вы больны. Или лучше — оба первые раза вы больны. А потом все пойдет само собой.

— Да что ты говоришь, На-все-руки! — воскликнула Старая Мать.— Благослови тебя господь, а я и не подумала об этом. Так ничего не выйдет наружу. Я так и знала, что ты мне pomoжешь, словно кто-то шепнул мне об этом. И потом тебя так легко просить, дорогой На-все-руки...

В первый раз, когда нужно было коптить лососей, Старая Мать была больна и оставалась у себя в комнате. Александр послал ей сказать, чтобы она приходила. Август пошел с ответом к нему в коптильню:

— Что это ты выдумал, урод ты этакий? Разве ты не знаешь, что Старая Мать жестоко больна? Впрочем,— сказал Август,— я вообще не понимаю, на что тебе при копчении рыбы нужна бабья помощь? Сколько месяцев ты

делаешь эту работу, и что ты за глупое животное, раз до сих пор этому не выучился! Ты, может быть, не знаешь разницы между копченой лососиной и телятиной? Если б я был священником, я не стал бы тебя причащать, а на месте консула я ни одного дня не держал бы тебя долее. Чего это ты взываешь о женской помощи? Может быть, тебе надо пальчик перевязать? Расскажи мне, пожалуйста, что это за наука, какие-такие рассуждения и вопросы ты не понимаешь,— я все объясню тебе и помогу бедняжке...

Александр почувствовал, вероятно, себя незаслуженно оскорбленным; он очень побледнел, дыхание его участилось, поэтому ответ его на такое обращение был, пожалуй, еще очень кроток и ласков:

— Попридержи язык свой, вредное насекомое! Мне бы следовало выжать из тебя всю грязь и заставить тебя съесть ее, вот что! — Дальше Александр не продолжал в этом направлении, он пришел в себя и стал защищаться:— Уж мне ли не знать, как коптить лососей? А что я делал и в первый раз, как был в Сегельфосском имении, и теперь также? И не воображай, гнилое привидение, я знаю все — и относительно цвета, и вкуса, и запаха, и веса, и все, что ты можешь назвать,— да, так и знай!

— Я так и думал,— сказал Август.— А иначе было бы стыдно.

Александр хвастался дальше:

— Что касается меня, то я не нуждаюсь ни в чьей помощи, чтобы коптить лососей. Ишь что выдумал! Отойди в сторону, чтобы я мог плюнуть. Разве я просил тебя учить меня хоть вот столечко? Убирайся вон отсюда!

— Не будь таким глупым и злым, грязный ты черт! — сказал Август.— Тебе следует благодарить бога за то, что наконец-то ты научился кое-чему, хоть что-то вбил себе в башку. Но ты не очень-то думаешь о боге...

В следующий раз, когда должны были коптить лососей, Старая Мать сделала ту ошибку, что не заболела. Наоборот, она была здорова и настолько неумна, что при самом ярком дневном свете пошла в город, где встретила своего кавалера Хольма, чтобы с ним вместе отправиться на прогулку вверх по дороге. Невероятная беспечность! Среди бела дня! Неужели же непременно надо было дразнить весь свет? Да, выходило так, что это было совершенно необходимо для мечтательной парочки. Рабочие заметили, что на этот раз оба они были тише, и что не смех и шалости сопутствовали им, а серьезность и нежность. И зачем это Хольм помогал даме своей

перелезать через камни и тачки, через которые она перепрыгивала так же легко, как арабский конь Марны? Или он немного свихнулся?

Они дошли до самой охотничьей хижины, сели на крыльце и стали глядеть на горное озеро. Лунного сияния не было, но зато было яркое солнце. Оба они имели свежий вид после ходьбы и часто улыбались. Ни один из них не пытался шутить. Хольм все следил за только что отглаженной складкой на своих брюках, и в петлице у него опять красовалась гвоздика; ему явно хотелось произвести впечатление. Старая Мать сняла шляпу со своих чрезмерно густых волос и сидела совсем как девушка.

Вот это была пара! Схожие во многом, оба толковые люди, с легким характером, оба жадные до жизни. Большой разницы в годах между ними также не было; Старая Мать, может быть, немного постарше, но красивая и здоровая, без единой морщинки на лице, руки ее были удивительно хороши.

Они говорили об озере и о горах вокруг и спрашивали друг друга, как каждому из них это нравится. Оба находили, что это прекрасно. Блестящая мысль пришла в голову Гордону Тидеману, когда он устроил это место, где можно теперь посидеть.

— Охотничья хижина — ведь это целый дом. Мы могли бы жить здесь.

— Да,— сказала она и засмеялась, чтобы не отнестись к этому серьезно.

— И дом и беседка за раз, и королевская дорога ведет к нам сюда, и все такое.

— Да, ха-ха-ха!

Он предложил ей гвоздику, но она сказала, что к нему цветок идет больше. Потом он закурил трубку и стал далеко-далеко отгонять от нее дым.

Потом вдруг она встала и заглянула за угол. Когда она вернулась и села на прежнее место, она была бледна.

— Я услышала, что кто-то там возится за домом, и подумала, что, может быть, это Гордон.

— Тогда бы он, вероятно, отпер свою хижину и пригласил нас войти.

— Он бы непременно это сделал: Гордон любит играть роль хозяина. Только я не знаю, привезли ли в погреб хоть что-нибудь.

— Я никогда не забуду,— сказал Хольм,— роскошный праздник, который вы устроили весной.

— Когда вы шалили за столом и ущипнули меня так, что я закричала.

— К сожалению, да. Я заходил по дороге в гостиницу к Вендту.

— Это ничего,— утешила его Старая Мать.— Я совсем опьянела от множества вин и была счастлива, что живу на свете. Было очень весело.

— Но что на это сказал ваш сын?

— Гордон? Он о таких вещах не говорит. Он хороший мальчик.

— Фру Юлия очень милая дама.

— Да, не правда ли, на редкость? Мы все так ее любим.

— Да, вообще все на свете хорошо! — сказал Хольм и снял с ее платья былинку.

— Замечательно! О боже, до чего прекрасно на свете! Если бы можно было, я бы навсегда тут осталась.

Август сосредоточенно и тихонько шел вверх по дороге. Поровнявшись с парой, он поклонился и подсел на минутку к ним. В руках у него был метр, который он вытягивал из футляра и затем опять отпускал.

— Мы осматриваем дорогу, На-все-руки,— сейчас же сказала Старая Мать.— Я не могла от этого удержаться.

— Да и к тому же погода уж очень хороша,— постарался извинить ее Август.

— Какая чудесная это будет дорога!

— Да, с божьей помощью,— сказал Август.

Аптекарь не нашел ничего лучшего, как принять это за шутку и засмеялся. Потом он указал на метр и сказал, дурачась:

— Метр не для того, чтобы на нем вешаться, На-все-руки,— в случае, если вы это задумали.

Август. Не говорите так: это грешно.

Аптекарь попробовал исправить свою оплошность и сказал:

— Ну, а удалось ли вам получить ваш миллион у окружного судьи?

— Миллион? — переспросил Август.— Это не был миллион, как вы говорите, но все же порядочная сумма. Я не получил этих денег и, верно, никогда не получу. Но я твердо знаю, что господь мне поможет, как помогал до сих пор.

— Конечно, поможет. Он для того и существует, чтобы помогать своим детям.

— Ну, а теперь я пойду работать,— сказал Август и встал.

— Что же ты будешь делать, На-все-руки? — спросила Старая Мать, чтобы сказать что-нибудь.

— А я должен измерить длину края, консул хочет, чтобы перед пропастью была загородка.

— Ох, какая ужасная глубина! Я не смею глядеть вниз. Прощай пока, На-все-руки!

Пара удалилась. Август начал измерять. Неожиданный звук заставил его поглядеть вверх: цыган Александр стоял возле хижины.

Август взобрался наверх и выругался:

— На кой черт ты тут? Что ты тут делаешь?

— Я только что пришел,— отвечал Александр.— Я был в горах,

— Что ты там делал?

— А ты чего спрашиваешь? Разве это твое дело?

— Разве не сегодня ты должен коптить лососину?

— С этим делом я покончил. А если тебя еще что-нибудь интересует, то я могу рассказать и это.

— Я хочу, чтобы ты убирался отсюда,— сказал Август.

Александр продолжал стоять.

Он все злее и злее глядел на Августа, который опять начал измерять.

— Что за черт! — воскликнул он.— И принесла же тебя нелегкая сюда как раз сейчас!

Август рот разинул от удивления:

— Меня? Сюда?

— Потому что ты пришел и помешал мне сбросить в пропасть аптекаря.

— Я велю арестовать тебя! — сказал Август.

Цыган засмеялся своим белым ртом и фыркнул:

— Ты стоишь очень удобно, я могу столкнуть и тебя.

— Прежде чем ты дотянешься до меня, ты замертво упадешь там, где стоишь! — предупредил Август и вытащил свой револьвер.

Цыган пошел вниз по дороге. Он поводил плечами, громко говорил сам с собою и размахивал руками.

Август спрятал револьвер обратно в карман, окончил свои измерения и записал несколько чисел. Он был совершенно спокоен. Он в одну секунду отправил бы несчастного цыгана на тот свет.

Август глядел вдаль, на большое горное озеро. Здесь оно напоминало бухту приморского города. Воспоминание цеплялось за воспоминание, и в конце концов он вспомнил

почему-то Рио. Вот в воде плеснулась рыба,— но как попала сюда рыба? Изредка она словно прокусывала водную поверхность и оставляла после себя большой круг.

## ГЛАВА XVII

---

Молодой парень, сосед Беньямина по деревне, пришел к нему в здание кино, и между ними произошел таинственный разговор. Они пошептались о чем-то, придвинувшись друг к другу вплотную, и пришли к какому-то соглашению. Старик из Северной деревни говорит, что сейчас как раз время: и ночи стояли лунные, и косьба еще не началась, и погода хорошая. Сначала они собирались сделать это втроем, а потом только вдвоем, чтобы не делить счастье; кроме того, ничего нет хуже, как явиться целой толпой и спугнуть подземных,— так сказал старик из Северной деревни.

В воскресенье они причастились, и потом уж не прикасались к табаку и не развлекались с девушками, соблюдали чистоту. В восемь часов каждый поужинал у себя дома, и после этого они встретились на условленном месте и отправились.

Они шли не по дороге или тропинке, а прямо через лес; потом наткнулись на заросли и глубокие расселины, и идти стало труднее. Они сели отдохнуть.

— Но ведь это же не грех,— то, что мы делаем,— сказал Беньямин, который был несколько простоват в этом смысле.

Но товарищ не боялся: они ведь последовали указанию старика и сделали все правильно,— рубашки на них были надеты наизнанку, ножей они не взяли, и у каждого в кармане было по три ягодки можжевельника.

Они показали друг другу, что каждый из них принес в подарок лесной деве: новые вещи, никогда еще не бывшие в употреблении у крещеных людей и купленные в сегольфосской лавке, где продавалось все, что существует между небом и землей. У Беньямина было серебряное сердечко на цепочке, потому что он заработал так много за летнюю работу; и у товарища был тоже ценный подарок — серебряное кольцо с двумя золотыми руками. Они были во всеоружии на случай встречи.

Они встали и пошли дальше, опять стали продираться; им не надо было торопиться к пропасти в определенный час, но все-таки нужно было прийти туда заранее, и при

этом не запыхаться так, чтобы забыть, зачем они пришли. Двенадцать часов было самое позднее. Ведь наблюдать им придется долго.

Они пришли к пропасти, выбрали себе подходящую расселину в скале, из которой подземным легко было бы выйти, и сели. Они сидели тихо целый час. Ночь была светлая, на вершинах все еще виднелся солнечный свет; но еще через час им стало что-то грустно; они осмотрелись: теперь солнце уже скрылось, и было уже не так светло.

— Уж не сделали ли мы какой-нибудь ошибки? — сказал Беньямин.

— Может быть, на нас все-таки есть что-нибудь стальное, — заметил товарищ. — А карман у тебя целый?

Оба проверили свои карманы, убедились, что они целы и можжевельные ягодки на месте; а стального на них были одни лишь полукруглые подковки на каблуках, но это разрешалось.

Когда двенадцатый час прошел уже наверное и ничего не случилось, они отправились домой. У Беньямина было еще на несколько дней работы в здании кино, и в шесть часов ему надо было вставать.

Так прошла первая ночь. Но им оставалось еще терпеть, не курить и не шутить с девушками все время, пока длилось испытание.

Товарищ кивал головой, как бы в ответ на свои мысли, и считал, что встреча с лесной девой вполне возможна.

— Если она станет переселяться в другую гору, то она опишет полукруг по земле, — так говорят, по крайней мере. И вот тогда-то мы и протянем подарки.

Беньямин с ним согласился.

Так они проводили ночь за ночью вплоть до субботы, и им осталось всего две ночи, потому что в период испытания должно входить два воскресенья. Беньямин начал было сдавать, потому что ему каждое утро приходилось идти в город на работу, но товарищ поддерживал его своей надеждой. В субботу к Беньямину в здание кино пришла Корнелия, она восклицала и плясала от радости, что снова отыскала его: она ходила к нему домой и спросила там, и в городе расспрашивала, расспрашивала на улице; и — такой стыд! — оба прохожих подмигнули ей глазом и рассмеялись.

— Что тебе надо от меня? — резко спросил Беньямин, потому что он обещал не шутить с девушками.

— Как — что мне надо? — смущенно проговорила Корнелия. — Просто я проходила мимо.



— Ступай домой! — сказал он.

Корнелия с минуту помолчала, хотела было заплакать, сделала несколько шагов взад и вперед и спросила:

— Ты из-за Гендрика сердишься на меня?

Беньямин не отвечал.

Корнелия. Так, значит, ты женишься на одной из служанок в усадьбе?

— Что?! — вырвалось у Беньямина.

— Ты думаешь, что я не знаю? В деревне уже давно известно, что ты за парень, что у тебя и она, и я.

Беньямин только подпрыгнул, он не мог оправдываться, а Корнелия продолжала свою болтовню и испортила испытание. Он в отчаянии бросил ковш и покинул здание. А очутившись на улице он бросился бежать.

Субботняя ночь прошла, как и предыдущие ночи: до двенадцати часов они просидели у пропасти и ничего не случилось.

Они не могли этого понять, они внимательно следили за расщелиной в скале, но она не открылась, и никто оттуда не вышел.

Беньямина мучил случай с Корнелией, и он под конец признался: он ничего не сказал, он только просил ее уйти, но она кривлялась и продолжала болтать. Не могло ли это повредить?

Товарищ сначала сомневался, но потом решил, что раз Беньямин не щекотал и не целовал ее, то он не виновен.

— Да, но ей этого хотелось, — каялся Беньямин, — и мне, вероятно, тоже. Разве это не скверно?

Товарища опять одолели сомнения:

— Пожалуй, что так!

Когда они пришли домой, Беньямин шепнул, что больше он не хочет ждать. Но товарищ уговорил его. Оставалась всего лишь одна ночь, последняя воскресная ночь. Никто не знает, что еще может случиться. Ведь они же мужественно преодолели столько ночей, а подземные больше всего внимания обращают на доброе желание. Им следует потерпеть.

И еще эту последнюю ночь провели парни у пропасти, и пожалуй, они особенно надеялись на эту последнюю воскресную ночь. Они следили, не отрываясь, за расщелиной, у них даже заболели затылки, и они чистосердечно вдавались в обман и указывали друг другу:

— Смотри, вон там! По-моему, так ясно!

Но ничто не помогло.

И все-таки что-то должно было случиться.

Так как было трудно возвращаться домой через заросли и лес, то они порешили — теперь, когда испытание все равно было окончено, слезть по откосу до долины, а потом перейти на деревенскую дорогу. Предприятие оказалось очень удачным: через полчаса они были уже внизу.

В это мгновение ребята услышали крик. Он возник в ста метрах от них и затем замолк, ушел в землю.

— Что это было? — шепнули парни, и может быть, у них мелькнула мысль: уж не подземные ли это? Но они были так мало предприимчивы и так тупы, что продолжали стоять и слушать, не повторится ли крик, и, что еще хуже, они сели и стали ждать. Под конец товарищ все же глупо шагнул вперед, но не успел пройти даже ста метров, как закивал Беньямину, чтоб тот поглядел тоже.

После полуночи прошел уже час, было светло и тепло. Беньямин стал рядом с товарищем и начал глядеть.

И увидал...

Беньямин узнал даму. Он видел ее, когда работал в гараже: она приходила в город и рассматривала постройку; это была сестра консула, ее звали Марной. Мужчину они не знали; кроме того, лицо у него было до такой степени расцарапано и все в крови, что его нельзя было узнать. Если между парой произошла драка, то теперь она во всяком случае была окончена: оба участника стояли, отвернувшись друг от друга, и оправляли костюмы.

Товарищи остановились. Они были до того не сообразительны, что не уходили. Мужчина поднял с земли шапку, обернулся и, казалось, хотел что-то сказать, но в тот же момент заметил, что на него смотрят двое чужих, пригнулся и убежал. Дама не имела вида брошенной, она, не торопясь,правила и платье и волосы, стряхнула с себя вереск и поглядела в лицо обоим зрителям. Когда она все это сделала, она прошла мимо них, словно они были прах с ее ног.

Августа беспокоили по всякому поводу, никто его не жалел, хотя он сам крайне нуждался во времени, чтобы устроить свои собственные дела. Наконец-то он закончил работу в кузнице и опять сделался старостой работ на дороге; но так как он в промежутке много размышлял и сделался религиозным, ему было уже не так хорошо, как прежде, среди рабочих.

— Послушайте-ка, ребята,— сказал он,— в понедельник утром, через две недели начиная с сегодняшнего дня,

дорога должна быть совершенно готова для консульского автомобиля,— я обещал это консулу. А вы знаете, что нам еще осталось сделать. Это ни на что не похоже, что вы приходите сюда в понедельник утром, усталые и измученные ночными танцами и прочими грехами, и кроме того, вы даже не приходите вовремя,— и он поглядел на часы.

Больдеман, который больше уже не надзирал за другими, пришел не протрезвившись и слишком поздно, и получил нахлобучку. Но хуже всех был Адольф: он опоздал на целые полчаса.

— О, боже мой, да что это с тобой случилось? — спросил его Август.— Ведь у тебя все лицо исцарапано и в садинах.

— Меня оцарапали ветки,— отвечал Адольф и наклонился, чтобы спрятать свое лицо.

— Один — так, другой — этак! — ворчал староста.— Хорошо вы ведете себя по воскресеньям, нечего сказать. И нас всех срамите. Я не ожидал от тебя, Адольф, что ты станешь драться в святое воскресенье. У тебя такой вид, будто по твоему лицу провели граблями, а ведь боронить-то, кажется, кончили.

Остальные рабочие на это засмеялись, а Адольф почувствовал себя мокрой курицей. Он взял бур и динамит и пошел работать.

К полудню настроение на дороге улучшилось. Спины стали гнуться легче, руки окрепли, и настроение прояснилось. Но Адольф скис и работал вдвое хуже обыкновенного.

— Что с тобой? — спросил товарищ с динамитом.— Ты всади бур и не можешь его свернуть с места?

Адольф не ответил.

Они пробуравили четыре дыры и хотели произвести взрыв. Август пошел вверх по линии, измерял, высчитывал, исправлял вехи. «Берегись!» Рабочие по соседству спрятались, задымилось сразу четыре фитиля. Огонь в горах.

Когда Адольф зажег последний фитиль, он остановился и стал глядеть на дым. Почему ж он не убежал? Рабочие выглянули из своих прикрытий и с удивлением наблюдали за ним, потом стали окликать его. Вдруг Адольф бросился на камень, на тот самый камень, сел возле пробуравленной дыры, фитиль дымился теперь у него под ногами. Да что же это, в самом деле! Они кричат ему со всех сторон, они не обращают внимания на то, что сами подвергаются опасности, они выходят на дорогу, стоят, прыгают, дико размахивают руками, кричат, беснуются и прыгаются.

Дорога каждая секунда. Грохочет первый взрыв, сразу вслед за ним второй. Адольф сидит, камни дождем сыплются вокруг него и на него, он наклонился немного вперед и закрыл лицо обеими руками, но продолжает сидеть. Раздается третий взрыв. Адольф задет, но все-таки сидит. В последнюю секунду какой-то человек с быстротой молнии бросается к нему, вцепляется в него и увлекает за собой. Это Франсис, троньемец. Взрывается четвертый заряд.

Рабочие бросаются к ним и находят их лежащими среди камней и щебня. Конечно, они не успели далеко уйти; последний взрыв настиг их. Но все-таки, кажется, ничего ужасного не случилось, их повалило главным образом давлением воздуха. Во всяком случае Франсис приподнялся на локте, сплюнул песком и сказал:

— Если Адольф еще жив, то вздуйте его хорошенько!— после чего опять упал на спину.

Им не поздоровилось обоим: Адольфа пришлось в ящике из-под инструментов отнести на квартиру, а Франсис, поддерживаемый товарищами, едва мог брести; у обоих у них были тяжелые головы, и они были потрясены случившимся, потом их стало тошнить, они стонали и не разговаривали. Доктор Лунд раздел их, ощупал и стал расспрашивать, но они или совсем не отвечали, или отвечали невпопад. Из повреждений у Адольфа оказалось две раны на голове и сломанная лопатка; Франсис, падая, серьезно расшибся; пострадали главным образом ребра, но голова осталась цела.

Их обоих отправили в больницу в Бодэ.

О случае на дороге тотчас заговорили в городе, и он обсуждался даже в «Сегельфосских известиях»: был поднят вопрос, не придется ли Адольфа, после того как лечение в больнице будет закончено, поместить в приют для умалишенных, так как его странное поведение при взрывах скал указывает на мгновенное помешательство. Товарищ его, Франсис, вел себя как герой и заслуживает величайших похвал.

Потом волнение умов улеглось, но двое из самых лучших работников выбыли из строя. Август, недолго думая, принял в число рабочих и Беньямина, который закончил теперь работу в кино, и его товарища по ночным хождениям к подземным. Они не умели взрывать скал, но зато отлично могли посыпать дорогу щебнем и трамбовать ее.

Старая Мать опять пришла к Августу, она снова была в затруднении:

— Дорогой На-все-руки, на этот раз дело обстоит хуже, чем когда-либо...

Август, у которого и своих-то дел было по горло, спросил первым делом:

— А вы сделали то, о чем я говорил вам в последний раз,— вы молились богу?

— Нет,— созналась Старая Мать.

А вчера вечером длинноногий мужчина все-таки старался проникнуть к ней через окно, хотя оно и было закрыто. Он стоял за окном, как на ровном месте, несмотря на второй этаж,— ну, где это видано? Потом он стал стучать по стеклу. И самое ужасное — это то, что она открыла: ей же нужно было урезонить его; но тогда он вцепился в нее, они подрались, и кончилось тем, что она заставила его спрыгнуть обратно. Но он так ужасно угрожал ей, он даже вынул нож и погрозил им, когда стоял внизу.

— Погляди, как он обошелся со мною!

Лицо исцарапано, все руки и грудь в синяках,— она не может теперь показаться людям в городе, а должна сидеть взаперти и все это терпеть.

— Дорогой На-все-руки, ну, что мне делать?

Август подумал и сказал:

— Хорошо было бы просить и получить помощь свыше.

Старая Мать не сразу ответила на это:

— Да, да. Но скажи, пожалуйста, На-все-руки, разве годится так поступать? Что он — зверь или человек?

Август. Он был пьян.

— Ты должен отделать его за меня.

Август выразил сомнение в том, что это хоть сколько-нибудь поможет.

— Как? Не поможет? Что-нибудь должно же помочь? Почему он не может оставить меня в покое? Уж я сумею его припугнуть,— угрожала Старая Мать,— потому что я тоже хочу быть порядочной женщиной.— И она от бессилия почти заплакала.

Этого Август не мог вынести, он долго размышлял и наконец нашел один выход, на который, впрочем, пошел крайне неохотно:

— Не остается ничего другого, как застрелить его.

— Что? Нет, ты этого не сделаешь.

— Для меня это совершенный пустяк,— сказал Август.

Но человеку, о котором они говорили, не суждено было быть застреленным: совершенно случайно он прославился в имении как искусный ветеринар и на короткое время затмил собой даже Августа.

Случилось это так, — одна из лошадей заболела, это была верховая лошадь Марны, она забралась в свежую траву, объелась и стояла теперь вздутая, как барабан. Марны не было дома, — Марна уехала; но все остальные люди в имении собрались вокруг кобылы: консул с фру Юлией, Старая Мать, кухарки и служанки, и те из детей, которые умели ходить. Стеффен, дворовый работник, оказался бессильным сделать хоть что-нибудь, он «шевелил» лошадь, «качал» ее; теперь она отказывалась двигаться, стояла только, расставив ноги, с угасшим взглядом, изредка вздрагивая.

Вероятно, Александер, цыган, из окна коптильни увидел всех этих людей на лугу и пришел посмотреть, в чем дело. Никто на него не обратил внимания, он задал Стеффену два-три вопроса, и тот крайне уклончиво промямлил ему что-то в ответ.

— Стой и держи лошадь крепко за узду! — приказал он вдруг Стеффену.

Его черные глаза так и впились в заболевшее животное, он гладил его то тут, то там, ощупывал, нажимал пальцем на каждое ребро, отсчитал их приблизительно до середины, начал затем с противоположной стороны, и наконец отметил определенную точку...

Неужели он заранее засунул нож в правый рукав? Никто и опомниться не успел, как цыган всадил нож по самую рукоятку в бок лошади.

— Да что же это! — воскликнул кто-то из собравшихся. Это была Старая Мать, все остальные молчали.

Александер не вынул тотчас ножа, он прижал его плашмя к одной стороне раны, так что образовалось отверстие. Показалось немного крови, и из раны стал выходить воздух.

Кобыла держалась спокойно, даже прокол не произвел на нее заметного впечатления. Через несколько минут брюхо медленно и ровно подобралось. Александер прижал теперь нож к противоположной стороне раны и продержал его так короткое время. Потом он вынул нож и обтер его о траву, обошел кругом, заглянул кобыле в глаза и одобрительно кивнул головой.

— Что за черт! — вырвалось у Стеффена.

Кобыла оживилась, стала вырываться, обнюхивать землю.

Александр опять отдал приказание Стеффену:

— Оставь ее на короткой привязи и не давай ей жрать еще несколько часов!

— А рана? — спросил Стеффен.

— Это ничего. Если хочешь, помажь дегтем.

Фру Юлия словно с неба свалилась:

— Как, она опять здорова?

— Да, — отвечал Александр.

И дети и взрослые стали гладить кобылу, и когда она пошла, то опять сделалась довольно красивой, и глаза ее оживились. Дети проводили ее до конюшни.

— Благодарю тебя, Александр, — сказал консул.

— Ну, разве не ловко это у него вышло? — сказала фру Юлия. — Александр знает, что делает.

— Он знает иногда слишком много. Так, например, он умеет лазить по отвесной стене, — вдруг резко и ядовито заметила Старая Мать.

— Что он умеет?

— Лазить по отвесной стене. До второго этажа.

— Да? Это удивительно.

— И если мальчики увидят это и попробуют сделать то же, они упадут и расшибутся.

— Да, это не годится, Александр, — сказала фру Юлия.

— Нет, не годится, — ответил он и отошел.

Все слышали эту маленькую перепалку. Блонда и Стинэ тотчас наострили уши. Да, Старая Мать выбрала подходящий момент и попробовала отстоять свою свободу. Она почувствовала облегчение и осталась довольна собой, она пошутила:

— Ну, что же мы стоим? Пациент ушел, и доктор ушел. Ты, Юлия, напиши об этом Марне, — обратилась она к Юлии.

— Разве надо об этом писать Марне? — спросил Гордон Тидеман. — Кстати, куда это она уехала так поспешно?

Старая Мать. В Хельгеланд, вероятно.

— Я напишу ей, — сказала фру Юлия. — Она уехала в Бодэ.

Когда Август узнал о чудесном способе лечения, примененном Александром, он стал уверять себя в том, что стал слишком благочестивым для таких дел, и что он должен быть этому рад. Да и практики у него не было: ведь уж так давно не лечил он лошадей от газов, в последний раз это происходило на Суматре в 1903 году.

Но, впрочем, ему случалось лечить лошадей от вздутия и на Севере и на Юге.

Вполне возможно, что старый На-все-руки плутовал также и в ветеринарном деле; это могло с ним случиться. Но Александер учился искусству лечить лошадей у своего древнего бродячего племени и довел его до безупречности и до чуда,— он не учился ему понаслышке от кого попало.

— Так,— сказал Август.— Но тот, кто выучил меня этому приему, был великий и важный человек в своей стране. Он правил четверкой президента и, кроме того, всегда имел под надзором пятьдесят коней. Он в любое время прокалывал больных лошадей.

Александер попробовал было немного проэкзаменовать безумного хвастунишку:

— Куда же он будет колоть? Как далеко от переды и как близко к задю? Как высоко и как низко? Где он наметит точку?

Август сдался. Он не помнит, это было так давно. Но смысленным и любознательным, каким он был всю свою жизнь, таким остался и теперь, и поэтому он попросил Александера указать ему эту точку.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Александер.— Чтобы ты мог портить лошадей? Ты думаешь, что достаточно проколоть дырку; но видал ли ты когда-нибудь внутренности лошади, и знаешь ли, куда надо колоть, чтобы напасть на газы? И знаешь ли ты, как глубоко всаживать нож? Уж молчал бы лучше, лысый черт!

Но ловкий цыганский прием представлялся Августу чем-то особенно заманчивым, он сказал:

— Я мог бы заплатить тебе за это.

— Ты? Разве у тебя есть чем платить? — спросил Александер.

— Я жду деньги.

— Не мели вздора...

Зато Август получил признание с другой стороны,— от самого консула.

Гордон Тидеман был хорошо обученный господин и консул, он ходил в школу по разным заграницам и знал языки и бухгалтерию, но иногда он принужден был советоваться со своей дельной матерью. На этот раз он пришел к ней с телеграммой. «Обильный улов сельди у Верэ, закинули несколько неводов. Необходимо прислать еще сетей и яхту — и поскорее!..»

Старая Мать удивилась:

— Как?! Сейчас идет сельдь?



— Так тут сказано.

— Да, но кто этот Эллингсен?

— Мой агент,— сказал Гордон Тидеман.— У меня есть свои агенты.

Мать. Знаешь что? Тебе следует поговорить об этом с На-все-руки.

Гордон Тидеман пошел к Августу. Но после разговора с матерью, он был уже более осторожен, он сказал:

— Этой телеграмме, верно, не стоит придавать большого значения?

Август надел пенсне и прочел.

— Я этого не понимаю,— сказал он.— Какая же сельдь теперь? И притом возле Верэ.

Гордон Тидеман взял телеграмму обратно и сунул ее в карман.

— Слишком маловероятно,— продолжал Август, следуя за своей мыслью.— Если б здесь стояло... Простите, позвольте мне взглянуть еще раз!

Август еще раз прочел телеграмму, кивнул головой и сказал своим обычным уверенным тоном:

— Эта сельдь, о которой здесь говорится, не что иное, как сэй. Это описка.

— Неужели это возможно?

— Консул может мне поверить. Здесь подразумевается сэй. Это вполне совпадает и со временем года, и с Верэ. Но сэй вам, вероятно, не нужен?

— Как будто бы нет.

— И я тоже так думаю. И кроме того, сэй,— ну, конечно, сэй годен для сушенья: у него жирная печень, но тут не может быть речи о рыбном промысле в широком и крупном масштабе. Безусловно нет. Но, господа, прости меня грешного за такие слова. И сэй — божий дар, божья милость и благословение.

— Да, конечно. Ну, спасибо тебе, На-все-руки. Я так и знал, что за толковым разъяснением мне следовало обратиться именно к тебе.

## ГЛАВА XVIII

---

Деньги не приходили. Из Полена не было никаких вестей, Август так и не собрался написать.

Разве не было никакой возможности получить эти деньги? Один раз он остановил даже Осе, чтобы посове-

товаться с ней, но Осе ничего не могла сказать ему о деньгах. Зато она сказала о другом.

Осе, эта длинная, смуглая женщина в лапарской кофте, бродила от дома к дому, подслушивала и видела людей насквозь, не было ничего удивительного в том, что она многое знала, и таким образом и Августу могла бросить правду в глаза о его влюбленности в девушку из Южной деревни. Но разве он сам не знал этой правды? Может быть — да, а может быть — и нет. Благодаря своей глубокой и чрезмерной лживости он отлично мог налгать и самому себе. Он был как бы выдуманным существом, до того лживым, что казался выхваченным из воздуха. Он мог бы быть один в комнате, подойти к стене и шепнуть что-нибудь самому себе.

Но, несмотря на все свои заблуждения, Август стоял все-таки на земле. Он обнаружил, что в отделенном и забытом горном озере близ охотничьей хижины водится форель. Как она туда попала, было загадкой, — потому что не могла же форель подняться вверх по Сегельфосскому водопаду, — но она была там, и Август решил непременно уговорить консула, когда дорога будет отстроена, отвезти туда лодку. Кстати, если приедет английский лорд, он сможет заняться там для спорта рыбной ловлей.

Да, Август был предприимчив.

Но не мог разве этот парень использовать свою тайну каким-нибудь особенным образом? Если б у него были деньги, он смог бы, пустив пыль в глаза, подняться в глазах других и своей девушки. Без денег приходилось искать других возможностей. По многим причинам Август стал питать склонность к религиозному образу жизни, понемногу он даже перестал бояться вторичного крещения в Сегельфосском водопаде. Старый спекулянт, пожалуй, неспроста был так благочестив, — в этом можно было его заподозрить. Но разве судьба не была к нему особенно жестока? Кто видал что-либо подобное? Душа его страдала, он терял надежду и мужество, — Корнелия из Южной деревни была как-то в городе и сделала вид, будто не заметила его возле кузницы. Вот до чего дошло! Другие становятся религиозными и из-за меньших невзгод. Он не был безбожником и прежде, вовсе нет, черт возьми, он не был им, но ко всему прибавилась еще эта влюбленность, и уже недостаточно стало только крестить себе лоб и грудь и ждать.

Он справился в городе, у того торговца, который прошел через вторичное крещение, не чувствует ли он себя лучшим и более счастливым человеком.

О да, тот чувствовал значительное изменение.

— Словно тебе не так уж жаль денег, которые ты по справедливости должен получить, но не получаешь?

— Пожалуй. Одно к одному.

— Да, что я еще хотел сказать? — продолжал Август. — А можно ли себе представить, что такое крещение, как твое, поможет влюбленному человеку, ну хоть на волосок?

— Как?!

— Я не для себя спрашиваю, я спрашиваю для Беньямина из Северной деревни. Он, того и гляди, потеряет свою девушку, и от этого чувствует себя несчастным и ни на что не надеется. Он у меня работает. Поможет ли ему, если он крестится? И даст ли господь ему тогда девушку?

— Гм! Вполне вероятно, — сказал торговец. — Во всяком случае во многих отношениях это действует удачно. Что касается меня, например, то Тобиас из Южной деревни стал опять покупать у меня.

— Я видел недавно Корнелию в городе. Вероятно, она приходила покупать к тебе?

— Да, само собой разумеется.

Следующий вопрос Августа был относительно того, целуются ли крещенные после крещения, приветствуют ли они друг друга братским поцелуем, или как это там у них называется.

— Да, — сказал торговец, — я-то сам женатый человек и все такое. Но я слышал, что они целуются.

— Фу, как нехорошо! — сказал Август.

Он становился все более и более религиозным, и вопрос о крещении занимал его все сильнее. Он относился к нему очень серьезно; так он придумал брать бутерброды от ужина и завтрака к себе наверх и есть их при закрытой двери у себя в каморке; он отодвигал все масло в одну сторону, так что самый жирный кусок оставался напоследок, и вдруг, в последнюю минуту, он отказывался от лакомства и отдавал его птицам небесным.

Нравилось ли это пташкам? О, конечно. Он сам во всяком случае обнаруживал при этом добрую волю, а бог ценит прежде всего человеческое сердце.

С божьей помощью он сделался человеком, способным отказаться от денег и от Маммона. И что же? День шел за днем, а он не терпел недостатка ни в еде, ни в платье, и он не думал о завтрашнем дне, хотя когда горная дорога будет построена, его место мастера на все руки упряднётся.

Зато ему было гораздо труднее совладать со своей влюбленностью: благочестие тут помогало так же мало, как и презрительное отношение. Боже, что это было за состояние! Он сам не находил, что роль любовника не подходит к нему, — настолько еще молод и жив был этот старец. И он мог вполне прилично прокормить и жену и детей, если только его место мастера на все руки не будет ликвидировано. Ей будет хорошо у него, он не намеревается быть скупым и отказывать ей в том, на что она вправе рассчитывать. А злосчастная разница в возрасте, которая якобы должна была стоять между ним и Корнелией, при некотором усилии с его стороны может быть забыта. Разве никогда прежде не бывали такие случаи? Разве он не читал в газетах или не слышал во время своих странствий куда более разительные примеры? А юные девушки, которые давали себя обвенчать со старцем на смертном ложе, чтобы потом наследовать ему? Август содрогался при мысли о такой извращенности. Подумать только — на смертном ложе!

Осе была права: он желал получить девушку. И малейший пустяк воспламенял его ревность и делал его безумным. Беньямин стоял и вырезывал однажды на коре березы возле горной дороги свои и Корнелии инициалы. Подошел Август и отдал приказание тотчас счистить эти буквы, угрожая в противном случае прогнать его со службы. Беньямин подчинился и только сказал:

— Но ведь между нами почти уже все слажено!

И после этого он рассказал своему старосте, весь сияя от удовольствия, что он подарит Корнелии, когда как-нибудь вечером пойдет в Южную деревню, серебряное сердце на цепочке.

Август вскипел:

— Но ведь я же говорил тебе, чтобы ты женился на какой-нибудь девушке из Северной деревни!

— Как же, — припомнил Беньямин, — но из этого ничего не выходит. Я женюсь на Корнелии.

— В таком случае я могу сообщить тебе, — сказал Август, — что как только ты отдашь это сердце Корнелии, она в тот же день отдаст его Гендрику.

Но и тут у Августа ничего не вышло.

— Этого я не думаю, — сказал Беньямин.

Если бы Беньямин не был совершенно необходим на стройке дороги как раз теперь, Август прогнал бы его.

Этот юноша из Северной деревни причинял Августу много неприятностей своим упрямством и нежеланием

отстать от девушки. Он дал этому юноше хорошо оплачиваемую работу, но видел ли хоть каплю благодарности? Он пригрел змею на своей груди. Этот парень, вырезывавший буквы на деревьях, вероятно, вырезал их и на цементном полу в здании кино. И когда цемент застынет, они останутся там навеки. Он непременно исследует это при первой же возможности. Совсем другое дело, если вырезать несколько заветных букв на цементных стенах гаража. Они были спрятаны в укромном уголке и означали как бы приветствие, но Бенъямин уж, конечно, выставил свои на видном месте. Черт знает что за манера у этого парня — всюду совать свой нос!

Августа огорчало, что ему приходилось столько времени тратить на Бенъямина и соперничать с ним. Это делало его мирским и беспокоило его во сне; ему приходилось каяться в этом. В воскресенье он пошел в школьный дом в Южной деревне и присутствовал на проповеди самого крестителя. Ему было неприятно и тяжело, он сел как можно дальше и избегал знакомых, но кругом их было много. Корнелия была там же, но она не видала его. Гендрик был там же, Гина из Рутена, которая пела. Август не нашел ничего, чтобы возразить на проповедь: она вполне совпадала с писанием и заключалась главным образом в призыве прийти сейчас же в милосердные объятия господа.

— Заметьте, добрые люди, — говорил оратор, — солнце-ворот уже давно прошел, и мы не можем больше надеяться на хорошую погоду и на тепло. Я хочу посоветовать всем, кто до сих пор только думал об этом, чтобы они пришли и крестились сегодня же. Сейчас двенадцать часов, через час начнется крещение.

Слишком мало оставалось времени, и Август отправился домой.

Но когда он прошел уже мост, он передумал, решив, что неразумно откладывать, иначе он рискует не креститься вовсе. И он вернулся.

Ему пришлось идти вместе с другими, которые направлялись к той же цели; между прочими Блонда и Стинэ, девушки из имения. Августу было неприятно, что они видят его, но он был рад, что по крайней мере рабочих не было поблизости. Зато пришли и Корнелия и Гендрик, которые, хотя и были крещены, но еще раз захотели присутствовать при святом крещении.

— Что я вижу? — сказала Корнелия. — Вы тоже собираетесь креститься?

— Я начинаю немного подумывать об этом,— отвечал Август.

В сущности, он ничего не имел против нового крещения, отнюдь нет. Ведь никто ничего не знает наверняка, может быть, и стоило креститься. Разве Корнелия и целый ряд других лиц не сделались благочестивыми и не крестились? Почему же именно ему не проделать того же?

Одним словом, он пошел вместе с другими.

Резкий ветер дул со стороны водопада, и летели холодные брызги; хотя солнце и светило, погода все же была самая подходящая для непромокаемого пальто и зювестки. Август стал колебаться. Корнелия следила за ним.

Когда пришла его очередь, креститель сказал:

— Сними башмаки!

Август не мог остановиться на полдороге, он снял чулки и башмаки и засучил штаны до колен.

— Сними куртку, сними жилет и сними рубаху! — торжественно и важно провозгласил проповедник.

Август послушался. Затем они оба вступили в воду, и при трехкратном погружении в воду Август крестился.

Было невыносимо холодно.

Август вытерся как можно суше и оделся. Корнелия все время не спускала с него глаз; она сперва не доверяла ему, теперь ей пришлось поверить. Она очень мило подошла к нему и приготовилась идти вместе с ним.

Август был сконфужен, он сказал:

— Ну, что же ты думаешь теперь?

— Что я думаю?

— Ну да, вообще. Это единственное необыкновенное происшествие в моей жизни, хотя я и много странствовал по белу свету.

— Еще бы!

— Но было очень холодно. Если б я крестился в Таити, там куда теплее,— сказал Август, стуча зубами.

По ее мнению, он справился с этим не хуже остальных крестившихся.

— Все остальные гораздо моложе. А я ведь старая посудина, как ты знаешь.

Она с этим не соглашалась.

— Разве ты этого не находишь, Корнелия?

Ей не хотелось продолжать этот разговор. Но она была все время мила и добра и находила, что он правильно и хорошо поступил.

— Впрочем я вовсе уж не так дряхл,— стал вдруг защищаться Август и выпрямился.— На дорожной стройке я всюду поспеваю, и я хотел бы видеть того человека, который ударил бы меня по уху, и чтобы я не застрелил его.

Гендрик шел тут же с кислым видом, но ему не удалось переманить к себе Корнелию. Казалось, он был недоволен тем, что Август крестился и вообще стал как бы равным.

— Корнелия, а не пора ли нам повернуть домой? — спросил он.

— Нет,— сказала она,— я как иду, так и буду идти вперед по этой дороге. А ты ступай себе домой, Гендрик!

Она отсылала его и говорила это совершенно прямо. Она обратилась к Августу и спросила его о Беньямине.

— Беньямин? Как же, он продолжает работать.

— Где?

Потому что вчера, когда она была в городе, она уже не нашла его в здании кино.

— Что тебе до него? — с досадой спросил Август.— Ведь он не крещен, как мы...

И вообще ей не следует беспокоить Беньямина как раз теперь. Ему предстоит большая работа, которая требует от него полного напряжения всех его способностей.

— А где же это?

— Это все равно. Но он зарабатывает большие деньги.

Конечно, Августу приходится указывать ему каждую мелочь, все время учить его, потому что он ведь не царь какой-нибудь и не капитан в смысле ума.

— Разве нет?

— Нет. Он баран. И вовсе уж он не такой красивый.

Но Август обещал помочь ему, и он сдержит свое обещание.

Корнелия шла некоторое время молча и потом спросила, не передаст ли он поклон Беньямину.

— Передать поклон? Нет, зачем же? Он даже не крещен.

Август все равно забудет передать ему поклон: у него столько дел, он правая рука консула, и все такое. Да, что, бишь, он хотел сказать? Не подарит ли она ему братский поцелуй теперь, после крещения?

Корнелия побледнела:

— Нет.

— После крещения, говорю я, теперь, когда мы оба крещены. Теперь ведь я составляю одно со всеми твоими.

— Теперь мне пора домой,— сказала она и повернула. С длинным носом!

Он мог бы пойти за ней,— еще бы, ему ли, Августу, не знать, как обращаться с молодыми, жалкими девочками? Но он не был расположен, даже не совсем здоров: холодная крестильная вода и ветер с водопада заморозили его, он продрог до костей. Он побегал было, чтобы согреться, но запыхался и устал, и пошел опять. Черт, до чего он ослаб, да простятся его прегрешения!

Внизу на лугу собралось много рабочих с дороги. Август шел со своего крещения и был подавлен; он торопился пройти мимо, чтобы поскорей прийти домой и лечь в постель. Он слышал, что рабочие были эту ночь на вечеринке с танцами, и казалось, они все еще веселились, может быть, у них было и вино с собой; они подсакивали друг к другу и говорили очень громко. Тут были также и женщины, девушки из города, кроме того Вальборг из Эйры и ее муж. Вдали у края дороги играли на гармонике.

Август лег в постель, не раздеваясь, и хорошенько закутался.

Он не заснул и не согрелся, он лежал и дремал, и думал о разных вещах, случившихся сегодня. Ему бы наверное удалось поцеловать Блонду и Стинэ, но это было не то же самое, ему не хотелось даже и мысленно изменять Корнелии, это ему даже в голову не приходило, он был не таковский.

Вдруг несколько возгласов донеслось к нему в комнату снаружи. Что это такое? Кричат на лугу. Август привстал на локте и прислушался, он почувствовал что-то неладное, вскочил с кровати и бросился к окну. Ну, конечно, побоище! Он узнал эти возгласы и крики: так кричат бандиты и другие злые люди, когда дерутся,— дорогие, незабвенные звуки, несущиеся к небу!

Он выскочил из комнаты и побегал на луг.

Две артели рабочих сцепились друг с другом; женщины вертятся тут же и хотят их разнять; дети, чтоб не мешать, стоят в отдалении, но мальчики доктора так увлечены зрелищем, что стоят совсем близко.

«Получится ли из этого хоть что-нибудь серьезное? — Август, нахмуря брови, следит за сражением.— Это никуда не годится,— они дерутся, дерутся, но у них ничего не выходит. Вот Больдеман ударил кого-то, но он слишком пьян, вот ему дали сдачу, и вовсе уж не так плохо! Но что это? Где это видано? Они никак ударяют в грудь! Что



за безобразие,— подставляют друг другу ножку! Да что они, с ума сошли, до сих пор еще никому не выбили зуба? И неужели никто из них не умеет свернуть шею?»

Август оживляется и принимает участие в бою тем, что наступает и отступает, стоя на месте, одновременно с другими; он разгоряченно потрясает кулаками в воздухе, желая обучить их, наклоняется в сторону и посмеивается при удачном ударе, промах заставляет его содрогаться. «Стыдно, позорно вести себя таким образом! Уж я бы ему показал, если б так удачно ухватился за него! Этот длинный Петер какой-то несчастный. Убирайся вон, длинный Петер! Ты портишь всю игру и при этом делаешь вид, что истекаешь кровью. По-твоему, это кровь? Это кровь из носу и слезы,— ты же ведь плачешь...»

Иёрн Матильдесен подходит к Августу и говорит ему:  
— Вы совсем синий. Вам нездоровится?

Он вынимает из кармана большую бутылку из-под водки и подает ее Августу,— это коньяк. Но Август занят своим, течением борьбы; впрочем, он принимает бутылку и пьет из нее взасос, но совершенно бессознательно, с глазами, устремленными на побоище.

Иёрн Матильдесен продолжает говорить:

— Это не моя бутылка, мне дали ее подержать, это бутылка Больдемана. Нет, видали ли вы когда-нибудь таких сумасшедших? Поглядите, они все в крови! Они дерутся из-за Вальборг, но Вальборг не желает иметь с ними дела.

Август выпил еще, выпил бессознательно, с отсутствующим видом, но заметно было, что искусство опустошать бутылки не было ему чуждо. Он по-прежнему продолжал следить за борьбой и отозвался пренебрежительно о борющихся.

— Взять хотя бы Густава: этот человек работал у меня месяцами, и все-таки он не может ударом повалить человека. Черт знает что такое! — сказал Август и плюнул.

Он пил долго жадными глотками и не отдал бутылки. А это еще что? Кто-то дерется шапкой, бьет противника по лицу. Да это же мальчишки, грудные ребята! Август не мог этого вынести, он втянул шею в плечи и присел, потом подпрыгнул вверх и взвыл. Кто-то снял с себя сапог и стал бить сапогом; его у него отняли, этим же сапогом смазали по лицу, и сапог исчез вовсе. Что же это?! Август не мог не сердиться, он прыгал и плясал: так жалка была эта драка. Пропал всего какой-то сапог!

Ни о чем не думая, он выпил еще; лицо у него зарумянилось, в нем появилась жизнь, и он опять стал следить за дракой. Но получалась одна ерунда. Вот чертенята эти сыновья доктора — насадили сапог на шест и несут его, и Августу приходится созерцать такое издевательство над дракой. Он заметил, что двое из драчливых петухов подхватили девушку и мирно увлекают ее куда-то, но по дороге все же поссорились из-за нее и стали драться друг с другом. По мнению Августа, драка обещала быть из удачных: оба парня были страсть как злы, у одного ухо висело почти на волоске, и все-таки борьба продолжалась. Но вскоре подоспело еще несколько человек, и опять образовалась мешанина из обезумевших людей. Вальборг вела свою линию и тоже не отставала: при случае и она наносила удар, но больше участвовала уговорами или возгласами, а то угрожала уйти от них всех. Она выглядела на редкость красивой и свежей, несмотря на ночной кутеж, а ее зеленое в красную клетку платье было все еще нарядно.

Теперь стали драться ключами и камнями; это несколько помогло, и оказалось больше крови. Кто-то вынул из кармана бутылку.

— Что же это такое? — заголосил Август. — Он брызгает водкой в глаза другим, вместо того чтобы хватить бутылкой и оглушить как следует! Мне стыдно, глаза бы мои не смотрели.

Раздался дружный крик.

— Они взялись за ножи! — сообщил Йёрн Матильдесен.

Где? кто? Август пробежал несколько шагов по направлению к ним, сел на корточки и поглядел, затем опять подпрыгнул и закричал: «Урра!» А это что? Зачем этот человек с большим ножом не двигается с места? Это Ольсен из Намделя. О, как он забавен и как мил! Неужели же он не пустит его в ход? Но тогда на кой черт ему нож? Вот он только что упустил отличный случай всадить нож в широкую спину — и готово! Август приходит в отчаяние от Ольсена, он глубоко презирает его за то, что тот медлит; он не может совладать с собой, выхватывает из кармана револьвер и два раза подряд стреляет в воздух, чтобы принять участие и ободрить, чтобы показать им...

Но выстрелы производят как раз обратное действие: безумие мигом слетает со всех. Август испускает воинственный клич, но это ни на кого не действует, кое-кто оглядывается на него, рабочие узнают своего старосту и думают, что Август хочет образумить их. Но один не

хочет сдаться: это — Больдеман. Лицо у него по-прежнему самое разъяренное, он изо всех сил выбрасывает ногу и попадает, но слишком высоко; он попадает противнику в живот, вместо того чтобы попасть между ног, и сам Больдеман опрокидывается и падает. Толстяк Больдеман был слишком пьян.

Все затихает.

Август глубоко оскорблен: такого поведения он еще никогда не видал, хотя поездил изрядно на своем веку.

— Вот бы мне быть на их месте! — повторяет он раз за разом.— Но я слишком стар.

Он сделал несколько больших глотков из бутылки, отдышался и сказал:

— Вот они стоят там и воображают, что они герои, они дрались необычайно, дрались смертельно. Ха-ха! Но ни один из них не остался на поле брани! Мне бы следовало быть на их месте!

Он поднял бутылку и поглядел, сколько в ней еще осталось, а так как оставалось совсем немного, меньше четверти, то он опустошил ее до дна, погруженный в другие мысли.

Теперь он снова выглядел полинялым, и губы его посинели. Он еще раз хотел поднести бутылку ко рту, но спохватился и протянул ее Иёрну, чтобы разделаться с ней. Иёрн Матильдесен повторил, что бутылка не его, что ее дали ему подержать, что это бутылка Больдемана. Август продолжал протягивать ее, качать головой и жаловаться, что он не хочет больше пить, что он не выпьет больше ни капли. Потом, в забытии, он опять заговорил о побоище, от презрения стал называть рабочих ласкательными именами, растрогался, чуть было не заплакал сам над собой и сказал, совсем разбитый:

— Нет, я слишком стар.

Под конец он время от времени бормотал что-то, как обычно это делают пьяные люди.

А потом он свалился на землю...

Но может быть, это именно и спасло Августа,— то, что он выпил бутылку коньяку, что его отвели домой и уложили в постель.

Обе его сестры по крещению, Блонда и Стинэ, всю ночь укутывали его в шерстяные одеяла и нагретые простыни; он насквозь промок от пота и проспал пятнадцать часов подряд.

Аптекарь Хольм вошел однажды к почтмейстерше, поклонился ей и сказал:

— Благодарю вас, я поживаю хорошо. А вы?

Фру со смехом взглянула на него и ответила:

— Вы обезьяна.

Хольм. Согласен. И сказал-то я так только для того, чтобы отклонить ваше бешенство по поводу моего долгого отсутствия. Впрочем, я вру, что мне хорошо. А вам?

Фру внимательно поглядела на него:

— Вот как? Вы опять заходили в гостиницу к Вендту?

— Немножко, совсем капельку. Но у меня столько неприятностей! Так, например, я никак не могу развязаться с проклятой вдовой Солмунда.

— Вдовой Солмунда? — припоминает почтмейстерша и качает головой.

— Та самая, которую мне пришлось перевести на социальное обеспечение, потому что я не мог дольше кормить ее и детей.

— Что с ней такое?

— Да вот иду я один самым невинным образом по Северной деревне, как вдруг появляется вдова. Она подкарауливала меня, она ломает руки и утирает слезы: не могу ли я помочь ей? если б я только знал, как она нуждается! С того самого дня я ни разу не был в Северной деревне. Есть что-то мрачное в ней, вы не находите? Что-то обреченное. Насколько приветливее и привольнее в Южной деревне! Не правда ли? Там нет этого мрака и печали.

— Но ведь вы же ходите по новой дороге консула? — говорит фру.

Хольм сразу не знает, что сказать:

— Да, но сейчас я говорю о Южной деревне. Из этих двух деревень я предпочитаю Южную. В Южной деревне я могу гулять спокойно: вдова Солмунда там не живёт, а когда по вечерам возвращаюсь домой, я слышу божественный призыв Гины из Рутена.

— Мне так и не удалось услышать этот призыв.

— Но сегодня — господи, помоги мне! — вдова Солмунда вторглась ко мне в аптеку, — продолжал Хольм. — В аптеку! Вот почему я пришел сюда. Она в ужасном состоянии и не знает, как ей быть, а причина ее ужасной бедности и того что у нее ничего нет, — социальное

обеспечение. Но и это, пожалуй, не главная беда, а так, обычная; конечно, и она и дети получают слишком мало еды, и мало кофе, и патоки, и соли, и тмина, но особенно плохо дело обстоит с одеждой. Никакой обуви, никакого белья, и очень мало постельного белья. Она подняла платье, чтобы показать мне, что внизу у нее ничего нет, а сверху лишь тоненькое ситцевое тряпье. Она предлагала мне пойти с ней домой и поглядеть на постельное белье, но потом застыдилась и сказала, что неловко просить меня об этом. «Да я ничего в этом не понимаю». — «Как же, не понимаете! Конечно, понимаете». Во всяком случае я должен сопровождать ее в социальное обеспечение. На это я согласился. Женщина в своем ситце шла и стучала зубами от холода, потому что сегодня ведь прохладно. Но мы прогулялись напрасно. «Об одежде, белье не может быть и речи». И вообще нужда ее так обычна, что чиновник только головой покачал.

Хольм остановился и поглядел на фру.

— Ну?

Хольм. Да, дело в том, что вдова Солмунда принесет завтра свое постельное белье в аптеку.

— Да неужели?

— Да, она непременно хочет мне показать его.

— Но, в сущности, какое вы имеете отношение к этому? — спросила фру.

— Никакого. Вот разве то, что я состою членом санитарного надзора или что-то в этом роде.

— Все это совершенно невероятно.

— Не правда ли? Она обещала, что принесет все, завяжет вещи в узел и притащит.

— Над этим и смеяться, и плакать хочется за раз.

— Я не смеялся и не плакал, но я в отчаянии. Первым делом я выпил виски с содовой водой в гостинице у Вендта, а так как это не помогло, то я прибегнул к средству, о котором слышал давно: я выпил вдвойне. И потом пошел сюда.

— А что вам здесь надо? — спросила фру.

Хольм. Вы спрашиваете об этом человека, который положил голову на плаху?!

— Ха-ха-ха! А разве вы не можете послать к вдове лаборанта и запретить ей приносить вам постельное белье?

Хольм. Пожалуй, я мог бы это сделать. Но как раз сейчас я засадил лаборанта за пасьянс, который никак не выходил у меня. Это отнимет у него весь день.

— Вы, верно, все пьяные в этой вашей аптеке,— сказала фру.

— Кроме фармацевта. Да и вообще никто не пьян. Но если пасьянс упорно не желает выходить, то приходится его перекладывать и перекладывать без конца. Это настоящее наказание; иногда бывает, что бьет четыре часа ночи, а вы все сидите и раскладываете. Вообще этот год был крайне тяжелый в отношении пасьянсов.

— Пасьянсы! — с презрением сказала фру.

Хольм. Да, но у меня есть еще и кошка.

— Кошка? Фу, гадость!

— Нехорошо так говорить, фру. Кошка эта живет у меня уже несколько лет, и я не нахожу, чтобы она оказывала на меня дурное влияние.

— Вы шут гороховый! А вдова ваша придет, значит, с постелью завтра?

— Нет, к счастью, она этого не сделает,— ответил Хольм.— Все это я выдумал, чтобы казаться интересным. И вы этому не верьте. Но вдова Солмунда прямо-таки виснет на мне, была и в аптеке, и я никогда не разделаюсь с ней из-за нехватки платьев у нее и у детей. Это все правда.

— Поэтому вы и пришли ко мне? У меня тоже немногим больше того, что на мне.

Хольм. У меня также. Да, но у меня идея, то есть я хочу сказать, что меня осенило свыше: вдова Солмунда и ее дети, без сомнения, раздеты, и теперь осенью им слишком холодно в ситцевых платьях. Не устроить ли нам что-нибудь вроде вечера в их пользу?

— Пожалуй, можно устроить,— сказала фру.

Хольм развил свою мысль: почтмейстерша будет играть, он сам побренчит на гитаре, Гина из Рутена будет петь, а Карел из Рутена споет под аккомпанемент гармоники. Впрочем, не так важно, какая будет программа, главное — заполучить публику; а Хольм был уверен, что публика соберется. Придется снять, конечно, самое большое и лучшее помещение в городе — кино.

Они стали составлять план. Хольм решил взять на себя все хлопоты по устройству. Теперь публика: прежде всего все консульские, весь дом и лавка, потом семья доктора, семья священника, ленсмана, окружного судьи, почтмейстер с женой, Голова-трубой с женой, телеграфисты, учителя,— сколько всего? Затем торговцы из лавчонок, дорожные рабочие, шкипер Ольсен с семьей, вся гостиница с обслуживающим персоналом и, может быть, гости,— ну,

и все деревенские. «Сегельфосские известия» напечатают шикарное воззвание; билет будет стоить крону, валовой сбор... Сколько у нас вышло?

— Пятьдесят человек, — подсчитала фру.

Хольм. Сто, тысяча! — Начинает пересчитывать: — Голова-трубой — двое...

Фру умоляющим голосом:

— Не надо!

Молчание.

Они перешли на болтовню о личных делах, и часто нельзя было понять, шутят ли они, или говорят серьезно. Они оба были одинаково двусмысленны в этом хитросплетении из шуток, полуобманов, остроумия и флирта. Удивительно, что они так долго играли огнем и не доигрались до пожара. Но они даже и не остерегались огня: все это были лишь одни упражнения, они не загорались.

Хольм. Вы сказали, горная дорога...

— Не хотите ли стакан портвейна? — спросила она.

— Вы очень заинтересованы в том, что я сейчас открою вам.

— Да, я слыхала, будто вы собираетесь погубить себя.

— Неужели? Я не знаю, собираюсь ли я погубить себя. Но раз уж между вами и мною все кончено...

— Разве кончено? — спросила фру.

— Да, бедная вы!

— А как же устроилось ваше дело с Марной? — спросила она.

— С Марной? — повторил Хольм и задумался. — Нет, там я не имел успеха.

— Вероятно, вы недостаточно старались.

— Нет, очень старался. Я даже делал пробор на затылке.

— Подумайте! И все-таки ничего не вышло.

— Трагедия! — сказал Хольм. — И эта дама уехала теперь в Бодэ, чтобы ухаживать там за дорожным рабочим, который лежит в больнице.

— Из христианской любви.

— Нет, из противоположных побуждений, насколько я слышал.

— А что же противоположно христианской любви?

— Мирская любовь, я думаю. Та самая мирская любовь, которую я испытывал к вам, пока все между нами не кончилось.

Фру. Раз кончилось, так уж теперь ничего не поделаешь. Но вы пришли к этому решению без меня, аптекарь Хольм.

— Это черт знает что! — сказал аптекарь.— Неужели я поступил опрометчиво?

— Уж не знаю,— отвечала фру.

— Вы сказали однажды, что вы предпочитаете мне вашего мужа.

— Еще бы, конечно, предпочитаю!

— Вот видите! И потом, на что бы мы стали существовать?

— А разве аптеки не хватает?

— Нет,— сказал Хольм и покачал головой.

— На что же вы живете теперь?

Хольм вынул из жилетного кармана чек, повертел им в воздухе и сказал:

— На что я живу теперь? Отчасти на такие бумажки. Иными словами — на подкрепления из отчего дома.

— Которые прекратятся, когда вы женитесь?

— Дорогая моя, может быть, и не прекратятся, а наоборот, увеличатся. Но с моей стороны несколько подло продолжать принимать их. Вы не находите?

— Да, но на что будете вы жить с... я хочу сказать: когда вы женитесь на...

— О, с ней это совсем другое дело! Мы уже говорили об этом. Она молодец. Во-первых, у нее опыт, а во-вторых, она такая от рождения. Чудесный человек, скажу я вам.

— Вы влюблены?

— Больше того: я люблю ее. И кроме того, ведь надо же когда-нибудь жениться.

— Она согласна?

— Да.

После непродолжительного молчания фру говорит осторожно:

— Но все-таки, подумали ли вы обо всем, вместе взятом? По-моему, вы все-таки губите себя.

— О чем — вместе взятом, фру?

— Если вы не рассердитесь на меня, то я скажу, пожалуй. Об ее отношениях. Вы поняли меня?

Хольм сделал руками отстраняющий жест:

— У меня нет буржуазных предрассудков, если вы целитесь в этом направлении.

— Я не целюсь ни в каком направлении,— отвечает фру.— Мне вы не нужны. Но ваш случай является для



меня загадкой. Каким образом вообще началась вся эта ваша история с ней?

— Судьба! — сказал Хольм.

— А разве она не слишком... я хочу сказать...

— Нет, — отвечал Хольм, — мы одних лет.

— Сколько же ей лет, по ее словам?

— Семьдесят. Но помимо молодости у нее есть нечто, выгодно отличающее ее от женщин, которым ужасно хочется быть возможно моложе.

— Благодарю вас!

— Это — ее полнейшая естественность и человечность, как внутренняя, так и внешняя, свежесть, чувственность, нежность, которых она не скрывает. Я не видал ничего подобного. Вы ее знаете?

— Чуть-чуть.

— Я-то ее знаю, — сказал Хольм. — Нос немножко с горбинкой, глаза зеленоватые и становятся маленькими и влажными, когда она смеется, большой, но тонко очерченный рот, чудесный, губы коричневые и полные...

— Я же говорю вам, что почти не знаю ее.

— Высокая грудь, полные губы...

— Еще раз...

— Жадный рот, волосы, — совершенно ни к чему столько волос одному человеку, — но рот...

— Так, так! Знаете, что я вам скажу, — говорит вдруг фру деланно оживленным тоном. — Карел из Рутена здорово выучился играть на вашей гитаре.

Хольм даже привскочил:

— Неужели? Карел из Рутена? Ну да, весь дом у них музыкален. Вы предложили мне стакан портвейна, фру?

— Простите меня, но только в шутку. На самом деле у нас нет средств иметь портвейн. А вы поверили?

— Пожалуй, что нет. Простите. Это хорошо, что я оставил у него свою гитару. У Карела, я хочу сказать. Как же вы узнали, что он выучился играть?

— Мы с мужем ходили в Рутен.

— Без меня! — сказал Хольм.

— Да, но без всякого дурного умысла. У моего мужа было там дело. Он помог Карелу получить какие-то деньги из общественной помощи, чтобы осушить на них пруд.

— Ваш муж это сделал?

— Да. И Карел был так этим доволен, что бросил работу и сыграл нам на гитаре.

— Черт знает что за молодчина этот ваш муж, раз ему так легко дают деньги!

— Да, и ему пришлось идти не дальше, как в земельное управление, в самой деревне. Конечно, муж мой умный и дельный человек. А вы в этом сомневались?

Хольм улыбнулся.

— Если б между нами было все как прежде, я сказал бы, что я тоже умный и дельный человек.

Фру тоже улыбнулась.

— А я, если б между нами было все как прежде, из страха потерять вас согласилась бы с вами.

— А теперь?

— Ну, а теперь я могу только сказать, что вы человек, способный лишь к замысловатой болтовне.

— Черт знает что! — сказал Хольм. — К замысловатой болтовне?

— Да, с такой жалкой соучастницей, как я, например. Мы оба до того пусты! До самого дна.

Хольм. После этого мне не остается ничего другого, как...

Фру оборвала его:

— Боже мой, избавьте меня от дальнейшего! Я не хочу больше слушать эту болтовню.

— Может, вы хотите, чтобы я молчал? Прикажите.

— Вы могли бы склонить голову и сказать, что теперь вы понимаете, почему я вам предпочитаю своего мужа.

Хольм внимательно поглядел на нее.

— А в этом нет немного ревности?

— Не знаю, — отвечала фру.

Хольм встал, чтобы идти.

— Будем немного более снисходительны к самим себе, фру. Никто не может быть иным, чем он есть. Аптекарь Хольм ничто, но он таков, он — на иной манер, чем почтмейстер Гаген. И он прощает себе это. Мы говорили о вас и о другой даме, — болтали, если хотите. Вы и она непохожи друг на друга, но обе вы кое-что...

Фру вскочила.

— Я вовсе не хочу, чтобы меня сравнивали с ней!

Хольм побледнел, глаза его стали жесткими, и он сказал:

— Будьте снисходительны к самой себе, фру Гаген. Простите себе, что вы значите меньше, чем кто-то другой.

Аптекарь Хольм отправился со своим чеком в банк. Там стоял консул и разговаривал с директором банка, нотариусом Петерсеном. Они вели серьезный разговор и изредка упоминали о шестидесяти тысячах. Вначале консул воспринял это как шутку, но он не улыбнулся шутке,

наоборот, нахмуренный лоб его посадил «Голову-трубой» на место. Никто не должен был шутить, разговаривая с ним,— это была особенность его характера.

— Шестьдесят тысяч.

Тут было что-то неладное, в корне неправильное, и консул сказал:

— Я попрошу вас извинить меня, но мы с вами не можем тратить время на такие шутки.

— Это не шутка,— сказал Петерсен.

Консула Гордона Тидемана учили когда-то, что джентльмену не годится поступать опрометчиво и что он должен дать противнику время опомниться. Он помолчал немного, но поджал губы и глаза его стали колючими.

— Но это же пустяк для вас, господин консул,— сказал Петерсен.— У вас, вероятно, есть деньги кроме тех, которые вам должны кругом, и я был бы счастлив, если бы вы разрешили мне потребовать эти долги от вашего имени.

— Извините,— прервал его консул,— но мне кажется, что вы перешли границы дела.

— И кроме того, у вас есть еще столько всего другого,— продолжал Петерсен.— Я желал бы быть на вашем месте! — Он решительно протянул руку, чтобы взять у аптекаря чек и оплатить его.

Но тут терпение консула лопнуло, его глаза стали острыми, как буравчики, и он сказал:

— Извините, но сначала кончите дело со мной.

— Хорошо,— сказал Петерсен,— хорошо. Но вы могли бы просмотреть книги и здесь.

— Вы очень любезны. Но мне нужна выписка. Когда я смогу получить ее?

— Я потороплю кассира.

— Спасибо. За все годы со смерти моего отца.

— Что?! — вздрогнув, спросил нотариус.

— С того момента, как я принял дело.

— Это же колоссальная работа! Вы не можете этого требовать. Я даже не знаю, обязан ли банковский персонал выполнять такую работу.

— Может быть, вы предпочитаете, чтобы счета были пересмотрены судебным порядком?

— Судебным порядком? — улыбнулся нотариус.— Это сложная история.

— И мне вовсе не весело упоминать об этом.

— Вы же получали ваши конто из года в год. И вдруг они неправильно составлены! Самое лучшее — созвать правление банка.

— Против этого я ничего не имею.

Нотариус опять улыбнулся:

— Даже если б вы были против, господин консул.

— Вот как, вы хотите разговаривать в таком тоне? — спросил Гордон Тидеман.

— Теперь вам тон не нравится! Вы такой важный, вы приходите к старому нотариусу и говорите ему о судебном порядке.

— Извините, если мне еще раз придется говорить о том же!

— Говорите, сколько вам угодно! — грубо сказал нотариус.— Вы получали ваши конто каждый год, счета просмотрены тоже за каждый год.

Консул кивнул головой:

— Да, я знаю, что вы проверяли счета еще прежде, чем стали директором банка. Был ли у вас знающий помощник за все эти годы?

— Я сам достаточно сведущ.

— Я надеюсь. Но вот вы заявляете вдруг о никогда неслыханном доселе долге моего отца, то есть о чем-то, чего ваша ревизия не обнаруживала до сих пор.

— Да, потому что на этот раз я считал с большей вдумчивостью, в чем не откажет мне никакой суд. А ревизией занимался не я один, и может быть, я несколько слепо доверял своему помощнику.

Гордон Тидеман только плечами пожал.

— И все-таки вы только что ссылались на ревизию? Вы сами не замечаете, что запутались вконец, господин нотариус.

— Я? Никогда, ничего подобного...

— А я боюсь, что да,— сказал консул.

Непродолжительное молчание. Нотариус думал, моргал под очками глазами и думал. Он здорово присмирел и сказал:

— Разве стоит придавать этому такое значение? Если мы сделали ошибку, то мы, конечно, ее исправим.

Консул кратко:

— Да, вы ее исправите. Мне кажется, здесь только что был аптекарь?

— Он вышел, вот я вижу его прогуливающимся снаружи.

Консул открыл дверь, пригласил аптекаря войти и усиленно перед ним извинился.

Аптекарь. Ах, дорогой мой, какие пустяки! У меня-то ведь крошечное дело. Речь идет не о таких суммах,

о которых только что разговаривали господа! — И он передал свой чек для оплаты.

— Итак, господин директор банка, вы поторопитесь передать мне мой контокоррент? — спросил консул и собрался уйти.

— Поторопитесь, говорите вы? Но если созывать правление, то на это уйдет время. Зато годовой контокоррент вы можете получить хоть завтра.

— Мое конто записано в немногих отделах на каждый год, поэтому выписать его недолго. Я должен видеть, с какого года вы начали присчитывать эту фиктивную сумму в шестьдесят тысяч.

— Это я могу сказать вам и сейчас, — отвечал директор банка. — Эти шестьдесят тысяч внесены в счет с этого года, — конечно, с процентами за все прошлые годы.

— Благодарю вас. В таком случае пока мне нужен только годовой контокоррент. И я буду иметь его завтра?

— Да.

Консул Гордон Тидеман поклонился обоим господам и вышел.

Нотариус Петерсен слишком поздно сообразил, что аптекаря позвали, пожалуй, в качестве свидетеля.

— Да, теперь вам плохо придется! — сказал Хольм.

— Нет, это ему плохо придется, — отвечал нотариус.

— Я всегда слышал про этого человека, что если он силен в чем-нибудь, то это в счете.

— Считать-то я тоже умею.

— Вам придется напрячь все свои силы, — сказал Хольм. Он подошел к кассе и получил деньги. — Да, кстати, вы ведь председатель киноправления? Не одолжите ли вы нам как-нибудь на вечер ваше здание?

— Выбирайте любой вечер, кроме субботы.

— Отлично. Это будет небольшой концерт в пользу бедного семейства.

— Тридцать крон, — сказал нотариус. — Какой же вечер вы хотите? — спросил он и схватился за календарь.

Хольм. Вы меня не так поняли. Это делается с благотворительной целью, и мы не можем платить.

— С благотворительной или нет, это безразлично. У нас только что были крупные расходы по починке пола в зале, нам надо спасать, что еще можно спасти. Тридцать крон — это очень дешево. Какой же вечер?

— Воскресенье, — ответил Хольм. С бледным лицом он заплатил тридцать крон и попросил дать ему квитанцию.

— Квитанцию? Я никогда не давал квитанций на такие вещи прежде.

— Это на тот случай, если вас застрелят в течение недели, и с меня потребуют уплаты опять.

Хольм получил квитанцию и ушел.

Он направился в «Сегельфосские известия» и поговорил с редактором Давидсеном об афишах, — красивые афиши для расклейки на домах и столбах, штук пятнадцать-двадцать; текст следующий: «Вечер развлечений, место, время. Билеты и программы продаются при входе».

Они поговорили об участниках вечера, об артистах и о заметке редактора, которую он поместит завтра в газете. Все обсудили заранее: лаборант придет за афишами, как только они подсохнут, чтобы расклеить их по городу, он разыщет также и гармониста; чтобы не печатать отдельных билетов, можно воспользоваться обычным штампом кино. Программу Хольм составит потом, в течение недели, вместе с Вендтом из гостиницы.

— Сколько я вам должен? — спросил Хольм.

— Ничего. Это же благотворительность! — сказал Давидсен.

Хольм вытащил целую пачку денег, чтобы показать свою обеспеченность, и повторил:

— Сколько?

— Если уж вы хотите непременно дать мне что-нибудь, — сказал с неохотой Давидсен, — то пусть это будет две-три кроны.

— Этого не хватит на бумагу, — сказал Хольм и вынул десять крон.

Давидсен ощупал все карманы:

— Я не могу дать вам сдачи: у меня совсем нет мелочи.

Хольм, делая большие шаги, поспешил в Рутен, к Гине и Карелу.

## ГЛАВА XX

---

И действительно, если Гордон Тидеман был силен в чем-нибудь, так это в счете.

На другой же день он получил свой контокоррент и имел полное основание торжествовать: его сальдо снизилось больше, чем на половину, гораздо больше, чем на половину, — до двадцати четырех тысяч, и при этом вместе с открытым ему кассой кредитом в десять

тысяч. Громадный долг его отца в шестьдесят тысяч таким образом снизился до двенадцати тысяч плюс две тысячи процентов.

Было приложено также своего рода объяснение: что бессмысленная ошибка в счете произошла от неправильно списываемых в течение многих лет переносов в счете господина Теодора Ионсеном. «С почтением Сегельфосская сберегательная касса. П. К. Петерсен».

— Гм! — произнес зловещим тоном Гордон Тидеман. — Ему придется отказаться и от двенадцати тысяч с их процентами. Или он вздумал шутить со мной? Я покажу этому... этому... «Голове-трубой», — хотел он, вероятно, сказать, но джентльмен даже наедине с собою, в своей собственной конторе, не назовет человека «Голова-трубой». Он этого не должен делать.

— Я подумаю, не донести ли мне на него, — сказал он.

Это было уже гораздо приличнее.

Он отправил посыльного с письмом к прежнему директору банка: «Когда-нибудь, когда вы будете в нашем конце города, я очень просил бы вас зайти поговорить со мною!»

Бывший директор пришел тотчас же. Он был уроженцем соседней деревни, по фамилии Ионсен, учитель на пенсии, хорошо известный в каждом уголке области, теперь уже старый, но все еще член правления банка. Консул попросил извинения, что побеспокоил его, и рассказал ему о своем недоразумении с банком.

Ионсен покачал головой и заметил, что у нотариуса недоразумения выходят со всеми. На последнем собрании правления он во что бы то ни стало хотел пустить с аукциона двор Карела из Рутена.

— Карел из Рутена и в моих книгах упоминается с очень давних пор, но что из того?

— Да, нотариус никого не пожалует. Для этого он слишком жаден.

— Но меня пусть он оставит в покое! — сказал консул. — А вас, Ионсен, я вот о чем хотел просить: не можете ли вы сказать мне наверное, был ли мой отец после своей смерти должен хоть что-нибудь Сегельфосскому банку?

— Ничего, абсолютно ничего, — сказал Ионсен и даже засмеялся при такой мысли. — Нет, он был не таковский, чтобы иметь долги, он был для этого слишком богат и помогал тем, кто нуждался.

— Каким же образом нотариус Петерсен может приписывать ему долг в шестьдесят тысяч? Потом он спускает его до двенадцати тысяч. Да и вообще, как это он ухитрился сделать его должником?

Ионсен опять покачал седой головой и сказал:

— Этого я не понимаю. Вот разве нашел какую-нибудь ошибку в переносах из моего времени. Этого я не могу отрицать, не поглядев книги. Но во всяком случае отец ваш, когда умер, ничего не был должен банку. Вообще банку он никогда ничего не должен, наоборот, он нередко мог кое-что получить оттуда. Все это я могу повторить под присягой.

— Благодарю вас. Это меня радует.— Консул взял с конторки небольшую книжку и сказал: — Это вот старинная чековая книжка моего отца. Здесь есть два пункта, относительно которых мне хотелось бы получить от вас разъяснение. Как это ни странно, но в двух местах запись сделана рукою моего отца, а не кассира.

Ионсен засмеялся, как бы желая извинить покойного:

— Ну да, это, конечно, маленькая неправильность, но мы относились к этому не так формально. Это случалось, когда человек вносил в банк деньги, а книжку оставлял дома,— тогда он и записывал суму позднее сам. Мы так хорошо все знали друг друга и никого не обманывали, мы относились друг к другу с доверием. Ну, конечно, в теперешнее время это невозможно. Покажите мне эти записи.

— Вот тут вписано семь тысяч «под расписку», а тут, немного подалее, еще четыре с половиной «под расписку».

— Отлично,— сказал Ионсен,— все это я могу объяснить вам.

— Можете?

— Ну да, все это совершенно правильно. Эти деньги он передал мне, я вписал их в его счет и карандашом отметил «под расписку».

— Так это, значит, делалось не в самом банке?

— Нет, это было в усадьбе, в Сегельфосской усадьбе, на заседании правления!

— Вот оно что! — консул облегченно вздохнул.— Теперь понятно, почему он вписывал в чековую книжку сам, в своей конторе.

Ионсен. Все совершенно правильно и верно. Я отлично помню эти оба раза,— это произошло, когда улов был особенно велик и он заработал кучу денег. Мы оба были в правлении,— ну да, он был председателем, а я



только членом; но так как я служил в банке и был учителем, то он немного держался за меня, питал ко мне доверие. «Возьми эти деньги и внеси их вместо меня, чтобы мне не думать об этом». Когда я хотел дать ему расписку, он сказал, что не нужно, но я оба раза дал ему расписку на клочке бумаги, потому что суммы были порядочные. А обычно, если суммы были маленькие, я не писал расписки. Люди давали мне деньги возле церкви или в иных местах, это бывали проценты или взносы на погашение займа в банке, и тогда я помечал карандашом,— устная расписка. Так делали мы в прежние времена, и я никогда не слышал никаких жалоб; наоборот, люди из окрестных деревень благодарили меня за это.

Консул. Но я не понимаю, почему же мой отец сам не ходил в банк с деньгами? Ведь он жил здесь, и ему нужно было сделать только несколько шагов.

— Да,— отвечал, несколько смутясь. Ионсен,— простите меня за то, что я скажу, но отец ваш был порою такой странный, он был иногда, пожалуй, слишком важный, сказал бы я. Вероятно, ему хотелось показать всему правлению, какими средствами и деньгами он ворочает, вместо того чтобы незаметно отнести их в банк. Простите меня, но не я один был такого мнения.

— Это очень хорошее объяснение,— сказал Гордон Тидеман,— и я сердечно благодарен вам за ваше внимание. Не знаю, понадобится ли, но на всякий случай я позволю себе рассчитывать на вас в качестве свидетеля.

Ионсен ответил:

— Когда угодно! Я не подведу!

Консул отправил к нотариусу посыльного со следующим письмом:

«И вчера и сегодня я надеялся увидеть господина директора банка у себя в конторе. Мои дальнейшие шаги будут зависеть от вашего объяснения и извинения. С почтением...»

В течение часа директор банка никак не проявил себя. Затем он позвонил по телефону: не получен разве контокоррент? Не достаточно ли того объяснения, что старые ошибки были сделаны еще его предшественником? Что еще нужно объяснить? Его можно застать в банке до двух часов.

«Вот как, его можно застать!» — Больше консул не сказал ни слова. Он повесил трубку.

Мало было вероятия для того, чтобы любезный Петерсен не пришел, и консул решил подготовиться к встрече именно с таким расчетом. Он не намеревался предложить ему стул, отнюдь нет, он сам слезет со своего высокого табурета и будет стоять. А что, если человек этот все-таки возьмет да и сядет сам? Он способен на это, способен извиняться, сидя на стуле.

В конторе, еще со времени его отца, стояло три некрашенных стула, он может приказать вынести их и принудить человека стоять. Но контора и без того была достаточно пуста и бедно обставлена: тут были только конторка, несгораемый шкаф, пресс; консулу не хотелось умалять достоинство своей конторы и британского консульства. Но немного погодя его осенила блестящая мысль, он нашел отличный выход: он велит одному из приказчиков выкрасить стулья и сделать их непригодными для сидения. В то же время это несколько украсит контору.

Он тотчас отдал соответствующее распоряжение. Какая краска? Зеленая, темно-зеленая в соответствии со всем остальным в комнате. Времени было достаточно: до двух часов оставалось еще четыре часа.

В два часа он поехал домой обедать.

Когда он в четыре вернулся обратно, нотариус поджидал его и ходил взад и вперед перед домом. Они вошли в контору, — нотариус, вежливо пропущенный вперед. Он потянул носом и спросил:

— Вы красили?

— Да, стулья, — коротко ответил консул.

Ссора началась очень скоро.

— Итак, вы не расположены к извинениям? — спросил консул.

— Если вы ребенок, — хихикая произнес нотариус, — то я почтительно прошу вас извинить старинные описки.

— Но не ваше собственное поведение в этом деле?

— Но ведь оно же было продиктовано тем, что ему предшествовало.

— Так, например, вашей ревизией?

Нотариус пожал плечами:

— Я был введен в заблуждение.

— Вы также не хотите извиниться за ваши новые ошибки в контокорренте.

— Какие ошибки?

— Двенадцать тысяч долга помимо процентов, которые вы приписываете моему отцу.

— Эта сумма имеется по книгам банка! Нет, я не могу извиняться за то, что ваш отец имел долги.

— Предыдущий директор может присягнуть, что мой отец никогда не был должен банку.

— Ионсен? Бедняга! — сказал нотариус. — Я больше верю самому себе, чем ему.

— Но здесь ведь все зависит от того, что другие думают о вас и о нем.

— Кто другие? Вы?

— Да. А возможно, и суд.

— Опять суд? — сказал нотариус. — Я не желаю больше слышать всю эту ерунду.

— Но человек вроде вас не может не считаться с присягой бывшего директора Ионсена.

— А вы знаете, — спросил нотариус, — почему этот самый Ионсен потерял свое место?

— А разве не вы столкнули его с этого места?

— Совершенно верно. После того, как мы все нашли его совершенно непригодным.

— А вы сами, — не кажется ли вам, что вы тоже непригодны?

— Да, кое к чему и непригоден. Например, я не могу, как ребенок, требовать извинения за ошибки, которые тотчас исправляют. Но зато я отлично могу и с юридической и с моральной точки зрения находить ошибки в счетах вашего отца. Так, в его чековой книжке вы сами найдете две записи, сделанные им, на которые нет расписок банка.

— Одна запись в семь с половиной тысяч, а другая в четыре с половиной?

— Да.

— Эти записи будут подтверждены расписками и присягой директора банка Ионсена.

— Расписками? Покажите мне их! — говорит нотариус и протягивает руку. — Они не были приложены к расчетной книжке.

К о н с у л. Даже если б в данную минуту эти расписки и были в моих руках, я бы не рискнул передать их вам.

— Вам придется это сделать, вы убедитесь в этом сами! Что за ведение книг! Частное лицо, первый попавшийся торговец — и позволяет себе вести расчеты с банком! Может быть, он страдал манией величия?

— Этого я не думаю.

— А я кое-что слышал об этом. Я его не знал, да и вы, вероятно, его не знали. Многое приходится слышать... Может быть, он даже не был вашим отцом.

Джентльмен не должен хватать за горло нотариуса, но джентльмен может себе позволить побледнеть, как полотно, открыть дверь и держать ее открытой, пока нотариус не выйдет.

Джентльмен может вообще держать себя совершенно безупречно, на то он и джентльмен.

Но в данном случае?

Джентльмен может ударить или застрелить, задушить своими собственными руками и все же остаться джентльменом.

Но в данном случае?

Консул и пальцем не шевельнул. Он был для этого слишком половинчатой натурой, продуктом смешения двух рас, и притом смешения первичного, которое не что иное, как две равных половины. Но консул сделал нечто, что в данном случае спасло его самого, родителей и положение: он стоял как ни в чем не бывало и смотрел своему противнику прямо в лицо.

Его задумчивый вид говорил при этом, что он старается понять, что хотел сказать его противник. То, что он сказал, было крайне банально: ведь, пожалуй, каждому можно сказать, что он не знает, кто его отец. На что именно намекал этот болтун нотариус? И с какой целью? Под конец, верно, консул не мог больше думать об этом, он опустил глаза и стал равнодушно перебирать какие-то бумажки на конторке.

Нотариус Петерсен растерялся. Он увидел вдруг доселе ему незнакомое самообладание, совершенно непонятную рассудительность, вовсе не похожую на удар боксом или ругательство. Что ему оставалось делать? Он стал говорить, стал вилять, чтобы совсем не пропасть. Черт знает в какую глупую историю влип он из-за ошибок другого! Ему пришлось рыться в пыльных старых книгах; это было его обязанностью; он служащий банка и должен соблюдать интересы своего учреждения. А что он имеет за это?

Он зашагал назад и вперед по конторе, — что уже само по себе было невежливо с его стороны, — остановился, поглядел на карту, висевшую на стене, подошел к стульям, все их перетрогал один за другим, словно желая испробовать, нельзя ли сесть хотя бы на один из них. Потом вытер пальцы о штаны.

— Я жалею, что не захватил с собой стула,— огорченно заметил он.

Консул, казалось, с головой ушел в работу и ничего не ответил на это.

Нотариус раздраженно спросил:

— Неужели вы хоть одну минуту воображали себе, что я действовал в своих интересах?

— Это я еще не обдумал,— ответил консул.

— Что я лично буду иметь от этого выгоду?

Ответа не последовало.

Оба молчали.

— Впрочем, черт с вами, думайте, что вам угодно! Донесите на меня, если вы так ребячливы. Это ни к чему не приведет. Банк расписок вашему отцу не давал, а присяга престарелого Ионсена не может заменить собой расписок. Я надеюсь, вы меня поняли.

Вероятно, он был вне себя, вероятно, он потерял равновесие. В то же время он обнаружил твердость и настойчивость, доказал, что он действовал не наобум, он по-своему считал себя правым. Его жадность была хорошо известна; обуреваемый страстью к приобретению, он не мог отказаться хотя бы от малейшей замеченной им выгоды,— будь то почтовые расходы или плата за выписку в несколько строк. Шли ли эти мелкие доходы исключительно в пользу банка, или он серьезно рассчитывал, что начнет обирать многочисленных должников консула в свою пользу? Он не мог избежать подозрения. Взять хотя бы эти квитанции, о которых он говорил. Может быть, он надеется, что после стольких лет они затерялись? Но чего же он достигал в таком случае? Ничего.

Гордон Тидеман поговорил со своей матерью,— по отношению к ней он все еще оставался маленьким. Она категорически отсоветовала ему подавать жалобу на нотариуса и привела тот довод, что «весь Петерсен того не стоит».

— Ступай лучше и поговори с окружным судьей.

Но сын был определенно против таких разговоров: ему казалось неприличным искать чьей бы то ни было поддержки, а тем более поддержки человека, который был гостем в его доме.

— Но ведь окружной судья — председатель правления банка! — сказала она.

— Тем хуже,— отвечал сын.

Ну и чудак этот Гордон!

Он никак не мог простить себе, что вовремя не заверил старую расчетную книжку.

— Предположим, что старого Ионсена не было бы в живых,— сказал он.

— Но ведь он же жив,— смеясь ответила мать.

— Но предположим! У меня бы не было его присяги, а расписки неизвестно где. Мне бы следовало управлять банком. Я не стал бы так говорить, если б я не учился торговому делу: в таких вещах я знаю буквально все. Я обыскал всю контору, перевернул вверх дном все ящики и вывернул наизнанку все конверты из серой бумаги, в которые отец мой прятал всякие бумажки. И нигде не мог найти эти мерзкие расписки.

Мать. А может быть, они где-нибудь здесь, в доме?

— А я почему знаю! Впрочем, написаны-то они были здесь, на собрании членов правления.

— Я поищу,— сказала она.

Гордон Тидеман расстроился. Вся эта глупая история с нотариусом стала ему поперек горла. Ему необходимо было в ближайшее же время получить деньги из банка, несколько тысяч, пока он не устроит своих дел; но он не мог обратиться за этим к Петерсену. Ни в коем случае.

Он был в дурном настроении, когда после обеда опять поехал в контору, и там ему не работалось. Впрочем, некоторое облегчение он все же испытал, когда прочел письмо, лежавшее на конторке: крупные заказы от коммивояжера, из Хельгеланда. Парень этот замечательно ловко распродал дорогую дамскую галантерею. Он ухитрился даже продать самому Кноффу, тому самому, который был женат на Лилиан, на сестре Гордона Тидемана...

Старая Мать вошла в контору. Она шла быстро, раскраснелась и похорошела.

— Какие у тебя красивые стулья! — воскликнула она.

— Ай, тише, не садись! — закричал он.

Нет, она не села, она подошла и положила на конторку какие-то две записки, улыбнулась и стала ждать, что он скажет.

— Что это такое? Старые бумажки, какие-то записки, вроде тех, которые вечно берег мой отец! А ты не нашла...— Вдруг он схватил записки: это были расписки директора банка Ионсена.— Ура!

Как же, Старая Мать должна была пришивать карманы к внутренней стороне жилетов своего мужа; это делалось каждый раз, как только у него появлялся новый жилет.

Ей пришло в голову осмотреть два-три жилета, оставшихся после покойного, и в них она нашла записки. И она не стала дожидаться, когда сын вернется домой...

Гордон Тидеман сказал:

— Ты молодчина, мать!

Он почувствовал к ней глубокую благодарность. Не потому, чтобы эти расписки меняли сущность дела, но теперь все было в порядке, его честолюбие удовлетворено.

— Ступай на склад и возьми себе любое платье! — сказал он.

— Неужели? Как это мило с твоей стороны!

— Это в награду за находку.

Мать мило покраснела и поблагодарила. Ей очень было приятно получить новое платье: как раз в данное время ей особенно хотелось быть нарядной.

Как и следовало ожидать, дела нотариуса Петерсена изменились к худшему. Напрасно он затеял эту глупую историю с консулом.

Его вызвали на чрезвычайное собрание правления банка, расспросили обо всем крайне подробно, представили ему контокоррент, расчетную книжку и расписки, и под конец он ничего не смог сказать. Он извинялся, уверяя, что им руководили исключительно интересы банка.

Когда ему тут же, на месте, объявили, что он отставлен, он не стал протестовать, но потребовал, чтобы ему заплатили жалованье за три месяца. Другой на его месте не упомянул бы о жалованьи; Гордон Тидеман побледнел бы и отклонил жалованье, как нечто обидное, если б его ему предложили, но нотариус Петерсен остался верен себе и настоял на своем праве получить жалованье.

Окружной судья с достоинством осадил его:

— Мне кажется, вы должны быть довольны, что вас отпускают, не ставя вам затруднений, нотариус Петерсен!

— Не деляя затруднений! — воскликнул нотариус. — Еще бы!

Его поведение было несколько загадочно. Никогда прежде он не обнаруживал так открыто свои дурные качества. Прежде он, несмотря на всю свою недозволенную жадность, проявлял своего рода добродушие, он принимал по-своему злобные нападки аптекаря Хольма и нередко остроумно парировал их. Он мог даже посмеяться над собственной жадностью и сказать, что это крест, который он должен нести. Однажды на каком-то пароходе он забыл кошелек. Потом кошелек нашелся, но нотариус Петерсен

уверял, что в его кошельке было гораздо больше мелочи, по крайней мере вдвое больше, и поэтому он никому не дал на чай. Что он этим выиграл? Он только проиграл. Все становится известным в конце концов, и о нем пошла дурная слава.

Он был опасный человек, и главным образом для самого себя. В деле с Гордоном Тидеманом он не мог понять, за что осудили его поведение.

— Что такого я сделал? — спрашивал он.

Он хотел также непременно знать, кто будет его преемником в банке.

— Ионсен во всяком случае не годится, — говорил он.

В этом отношении он был, пожалуй, даже прав, — Ионсен слишком многое записывал в книги карандашом: расписка на отдельном листке, устная расписка. Но он был честен, бескорыстный слуга народа.

Поэтому старого Ионсена все-таки спросили, не хочет ли он опять занять прежнее место. Это его растрогало, он поблагодарил, но отказался. Иметь директора на определенном жалованье было, пожалуй, слишком дорого; деньги платили, смотря по работе, а работы было немного, и кроме того, на подмогу имелся еще очень дельный кассир. Одно мгновение подумали, не назначить ли кассира директором, но потом откинули эту мысль, так как кассир был совершенно необходим на своем месте.

Неужели же банковские служащие стали редкостью? Кто-то назвал шкипера Ольсена, но он жил слишком далеко, где-то в глубине долины, и, кроме того, не был достаточно грамотен. Может быть, можно было заполучить в шефы самого Гордона Тидемана? Но его даже не спросили об этом, — ему и без того хорошо жилось. Можно было бы предложить почтмейстера и начальника телеграфа, но у них служебные часы совпадали с часами работы банка. Среди учителей не было ни одного столь же надежного, как в прежнее время Ионсен.

Долго обсуждали этот вопрос.

Наконец кто-то указал на редактора и издателя «Сегельфосских известий», на Давидсена.

— Давидсен? — переспросили остальные и задумались над этим. — Н-да, пожалуй!

Он, конечно, не сможет представить гарантий: у него ничего нет, только два ящика со шрифтом; но они не знали, как им быть: банковские служащие стали редкостью. Они пошли к нему и спросили.

Но Давидсен отрицательно покачал головой.



Жалованье такое-то и такое,— сказали ему.

Давидсен продолжал отказываться.

Его спросили о причине отказа.

Причина та, что он не обладает необходимыми знаниями.

И у прежних шефов и директоров их не было, и все же их обучили самому главному. Никакого особенного искусства тут не надо, все важнейшие вопросы решает правление.

Привлечь Давидсена в банк было вовсе не глупой мыслью. Он в течение продолжительного времени писал и сам набирал приличную маленькую газету в Сегельфоссе, да и в коммунальном управлении он давно показал себя дельным человеком. Его спросили, неужели он имеет право перед самим собой, своей женой и пятью детьми отказываться от такого предложения?

— Дорогие мои,— отвечал он,— я понимаю в банковском деле не больше, чем вот эта моя маленькая дочка. Она, вероятно, заходила в банк с каким-нибудь счетом или с извещением,— может быть, это случилось. Я же отродясь не был в банке!

И все-таки ухватились за Давидсена, как за самого подходящего человека из всех, и ни за что не хотели отказаться от него.

Сам нотариус Петерсен был доволен таким выбором и предложил за умеренную плату обучить его банковскому делу, но на это только улыбнулись и, поблагодарив, отклонили его предложение. Зато пошли к консулу и поговорили с ним. Ведь он же в некотором роде был причиной тому, что банк остался без директора,— так не захочет ли он обучить Давидсена?

— С удовольствием! — сказал консул.

Он когда угодно готов пойти с Давидсеном в банк и помогать ему в течение нескольких дней.

— Когда же мы начнем? Я пойду с вами хоть сейчас!

Да, Гордон Тидеман был сама любезность в иных случаях.

Теперь Давидсену уже некуда было податься. Но он оставил за собой право, в случае, если заметит, что не справляется со своей работой, без предупреждения оставить банк.

Впрочем, именно теперь Давидсену было очень трудно начать свое обучение в банке: аптекарь Хольм посещал его клетушку и отнимал у него время, обсуждая некий вечер развлечений, во главе которого он стоял.

В «Сегельфосских известиях» появилась пространная заметка о предстоящем вечере, целая небольшая статья, которую невозможно было не заметить. Она была озаглавлена: «Веселье за плату».

Но все еще не было закончено самое важное — программа. Вначале она была довольно короткая, но после многократных совещаний с Вендтом в гостинице Хольм внес в нее целый ряд поправок, и когда, наконец, ее отпечатали, то программа оказалась довольно своеобразной. Давидсен сказал:

— Вам повезет, если все сойдет как следует!

— Это все Вендт придумывает,— сказал аптекарь, сваливая вину на Вендта.

Да и действительно, часть вины падала на Вендта.

Хозяин гостиницы Вендт был мужчиной, но в нем было много женских качеств. Несколько одутловатый, почти без бороды, левша, с голосом, который до сих пор ломался, иногда глубокий и низкий, но чаще всего слишком тонкий для голоса взрослого мужчины. Он умел стирать, шить и готовить, был добросердечен, и его легко было растрогать до слез. Теперь ему было сорок пять лет, и он остался холостяком.

Человек этот был беспечно невежествен, он никогда ничего не читал, но в нем была кровь артиста, и он умел рассказывать. Ему хотелось также петь, но так как он был совершенно немзыкален, то пел мучительно фальшиво. Одним словом, он не был каким-нибудь чудом, но обладал своеобразным талантом. Он придумывал смешные рассказы, рождавшиеся в одно мгновение, и тут же на месте преподносил слушателям. Рассказы эти сами по себе ничего собой не представляли, но в его устах они становились забавными. И не то, чтобы он особенно старался; у него не было вульгарных актерских жестов, он не шевелил ни одним пальцем. Да и пальцы его не годились для этой цели: они были без выражения, короткие и пухлые. Он только рассказывал, сидел с невинным видом и рассказывал.

Это, вероятно, и привлекло к нему аптекаря Хольма. Оба они были из Бергена и хорошо понимали друг друга.

В данное время они занялись составлением программы вечера.

Предполагалось, что каждый участник выступит по два раза, но Гина из Рутена — три раза, так как она закончит программу призывом скота. Но все сложилось по-другому.

У почтмейстерши Гаген было два выступления: сначала она хотела сыграть серию народных мелодий, а во втором отделении две сонаты Моцарта. Это была настоящая музыка, а господа не посмели ничего переделать. Также они не изменили программу и Гины из Рутена, которая в обоих отделениях должна была петь псалмы. Но выступления гармониста и свои собственные номера они меняли и переставляли без конца.

Хозяин гостиницы Вендт должен был рассказывать, потом он сказал, что будет читать, а под конец объявил, что произнесет речь.

— Скажи мне сначала, что ты сам будешь делать? — говорил он Хольму.

Хольм должен был аккомпанировать псалмам на гитаре и, кроме того, заводить граммофон — по две пластинки в каждом отделении; поэтому он был сильно занят. Но он не собирался уклоняться, он подумывал даже о двух самостоятельных выступлениях.

— Ты будешь петь? — спросил Вендт.

— Скорее мелодекламировать, — ответил Хольм.

— Как это?

— Я прочту несколько стихов в то время, как лаборант будет играть на гребенке.

Вендт служил в гостиницах в разных странах и потребовал, чтобы в программу был включен какой-нибудь иностранный номер.

— Это все равно как меню: оно выигрывает, когда звучит не по-норвежски.

— Что же ты предложишь? — спросил Хольм.

— Да разве мало лакомых вещиц, из которых можно выбрать кое-что? — сказал хозяин гостиницы.

Они серьезно обсуждали этот вопрос, изредка выпивая по стаканчику. Хольм так и сыпал громкими музыкальными названиями опер и симфоний. Особенно привлек его внимание квинтет с цимбалами.

— Кто же сыграет его? — спросил Вендт.

— Да я, — сказал Хольм.

— А разве ты сумеешь?

— Что значит — сумею? Я сделаю все, что могу.

— В таком случае я предложу одну иностранную вещь, которую я слышал в ранней юности и никогда не забуду. Она называется: «Je suis à vous, madame».

— И ты сможешь ее спеть по-французски?

— Ну, конечно,— сказал Вендт.— Напиши: «Перерыв».

— Перерыв? Зачем это?

— Это заполнит программу. Все-таки лишняя строчка. Мы тоже нередко такой мелочью удлинняем меню.

Они наполнили стаканы и выпили еще.

Хольм сказал:

— А не сыграть ли нам «Марш Бисмарка»?

Но Вендт был против марша.

— «Марш Бисмарка» хорошо известен, о нем говорится в «Илиаде».

— Где говорится?

— У Гомера, в «Илиаде».

Вендт подумал.

— Ну, в таком случае, пожалуй,— сказал он.— Кто его сыграет?

— Его можно сыграть на гармонике, а Карел из Рутена будет подпевать. Так, значит, я вписываю.

— Ну что ж,— сказал Вендт и покорился.— Но я ничего не могу поделать с тем, что я франкофил: не пиши «Бисмарк», напиши только: «Илиада».

Хольм написал: «Илиада».

— Ну теперь, пожалуй, все в порядке? — спросил он.

— Напиши на всякий случай еще раз: «Перерыв»,— сказал Вендт.

Хольм сходил зря два или три раза, прежде чем наконец застал Давидсена, который работал теперь в банке. Давидсен был поглощен своей новой должностью, и ему некогда было разговаривать.

— Ну что ж, программа наконец составлена? — спросил он.

— Пока да,— осторожно ответил Хольм.— Вопрос в том, не прихватить ли нам песни Суламифи?

— Нет, больше мы уж не будем менять,— сказал Давидсен.— Нельзя сказать, чтобы программа с каждым разом улучшалась.

Хольм опять свалил вину на Вендта: ему столько всего приходит в голову,— последние сутки он говорит только по-французски.

Давидсен бегло взглянул на рукопись:

— Сколько у вас перерывов! — удивился он.— Три.

Хольм. Это тоже все Вендт выдумал. Они так всегда делают с меню,— сказал он.

— Только бы все сошло благополучно,— сказал Давидсен.— Сколько же мне напечатать?

— Триста,— сказал Хольм.

Прежде чем уйти, он заплатил. Он заплатил щедро, и Давидсен в свою очередь решил сделать что-нибудь экстраординарное: он напечатал целую кучу афишек, которые дочь его должна была раздать в воскресенье после обеда. Это было хорошо придумано: люди будут стоять тихо и читать эти бумажки.

День выдался отличный, погода прекрасная, и всюду множество людей.

Лаборант был на ногах с самого утра, он захватил с собой триста талонов из тех, которые кино продавало вместо билетов, ходил из дома в дом и продавал их по кроне за штуку.

Когда он к обеду пришел домой, у него в кармане было от семидесяти до восьмидесяти крон. Он пообедал и пошел дальше. Молодчина этот лаборант! Он годился на кое-что и получше, чем раскладывать пасьянс.

Когда он вернулся домой к кофе, у него было уже за сто крон. И при этом,— сказал он,— он не побывал еще в лучших домах, у самых богатых и зажиточных. К ним он не хотел являться, пока они не выспятся после обеда и не выпьют кофе; к этому времени он надеялся застать каждое семейство в сборе. На этот раз он отправился из дому на велосипеде.

К половине восьмого, когда народ уже начинал стекаться к кино, лаборант продал талонов на три сотни крон. Он добросовестно обшарил весь город и Сегельфосскую усадьбу, убедил и старых и малых принять участие в добром деле. Теперь он сидел в кассе и был готов продавать билеты огромному потоку людей, которых он ждал из деревни. Молодчина этот лаборант!

Без четверти восемь.

Зал кино с новым цементным полом был почти полон; всем, верно, было приятно видеть столько участия к бедным сиротам Солмунда. Креститель из Южной деревни и Нильсен из Северной деревни уехали; религиозное движение спало, и деревенский народ явился на это «веселье за плату» в неожиданно большом количестве. Даже Осе пришла, даже Тобиас из Южной деревни с женой и дочерью Корнелией,— три кроны было получено с одного Тобиаса!

И кого только не было! Маленькая умная дочка Давидсена и не подумала распространять свои афиши по городу, где и без того рыскал лаборант. Нет, она поджидала деревенских, возвращавшихся из церкви, и действовала среди них. Это было очень хитро придумано.

Конечно, здесь были все семьи чиновников, дамы читали программы и спрашивали друг друга, когда что-нибудь было неясно:

— Цимбалы? — говорили они. — «Илиада»?

— Вероятно, это музыкальное выражение, — отвечали им.

Тут сидела жена священника с голубиным лицом, маленькая и тихая, и изредка краснела, и Старая Мать в своем новом платье, и все остальные члены семьи консула. За каждый билет было заплачено по кроне. Но пришел нотариус Петерсен с женой и потребовал, чтобы его, как председателя правления кино, пропустили даром. Возник спор. Лаборант выскочил из кассы, встал на цыпочки и сердился, и когда Петерсен с женой все же, недолго думая, вошли в зал, лаборант крикнул им вслед в открытую дверь:

— Вот единственные, которые ничего не заплатили!

С лаборантом шутки были плохи. Даже когда вдова Солмунда пришла со своими детьми и захотела без билетов пройти в зал, ее остановили.

— Ради контроля, — пояснил лаборант.

Исполнители находились в комнатке за сценой, они сидели там все вместе. Каждому было поднесено по стакану из бутылки, которую Вендт принес с собой и поставил в уголок. Он говорил все больше по-французски.

Почтмейстерша стала читать программу и вдруг вздрогнула. Она спросила Хольма:

— Боже, что это за струнный квинтет?

— Струнный квинтет и цимбалы, — отвечал Хольм.

Фру рассмеялась и спросила:

— Но кто же, кто же будет?..

— Я, — сказал Хольм.

— Ох, я упаду в обморок! Ха-ха-ха! Он с ума сошел, Вендт!

В зале тем временем проскучали четверть часа; зрители стали поглядывать на часы и по рядам говорили друг другу, что пора бы начинать. Доктор Лунд держал под шалью в своей руке руку жены.

Но вот появился гармонист, деревенский малый лет двадцати, спокойный и обыкновенный, привыкший играть

на вечеринках с танцами. Посреди эстрады стоял стол и два стула; он тотчас сообразил, что ему надо делать, сел и начал играть.

Песня, которую распевали в его родной деревне, вовсе уж не так плоха, красивая песня на низких нотах. Люди из его деревни внимательно следили за своим музыкантом. Когда он кончил, молодежь попробовала аплодировать, но так как их не поддержали, то они сконфузились и затихли.

Парень посидел немного, поглядел на публику и заиграл опять, на этот раз нечто граммофонное,— Вебера, нечто очень красивое и улаждающее слух. Фру Лунд, маленькая Эстер из Полена, старалась скрыть, что она растрогана.

Это был номер первый.

Следующим выступил хозяин гостиницы Вендт со своей речью, но она не удалась. Ему бы следовало сесть к столу и рассказать что-нибудь, а он стоял. На нем был фрак, и он выглядел очень хорошо, но ему следовало бы быть поумнее. А разве Вендт знал толк в вещах вроде рабочего движения, сухого закона, театрального искусства или судостроения? Какой же Вендт политик? Конечно, он не говорил обо всех этих вещах в отдельности, но он затронул каждую из них и на каждой из них застрял. Совсем плохо он пожалуй не говорил; совсем плохим оратором Вендт и не мог быть и изредка он острил, и окружной судья и священник смеялись. Но каждый мог бы произнести приблизительно такую же речь, и у него у самого было достаточно художественного чутья, чтобы почувствовать это. Через четверть часа он прервал свою речь и ушел. Когда кто-то захлопал, он обернулся и до кулис пятился задом. Бывают люди, которые, несмотря ни на что, возбуждают симпатию. Хозяин гостиницы Вендт удалился так мило!

Третьим номером были две граммофонных пластинки, так как фру почтмейстерша Гаген стала нервничать и попросила несколько отодвинуть ее черед. Странно, что именно она, единственная, для которой искусством было профессией, так волновалась и трусила. Так как и эта маленькая отсрочка не помогла ей, то участники не знали, как им быть дальше.

— Сделаем первый перерыв,— сказал Вендт.

Он и аптекарь возились в углу с какими-то бутылками.

— Я охотно спою теперь,— сказала Гина из Рутена.

— Да благословит тебя бог, Гина, спой, пожалуйста! — попросила почтмейстерша.

Но это обозначало, что и аптекарь должен выступить со своей гитарой, а к этому он был не слишком расположен: у него даже заболел палец.

— Посмотрите-ка — нарыв! Не можешь ли ты, Карел, пойти и поиграть для Гины?

— Ну что ж, — сказал Карел, — если вы находите, что я сумею.

В зале тем временем начали выражать нетерпение. Но вот вышла Гина со своим мужем, и все затихло. Они оба сели на стулья возле стола.

Она славилась своим пением в церкви и на молитвенных собраниях. Она была несколько расфуфырена на этот раз: на ней был зеленый лиф, застегивающийся крючками на груди, и парадная юбка; в ней она когда-то носила сено а теперь заняла и еще раз. Костюм был недурен, он производил впечатление чего-то подлинного, она ничего из себя не строила, и как была, так и оставалась деревенской женщиной из Южной деревни.

Да, она была достаточно хороша, и ей Вендт поднес тоже стаканчик, который пошел ей на пользу.

Аптекарь Хольм побывал раза два в Рутене, он пробовал подучить ее кое-чему, но, верно, она не очень-то много поняла из его указаний. Она соглашалась с тем, что он говорил, и при этом усердно счищала грязь со своего платья. Она отказалась выучить балладу или любовную песнь, потому что она совсем недавно крестилась вторично и пока могла петь одни лишь псалмы. Петь она не умела, но голос у нее был прекрасный.

Карел начал наигрывать «древне-христианский псалом»; играть он тоже не умел, но он хорошо подбирал, и из жалкой гитары зазвучала музыка. Но тут вступила Гина, и гитара сошла на-нет.

Один стих, второй, третий, а в псалме их было девять. Гина спела пять и стала комкать. Тогда священник в первом ряду встал, перегнулся вперед и попросил ее передохнуть:

— Побереги себя к следующему псалму. Ты поешь, как ангел, Гина!

— Да, — раздалось тут и там по залу.

Гина улыбнулась в ответ и спела под конец еще два стиха. Потом она и ее муж вышли, как им было сказано заранее.

Первый перерыв.

Черед почтмейстерши. Все сошло, конечно, блестящим образом, и все зааплодировали. Фру вернулась в артистическую счастливая, как ребенок.



— Я думала, у меня ничего не выйдет,— говорила она, и смеялась, и почти что плакала.

Вендт тем временем уже настолько сдружился с бутылками, что начал громко напевать.

— Тихе! — сказал Хольм.

— Я упражняюсь,— ответил Вендт.— Разве ты не знаешь, что я буду петь по-французски?

— Я ведь тоже буду выступать,— сказал обиженным тоном Хольм.— Ты забыл мой струнный квинтет и цимбалы.

Почтмейстерша, чтобы не рассмеяться, зажала себе рот рукой.

Они болтали друг с другом так долго, что в зале опять заволновались. Пришлось прибегнуть к «Илиаде», к «Илиаде» на гармонике.

— Теперь что играть? — спросил гармонист.

— Твой самый громкий марш,— сказал Хольм,— «Марш Бисмарка». Карел пойдет с тобой и будет подпевать.

Карел извинился: как только что окрестившийся, он отказывался пока петь светские песни.

— Но ведь это же марш, а не танец, то есть иными словами — почти что псалом!

Его стали уговаривать, дали ему еще стакан вина, и он вышел.

Успех был колоссальный. Молодежь узнала свой марш, своего музыканта и своего певца, встала с мест и зашумела.

— Теперь я пойду! — сказал Вендт и подтянулся.

— Да и я, пожалуй, выступлю со своим номером,— сказал Хольм.

— *Argès moi!* — сказал Вендт. Он был в отличнейшем настроении, просто неподражаем.

— О боже! — шептала почтмейстерша, когда он вышел,— он спугнет всех слушателей.

Они услышали, как он запел «*Je suis à vous, madame*». В самом деле он запел. Во всяком случае Гордон Тидеман в зале понял текст, но мотива, пожалуй, никто не уловил. Голос же то-и-дело обрывался, порой он звучал, как хорошо обмотанная басовая струна, но потом вдруг срывался и напоминал тогда дребезжание медной проволоки. Нужно же было суметь поднести что-то до того несуразное! Сам Вендт не заметил за собой ничего плохого, он пел как ни в чем не бывало, а когда кончил, ему захлопали. И он вполне искренно принял это за поощрение. Они хлопали, вероятно, потому, что хотели показать, что понимают по-французски, хотя французский язык и

считался у них языком слуг и лакеев. Он поблагодарил и, очень гордый, вернулся к своим товарищам и с той минуты стал вообще держаться очень независимо.

— Что же дальше? — спросили они друг друга.

— Перерыв, — сказал Вендт.

После опять выступила почтмейстерша. Она больше не волновалась, вышла, чудесно сыграла Моцарта, была встречена рукоплесканиями, вернулась и сказала:

— А я бы с радостью поиграла еще!

Поглядели на часы. Прошло уже полтора часа.

Вендт и аптекарь окончательно погружались в свою возню с бутылками, они наливали вино в стаканы, выпили сами, поднесли по стакану всем участникам, опять выпили и еще раз поднесли.

— Спасибо, не надо, — сказала Гина и засмеялась.

Но она была добра и сговорчива, а когда аптекарь попросил ее заменить два последних псалма любовными песнями, она обратилась за советом к мужу. Но Карел тоже выпил и разрешил ей спеть любовные песни.

Она стала напевать: «Ласковый ветер, снеси мою жалобу милому другу...»

Х о л ь м. Прямо замечательно, Гина! А ты, Карел, верно, сумеешь подпевать?

— Да, сумею.

— Это будет чудесно! — воскликнула почтмейстерша. — Я пойду в залу и послушаю вас. Прощайте!

Так как жалоба возлюбленной моряка состояла из четырнадцати длинных куплетов, то порешили, что на этом она сможет закончить свое выступление. Хольм сказал:

— Когда ты споешь эту песню, они захлопают, как сумасшедшие, — будь в этом уверена. Ты подойдешь к выходу, а они все будут хлопать и хлопать. Тогда ты обернешься, протянешь руку кверху — и станет опять тихо. После этого, Гина, соберись как следует с духом и пропой свой призыв к скоту. Понимаешь?

Гина улыбнулась:

— А это годится?

— Еще бы не годилось! Это будет бесподобное заключение всей твоей программы. И ты сделай это так, как будто бы ты стоишь вечером на пригорке и сзываешь домой своих коров.

— Хорошо, — сказала Гина.

— А что мне делать? — спросил Карел.

— А ты вернешься к нам. Ну, ступайте пока оба!

Они услышали, что их приняли с удовлетворением и все стихло.

Гина запела, и чудо повторилось. На этот раз это была всего лишь жалоба невесты моряка, но полная сладости и тоски. Никто теперь не просил ее передохнуть, некоторые сдержанно улыбались, а некоторые прятали свои слезы. Четырнадцать строф любви, узнанной всеми,— у молодых блаженное безумие и теперь было в сердцах, а кто постарше, вспоминал, что однажды... однажды...

Хольм был прав: аплодировали, как сумасшедшие. Гина направилась к двери, рукоплескания не умолкали. Гина обернулась, подняла руку вверх — и все стихло. Публика подождала немного и услышала — песнь над равниной, с пригорка над равниной, пение без слов, ни одного слова, а только мелодия из чудесных созвучий: Гина созывала стадо.

В зале подумали, что это последний номер. Публика опять захлопала, все встали, чтобы уйти, но все-таки хлопали. Кое-кто был уже у входа и разговаривал, прежде чем уйти.

Вендт и аптекарь не поладили между собой, и неизвестно, во что бы вылилась их ссора, если б они не вспомнили, что они друзья, оба из Бергена, и не помирились.

Вначале Вендт ласково обратился к аптекарю:

— Послушай, я не хочу хвастаться, честное слово, не хочу, но после того успеха, который я имел, я не советовал бы тебе... Я хочу сказать, что когда Гина кончит петь, я не нахожу нужным, чтобы ты...

Хольм, задетый и даже обиженный до чрезвычайности:

— Я понимаю, чего ты добиваешься: ты хочешь сорвать мое выступление.

— Да нет же, дорогой мой, не пойми это так!

— Ах, молчи, я все время это чувствовал. У меня был этот маленький номер: струнный квинтет и цимбалы, но ты не мог допустить мысли, ты слишком боялся, что провалишься сам.

— Что? — вырвалось у Вендта.

— Да, я так прямо и скажу это тебе в глаза: ты не мог допустить, чтобы мне хлопали и кричали «браво», раз не хлопали тебе.

Вендт, как громом пораженный:

— Слыхали ли вы что-нибудь подобное, фру Гаген?

— Фру Гаген ушла,— сказал аптекарь.

— Так. Но гармонист ведь остался, и он видел, какой я имел успех: многие встали и аплодировали.

— А мне-то! — воскликнул Хольм.— В зале не было ни одной пары сухих глаз, меня не пускали. Но ты ведь никого не замечаешь, кроме себя.

Вендту наконец надоело.

— Ну, теперь довольно, пусть публика рассудит нас. Я хотел пошадить тебя, но нет,— теперь ступай и встреть свою судьбу.

— Теперь? — фыркнул Хольм.— Сейчас поет Гина, а после нее конец.

— Как — конец? Почему? — Вендт вынул из кармана фрака маленькую книжку и сказал: — А я приготовил еще кое-что.

— Я и не сомневался. У меня тоже было кое-что.

Вендт. Очень хорошо, давай обсудим.

— Нет, и обсуждать нечего.

Хольм был раздавлен, он отказался от своего выступления.

Это растрогало Вендта.

— Да и вообще вечер еще не кончен, и я намереваюсь помочь тебе. Мы с тобой вместе выступим и споем хором.

— Споем хором?

— Да, наперегонки.

Как раз в это время в зале раздались аплодисменты. После жалобы невесты моряка вошел Карел, и Вендт налил ему вина.

— Ты вполне заслужил, Карел. Но где же фру Гаген? Мы все заслуживаем поощрения,— сказал он и выпил.

Теперь Гина начала свой призыв стада. Мелодия понеслась к самому небу. Потом и Гина вернулась. Вендт сказал:

— Пойди сюда, Гина, ты тоже заслужила. Теперь мы выступим, мы, Хольм! — Он был сильно возбужден, но намеревался пройти сквозь огонь и воду.— Идем?

— Может быть, ты хочешь пойти один? — спросил Хольм.

— Нет, мы споем хором.

Он не заметил, что зала была пуста, что только немногие стояли еще в дверях, он весь был поглощен своим желанием и по дороге перелистывал книгу, перелистал ее всю до конца и начал с начала.

— Садись! — сказал он Хольму.

Они оба сели за стол.

— Я ничего не нахожу,— сказал Вендт.— Текстом нам послужит алфавит.

— Что за черт! — слышалось со стороны Хольма.— Как это алфавит?

Вендт тотчас же запел, остановить его не было никакой возможности: он ни на что не обращал внимания. Это было такое сногшибательное пение, что сравнить его вообще нельзя было ни с чем. Хольм последовал его примеру и издал тоже несколько воплей, но, впрочем, он тотчас же отстал от друга, и кроме того, он не был так неприлично глух к музыке.

Среди тех, кто остановился у выхода, был и священник.

— Они пьяны,— сказал он. Но он не спасся бегством по этой причине, наоборот, сел.

Без сомнения, они были пьяны. И словно они не знали алфавит наизусть! Они пели по книге, которую положили между собой на стол. Что это было за зрелище!

У выхода засмеялись, стали смеяться все громче и громче над этими двумя обезьянами. Священник смеялся вместе со всеми. Что же еще оставалось делать? Текст отличался от обычной лирики: это был только алфавит, и то, что они вообще смогли придумать — нечто вроде мелодии к этому,— говорило о том же ужасающем бесстыдстве, которое породил джаз-банд. Но здесь, по крайней мере, не было ничего искусственного: они ничему не подражали, они творили тут же, на месте, увлекаемые ломающимся голосом Вендта. Это не была игра, это делалось серьезно и непосредственно. Оба они были пьяны и все более и более забывали, где они находятся.

Дойдя до буквы П, Вендт растрогался, и аптекарь, следуя за ним, казался тоже охваченным глубоким чувством. Смех возле выхода усилился, люди корчились от смеха. Певцы старались вовсю, у обоих у них было по свободной руке, которой они размахивали в особенно нежных и жалобных местах. Они пропели конец алфавита, как будто это было что-то тающее и сладкое, и слезы посыпались у них из глаз.

Священник тоже заплакал, причем все его лицо покрылось бесчисленными морщинками; но он плакал от смеха.

Когда они пропели все до конца, Вендт сунул книжку обратно в карман, встал и по волнообразной линии направился к выходу. Аптекарь поглядел ему вслед; верно, он смутно сознавал, что у выхода собралось много народа, он решил спасти, что еще можно было спасти,— нацелился на дверь и двинулся прямо на нее.

После их ухода сразу стало пусто. На месте действия остался только стол и два стула. Но все еще кто-то смеялся и объяснял кому-то другому, почему он смеется.

— Сумасшедшие! — говорили они.

— Да, — отвечал священник Оле Ландсен на это. — Но заставляя смеяться своего ближнего, мы вовсе уж не так дурно поступаем с ним!

## ГЛАВА XXII

---

Аптекарь Хольм, кроме удовольствия, получил и еще кое-что за вечер. На следующий же день он сходил к Гине из Рутена и передал ей за участие вполне заслуженные пятьдесят крон. Но он сделал ошибку, не скрыв этого от вдовы Солмунда, чем возбудил ее зависть, и это в свою очередь повлекло за собой много неприятностей.

— Я думала, что все это мое, — говорила вдова Солмунда, — у меня в семье столько нуждающихся!

— Будь довольна тем, что получаешь, — ответил аптекарь. — Вот, бери, — триста пятьдесят!

Но вдова Солмунда была недовольна, она не могла успокоиться, что ей пришлось поделиться с кем-то. Она рассказала об этом всем соседям и в один прекрасный день пошла к Гине в Рутен и потребовала у нее деньги.

Но Гина не собиралась отдавать ей эти деньги. К тому же Карел взял эту бумажку в пятьдесят крон и отнес ее в банк, в счет долга.

— Как?! Вот это здорово! Платить моими деньгами долги! — всполошилась вдова.

— Какие же это твои деньги? Нам дал их аптекарь.

— Так. Он, значит, раздает чужие средства! Можешь ему кланяться и передать, что за это наказывают!

— Нет, нет, он не из таких людей, которые отдают чужие деньги.

— Вероятно, он дал их тебе, потому что ты угождаешь ему, — высказала свое предположение вдова.

— Свинья! — возразила Гина. — Сейчас же уходи из моего дома!

Они вышли на двор, но продолжали ссориться.

— Ну, тогда за что же дал он тебе эти деньги? — спросила вдова.

— Как — за что? А разве я не пела весь вечер и не увеселяла всех, кто был тогда в кино?

— Подумаешь — пела!.. — передразнила вдова. — Стоит за это платить!

— Да. И Карел тоже пел весь вечер вместе со мной.

— Пел вместе с тобой! — опять передразнила вдова. — Уж, конечно, за такую крупную сумму ты угождала ему и поздно, и рано, и много раз. Я уверена в этом!

— Карел! — закричала Гина своим громким голосом.

Карел как раз спускал воду из пруда на лугу. Он воткнул лопату в землю и пришел.

Но вдова Солмунда ничуть не испугалась его, теперь в ней неожиданно заговорила ревность, и она распалилась:

— И совсем непонятно, почему он выбрал именно тебя! Ты вовсе уж не такой лакомый кусок ни на взгляд, ни на ошупь.

Гина беспомощно принялась плакать.

— Если уж разбираться в этом, так среди нас найдутся и помоложе тебя, — не унималась вдова.

Гина всклипывала и не знала, как справиться с вдовой:

— Я недавно крестилась, но он попросил меня спеть и помочь тебе собрать кое-какие средства на зиму. А ты — все равно как животное со мной. Карел, она пришла и требует деньги.

— Какие деньги? — спросил Карел.

— Которые мы получили.

Тотчас выступила и вдова:

— Я говорю только, что я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь брал деньги за пение. Да еще мои деньги! Или, может быть, у меня нет детей, которых нужно кормить и одевать?

— Ты от аптекаря? — спросил Карел.

— Нет, я от самой себя, — ответила вдова. — Я не из тех, которые ходят к аптекарю, и он не ходит ко мне. Пусть это делает кое-кто другой.

— Ступай домой! — сказал Карел.

Вдова. Я понимаю еще, если б он дал ей крону на горсточку кофе, тогда бы я ничего не сказала. Но такую массу на целое имение и землю!..

— Ступай домой! — сказал Карел. — Ступай домой!

— Ну, а мои деньги? Отдадите вы их мне, или нет?

— Я поговорю с аптекарем и расскажу ему, что ты за человек.

— Поговори непременно! Кланяйся ему и передай, что он не имеет никакого права раздавать чужие средства.

Вдова Солмунд сама пошла к аптекарю: она была не из робких. Она хотела убедиться, неужели же действительно только за пение двух-трех псалмов Гина из Рутена получила всю эту сумму, и не скрывалось ли чего-нибудь за этим.

— Но что же могло скрываться?

Да вот именно это-то она и пришла узнать.

— Нет, тут ничего не скрывается.

— Мало ли что люди говорят! — сказала вдова.

Среди ее соседей ходят самые разные слухи насчет Гины и аптекаря.

— Да ты с ума сошла! — сказал аптекарь. — Убирайся вон! Я не желаю, чтобы ты была здесь.

— Они говорят: она постоянно — и рано утром, и поздно вечером — торчит здесь.

— Нет, это ты вечно торчишь здесь. Но я больше не желаю видеть тебя здесь.

— И если уж говорить правду, — продолжала она, — то я не понимаю, что вы находите в Гине такого, что вас так прельщает. И кроме того, ведь муж-то ее жив, и все такое... Совсем другое дело — я или другая молодежь, свободная и ни с кем не связанная...

В сущности аптекарь Хольм очень рассердился, но обстоятельства требовали, чтобы он рассмеялся и до глубины души ранил вдову Солмунд. Этого же нельзя было избежать.

— Послушай-ка, — сказал он, — не позвать ли мне лаборанта, чтобы он выбросил тебя за дверь?

— Этого не требуется, — резко возразила она. — Я только хочу сказать, что вы отдали ей мои деньги, и я хотела бы знать — по какому закону? Потому что у меня есть дети, у которых нет ни еды, ни одежды.

Да, вдова Солмунд была неробкого десятка. Даже после того как был призван лаборант, проявивший энергию за двоих, она стала отступать только крайне неохотно и при громких криках. В дверях она уцепилась за косяк, и ее долго нельзя было оторвать.

— Черт в тебя вселился, что ли? — сказал лаборант. — Или ты решила остаться тут?

Но как ни была неуравновешена и груба вдова Солмунд, все же в ее груди жило драгоценное свойство: она с ног до головы одела своих детей, прежде чем принялась шить себе рубашку. Все, чем она располагала в своей скудной жизни, каждую каплю она готова была отдать своим детям, говоря при этом: «Вот вам! Берите все, если хотите».



Материнские заботы свойственны каждой матери, но у нее они перешли в перманентное состояние, в профессию, в грубую и неистовую жадность в интересах детей. Ее нападки на Гину из Рутена, ее ревность не имели ничего общего с распушенностью: просто она не могла преодолеть горечи, что столько денег прошло мимо ее детей. Чего бы она только не накупила им на пятьдесят крон!

И у аптекаря было еще много возни со вдовой Солмунд, она не хотела сдаться. Под конец она согласилась принять половину пятидесяти крон, а не то грозились пойти к областному судье. Аптекарь рвал на себе волосы; он, вероятно, не выдержал бы этих превратностей судьбы, если бы все справедливые люди не стали на его сторону. Вендт из гостиницы, верно, поддерживал его в эти мучительные дни, а Старая Мать в новом платье была вполне расположена шутить с ним по поводу безумной вдовы.

— Я никогда с ней не разделаюсь! — говорил он.

Старая Мать не могла не рассмеяться:

— Как это грустно звучит!

— Грустно? Я готов кричать.

— Ха-ха-ха!

Они зашли к Вендту, а потом, как всегда, пошли вверх по новой дороге. Дорога была теперь готова вплоть до самой охотничьей хижины; рабочие только кое-где разравнивали щебень граблями, над ними не было надзора, никого, кто бы руководил ими.

От прежней артели оставалось теперь только четверо, остальные кончили работу и уже уехали обратно на Юг, и Беньямин и его сосед тоже ушли. Но здесь не было работы даже и для четверых. День за днем рабочие ходили и поджидали своего старосту, а он все не приходил. Он лежал в постели, и доктор запретил ему вставать по крайней мере еще в течение недели. А так как он все-таки хотел встать, то Блонда и Стинэ спрятали его одежду. Было чистым наказанием иметь крестовых сестер.

Но он и из постели управлял рабочими. Каждый вечер они приходили и получали указания на следующий день, и таким образом дело более или менее двигалось. Но теперь им уже совершенно нечего было делать; оставалось только поставить две решетки перед пропастями, а так как это была так называемая точная работа, то они боялись приниматься за нее без старосты.

Рабочие могли бы теперь лениться и наслаждаться спокойными днями, но, казалось, это им и не нравилось: они привыкли напряженно работать, и им было больше

по душе, когда к концу дня у них была закончена заметная часть дороги. Когда пришел аптекарь Хольм со своей дамой, они обратились к нему с жалобой и стали просить его поставить наконец на ноги их старосту. Аптекарь был для них не чужой, поэтому они и решились поговорить с ним: он был отличный парень и нередко более или менее законно доставал им вино; и кроме того, они все до единого были на его вечернем развлечении и смеялись над последним номером. Черт возьми! Это действительно было веселье за плату!

— Ну, как же я могу поставить старосту на ноги? — сказал аптекарь. — Поговорите с доктором.

— Мы в таком затруднении, — жаловались они. — У нас остались одни загородки, и мы кончили бы, если бы он пришел. Хуже всего то, что он задерживает нас, потому что нам пора начинать делать подвал «Голове-трубой», как его называют. А как зима придет, так всякой работе настанет конец.

— Вы будете делать подвал нотариусу?

— Подвал и фундамент. Весной он начнет строиться. Если аптекарь будет так добр и поговорит с доктором и поднимет нашего старосту, то это будет настоящим благодеянием.

— Я охотно поговорю с доктором...

Аптекарь Хольм доходит со своей дамой до самого домика, они садятся на ступеньках. Охотничий домик замечательный, только что выкрашенный, настоящий лакомый кусочек; к тому же консул только что придумал нарисовать коричневые дуги над каждым окном, которые выглядят совершенно как брови, — современная манера украшать.

Хольм. Я сижу и думаю о том, что Петерсен хочет строить.

— Да, странная выдумка с его стороны.

— Я тоже собирался строиться, но, кажется, у меня не хватит средств.

— Аптека вам становится мала.

— Да, при некотором условии она будет мне, пожалуй, мала.

Старая Мать задумалась над этим:

— Не знаю, зачем людям большие дома? Зачем Петерсен хочет строиться? Их ведь только двое.

— Хорошо вам так говорить, когда вы живете во дворце.

— Да мы прямо-таки погибаем во всех этих комнатах, не знаем, как их назвать, блуждаем в них. Старая Вестер, и та занимает целую комнату.

— Сколько их может быть тут? — спрашивает Хольм и глядит на домик.

— Три, вероятно. Да и то слишком много, — сказала она. — Их будет достаточно. Да, кроме аптеки, конечно, — неосторожно добавляет она.

— Три комнаты будет достаточно — кроме аптеки?

— Совершенно достаточно. При всяких обстоятельствах.

Чертовски приятная дама в деловом отношении, и к тому же — какая грудь, какой рот! и изящнейшее платье, серое с чем-то темно-красным. Он никогда не видал ничего более красивого.

— Я люблю вас, — сказал он.

Она спокойно поглядела на него; да, она очаровательно покраснела и тотчас же опустила глаза, но она отнюдь не вскочила и не побежала: в ней была застенчивость крестьянки, которая не хочет показать, что она взволнована.

— Вот как, — только и сказала она, ласково и просто.

Он и прежде говорил ей что-то в том же роде, намекал, но скорее безумствуя и флиртуя, теперь же это было совершенно серьезно. Он взял ее за руку и не выпускал ее; она глядела то на него, то на луг. Она не скрывала своей радости и нашла ей выражение, которое он никогда не смог забыть потом: она взяла его руку и положила ее себе на грудь. Это было слаще всяких слов...

Они долго сидели вместе и толковали. Они могли бы выстроить себе небольшой домик, но в этом вовсе нет никакой необходимости: две комнаты и кухня наверху над аптекой их вполне устроят. Они могли бы продолжать получать поддержку от его родных в Бергене. Впрочем, нет, — это исключается, они не возьмут больше ни одного эре от его родных. Они могут поехать в Бодэ и там пожениться; потом они пришли к соглашению, что это обойдется слишком дорого, а потом опять решили, что это неизбежно, — иначе весь Сегельфосс перевернется вверх дном.

Они целовали друг друга, словно были молоды и безумны.

— Я ведь гораздо старше, — сказала она.

Он прилгал себе два-три года, и они стали ровесниками.

— Я вдова и все такое, — сказала она.

— В таком случае и я мог бы считать себя вдовцом,— сказал он, придавая своим словам особое значение.

Она была очень счастлива, он был ей дорог, она прижалась к нему, отвела его бороду и сама поцеловала его. Ну, и конечно, она знала это искусство, вполне была обучена ему.

Он. Подумать только, что я даже не знаю, как тебя зовут.

— Лидия.

— А меня зовут Конрад.

Они оба весело смеялись над тем, что только теперь представились друг другу, что так забавно поздно вспомнили об этом, и таким неважным это им показалось.

Зашло солнце, стало прохладно, и надо было идти домой.

— Если б у тебя был ключ,— сказал он,— мы могли бы войти сюда.

Она. Я не знаю, есть ли там хоть что-нибудь, на чем можно было бы сидеть.

— Давай посмотрим!

Они подошли к домику и, загоразиваясь от света руками, стали глядеть сквозь стекла. Они ходили от окна к окну, она зашла за угол, чтобы заглянуть в окно двери, и вернулась — бледная, как смерть.

— Нет, не на чем сидеть,— сказала она и потянула его за рукав.— Пойдем!

Она увидела что-то. Второй раз увидела она что-то у той двери.

Когда они сошли уже немного вниз, внезапный рев нарушил тишину.

— Что это такое? — спросил он и остановился.

— Да ничего! Пойдем же!

— Но ведь что-то было?

— Пьяный, вероятно. Внизу мы встретим рабочих и спросим их.

Но рабочие ушли, на дороге не было ни души.

Хольм. А может быть, это какая-нибудь сирена, знаешь, с таким пронзительным, адским криком?

— Вероятно,— ухватилась она за эту мысль,— конечно, это такая сирена.

— Или индейцы?

— Ха-ха-ха!..

Они расстались внизу, на лугу, но их могли бы увидеть из усадьбы, и они не поцеловались. Они не посмели даже взять друг друга за руки.

Хольм только снял шляпу.

— До свидания! До завтра!

Он был в каком-то состоянии удивления после события дня и не мог тотчас же отправиться домой и спокойно сидеть там. А так как идущий на юг почтовый пароход только что обогнул мыс, он решил зайти сперва на пристань.

Он увидел ящики с товарами, которые должны были отправить, и другие, которые принимали; повсюду виднелось имя Гордона Тидемана — товарообмен, торговля. Тут же присутствовали обычные зрители: собаки, дети и взрослые, слышался обычный лязг цепей и шум машины. Зато Александра против обыкновения не было на пристани; вместо него Стеффен отправлял ящики с копченой лососиной.

Повар в белом полотняном костюме и белом колпаке вылил за борт ведро помоев и привлек несколько чаек; после повара пришел машинист и высыпал пепел. Матросы и путешественники сходили и входили на пароход, боцман стоял у трапа и проверял билеты.

Консул приехал в своем автомобиле, он въехал на пристань и хорошо был виден всем. Вот он вышел из автомобиля, в нарядном костюме, в блестящих ботинках, желтых перчатках, сказал несколько слов капитану на мостике, обратился к Стеффену и спросил, почему нет Александра, окинул взглядом всю пристань, отдал кладовщику приказание относительно новых товаров, поглядел на часы, опять сел в автомобиль и укатил.

Шикарный господин!

Хольм поглядел ему вслед. «Мой пасынок,— подумал он.— Черт возьми, ведь это мой собственный пасынок! Ее зовут Лидия, меня — Конрад, мы согласны...»

С парохода сходит путешественница. Лицо у нее старое, но умное и живое; на ней длинное платье и пальто, в руках она держит зонт и корзинку. Очутившись на пристани, она оглядывается, по какой-то причине решает обратиться к аптекарю и спрашивает его:

— Извините, не можете ли вы указать мне гостиницу?

— Это я могу,— отвечает аптекарь и приподнимает шляпу.— Идемте со мной, я тоже иду в гостиницу. Позвольте, я понесу вашу корзину.

— Нет, благодарю вас,— улыбаясь отвечает дама.— Я достаточно стара, чтобы нести ее самой. Вы живете в гостинице?

— Нет, я живу в аптеке. Я здешний аптекарь.

— Так, вы аптекарь. Я сразу увидела, что вы что-то особенное. А вы хотели нести мою корзину!

Они пришли в гостиницу, и аптекарь сказал:

— Мой гость.

Вендт поклонился.

— Гость? — сказала дама. — Я бы не сказала этого. Мне хотелось бы иметь только маленькую комнатку, если вы согласны приютить меня. Еда у меня с собой.

Вендт опять поклонился:

— Добро пожаловать!

Дама. Вы очень добры. И потом, если у меня и есть еда с собой, то все же мне надо еще чашки две-три кофе, за которые я заплачу. Так хорошо и удобно, когда обо всем сговоришься заранее.

Она надела пенсне и быстрым почерком заполнила опросный лист: «Паулина Андреасен, из Полена. Незамужняя».

— Годы свои я боюсь написать, а то вы подумаете, что я такая дряхлая, что наделаю вам хлопот. Но вы этого не думайте.

— Возраст можно и не писать, — сказал Вендт.

Она. Аптекарь был таким молодцом, что проводил меня сюда, и я очень вам благодарна, аптекарь! Знаете, — обратилась она к хозяину, — аптекарь хотел нести мою корзину. Я никак не могу помириться с этим!

— Да, аптекарь знает, как понравиться дамам! — Хозяин указал на опросный лист и сказал: — Только укажите, пожалуйста, ваше занятие.

— А я и забыла, — сказала она. И опять нацепив пенсне, она принялась писать и при этом говорила: — У меня много всяких занятий. У меня и торговля, и почта, и маленький дом, чтобы принимать гостей, и кроме того, у нас усадьба; а брат мой — староста, давно уже, целую вечность. Слава богу, у нас есть все, что надо по нашим скромным потребностям в жизни, а большего мы и не требуем. А теперь не сердитесь на меня, если я спрошу вас одну вещь: не знаете ли вы здесь, в Сегельфоссе, человека, которого зовут Август? Конечно, здесь может быть много людей, которых так зовут, но он приезжий.

— Я знаю, о ком вы говорите, я знаком с ним, — сказал аптекарь.

— Так, значит, он здесь, жив и все такое?

— Да. Он был немного болен и лежал в постели несколько дней, но теперь он, кажется, может встать в любое время. Вы найдете его в усадьбе.

— А чем он занимается?

— Он живет у консула, он у него на все руки.

— Да, это так и есть. Август всегда был на все руки. Вот отлично, что я нашла его и проехала не зря. А теперь еще одна вещь, раз уж я начала спрашивать: доктор Лунд и фру Лунд и все семейство — ничего, слава богу?

— Да, ничего.

— Потому что фру Лунд из наших краев; можно сказать, она выросла на моих глазах. И родители ее живут в нашей деревне и живут ничего себе, смотря по обстоятельствам. Доктор Лунд сам был ведь нашим доктором целую вечность, он у нас и женился. А у меня у самой есть дело к Августу, я бы сказала — серьезное дело. Вот почему я и спрашиваю о нем, а не по какой-либо другой причине.

И она все говорила и говорила. Последние ее слова были:

— Ну да, а теперь бы мне получить маленькую комнатку, — я бы привела себя в порядок и выпила чашку кофе, потому что кофе, который нам давали на пароходе, неммыслимо было пить. Я забыла только спросить, сколько стоит комната...

### **ГЛАВА XXIII**

---

Август в течение многих дней лежал в постели, но доктор все еще боялся осложнений после его непомерного опьянения и требовал, чтобы он пролежал еще несколько дней.

Само по себе это лежание было вовсе уж не так плохо: его крестовые сестры хорошо ухаживали за ним, разговаривали с ним, не нарушали, а поддерживали его религиозное настроение. Их беседы напоминали молитвенные собрания.

Но разве было у него время лежать? Разве не обещал он консулу в определенный день и час сдать в готовом виде дорогу? Время уже прошло, а решетка перед пропастями валялась в виде отдельных прутьев и ждала, пока за нее примутся, а он лежал здесь!

— Пути судьбы — черт их возьми! — страсть как извилисты! — говорил царь Соломон.

Он поглядел в зеркало и увидел, что похудел, а ведь он же сделался религиозным, чтобы ему было лучше, чтобы легче стало жить. А если он не может встать с постели и иметь приличный вид, на что тогда было креститься? Неужели он должен лежать и совершенно зря стариться еще на несколько недель? Что скажет на это Корнелия?

Конечно, хорошо быть религиозным, но невыносимо скучно. Ни кусочка хлеба нельзя взять в рот без того, чтобы не произнести молитву перед едой, ни послать за торговцем, чтобы сыграть с ним в картишки, лежа в постели. А что тогда можно? Сестры находили, что это было суетностью с его стороны — так часто бриться. Что они понимали в мужчине, который полюбил девушку? Никак нельзя было не согласиться, что перед крещением жилось легче, хотя и тогда уже им овладели высокие религиозные помыслы и он то и дело крестил себе и лоб и грудь.

Совсем без дела он не мог лежать, он прилежно вырезал узоры на спинке стула и много раз в день осматривал револьвер и чистил его.

— Дайте мне мою одежду, довольно глупостей! — командовал он.

— Этого мы не можем сделать, — отвечали крестовые сестры.

— Тогда я закричу, — говорил он. — И я так начну ругаться, что молнии засверкают вокруг вас!

— Ты совсем с ума спятил! Лежи спокойно, мы спросим доктора по телефону.

Они изо дня в день манежили его, они обманывали его ради доброго дела, говорили, что доктора нет дома, что доктор страшно рассердился и велел привязать его к кровати.

И от них можно было ожидать, что они, этикие звери, позовут кого-нибудь на помощь и привяжут его! Он переменял тактику:

— Вы правы, — сказал он, — это — испытание, посланное мне свыше, я еще слишком грешен, чтобы вставать.

И не только в присутствии сестер, но и без них он старался укрепить свое благочестие и налагал на себя мучения и наказания. Часто по ночам он плакал, бил себя по лицу и щипал тело.

«Но к чему все это? — говорил он сам себе по утрам. — Разве она не снилась мне опять?»



— Я ведь могу посидеть немного в постели,— хитрил он,— дайте мне куртку.

Но сестры были не менее хитры, они говорили:

— Возьми одеяло!

Он скрежетал своими искусственными зубами.

— Вы хотите, чтобы я был похож на чучело? Нет, тогда уж я лучше буду лежать.

И, вероятно, думал при этом, что завтра он встанет и побежит хотя бы в одной рубашке.

Но назавтра случилось с ним величайшее чудо, и хорошо, что он не сидел, завернувшись в одеяло: к нему в комнату привели незнакомого человека, Паулину Андреасен из Полена.

Он сначала уставился на нее. Она постарела, но старые, вечные приметы ее были все те же: белый воротничок вокруг шеи, знакомое жемчужное кольцо на пальце, на волосах сетка и что-то вроде шляпы из коричневого бархата.

— Неужели же это ты, Паулина?

— Ну, само собой разумеется,— отвечала она.— Как это ты меня узнал?

— Как же мне да не узнать тебя? Ты все такая же, как и была.

Ей было приятно услышать это, и поэтому она выразила ему свое сочувствие:

— Что такое? Ты, Август,— и вдруг болен!

— Да, к сожалению,— сказал он утомленным голосом.— Господь низверг меня на одр болезни.

— Одр болезни! — она тотчас узнала прежнего Августа и улыбнулась.— Что с тобой?

— Да вот в груди что-то неладное. Я выплюнул уже много крови.

— Не обращай на это внимания,— быстро сказала она.— Это только в молодости опасно, потому что тогда это обозначает чахотку. Как это ты заполучил?

— Да наслал кто-то на меня,— я не знаю...

Тут она еще раз узнала его и сказала:

— Я слыхала, что ты вторично крестился в большом водопаде и что ты ужасно простудился.

— Да,— сказал он,— нехорошо, что я не сделал этого прежде, на Яве или в другой жаркой стране.

— Нехорошо, пожалуй, то, что ты вообще сделал это. Разве ты прежде не был крещен в христианскую веру? — спросила она.

- Да, но на этот раз я крестился в настоящей текущей воде.
- Ну, только такая обезьяна, как ты, и может выдумать такую вещь!
- Да тут один евангелист уж очень приставал ко мне.
- Ну и что ж из этого? Стала бы я обращать на него внимание!
- А потом он говорил, что если я не крещусь, то он и других крестить не станет.
- Ах, как ты хорош!
- Да, видишь ли, он уловил столько нас, грешных, в свои сети, что я совсем не знал, как мне быть, и я сделался таким религиозным.
- Паулина улыбнулась и сказала:
- И ты стал таким религиозным, Август?
- Я же ведь постоянно крестил себе лоб и грудь, читал библию по-русски и все такое. Но это, вероятно, того же порядка, что и языческое колдовство или масонство. А что ты об этом думаешь, Паулина?
- Я об этом ничего не знаю.
- Ну вот. А после крещения я попал на луг, на котором шла драка, и я стоял и глядел. Но мне не следовало бы этого делать; во-первых, это была самая плохая драка из всех, при которых мне приходилось присутствовать, и потом я слишком долго стоял и озяб.
- Да зачем же ты туда пошел?
- Да так, я хотел только... не потому, чтобы у меня явилось желание видеть кровь или что-нибудь в этом роде. И вообще, ты совершенно права,— зачем я пошел туда?
- Август находился в нерешительности и не знал, как ему держать себя с Паулиной. Он нащупывал почву: нет, она не была религиозной, и он предпочел во всем соглашаться с ней.
- Впрочем, она как будто бы не придавала никакого значения его словам. Она, казалось, теперь окончательно узнала его, и у нее было к нему дело,— вот и все.
- Да, Август, я приехала из Полена,— сказала она.
- Полен! — пробормотал он.— Я никогда не забуду Полен, хотя порядком поскитался по белу свету с тех пор, как жил там.
- Потому что раз ты не захотел приехать ко мне, то пришлось мне приехать к тебе.
- Но ты же видишь, Паулина, я лежу в постели и совсем никуда не годен.

— Глупости! — сказала она.— И я только что написала из гостиницы окружному судье и сообщила ему, что приехала.

— Так, значит, окружному судье?

Она вынула из кармана пальто пачку бумаг:

— Вот здесь отчет во всем, в каждом пустяке с тех пор, как ты уехал от нас. Помнишь ты тот день?

— Да.

— Брат Эдварт поплыл за тобой вдогонку, а ты убежал. Но прошло немного времени, и мы узнали, что тебе вовсе незачем было скрываться: ты выиграл крупную сумму в лотерее и мог рассчитаться со всеми; но и после расчета у тебя осталось еще очень много денег. Ты ничего не спрашиваешь о братце Эдварте. Он жизнью своей пожертвовал, чтобы догнать тебя.

Август. Я это знаю.

— Он взял почтовую лодку, выплыл один-одинешенек в море и больше не вернулся.

— Я это знаю.

— Но я заплатила за лодку, также из твоих денег.

— Каких — моих денег? У меня нет денег.

— Глупости! Так я и платила вместо тебя одному за другим в Полене и в Вестеролене. Ты больше никому ничего не должен. Вот отчет! — сказала она и ударила рукой по бумаге.

— Я не хочу видеть никаких отчетов.

— Еще бы! — насмешливо заметила Паулина.— Я вовсе и не собираюсь тебе показывать. Если я не ошибаюсь, то ты так же мало понимаешь в отчетах теперь, как и раньше, и поэтому свой отчет я передам в руки областного судьи и прочих властей. Потому что ты и теперь точь-в-точь такой же, каким был двадцать лет тому назад,— не умеешь устраивать свои собственные дела и ведешь себя, как ребенок или птица бездомная.

— Ты права, Паулина, и я не знаю птицы более бездомной, чем я.

— А вот и чековая книжка! — сказала она и ударила по ней.— Изрядная сумма денег накопилась за эти годы. А деньги ты получишь в банке — или здесь, или в Бодэ.

Она не назвала суммы, а он не мог спросить и только сказал:

— Я не понимаю, как ты можешь так говорить. Паулина! Ты не должна мне никаких денег, ты ведь знаешь, что, перед тем как уехать из Полена, я отдал тебе все, что оставалось у меня.

Паулина кивнула головой:

— Да, ты прав. И поэтому я и ответила тогда окружному судье, что деньги эти мои — и больше никаких. И двое свидетелей под этим подписались. И потом я нахожу, что с твоей стороны было, пожалуй, слишком шикарно писать и требовать, чтобы тебе прислали деньги, вместо того чтобы приехать за ними самому.

— Это правда, я держал себя слишком важно.

— Потому что, как я могла знать, что ты именно и есть тот, за кого выдавал себя?

— Конечно, не могла, — согласился Август.

— Ну, а в конце концов мне все-таки пришлось приехать сюда, потому что ты так и не появился, — сказала Паулина, чтобы как-нибудь закончить этот разговор.

— Я все никак не мог выкроить время, но я приехал бы как раз теперь, если б не...

— Глупости! У тебя было время с самой весны. Но теперь дело не в этом, и ты получишь деньги! — Она опять свернула бумаги и спрятала их в карман пальто.

Август сделал последнюю попытку:

— Это твои деньги, Паулина.

Она свирепо фыркнула.

— На что они мне? Они мне не нужны, и ты, пожалуйста, не воображай. И брату Иоакиму не нужно: он одинокий, и у него есть двор.

Постучали в дверь, и вошла служанка с подносом, на котором стояли кофе и домашнее печенье.

— Да что же это такое! — воскликнула Паулина.

— Фру услышала, что у тебя гости, На-все-руки, — сказала девушка.

— И еще какие гости! — подчеркнул Август.

Паулина. Ну, я бы этого не сказала. Ведь мы были знакомы с малых лет.

— Ну, а геперь — пожалуйста кушайте, — сказала девушка и ушла.

Паулина сразу оживилась.

— Да, действительно, нельзя сказать, чтобы в этом имении жили бедно. Целое блюдо печенье! — Она налила им обоим кофе и тотчас попробовала и улыбнулась. — И что за кофе! Нет, в таком случае я сниму с себя пальто и посижу у тебя немного, Август. Как это она тебя назвала? На-все-руки?

— Да, потому что я считаюсь здесь мастером на все руки и работаю у консула по самым разнообразным специальностям.

— Да, отличный кофе! — сказала она и стала пить.— Тебе хорошо здесь?

— И говорить нечего! Фру относится ко мне, как сестра.

— Я привезла тебе привет из Полена,— сказала она.— Красивые дома, которые ты с братом Эдвартом построил там, стоят и украшают дорогу до самых сараев для лодок.

— А фабрика? — едва слышно спросил он.

— И фабрика стоит все в том же виде, как и стояла. Я пробовала продать ее для тебя, но ничего не вышло.

— Она не моя,— сказал Август.

— Ну, а я выплатила обратно все акции из твоих денег. И я заплатила по всем счетам: и за стальные балки, и за крышу, и за цемент, тоже из твоих денег. Ну вот, кажется, это все. Ах, какое чудное печенье! И сколько его! Целая гора! Я все ем и ем, а гора все не уменьшается.

— Ну и кушай вовсю!

— Да, фабрика так все и стоит. Ты бы мог приехать и пустить ее в любой день. Но что ты будешь изготавливать? Чего ты только ни делал в Полене? И некоторые вещи были удачные, другие — нет, но что осталось от всех этих твоих трудов, вместе взятых? В деревнях опять повсюду принялись за тканье, а на что в таком случае фабрика? Да, сестра Хозея по-прежнему умнее нас всех: она и прядет, и ткет, и шьет и никогда не покупает никакого белья в моей лавке. Ты уговорил Каролуса продать всю кормившую его землю под постройки, и он чуть было с голоду не умер. Ты хотел заставить Эзру насадить рождественские елки на его земле. Ха-ха-ха! Но ты не на таковского напал, когда обратился к этому самому Эзре,— помнишь, Август? Впрочем, я со своей стороны никак не могу пожаловаться на твое поведение в Полене, потому что у меня ведь остался нескораемый шкаф, который ты купил для банка в Полене, и он мне каждый день приносит пользу: я прячу в него свои торговые бумаги, и почту, и протоколы брата Иоакима, старосты. А потом этот твой банк, Август! И как это тебе в голову пришло устроить банк? Но, слава богу, я справилась с этим, как со всем остальным, и возвратила каждому все, что он вложил.

— Не понимаю, как у тебя хватило денег на все это,— сказал он.

Она. Деньги я взяла у тебя. Это были твои собственные деньги.

— Да, но в таком случае ничего не должно было остаться? — допытывался он.

На это она ничего не ответила и продолжала пить кофе и есть печенье.

— Конечно, несгораемый шкаф обошелся мне дешево,— сказала она,— но я никого не обманула, а тебя-то уж и давно.

— Если бы я мог, я бы подарил тебе этот шкаф,— сказал он.

— Наверное подарил бы. Ты никогда не был ни скуп, ни жаден, что бы ты ни делал. Но ты был шутом и простофилей во всем, что касалось твоего блага. По крайней мере так аттестует тебя Паулина!

На это ничего нельзя было возразить, раз уж он решил быть кротким и смиренным, чтобы получить чековую книжку. Он спросил:

— А елочки, которые я насадил,— они живы?

— Привились отлично, и у нас, и во многих других местах, но в некоторых местах они погибли. Во Внутренней деревне — длинный двойной ряд от моря до церкви; эти живы, но они растут медленно, они похожи на комнатные растения. Они красивы на взгляд, я всегда гляжу на них, когда бываю возле церкви. Теперь около них насадили березки, чтобы защитить их от ветра. Да, что я хотела сказать?.. Я хочу сходить завтра к Эстер и к ее доктору. Ты бывал у них?

— Да, много раз. Люди первый сорт!

— Родители просили ей кланяться. И потом мне хотелось бы послушать проповедь,— здесь, говорят, отличный священник.

— Да, не без того.

— Ты слышал его проповеди?

— Да, каждое воскресенье. За кого ты меня принимаешь?

— Но первым делом я отправлюсь к областному судье, устрою там свое дело и возьму расписку. Дело дрянь, но мне не придется послушать священника: нет времени дожидаться воскресенья. Пароход уйдет, что я тогда буду делать?

«Хоть бы ты поскорей уехала!» — подумал, вероятно, Август. Ибо чем скорее она уедет, тем скорее он сможет без стыда принять некую чековую книжку.

— Почему ты так торопишься? — спросил он.— Разве ты не можешь дожидаться следующего парохода? Ведь у тебя же никого нет, кто бы ждал тебя дома.

Она по-прежнему не обращала никакого внимания на то, что он говорил, его слова были для нее пустой звук.

— Кланяйся и поблагодари хорошенько от меня,— сказала она и надела пальто.— Я никогда не забуду, как славно меня здесь угостили, чужого человека. Словно я в рай какой-то попала. Знаешь, когда я слезла вчера с парохода, я встретилась на пристани с аптекарем, и я никогда ведь прежде не видала его, а он хотел нести мою корзинку с провизией. Я никак не могу поверить этому.

— Да, аптекарь прекрасный человек, я хорошо его знаю.

— И то же самое и хозяин гостиницы: он желает мне только добра. Когда я спросила его, что я должна ему за комнату, он ответил, что комната недостаточно велика, чтобы брать за нее плату. Но я с этим не согласна, я не хочу, чтобы он думал, что я нуждаюсь в милостыне. И потом все люди здесь в Сегельфоссе были так почтительны со мной. Я хотела бы знать, сколько времени на твоих часах, если они не стоят, конечно.

— Еще бы не ходили! Под моим началом столько людей, и у меня на учете каждая минута! — Он снимает свои часы со стены и говорит, который час.

— Ну, теперь я должна идти, потому что я написала окружному судье, что приду к нему перед обедом. Да, ты помнишь, вероятно, Ане-Марию, жену Каролуса? Она теперь старая и измучена жизнью, но удивительно, до чего она еще живая,— постоянно что-то устраивает. Это оттого, что она никогда не была больна. Я и она, мы никогда не хвораем, оттого мы и остаемся такими свежими и не стареем. Но все-таки это замечательно, что ты узнал меня, когда я вошла.

— В этом ничего нет странного, потому что ты ни на один день не постарела с тех пор.

— А больше ты, вероятно, никого не помнишь,— сказала она и задумалась.— А с фабрикой твоей, как я уже сказала, ничего не выходит, я объясню это окружному судье. Вот разве какой-нибудь англичанин приедет и купит ее. Да, ты не поверишь, но как-то раз приезжал англичанин и купил дом. Знаешь, этот, что на самом краю города, у лоцмана. Он увидел в обшивке доску, которую ему непременно захотелось иметь, потому что на ней было что-то написано и, кроме того, был рисунок; доску эту выловили после крушения. Но лоцман был хитрый и отказался продавать доску. «Тогда я куплю весь дом»,— сказал англичанин и так и сделал. Но, извиняюсь,— он вынул только одну доску из обшивки и увез ее, а дом остался. Теперь кто-то въехал туда и живет там, а об

англичанине ни слуха ни духа. Как думаешь, Август, ничего, если я налью себе еще чашку кофе и опорочно весь кофейник?

— Ну, конечно, ничего,— есть о чем разговаривать.

— Ну что за кофе! А печенья я больше не буду брать.

— Непременно возьми печенье, самое лучшее съешь их все!

— Нет, я сыта. А сестру Хозею и Эзру помнишь? Ведь это ты основал, так сказать, их хлев, и все они закричали тогда, что хлев слишком велик для их скота; а теперь он уже давно мал, и Эзре два раза приходилось расширять его,— и все это из-за большого болота, которое они осушили и возделали. Поэтому Хозея и ее муж — богатые и высокочтимые люди, и он у нас самый крупный плательщик налогов. Я буду кланяться им от тебя, не так ли? А теперь, Август, позволь попрощаться с тобой и пожелать тебе счастья и успеха с твоими деньгами!

Она пошла к двери, не протянув ему руки.

Он понял, что это от крепкого кофе у нее зарумянилось лицо и она сделалась так необычайно говорлива, и он, по правде говоря, здорово утомился, слушая ее. Но Август не мог позволить ей уйти, не сказав ей хотя бы несколько слов благодарности. Свою благодарность он выразил довольно странно:

— Паулина! — позвал он.— Если уж нельзя иначе и я, как ты говоришь, должен непременно владеть этими деньгами, то я в твоём присутствии утверждаю, что я ни в коем случае не стану разрывать здесь горы и не потрачу свои деньги на какие-нибудь копи. Никто в этой жизни не заставит меня сделать это. Я достаточно нагляделся на них в Южной Америке и повсюду, как они ходят, колотят по камням и глядят в увеличительное стекло, а как заведется шиллинг, так тотчас несут его за бумаги, и много раз видел я, как они собирались уже бросить все, но у них делалась золотая лихорадка, и они не могли кончить. Боже избави меня! Ты можешь быть спокойной, Паулина.

— Это не мое дело,— сказала она и протянула ему руку.— Меня-то чем это касается? Мне все это совершенно безразлично.

Следующий час целиком посвящен великим планам, взлетам за облака, видениям и сказке.

Хорошо, что пришла Старая Мать и остановила его. Она, как всегда, захотела поговорить с ним о чем-то,



на этот раз — о возмутительном поведении вдовы Солмунда по отношению к своему благодетелю, аптекарю. Дело шло о каких-то двадцати пяти кронах и о каких-то пятидесяти. Августу было все в точности объяснено, и он сердился все больше и больше. К нему обращались теперь с самыми разнообразными делами, и он ничего не имел против этого, он всегда мог посоветовать, и если не сегодня же, то во всяком случае завтра у него будет не только доброе желание, но и возможность помочь.

— Она не дает ему покоя, говорите вы?

— Ни малейшего покоя. Она приходит в аптеку, и ее приходится выталкивать.

— Так она будет иметь дело со мной!

— Вот это дело! — воскликнула Старая Мать. — Я так и знала: стоит мне только обратиться к тебе...

— Я этого не потерплю! — громко закричал он, словно пришел в бешенство и не хотел, чтобы его сдерживали. — Мне совестно вас просить об этом, но я не знаю, что они сделали с моей одеждой. Я хочу встать.

— Ты сию же секунду получишь свою одежду! — сказала Старая Мать. — Спасибо, На-все-руки, ты всегда верен себе...

Следующие часы были полны кипучей деятельности. Его первым делом было осмотреть дорогу: все было отлично вычищено, это была настоящая королевская дорога до самого верха, где стояла охотничья хижина, глядевшая на него из-под бровей.

Он рассчитался с рабочими.

— А железная решетка? — спросили они.

— Потом, — отвечал он. — У меня сейчас другая забота.

Они вместе сошли вниз. Рабочие должны были начать цементировать погреб у Головы-трубой, в то время как Августу нужно было спуститься в самый город, чтобы попасть на дорогу к вдове Солмунда в Северную деревню. Боже, какая неудача! На перекрестке он наткнулся на самую Паулину, и невозможно было ускользнуть от ее зорких глаз.

Она не обнаружила ни малейшего удивления, увидав его на ногах, она тотчас сказала:

— Хорошо, что я встретила с тобой, Август! Я только что была у окружного судьи, передала ему все бумаги и получила квитанцию, так что тебе остается только сходить и получить чековую книжку. Отличный человек окружной судья! Он сказал: «Пожалуйста, садитесь!» и выслушал все, что я ему сказала. «При такой доверенности это были

без всякого сомнения ваши деньги»,— сказал он. «Но я не желаю владеть чужими деньгами»,— отвечала я. Тогда судья засмеялся. А когда я уходила, он сказал, чтобы я вечером непременно пришла к нему, поговорить с ним и его женой. Я никогда прежде не слыхала, что бывают такие отличные люди, каких я встретила здесь! И знаешь, что со мной случилось, когда я пришла от тебя? Эстер и доктор узнали от аптекаря о моем приезде и наказали в гостинице самым строжайшим образом, чтобы я сейчас же пришла в докторскую усадьбу, а не то они силком потащат меня к себе! Как тебе это нравится? Где ты видывал таких людей, как здесь? Ну, а теперь мне некогда разговаривать с тобой, я на одну минутку загляну в гостиницу, приведу себя немного в порядок и побегу к доктору. И потом я хочу сказать тебе, Август, что я ничуть не раскаиваюсь, что мне из-за тебя пришлось приехать в Сегельфосс, и я этого никогда не забуду. Ну, а теперь сразу же ступай к областному судье и получи у него, что тебе следует.

И она побежала.

Август не успел сказать ни одного слова.

Он поглядел на часы. Паулина была права: он мог пойти за чековой книжкой сейчас же. Какая удача!

Десять минут у него ушло на поход и другие десять минут — на разговор с окружным судьей. Август поблагодарил его за помощь и поддержку, осыпал его благословениями в изысканных и своеобразных выражениях и ушел.

Он успел только мельком взглянуть на неожиданно крупную сумму в книжке,— о боже! — затем опять поглядел на часы и поспешил в банк. Консул Гордон Тидеман и директор банка Давидсен стояли как раз и собирались уходить. Консул надевал свои желтые перчатки.

Август попросил извинения и несколько смущенно протянул свою чековую книжку: нельзя ли ему получить совсем немного денег? Ему следует как раз заплатить кое-кому пустяки, впрочем...

Они оба стали разглядывать книжку, они ведь все лето слышали разговоры об этом богатстве. Так, значит, это не было выдумкой. Они кивнули в знак того, что ничего не имеют против заплатить по такой книжке. Сколько денег ему нужно?

Август попросил только тысячу, чтобы иметь немного карманных денег.

На улице консул сказал ему:

— Садись, На-все-руки, поедем домой.

— Да уж не знаю,— у меня дело в Северной деревне.

— Хорошо. В таком случае я сперва отвезу тебя в Северную деревню. Ты только что встал на ноги, и тебе не годится так много бегать. Я рад, что могу облегчить тебе эти шаги. Ты очень сильно был болен?

— Только простужен.

Они поговорили о дороге, о том, что она готова, что осталось только поставить железную решетку, и что это не к спеху. Консул решил после обеда отвезти дам к охотничьей хижине.

Они отыскали вдову Солмунда, Август пробыл у нее всего лишь несколько коротких, но решающих мгновений и сказал совсем немного слов: он был теперь достаточно могущественным для того, чтобы бросить на стол пятьдесят крон и потребовать молчания навеки.

## ГЛАВА XXIV

---

В тот же самый вечер Август отправился в Южную деревню. Был самый обыкновенный день недели, пятница, но все дни одинаково хороши, можно много сделать и хорошего и дурного также и в пятницу.

Он мог бы зайти в сегельфосскую лавочку и сначала купить себе новую одежду; и он подумал об этом, но потом у него не хватило терпения: сердце влекло его дальше. Разве это так странно? И разве ничего похожего не случилось с кем-нибудь другим?

Он бы мог нарядиться в новое платье, надушить носовой платок, надеть рубашку с открытым воротом, взять у фрекен Марны верховую лошадь и так появиться в Южной деревне. Все это пришло ему в голову, но сердцу его было некогда. Но разве он был вне себя? не мог владеть собою? Напротив, он отлично владел собою, ничего жалкого или стариковского не замечалось в прежнем матросе, походка его была легка, он был влюблен и богат.

Он мог бы и не идти здесь по пыльной деревенской дороге и каждую минуту отходить в сторону, чтобы отереть пыль с башмаков о кочку, поросшую вереском,— он мог бы иметь слугу, боя, который шел бы за ним по пятам и отирал бы пыль с его башмаков шелковой материей. А разве не мог бы он в эту самую минуту забыть Корнелию из Южной деревни и вместо этого с билетом в кармане отправиться в далекий свет, который так манил его? Он подумал и об этом, но его сердце не разрешило ему...

Семейство находится на лугу, все руки заняты сенокосом, сено сгребают и возят домой, возят его по старинному обычаю на саях. Август скромно и тихонько подходит к ним, держит себя с ними, как равный, хотя он так богат, он снимает шляпу и говорит:

— Бог в помощь!

Тобиас благодарит.

Он сплевывает и собирается начать разговор.

— Тебе незачем из-за моей персоны прерывать работу,— говорит Август.

— Это последний воз, на сегодня довольно,— отвечает Тобиас.— Я боюсь убирать остальное: оно еще не высохло.

Август запускает руку в сено и пробует.

— Как вы находите? — спрашивает Тобиас.

— А соли ты подбавляешь?

— Совсем немного.

Подходит Корнелия с матерью и всеми младшими детьми, они тоже кончили работу. Август опять берется за шляпу, его старые щеки покраснели, и он с трудом произносит:

— Отличная погода для сушки сена!

Корнелия отвечает:

— Совершенно верно!

Она тотчас направляется на дорогу, которая ведет к дому, и все идут за ней. Август замечает, что лошадь раза два останавливается и отдыхает, хотя воз совсем невелик, и тотчас опускает морду к земле и начинает щипать траву. При этом она косится по сторонам.

— Что это с лошастью? — спрашивает Август.— Разве ты позволяешь ей делать что вздумается?

Тобиас. Я стараюсь взять ее лаской, только одна Корнелия умеет справляться с ней.

— Она кусается?

— И кусается, и брыкается.

Корнелию просят распрячь лошадь и стреножить ее. Тобиас тем временем снимает сено с воза и охалками носит его на сеновал; под конец он, чтобы ничего не пропадало, снимает с саней каждую травинку. Потом он посыпает сено солью.

Жена и дети вошли в дом.

Август глазами следит за Корнелией; она должна быть настороже, пока ведет лошадь, должна держать ее под уздцы, чтобы помешать ей схватить зубами за руку. И она продолжает держать ее под уздцы одной рукой, в то время как другой надевает ей на ноги путы. Потом она

отпускает лошадь и быстро отскакивает в сторону. Лошадь прижимает уши к голове и поворачивает задом.

Корнелия возвращается. Она босая и слишком легко одета, но она красивая и живая, воплощение молодости.

— Как же ты опять поймаешь ее?— спрашивает Август.

— Я поманю ее пучком сена,— отвечает она.

Так протекает жизнь на этом маленьком клочке земли. Не так уж плохо. Люди и здесь живут и умирают, небо здесь то же, что и над дальними странами. Корнелия привыкла жить здесь и не привыкла ни к чему другому.

Но сердце Августа испытывает к ней жалость.

Они вошли в избу. Женщина сидела уже за прялкой. Одно окно было открыто, так как вечер был теплый.

— Я думаю о лошади,— сказал Август.— Это ведь сущее наказание!

Тобиас. Да, она стала еще хуже.

— Вовсе уж не так плохо,— сказала Корнелия.— Я выучилась обращаться с ней.

Август. Я слышал, что она и кусается, и брыкается, а лошадь не должна этого делать.

— С остальной нашей скотиной еще хуже,— продолжает Корнелия.

— Каким образом? Она хворает? — спросил Август.

— Нет, но ей нечего есть.

Корнелия знает все, что происходит на их дворе, и думает обо всех. Да и как могло хоть что-нибудь укрыться от ее внимания? Она родилась и выросла среди всего этого.

— Корма совсем нет на лугу,— говорит она.— И причина всему — овцы.

— Да,— подтверждает отец,— все из-за овец.

— Потому что овца съедает всю траву до самой земли, и коровы ничего не находят после них. Я готова плакать. Скоро не останется ни капли молока ни у одной коровы.

Август слышит все это. У Августа голова работает необычайно быстро.

— Гм! — произносит он и хочет сказать еще что-то.

— Да, это так (Тобиас никак не может прекратить свою болтовню), нет больше корма на пастбище.

Август не может более сдерживаться:

— А почему же вы не посылаете овец на зеленые лужайки в горы?

Тобиас улыбается на это:

— Я никого не знаю, кто бы поступал так. Тогда бы нам пришлось пасти их там.

— Сколько у вас овец? — спрашивает Август.

Корнелия пересчитывает овец и ягнят:

— Восемь голов.

— Не хотите ли вы продать их?

— Продать их? — спросил Тобиас.— Как? Хотим ли мы продать их?

— Я куплю ваших овец,— сказал Август,— и отправлю их в горы.

Корнелия улыбается мокрым ртом, она так удивлена, что слюни почти что текут у нее изо рта.

Ее мать останавливает прялку и смотрит то на одного, то на другого.

— Мы не можем продать овец,— говорит она.— Тогда у нас не будет шерсти.

— Ты получишь шерсть свою обратно,— сказал Август. Удивление возрастает.

— Шерсть ты получишь. Но ты должна будешь кормить овец всю зиму. За корм я заплачу.

Вот так торговля овцами! В избе усиленно зашевелили мозгами. Тобиас сказал:

— Это зависит от того, сколько вы дадите.

Август чуть было не сказал: «Все зависит от того, сколько ты захочешь взять», но спохватился и сказал:

— Назови мне свою цену, мою-то я сам знаю.

Тобиас думал долго, кинул взгляд на жену, кинул взгляд на Корнелию и наконец назвал цену. Пожалуй, это была несколько безбожная цена и никак не совпадала со словами писания, но крещение в Сегельфосском водопаде отошло уже в прошлое, а евангелист уехал. Как трудно было Тобиасу и содрать как следует с крестного брата, и вместе с тем соблюсти приличие по отношению к нему!

— Двадцать шесть-семь крон,— как вы это находите? — спросил Тобиас.— Я не помню, какая цена была в прошлом году или в предыдущие годы.

Август только головой кивнул. Его могущество не знало границ, он чувствовал себя капитаном. Но все же нельзя было не пустить пыли в глаза.

— У тебя, Корнелия, найдется, верно, клочок бумаги, перо и чернила? — спросил он.

И пока он писал, было глупо обращаться к нему, потому что он не отвечал.

В избе возникли разные сомнения. Что придумал этот человек? Зачем он пишет? Уж не собирается ли он покупать в кредит? Ах, они были до того просты,— никогда не видали за делом президента или вообще человека, облеченного властью!

Они не поняли также обнаруженной им тактичности: ведь он составлял этот маленький контракт с Тобиасом только для того, чтобы все это не имело вида подарка.

Август написал до конца и сказал:

— Ну, а теперь подпиши документ, Тобиас, и получи деньги!

Словно бомба разорвалась. Тобиас смог только униженно пролепетать, что он не бог весть какой писака, но что он попробует нацарапать свое имя, — «если вы удовольствуетесь этим».

Август вынул бумажник, — только теперь он вынул свой бумажник! Это было седьмое чудо света, а не бумажник: он был совершенно переполнен и раздут от крупных денежных ассигнаций! Восклицания раздались в избе, Август хорошо заметил это, а Корнелия испустила драгоценный вздох: «А-а». В открытом окне показалось лицо, лицо Гендрика.

Август выложил три сотенных бумажки на стол.

Уничтоженный Тобиас напрасно ощупывал пустые карманы:

— Я, к сожалению, никак не могу дать вам сдачи.

Август только головой тряхнул:

— Это не к спеху.

Лицо в окне исчезло; Гендрик быстро вошел в избу.

— Простите меня, — сказал он.

Все семейство здорово рассердилось. Тобиас сейчас же спрятал крупные ассигнации. Конечно, не следовало бы продавать овец при открытом окне: вот появился Гендрик и мешает им, хотя он мог бы держать себя лучше, так как крестился вторично. И что ему от них надо? Корнелия готова была так прямо и спросить его: до того она рассердилась. Потому что Гендрик вовсе не был ее любезным в данное время.

Бедный Гендрик! Он, вероятно, заметил враждебное к себе отношение со всех сторон, но все-таки осмелился произнести несколько слов:

— Сколько возов сена убрали вы сегодня?

Никто не ответил. Корнелия вошла в каморку, мать ее опять принялась пряхть.

— У нас убрали только четыре воза, — сказал он, чтобы совсем не потеряться от конфуза.

Август не был злым, и ему не понравилось, как отнеслись к юноше. Что из этого, что он стоял у окна и увидал его бумажник? Его стоило поглядеть. Кроме того, Корнелия могла бы посидеть тут и повздыхать еще, вместо

того чтобы, как ни в чем не бывало, уходить в свою каморку. Он убедился, что дверь к ней осталась открытой, и обратился к Гендрику:

— Сколько у вас овец?

— Овец? — Гендрик пересчитал их.— Да будет, вероятно, штук десять-двенадцать. А вы покупаете овец?

— Да,— сказал Август,— я покупаю овец.

Это поставило Гендрика в тупик.

— Мы, пожалуй, охотно продадим. Сколько вы даете?

— Я плачу двадцать семь крон за овцу, барана или ягненка,— сообщил Август.

Гендрик так и подскочил на месте: такой цены не было ни разу за все годы, прямо-таки подарок с неба!

— Не будете ли вы так добры подождать, пока я сбегая за отцом? — спросил он.

Август кивнул головой в знак согласия.

Тут из своей каморки быстро вышла Корнелия в сопровождении брата.

— Поторопись же, Маттис! — попросила она и выпроводила его за дверь.

Мать спросила:

— В чем дело? Куда ты послала его?

— Он побегал в Северную деревню по тому делу, ты ведь знаешь,— отвечала Корнелия.

— По какому делу?

На лице Тобиаса отразилось нестерпимое страдание, и жена опять остановила прялку и с беспокойством взглянула на него: так, значит, этой торговой сделке не суждено было свершиться в тайне, без того, чтобы и другие не воспользовались и не продали своих овец по той же самой бессовестной цене. Какое горе!

— Что вы делаете? — огорченно спросил Тобиас.— Неужели вы каждому собираетесь платить по двадцати семи крон за штуку?

— Сегодня это моя цена,— отвечал Август.

Боже, до чего приятно снова быть господином и держать в своих руках судьбы людей! Он вовсе не думал скупать овец, черт возьми, вовсе не думал,— овцы не серебряный рудник и не сто тысяч быков. Не выдерживают никакого сравнения. Но если как раз сейчас не предвиделось возможности купить нарядную яхту или клочок земли в Боливии, он не намерен отступить от простой купли овец.

И тотчас в голове у Августа стали возникать планы: из вежливости он поговорит с консулом Гордоном Тидеманом, во всяком случае заручится его позволением пасти



на Овечьей горе, потом он будет все покупать и покупать овец. Они здорово разжиреют к осени Йёрн Матильдесен и его жена будут их пасти. Осенью он не будет их резать, он будет их разводить, разводить из года в год: в горах найдется место для десяти тысяч овец; со временем он выстроит обширные хлевы для овечьих отар и купит целую милю болота, чтобы иметь зимний корм. Паулина ничего не может иметь против такого рода деятельности: она любит животных, и у нее у самой есть овцы. О боже, сколько будет овец, мяса, шерсти!..

Но вот по дороге показались Гендрик и его отец, они бегут со всех ног. Тобиас и его жена смеются, глядя на них с презрительной гримасой, и Корнелия ядовито замечает:

— Они бегут, точно за ними гонятся!

Эта Корнелия во многих отношениях удивительная девушка.

Гендрик и его отец, запыхавшись, входят в избу, и Тобиас ради приличия принужден предложить сесть своему соседу.

— Нет, я не буду сидеть. Да ты, верно, успел убрать все сухое сено, Тобиас?

Август прервал его:

— Сколько ты овец продаешь?

Такой прямой вопрос огорошивает крестьянина, и он затевает разговор:

— Говорят, вы скупаете овец, так я хотел бы знать...

— Сколько овец можешь ты продать?

— Двенадцать, вместе с мелочью,— сказал крестьянин и почтительно поклонился.

Август к Корнелии:

— Есть у тебя еще бумага?

— Нет,— ответила она.— Это так досадно, но больше у меня нет бумаги.

— Гм! — сказал Август.— Ты, Гендрик, мог бы сбегать в город за всеми моими книгами и протоколами.

Гендрик тотчас собрался бежать.

— Но ты их не найдешь.— Август вытащил из кармана штанов связку в восемь ключей и сказал: — Ты не найдешь их во всех этих сундуках и несгораемых шкафах.

— Вот то здорово! Сколько ключей! — воскликнул парень.

Август. И то четыре ключа я не ношу при себе.

Пусть Корнелия узнает число его сундуков!

Он написал договор с отцом Гендрика на контракте с Тобиасом, указал ту же цену и те же условия относительно зимнего корма, от Михайлова дня до весенней травы, сумма такая-то.

— Подписывай! Вот деньги!

Готово! Ни одного лишнего слова!

Крестьянин казался смущенным и сказал:

— Все это мне? Да не может быть!

Август отвечал, что лишнее пусть пойдет в счет зимнего корма. У него нет с собой мелких денег.

— А теперь,— сказал он,— теперь я желаю, чтобы ты, Корнелия, пошла вместе со мной к лошади. Я хочу осмотреть ее.

Но все вышло так неудачно! Ему так нужно было побыть с нею с глаза на глаз хоть часочек, но вся семья и соседи последовали за ними по пятам. Он напрасно старался выиграть время, все ходил и кружился вокруг кобылы, исследовал навоз и заставил ее несколько раз стать на дыбы, но эти люди, черт бы их побрал, хотя и страсть какие голодные после целого дня работы, не трогались с места.

Августу пришлось окончить комедию.

— Я думал, может быть, у нее вздутие,— сказал он.— Тогда бы я в несколько минут вылечил ее.

Сосед был счастлив преклониться перед богатым господином:

— Вы бы вылечили? Вот что значит быть настоящим человеком и иметь обо всем понятие!

— Тогда бы следовало только проткнуть ее,— сказал Август.

— Да, но тут дело вовсе не в газах,— сказала Корнелия.

— Я это и говорю,— ответил Август.

— Да и вообще у нее ничего не болит, просто она любит брыкаться и кусаться.

— А разве этого мало?

На это они все засмеялись, а сосед заметил, что это истинная правда. Потому что разве мало, что лошадь брыкается и кусается? Он и на страшном суде будет утверждать, что этого достаточно.

Август поглядел на часы.

— Наступает вечер,— сказал он.— В другой раз я осмотрю лошадь твою подробнее, Корнелия, а сейчас мне некогда.

Но когда они шли обратно к дому, во двор въехал велосипедист, а сзади у него сидел мальчик Маттис. Это был Беньямин из Северной деревни, мокрый от пота. Корнелия тотчас вошла в избу.

— А ты все катаешься! — сказал Тобиас.

— Как видите.

Подземные не помогли Беньямину достичь славы и богатства, но он заработал столько денег за лето, что смог купить себе велосипед и еще кое-что. И в этом отношении он был счастливее Гендрика, у которого не было велосипеда и не предвиделось возможности получить его.

Беньямин поклонился Августу, как старому знакомому, и хотел было поздороваться с ним за руку. Но Август, строящий гараж или руководящий постройкой дороги, и сегодняшний Август были далеко не одно и то же лицо: сегодня он не намерен был замечать каждую протянутую ему руку.

Все вошли в избу.

— Я слышал, вы покупаете овец? — спросил Беньямин.

— Да, это моя должность и профессия, — ответил

Август.

— Отец хотел бы продать вам несколько штук.

— Ну что ж, пусть твой отец придет.

— Дело в том, что он меня просил сделать это за него.

— У тебя есть письменная доверенность? — спросил

Август.

— Нет, письменной как раз у меня нет, но...

— Но ведь Беньямин получит отцовский двор и все такое, — пояснил Тобиас.

— Тем лучше для него, — коротко оборвал Август.

Он был резок оттого, что ему не удалось свидание с глазу на глаз с Корнелией, и оттого, что приближался вечер и он был голоден и утомлен. К довершению всего Корнелия показалась в дверях спальни гораздо более принаряженной, чем была до тех пор, даже с серебряным сердечком на цепочке вокруг шеи.

— Значит торг у нас не состоится? — добродушно спросил Беньямин.

— Нет, — сказал Август и поглядел на часы.

— Вы же не станете делать различие? — сказала Корнелия с порога спальни.

Чертовская Корнелия, она умела постоять за себя!

— Может быть, я буду делать большое различие, — отвечал Август. — Двадцать семь крон — это моя сегодняшняя цена, но после того как я посмотрю цены за границей

и прочту все присланные мне телеграммы, то очень возможно, что завтра я буду платить только двадцать крон.

— Не может быть! — сказала Корнелия и совсем близко подошла к нему.— Нет, вы не захотите делать разницу между Беньямином и Гендриком, я в этом уверена.

Теперь бы он, пожалуй, несмотря на все, сдался, потому что у нее опять были ее просящие глаза, и серебряное сердечко на цепочке было дрянь, это не золотое сердечко, он бы мог сказать: «Хорошо, я беру твоих овец, Беньямин. Сколько их?» Но у него не было денег, и если б он стал просить открыть ему кредит до завтра, то они, пожалуй, не поверили бы что он так богат. Более, чем за восемь овец, он не мог заплатить, а у Беньямина их могло быть двенадцать.

Он опять поглядел на часы, встал и сказал:

— У меня деловое свидание.— И, обернувшись к Беньямину, добавил: — Приходи с отцом ко мне на квартиру, в дом консула, завтра, в одиннадцать часов! Сколько у вас овец?

— Семь.

Он был спасен. Он опять сел и сказал недовольным голосом:

— Семь овец! Из-за таких пустяков не стоит беспокоить твоего отца. Я видывал стада в тридцать тысяч голов. Ты только задерживаешь людей, у меня очень важное свидание. И к тому же нет бумаги для контракта.

Корнелия принесла бумагу:

— Я как раз нашла этот последний листок!

Ну и чертенок же эта Корнелия! Настоящий клад для того, кому она достанется.

Пока Август писал, остальные не должны были говорить. Он сейчас же остановил их болтовню:

— Так что же, писать мне этот документ, или нет?

Две сотенных бумажки появились на столе.

— А нет ли у нас кофе для дорогих гостей? — спросил Тобиас.

— Как же, но у нас только темный сахар,— отвечала жена.

Август встал, в десятый раз выхватил из кармана часы, пожевал спокойной ночи и вышел. Тобиас пошел его проводить, больше никто: Корнелия не пошла. По мнению Августа, она могла бы его проводить.

— Я бы хотел поговорить с вами об одной вещи,— сказал Тобиас.— Может быть, вы не побрезгуете бросить взгляд в эту закуту?

Август сунул туда голову и спросил:

— Что здесь такое?

— Взгляните на эту овчину. Может быть, вам угодно купить ее?

— Нет, — сказал Август.

— Ну да, этого и нельзя было ожидать. Но это отличная овчина, и последний, кто укрывался ею, был тот самый евангелист, который вас крестил. И потом вы бы быстро перепродали ее.

Август покачал головой.

— Вы же покупаете овец, поэтому я подумал, что вы купите у меня эту замечательную овчину. Но этого нечего было ожидать. И потом вам, конечно, не нужна ни одна из всех моих вещей. Да у меня и нет никаких вещей, я до того приперт к стене, что не знаю, куда мне деться. А когда понадобилась помощь вдове Солмунда, то ведь они не постеснялись придти ко мне в дом и потребовать, чтобы я купил билеты на какой-то увеселительный вечер, как они это называют, и пришлось выбросить три кроны. И так каждый день и каждый час всякие расходы...

Август поглядел на часы.

— Я не стану вас задерживать, — сказал Тобиас. — И стыдно так прямо просить вас, но сосед мой получил четыреста крон, а на меня пришлось только триста. Не то чтобы я завидовал ему...

— Но у него же было на четыре овцы больше, чем у тебя!

— Да. Не сердитесь на меня, но он все-таки получил на целую сотню больше, чем я. И при этом ведь он меня же должен благодарить, потому что вы начали с меня. Поэтому я и решил, — если б вы заплатили мне сейчас за зимний корм...

— Нет, — сказал Август и пошел.

— Ну, конечно, этого и нельзя было ожидать, — согласился Тобиас и пошел за ним. — Ни в коем случае нельзя было ждать. Но если б вы согласились вытащить меня из пропасти и протянуть мне руку помощи, то я отдал бы вам в залог документ на мою избу. Что вы на это скажете?

Август спросил вдруг:

— А зачем Корнелия посылала за Беньямином?

— Что? За Беньямином?

— Она послала за ним брата.

— Да, — сказал Тобиас, — зачем она это сделала? Бог да простит меня, но это черт знает что за беготня с этим

Беньямином! Недавно он подарил ей украшение, и потом он солидный и богатый муж для нее,— этого нельзя отрицать. Беньямин получит все после своего отца, так что Корнелия ничего не потеряет. Да, вы же сами слышали, они продали только семь овец, но в таком случае у них осталось по крайней мере две овцы с ягнятами и баран на племя. У них страсть сколько всяких вещей и всего! За Корнелию вы не беспокойтесь,— если что вам показалось не так,— ей-то будет хорошо. И насколько я знаю, они скоро женятся.

Август поглядел на часы.

— Ну, так что же вы скажете относительно того, что я вам говорил? Совершенно новая изба с дверьми и окнами, и все, что только можно пожелать.

— Мне не нужен твой дом,— сказал Август.

— Я в такой крайности. И это для вас сущий пустяк...

— Ступай к своему зятю, Беньямину, раз уж он такой молодец! — оборвал Август всю болтовню.

И он поступил тут, как настоящий мужчина и капитан...

Как раз теперь, когда он сделался богатым и важным и мог показаться во всем своем блеске, Корнелия оказалась потерянной для него. Потерянной? Совсем потерянной? Это еще не известно. Они не видали еще всего блеска. С каким удовольствием он покажет им свое овцеводство! У него было их теперь двадцать семь штук. Иёрн Матильдесен завтра же придет за ними и отведет их в горы. Август слышал предание о том, как некто по имени Гольдевин, и позднее другой, по имени Виллац Хольмсен, пасли стада овец в горах. Это не было мечтой и чудачеством, над которым будут смеяться, наоборот, он основывает огромное дело; для начала он купит тысячу голов, может быть, ему придется снять контору в городе...

На крутом повороте дороги перед ним очутилась вдруг Осе. Но Август прежде и Август теперь был уже не тот человек; он прошел мимо, не поклонившись.

— Вот как! — сказала она.— Ты важничаешь.

Август шел дальше.

— Ты опять был у нее, как я вижу.

Август обернулся:

— А тебе какое дело?

— Никакого. Но я предупредила тебя.

— Ты предупреждаешь? Неужели ты думаешь, что я обращаю на это внимание?

— А вот увидишь! — закричала Осе.— Ты дрянь, ты родился в пятницу, и ты никуда не годишься.

— Ишь ты, леший! Как смеешь ты кричать людям в лицо такие вещи? — воскликнул Август и сделал по направлению к ней несколько шагов.— Я такой человек, что захочу — и тебя арестуют в любой день.

— Ха-ха-ха! — засмеялась Осе.

Но это не был смех: она не смеялась, а только сказала: «Ха-ха-ха».

Август сказал под конец:

— Разное я слышал о тебе, чудовище ты этакое. Ты ходишь и расплевываешь несчастье перед дверьми у людей, ты так напугала человека и лошадь, что они упали в водопад, ты вырвала доктору глаз. Но я не боюсь тебя, и наступит время, когда власти закуют тебя в кандалы. Попомни мое слово!

И с ней также покончено.

Он выпрямился там, где стоял у дороги, и почувствовал себя большим человеком. Чудно, что Беньямин со своими семью овцами одержал победу над ним, бессмысленно, совершенно бессмысленно. Они его не знают, Они думают, что он скупает овчину, а он купит десять тысяч овец.

Август шел и напевал что-то себе под нос, а внутри у него звучала гордая музыка. Пусть уж они простят ему это, пусть как-нибудь привыкнут к нему, козявки.

Вид маленьких домиков возле моря пронзил его сердце. Он был так богат и могуществен: он мог оставить после себя в доме Тобиаса девятьсот крон и пятьдесят крон у вдовы Солмунда, кто из них мог поступить так же? Вот тут еще со времен старого Сегельфосса стоят эти крошечные человеческие жилища, и внутри их, уж конечно, нужда. И до того убого и пугливо это племя, что каждый раз, когда он проходит по этой части города, он видит, как здешние дикари шныряют в дыры дверей и не выходят, прежде чем он не пройдет мимо.

Перед домом играют дети, они не замечают, что Август приближается. Человек с непокрытой головой разбивает на дрова ящик, он увидел его слишком поздно, чтобы скрыться. Август протянул старшей девочке бумажку в десять крон и сказал, чтоб она разделила деньги между всеми. Девочка так и осталась стоять с бумажкой в руке.

— Бог в помощь! — поздоровался Август.

Человек поднял руку к волосам, как бы для того, чтобы снять шляпу, хотя и был простоволос.

— Спасибо, — сказал он.

— Это твоя девочка?

— Нет.

У человека были светлые, голубоватые, как разбавленное водой молоко, глаза, и сам он казался увядшим, но одет он был неплохо.

— Ты рыбак? — спросил Август.

— Нет.

— Кто же ты тогда?

— Могильщик.

— Так, могильщик. Да, мы все умрем, и всем нам понадобится могила! — «Чертовски неразговорчивое существо, интересно, как это он устроен?» — подумал, вероятно, Август. Он спросил: — Это твоя изба?

— Да, — отвечал человек. — Теперь она моя.

— Ты один в ней живешь?

— Нет.

Боже, что за наказание, какой крест выдавливать слова из этого урода! Август послал девочку разменять деньги и ждал, пока она вернется. Четверо других детей стояли и глядели на него.

— Среди этих малышей нет твоих ребят? — спросил он.

— Нет. У меня нет детей.

— Они умерли?

— Вроде того, уехали.

— Так, значит, они уехали. Ты, вероятно, остался только с женой?

— Да.

Но когда девочка принесла разменянные деньги и каждый из детей получил по две кроны, с которыми все тотчас разбежались по домам, старый могильщик сказал вдруг сам:

— Точь-в-точь как делал и покойный Виллац Хольмсен!

— Он тоже раздавал мелочь?

— Да, да, да, да, да, он раздавал! — отвечал старичок и, погрузившись в воспоминания, закачал головой.

— Так ты, значит, живешь здесь со времен Виллаца Хольмсена?

— Да, а потом я работал на мельнице у Хольменгро. А потом все кончилось.

Понемногу старичок стал более общителен; он не был глупым, а только глубоко подавлен нуждой. И Август получил от него сведение, которое стоило десяти крон, потраченных им во время остановки на этом месте: он узнал решение загадки, над которой ломал себе голову.

— Да, я хорошо знал покойного Хольмсена, — сказал старик, — и у него был единственный сын. Я был здесь



все время и не уезжал отсюда. У Хольменгро было тоже неплохо работать; он часто давал детям, которых встречал, шиллинги. У него самого были сын и дочь, но только они были взрослые. А потом появился Теодор.

— Отец консула?

— Да. Тоже знатный парень был этот Теодор. Он подарил мне однажды десять крон. Впрочем, это не совсем был подарок: он дал их мне за то, что я отнес два ведра мальков в большое озеро в горах...

Август так и подскочил:

— В горное озеро? мальков?

— Да, он пускал их в воду то там, то тут. Мы делали это рано утром, по воскресеньям, насколько я помню. Этот Теодор был такой выдумщик, он много думал про себя, и он получал этих мальков с Юга. А когда мы шли вниз, домой, он и сунул мне эти десять крон. Это было слишком много, но он дал их мне на счастье.

— Ну и что ж, развелась там рыба? — спросил испытующе Август.

— Этого я не знаю, — ответил могильщик. — Теодор не велел мне никому говорить об этом. Да, такие-то времена и такие люди были тогда в Сегельфоссе! — продолжал болтать старичок.

Он был вял, может быть слишком подавлен, чтобы хорошо относиться ко всем. Консула он хвалил особенно рьяно:

— Что за человек! И как добр ко всем! Мы его не знаем, потому что он не ходит среди нас и не показывается, но он отдает приказания в лавку, когда хочет помочь нам...

Пришло еще много детей, и Август досадовал, что у него осталось так мало денег. Он раздал, что у него было, сунул последние десять крон могильщику и ушел.

## ГЛАВА XXV

---

Не успел он встать утром с постели, как к нему пришли уже соседи Беньямина с предложением купить у них овец. Но торг не состоялся, ибо судьба капризна, — а именно, когда Август исследовал цены на мировом рынке, то оказалось, что цены пали за ночь и в Европе, и в Вальпарайсо, и в Нью-Йорке.

— Сегодня я даю двадцать крон, — сказал он.

Это обрадовало тех, кто продал вчера, и огорчило продававших сегодня.

— Двадцать крон! — говорили они.— Да это немногим больше того, что мы привыкли получать осенью.

— Это моя цена на сегодня,— сказал Август.

— Тогда мы лучше подождем.

— Ждите, сколько вам угодно! А тем временем овцы дочиستا обгложут ваше пастбище, и у коров не будет молока.

Он сходил в банк и запасся деньгами, попросил у консула разрешения использовать Овечью гору и получил его.

— Я не знаю, какая именно часть горы принадлежит мне, но ведь ты же делаешь доброе дело: помогаешь животным добывать себе корм.

Директор банка Давидсен стоял и внимательно слушал, и редактор проснулся в нем.

— Вот уж подлинно доброе дело! — воскликнул он.— Разрешите мне напечатать об этом в газете.

Август. Что думает об этом консул?

— Что я об этом думаю? Почему ты спрашиваешь меня?

— Хотите ли вы, чтобы о вашем подручном писали в газетах?

Такт во всяком случае имелся у этого человека, откуда бы он у него ни был.

— Я ничего не могу иметь против,— сказал, улыбаясь, консул.

Август послал за Иёрном Матильдесеном и его женой и приставил их стеречь овец. Он сходил в сегельфосскую лавку и, что вполне естественно, оделся в новое платье, а на рубашке была красная отделка. Кстати, он купил себе еще сигару, хорошенько смочил ее сверху, чтобы она не так скоро выкурилась, и сунул ее в карман. И затем опять отправился в Южную деревню.

Смирный идиот и влюбленный шут?

Молчите, у него было дело в Южной деревне, предстояло решение важного вопроса. Поняла ли Корнелия, кто он? его вчерашнюю сделку, все значение его предприятия с овцами, его никем не превзойденную цену? Кто мог сравниться с ним? Не приходило ли ей в голову сравнивать его с кем-либо другим, столь же великим, с Голиафом, например?

Когда показались дома, он зажег сигару; она размякла сверху и должна была долго куриться. Он расстегнул

куртку и вошел на двор. Никто не появлялся, а Август был не из таковских, что заглядывают к людям в окна. Он тросточкой похлопывал себя по икрам. А так как куртка его была на блестящей шелковой подкладке, то он старался стать так, чтобы ветер дул ему в лицо; тогда виден был также и его туго набитый бумажник во внутреннем кармане. Старец, переодетый юношей, кичился тем, что у него было, и не хотел признаться в том, чего ему не хватало.

Что же случилось с людьми внутри дома? Даже если они обедали, они должны были кончить теперь и встретить его. Иначе он, ни слова не говоря, войдет прямо к ним в дом.

Все семейство сидело за столом.

— Приятного аппетита! — с досадой проговорил он.

Корнелия встала и уступила ему свой стул. Еще бы, только этого недоставало!

Тобиас был сдержан, может быть, он обиделся за то, что ему не удалось продать вчера овчину.

— Ну вот, вы целую ночь проспали после нашей торговой сделки, и я хотел бы знать, что вы думаете о ней сегодня?

— Как же, — сказал Тобиас, — как же.

Нечто в том же роде сказала жена.

— Вы должны быть довольны, что продали вчера.

— Как так?

— Потому что сегодня моя цена — двадцать крон.

— Вот как!

— А завтра я буду давать, может быть, только восемнадцать.

— А отчего же это происходит? — спросил Тобиас.

Август тряхнул головой:

— Колоссальное падение цен на овец на всем земном шаре.

— Как странно это слышать.

— Австралия выпустила на рынок весь свой годовой приплод.

— Вы, может быть, не будете больше покупать овец? — спросила вдруг Корнелия.

Август улыбнулся.

— Ты так думаешь, Корнелия? О нет, я буду покупать. Этим меня не испугаешь. Как я решил, так и сделаю: куплю тысяч десять голов.

Корнелия не всплеснула руками и не села тут же от удивления, нет, она, верно, не поняла, не поняла этой крупной цифры.

— Мне бы хотелось показать тебе кое-что,— сказал Август и вынул бумажник.— Несколько телеграмм от моих агентов из Азии и Америки.— Но чтобы найти телеграммы, ему пришлось сначала очистить бумажник от огромной пачки денег, заполнявших оба отделения.

— Боже! это все деньги! — вырвалось у нее.

— Ассигнация в тысячу крон,— сказал он.— Ты, может быть, никогда в жизни не видала ассигнаций в тысячу крон? Видишь, какие они большие! Прочти сама, здесь написано по-норвежски.

Вся семья сбилась в кучку возле Августа, и он показал им ассигнацию. Тысяча цифрами и тысяча буквами, тысяча с лицевой стороны и тысяча с изнанки, тысяча сверху, и внизу, и во всех уголках.

— Да, вот они! — сказал он, найдя телеграммы. Они были похожи на лотерейные билеты.— Вот смотри, они падают с часа на час. Вчера, в десять часов утра цена спустилась в еврейской земле до 16512, что на деньги Пилата и Каиафы выходит немножко больше шестнадцати крон. Ты смогла бы прочесть это сама, но ничего нет удивительного в том, что ты не знаешь заграничных языков. Я мог бы выучить тебя им, Корнелия, если бы ты захотела.

— Нет, на что они мне? — спросила Корнелия.

Как глупо было с его стороны быть до того влюбленным, как только не стыдно! Когда она дотрагивалась до него рукой, сладкое чувство пронизывало Августа насквозь, и нависшие усы дрожали. Если б он увидел самого себя, он бы взял себя в руки, но здесь не было зеркала. Становилось все хуже и хуже: он начинал выдумывать, хвастаться, выворачиваться наизнанку. Потом он улучил минутку и схватил ее за руку. Побуждение у него было самое хорошее: он хотел вложить в нее крупную ассигнацию и потом закрыть ее. Это была такая жалкая и узенькая рука, верно, от дурного питания пальцы возле ногтей были в трещинках.

— Что это? — спросила она, неприятно пораженная, и отдернула руку.

— Да, что это? — сказал и он, и ему не оставалось ничего другого, как фыркнуть.

И опять ему следовало бы взглянуть на себя: усы его дрожали, и в углах рта показалась слюна.

— Я обжег тебе руку? — произнес он.

Но она ничего не ответила.

— Было бы очень обидно, если б я обжег тебя!

— Не понимаю, что вам от меня надо, — сказала она.

— И я тоже, — кратко ответил он и взял себя в руки.

Он собрал деньги и лотерейные билеты и положил бумажник в карман.

Куртка у него была на блестящей шелковой подкладке, шелк шелестел, внутренний карман был обшит швом елочкой.

Но обратила ли она внимание на наряд, или подумала, что подкладка бумажная?

— Да вы никак весь сделаны из денег? — воскликнул Тобиас.

— Как это? — спросил Август. — Нет, я не сделан из денег, этого нельзя сказать. Но если ты думаешь, что эти крохи — все мое имущество, то ты ошибаешься. Это то я могу сказать.

Но все его слова были ничто, пустота для Корнелии. Он мог бы произнести слово «миллион», а она бы подумала, что он говорит о песке морском из священного писания.

Корнелия ушла в спальню.

Ее брат, маленький умный Маттис, сидел в углу и возился со старой гармоникой. Август в юные годы был настоящим артистом по части гармоники, он мастерски играл песни и сам пел при этом. Но в последний раз он играл так давно, может быть, сорок лет тому назад, голос у него пропал, и пальцы перестали сгибаться.

— Покажи-ка мне! — сказал он.

Старый музыкант и знаток потрогал слегка клавиши, прислушался к звукам и задумался. Нет, теперь его пальцы не могут носиться взад и вперед, вверх и вниз по клавишам, как в юные годы, но он все-таки попробует сыграть песню с медленным темпом: «Девушку из Барселоны».

И это ему удалось, черт возьми! Вся изба наполнилась небесной музыкой, случилось чудо.

Корнелия быстро выскочила из своей каморки и остановилась, как перед чем-то крайне неожиданным.

— Вы даже и играть умеете! — сказала она.

— На таком инструменте, как этот, — нет, — снисходительно ответил Август. — Как тебя зовут? — спросил он мальчика. — Маттис. Отлично, теперь покажи, что умеешь ты.

Маттис смутился и ничего не мог сыграть.

— Да этого и нельзя было ожидать,— сказал Август.— Это же корыто, а не инструмент! Знаешь, что я тебе скажу, Маттис: если завтра, в двенадцать часов, ты зайдешь в сегельфосскую лавку и скажешь, кто тебя прислал, то там тебе дадут хорошую и новую гармонику!

Маттис вытаращил глаза.

— Что ж ты не благодаришь? — сказала Корнелия.

Маттис, уничтоженный и счастливый сверх меры, протянул свою крошечную руку.

— Гм! Какой великолепный подарок ты получил, Маттис! — сказал Тобиас и вышел из избы.

Немного погода вышла и жена.

— Поиграй еще немного! — попросила Корнелия.

Август опять снисходительно:

— На таком инструменте? Это пригодно для мальчиков, чтобы упражняться; что же касается меня, то я за последнее время играю только на рояле и на органе.

— Все-то вы умеете! — сказала она.

Он понял из ее слов, что теперь она считалась с ним больше, чем прежде, что он поднялся в ее глазах. Десять тысяч овец и миллион крон были ценности вне ее понимания, но ловко сыгранная песня тронула ее сердце.

— А ты, Маттис, ты, верно, всю ночь спать не будешь,— сказала она,— в ожидании такого подарка.

Август. Если б ты захотела, ты бы получила подарок куда лучше этого, Корнелия.

— Я? А за что же мне его получать?

— Пойди сюда, сядь ко мне на колени, и я скажу тебе — за что.

— Нет,— упрямо сказала она.

— Так ты не хочешь?

— Нет.

Тогда он высказался прямо. Он мог себе это позволить, он не был первый попавшийся.

— Ну, а если я предложу тебе все, что я имею, чтобы ты была моею, Корнелия,— что ты на это скажешь?

Она побледнела.

— Что вы этим хотите сказать? Вы совсем с ума сошли?

— Нет, я не сошел с ума,— отвечал он.— Я говорю то, что думаю.

— Чтобы я была вашей женой?! — воскликнула она.

— Разве это так невысказано?

— Совершенно невысказано,— сказала она.— Этому не бывать.

Молчание.

Август высказался до конца:

— Для тебя все стало бы совсем другим, если б я был твоим спутником в жизни, а не какой-нибудь крестьянский сын из соседних деревень. Я могу купить тебе десять дворов и одеть тебя в бархат и драгоценности,— никто не узнал бы тебя!

Корнелия. Да, но мне вовсе не хочется большего, чем он имеет.

— Тебе бы не пришлось работать, ты бы лежала в пуховой постели и день и ночь и вставала бы только поесть. Мне так жалко тебя, Корнелия, ты столько работаешь. И кроме того, тебе приходится заботиться о лошади, которая кусается.

— Лошадь вовсе не опасна, она только по временам с ума сходит по жеребцу.

— Смотри, остерегайся ее! — уговаривал Август и выказывал всякую заботливость.— А если ты услышишь о какой-нибудь другой лошади, то я куплю ее тебе. Обязательно куплю.

Но она насторожилась и отказалась. Кобыла была достаточно хороша.

— Да-да, подумай о том, что я сказал, Корнелия! — попросил он и встал.

Не каждый же день он, Август, будет предлагать себя кому-нибудь! В сущности, он не хотел уходить, но так как он встал, то ничего другого не оставалось. В дверях он обернулся и с убитым видом поглядел, но без всякого результата.

Когда он вышел, Тобиас и его жена пристально смотрели на горы. Отсюда вполне ясно видны были овцы, они паслись и почти не двигались, тонули в зеленой траве и ели. Вальборг сидела высоко на скале и следила за ними сверху.

Август не был расположен разговаривать, но он взглянул на небо и высказал предположение, что пойдет дождь.

— Через несколько дней и здесь, на лугу, будет корм для коров,— сказал он.

— Сейчас как раз собачьи дни, день св. Олафа прошел уже, в это время в наших краях должен идти дождь. Обратите внимание на то, что я говорю. Мир вам! — попрощался он и пошел.

Тобиас побежал за ним:

— Что же вы думаете насчет того, что мы говорили вчера?

— О чем это? — спросил Август, не останавливаясь.

— О том, что вы можете помочь мне. Сто крон для такого человека, как вы, ничего не значат.

В этом отношении Тобиас был прав, и, все не останавливаясь, Август выхватил бумажник, протянул на ходу красную бумажку и пошел дальше. Все это — не сказав ни слова.

По дороге он повстречал Иёрна Матильдесена с семью овцами Беньямина. Он вел одну из них на веревке, а остальные бежали за ней. Чтобы заставить ее идти, к веревке перед ней был привязан пучок сена, и овца шла целую милю за пучком сена, так и не получая его. Потому что это была овца, кроткая, ласковая, глупая овца.

— Завтра купим еще овец, — сказал Август, — но теперь пусть люди сами проводят их в горы. А ты только будешь следить и считать, сколько ты их примешь.

Иёрн кивнул головой и пошел дальше. Он не мог остановиться, потому что тогда веревка повисла бы, овца достала бы пучок сена и съела бы его.

— Что они сказали там, у Беньямина? — крикнул Август.

— Они смеялись над вами, — крикнул в ответ Иёрн.

— Вот как, они смеялись! Верно, они радовались, что получили лишних шестьдесят-семьдесят крон за своих овец!

Это все Корнелия устроила, она послала нарочного за своим принцем, хе-хе, за своим генералом на велосипеде. Но подожди ты, любезный Беньямин, не будь слишком уверен в своей девчонке. Август еще не совсем раскрыл свои карты. Он человек, которому достаточно стать посреди дороги, поднять палец вверх — и все остановятся. В крайнем случае Гендрик из Южной деревни всего лишь несколько недель тому назад получил согласие девушки, он каждую минуту может вынырнуть со своим ружьем и со своей законной жадой убийства...

Август зашел в сегельфосскую лавку, выбрал самую лучшую и самую дорогую гармонику для мальчика Маттиса, купил две сигары и пошел на пристань. Ему необходимо было повидаться с цыганом. Ему пришла в голову идея.

Они не были друзьями; никто не был другом цыгана, несмотря на его ловкость. Александер поглядел своими острыми глазами и спросил:

— Куда тебя леший носит?

Август. Тебе что?



— Я спрашиваю потому, что сегодня приходило много народа и все справлялись о тебе, а ты удрал, как какой-нибудь жулик.

— Вероятно, они хотели продать мне овец,— сказал Август.— Да, что, бишь, я хотел сказать, Александер,— старался он подъехать к цыгану.— Чем ты занят теперь днем?

— А тебе какое дело? — неохотно отвечал цыган.

— Потому что если ты ничего не делаешь, то ты можешь заработать у меня денег.

— Ха-ха-ха! У тебя?

— Попридержи-ка язык, пока я не сказал всего! — приказал Август.— Ты всюду хвалишься, что знаешь толк в лошадях. А разбираешься ли ты хотя бы немного в овцах?

Александер. В овцах? Я знаю толк во всех животных.

— Ты? «Во всех животных»! — передразнил его Август.— Во вшах, вероятно. Но дело в том, что я скупаю овец, и я могу поручить тебе покупать мне овец.

— У тебя, небось, и денег-то нет,— сказал Александер.

— Я бы и сам мог покупать,— продолжал Август,— но я не знаю, понравится ли консулу, что столько людей ходит к нам на двор. Я бы мог также открыть контору и нанять конторщика здесь, в городе, но это не годится, пока я служу у консула и ем его хлеб. Вот, не хочешь ли сигару?

Цыган взял сигару и сказал:

— Но я не стану курить ее, после того как она побывала в руках у такой старой дряни, как ты. Меня тошнит от одного твоего вида.

Они стали браниться и ссориться, но под конец пришли к тому заключению, что цыган будет ходить по деревням и скупать овец все те дни, когда он свободен от ловли и копчения лососей. Александер получил приказ каждый раз составлять надлежащий документ на покупку, чтобы продающий в день сделки сам отводил животных на гору, и чтобы ко времени спуска животных с гор был заготовлен на зиму корм, и так далее.

Цыган должен поторапливаться: дело спешное,— лето уже подходит к концу, а Август хочет использовать гору возможно скорее, сейчас же; пусть Александер приступает к делу завтра же.

— Понял ты это? — спросил он.

Цыган задал удивительно дельный и умный вопрос:

— А какие это должны быть овцы, мясные или на шерсть?

— То есть как?

— На что тебе нужны овцы — на убой или для шерсти? Август помолчал немного, прежде чем сказал:

— И для того и для другого.

Но ему было досадно, что он не знал разницы между различными породами овец.

Они погрызлись еще некоторое время из-за этого и из-за многого другого. Александру трудно было поверить, что у Августа были деньги, и он потребовал, чтобы тот показал их. Ибо откуда же у него могло быть несколько сот крон, когда никто об этом ничего не знал? Что касается вознаграждения Александру, то оно было установлено в процентах, получалась довольно круглая сумма, так как каждая взрослая овца оценивалась в восемнадцать крон, а каждый ягненок в десять крон.

— Смотри, вот я доверяю тебе пятьсот крон. Можешь начать завтра же!

— Да у тебя страсть сколько денег! — воскликнул Александр.— Ты нашел бумажник?

— Да, я нашел его, когда раз убирал свой мешок.

— Ночью, когда ты спишь, он при тебе?

Август. Бумажник? Нет, я оставляю его в кармане и куртку вешаю на гвоздь. А сам ложусь в постель.

Следующий день ушел у него на одинокую прогулку. Август надел старое платье и взял с собой только немного еды и револьвер с сотнею патронов. Он пошел вокруг большого горного озера.

Опять идея? Да, идея.

Исследование горного озера давно тяготело над ним как невыполненная задача, он не мог откладывать его дальше. Хотя бы ценою всего состояния, чести и жизни, он должен узнать, водится ли в озере форель. Затем — развел ли ее там Теодор, отец консула? Или же она поднялась по ручью с моря? Существовал ли вообще такой ручей?

Старый На-все-руки легок на подъем, он пробирается через расселины и скалы, иногда идет вброд, иногда ему приходится обходить, но он упорно продвигается вперед, шаг за шагом приближается к цели. В нем есть основательность. В полдень Август считает, что прошел приблизительно полпути; охотничий домик давно исчез из виду, но ему не попало ни одного ручейка, который вытекал бы из озера. Он съел обед, вынул револьвер и

начал стрелять. Это были упражнения в стрельбе на расстояние, на быстроту; он стрелял сквозь карман, стрелял левой рукой, стрелял назад, с закрытыми глазами, проделал всю серию выстрелов. Он стрелял и смеялся. Что за удовольствие, какая радость! Выстрелы подобны музыке, ха-ха-ха!..

Потом он тщательно вычистил свой любимый револьвер и опять пустился в путь.

День начал склоняться к вечеру, рыба стала прыгать над водой за комарами, и не маленькая рыбка, а форель, иногда, изгибаясь, она кувыркалась в воздухе.

Множество ручьев стекало с ледников в озеро, но ни один ручей не бежал из озера по направлению к морю.

В шесть часов вечера он добрался до той большой реки, которая ниже по течению становилась Сегельфосским водопадом. В это время года река была не очень полноводна, но все же он не мог перебраться на ту сторону. Конечно, нет. Он сделал вид, что знал об этом заранее, но в сущности это было для него ударом. Теперь он очутился в затруднительном положении. Ему оставалось только идти обратно той же дорогой, вокруг озера, или же спуститься по крутому скалистому обрыву вдоль водопада до большого моста на проселочной дороге. Что же ему выбрать?

Он сел и начал насвистывать, так, ни с того ни с сего, чтобы развеселиться, потом стал шепотом разговаривать с самим собой:

— Разве я собирался переходить реку? Совсем нет, я же говорил, что даже пароход этого не сделает,— не так ли? Мне прекрасно это известно, я предупреждал заранее.

Он решил попробовать спуск по обрыву к водопаду и тронулся в путь. Это должно удаться. Он много раз видал скалу снизу, она казалась ужасной; но ведь ему приходилось плыть на опрокинутой лодке и висеть на реях, это было невеселье сколько лет тому назад, он до сих пор был худ и легок.

Август стал спускаться с уступа на уступ. Он приближался к водопаду, гул стал возрастать. Август не мог больше шептать и обманывать самого себя всякими выдумками, ему необходимо сосредоточиться и быть осторожным.

У водопада он останавливается. Дальше идти невозможно: под ним пропасть, а рядом поставить ногу некуда. В юности ему приходилось висеть, ухватившись за рею, это верно, но он никогда не висел, держась за шаткий

камень. Это невозможно. Ух! Глубоко внизу он видит старую заброшенную мельницу Хольменгро, еще подальше небольшую заводь, где он недавно крестился. Ах, это уже порядком позабытое вторичное крещение в Сегельфосском водопаде! Вон там оно свершалось, а Корнелия стояла и глядела. Сырой туман поднимается к нему от водопада, и он опять начинает ползти вверх. Иначе ничего не поделаешь. Поднявшись до половины, он садится и отдыхает. Гула водопада больше не слышно.

— Я же говорил, что ничего не выйдет,— шепчет он.

Но нет худа без добра. Он тут же, на месте, изменил свой маршрут и вскочил на ноги. Пройдя довольно длинный кусок к востоку, он сможет наискось пересечь Овечью гору и оттуда спуститься прямо в Южную деревню. Это во всяком случае будет ближе, чем обходить еще раз все озеро, а он ничего не имеет против, чтобы опять попасть в Южную деревню.

Часа через два он повстречал своих собственных овец и пастухов. Овцы, круглые и сытые, улеглись уже на ночь. Иёрн Матильдесен и его жена сидели под навесом скалы, ели хлеб и запивали черным кофе. Им было хорошо под этой кровлей; мешок с сеном и овчина выглядывали из глубины за ними, это был их дом в горах. Лучше и быть не могло. Вальборг была красивая женщина, а Иёрн был совсем другим человеком, когда ему не приходилось бороться за существование.

Они приняли сегодня тридцать одну овцу,— рассказали они; вместе с двадцатью семью прежними это составляло всего пятьдесят восемь животных. Впрочем, они считали по двадцати штук за раз, чтобы не слишком утруждать свои слабые головы: почти что три раза по двадцати называлось это у них, когда овец было пятьдесят восемь.

— Вот дрянные-то, улеглись! — сказали они об овцах.

Теперь Август не увидит, какие они славные. Вальборг не решалась тревожить их, раз уж они улеглись, но среди них множество чудесных ягнят и два больших барана с рогами,— объяснила она.

— Мясные это овцы, или для шерсти? — спросил Август.

Но они понятия об этом не имели, и Августу пришлось оставить этот вопрос. Какое ему дело до овец! Он едва взглянул на спящие клубки, его интересовало количество, число. Для первого дня Александер отлично справился со своей задачей; он сможет купить по сто штук в день, когда втянется в это дело.

Августу предложили кофе и ломтик хлеба с салом, и они из вежливости обменялись обычными замечаниями. Он сказал:

— Не тратьтесь на меня!

А они ответили:

— Бог с вами, лишь бы вам понравилось!

Они делились тем, что у них было, и старый голодный человек сразу воспрянул духом от этой еды и питья. Они оба вместе получали пять крон в день; для них это была большая сумма: они никогда прежде не зарабатывали столько. Август дал им теперь еще десять крон, чтобы «разделили» между собой, и стал спускаться с Овечьей горы.

Южная деревня была погружена в глубокий сон. Он спускался с тем расчетом, что очутится как раз возле дома Тобиаса. Но дом словно вымер, и даже собаки не было, которая бы предупредила. Ничего странного не было в том, что он зашел спросить, как мальчику Маттису понравилась гармоника.

Он отошел в сторону посмотреть лошадь. Она все шипала траву, прижав уши к голове она покосилась на него. Бешеная кобыла, с норовом, черт бы ее побрал! Август не потерпит ее ни одного дня на этом дворе. Он пошел обратно к дому, чтобы постучать и отдать соответствующее приказание. Он хорошо знал, куда выходило окошко спальни Корнелии; на нем не было занавески, все было совершенно просто.

И все-таки ему не так-то легко было постучать: усы его задрожали.

— Корнелия! — тихонько позвал он.

Никто не ответил.

— Корнелия, достань себе другую лошадь!

Тихо.

Черт знает что такое! У него ведь дело, она обязана выслушать его, необходимо возможно скорее переменить лошадь.

— Корнелия! — громко и властно позвал он.

Ничего. Он постучал пальцем по стеклу. Опять никакого ответа. Он загородился рукой и заглянул в окошко: спящие дети, новая гармоника лежала в постели вместе с Маттисом, но Корнелии не было.

Значит, она бежит где-нибудь. Бог знает, может, она в городе, может быть, в Северной деревне, но во всяком случае бежит...

Он услышал, что кто-то завозился в доме. Немного погодя вышел Тобиас, босой, в одной рубашке и штанах. Он не сердится, он просто вышел.

— А Корнелии разве нет? — спросил он.

Август сперва немного смутился:

— Похоже на то, что нет.

— Так, значит, она куда-нибудь ушла.

— Я хотел только предупредить насчет лошади, — сказал Август.

— Хорошо. Я скажу.

— Я не хочу, чтобы эта лошадь была здесь, я застрелю ее.

Тобиас ничего не доводит до крайности.

— Мы сведем ее к жеребцу, — предлагает он.

Такой выход не приходил Августу в голову, и он спрашивает, поможет ли это.

— Да, сейчас же! — настаивает Тобиас.

— Тогда бы это следовало сделать раньше.

— Это верно. Что правда, то правда! Только в сенокос времени совсем не было.

Август потерял терпение:

— Тогда сходи с ней завтра.

— Нет, видите ли, вам придется подождать, потому что сейчас как раз не время. Корнелия справляется с ней как ни в чем не бывало.

— Вредное животное! — проворчал Август. — Я подошел к ней, так она меня чуть с ног не сшибла.

— Это потому, что вы чужой.

— Да, да. Чужой или нет, но ты должен что-нибудь придумать.

Тобиас опять не стал доводить дела до крайности.

— Я думаю, что через три недели опять ей понадобится жеребец, и тогда Корнелия сходит с ней.

— Как, Корнелия поведет ее? — возмутился Август. — Это Корнелия должна идти с бешеной кобылой по всем деревням?

— Она делает это гораздо лучше, чем кто-либо из нас.

— Где она, Корнелия? — строго спросил Август.

— Если б я это знал, или мог разузнать для вас!

— Потому что я не позволю ей идти с кобылой.

— Я не перечу, — поддакнул Тобиас.

— И какого лешего носится эта Корнелия по ночам!

— Вы совершенно правы!

Август покинул двор, глубоко огорченный, и забыв спросить Маттиса о гармонике. И стоило после этого

заходить в Южную деревню? Он мог бы спуститься вдоль водопада и давным-давно быть дома; эта пропасть в пятьсот метров не представляла собой ничего особенного. Разве Августу не приходилось столько раз прежде стоять на краю самых ужасных пропастей земного шара, и он каждый раз благополучно спускался!

## ГЛАВА XXVI

---

Как Август предполагал, так и случилось. Александер скупал до ста голов овец в день; поэтому вскоре на горе собралось большое стадо. В собачьи дни пошел дождь, и трава стала расти; овцы чувствовали себя отлично и жирели, шерсть росла, никаких несчастий не случилось.

Затем в купле произошел перерыв: Александеру пришлось заняться ловлей лососей, так как он по-прежнему был на службе у консула. Но он неохотно оставил свою новую профессию: благодаря своему старанию и ловкости он зарабатывал изрядную сумму в день, и Август щедро снабжал его деньгами каждый раз, как он отправлялся из дому. Два дня Александер был занят неводом или в коптильне, потом он приготовил свои ящики с рыбой к отправке и теперь снова мог заняться овцами.

Август был доволен. Его стадо увеличивалось, и цыган Александер каждый вечер честно отчитывался перед ним. Чего же еще можно было желать? Звезда Августа снова поднималась, и на этот раз он выступал как богач и человек крупного масштаба. Деньги так и текли, тысяча за тысячей, а так как для него было радостью видеть, как развивается дело, то он порешил истратить на овец все до последнего шиллинга. Словно ему не терпелось поскорей всадить все деньги в предприятие, произвести ими переворот. Если б он случайно не накупил овец, он так же случайно мог купить что-нибудь другое. Если он выиграет на этом деле,— будет прекрасно, если потеряет, то все же не станет горевать. Ведь это же и есть сама жизнь: купля, продажа, дальше следуют мировая торговля, биржа и банки,— в этом выражается наше время.

Теперь он попал в газету: добряк Давидсен написал о нем в «Сегельфосских известиях». Давидсен был приставлен к банку, и он честно работал в нем, но все же прежде всего он был редактором своей маленькой благонамеренной газетки. Он с похвалой отозвался об Августе,— об этом

добросердечном и сведущем человеке, у которого было достаточно и средств и сердца, чтобы делать добро людям и животным. Все соседние округа приносят Августу глубокую благодарность за то, что он сумел предоставить мелкому скоту обширные пастбища.

Август сделался важным лицом, народ стал здороваться с ним, его стали уважать. По мере того как он стал привыкать к своему богатству, стало уменьшаться его пристрастие к кричащим краскам; он сменил красные рубашки на белые и забросил пестрый пояс с никелированной пряжкой. Впрочем, Август оставался все тем же и никогда не мог измениться.

Его старый приятель по карточной игре, вторично крещеный торговец, который присвоил себе его русскую библию, до неприличия низко кланялся ему и хотел непременно занять у него денег. Он получит их обратно через три месяца, он заплатит ему с процентами.

— У меня нет денег, чтобы давать взаймы,— сказал Август,— я трачу их! — И с этими словами он ушел.

Торговец пошел за ним. Это противное крещение ничуть не помогло ему: покупатели перестали приходить в его лавчонку и покупали опять у некрещеных купцов.

— Сам видишь, что такое крещение есть наихудшая хула против духа святого.

— Да, да,— согласился торговец.

Но теперь очень уж плохо; жена, дети, надо платить за коммунальные услуги, платить по счету за веревки, гвозди и зеленое мыло, он не сможет свести концы с концами. У Августа ничего не было для него, для этой жалкой личности; ведь он еще в первый вечер, проведенный в его каморке, пробовал хитростью завладеть его новешенькой колодой карт и утащить ее домой. Но в конце концов он, конечно, помог ему, спас его, само собой разумеется, но он это сделал так же, как важный капитан бросает матросу десять фунтов стерлингов от своего богатства.

Зато Больдеману, который обратился к нему, он помог с большой охотой. Рабочий Больдеман пришел к своему старосте и пожаловался, что нотариус Петерсен, Голова-трубой, хочет обмануть его.

— Как же так?

— Да так, Больдеман и его товарищи отстроили и зацементировали подвал под новую постройку нотариуса и уже принялись за фундамент, и вдруг приходит Голова-трубой и требует, чтобы все перестраивали.



— Это уж его дело,— сказал Август.

— Да, но он хочет, чтобы мы сломали все за те же деньги,— сказал Больдеман.

— Этого не будет! — заявил Август.

Он отправился к Голове-трубой и потребовал разъяснения. Из оправдания нотариуса он смог понять только, что каменщики работали без рисунка, придерживаясь лишь устных указаний, и от этого все вышло не так.

— А разве у вас не было письменного договора? — спросил Август.

— Нет.

— Но разве вы сами не ходили каждый день на стройку и не следили за тем, что делали каменщики?

— Ходил, но что из того,— отвечал Голова-трубой.— Моя жена заставила их устроить подвал для хранения овощей, и тут же выстроить прачечную и врыть в землю котел для кипячения белья, и все такое...

— Все очень нужные вещи в человеческом жилье.

— Да, но они не нужны мне! — воскликнул нотариус.— Это вовсе не человеческое жилье, а учреждение.

Август только рот разинул. Лицо у нотариуса сделалось таким странным, глаза за очками казались совсем дикими.

— Я не понимаю вас,— сказал Август.

Нотариус настаивал:

— Это совершенно ясно: дом мне нужен для банка. Да, для банка. И мне нужен только совсем маленький нескораемый шкафчик для денег. На что мне в таком случае котел?

Август окончательно запутался:

— Если так...

— Да, и я не хочу никаких подвалов для съестных припасов, и никаких товаров,— они только запачкают мои ассигнации. Пусть нас судят, я не сдамся.

Август почувствовал, что не в состоянии разговаривать долее с этим сумасшедшим, он встал, намереваясь уйти. Нотариус остановил его:

— Я читал о вас в газете. Вы человек с огромными средствами, и у вас блестящая голова. Выслушайте меня, я построю на своем пустыре здание из серого камня и буду принимать на хранение деньги. Это будет самый солидный банк в северной Норвегии, и через несколько месяцев Сегельфосская сберегательная касса не сможет конкурировать со мною. Даже башня будет из серого камня. Подумайте об этом при случае и вкладывайте ко мне хотя бы по десяти тысяч изредка.

— Разве это вас устроит? — отвечал наполовину польщенный Август.

— Сделайте так, поддержите меня для начала! Если хотите, мы заключим письменный договор. Присядьте на минутку! — сказал нотариус и стал искать на своей конторке подходящий листок бумаги.

Но Август не пожелал связываться в тот день: он был занят своей фермой овцеводства.

— Я подумаю об этом, — сказал он. — Вот если вы хотите заключить контракт с вашими каменщиками, то это — другое дело.

— Каменщики! Подумаешь! — фыркнул нотариус. — Пусть они делают, что я хочу.

Безумный человек, — в этом не приходилось сомневаться.

Августу пришлось посоветовать Больдеману и его товарищам прекратить пока работу у нотариуса:

— А чтобы просуществовать это время, возьмите, ребята, вот эти пустяки!

— Да что же это такое? Это уж слишком, староста!

— Дорогие мои товарищи, с вами я делил и радость и горе! — сказал растроганный Август. — И вам не придется нуждаться, пока я в Сегельфоссе.

Он забежал в банк за деньгами. Дела его шли отлично, великолепно; пусть все знают, как невероятно быстро развивается его дело. В банке был один Давидсен, и этот добряк Давидсен позволил себе заметить что-то — сделать маленький намек, пожалуй, даже не словами, а скорее интонацией. Консул этого не сделал бы.

Началось с того, что Август сказал просто шутки ради и из снисхождения:

— Вы находите, вероятно, что я слишком много беру денег?

И на это Давидсен не возразил громким хохотом, и не стал уверять, что там, откуда эти деньги пришли, их еще много осталось, и что Вандербильт не успеет, прежде чем умрет, истратить все свои миллионы.

Нет, Давидсен имел скорее растерянный и несколько грустный вид, он сказал:

— Но ведь это же ваши деньги!

Консул никогда бы так не сказал.

Августа слегка покорило, и он спросил:

— Консула больше нет здесь?

— Нет, к сожалению, — отвечал Давидсен. — Теперь я один. Но я не пробуду здесь долго: слишком велика

ответственность. В первый же раз, как сделаю ошибку, я уйду.

Август. Но вы ведь не сделали ошибки, выдав мне эти немногие тысячи?

— Нет, конечно, нет! — отвечал Давидсен. Но на всякий случай он еще раз посмотрел в банковскую книгу и сказал: — Нет, все правильно.

Консул никогда бы не позволил себе проверять вторично по банковской книге.

— Мне бы нужно было поговорить с консулом, — сказал Август и ушел.

Августа беспокоило дело с каменщиками. Нотариус Петерсен хочет заставить их работать на себя даром.

— Как посоветует мне консул? Что предпринять? Простите, что я вас беспокою!

Консул отвечал не сразу:

— В этих делах я плохо разбираюсь, или вернее, я ничего в них не понимаю. Но я думаю, что окружной судья мог бы вам помочь. Мне кажется, что в голове нотариуса Петерсена начинает мутиться. Он писал мне несколько раз и все просит меня продать ему все долговые обязательства, по которым мне должны, но я ему не ответил. Тогда он несколько дней тому назад сам явился ко мне в контору и принес с собой стул, на котором и сидел.

Август не позволил себе засмеяться в присутствии консула, придерживаясь делового тона, и сказал:

— Он придумал выстроить банк на своем пустыре вместо виллы, и теперь заставляет рабочих переделывать весь подвал, а платить за это не хочет.

Консул взглянул на часы:

— Мы еще застанем судью. Вы поедете со мной?

Хорошо, что Август не одевался больше так пестро, — его, пожалуй, можно было принять за консула, сидящего в автомобиле рядом с другим консулом: на голове котелок, белый галстук, пиджак на шелковой подкладке и белый носовой платок, выглядывающий из кармана. Ему не хватало только желтых перчаток.

Они вместе с окружным судьей обсудили дело. Добиваться чего-либо путем суда слишком долго: разбор дела, отвод, решение, апелляция, новое решение и так далее; рабочим невыносимо начинать эту канитель, надо сделать что-нибудь частным образом. Судья сказал:

— Но вы, консул, и я, мы ничего не добьемся от нотариуса: выставив его из банка, мы сделались его

врагами. Но я думаю, что аптекарь Хольм сможет нам помочь: они старые знакомые, и я много раз присутствовал при том, как они грызлись и жестоко язвили друг друга, но всегда довольно дружески. Что, если бы вы, господа, поговорили с аптекарем?

Они поехали к аптекарю и были встречены серьезным сообщением:

— Фру Петерсен обратилась вчера к доктору Лунду, пригласила его к своему мужу, который свихнулся. Доктор пришел потом ко мне,— сказал аптекарь,— мы вместе отправились к нотариусу и долго говорили с ним. В том что он свихнулся, не могло быть никакого сомнения. Он водил нас на постройку, и объяснял, что хочет переделать ее в банк. Это здание обойдется ему в миллион, а подвал он выложит бронированными плитами. Фру ходила вместе с нами, плакала все время и молилась богу. Мы решили с ней, что нотариусу необходимо съездить на Юг, я уговорю его и поеду с ним. Если эта поездка по морю не поможет, то я устрою его куда-нибудь в клинику.

Консул спросил:

— А вам удастся уговорить его поехать?

— Да,— сказал аптекарь,— мы уже пришли к соглашению, мы поедem за стальными плитами.

— Когда вы выезжаете?

— Сегодня вечером. С пароходом, идущим к югу.

— Жаль каменщиков, которые влипли в такую историю! Они остаются без работы.

Август. Я предупредил их, чтобы они подождали, а там посмотрим.

— Но разве у них есть средства, чтобы ждать?

— Да,— сказал Август.

Они поехали обратно. Черт возьми, как сладко было пересекать город по всем направлениям, сидя с консулом в автомобиле, и самому приподнимать свой котелок, когда консул отвечал на поклоны прохожих! Август сам выразился бы, вероятно, так: совсем другое положение против прежнего.

Возле консульства они вышли из автомобиля.

— Одно к одному,— сказал консул.— Помните, На-все-руки, я рассказывал вам об одном англичанине, который должен был приехать сюда охотиться? Так, может быть, вы помните, что я просил вас также придумать какое-нибудь развлечение для него.

— Я уже думал об этом,— сказал Август.— Когда приезжает лорд?

— Сейчас он в Финмаркене удит лососей, но рыбная ловля скоро будет запрещена. Тогда он и придет.

— В горном озере водятся форели,— сказал Август.

— Форели? Вот как!

— Да, поэтому все-таки можно будет удить рыбу, на муху.

Немного погодя консулу стало ясно, что сообщение Августа имеет огромную важность. Он сказал:

— В горном озере водится форель?

— Отличная форель. Я давно ее заметил.

«В горном озере — форель, и никто этого не знал,— размышлял консул.— Как же она туда попала? Вверх по Сегельфосскому водопаду не могут прыгать даже лососи».

Август объяснил, как все это вышло: это отец консула давным-давно пустил форель в озеро, это он велел снести туда в двух ведрах мальков, зародил жизнь в мертвой воде — и никому не сказал ни слова...

— Откуда вы это знаете?

— Я говорил с человеком, который помогал при этом вашему отцу.

Консул старался не подавать вида, до чего поразило его это сообщение, но он чуть было не всплеснул руками. Они стали разбирать вопрос дальше:

— А разве ловля форелей не будет запрещена?

Но Август умел находить выходы:

— Во-первых, ловля форелей на удочку длится обычно на месяц дольше, чем ловля лососей в море и реках...

— Ну, а этого вполне достаточно,— прервал его консул.— Он не пробудет здесь месяца, самое большее — две недели, потому, что ему надо торопиться домой. А второе — что же?

— А во-вторых, в горном озере ведь не морская форель. Она не поднялась из моря и потому не может быть запрещена.

— Нет, конечно, нет. Но какой дальновидный человек был мой отец!

— Да, и сегельфосский старик тоже так думает. Изучающий и размышляющий человек,— сказал Август.

— Но как же этого никто не знал? — удивлялся консул.

Август. Его помощник рассказал сам, что обещал отцу вашему молчать. Это должно было оставаться в тайне, чтобы люди не пришли и не выудили форель, пока она еще не выросла.

— Ну да. Конечно, это так, отлично придумано. А я был, вероятно, за границей, и отец забыл написать мне

об этом. Ведь у него столько было всяких дел: и старостой-то он был, и еще кем-то.

— Нам нужно будет поднять лодочку на озеро,— сказал Август.

— Да, позаботьтесь об этом, На-все-руки. А если у нас нет подходящей, то выпишите от моего имени.

Удивительно! Постепенно — Август чувствовал это — его начинали признавать. Одно к одному: чековая книжка была солидным основанием, новое господское платье делало свое дело, то, что консул начал говорить ему «вы», имело свою ценность,— Август по-прежнему оказывал ему почтение, придерживался дисциплины, но он ничего больше не боялся и не крестился на каждом шагу.

Он осмелился заметить насчет лодки.

— На яхте есть подходящая лодка.

Консул опешил:

— Тогда яхта не будет в порядке,— на тот случай, если она понадобится?

— Яхта-а! — протянул Август.— Если б у меня была яхта, я расстался бы с ней. Не сердитесь, что я говорю вам это.

— Вы бы расстались с ней?

— Такое судно — если понадобится на нем плыть, нужно, чтобы был ветер, а если не будет ветра, то вы опоздаете туда, куда вам надо. Теперь все суда такой величины приводятся в движение мотором, все равно как ваша собственная моторная лодка.

— Да,— задумчиво сказал консул.

Август продолжал:

— Совершенно не стоит иметь яхту, чтобы ждать, когда пойдет сельдь. На море теперь столько маленьких пароходов и моторных лодок, и в любое время их можно получить, в то время как яхта лежит без дела и дожидается ветра.

Консул. Да, то что вы говорите, На-все-руки, совершенно справедливо, и я подумую об этом. Сколько стоит моторная шхуна?

— Смотря по величине. Но, может быть, можно поставить мотор на вашу яхту. Она очень старая?

— Этого я не знаю, но я помню ее с малых лет.

Да, консул Гордон Тидеман ничего не понимал в яхтах: это ведь не банк, не биржа и не торговые науки. Может быть, он и не знал хорошенько, зачем эта старая посудина лежит у пристани, но он мог бы спросить свою мать.

Он поглядел на часы и спросил:

— Вы куда? домой?

— Да, пожалуй.

— Тогда садитесь, поедem домой вместе. Мне не терпится рассказать моим дамам, что в горном озере водится форель. А как вы вообще поживаете, На-все-руки?

— Благодарю за участие, живу отлично.

— Это меня очень радует. И как вы сказали, так мы и сделаем: мы возьмем лодку с яхты.

Дома ждал его Александер. Август должен был снабдить его капиталом для очередного похода. Ну что ж, у Августа денег были полные карманы.

— Сколько?

Александер объяснил все по порядку. Он собирается на этот раз подальше, в соседние деревни: не стоит ходить здесь вокруг города и вылизывать все дочиста. Он будет отсутствовать несколько дней и купит целую массу овец за раз, целое стадо..

— Итак, сколько же?

— Четыре тысячи,— сказал Александер.— Если у тебя есть.

— Ерунда!

Августу было скорее приятно, что его скупщик рассуждал так широко и действовал в его духе. Целое стадо овец плюс те, что уже ходили в горах,— это будет, пожалуй, первая тысяча. Предприятие развивалось блестящим образом.

Получив деньги, Александер сказал:

— Ты меня не жди в ближайшие дни.

Август только отмахнулся от него. Ему вовсе некогда было ходить и ждать, пока вернется цыган: для этого он был слишком занят. Прежде всего он до сих пор еще не запретил Корнелии провожать кобылу. Это нужно сделать немедленно: ведь так легко может случиться несчастье! Он никогда не простит себе этого.

Пошел проливной дождь. Август зашел в сегельфосскую лавку и купил себе зонтик. А так как теперь он имел возможность делать широкие жесты и вести себя, как Вандербильт, то он сказал:

— Дайте мне еще один!

С двумя зонтиками отправился он в Южную деревню, а в кармане у него была статья о нем самом.

Никто не вышел из дома Тобиаса и не встретил его и на этот раз, но он на это не обратил внимания. Он был

тем, кем был,— человеком, с которым все здоровались и о котором писали в газетах.

— Мир вам, — поздоровался он.

— Спасибо! Милости просим, садитесь.

Август сразу начал с того, что запретил Корнелии провожать кобылу. Он не берет на себя ответственности.

Ее удивление не знало границ, она с открытым ртом глядела на родителей.

— Да, это большая ответственность, — поддакнул Тобиас.

— И я вовсе не желаю, чтобы она тебя искусила и изуродовала или даже убила, Корнелия. Ну, Маттис, как тебе нравится твой новый инструмент?

— Маттис играет и днем и ночью, — сказал на это отец. — Да, уж это подарок, так подарок!

Август. Я предлагал Корнелии подарок куда лучше, но она отказалась.

Мать строго поглядела на нее и сказала:

— Тебе не стыдно?

— Оставьте меня все в покое! — воскликнула Корнелия и села чесать шерсть.

Август принялся говорить о том, о сем; он был для этого достаточно добр: он мог себе позволить быть снисходительным с упрямой девушкой.

— Теперь, после дождя, есть, небось, пища на пастбище?

— Да, — отвечала мать, — теперь у коров опять появилось молоко.

— Я хотел бы показать тебе вот это, — сказал Август и протянул Корнелии газету. — Что ты скажешь на это?

Оказалось, что они уже прочли статью: Беньямин из Северной деревни им показывал ее. Разочарованный Август сунул газету в карман и сказал:

— Ну, конечно, в этом нет ничего особенного.

— Как нет? — Тобиас даже головой покачал. — Человек, о котором пишут в газете и все такое! — И с этими словами Тобиас вышел.

Немного погодя и жена его направилась к двери.

— Зачем ты уходишь, мать? — закричала ей вслед Корнелия. — Все равно по-другому не будет. Я сказала!

— Постыдилась бы! — зашептала в ответ мать.

— А что же ты сказала? — спросил Август.

Никакого ответа.

Он настаивал:

— Ты подумала о том, что я говорил тебе в прошлый раз, Корнелия?



— О чем это?

— Ну, если ты не помнишь... Но ведь я же просил тебя стать моей.

— Вы сумасшедший,— сказала она.— Фу! И такой старый!

Это был удар в грудь.

— Но я не старше многих других,— проговорил Август.— И кроме того, со мной дело обстоит так, что я мог бы одеть тебя в бархат и жемчуг!

Но нет, это неудачное самовосхваление ничуть не подействовало на нее,— она слыхала это раньше; да оно не ободрило на этот раз и его самого.

Он сидел подавленный и жалкий, усы опять задрожали, глаза стали светлыми, как водянистое молоко.

— Я все хожу сюда и хожу сюда, потому что я не могу оставаться дома. Что мне там делать? По ночам я не сплю, а подхожу к окошку и гляжу в эту сторону, к тебе. Но мне нехорошо и дома, и я иду сюда. Не сердись, что я так зачастил к тебе!

— Уж о нас заговорили! — сказала она.

— Как — заговорили? Разве не по делу приходил я каждый раз? Смотрел лошадь, покупал овец, обучал Маттиса игре на гомонике, и все такое! И как бы там ни было, но я не такая личность, чтобы меня стыдились,— снова начал он хвастаться и испортил все дело.— Так им и скажи от меня. Но само собой разумеется, ты не понимаешь, что я гибну. Но когда ты человек и не спишь, то ты непременно погибнешь. Если спросить себя, жив ли ты, то ты еще жив, но уже не тот, кем был раньше: тебе не хочется есть, и нигде ты не находишь покоя, против прежнего совсем не то. Я сам не знаю, что со мной случилось. Но я могу снова стать таким же молодым и здоровым, как всякий другой, если ты, Корнелия, захочешь стать моей, ты снова сделаешь меня человеком.

— Нет, об этом уж лучше помолчите. Этого не будет.

— Но я бы хотел попробовать! — сказал он, убитый.— После всего, что было между нами...

— А что такое было между нами?

— Многое. С самого первого раза, как я встретил тебя в городе и ты поглядела на меня. Я почувствовал такую доброту и любовь к тебе, какую никто другой не сможет дать тебе...

Корнелия сложила чесалки и встала. Ей хотелось прекратить все это. А теперь, когда слова уже не могли выразить его состояния, он схватил ее и насильно посадил

к себе на колени. Он был стар, но руки у него были мускулистые, она с трудом вырвалась от него и стала посреди комнаты. Все-таки она была еще не очень рассержена, никто не смог бы отнестись к этому лучше.

— Теперь вам надо уйти отсюда,— сказала она.

— Ты хочешь, чтобы я ушел?

— Да, мне надо развести огонь и повесить котел.

— Ты меня прогоняешь? Слышишь, Маттис, сестра твоя прогоняет меня.

— Нет, я не то хотела сказать.

— А я-то сижу здесь, люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей...

— Да, но я-то вовсе не хочу вас,— сказала Корнелия.— Тут уж ничего не поделаешь.

Конечно, она не прогоняла его прямо, но она навязывала ему решение уйти. В этом не оставалось никакого сомнения. И, собравшись с силами, он против воли дотащился до двери и пустился в странствие. Его ноги словно поскрипывали, он шел с трудом, шел, как скелет. Он взял с собой один из зонтиков в сених, а другой оставил. «Она найдет его», подумал он.

То же самое и сегодня, каждый раз все то же самое, ему некуда было податься. Но все-таки ему удалось заметить, что родители были на его стороне. Это была очень хорошая и радостная вещь. Кто знает, было ли бедному Бенъямину так же хорошо в этом отношении? Он в этом сомневался.

Но все равно Август решил не ходить больше так часто в Южную деревню, чтобы не приобрести привычку преувеличивать. Он этого не хочет. Самое большее он сходит сюда еще раз, чтобы получить от нее толковый ответ. Это-то она обязана сделать.

По дороге ему приходит в голову мысль о лодке, которую надо поднять на горное озеро. Он влезает на борт яхты, бродит по ней, исследует ее основательно и ковыряет ее тут и там, чтобы убедиться насколько она прогнила. Вероятно, о ней заботились в прежние годы, когда Теодор Из-лавки владел ею, и теперь, несмотря на небрежное отношение к лодке за последние годы, она смогла бы еще выдержать мотор.

Август опять поднялся на палубу и отвязал лодку.

Пока он занимался этим, загудел пароход, идущий к югу, и причалил к пристани. На набережной было много народа: аптекарь и нотариус Петерсен, они отправляются в морское путешествие, доктор Лунд сопровождает их. Фру

Петерсен тоже пришла и все время плачет, муж утешает ее и говорит, что ему совершенно необходимо ехать, чтобы купить стальные плиты.

Старая Мать тоже тут и, нисколько не стесняясь, на глазах у всех кивает аптекарю. Да будет благословенна она за великое мужество, с которым принимает жизнь! Щадя ее, аптекарь почти не смеет кивать ей в ответ. Тогда она подходит к самому краю пристани, и он принужден ответить ей. Она так красиво улыбается.

## **ГЛАВА XXVII**

---

Через несколько дней к Августу пришли мальчики доктора с запиской от Александра. Но они были до того дики, эти мальчики, что пока Август стоял и читал, они исчезли, и ему не удалось их расспросить.

На записке стояло:

«С правой стороны лошади. Отложи ладонь от крестца и две с половиной ладони от позвоночника. Проткни немного повыше, это не так точно. Вглубь на два вершка. Отто Александер».

Август решил, что это и есть знаменитый прокол лошади, когда у нее вздуется брюхо. Он положил записку в карман и удивился, что получил ее таким образом, и что вообще цыган прислал ее, а не принес сам. Что бы это могло означать?

Вечером ему пришли сказать, что Старая Мать хочет поговорить с ним. По правде говоря, он собирался уйти, и «ю важному делу, но вот Старая Мать прислала за ним.

Она лежала в своей комнате, бледная и тихая, и ждала его.

— Мне нехорошо,— сказала она.

— Почему вам нехорошо? Что с вами?

— У меня рана, На-все-руки. Помогите мне и научи меня, как мне быть.

— Не знаю, сумею ли я. Какая это рана?

— Рана оттого, что я обрезалась. Я не смею позвать доктора, потому что он будет меня выспрашивать. А аптекарь уехал. Уж не уезжал бы этот аптекарь!

— Покажите мне рану,— сказал Август.— Она кровоточит?

— Сейчас нет.

Он откинул одеяло и решительно спустил рубашку, как если бы он был доктор.

— На груди? — воскликнул он.— Как это вас угораздило?

— Ножом. Это было так больно.

Август поглядел на нее:

— Так это был удар ножом?

— Да, удар. Может быть, есть кровоизлияние внутрь?

На это он ничего не ответил, а только сказал:

— Ну, ножик был не особенно велик. Я видал длинные ножи, которые прячут за голенище, а короткие ножи для ношения на боку — это пустяки. Что это у вас лежит сверху?

— Ничего, только тряпка. Я обмыла сначала рану, а потом сверху положила эту тряпку.

— Тряпка вполне годится. Я никогда не употреблял ничего другого, но я могу спросить доктора.

— Вот если б ты это сделал! Но ты, пожалуйста, не говори, как я получила эту рану. Скажи, что я поднималась по лестнице, споткнулась и упала на нож.

— Само собой разумеется,— сказал Август.— Это случилось вчера вечером?

— Да, ночью. Как раз вот у этого окна.

Август головой покачал на это.

— Большая дыра также и на рубашке, как раз спереди,— сказала Старая Мать.— А рубашка совершенно новая.

— А много крови вышло?

— Да, много. Я выстирала потом рубашку, чтобы никто не видел кровь. Никто ничего не знает.

— Мне вас очень жаль,— сказал он.

— Да, я уверена, что тебе жаль меня, На-все-руки, потому что ты всегда был так мил со мной,— отвечала она.

Август почти не отсутствовал, а когда вернулся, попросил позволения взглянуть на рану еще раз, ухватился за тряпку и разом сорвал ее.

— Простите! — сказал он.

— Это очень больно!

— Доктор сказал: сделай так, чтобы рана опять открылась. И потом мне надо влить в нее несколько капель из этого пузырька,— сказал он.— От них почти не будет щипать, а потом станет очень хорошо.

Август влил в рану порядочное количество жидкости, и в ране зашипало, зашипало самым немилосердным

образом. Все лицо Старой Матери покрылось прозрачными капельками пота, пока длилась самая ужасная боль. Но она не жаловалась, только сжимала дрожащие руки. Под конец он наложил на рану пластырь и сказал:

— Сейчас все совсем пройдет,— так велено мне передать.

— Что доктор сказал? О чем он спрашивал?

— Ничего,— я сказал, что беру лекарство для одного из моих дорожных рабочих; а он лечил их и прежде. Они ведь часто бывают совсем не в себе, сердятся, ранят друг друга и все такое...

Теперь он мог отправиться в поход, который себе наметил, а также выполнить одно важное дело. И он проделал уже часть пути, но когда дошел до сегольфосской лавки, то увидел, что она закрыта, а ему необходимо было купить там кое-что. Эту вещь он увидел у Старой Матери: чудесное кружево, которое было пришито к ее рубашке.

Не оставалось ничего другого, как отложить поход, вернуться домой и размышлять, вернуться домой и ждать, пока пройдет ночь. Теперь у него было все, что только есть на земной коре, но не было покоя.

Но были и другие люди, которым тоже было плохо. Утром Старая Мать снова прислала за ним. Ночь была мучительная, сон беспокойный — ее мучили кошмары.

— Не сердись на меня, На-все-руки, но не так-то легко быть на моем месте. Хоть бы аптекарь был дома!

Август подумал.

— Теперь он должен уже быть на обратном пути.

— Ты думаешь?

— Давным-давно. Еще день — и он вернется.

Это ее ободрило.

— Только бы я знала наверное, что нет внутреннего кровоизлияния.

— Гм, этого вам совершенно нечего бояться! — заявил Август своим обычным уверенным тоном.— Да сохранит вас бог, но во мне сидело десять револьверных пуль, и много раз меня ранили ножами, но никогда не было внутреннего кровоизлияния.

Это тоже ее ободрило, но она все-таки спросила:

— А как это бывает, когда происходит внутреннее кровоизлияние?

— Это — когда рана проходит насквозь через все тело, и выходит с другой стороны,— сказал Август.— Вот тогда можно говорить о внутреннем кровотечении. Потому что тогда природа не может совладать с болезнью и не

залечивается рана. Но под нашим небом не бывает таких ножей.

— Ты так думаешь? Но я слыхала, что можно истекать кровью и внутрь.

Август продолжал утешать:

— В таком случае вы не прожили бы и получаса. Тогда бы вы лежали теперь мертвая и холодная. И нам бы оставалось только завтра в это время отвезти вас на кладбище. Подумайте об этом. Мы бы не успели даже вовремя призвать к вам священника. И кровь из вас залила бы всю постель.

— Ух! — сказала Старая Мать.

— У вас болит где-нибудь?

— Да, мне кажется. Но пусть будет, что будет, — сказала она убитым голосом, — я тут ничем не могу помочь. Я хочу спросить у тебя одну вещь, На-все-руки, — в тот раз, когда ты замыкал яхту, не нашел ли ты пояса в каюте?

— Как же! — сказал он. — Пояс, несколько шпилек и разные другие женские вещи. Я тотчас понял, что их забыла там жена шкипера. Почему вы спрашиваете?

— Что ты с ними сделал?

— На что они мне? Я бросил их в море.

— Боже, пряжка была серебряная! — воскликнула жена Теодора Из-лавки. — Я так слыхала, по крайней мере, — добавила она.

— Нет, пряжка была просто из никелированной жести, — сказал Август.

— Ну, тогда слава богу, что ты выбросил ее в море. Только за нее было заплачено как за настоящее серебро: так я слыхала, — добавила она опять. — Впрочем, мне все равно, мне приходится думать о другом, раз у меня внутреннее кровоизлияние.

Август. Вы истекаете кровью не более, чем я. Что это я хотел сказать? Да, нам бы следовало вынуть сеть с лососями, но нет людей.

— Вот как! — сказала она, не интересуясь сетями и лососями и прочими мирскими делами.

— Александер исчез.

— Вот оно что!

— Да, Александер, знаете, который был здесь. Он должен был закупить для меня овец, и вот он не вернулся, чтобы вытащить сеть. Это уже четвертые сутки, и я не знаю...

Август начинал подозревать цыгана. Куда он запропастился и зачем прислал записку? Старая Мать не смогла или не захотела дать никаких разъяснений, но во всяком случае Александр унес с собой четыре тысячи крон.

Первым долгом Август вместе с дворовым работником Стеффеном пошел вытаскивать сеть. Она не могла дольше оставаться в воде. В ней был всего один лосось, одна огромная рыбина; ее можно было употребить в хозяйстве и таким образом избавиться от нее.

Затем Август пошел разыскивать докторских детей. Это было не так-то просто, потому что их не было дома, но около полудня он нашел их в усадьбе священника, где они помогали сгребать сено. Чертовски ловкие мальчики: они работали, как взрослые парни, были в одних рубашках и штанах, и за работу ничего не брали кроме харчей, зато насчет этого заранее уговорились с работником.

— Зачем вам харчи? — спросил работник.

— Да дома у нас рисовая каша на обед.

— Ну, а здесь, кажется, селедка.

— Вот и отлично! — сказали мальчики.

Августу они рассказали, что бегали вчера ночью на пристань, когда услышали, что гудит пароход, идущий к северу. Александр тогда и дал им эту записку, после чего сам в последнюю минуту вскочил на палубу.

Цыган уехал на Север.

Он исполнил свое последнее дело и, почувствовав, что под ним земля горит, отправился скорее на пристань и прыгнул на борт парохода. Удрал!

Но купил ли он сперва овец на четыре тысячи крон?

Август поспешил в Южную деревню. У него опять появилось дело, новое и важное дело: он пошлет мальчика Маттиса за Иёрном Матильдесеном, у него самого будет прекрасный предлог посидеть и подождать.

Тобиас и все его домашние гребут сено: надо спешить убрать корм, который столько времени мок под дождем. Родители и сейчас на его стороне,— Август отлично видит, что они хотят помочь ему,— но Корнелию ему никак не удастся заманить, чтобы побыть с ней вдвоем. Удивительно странное поведение с ее стороны, должна же она понять, что обязана с ним объясниться!

На соседнем дворе тоже убирают сено, и он заходит и туда. Люди чтут и уважают его чрезвычайно с того самого дня, как он купил у них овец по баснословной цене, они кланяются ему и улыбаясь соглашаются со всем, что бы

Август ни сказал. Они заявляют, что это благословение божие — видеть такое количество животных в горах.

— Это еще только начало,— отвечает Август.

Он отводит Гендрика в сторону и спрашивает его, как он поживает. Гендрик благодарит за участие, но ему живется не особенно хорошо: Корнелия окончательно порвала с ним. Он слышал, что в следующее воскресенье будет оглашение.

— Ну, это еще неизвестно,— сказал Август.

— Она все забыла, что обещала мне,— жаловался Гендрик.— Между нами все было условлено окончательно, и это она хитростью заставила меня креститься вторично и все такое. Но дело в том, что у меня нет велосипеда, как у него, и я не могу носиться, как ветер. И кроме того, он подарил ей сердечко, чтобы носить на шее, и меховой воротник, который она мне показывала. Между ними теперь такое творится, что мне остается только умереть.

Август сам измучен, его угнетает безнадежная влюбленность, но состояние Гендрика его живо трогает. Он намерен поэтому сделать что-нибудь, осадить этого Беньямина, этого принца на велосипеде, навязчивого парня, которого он все лето вытаскивал из грязи и которому дал работу и заработок. Август размышляет тут же на месте, голова его работает быстро, он придумывает выход:

— А вы не скоро кончите грести?

— Скоро,— отвечает Гендрик,— у нас осталось только вот то, что вы видите.

— Тогда я возьму тебя к себе на службу.

Он произнес эти слова, а тот от удивления некоторое время не может закрыть рта.

Пришли Иёрн Матильдесен и Маттис. Август с ними краток и сух, настоящий староста или хозяин:

— Возьми вот это за труды, Маттис! Ну как, Иёрн, приводили ли тебе овец за последнее время?

Иёрн. Вчера и сегодня — нет. Но во вторник и в среду получили мы чрезвычайно много.

Август нацепил пенсне и приготовился записывать:

— Сколько во вторник?

— Четыре раза по двадцати и четыре.

Август пишет.

— А в среду?

— А в среду страсть сколько, целый табун. Их было шесть раз по двадцати и пятнадцать.



Август записывает и складывает: одиннадцать раз по двадцати без одного в течение двух дней! Он считает дальше и приходит к тому заключению, что не хватает двадцати пяти — тридцати голов.

— Он надул меня на семьсот крон,— говорит он.

— Кто? — восклицает испуганный Иёрн.

— Цыган. Он скрылся.

— Да неужели же?

Август отмахивается от него:

— Сколько же овец у вас всего в горах? Я не взял с собой записи.

У Иёрна в голове все цифры с самого первого дня, голова его вполне пригодна для таких вещей.

— У нас всего сорок два раза по двадцати без трех.

Август покачал головой. Тут он потерпел неудачу, вышло не так, как ему хотелось: ведь он не закупил еще и первой тысячи овец. У него сколько угодно денег, но нет тысячи овец.

Иёрн болтает:

— Все хорошие овцы, и белые и черные. Их приводят к нам худыми и голодными, но не проходит и недели, как мы замечаем в них перемену: они становятся сытыми и круглыми. Если б вы видели, как они бегают за Вальборг, совсем как собаки.

— Ну, это все, что я хотел тебе сказать, Иёрн,— говорит Август и кивает головой.

И, согнувшись, погруженный в размышления, Август идет к Гендрику. Потеря семисот крон! Да, хорошо еще, что это случилось с человеком, который может сохранить спокойствие! Больше всего его расстраивало, что цыган убежал, прежде чем набрал полную тысячу. Теперь люди будут говорить, что у него всего лишь несколько сот овец.

Он тут же нанял Гендрика, договорился с ним, поставил его на место цыгана, дал ему точные указания. В этом старике, когда он отдавал приказания, было столько энергии!

— Брось грабли и ступай сейчас же в сегельфосскую лавку, там ты выберешь себе самый лучший и самый дорогой велосипед, какой только имеется на складе, поупражняешься на нем с вечера, и завтра же начнешь работать. Вот тебе для начала тысяча крон.

Теперь он не заходит больше к Тобиасу и его семейству, на сегодня они достаточно его видели. Пусть Гендрик появится сперва на своем великолепном велосипеде, пусть

вообще станет известно в окрестностях, на какую высокую должность назначен Гендрик.

Тобиас бросает работу и бежит за ним вдогонку, он кричит, но Август не слышит. Тобиас догоняет его и упоминает о зонтике: он забыл зонтик у них, когда был в последний раз, совершенно новый зонтик.

Август идет. Под конец он говорит:

— Мне до него нет дела.

Вот как он с ними, говорит!

По дороге домой он громко бранил цыгана. Бросил его всего с несколькими сотнями овец! Напрасно он его не застрелил, это порадовало бы некую даму. Телеграф был открыт, он мог бы остановить беглеца, то есть для этого пришлось бы обратиться к полиции и властям, но — черт с ним! Старая Мать могла бы сделать это, но она, конечно, не посмеет. Консул от лица матери? Еще менее, чем кто-либо другой.

Да, цыган Александр мог безбоязненно плыть к северу на пароходе.

Он встретил доктора, шедшего навестить больного.

— Я заходил к твоим рабочим, Август, но как будто бы ни у кого из них нет ножевой раны на груди.

— Вот как! — говорит Август.— Нет, они не хотят признаться.

— Да, но я сам осмотрел их. Ведь их всего четыре человека?

Август отвечал на это довольно пространно: летом у него было их двадцать человек, что могли сделать четыре человека при постройке такой широкой и основательной дороги?..

Доктор прервал его.

— Да, но сколько же народа у тебя сейчас?

— Пять,— сказал Август.— Они работали на нотариуса но...

— Хорошо, хорошо, но где же пятый? Я бы все-таки хотел осмотреть его.

Август решается:

— Не стоит, он уже на ногах теперь, это было несерьезно.

— Ну, это хорошо. Потому что удар ножом в грудь — дело нешуточное.

Августу стало не по себе.

— А у него могло бы быть кровоизлияние внутрь?

— Могло бы быть и это.

— Но тогда бы он умер?

Доктор. По-моему, ты что-то скрываешь, Август. Неужели это ты ударил кого-нибудь ножом?

— Я?..

— Ну нет, так нет. Но кто же тогда?

Август опять затеял длинный разговор о том, какое это свинство и зверство — колоть человека в грудь. Ему ужасно досадно, что он не присутствовал при этом, потому что он непременно бы застрелил его на месте.

— Ну, это уж слишком.

— Непременно бы, вот этой самой рукой! — грозился Август.

Доктор сказал:

— Ты больше никогда не заглядываешь к нам. Мы приглашали тебя, когда Паулина из Полена была здесь, но ты не зашел. Уж не потому ли, что ты разбогател?

— Нет, доктор, пожалуйста, не шутите так. Но я по горло занят делами и всем прочим, надеюсь, что скоро станет немного полегче.

— Ну, приходи, когда освободишься!

Август был рад, когда доктор наконец ушел. Его вдруг стало мучить: а что если у Старой Матери все-таки внутреннее кровоизлияние?

Он застал ее посвежевшей и не так мрачно настроенной, она немного поспала и теперь сидела в постели. Август почувствовал облегчение, он задал несколько коротких вопросов о ране и получил ответ:

— Нет, рана больше не горела, и кровоизлияния внутри, кажется, не было.

Она поглядела на него несколько удивленно в тот момент, когда он вошел, но теперь, когда Август разделался со своим беспокойством, его быстрой голове ничего не стоило придумать какое-нибудь дело. Как, по ее мнению, — стоит ли ставить сети? Лето уже кончается, и рыбная ловля почти что прекратилась, — за четыре дня попалась всего лишь одна рыбина.

С этим следует обратиться к ее сыну.

— Из-за таких пустяков не стоит беспокоить консула, — заметил Август. — Впрочем, как бы там ни было, но больше некому это делать: вы знаете, цыган уехал.

Это-то во всяком случае он рассказал даме, раненной в грудь.

— Вот как! — сказала она. — Он уехал?

— В воскресенье ночью, с пароходом, идущим к северу, — нарочно уточнил он.

По лицу Старой Матери не было видно, обрадована она, или нет, а Август думал только о деле.

— Я не знаю, как мне поступить с сетью.

— Ну, тогда спрячь ее совсем,— сказала она.

Уходя, Август почувствовал такое облегчение оттого, что ей стало лучше, что даже о цыгане подумал не так сурово. Он не сказал, что Александр скрылся, сказал только, что он уехал. Август даже не упомянул, что его самого надули на семьсот крон. Но разве его надули? Разве знал он что-нибудь наверное? Во всяком случае Александр прислал ему рецепт, который имел свою ценность. Августу была неизвестна цена на проколы против вздутия лошадей, но если речь шла о спасении породистого жеребца, например, то никакая цена не могла быть слишком высокой.

Чем более Август думал о цыгане, тем извинительнее он находил его поступок. Что же ему еще оставалось, как не спастись бегством после совершенного им злодеяния? И как мог он не взять те шиллинги, которые были у него в кармане? А на что на первых порах стал бы он покупать себе пищу? А разве сам Август в подобном случае не поступил бы совершенно так же? Об этом не беспокойтесь. Если все хорошенько взвесить, то ведь цыган Александр был обладателем огромной тайны, которую он, без сомнения, мог бы обратить в деньги. Но он этого не сделал. Он мог бы предъявить известные права и к Старой Матери и к ее сыну. Но он и этого не сделал. «На кой же черт существуют тогда промышленность, товарообмен, движение вперед?» — подумал, всерьезно, Август. Он плохо разбирался в жизненной путанице, но у него явилось смутное представление о своего рода благородстве цыгана. Иначе вряд ли бы он так долго пробыл в имении. Правда, немалую роль играли любовь и пол, но кроме того что-то еще, какой-то плюс, какое-то личное качество. Он не взял платы у дома Иенсена, но верно служил ему и молчал. Разве может быть гордость у жулика и преступника? Но не дико ли было предполагать в нем такую вещь, как отцовская нежность?

Черт знает что такое! Август был совершенно сбит с толку и все-таки продолжал думать о нем. Александр был вовсе уж не так плох. Если он тогда летом действительно собирался столкнуть аптекаря в пропасть, то он здорово рисковал: это вовсе не было так безопасно. А в любовных делах он показал такой пыл, пустив в ход нож, что это напомнило даже Южную Америку. В Сегельфоссе совер-

шенно не случалось таких вещей, такого рода развлечения не выпадали на долю Августа. В сущности, цыган был единственный, на которого можно было рассчитывать в смысле столкновения, и поэтому-то он и упражнялся тогда за озером. Вот если бы у Августа была возможность выстрелом выбить нож из рук человека, который собирался украсть его бумажник! И если б подлинные дети своего времени прочли потом об этом чуде во всех газетах, как бы они обрадовались!

## **ГЛАВА XXVIII**

---

Теперь все пошло как по маслу.

Август подтянулся и стал снова деятельным; никто не мог бы теперь сказать, что он не владеет своим чувством. В тот день, когда ему удалось отвезти лодку в горы, он вообще сделал немало. Правда к вечеру он пробрался в Южную деревню, но это ровно ничего не значило; это было какое-то недоразумение: он обнаружил вдруг, что стоит перед домом Тобиаса, но никого не застал, никого не увидел в окнах и пошел домой. На кой черт разыскивать этих людей. Если они в нем не нуждаются, тем более ему они не нужны: мужчина есть мужчина!

Ему вспомнилось, что Больдеман и его товарищи в данный момент не имеют работы; он призвал их к себе и заставил их буравить дыры и укреплять железную решетку перед двумя пропастями на горной дороге. Задача была нелегкая. Август должен был намечать линию, приходилось все время присутствовать, и то они едва успели начать ставить первую решетку, ту, которая была возле охотничьего домика. Вечером Август очень устал, но все-таки он позволил себе еще раз сходить в Южную деревню. Он нес с собой небольшой пакет, нес десять метров кружев, чтобы пришивать к рубашкам,— значит, он шел по делу. На этот раз и Тобиас и его жена вышли к нему навстречу и попросили его войти, но Корнелии не было дома; поэтому Август передал только пакет, сказал несколько слов и ушел. Мужчина есть мужчина!

Гендрик тем временем вполне выучился носиться на своем новом велосипеде и много раз показывался на нем в окрестностях. Стало также хорошо известно, что он скупает овец за счет Августа; тем самым он достиг

должности уполномоченного и окончательно затмил Беньямина. Какой старательный парень был этот Гендрик! Он очень ловко скупал овец, он тратил одну тысячу за другой, и Август находил, что он был несколько не хуже цыгана.

И потом, как это вышло — неизвестно, но только в ближайшее воскресенье помолвка Корнелии и Беньямина не оглашалась в церкви.

Нужно сказать, что все шло как по маслу. Одно только было нехорошо: это несчастье с нотариусом Петерсеном, — бог посетил его, лишив разума, — а то судьба довольно-таки благосклонно относилась к Сегельфоссу. Август сделался богатым и уважаемым человеком, консул получил огромный заказ через своего чертовски ловкого коммивояжера из Хельгеланда, Старая Мать сидела в постели и выздоравливала, гора была усеяна овцами. Только вот эта история с нотариусом Петерсеном, с Головою-трубой.

Когда аптекарь Хольм вернулся обратно из своего путешествия на юг, оказалось, что он приехал один. Свежий морской воздух ничуть не помог нотариусу, рассудок его мутился с каждым днем все сильнее и сильнее, и возле станции Фолл он захотел вдруг вернуться обратно: он недостаточно точно вычислил размер стальных плит, ему кажется — они должны быть вдвое больше. Аптекарь предложил взять их вдвое толще, но Петерсен этого не захотел. Прибыв в Троньем, аптекарь принужден был передать его в более верные руки.

Голова-трубой больше ни на что не годился.

Впрочем, это несчастье не произвело особого переворота в общественной жизни Сегельфосса: его жена была хорошо обеспечена, а практическая деятельность нотариуса могла перейти к старому ленсману, кроме того, всегда можно было обратиться за советом к опытному окружному судье. В сущности заболевание нотариуса не принесло иного вреда, кроме скучной истории с пустырем и начатым фундаментом виллы, — ну, на что теперь для фру Петерсен вилла, не говоря уже о банке и бронированном подвале? Она сразу поняла, что ей нужно переехать на Юг и жить вблизи мужа. Начатой постройке оставалось только разрушаться.

В эти дни аптекарь Хольм повадился то и дело бегать на постройку, осматривал подвал, намеченный фундамент и все вместе, обнаруживая никому не понятный интерес. Когда Старая Мать поправилась и стала выходить, он и

ее привел на пустырь; они говорили шепотом, покачивали головами и о чем-то условливались. К ним примкнул Вендт из гостиницы, их стало трое. У Вендта из гостиницы всегда было много планов, которые никуда не годились, и без него двое других сговорились бы с первого же раза, но тогда они лишились бы чудесных и частых прогулок на стройку.

И еще одна особа, казалось, прониклась интересом к той же постройке — почтмейстер Гаген. Но он приходил сюда потихоньку и не приводил с собой жены. Он появлялся совсем поздно вечером, принимался измерять стены, приглядывался ко всему окружающему; прищурившись, смотрел и на ландшафт и на соседние строения, записывал какие-то цифры и покидал виллу, так же крадучись, как и приходил. Но что такое задумал почтмейстер? Ведь он не мог купить пустырь и строиться? Что вообще мог купить сегельфосский почтмейстер? Может быть, потом когда-нибудь, когда у него будет более крупная должность и больше средств, но теперь?.. Дело, вероятно, в том, что художник в нем увидел здесь своими глазами отличный пейзаж, и он воспользовался этим. Здесь было пять замечательно красивых осин и ручей. В сухое лето ручей становился маленьким и таким невинным, как будто был ребенком настоящего ручья, но все продолжал бежать, блестящий и неукротимый, и никогда не пересыхал. А из пяти осин со временем могло получиться гораздо больше, целая маленькая роща, в которой так приятно сидеть. И ничто не бывает так красиво весной, как осины. Впрочем, они и в течение лета неизменно прекрасны, с их серебряным налетом и шелковистым шелестом листьев. В северной Норвегии нет других деревьев с таким шелковистым шелестом, — это происходит оттого, что даже самый легкий ветерок заставляет листья осины цепляться друг о друга, потому что каждый лист приделан к черенку словно к булавочной головке. Удивительно, как они могут трепетать и все-таки не сваливаться! Только поздней осенью начинают желтеть осиновые листья и затем падают, по одному или по нескольку листьев за раз; одни падают ребром и сразу касаются земли, другие медленно спускаются в воздухе, покачиваясь из стороны в сторону, и наконец ложатся на землю.

Было ясно, что в почтмейстере говорило только желание художника нарисовать пейзаж с домом, дворовыми постройками и всем прочим. За последнее время Хольм приходил сюда гораздо реже, словно он переставал интересоваться

постройкой. Дом был задуман Петерсеном и его женой в два этажа, а так как подвал был уже зацементирован и занимал обширную площадь, то и дом в соответствии с этим должен был получиться большой, что, может быть, и отпугнуло аптекаря.

В рисунке почтмейстер Гаген провел свою идею: его дом был длинным легким строением и являлся образцом искусных вычислений.

И удивительно, что он, работавший так скрытно все это время, позволил застать себя врасплох с готовым рисунком в руках. Сам аптекарь Хольм поймал его на месте преступления.

— Добрый вечер, почтмейстер! — поздоровался он. — Как счастлив тот, кто построит здесь дом и будет жить в нем! Я думал об этом, но пришлось бросить эту мысль.

— А между тем это не так уж неосуществимо, — заметил почтмейстер.

— Вы находите? Дом такой ширины, возведенный в два этажа?

Они разговорились. И что же? У этого Гагена, торговца марками, действительно была идея: он предлагал сделать навес, шириною в метр, вдоль всей задней стены. Таким образом дом становился уже на целый метр и мог быть возведен всего лишь в один этаж.

— Как здорово, черт возьми! — воскликнул аптекарь.

— Вот вы лучше поймете это по чертежу, — сказал почтмейстер и просил извинить его за недостатки в рисунке: ведь он рисовал только так, для развлечения.

Хольм не многое понял в чертеже. Он был достаточно ясен, но немилосердно мелок. Аптекарь сказал:

— Но предположим, я бы захотел устроить здесь свою аптеку и поселить своих людей, — одного этажа было бы, пожалуй, мало?

— Комнат достаточно.

Почтмейстер прямо-таки устроил дом и обозначил размеры каждой большой и маленькой комнаты. Если аптекарь захотел бы посмотреть, он бы ему тотчас показал.

— Восемь комнат! — воскликнул Хольм.

— Семь и восьмая кухня. Разве это слишком много? Две — для аптеки и пять — для людей. Если это вам подходит.

Люди — это ведь аптекарь, фармацевт, лаборант, прислуга...



— Ух! А я и не подозревал, что у меня такая большая семья. Почтмейстер, вы прямо фокусник, и вы, вероятно, знаете, как будет выглядеть дом?

— Старинный, родной, не современный и не американский по стилю. Дом, чтобы с миром войти в него и пребывать в нем с миром. Широкий вход посредине дома, богатая резьба по бокам и над двойными дверями. Лестница из каменных плит. Крыша черепичная, с полукруглым слуховым окном, одной ширины с дверью под ним, стекла в окне расположены веерообразно. Все старинное, родное и красивое.

— А аптека? — спросил Хольм.— У меня ведь маленькая торговля.

— Вход вот с этой стороны, обращенный к городу. И тут лестница тоже из каменных плит, большая вывеска аптеки. Вот небольшой набросок,— сказал почтмейстер.

Аптекарь Хольм громко вздохнул.

— Боже, какой красивый дом! Прямо-таки наслаждение! И потом эти осины, ручей. Все такое знакомое и старинное, близкое сердцу.

— Сделано очень несовершенно, для развлечения. Я не архитектор и не рисовальщик.

— Вы в высшей степени и то и другое! — Аптекарь готов был поклясться.— И по-вашему это осуществимо?

Почтмейстер показал еще маленький набросок дома и дворовых строений. И молодец же, обо всем-то он подумал, даже о водопроводе из ручья!

Он «с удовольствием» одолжил аптекарю рисунки. Хольм хочет показать их кому-то? — спросил почтмейстер.

— Да он покажет их фармацевту,— сказал аптекарь.

Между аптекарем и Старой Матерью было, по-видимому, что-то договорено и условлено. Они все менее и менее скрывали свою дружбу, опять стали встречаться на пустыре, кивали друг другу, указывали на что-то в рисунках и что-то обсуждали. Хольм был, пожалуй, менее уверен, он сказал:

— В один прекрасный день все это кончится крахом.

На это дама только улыбнулась:

— Я рассказала Юлии.

— А что она сказала?

— Юлия? Она такая разумная.

— Да, но что скажет консул?

— Он ничего не скажет. У нас с ним так много общего. Ты можешь быть уверен, что Гордон выпьет за нас стаканчик вина, когда мы вернемся.

— Я с удовольствием выпил бы с ним или с кем-нибудь другим. Ступай в гостиницу и подожди меня там.

Хольму нужно было сделать еще много дел. Он сходил к священнику за какими-то бумагами, зашел к нотариусу, чтобы узнать цену пустыря. На обратном пути он наткнулся на Августа и остановил его, радостно воскликнув:

— Вот вас-то мне как раз и надо!

Ну, конечно, Август был нужен всем...

Август как раз шел от доктора, где приятно провел время. Он был в хорошем настроении и говорил очень много: ведь перед ним сидела маленькая Эстер, он был богат и не был подавлен, он мог хвастать и размазывать сколько душе угодно. Доктор, как и следовало ожидать, спросил его о предприятии с овцами, и Август распротрился насчет небывалого подъема, он уже замучил одного скупщика и принялся за другого, должен будет нанять помощника для своей конторы в городе: такое множество овец, и мясных и длиннорунных — ведь это не шутка. И одно дело, если б у него были всего эти несчастные овцы, но он намеревается купить еще несколько дворов, впрочем, всего лишь штук десять земельных участков, если все уладится с одним человеком, на что он надеется.

— Где же мальчики, как ты думаешь? — тихо спросил доктор.

— Не знаю,— сказала фру.

Доктор. Вы затеяли грандиозное предприятие, Август. А я совсем разорился только оттого, что купил себе мотоциклетку.

— Совсем другое дело с наукой, докторами и медицинской.

— Но десять дворов!

— Я обещал,— сказал Август.— Это совсем уже не так непреодолимо: эти земельные участки не очень дороги, так, ерунда. Совсем другое дело в Новом Свете: там такие фруктовые и животноводческие фермы, какие немислимы под нашими широтами. Это все равно, что читать книжки со сказками...

— Не понимаю, куда могли деться эти мальчишки, Эстер?

— Не знаю,— отвечает фру Эстер. Сейчас она думает только о мальчиках, она живо заинтересована, сидит и слушает.

Доктор опять обращается к Августу:

— Но вы, вероятно, тратите безбожно много денег?

Да, конечно, некоторое количество денег истрачено, этого нельзя отрицать. Но у него есть ценности, есть, например, гора, усеянная овцами.

Но не может ли он предположить, что ему придется когда-нибудь закладывать свои ценности?

— Отчего же нет? — Август даже улыбнулся в ответ на такой детский вопрос. — А что же вообще делается на белом свете, как не залог и перезалог ценностей? В этом и заключается деятельность и оборот.

Доктор не мог этого понять: для него это было слишком дико.

— А зачем тебе непременно все понимать, Карстен? — немного нетерпеливо спросила фру.

Август понесся вскачь. Нет, этот пустяк, которым занят он, ничто в сравнении с тем, чем ворочают Рокфеллер или Ротшильд. Вот если б доктор видел их фермы, их невода и рыбные ловли!

«Прости меня господи, но у них свое собственное кладбище только для своих людей, слуг и заведующих магазинами!»

Август зашел один раз к Ротшильду, и он никогда этого не забудет.

— Боже, подумать только, полтораста вооруженных револьверами людей, стоящих у дверей на страже!

— Но вы все-таки прошли?

— Мне-то они ничего не сделали, — сказал Август. — Мне приходилось видеть воинов и разбойничьи банды пострашнее этих, и потом у меня у самого был револьвер. И если б они вздумали стрелять, то им не пришлось бы состариться. Это были приличные люди, на них было много золота, и они были благородные; но я то встречал крупных капитанов и генералов и прежде, поэтому не обратил на них внимания. Они спросили меня, зачем я пришел. «Это я скажу вашему начальнику», — отвечал я. Тогда они пошли со мной к начальнику, а он был еще важнее, — с перьями и в бусах, но я и прежде видал королей и президентов. «Что вам надо от Ротшильда?» — спросил он. «Я хочу продать ему крупный бриллиант, который я привез из страны, называемой Перу...»

— Это правда? — спросил доктор.

Август немного обиделся:

— Еще бы не правда! Я всегда слежу за тем, чтобы не говорить лишнего. И к тому же к Ротшильду не обращайся с выдумкой.

— Итак, вас пропустили?

— Ну, конечно. Я вошел к человеку, поклонился и сказал, что мне нужно. Отличный человек для разговора, все равно как какой-нибудь чиновник. «Покажите мне бриллиант»,— сказал он. Я показал, и он тотчас купил его. Он не стал даже торговаться, вынул бумажник и заплатил. И что это был за бумажник! Если б мы запихали в наш обыкновенный бумажник целую газету и четыре или шесть колод карт, то и тогда он не был бы так толст, как бумажник Ротшильда!

— Но он, вероятно, здорово похудел, после того как заплатил за бриллиант.

Август тотчас подхватил:

— Еще бы! Сделался почти совсем плоским. Ведь он отвалил мне целую кучу денег.

— А сколько стоит такой крупный бриллиант?

— Гм,— протянул Август,— гм!.. Чтобы не солгать, скажу по правде: не знаю. Знаю только, что в старости буду жить на то, что мне заплатили за этот бриллиант.

— Так, значит, не на то, что вы выиграли в лотерею?

— Конечно, нет! Разве тут есть на что подняться в горы и начать горное дело в широком масштабе?

Тут доктор Лунд встал и направился к двери, чтобы поглядеть, что стало с мальчиками.

— Я начинаю беспокоиться,— сказал он.— А ты, Эстер?

— Да,— с отсутствующим видом ответила Эстер.

И вот Эстер из Полена сидела и слушала выдумки. Она хотела бы, может быть, чтобы и мальчики послушали эти истории, но они были нужны ей самой. Эстер не хотелось уходить искать мальчиков и пропустить из-за этого часть рассказа. Разве она была такой ничтожной личностью, такой незначительной? Она вовсе не была ничтожна. Она была красива и очаровательна, это уже было кое-что, но кроме того она была еще очень умелой. Она была ловка и на кухне, и в комнатах, и в подвале, и кроме того в спальне. Эстер? Да, слепа, ласкова и безумна в спальне. Но сейчас она сидела здесь. Никто не умел так сочинять, как этот земляк из Полена; может быть, она не верила ни одному его слову, но разве мы не читаем сказок, не веря им? Август отличался от всех других, кто рассказывал ей что-нибудь. Что слышала она от девушек на кухне? Чем мог развлечь ее доктор? По сравнению с невероятными приключениями Августа все остальное было правда и скука.

И Август со своей стороны тоже наслаждался. Это вполне совпадало с его настроением этого дня; а настроение было самое светлое и бодрое, потому что сейчас все шло как по маслу, — целая масса денег истрачена и куплено множество овец, надежда заполучить девушку в Южной деревне, почет со всех сторон, пиджак на шелковой подкладке. Сейчас он старался для Эстер; с большим удовольствием он не пошевелил бы языком ни для кого другого, потому что никто не умел так слушать, как она, — лицо напряженное, грудь вздымается. Рассказанная им история и для нее была только историей, поэтому не стоило преувеличивать слишком мало и ослаблять чудесное; в поленских избах хорошо знали рассказ о комете Билеала и песню о девушке, утонувшей в море. О, эти длинные зимние вечера, когда поленские избы были полны историй, песен и мистики!

— Да, ты по крайней мере поехал по белу свету, Август! — сказала фру Лунд.— Занятно послушать тебя! Я помню тебя еще дома, в Полене. Чем только ты не занимался, чего только не налаживал и не устраивал!

— Полен? — сказал Август.— Это все пустяки. Такая досада, что помешался наш нотариус! Он все упрашивал меня вступить с ним в компанию и открыть банк. Вот это дело вполне по мне, я ведь отлично знаю такого рода вещи.

— Да, Август, но у тебя и без того ужасно много дел на руках. Я прямо-таки не понимаю, как ты справляешься со всем.

— Все это привычка, — сказал он.

Они сидели теперь один на один, и им некого было стесняться. Фру тотчас сделалась разговорчивее. Ей отнюдь не на кого было пожаловаться, но дело в том, что с Августом так хорошо говорить, и они ведь старые знакомые.

— Так вам по-прежнему хорошо живется?

— Да, только это и можно сказать, — отвечала фру.

Правда, не совсем так чудесно и замечательно, как после его возвращения, но этого нельзя было и ждать.

Август понял по тону, что великая радость и влюбленность несколько уменьшились по той или иной причине. Он сказал:

— Доктор купил себе мотоциклетку, как я слышал?

— Ну да, конечно. Но странное дело, благословение божие не вошло в дом вместе с этой покупкой.

Он теперь никогда не говорит о своем недостатке, и о том, что странно, как она не разлюбила его, несмотря на

стеклянный глаз. Но зато и она не может ответить, что она любила бы его, даже если б он был слепой. Да, теперь он привык к этому и считает себя таким же совершенным, каким был прежде.

— Всегда так бывает, — сказал Август, чтобы сказать хоть что-нибудь.

Вот теперь он приобрел мотоциклетку и хочет, чтобы она боялась, когда он уезжает на ней, но разве это так опасно?

— Ничуть! — фыркнул Август. — Просто он еще недостаточно привык.

Ну, а зачем же ей тогда не ложиться спать, а ждать его и бояться? Но она отлично видит, что он этого хочет. Потом он не велит ей ходить в сгельфосскую лавку и покупать у приказчика, у того, с вьющимися волосами. Он этого не хочет. А в другой раз она встретила на дороге нового уполномоченного областного судьи, и этого он тоже не хочет.

— А что я говорил! — воскликнул Август. — Я хорошо знаю, когда бывают такие душевные настроения в жизни. Но на это не стоит обращать внимание.

Ей и так почти что не с кем разговаривать, не с кем позаняться, бог видит, что это так, уж он мог бы позволить ей хоть столечко с кем-нибудь поболтать, но нет, он такой странный. Они ведь не прятались куда-нибудь в кусты и не обнимались, потому что это было бы и грешно, и стыдно, и этого никогда не случится. А вот он такой. И хотя у него стеклянный глаз, который он вынимает и моет, но ей приходится расхваливать этот глаз и уверять, что он такой же красивый, как и другой, здоровый. И он говорит, что это ее вина, что он окривел и стал уродом на всю жизнь. И это правда, потому что ведь она пригласила тогда Оссе. То же самое и с мотоциклеткой: он все говорит, что ей дела нет, если что случится с ним на дороге, и что ей наплевать, если он потеряет и другой глаз. Разве это не отвратительно?

— Может быть, вы хотите, чтобы я поговорил с ним? — спросил Август.

— Нет, нет, нет! — испуганно запротестовала она. — Никогда не упоминай об этом и вообще и вида не показывай.

— Потому что мне это ничего не стоит.

— Да, но это совершенно невозможно: потом будет только еще хуже. Да, впрочем, все не так уж плохо, он бывает иногда очень мил со мной и говорит: «Ты ведь

знаешь, Эстер, ты и я, мы — одно!» Если б только мне позволили забеременеть! Я хотела бы маленькую девочку.

— А вам не позволяют? Я бы и спрашивать не стал!

— Да, тебе легко говорить. Но видишь ли, в течение многих лет он не хотел иметь детей и теперь тоже не хочет. Для меня было бы большим развлечением и радостью, если б у меня после мальчиков была девочка, или даже две девочки. Но он этого не хочет. И я подчиняюсь ему. Я так должна поступать.

Август сделался вдруг решительным:

— Ничего вы не должны. Где это слыхано! Разве не так поступают на всем белом свете, и разве не это приказал господь свреям и вообще всем людям, населяющим землю?

— Я столько раз собиралась сделать ему наперекор, но все не решалась. Ведь он же узнает.

— Узнает? Ну и что ж из того! Ведь это будет после. Поговорит, поговорит день-другой и перестанет.

— Знаешь что, Август,— сказала вдруг фру,— теперь, когда ты мне все это рассказал, мне уже не кажется, что это трудно, и я непременно так и сделаю.

И они сидели довольные и обсуждали все тот же вопрос, когда вошел доктор,— он так и не нашел мальчиков.

— Ну и дрянь дело! — сказал Август.— Так я на этот раз и не увижу пареньков.

— Разве вы так торопитесь? Вы не можете посидеть еще немного?

Август. Я и так пробыл здесь слишком долго. Я как раз собираюсь на телеграф, когда вы пришли. Все насчет яхты консула. Я хочу поставить на ней мотор.

— На яхту?

— Да. И это должен быть такой же мотор, какие Вандербильт употребляет на своих рыбацких шхунах.

Август шел от доктора довольный тем, что отыскал выход из затруднительного положения маленькой фру Эстер. Хорош муж, нечего сказать!

Вот тут как раз аптекарь Хольм и поймал его.

— Знаете что,— сказал Хольм,— я, кажется, сделался владельцем пустыря, принадлежавшего нотариусу. Что вы на это скажете?

— Скажу, что это очень хорошо. Вы хотите строиться?

— Если мне удастся прежде всего заполнить ваших рабочих закончить подвал.

— Это можно будет уладить.

— О,— сказал Хольм,— до чего с вами приятно иметь дело! Может быть, вы согласитесь дойти со мной до гостиницы? Там сидит некто, кто будет очень рад вас видеть.

Они пришли в гостиницу, и Августа приняли очень радушно.

— Как я рада видеть тебя, На-все-руки! — воскликнула при встрече Старая Мать.

Хольм. Я, кажется, купил пустырь.

— За твоё здоровье! — сказал Вендт.

— И Август одолжил мне своих рабочих.

Старая Мать. Наверное! С ним так приятно иметь дело.

Она была одета, пожалуй, немного по-праздничному. Август заметил по разным мелочам, что собравшиеся задумали что-то, но не задал вопроса. Он рассмотрел рисунки почтмейстера, все их одобрил, но покачал головой, глядя на так называемый навес. Август был не новичок в этой области, он давным-давно строил дома; этот навес казался ему слишком странным, его надо было подпереть столбами, чтобы он мог держаться.

— Как же нам быть? — спросил Хольм.

— Сломать заднюю стенку и сложить ее на метр ближе к центру. Материал есть, придется оплатить только работу. Возводить столбы тоже будет стоить денег. Выходит одно на одно.

— Вы думаете? Но мне бы не хотелось менять что бы то ни было и, может быть, обидеть этим почтмейстера.

Но у Августа и против этого нашлось средство: заднюю стену рабочие сломают в несколько часов, а когда почтмейстер придет, то скажут, что они поступили так по незнанию, что не поняли рисунка. Август не улыбался, он держался по-деловому и отнюдь не собирался мешать кому бы то ни было. План почтмейстера одноэтажного дома, все размеры, все это сохранялось, три стены подвала оставались тоже без изменения. Хольм сдался, а Старая Мать сидела и гордилась находчивостью На-все-руки.

— Мы никуда не пойдем, пока не загудит пароход,— сказал Вендт.— Ах, черт возьми, я уже говорил об этом. У нас есть еще время выпить.

Августу стало ясно, что они собираются пойти на пристань не только в качестве зрителей, но чтобы уехать с пароходом. Но он по-прежнему ничего не спрашивал, даже о ране Старой Матери. Она опять выглядела свежей



и здоровой. Когда Хольм намекнул было, что ему страшно и он беспокоен, она смеясь возразила ему:

— Но почему же? Пусть они удивляются. А если будет после какое-нибудь недоумение, то мы то уже будем далеко и На-все-руки придумает отличное объяснение.

Фру Юлия тоже пришла, но стоит в сторонке. Она не приехала сюда на автомобиле, хотя и нуждается в этом, но чтобы не возбудить подозрения, она шла пешком от самой усадьбы. Заметив друг друга, обе дамы всплескивают руками и делают вид, что поражены. Потом они обе смеются и много раз кивают друг другу. Вдруг появляется консул:

— Что такое? — восклицает он.— Каким образом ты здесь, Юлия?

— Уж очень хорошая погода.

— Как это неосторожно с твоей стороны! И мама здесь? Вы кого-нибудь провожаете?

Да, она кого-то провожает.

Пароход сдал почту и приготовился к отплытию. С Севера не было никаких товаров и лососину не отправляют на Юг. Вдруг Старая Мать всходит на борт и исчезает в кают-компани. Немного погодя оба господина следуют за ней.

Консул замечает Августа и подзывает его к себе, говорит, что ему очень некогда, и просит отвезти домой обих дам. Но вряд ли консул уж так занят; просто он хочет, чтобы пассажиры на борту думали, что у него есть шофер!

— На-все-руки, отвезите, пожалуйста, домой моих дам. Ну, а где же мать?

— Она, кажется, на пароходе,— отвечает фру Юлия.

— На пароходе? Но ведь сняли трапы. Или она уезжает?

— Похоже на то.

— На-все-руки, она ничего тебе не сказала?

На-все-руки бормочет:

— Небольшая прогулка по морю, так, пустяки...

— Ну пойдём, Юлия. Я, пожалуй, уж сам отвезу тебя домой. Вы поедете с нами, На-все-руки?

— Спасибо, но у меня дело, маленькое дело в Южной деревне, я должен видеть одного человека.

Тут стали разворачиваться события, одно за другим.

Прогулка пешком на пристань оказалась чрезвычайно полезной фру Юлии: эта «благословенная в женах» к утру почувствовала себя несколько странно, а когда солнце встало, она в пятый раз стала матерью. Родилась третья девочка.

— Так оно и должно быть! — сказал Август, услышав эту новость. И он высказался насчет благословения божия и насчет цветов в вертограде.

А консул в одних чулках пробрался к матери и дочери, поглядел на них, с бесконечной осторожностью спросил об их здоровье, сел на край кровати и растрогался.

— Какой ты молодец, Юлия! — сказал он, совершенно так же, как говорил все предыдущие четыре раза.

И он рассказал, что только что получил письмо от англичанина: он приедет через неделю или немного позже.

— Но я не знаю, как нам быть, — сказал консул.

— Как нам быть? — переспросила фру.

— Да, ты же ведь лежишь.

— Ха-ха-ха!

— Тут не над чем смеяться. Я, наоборот, теряю голову.

— Я-то тут при чем?

— Ты же знала, что он приедет.

— Ха-ха! Не смейся меня, пожалуйста, а то я разбужу ее.

Хуже всего, что и Старой Матери не было дома.

— И куда это черт понес ее как раз теперь? — спросил он. — И этот противный На-все-руки тоже что-то знает и не хочет сказать. Вы все с ума посходили.

Они решили вызвать по телефону Марну, которая была у своей сестры фру Кнофф в Хельгеланде.

— Впрочем, и это тоже не нужно, — сказала фру Юлия. — Через неделю я встану, и все будет хорошо.

Тут он начал шутить, что она ни с кем не хочет делить англичанина, и опять рассмешил ее. Она была до того слаба, что смеялась всякому пустяку.

— Ты бы могла дать Марне возможность воспользоваться этим случаем, — сказал он.

— Ха-ха! Ступай, Гордон, а не то я позвоню!

Что же делать, Гордон ушел, и на этот раз ему по-настоящему стало некогда. После обеда пришел редактор

и директор банка Давидсен с ключами от банка и объявил, что он отказывается от директорства.

Консул положил перо и, как всегда, показал себя джентльменом:

— Итак, вы отказываетесь?

— Да, немедленно. Ни одного дня больше!

— Вы бы присели, Давидсен. Что же вам так не нравится?

— Август,— сказал он.— Его закупка овец.

— Н-да,— сказал консул и подождал.— Уж эти овцы!

— Потому что я не желаю больше вести расчеты по его книжке.

— Н-да, я вас понимаю.

— Сегодня он пришел опять за деньгами, за тысячами,— рассказывал Давидсен.— Я обратил его внимание на устав, но на это он только засмеялся и отвечал: «Скоро будет еще хуже, потому что я по телеграфу заказал мотор для яхты».

Консул. Для моей яхты?! Я об этом его не просил.

— Я дал ему тысячу,— сказал Давидсен,— но он на это обиделся и сказал, что это пустяк. «Я не дам вам больше ни одного эре,— сказал я,— а завтра меня здесь не будет».

— Он превысил открытый ему счет? — спросил консул.

— Нет, но он истратил почти все. Осталось всего несколько тысяч.

— Все это чрезвычайно грустно.

— Я глубоко сожалею, что поместил в газете заметку о пастбище,— сказал Давидсен.— Может быть, она и толкнула его на эту бессмысленную трату. Право, не знаю.

Консул не глядел на это так мрачно.

— Он ловкий парень,— сказал он.— Кто знает, к чему он все это клонит, А деньги как были его, так его и останутся.

— Я не выдам ему больше ни одного эре,— продолжал настаивать Давидсен.

— Но оттого, что кто-нибудь другой это сделает, ничто не изменится.

— Нет, но я не могу поступать против совести.

Консул думал долго, моргал глазами и взвешивал.

— Но ведь не намерены же вы оставить банк навсегда?

— В том-то и дело, что намерен. Вы совершенно точно меня поняли, господин консул. Я положил ключи к вам на конторку.

Консул опять подумал.

— Вы отклоняете от себя и от своего семейства значительный доход, Давидсен.

— Я это знаю,— сказал Давидсен.

— Несколько тысяч.

— Да. Но я не гожусь для таких дел, и мои домашние это давно поняли. Правда, они купили себе кое-что из одежды за эти недели, хватит с них и этого. Мы не привыкли к крупным доходам, наше семейство скромное.

Консул задумался в третий раз и понял, что все равно у него ничего не выйдет.

— Но ведь эти ключи в сущности нужно сдать совсем не мне. Это меня не касается. Председатель правления у нас судья.

— Это так,— сказал Давидсен.— Но я с тем условием и принял эту должность, что в любое время могу отказаться от нее. Я прошу разрешения оставить ключи в ваших руках и отныне считать себя свободным человеком. Жалко только, что вам пришлось возиться со мной и обучать меня науке, в области которой я не принес никакой пользы...

«Речь его все больше и больше становится похожа на его газету»,— подумал, вероятно, консул, когда Давидсен ушел. Станный в сущности человек и странное семейство! В наше время они прислушивались к внутреннему голосу, имели странность, называемую совестью. Они купили себе немного одежды и были уже довольны. Консул ничего не слышал об этом в своих заграничных школах, но тем не менее совесть существовала.

Он опять задумался. Пожалуй, он говорил сегодня с честным и добрым человеком, и ему, как человеку и как джентльмену, импонировали и честность и доброта. Может быть, Юлия найдет что-нибудь для фру Давидсен, не поношенное платье, конечно, а что-нибудь со склада,— зимнее пальто, например — «пожалуйста, возьмите, мы с великой радостью...»

Но черт возьми, завтра ему уже, вероятно, придется иметь дело с На-все-руки. Странно, что он не пришел сегодня же. Гордон Тидеман был крупный человек и достаточно тонкий, но он не любил несогласий, столкновений и прочей неурядицы. Если На-все-руки придет завтра и будет жаловаться на Давидсена, консул предпочтет провалиться сквозь землю.

И потом эти ключи на конторке,— какое он имеет к ним отношение? Рассерженный и раздраженный, что случилось с ним редко, он подошел к автомобилю, положил

ключи на заднее сиденье и повез их к судье, как будто бы они были пассажиры.

Но тут вмешался случай и все перепутал.

Консул сам отправился к Августу, ему было чрезвычайно некогда, он торопился и был краток:

— Приезжает англичанин. Будут ли загородки готовы через неделю?

— Мы над ними работаем,— ответил Август.

— Да, но будут ли они готовы через неделю?

— Мы постараемся.

— Ну и отлично! — сказал консул и ушел. Ему удалось отпарировать жалобу Августа.

Да и Августу было теперь не до этого. Иёрн Матильдесен примчался с Овечьей горы с важным известием: нет, волков не появлялось, и ни одна овца не заблудилась и не упала в пропасть, но только он не может принять больше ни одной овцы.

Август разинул рот.

Иёрн был бы рад, видит бог, но больше совершенно невозможно прокормить на горе. Это Вальборг прислала его сказать об этом, а Вальборг ухаживает за овцами с ранних лет. Скоро овечье стадо растянется на целую милю, а овцы, которых прислали сегодня, худы и нуждаются в корме. Поэтому пусть Август извинит его, что он приходит с таким дурным известием.

Август думал долго и наконец спросил:

— Что, у тебя уже есть пятьдесят раз двадцать овец?

— Пятьдесят семь по двадцать без трех,— отвечал Иёрн.

— Ну что ж, тогда придется приостановить покупку.

— Больше овец не будет?

— Нет.

— Я так и думал! — воскликнул Иёрн.— Я знал, что стоит только поговорить с вами...

— Да, у нас нет другого выхода,— согласился Август. И он сделал вид, что сильно задет этим известием: он закачал головой, стал тяжело дышать и схватился за грудь. Но в глубине души, может быть, он вовсе уж не так огорчился тем, что необходимо кончить закупку овец; теперь у него было более тысячи голов, круглым счетом, а в разговоре с другими — две тысячи. Для северной Норвегии такое количество было прямо-таки баснословным. Вряд ли у Гольдевина было их столько, а у Виллаца Хольмсена никак не могло быть более двух тысяч. К тому

же, что же ему оставалось делать, как не подчиниться обстоятельствам? Гора была слишком мала, она не годилась для деятельности широкого размаха. Что представляет собой одна несчастная миля по сравнению с десятью милями? Кроме того, директор банка Давидсен показал ему вчера статью устава, не предвещавшую ничего хорошего, а в кармане у него была лишь одна жалкая тысяча. Да, как он сам сказал, у него не было другого выхода.

И кто знает, может быть счастье еще раз «улыбнется» ему, как было написано на лотерейных билетах. У него ведь было столько шансов.

— Это все, что ты хотел мне сказать, Иёрн?

— Да. Так, значит, овец больше не будет?

Август кивнул головой и ушел.

Он решил немедленно прекратить скупку овец. И на кой черт этот миляга Гендрик купил этих семь раз по двадцати овец сверх тысячи?! То есть он хотел сказать: сверх двух тысяч. Эти семь раз двадцать не округляли ведь никакого числа и были брошенные деньги.

Уж не сбежать ли ему в Южную деревню сейчас же? Впрочем, нет, в этом нет никакой необходимости. К лешему всю деревню! Август ни в коем случае не был подавлен. Первым делом он разузнал часы приема почтмейстера, а затем отправился на горную дорогу к своим рабочим. Они буравили дыры в скале; работа эта требовала много времени: так как заостренные железные прутья были диаметром в пять сантиметров, то и дыры приходилось делать того же размера.

— Не можете ли вы в течение недели поставить эти загородки? — спросил Август.

— Мы стараемся, — ответил Больдеман.

— Через неделю все будет готово? — повторил Август.

Больдеман и его товарищи поговорили друг с другом, посоветовались, взвесили.

— Будет, пожалуй, трудновато.

— Консулу очень бы хотелось, чтобы они были готовы в течение недели, — сказал Август. — Он ждет важного лорда из Англии.

— Мы не смеем обещать, ведь один день не рабочий — воскресенье.

— А если вы будете работать в сверхурочное время по двойной расценке?

— Ну что ж, это можно, — отвечали они.

— Ну, так и порешим. А теперь потолкуем о другом важном деле,— сказал Август.— Мне бы нужно было сломать заднюю стену подвала у нотариуса.

— Вот как! Стену подвала у Головы-трубой? Что же, он хочет заплатить?

— Да, аптекарь купил пустырь, а он-то уж заплатит, в этом не сомневайтесь.

— Как?! Аптекарь? — воскликнули они.— Аптекарь купил пустырь? Когда же он успел? Редкий, необыкновенный человек. Так, значит, он купил пустырь? Нам случалось не раз заходить в аптеку, и он всегда нам помогал. Помнишь, Больдеман, он дал тебе однажды даже две бутылки?

— Я бы мог получить четыре,— ответил Больдеман.

Август. Можете вы сломать эту стену сегодня после обеда, от трех до шести?

На это они отрицательно покачали головами:

— В три часа? Нет.

— Можете вы сломать ее в пять часов?

— Это возможно.

— Отлично,— сказал Август.— Это нужно сделать завтра, от восьми до часу. Вы меня поняли?

Да, они отлично поняли и часы, и все остальное. Нужно было здорово поработать, чтобы в течение пяти часов сломать стену, хотя, может быть, она еще не успела как следует застыть и превратиться в камень; тогда это значительно облегчит дело. Они несколько раз возвращались к этому вопросу и пришли к тому заключению, что нет на земле такой вещи, которой бы они не сделали для аптекаря, этого превосходного, совершенно необыкновенного человека...

Август пошел в Южную деревню. Он шел туда по делу, он нес с собой новость: судьба мешала ему развивать дальше его деятельность. Теперь он шел главным образом за ответом; пусть она не удивляется,— он ждал достаточно долго.

Как всегда, Тобиас и жена его вышли к нему навстречу и пригласили его войти, но Корнелии не было в избе. Мальчик Маттис сообщил, что он совсем недавно видел Корнелию на соседнем дворе, где Гендрик обучал ее кататься на велосипеде.

Ага! Август был доволен: это доказывало, что ему удалось отвлечь ее от Бенямина. Он протянул Маттису крону и сказал:

— Пойди, приведи их.

Прошло довольно много времени, прежде чем они пришли. Август сидел молча, опираясь обеими руками на трость, ему не хотелось сообщать новость одним старикам. Они въехали во двор на велосипеде, Корнелия сидела сзади. Они здорово злоупотребляли дорогой машиной, — двое взрослых людей по неровной дороге. Но он ничего не сказал на это: маленькая Корнелия была легка и тонка, ее слишком плохо кормили всю ее жизнь.

— А я ждал тебя, Гендрик, — сказал он.

— Как-так? — спросил Гендрик. — Мне хватит денег на весь завтрашний день.

— Но ведь у меня может быть и другое распоряжение.

Август обернулся к Корнелии и спросил ее, любит ли она кататься.

— Да, — сказала она, — это ужасно весело, и потом Гендрик уж очень хорошо учит.

— Я подарю тебе дамский велосипед, — сказал он. — А что ты дашь мне за это?

— Мне нечего дать вам.

— А то, о чем я говорил с тобой прошлый раз?

— Он ни о чем не говорил со мной, Гендрик, — сказала она и покраснела.

Какое отношение имел к этому Гендрик? Но — черт возьми! — они уже обменивались друг с другом загоревшимися взглядами. Да, он уже, никак, опять пользовался ее милостями: велосипед и его высокая должность скупщика овец поразили ее. Все это имело крайне подозрительный вид.

Август объявил наконец свою новость, он сказал:

— Я не покупаю больше овец, Гендрик.

Все в избе разинули рты, а Гендрик воскликнул:

— Как же так?!

— Да, ты, вероятно, думал, что это будет продолжаться вечно, но этому наступил конец.

— Гм! — сказал Тобиас, — как же это может быть? Простите, что я спрашиваю.

— Дело в том, — объяснил Август, — что на горе не хватает больше корма для овец. Иёрн Матильдесен и Вальборг прибежали и предупредили меня. Ни одной овцы больше.

— Вот уж несчастье, так несчастье! — посочувствовал Тобиас.

Август очень неодобрительно отозвался о горе, здорово пробрал ее: дрянная гора, пастбище всего лишь с мялю, корма хватает всего лишь нескольким овцам, никуда это



не годится! Ему бы ни в коем случае не следовало покидать Гардангерское плоскогорье. Когда-то там у него было тридцать тысяч овец. Пастбище простиралось на десять миль и у него служило пятьдесят пастухов.

Опять он назвал эти крупные цифры, все это было выше их понимания.

Гендрик, подавленный, спросил:

— Значит, мне больше не покупать овец?

— Нет, ты же слышишь. И потом, каких это овец ты прислал сегодня, одна кожа да кости! Ты нехорошо поступил.

Корнелия вмешалась:

— Не мог же Гендрик рассматривать каждую овцу, которую он покупал.

— Удивительно, до чего ты сдружилась с этим Гендриком! — сказал ей Август и еще раз заставил ее покраснеть.

О, до чего все выходило не так, как ему хотелось! Вот теперь они у него на глазах занялись любовью.

— Давай-ка я послушаю, Маттис, многому ли ты выучился по части музыки за это время, — сказал он, чтобы окончательно не пасть духом.

Маттис ничему не выучился, но он принес гармонику и положил ее Августу на колени. Какая хитрость! Это — чтобы заставить его играть! Но разве у него было подходящее настроение, разве довелось ему испытать живую радость, целовать кого-нибудь? Он положил трость на стол и стал перебирать клавиши. Он был мастером в свое время, но клавишей было много, четыре двойных ряда, а его пальцы от старости потеряли гибкость.

И вдруг с отчаяния, потеряв голову, он стал играть песнь о девушке, потонувшей в море, и запел.

Опять все разинули рты: они этого не ожидали, они ничего не ждали, и уж меньше всего, что он запоеет, но он запел. Только бы он не пел! И не оттого, чтобы это как-нибудь портило музыку, но уж очень было неуместно для старого человека: он делался похож на карикатуру, нависшие усы так жалостно дрожали.

Все немного смутились. Он увлекательно играл длинные строфы, играл трогательно и на все лады, удачно вставлял между каждой музыкальной фразой несколько звучных аккордов; этим в свое время он славился повсюду. Но старец, который поет, эти усы, водянистые глаза, вся фигура...

Корнелия, крайне сконфуженная, схватила со стола его палку, погладила ее несколько раз рукой и уселась,

положив ее себе на колени. Он заметил, и это его подзадорило; она сидела с его палкой и смотрела прямо перед собой, стараясь скрыть, что она расстрогана. Корнелия не могла знать этой песни: ее пели два-три поколения до нее, в Сальтене ее пели, пожалуй, тридцать лет тому назад, теперь песенка забыта. Но Корнелия слышала слова и не могла их не понять.

Он дошел до того места, где девушка бросилась в море.

Здесь он выкинул фокус. Август видел и слышал многое на своем веку и он умел производить эффект: фокус заключался в том, что он внезапно остановился и пропустил такт. В течение этой неожиданной и бесконечной тишины, длившейся несколько секунд, казалось, девушка погружалась на дно моря. После этого Август взял еще несколько протяжных аккордов и закончил.

— Возьми ее! — сказал он Маттису, отдавая гармонику; вероятно, его пальцы здорово устали.

Корнелии он сказал:

— Хочешь, возьми себе мою палку.

Видно, она не так уж сильно переживала песню, ибо тотчас спохватилась и засмеялась:

— Нет, что вы, на что она мне?.. Как это красиво, то, что вы сыграли.

— Ты находишь?

— Да, это самое замечательное, что мне приходилось слышать, — подтвердил и Тобиас.

Жена его из стороны в сторону качала головой и тоже поддакивала:

— Да, да, мы никогда ничего подобного не слышали.

И тут старики, стараясь поддержать его, хвалили вовсю, но это как будто бы мало действовало на дочь. Корнелия сидела и как ни в чем не бывало снимала соломинки, приставшие к нарядной куртке Гендрика.

— О, это пустяки в сравнении с тем, как я играю на рояле! — сказал Август. — Потому что тогда я играю только по нотам.

— Да, так-то оно бывает, когда человек — музыкальный гений! — поддакнул Тобиас.

Август продолжал:

— Если бы я не ходил по ночам, не размышлял бы и голова бы моя не была полна дел, я бы мог играть на рояле каждое утро.

— Вы не спите по ночам? — спросил Тобиас.

— Нет, редко. Я ведь говорил тебе, Корнелия, как обстоит со мной дело.

Она вздрогнула, словно ужаленная.

— Этого я не помню,— сказала она.— Ну, пойдём, Гендрик, поддержи меня ещё немного. Тогда я смогу сказать, что почти что выучилась.

Ну и сумасшедшая же! В такой момент учиться езде на велосипеде! Неужели же она не могла быть серьёзной хоть немного?

— Гм! — сказал Август и протянул руку по направлению к Гендрику.— Поддай-ка сюда бумаги, относящиеся к твоим последним покупкам.

Гендрик стал ощупывать карманы своей куртки, в одном из карманов нашел бумаги и разложил их. Август надел пенсне, просмотрел их, выписал цифры и подвел итог. Потом он опять протянул руку и потребовал деньги, отчет. Тогда Гендрик вынул и развернул пакет из серой бумаги: деньги тоже были в порядке. Корнелия напряженно следила за происходившим. Август пересчитал ассигнации.

— Да, тут есть ещё и мелочь,— сказал Гендрик и скватился за карман штанов.

— Ерунда! — сказал Август.— В делах мне мелочь не нужна. А вот тебе твоё жалованье, пересчитай!

Гендрик. Но ведь я же получил его, когда начал работать.

— Тебе сказано: пересчитай!

Вот как нужно было поступать с ними: приказывать — и все тут! Но Гендрик был все-таки симпатичный мальчик, и когда он протянул руку, чтобы поблагодарить, Августу стало даже жалко Гендрика. Теперь, когда он лишится своей должности уполномоченного и своего заработка, Бенъямин из Северной деревни опять возьмет над ним перевес; Корнелия даже в данный момент как будто бы начинала меняться к нему и не снимала больше соломинок с его нарядной куртки.

— Гм! — сказал Август.— У меня есть для тебя другая должность, Гендрик. У меня столько должностей... ты ещё услышишь обо мне.

— Вот было бы хорошо! — обрадовался Гендрик.

— Но ты не знаешь, вероятно, ни одного иностранного языка?

— Нет, языков я не знаю.

— Вот это-то и плохо. Я знаю их четыре.

Тобиас, пораженный, закачал головой.

— Я бы мог сидеть здесь три недели подряд и говорить только по-иностранному.

Тобias. Человек, который по-настоящему человек, тот все может!

— Ну, так, значит, я вам не понадобится? — спросил, падая духом, Гендрик.

— Я же сказал, что ты услышишь обо мне. А раз я сказал, значит сделаю.

— Не сердитесь на меня! — попросил Гендрик.

— Дело в том,— объяснил Август,— что к нам в усадьбу приедет скоро знатный англичанин, лорд. Это будет приблизительно через неделю. Он будет ходить на охоту, удить форель и вообще будет гостить у нас. Тебе не придется нести тяжелую работу при нем, ты будешь только следовать за ним с его ружьем, тростью и трубкой, и вообще всегда будешь находиться при нем.

— Но ведь я не смогу с ним разговаривать!

— Я быстро выучу тебя самому главному. Я и тебя хотел выучить, Корнелия, но ты отказалась.

— И как тебе не стыдно! — вставила мать.

— Она другой раз бывает совсем душой,— извинился за нее отец.

— Это будет замечательная должность для тебя, Гендрик,— продолжал Август.— Совсем не то, что рыскать кругом по деревням и скупать овец. Я начинаю раскаиваться в этом своем предприятии: слишком уж это мелко для меня, хотя, впрочем, не так уж мелко.

— Сколько же овец у вас теперь всего? — спросил Тобias.

— Немногим больше двух тысяч,— равнодушно отвечал Август.

— Две тысячи! — закричал Тобias.

Жена его не поняла этой огромной цифры, но тоже издала восклицание.

Август хвастал совсем неумно: он же мог предвидеть, что Иёрн Матильдесен с женой восстановят истину. Нет, он лгал неглубоко и непрочно, он выдумывал только на один раз, без всякой необходимости, не придавая своей лжи никакой солидности. Фантазии у него было достаточно, была также способность сочинять и придумывать хитро-сплетенья, но размах его не знал глубины.

Корнелия сказала, как бы в утешенье:

— Ну вот, Гендрик, у тебя будет другая должность.

Август обернулся вдруг к ней и спросил:

— Ну, а мне, что будет мне за это, Корнелия?

Тут вдруг Тобиас словно вспомнил что-то и вышел. В дверях он обернулся, позвал Гендрика и увлек его под тем предлогом, что должен показать ему что-то в сарае.

— Ты не отвечаешь,— продолжал Август,— но знай, Корнелия, что все это я делаю не для него, а исключительно ради тебя.

Она стала вертеться во все стороны, показывая, что все это ей надоело и наскучило сверх меры.

— Пожалуйста, оставьте это! — просила она.

— Как тебе не стыдно! — сказала мать и вышла.

— Я предлагаю тебе все то же, что предлагал и прежде,— продолжал Август,— и делаю это от всего сердца и от всей души. Нет такой вещи на всем земном шаре, в которой бы я отказал тебе: так я люблю тебя. Много раз, когда мне становилось уж очень тяжело, я подумывал уехать подальше от тебя и не мог, и мне очень трудно. Что же ты скажешь на это, я спрашиваю тебя? Или ты совсем не хочешь меня пожалеть?

Все совершенно ясно,— нежные речи, сватовство. А так как ее глаза были устремлены в окно, то она не могла заметить его дрожащих усов, которые, возможно, были противны ей.

Во дворе стояли Тобиас и Гендрик. Они побывали в сарае и вышли оттуда, они задержались возле велосипеда и разговаривали. Казалось, что Гендрик порывается уйти, но его удерживают.

Август все ждал и ждал, но не получил ответа. Корнелия так от этого устала, и так это ей надоело, что она опять принялась вертеться, держась на расстоянии. Он попытался обнять ее, но она не подпустила его к себе.

— Оставьте меня! — резко сказала она.

Но ничто на него не действовало; он продолжал молчать, потом спросил, неужели уж ей так трудно хоть немного посидеть у него на коленях,— они были ведь одни, никто этого не увидит...

Она. Я не хочу сидеть у вас на коленях. Этого вы от меня не добьетесь.

— Не все так говорят мне. Девушки из усадьбы, например, с удовольствием посидели бы у меня на коленях.

Тут вошел Гендрик. Вероятно, ему удалось вырваться.

— Хорошо, что ты пришел,— сказала Корнелия.

— Как? Почему? — спросил он.

— Я ничего не скажу больше,— ответила она, стараясь держаться поближе к нему.

Август встал и собрался уходить. Его сердило, что Гендрик вытеснял Беньямина и он сказал:

— Как нехорошо с твоей стороны, Корнелия, быть такой ветреной! Ты совсем забыла о том, что в церкви должны были оглашать тебя и Беньямина.

Корнелия ответила:

— Я обещала ему не наверное. Я правду говорю, Гендрик.

По дороге домой Август еще не верил, что все потеряно, надежда бессмертно жила в нем. Она держала на коленях его палку, она сама сказала, что он играет замечательно...

Осе вынырнула из кустов и стала поперек дороги.

Придорожный прах! Он пройдет у самого края, чтобы не запачкаться об нее. Тут Осе что-то сказала, стала кривляться, предсказывать ему дурное, плевать, проделала все свои фокусы, которыми пугала народ в избах.

Омерзительное существо! Он отнесется к ней снисходительно, в самом деле, он будет с ней до смешного ласков, он улыбнется ей и пошутит: «Итак, длинное чучело, ты гуляешь? Рыщешь по дворам и вынюхиваешь, нет ли где отбросов, чтобы поддержать свою собачью жизнь? Мне жаль тебя, Осе, но не обижайся, если я смеюсь, глядя на тебя. Ты до того костлява и суха, до того ничтожна, что тебе даже названия не придумает. Оставайся с миром!»

### ГЛАВА XXX

---

Все должен был улаживать Август.

В одиннадцать часов вечера, когда он уже лег спать, к нему постучали. Он открыл окно, увидел внизу почтмейстера Гагена, узнал, в чем дело, и торопливо оделся. Уж эти рабочие! — Они начали ломать стену подвала!

Почтмейстер отправился на вечернюю прогулку и обнаружил это. Он хотел было остановить рабочих, но они направили его к Августу, а сами продолжали ломать с криком и громом, ударяли кирками по красивой стене и при этом еще пели.

«Чертовские рабочие! Никогда не могут они сделать так, как им говорят. Ломать стену ночью, когда это нужно было делать днем, от восьми до часу».

Почтмейстер торопил его, и Август, который и сам был раздосадован, бежал рядом с ним. Они, запыхавшись, примчались на место происшествия.

Август крикнул:

— Это так-то вы исполняете мое приказание?

Рабочие были невиноваты, совершенно невиноваты. «Ах, это относительно времени?» Но они порешили сделать это теперь ночью. Потому что нет такой вещи на земле, которую они не сделают ради аптекаря. Почему же непременно между восемью и часом?

Август только головой покачал и увлек за собой почтмейстера. В сущности Август был очень доволен, он теперь с более спокойной совестью, чем когда-либо, мог обвинить во всем рабочих, которые в свою очередь тоже были невиноваты. Только уж пусть лучше почтмейстер не прислушивается к таинственным разговорам о времени.

Вдвоем они осмотрели разрушенную стену, — больше ничего не оставалось, как только ломать до конца. Август качал головой и был вне себя:

— Вы ведь сами слышали, почтмейстер, что они поступили вопреки моему приказанию?

Да, почтмейстер слышал.

— А не находите ли вы, — раз уж они так много разрушили, что нужно совсем сломать?

— Да, я тоже так нахожу, больше ничего не придумаешь. В таком случае мне остается только извиниться перед вами, что я побеспокоил вас.

Август отмахнулся:

— Не стоит, не стоит! — И он утрашающим голосом закричал рабочим: — Ну что ж, ломайте, ребята! А завтра я с вами поговорю!

Так уладилось это дело.

Утром Август вместе с дворовым работником Стеффеном повез в охотничий домик инвентарь. Рабочих он застал наверху на своих местах, в час ночи они окончили разрушение стены, поспали пять часов, целую бездну времени, и теперь с новыми силами буравили дыры.

— О, все в порядке, все будет отлично, староста. И аптекарь, когда вернется, найдет свою стену в развалинах!

Август не сказал им ни одного слова насчет неправильно выполненного приказания. Но он хорошо знал рабочих, знал, что после горячки у них наступит охлаждение и что вряд ли они в такое короткое время поставят загородки...

Свидание с консулом в конторе состоялось и прошло благополучно.

Консул встретил его очень смело, памятуя свою удачу в последний раз. Теперь как раз случилось так, что Давидсен ушел из банка и консулу пришлось занять его

должность, принять от него банк. На собрании правления его заставляли и ему угрожали,— черт знает что за насилие! — но другого подходящего человека не нашлось, а банк нельзя же было закрыть. Но где тут справедливость? У консула было свое крупное дело и коммивояжеры, британское консульство, сегельфосское имение, за всем нужно было следить, вести двенадцать книг, не говоря уже о корреспонденции. Теперь на него взвалили еще банк! И все это произошло из-за того, что Август попросил у Давидсена денег.

Теперь прилетит этот Август, примчится и потребует свои деньги у консула, уж наверное, он явится сегодня же. Но консул вовсе не желал, чтобы от него было легче получить деньги, чем от Давидсена, и у консула тоже была совесть, и он тоже хочет помешать людям глупо тратить свои деньги. Ни одного зре,— тут надо быть решительным.

— Знаете что, На-все-руки, это вы заставили Давидсена уйти из банка.

— Я? — спросил Август.

— Да, и, так сказать, принудили меня принять от него дела банка.

— Да быть не может! — воскликнул Август.— Ведь не хлопнул же я кулаком по столу перед носом Давидсена?

— Я не знаю, что у вас там произошло, да и знать не желаю.

— Я попросил всего несколько тысяч крон.

— Ну, а его совесть не позволила ему пойти на это, насколько я понял.

Август задумался.

— Если бы я знал, что выйдет столько неприятностей, я бы не взял у Давидсена ни одного зре. Потому что деньги мне так и не понадобились.

Консул опешил:

— Деньги вам не понадобились?

— Нет. Я прекратил скупку овец. Гора не может прокормить большее стадо.

У консула был вид, точно он только что избежал опасности.

— Вот оно что! Дело принимает другой оборот. Но в таком случае у вас, вероятно, страсть сколько овец?

— Не-ет! Несколько тысяч. Не могу сказать точно, пока не просмотрю своих бумаг.



— Действительно, дело приняло другой оборот,— про-  
бормотал консул еще раз.— Так вам не надо теперь больше  
денег?

— Нет,— отвечал Август.— Впрочем, я собираюсь ку-  
пить несколько участков земли, но это будет уже в  
будущем году.

— Вы говорите, что хотите купить несколько дворов?

— Да, для того, чтобы иметь корм для овец на зиму.

— Вот как! Гм! Такие планы требуют больших  
средств,— проговорил консул, снова сбитый с толку.

Август улыбнулся:

— Средства найдутся. У меня много всяких предприя-  
тий в разных странах.

— Очень приятно слышать,— сказал консул.— Я лично  
желаю вам всяческого успеха. Все это великолепно. Кстати,  
На-все-руки, я давно уже хочу попросить вас об одной  
вещи, а именно — подать мне совет. Как вы знаете, мне  
навязали этот банк. Он слишком близко, чтобы ездить  
туда на автомобиле, а на хождение мне не хочется тратить  
драгоценное время. Не находите ли вы, что мне следует  
перенести банк сюда?

Август взглядом измерил контору.

Консул поспешил добавить:

— Конечно, мне пришлось бы пристраивать.

Август закивал головой:

— Да, пристроить вот с этой стороны, прорезать...

— Вот именно,— сказал консул.— Во что это обойдется  
на первых порах?

Август опять улыбнулся:

— Консула это не разорит. Если вы скажете, я,  
пожалуй, сделаю смету.

— Сделай, На-все-руки. Три комнаты: зал и две  
комнаты сзади. Строение деревянное.

О! это были единомышленники в своей никчемности.  
Строить, действовать, производить обмен в возможно  
большем масштабе...

Но прежде чем уйти, Август вдруг спросил:

— А что, сейчас банк помещается в собственном доме?

— Нет, мы снимаем помещение у шкипера Ольсена.  
Но я не хочу вас задерживать На-все-руки,— сказал  
консул.— А что касается Давидсена, то это хороший и  
редкий человек, желающий всем только добра. Но деньги,  
конечно, ваши.

Улажено с Августом. Гордон Тидеман остался доволен.

А банк он захотел перенести не только из важности. Правда, его ничуть не прельщало ходить в эту крошечную лачугу, которую шкипер Ольсен построил когда-то для своей маленькой семьи. Консул привык к другим дверям и окнам. Но раз уж Гордон Тидеман выстроит приличное помещение и затратится на первых порах, то он будет сдавать его в будущем, он заключит контракт с банком на двадцать лет вперед. Нет, он отнюдь не только шут, он был также и деловым человеком.

Следующим событием была открытка, пришедшая на имя кого угодно в Сегельфосское имение. Открытка? Да, от Старой Матери и аптекаря Хольма о том, что они поженились. Поженились!..

В доме консула все всплеснули руками, а фру Юлия до такой степени была поражена, что не находила слов. Но она хитро улыбалась, как будто бы, играя в жмурки, подглядела чуть-чуть из-под повязки.

Но консул Гордон Тидеман отнюдь не улыбался, — нет, уж извините! Поступить таким образом, исподтишка, пренебречь всеми формами, действовать за его спиной!

Фру Юлия стала заступаться:

— Но, дорогой Гордон, как ты не понимаешь? Ей же было неловко.

— Ей? Я не говорю вовсе о моей матери, я говорю о нем. Что это за манера? Он отлично знал, кто глава семьи, и в любой день мог бы поговорить со мной.

— Но он, вероятно, просто боялся, что ты откажешь ему.

— И имел на то основание. Трус, который боится разговора и отступает перед столкновением! Он поступил очень некрасиво, и ноги его не будет в нашем доме.

— Вот как? — сказала фру Юлия.

— Не правда ли, Юлия, ты со мной согласна? Он поступил, как в деревнях, так пусть и отправляется туда же.

— Я понимаю тебя, — сказала фру Юлия. — Но когда придет твоя мать и он с ней, я, право, не знаю...

— Я-то знаю. Позаботься только о том, чтобы я был здесь, я укажу ему на дверь.

— Хорошо, — сказала фру Юлия.

— Впрочем, я не намерен вовсе щадить и мать. Ведь это она поставила нас в такое положение.

Фру Юлия, улыбаясь:

— Но что могла она сделать?

— Она могла бы послать его ко мне.

— И для нее это тоже было не так просто; может быть, и она тоже боялась твоего отказа.

— Она? Нет, извини меня, мать моя ничего не боится. Ни в коем случае. И у нее могут быть свои недостатки — у кого их нет?— но только она не лицемерна и не труслива. И потом, разве ты не находишь, Юлия, в этом деле она проявила большое мужество?

— Еще бы!

— Она действовала очертя голову,— сказал Гордон Тидеман.— Хотел бы я видеть кого-нибудь, кто осмелился бы проделать нечто подобное этому!

Он походил немного взад и вперед по комнате, поглядел на ребенка и добился того, что крошечная ручка ухватила его за палец.

— Смешная и милая! — сказал он.— Но мне пора идти. Этот ужасный банк, который они мне навязали!..

— Я надеюсь, тебе хорошо заплатят,— сказала фру.

— Несколько тысяч. Но дело не в этом. Это отнимает ведь много часов в день от моей основной работы.

— Ты справишься, Гордон!

— Справлюсь! Может быть, ты хочешь, чтобы муж твой никуда не годился, прежде чем ему исполнится семьдесят лет.

— Нет, нет, не говори так! — сказала фру Юлия и притянула к себе его голову.

Дойдя до двери, он обернулся и сказал:

— Я подумал, Юлия, и считаю, что ты права: когда мама придет и он вместе с ней, не можем же мы не впустить его. Но я буду с ним холоден, как лед. Вот все, что я хотел сказать.

— Хорошо,— сказала фру Юлия.

В аптеке открытка поразила всех словно громом. Они ведь ничего не знали, ничего не понимали, они даже не захотели ничего устроить к приезду аптекаря и его жены: пусть знают в другой раз! Однако кое-что указывало на то, что и фармацевт и лаборант все-таки что-то знали и только делали вид, что они поражены. Зачем бы иначе делали они эти странные вещи на прошлой неделе? А они вошли в спальню аптекаря и передвинули кровать, словно хотели освободить место еще для другой кровати рядом. Что за черт! какое им дело до спальни аптекаря? Но прошел день, и фармацевт с лаборантом сделали другую странную вещь: они сходили в сегельфосскую лавку и купили занавески в спальню, без которых Хольм отлично

обходился все время. Плотные, отличные занавески, как оказалось, когда лаборант повесил их на окна.

Но вот пришли открытки и как громом поразили всех — и в городе, и в аптеке. Конечно, прислуга, эта пила, тотчас ушла. Она до того разозлилась, что не хотела оставаться ни одного дня, ни одного часа, она отправилась обратно в гостиницу и решила просить Вендта взять ее на прежнее место.

Когда парочка, молодожены, должны были приехать, весь Сегельфосс высыпал на пристань; доктор с женой, священник с женой, окружной судья с женой. Фру Юлии тут не было, потому что она еще недостаточно окрепла, но начальники почты и телеграфа со своими дамами стояли тут же, и многие из мелких торговцев, и Август тоже пришел. Август сам получил открытку, и во время всеобщего приветствия он тоже высоко поднял шляпу и заявил торговцу, стоявшему рядом с ним:

— Я знал это с самого начала, они сказали мне об этом!

Но ни фармацевта, ни лаборанта тут не было; они хотели, вероятно, подчеркнуть свою обиду на то, что их держали в таком полном неведении. И сама пара, пожалуй, предпочла бы, чтобы их никто не встречал; аптекарь во всяком случае имел самый жалкий вид, что как-то не вязалось с ним.

Вдруг на пристани показался сам консул, Гордон Тидеман.

Он шел довольно быстро, хотел, вероятно, узнать, по какому случаю весь Сегельфосс собрался к пароходу, и очутился посреди толпы. Вероятно, он тотчас же пожелал провалиться сквозь землю, но было уже поздно; он улыбнулся и сказал:

— А, вот они, беглецы! Добро пожаловать домой, мама. Здравствуйте, аптекарь.— Он обоим протянул руку, а мать похлопал по спине.— Вы должны поскорее собраться к Юлии, она немного прихворнула на прошлой неделе.

— Я знаю,— отвечала мать,— я получила телеграмму. Теперь, я надеюсь, она совсем здорова?

— Да, все отлично. Ты говоришь, ты получила телеграмму? Она знала, где ты была?

— Здравствуй, На-все-руки,— сказала она, отделяясь от расспросов.— Ты был здесь, когда мы уезжали, и ты опять здесь, когда мы возвращаемся.

Август держал шляпу в руке и не поздравлял, как другие, а только молча поклонился.

Наконец все кончилось, и они ушли. Возле аптеки супруги были встречены лаборантом и фармацевтом, впрочем, с довольно кислыми минами. И тут супруги в первый раз рассмеялись от всего сердца за все путешествие. Говорил фармацевт, выражая свое недовольство, — гм! вернее даже сказать — вполне обоснованное бешенство за то, что их сочли недостойными и не уведомили о великом событии, прежде чем весь город узнал о нем. И вот теперь господам ничего не приготовлено, а им самим не захотелось даже нарядиться в воскресное платье и украсить драгоценными камнями.

— Но, пожалуйста, входите, аптекарь Хольм. Ваш дом все такой же, каким вы оставили его, с одним стулом и с кроватью на одного человека. Пожалуйста, входите и вы, госпожа аптекарша Хольм. Но пила ушла из дому и не вернется больше, поэтому в доме нет никакой еды. Лаборант и я, мы не ели уже два дня. Правда, лаборантпил сплошь все это время, поэтому он и не может ничего сказать сейчас, но я и к бутылке не прикасался. Итак, добро пожаловать под жалкую кровлю аптекаря Хольма: она протекает и в дождливую погоду, и в солнечную. А если вам хочется есть, то ступайте в гостиницу, господа!

Но молодожены, супруги, отнюдь не пожелали идти в гостиницу. Фру обыскала кухню и кладовую и нашла довольно много съедобного. Лаборант на велосипеде съездил в город за недостающим, и получился отличный обед.

Потом они обошли комнаты. Их было немного, и они были маленькие, — иными словами, уютное жилье в две комнаты, — и «обходили» они их так, что из столовой переступили порог спальни. Тут аптекарь выразил свое удивление:

— Занавески?! — сказал он.

— Те же самые, что висели здесь все время, — ответил фармацевт. — Я ни к чему не прикасался.

— Вот это здорово! — сказал Хольм. — И потом две кровати! — сказал он. — Или вы хотите внушить моей жене, что пила спала тоже здесь?

— Нет, эту кровать мы втащили сюда вчера, когда в комнате для прислуги уж слишком стал протекать потолок. Мы не успели вынести ее обратно.

Все в порядке.

Август был теперь всецело поглощен присмотром за рабочими; нужно было, чтобы они работали, чтобы они не слишком часто бегали в аптеку. Произошло именно то,

что Август предчувствовал: пыл соскочил с рабочих, они продолжали буравить, но все более и более вяло, и не выполняли договор о сверхурочном времени.

Консул сам приехал на автомобиле, чтобы присутствовать при расстановке мебели в охотничьем домике. Удивительно, что до сих пор не поставили и первой загородки! Он недовольно покачал головой. Но Август не терял надежды и объяснил, что они сначала пробуравят дыры, чтобы потом за раз вставить все прутья и залить цементом. Все устроится.

Через два дня консул опять приехал и на этот раз забеспокоился всерьез.

— В крайнем случае пусть ставят хоть ту часть загородки, которая у них готова,— сказал он.

Август вручил ему смету, которую составил на пристройку для банка, один вариант для деревянного здания, другой — для каменного. Конечно, каменное строение куда более подходит для банка.

Они обсуждали этот вопрос некоторое время, но консул не дал себя отвлечь от своего беспокойства и, надутый, уехал обратно.

— Здесь недостает одного человека,— сказал Август.— Где он?

— Он пошел к кузнецу точить бурав.

— В рабочее время? Извольте брать буравы с собой по вечерам и отдавайте их точить, а утром приносите их обратно.

Молчание.

— Уж очень много возни, тоска берет,— сказал Больдман, старший в артели.— Так это нам надоело. Дыра за дырой, и так ничего кроме дыр и не видишь.

— Вы сами виноваты, что давным-давно не кончили,— сказал Август.

На это не последовало ответа. Но парни отлично знали, что могли делать по-своему и растягивать работу: конкуренции не было, и они распустились.

— И потом аптекарь приходил сюда и просил сложить новую стену для его подвала,— сказали они.

— Да,— отвечал Август,— когда вы кончите здесь!

— И как это староста так глупо рассуждает! — сказали они.— Буравить дыры, уж если на то пошло, можно всю зиму, но разве можно цементировать подвальные стены в мороз?

— Попридержите языки! — закричал Август.— Загородки будут поставлены!

Август задумался: он ничего не добьется, если не будет стрелять. Но и выстрелами тоже ничего не добьешься. А жаль, он бы с удовольствием разрядил револьвер.

Но вот опять на помощь приходит случай и далеко вокруг распространяет свое влияние: приехал консул с радостным известием, что англичанин ненадолго уехал в Свальбард и пожалует сюда только через несколько недель.

Вот хорошо-то! Прямо-таки спасение! Жалко только, что консул рассказал это в присутствии рабочих. Отлично! Теперь у них сколько угодно времени. Они с трудом дождались окончания работы и на следующий день не буравили дыр. Август застал их у стены подвала: работа была в полном разгаре, они замешивали цемент.

Он разыскал аптекаря. Это нехорошо с его стороны: рабочие не все еще кончили на дороге, они не могут бросить дело на половине и перейти к работе над подвалом.

Аптекарь испугался: ведь консул к тому же сделался его близким родственником, так сказать, его зятем.

— Словно вы меня прибили,— сказал он.— Рабочие сами пришли ко мне вчера вечером и сказали, что они свободны. «Отлично,— отвечал я,— ставьте стену на метр ближе к центру. Приступайте завтра же, я тороплюсь!»

— Почему же вы торопитесь? — спросил Август.

— Нет, я не тороплюсь,— несколько смутясь, отвечал аптекарь: — Но нам бы, конечно, хотелось построить его, прежде чем выпадет снег,— я говорю о доме. Целая моторная шхуна плывет уже с Юга и везет материалы и плотников. Но это ничего не значит, рабочие ни в коем случае не должны начинать строить наш маленький домик, прежде чем не кончат работу у вас.

Август стал соображать: если строительный материал и плотники уже в пути, необходимо сейчас же зацементировать стену подвала и возвести фундамент, чтобы они могли высохнуть. Августу очень хотелось помочь новобранным, и ему и ей, безусловно хотелось.

— Постараемся устроиться так, чтобы никому не было обидно.

— Если это возможно,— пожалуйста. Мы будем вам очень благодарны,— отвечал аптекарь.

Тут наступило для Августа трудное и беспокойное время. Раз уж рабочие начали выкладывать стену, они должны были закончить ее. К этому присоединилась еще одна вещь: водопровод для дома и подвала. И, черт возьми, как раз эта часть проекта и заинтересовала Августа больше всего; водопроводом усиленно занялись и рабочие и совсем

перестали буравить дыры. Он каждый вечер со страхом ложился спать; Август рисковал получить выговор и на следующее утро, и еще на следующее, потому что работа над загородками не двигалась с места. Так проходили недели.

За это время ему ни разу не удалось повидаться с Корнелией и окончательно договориться с ней. Когда он приходил, ее невозможно было разыскать. Он не понимал, как у нее хватало сердца. Она была ему так дорога. «Подержать бы ее за руку,— думал он.— Это была такая жалкая ручка, с потрескавшимися ногтями». Он часто бывал в Южной деревне, и каждый раз по делу. Так, например, ему нужно было сказать Гендрику, что англичанин уехал в Свальбард, а на другой день, например, ему нужно было объяснить Гендрику, сколько времени понадобится, чтобы съездить в Свальбард и обратно. Но встречи с Корнелией невозможно было добиться.

— У какого лешего она пропадает? — спросил он Гендрика.

— Она и от меня прячется,— ответил Гендрик.

— Зачем она это делает?

— Я не знаю. Может быть она сомневается, что я получу должность при англичанине.

— Она так и сказала?

— Да. Раз он не приезжает.

Август рассердился:

— Кланяйся ей от меня и передай, что если уж я сказал что-нибудь, так оно и будет!

Но тут случилось большое несчастье, и никакой поклон не был ни передан, ни получен обратно. Все кончилось раз и навсегда.

Примчался Гендрик. Он даже не ехал на велосипеде, а бежал со всех ног, вне себя, без шапки.

— Она умерла! — проговорил он.

— Умерла? Корнелия?

Молчание.

— А ты не врешь? — спросил Август.

Гендрик стал рассказывать:

— Они пошли утром, она и отец, с кобылой. Лошадь так бесилась по жеребцу, кусалась и брыкалась, ни минуты не стояла на месте. Наконец они выбрались на дорогу, они вели ее в соседний округ, к породистому жеребцу. Они дошли как раз до перекрестка и собирились повернуть на другую дорогу, но лошадь заупрямилась и стала подыматься на дыбы. Они оба потащили ее, но Корнелия



споткнулась, и лошадь ударила ее копытом. Удар оказался смертельным. Кобыла попала Корнелии в висок. Одним ударом...

Молчание.

— Отец сбегал за водой и принес ее в шляпе; он думал, что она только потеряла сознание, но Корнелия умерла.

Опять молчание.

— Он много раз бегал за водой, но она не открыла больше глаз. Он звал также на помощь, но это было на перекрестке, далеко в полях... Так ему и не удалось заставить ее раскрыть глаза и дышать она тоже перестала. Он замолчал.

— А ты был с ними? — спросил Август.

— Я? Нет. Отец принес ее. Маттис взял у меня велосипед, чтобы съездить за доктором, но это было ни к чему.

Август даже в этот момент не потерял присутствия духа.

— Что сказал доктор? Пустил он ей кровь?

— Этого я не знаю. Он сказал, что она умерла.

— Он не пустил ей кровь?

— Я не знаю, — сказал Гендрик, — меня не было в доме. Он вышел и сразу сказал, что она умерла. И потом уехал на своей мотоциклетке.

Август тотчас вспомнил случай из своей жизни в далеких краях: смертельный удар бутылкой прямо в висок. Человек умер, но ему вскрыли все-таки вену. Август хладнокровно принял известие Гендрика, был неразговорчив, но особенного горя не обнаружил.

— Я предупреждал их, — сказал он, — я же запретил Корнелии приближаться к кобыле.

— Да, я слышал, — сказал Гендрик.

— Глупо, что я не застрелил чудовище, — сказал Август. — Я бы мог сделать еще одну вещь: проколоть ей брюхо от вздутия. Но ведь она же не от этого бесилась. Пожалуй, прокол бы ей не помог. Да, мне следовало бы застрелить ее.

Гендрик ничего не возразил.

Был ли Август упрямым, не пожелавшим обнаружить свое горе? Или его легкомыслие, его поверхностность помогли ему перенести катастрофу? Может быть, и то и другое вместе. Корнелия умерла, она не досталась ему, но ревность безусловно перестала его мучить, оттого что она не досталась также и никому другому.

— Тут уж ничего не поделаешь,— сказал он.

Гендрик плакал, с трудом скрывая слезы, отхаркивался изо всех сил и изредка встряхивал головой, чтобы ободриться.

— Тут уж ничем нельзя помочь, Гендрик.

— Да, но быть убитой лошадьё, это так ужасно! Я никак не могу справиться с собой.

— Да,— отсутствующим тоном сказал Август.

— И все было бы так хорошо, если бы мы оба остались живы.

— Да,— равнодушно заметил Август.

— Мне стало это так ясно, когда я видел ее в последний раз.

— Многим, пожалуй, это было ясно,— намекнул Август.

— То есть как? Был еще только один Беньямин. Но она сказала, что гораздо больше любит меня, чем его.

Август глубоко оскорбился, что его не приняли во внимание.

— Беньямин вовсе не был единственным,— это-то я наверное знаю. Впрочем, у меня есть другие дела, поважнее разговоров с тобой,— сказал он и ушел.

## ГЛАВА XXXI

---

Была уже середина сентября, по ночам края луж затягивались льдом, а так как водопровод необходимо было закончить прежде, чем мороз скует землю, приходилось торопиться с работой. В особенности много было дела у ручья, за пятью осинами: нужно было сложить из камней обширную цистерну и сколотить крышу над ней. А работа над загородками тем временем стояла. Противные эти дыры, которых никто не буравил и которые, конечно, не буравились сами собой. В этих несверленных дырах заключался своего рода немой протест. Каждый день Август говорил себе, что отправится со всей своей командой к охотничьему домику, что они просверлят дыры и все будет готово, и каждый раз что-нибудь мешало ему. Консул тоже перестал подгонять: теперь это было ему неудобно,— ведь водопровод проводили для аптеки, то есть для его матери и ее мужа.

Но однажды Август с рабочими все-таки добрался до охотничьего домика; в течение двух-трех дней дыры были

пробуравлены и загородка поставлена. Выглядела она очень хорошо; прутья были железные, толстые, с заостренными кверху концами. Благодаря этой железной решетке все место стало походить на старинную усадьбу, что, вероятно, нравилось консулу.

На рабочих опять напала жажда деятельности, они стали сразу буравить дыры и возле нижней пропасти, пели и были прилежными в течение нескольких дней. Август был полон надежды: все обойдется!

Пришел Тобиас из Южной деревни приглашать его к себе домой. Корнелию завтра должны были опустить в землю, и ему бы очень хотелось показать, как красиво ее убрали, пошли все десять метров кружев, которые подарил ей Август: их уложили рядами поверх покойницы, она лежала в них, как невеста...

Август ответил, что ему некогда, что он не может оторваться от дел.

После всего, что было между ним и Корнелией, неужели же он не поглядит на нее в гробу и не проводит ее до могилы, в ее последнем странствии?

— Нет,— отвечал Август,— об этом не может быть речи.

— Конечно, она сама бы попросила вас об этом, если бы так быстро не покинула нас. И мать ее, и все ее невинные братья и сестры лежат и плачут, каждый в своем углу...

— Не трать понапрасну слов! — сказал Август.

Тобиас понял, что он стоит перед гранитной стеной, но все же решил попробовать уладить дело, за которым в сущности пришел. Кобыла тоже удрала, и никто не мог найти ее,—большая потеря. Не будет ли Август так великодушен и не протянет ли ему руку помощи, чтобы покрыть расходы?

Август сделал свирепое лицо и отрицательно покачал головой.

— Пусть это будет совсем немного, ровно столечко, сколько надо. Корнелия увидела бы из своего небесного жилища. После всего, что было между вами...

Август потерял терпение, он выхватил свой бумажник, протянул ассигнацию и закричал:

— Убирайся сейчас же, понимаешь ли ты?

Раз навсегда покончено с Тобиасом и его домом.

В течение этих двух-трех дней после катастрофы Август совсем успокоился, Корнелия стала для него чем-то давно прошедшим. У него это было обычным явлением. Он

совершенно не интересовался Поленом, который был местом его деятельности. Он едва помнил своего юного товарища, Эдварта Андреасена, верного друга, который поплыл за ним и встретил смерть. Он ни одной минутки не думал больше о Паулине, которая привезла ему столько денег и уехала обратно. Все остальные в Сегельфоссе были добры к ней, и на всю жизнь сохранили о ней приятные воспоминания; но Август не проводил ее даже на пароход, когда она уезжала, никогда не упоминал о ней, забыл ее. Или он был сух и бездушен? Он мог и посочувствовать людям, обнаружить сердечность, всегда готов был помочь. Но у него не было глубины чувства. Он был дитя своего времени, у него были хорошие свойства и дерзкие порывы. Он один мог совратить целый город и всю округу.

Разве у него было время провожать покойников, когда столько спешных дел дожидалось его? Шхуна со строительным материалом и плотниками прибыла, и хорошо, что подвал и фундамент были готовы. Стали строить дом, он выходил такой хорошенький и маленький, но длинный, что хорошо гармонировало с его высотой. Почтмейстер Гаген был настоящий художник!

Хорошо также для аптекаря и его жены, что начали строить дом. Жить в двух маленьких комнатах было неплохо, впрочем, они с радостью стали бы жить и в одной. Но крыша протекала, что теперь, к осени, особенно раздражало, а крыть чужой дом, который все равно предстояло покинуть, не хотелось. И потом, дорогие мои, это еще далеко не все! Чего только ни подарили супругам! Дорогой подарок от родных Хольма из Бергена, который никак не умещался в двух комнатах с каморкой для прислуги. Можно было голову потерять от одного этого! Тут была мебель и всевозможное приданое: серебро на двенадцать персон, предметы роскоши, хрусталь и ковры. Все это лежало в огромных ящиках и не могло быть распаковано. Но подождите, скоро на новом доме появится крыша!

Аптекарь Хольм с женой были очень довольны. Они побывали у всех знакомых и, конечно, прежде всего в семье консула, где и обедали, и ужинали. Фру Юлия опять на ногах, и была бледна и прекрасна, несравненна! Каждый раз, когда фру аптекарша Хольм взглядывала на фру Юлию, она встречала ее улыбку. Да, у фру Хольм был друг! Фрекен Марна тоже приехала домой из Хельгеланда для того, чтобы помочь занять английского лорда, когда он приедет.

Аптекарь испытывал, пожалуй, некоторый страх перед встречей с фрекен Марной. Безусловно, он ухаживал за ней, непродолжительно и безнадежно, но бурно, а теперь был женат на ее матери. Но встреча сошла благополучно. Фрекен Марна держалась как ни в чем не бывало, она была несколько медлительна и спокойна от природы, поэтому было вполне естественно, что она казалась равнодушной. Кроме того, фрекен Марне не годилось удивляться чему бы то ни было, этого ей следовало остерегаться, — ведь она же сама поехала вслед за простым рабочим в больницу в Бодэ, и это не осталось тайной. «Извините, фрекен Марна, аптекарь женился на вашей матери, но что из этого?»

Совсем иначе дело обстояло с женой почтмейстера, с фру Альфгильд Гаген. С ней аптекарь не раз занимался флиртом, играл с ней, как с огнем, плясал вокруг костра, и удивительно странно, что не вспыхнул пожар. Все сошло благополучно. Но сошло ли? Кто знает! Правда, он ее предупредил самым честным образом, выложил все карты на стол перед нею, и даже третьего дня нанес ей торжественный визит со своей женою. Но очень может быть, что ему следовало еще раз встретиться с ней наедине и услышать кое-что из ее уст. Впрочем, он и этого не боялся.

Он встретил ее на улице, это было очень удачно; они вместе пошли дальше.

— Вы не пришли вчера ко мне, — сказала она.

— Разве не пришел? Или мы с женой были у вас третьего дня?

— Вы не пришли вчера ко мне.

Молчание.

— Не знаю, так ли я вас понял, — сказал он. — Разве я должен был придти к вам вчера?

— Да, я думаю.

— Да? Но... зачем в сущности?

— Вы бы пришли, и мы поболтали бы с вами, как всегда.

— Конечно, я мог бы это сделать, но это ерунда, фру.

— Да. Но я почувствовала себя такой покинутой, когда вы ушли с нею.

— Ну, что вы! — сказал он весело. — Мы ведь никогда не принадлежали друг другу, поэтому и не могли уйти друг от друга. Вы никем не покинуты.

— Нет, но оставлена. Все прошло мимо меня, а я осталась. Давайте посидим немного, я расскажу вам что-то.

Из меня ничего не вышло в жизни, но пока можно было болтать глупости и дурачиться, я все-таки жила. К этому я привыкла: когда из меня ничего не вышло, мы встречались и дурачились. Один лежал на солнце и говорил: «Noli me tangere!» Другой острил: «Да, да, фрекен, вы до тех пор будете ходить за водой, пока кувшин ваш...» Так мы говорили и смеялись. Что нам оставалось делать? Из нас ничего не вышло; такое времяпровождение нам нравилось, и мы продолжали все в том же роде. Бога у нас не было, мы еще слишком молоды, чтобы стать религиозными, и, конечно, мы все еще надеялись чего-то достигнуть. Мы сидели в наших мансардах, были артистами, играли и пели немного, в складчину немного пили и курили, говорили рискованные вещи, были противны самим себе и никого не любили. Вот и весь сказ. Мы до того истрепались. Некоторые поженились, но из этого ничего не вышло: рождался ребенок, ребенка отдавали ее или его родителям. Некоторые стали пить и сделались пьяницами, с безразличными жестами, шляпа на затылке; кое-кто застрелился, никто ничем не стал. Мы уезжали из дому, чтобы вернуться великими и прославленными, а оказались хуже тех, кто оставался дома. Некоторые вовсе не вернулись. Мне предложили выйти замуж, и я согласилась; но я была совершенно опустошена, я не любила и до сих пор не люблю. Замечательный человек! Я привыкла к нему, он делает для меня все, что только возможно, но это меня не касается, я — вне этого. Редкий человек! Он должен был сделаться архитектором, у него был талант, но не было средств. Тут он встретился со мной, и это навсегда выбило его из колеи. Но он достаточно артистичен, чтобы понять меня. Когда я снимаю башмаки и бросаю их, и один из них падает, он поднимает его, — это я вспомнила вчерашний вечер: когда я почти ждала вас, а вы не пришли, тогда я бросила башмак. Я даже рассердилась, когда он взял и поднял его. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я. «А чтобы служанка не подумала, что мы дрались», — ответил он и засмеялся. Он добр ко мне, он понимает меня, и он дорог мне, но то, другое... любовь, безумие — этого нет. После того как из меня ничего не вышло, я неспособна к любви. Я свихнулась. «Любовь и влюбленность — болезнь», — говорит он, чтобы утешить меня. Может быть, он и прав, но только он сам все эти годы носил в себе эту болезнь и до сих пор не разделался с ней. Знаете, почему он сделал план вашего дома?

— Это архитектор сделал план, так ведь? — сказал аптекарь.

— Да. Но он сделал это для того, чтобы показать, как далек он от всякой ревности. Хотя она, как жало, сидит в нем все время. Он совсем не хвастается этой победой над собой, нет, он воплощение деликатности и доброты, он не хочет мучить меня своей ревностью. Я даже не знала о его проекте, пока вы сами не рассказали о нем третьего дня.

— Но ведь он же мог себе представить, что вы когда-нибудь узнаете о нем? — сказал Хольм.

— Когда-нибудь — да. И тогда он был бы несчастлив. Я ему еще ничего не говорила.

— Черт знает что за тонкость! — воскликнул Хольм.

— Вы его не знаете, — сказала фру. — Вы такой здоровый, — и мы тоже были такими в наших мансардах, когда говорили рискованные вещи. Вот этого мне как раз и не хватало вчера вечером, когда вы не пришли, — ведь я свихнулась, мне не хватало вашей смелой чепухи, извините за выражение! Я много лет была лишена этого, прежде чем встретила с вами, я привыкла к этому, это во всяком случае поддерживало во мне жизнь, а я чувствовала себя живой. Сейчас я вышла, чтобы встретить вас; я знала, что вы придете.

— Я, кажется, не понимаю вас, фру. Можно мне прямо спросить вас об одной вещи?

— Влюблена ли я в вас? Нет, я не влюблена.

— Наверное?

— Наверное. Я не влюблена ни в вас и ни в кого другого. Я не способна на это, не гожусь, я свихнулась. Мы тоскуем, но не любим, нет.

— Почему же вы поджидали меня теперь?

— Видите ли, я тосковала, мне не хватало вас вчера. Мы бы поговорили о разных глупостях, думала я. Мне казалось, что вы цените меня настолько, что вам нравится быть со мной. Но нет, вы оставили меня сидеть одну. Вы, вероятно, не могли поступить иначе, — вы заняты в другом месте. Вы сказали один раз, что вы ничто, — помните? Но нет, вы не истрепались; это значит, что вы уже кое-что. Вы спасаетесь в браке из потребности... да, из какой потребности я, пожалуй, не скажу. Я стала спасаться равнодушием — и вот совсем не спаслась. Вам посчастливилось, вы достигли мирной пристани. Мне нечего противопоставить ей. Она, действительно, так красива, в

сущности она скорее великолепна, чем красива. Но, дорогой мой, этого мало. Возраст, эти годы...

— Этого я не замечаю,— сказал он.— Она не старше меня, и если говорить начистоту, то она очаровательно молода,— чего нельзя, пожалуй, сказать про вас, если только я вас верно понял.

— Не знаю,— сказала фру.— Может быть, я тоже очаровательно молода, не знаю, право. Во всяком случае нехорошо с моей стороны говорить все время только о самой себе. Сколько лет этой даме? — спросила она вдруг.— Может быть, вы скажете мне.

Хольм побледнел.

— Вы хотите знать число и год рождения? Вы хотите, чтобы ваш муж нарисовал надгробный камень? Напишите первое апреля.

— Но ведь вы же должны согласиться, аптекарь Хольм, то, что вы сделали...

— Разве это хуже того, что сделали вы?

— Это совсем другое. Нет, пожалуй, это не хуже. Но вы никогда не были мещанином.

— А теперь, выходит по-вашему, стал им? А разве было бы лучше, если б я целую вечность ходил и хвастался, что я не мещанин? Этим не проживешь.

— По-моему, это имеет свою ценность; не помню, но такие ценности мы называем, кажется, фиктивными? Мне пришлось один раз играть в обществе, в доме графини; у нее все туалетные вещи были золотые, и я видала пудреницу из золота. Мне ее не дали, но я видела ее. И вовсе уж не так мало — то, что я видела ее.

— Так, при обыкновенных условиях вы, кажется, правы. А что касается ее и меня, так для нас вообще не существует пудры.

— И для меня тоже,— сказала она.

— Разве?

— Очень редко. И это свинство с вашей стороны, что вы это заметили!

— Ха-ха! Действительно, пора нам перейти к нашей обычной манере разговаривать.

— «Фиктивная ценность»,— говорили мы в ателье. Мы выходили замуж, напудрив нос, прицепив бантик, и брак совершался с напудренным носом. А вы?

— Нет, наша свадьба совершалась не так торжественно, но она совершилась. Видит бог, что совершилась, и еще как!

Молчание.



— Мне пора домой, позаботиться об обеде,— сказала она и с улыбкой добавила:— У нас сегодня черепаховый суп.

— У вас ведь есть прислуга.

— Да, потому что у нас столуются все служащие на почте.

— У нас тоже столуются служащие, но мы не держим прислуги,— заметил он не без ехидства.

— Да, но я в этом отношении никуда не гожусь.

— Я думаю, что нет. Но вы считаете фиктивной ценностью делать вид, будто вы не годитесь.

— Нет, но он говорит, что если у нас не будет прислуги, то я не смогу играть. Он это делает для меня. Теперь у меня два-три ученика, которые платят мне по пяти крон в месяц.

Она встала и отряхнула юбки, она наговорила всласть и больше не чувствовала подавленности. Может быть, в этом не было никакой необходимости, но когда они под конец опять заговорили о любви, она снова стала утверждать, что никогда не была влюблена в него. Нет, право же, если на то пошло, то она предпочитает своего мужа. Но изредка поговорить о пустяках — не правда ли? — не так плохо, особенно когда из тебя все равно ничего не вышло, а потом опять оставаться одной и сидеть дома на стуле...

Каждый пошел своей дорогой.

Аптекарь слегка задумался о ней. Что-то изменилось, она была так откровенна, немного не в своем уме, болтала так много,— уж не попробовала ли она, перед тем как выйти, хереса, которым должна была заправить суп?

Все возможно.

У стройки он встретил свою жену. Их невозможно было отвлечь от этой стройки, они ходили туда и в одиночку и вместе, утром и вечером, постоянно, изо дня в день следили за тем, что уже сделано и что еще осталось сделать. Ведь у них была мебель из Бергена, которую нужно было внести в этот дом, было несколько ящиков, которые нужно было распаковать.

— Ты идешь сюда? — спросила она.

— А ты? Разве тебе не надо домой готовить обед?

— У нас на обед ветчина. Который сейчас час?

— Этого я тебе не скажу больше. Ты можешь повесить на себя свои собственные часы.

— Не имею средств носить их! — Она вытащила часы из кармана его жилетки.— Еще много времени! А ты, верно, катался на лодке и греб?

— Нет,— отвечал он.— Я встретил фру Гаген и поболтал с ней немного.

— Подумай, Конрад, если бы я умела играть, как она!

— Этого бы я не хотел. Потому что тогда ты не была бы такой, какой я люблю тебя.

Сколько нежности и любви между ними! Они поговорили о том, что почтмейстер требует, чтобы гостиная и спальня во всяком случае были оклеены обоями, и что надо как-нибудь пойти с ним в сегельфосскую лавочку и выбрать там обои. Они, как молодожены, говорили о том, как нарядна будет крошечная столовая благодаря серебру на двенадцать персон. И боже мой! фру вернулась даже к тому, о чем они говорили уже раньше: к красному кабинету. По ее мнению, будет лучше, если он часть приемной отгородит себе под контору.

— Но зачем же тогда кабинет?

— Это правда. Но это будет так красиво!

Странная манера рассуждать, и неожиданная со стороны такой разумной женщины.

— Вон идет На-все-руки! — сказала она.

Август поклонился и тотчас выразил свое удовлетворение по поводу стройки: так приятно видеть, как быстро подвигается дело вперед!

— Я всегда спасаюсь сюда, когда рабочие мои упрямятся и не слушаются,— сказал он.

— Вы с ними не справляетесь?

— Случается. Они знают, что теперь могут делать, что хотят, они нарочно растягивают работу.

— Но разве они не хорошо работали здесь?

— Нет, хорошо. В особенности вначале. И теперь они опять поговаривают о том, что хотели бы спуститься сюда.

— Сюда? Но что ж они будут тут делать?

— А сарай?

Они все трое стали смеяться над забывчивостью аптекаря, и фру спросила его, куда он думает складывать дрова, где будет сушить белье, хранить продукты...

— В твоём красном кабинете,— шепнул он ей.

Август. Да, нужно в некоторых местах подвести фундамент под сарай,— фру права. Но консулу необходимо поставить загородки сейчас же, дело срочное. Рабочие понадобятся мне еще в течение нескольких дней, аптекарь.

— Конечно. Во всяком случае они не должны спускаться сюда, прежде чем не кончат у вас.

— Хорошо,— согласился Август.

У мыса загудел пароход, шедший к югу. Аптекарь поглядел на часы и сказал:

— Ну, тебе пора, Лидия.

— Нет, тебе пора,— ответила она,— мне нужно крошечку поговорить с На-все-руки. Я сейчас приду.

И во всем-то Август должен был принимать участие! Вот жена аптекаря отвела его совсем в сторону, таинственно заговорила с ним, призналась ему в чем-то, чуть ли не опустив глаза при этом, что не очень-то ей было свойственно.

Что же подумает о ней На-все-руки, что скажет он, когда узнает то, о чем она собирается ему рассказать?

Так она начала.

Август глядел на нее и ждал.

— Ты вот глядишь на меня,— сказала она,— но ведь еще ничего не заметно по мне сейчас?

Эти слова навели сообразительного Августа на мысль, он улыбнулся и сказал с хитрым видом:

— Пожалуй, уж могло бы стать заметным!

Чертовски ловкий человек! Как он галантен! Никакого удивления, никаких намеков на ее возраст, или что это мало вероятно. «Пожалуй, уж могло бы стать заметным»,— сказал он.

— Ну, что ты об этом думаешь? Ты должен мне сказать.

— Что я думаю? Что это единственное правильное, что вы оба могли сделать. И если вы не побрезгуете и выслушаете меня, то я скажу, что это великое благословение со стороны творца. Я такого мнения.

— Ну, а теперь мне все же стыдно немного перед людьми.

— Очень нужно! Чего ж тут стыдиться? Как вы можете говорить так безнравственно о человеческом плоде и произрастании?

О, до чего он радовал ее и был приятным поверенным в счастливом беспокойстве! Он был незаменимый человек, к которому можно было и в нужде обратиться, и поделиться радостью, которая в кои-то веки приходила.

— Я непременно хотела тебе сказать об этом, На-все-руки, потому что ты всегда был так добр.

Август был благодарен ей за эти слова и в свою очередь захотел сказать ей приятное.

— Да, да, фру Хольм, помяните мое слово: раз уж вы начали, будьте уверены, что вы еще много раз придете ко мне, чтобы сообщить такую новость.

Она засмеялась, растрогалась до слез и отвергла такое предположение, как совершенно невероятное. Так, значит, он находит, что ей нечего стыдиться людей и можно выходить.

— Да вы с ума сошли! — вырвалось у него. — Простите, что я так сказал. А что люди будут думать об этом — пусть это будет ваше последнее слово в этой жизни, если я еще раз услышу его. Так и знайте.

Она постояла немного, словно собиралась еще что-то сказать и не решалась. Но сказать было совершенно необходимо, это было, пожалуй, самое важное.

— Дело в том, — сказала она, — что я боюсь одной вещи. Это так ужасно, и я не знаю, как мне спастись. Все было бы очень просто, если б только я была уверена. У меня будет теперь красная комната с двумя окнами в новом доме, все будет лучше, чем когда я ждала других детей. Да и вообще. Но я боюсь, что кто-нибудь... что кто-нибудь вернется... Понимаешь ли, На-все-руки? — вернется...

Август с его быстрой головой тотчас понял и остановил ее:

— Этого никогда не будет.

— Как?!

— Так, никогда не будет.

— Ты так думаешь?

Август должен был хотя бы временно помочь ей, она в этом сильно нуждалась. Потом, позднее, он еще раз поможет ей: помогать и спасать других и самого себя — это было для него плевое дело. Он и тут не намекнул, не назвал известной суммы в семьсот крон, не нуждался в этом, его слова были и без того полны содержания.

— Никогда больше не думайте об этом! Тот, кто уехал, уехал по причине жизни и смерти и никогда больше не вернется.

Таинственная и глубокая речь, она ей поверила вполне.

— Да благословит тебя бог, На-все-руки! — сказала она.

Возвращаясь со стройки, Август хотел было опять подняться к рабочим, но один из мальчиков из сегельфосской лавки, запыхавшись, подбежал к нему с известием от консула, что англичанин приехал с пароходом. Господа с собаками пешком пошли в имение, потому что лорду после длинного путешествия по морю захотелось поразмять ноги, а Август пускай привезет с пристани его чемодан. Автомобиль стоит в гараже.

Англичанин, лорд, приехал. Итак, последней загородке так и не суждено было появиться, до тех пор пока не стало слишком поздно! Такая простая вещь, но видно судьба тяготела над ней: хоть одна пропасть да осталась зияющей. Словно какой-то немой протест исходил все время от рабочих, и они упрямылись.

Старый мастер на все руки сильно огорчился, что с ним случилась такая беда. Его нисколько не тревожило, что на него нельзя было положиться в иных случаях, но в работе он был тверд и исполнительен, — свойство, которое укоренилось в нем еще с тех пор, когда он обучался порядку и дисциплине у известных капитанов судов. Посмел бы кто-нибудь отлынивать у них от дела!

Он отвез чемоданы в имение и помог Стеффену внести их в дом. Пришел консул с флагами, с норвежским и английским, и попросил повесить их.

Август был очень подавлен и сказал:

— Мы так и не успели поставить последнюю загородку.

— Ну, что же делать, — сказал консул. — Послушайте, На-все-руки, английскому господину нужен человек, юноша, который сопровождал бы его в горы.

— У меня уж есть один на примете, — ответил Август, — но он не знает английского языка.

— Это ничего. Лорд — умный человек. Он довольно порядочно говорит по-норвежски. Он выучился ему в Африке.

— Тогда я сейчас же отправлюсь в Южную деревню и предупрежу парня.

— Нет, знаете что, На-все-руки, вам совершенно незачем проделывать этот длинный путь пешком. Поезжайте в автомобиле. Прихватите с собой и человека. Пусть он переночует здесь, — лорд собирается рано встать...

Август хорошо знал дорогу, сотню раз он ходил по ней, не находя покоя. Каким униженным шел он каждый раз туда, и таким же униженным возвращался. Теперь все было забыто, он ехал в автомобиле, он был господином, и он не намеревался прятаться от Тобиаса и его домашних. Он проехал мимо с такой быстротой, что вся изба задрожала. Когда Август въехал в гору возле соседнего дома, его рожок прогудел три раза, чтобы вызвать Гендрика. Слышно было по всей деревне. Ему пришлось дожидаться Гендрика, пока тот переодевался с головы до ног. Август вышел из автомобиля и стал прогуливаться, словно и он тоже после длинного морского путешествия

захотел поразмять ноги. Из всех изб показались люди и стали смотреть, как он разгуливает. Ему не хватало сигары.

Когда он ехал обратно и гудел ничуть не меньше, рядом с ним сидел Гендрик и испуганно улыбался. Но так как он был велосипедистом и часто ездил очень быстро, то он ободрился и заставил себя немного поговорить.

— Итак, англичанин, значит, приехал? — сказал он.

Август не отвечал.

— Если бы только Корнелия жила и знала об этом!

Август не отвечал и ехал дальше. Он промчался мимо дома Тобиаса, все вышли из дома, но он не захотел взглянуть на них. В сущности ему не за что было сердиться на них, но они были свидетелями его влюбленности, пусть теперь у них будет другое впечатление от него. Для маленького Маттиса он сделает исключение: это забавный маленький человек; Август будет изредка дарить ему шиллинг или два, может быть, даже даст ему место, когда откроет контору в городе.

— Вот здорова-то бежать! — сказал Гендрик о машине.

Август по-прежнему не отвечал, но ему захотелось, чтобы и Гендрик имел понятие о том, что такое человек с автомобилем. Когда они доехали до изб в старом, глухом Сегельфоссе, на улице играло несколько детей. Август остановил машину, вышел. Это были, может быть, не те же самые дети, что в прошлый раз, но они знали его понаслышке, подошли и все поблагодарили его за щедрость: когда-то он подарил им десять крон на всех. Август спросил о старом сегельфосском могильщике, и дети привели его.

Он вышел, простоволосый, дряхлый старец, с увядшим и опустошенным лицом, какой-то безымянный, без всякой физиономии. Август стоял и содрогался; он чувствовал себя гибким, великолепным, в полном расцвете. Так подряхлеть за такое короткое время, — за два месяца, все равно, что трехнедельный утопленник, прибитый волнами к берегу! Ему больше нет места среди творений; разве он знает, что такое небоскреб или слон в божьем хозяйстве? Но за два месяца превратиться совсем в ничто! Все эти люди надломлены, у них нет мужества, чтобы жить. Август в своем полном цветении содрогался.

Старец узнал его, стоял и гримасничал.

— Ты был прав, в горном озере водится форель, — сказал Август.

— Форель? Да, есть, — шамкал старик и качал головой, погружаясь в воспоминания. — Это он, Теодор. А перед

ним был еще Хольменгро с мельницы. А потом был еще Виллац Хольмсен, он был раньше всех...

Август дал ему десять крон, сел в автомобиль и уехал.

## ГЛАВА XXXII

---

Лорд был молодчина: по его мнению, было очень интересно, что пропасть зияла. Он стоял на самом краю, над глубиной в триста метров, и разговаривал с рабочими по-норвежски. Август отвечал по-английски.

Ну, конечно, Август говорил по-английски; пусть рабочие и Гендрик послушают и удивятся. Но лорд сам не обращал никакого внимания на его английский, он вообще совершенно не замечал и самого Августа. Это обижало старика, он держался в стороне, и очень может быть, что начинал сомневаться, был ли перед ним подлинный Right Honourable, вполне возможно, что он сомневался. Август сам представлял собой нечто, он и прежде знал знаменитых капитанов судов и президентов, и с успехом мог бы показать этому англичанину, кем он в сущности был. Он купил себе в сгельфосской лавке сигары и дымил вовсю, когда мимо проходил этот лорд, куривший простую трубку. Он ходил также взад и вперед по горной дороге и размахивал тростью, чтобы не иметь вида обыкновенного старосты, который должен присутствовать на месте работы. И в один прекрасный день он, вероятно, растрогал лорда: тот обратился к нему, спросил у него совета относительно рыбной ловли, объяснил, что говорит на языке страны, чтобы выучиться норвежскому, что он всегда старается говорить на языке той страны, по которой путешествует. Он был на Кавказе, но «черт паршивый!» — выругался он, — там семьдесят языков.

Они отлично сошлись. Впрочем, они почти не имели дела друг с другом, только встречались, здоровались, обменивались двумя-тремя фразами, всегда по-норвежски, и лорд шел дальше. Гендрик нес рыбу или еще что-нибудь, лорд тоже нес свою часть поклажи, чаще всего съестные припасы.

Случалось, что консул отвозил своего гостя в горы или привозил его обратно, но лорд относился к этому довольно безразлично: «На это у тебя нет времени», — говорил он консулу. Удивительный англичанин: дитя народа, болтливый и простой, прямо-таки несколько простоватый. Звали

его Болингброк, но он не из тех, не из настоящих Болингбровов, и кто знает, не была ли его фамилия еще совсем недавно просто Брок. «Это вполне возможно», — говорил он. Это тоже мало его трогало. И зачем ему ездить в автомобиле? Он получил отпуск, чтобы удить и ходить на охоту, а вовсе не кататься на автомобиле.

Зато он изредка появлялся на прогулке вместе с фрекен Марной. Не то чтобы она была особенно занимательна, — она была тяжеловесна и несколько неповоротлива, — но все-таки приятнее было удить с красивой дамой, чем с одним Гендриком. На странном языке говорили они друг с другом: он выучился своему норвежскому у простонародья и смело пускал его в ход; дама тоже мужественно отвечала ему на языке своего детства, и когда что-нибудь им не удавалось, они оба чертыхались вовсю. Гендрик с величайшим удивлением прислушивался к ним. Когда лорд говорил: «Черт паршивый!», дама повторяла опустив глаза, и улыбаясь. У нее делался при этом хитрый вид, словно у нее было что-то на уме, да, вероятно, и на самом деле было. Черт знает, не была ли Марна слишком хороша для того, чтобы болтаться тут? Ей бы следовало выйти замуж и иметь десять человек детей! Ее приключение с дорожным рабочим было уж очень кратковременно, а монотонная жизнь в Сегельфосском имении или у сестры в Хельгеланде не могла способствовать ее расцвету. Лорд ее не соблазнял, он никого не соблазнял; может быть, он был достаточно хорош среди своих, у себя на родине, но здесь, в разгаре своего спортивного помешательства, он был невозможен. Он выглядел неплохо, хотя был жилистый и несколько плоский, но лицо имел терпимое, несмотря на английские зубы. Он был, может быть, замечательный господин, лев и обольститель, когда хотел им быть; но он не хотел: у него был приступ спортивного помешательства, и он интересовался только рыбной ловлей да охотой, — сколько весила форель, да как ему три раза пришлось переменить муху, чтобы в конце концов поймать всего лишь эту жалкую рыбку. Разговор, может быть, и достаточно занимательный для многих пациентов из желтого дома, но без всякой луны, поцелуев и безумной любви. Фрекен Марна однажды насквозь промокла, когда вылезала из лодки, но он и не подумал пожалеть ее и не стал держать ее за руку.

Лорд надоел фрекен Марне, и она так прямо и от всей души спросила брата, долго ли он еще пробудет. Консул зашикал, велел ей молчать и сказал, что чем дольше он



будет гостить, тем приятнее. Во всяком случае ему нужно натаскать собак и перестрелять оставшихся куропаток. Впрочем, он хотя и уедет сейчас, но зимой вернется, чтобы посмотреть северное сияние, и пробудет до самой пасхи, чтобы послушать поющих лебедей. И то и другое было ему пока незнакомо.

— Я уеду тогда в Хельгеланд,— сказала фрекен Марна.

— Очень жаль,— отвечал брат,— он будет спрашивать о тебе.

— Не шути лучше. Право же, он сказал мне однажды, что не женат до сих пор.

— Вот видишь, это кое-что да значит!

Брат и сестра были дружны, но шутили они самым спокойным образом. Никто из них смеясь не ударял себя по коленке: для этого Марна была слишком ленива, а Гордон слишком джентльмен, но они могли веселиться до такой степени, что оба улыбались. Только когда мать была с ними, дело могло дойти до смеха. Ее участие в игре сразу оживляло всех, потому что она смеялась от всего сердца, и от смеха у нее делались маленькие влажные глазки. Но ведь она больше не жила с ними, она была в аптеке, была фру Хольм и прочее, и прочее. Странная история!

— Ну, теперь уходи, Марна, не задерживай меня,— говорил иногда Гордон, выпроваживая ее.

Но Марне некуда было торопиться, и она продолжала шутить: на что ей тогда брат, британский консул, если он не может устроить ее дела с лордом?

— Добром тебе говорю, уходи! Ты не видала еще, как я скрежещу зубами!

Бедный Гордон Тидеман! Ему вовсе уже не так мало приходилось работать. При его точности и аккуратности ему приходилось вести множество книг и записей, и он очень нуждался в помощнике. Но ведь во всей стране не было никого, кто бы писал такие красивые буквы и так правильно считал, как он; поэтому он продолжал мучиться над работой один. К тому же машинистка не смогла бы вписывать статьи расходов и цифры в толстые журналы на машинке.

Гордон Тидеман был в хорошем расположении духа. Ловля лососей была особенно удачна в этом году, коммивояжеры на Севере и Юге, Юлия дома, изредка новый ребенок, рост благополучия во всех отношениях. На своих собственных записях он убедился, что его жалованье в банке было чистый доход, неожиданная прибавка, которая

давала ему возможность выплачивать банку долг в десять тысяч крон. Если бы он не был Гордон Тидеман, он, вероятно, подпрыгнул бы. Позвал мать.

Когда она вошла, он раздраженно отбросил в сторону перо и злобно спросил, что ей надо.

— Ах ты, тролль этакий! Ты чуть было не испугал меня.

— Я только что выставил за дверь Марну, а теперь являешься ты. Садись!

— Знаешь что,— сказала мать, поглощенная своими мыслями,— знаешь, что я тебе скажу. Они только что окончили крышу и начинают настилать полы. Как замечательно, не правда ли?

— Все суета! — пошутил он.— Ты строишь дом, чтобы у тебя было лучше, чем у Юлии, вот в чем дело.

— Ты видал дом? Он чудесный.

— Я одного не понимаю: зачем двум одиноким людям столько комнат? — сказал сын.— Этот красный кабинет, например.

— Да, у тебя нет красных кабинетов в твоём дворце!

— Кто оплачивает всю эту роскошь? — спросил он.

— Это свадебный подарок от его родных.

— Да неужели?

— С условием, что он никогда больше не будет требовать их поддержки.

— Вы на это согласились?

— Да. Это я уговорила его. Мы не должны ни у кого просить поддержки.

— Так,— сказал сын.— Ты у меня замечательная! Впрочем, это было нехорошо с твоей стороны уехать и оставить нас на произвол судьбы. Я не знаю, как я справлюсь.

— Ты — директор банка и все на свете! Сколько тебе платят?

— Ничего! — фыркнул он.— Несколько тысяч. Юлия тратит это на булавки.

— Я не хочу иметь с тобой дела, если ты будешь так говорить,— сказала она и даже встала.

— Тпру, постой немного, садись опять! Что за горячка! Я хотел спросить тебя: не выехать ли нам осенью с неводами?

— А почему бы нет?

— Да, ты вот уехала и предоставила все мне.

— Поговори об этом с На-все-руки,— сказала мать.

— Потом я хотел спросить тебя еще об одной вещи: разве не хорошо, что к охотничьей хижине ведет теперь настоящая дорога?

— Пожалуй, что хорошо.

— А ты хотела, чтоб была тропинка. А теперь у нас широкая дорога, шоссе. Иначе мы не могли бы отвозить лорда в горы.

— Не смогли бы.

— Вот видишь!

— Я придерживаюсь земного, Гордон. Пора бы уже сходить на птичьи скалы за пухом.

Сын опять презрительно фыркнул:

— Такие пустяки! Только терять даром время.

— Одно к одному, Гордон! Отец твой купил этот участок птичьих скал, оберегал его, и теперь все в твоём дворце спят на пуху!

— Знаешь что,— предложил неожиданно сын,— поедемте туда все вместе, пока лорд еще тут.

— Все лорд и лорд! Мне бы очень хотелось поглядеть на него как-нибудь. Марна что-то уж очень улыбается, когда рассказывает о нём.

— Да, они вместе ругаются по-норвежски. А так тут вовсе нечему улыбаться,— он очень дельный человек.

— И лорд к тому же.

— Ты думаешь?

— А разве не лорд?

— Тише! Конечно, он лорд, но посмей только рассказывать об этом в городе!..

— Я не буду рассказывать.

— Ни одной живой душе, понимаешь ли? А не то я с тобой поссорюсь.

— Ха-ха! Но почему же это такая тайна?

Гордон. Я не распространял слуха, что он лорд. Во всяком случае не я начал. Вероятно, это исходит от На-все-руки. Но в сущности я ничего не имею против того, что у нас гостит лорд. Все-таки это кое-что. К тому же Давидсен написал в своих «Известиях», что он лорд, и мы не можем вдруг лишиться его этого титула.

— Ха-ха-ха! — мать смеялась от всего сердца.— Что он сам говорит на то, что он сделался лордом?

— Он сам? Нет, он об этом ничего не знает. Он говорит на своем странном норвежском со всеми, от самого Финмаркена вплоть до нас.

Мать смеялась до слез.

— Но смотри, не проговорись, мать, я нарочно предупредил тебя! Во всяком случае пока ничего не говори,— сказал сын.— Он из богатой и видной семьи, и он был сердечно добр ко мне, когда мы вместе ходили в академию, часто приглашал меня к себе домой, и я не знаю, чего он только ни делал. Они жили в великолепной вилле, со слугами и шофером,— крупное предприятие, богатство. Здесь он держится так просто и без претензий, чтобы не быть в тягость, поэтому мне бы и хотелось, чтобы он не соскучился. По-моему, нужно пригласить еще кого-нибудь на прогулку на птичьи скалы. Что ты на это скажешь?

— Да. А чем ты хочешь угощать?

— Бутербродами и пивом. Просто, но сытно. Или, пожалуй, пусть будет несколько изысканно.

— Ну что ж. А кого ты пригласишь?

— Я? Почему же всегда я должен все решать? Почему ты не можешь сговориться с Юлией и Марной и что-нибудь придумать сама?

— Прости, пожалуйста.

— Но разве не правду я говорю? Разве и без того я не достаточно занят? Теперь, когда он начал ходить на охоту, мне приходит в голову другой джентльмен, который тоже бы не прочь пойти на охоту; но об этом и думать не приходится. Банк нужно будет перенести в этот дом; мне составили две сметы: одну — на деревянное строение, другую — на каменное, но разве кто-нибудь из вас поможет мне выбрать?

— Ха-ха-ха!

— Ты надо мной смеешься. Но ведь надо же мне предпринимать что-нибудь, действовать, а не жить на одни доходы с земельной аренды. Мне кажется, что необходимы еще вино и десерт.

Мать отрицательно покачала головой и не согласилась.

— Ну, вот видишь! Когда я что-нибудь предлагаю...

— Мы устроим все это и без тебя.

— Только бы вам это удалось! С одним ты все-таки должна согласиться: с тех пор, как ты уехала, наш дворовый работник совершенно ничего не делает. Этот грех на твоей совести.

— На моей? — спросила она.

Правда, Гордон шутил, но под его шуткой скрывалось серьезное беспокойство. С тех пор, как уехала мать, он не знал, что ему делать с усадьбой, сам он ничего не понимал в хозяйстве, а работник Стеффен слонялся по

двору и бездельничал. Жатва давно кончилась, и хлеб был уже убран; но почему ж не принимался он за молотьбу сразу, раньше, чем мыши поедят зерно? Стеффен оправдывался тем, что ему не хватало помощников, но и ничего не делал, чтобы достать их; если он и уезжал вечером на велосипеде, так только к своей возлюбленной в деревню, и приезжал утром еще более ленивый, чем всегда. За всем этим и еще кой за чем всегда следила его мать, но теперь ее здесь не было. А картошка? разве ее не пора было копать?

Мать припомнила месяц и число:

— Да,— сказала она,— пора.

Гордон. Вот видишь, я уже вовсе не так глуп, потому что я записывал сроки в течение нескольких лет и могу сравнивать их. Ты имеешь обыкновение смеяться над тем, что я все записываю, но как бы иначе помнил я все это, скажи?

Совершенно правильно, Гордон Тидеман все записывал и записывал, потому что это не держалось ни в его голове, ни в сердце. Ведь в школе своей он учился не возделыванию земли, а записывать. Приглядывался ли он когда-нибудь к погоде с мыслью о растениях? Что сейчас нужно полям и лугам,— дождь или ведро?

Он продолжал шутить с матерью:

— Ты не заявила об уходе перед тем, как уехать, ты просто-напросто сбежала. И не подучила Юлию для принятия твоей должности. О себе я не говорю,— у меня слишком много дела и без того,— но Юлия далеко бы пошла.

Мать словно осенило: он, действительно, был прав. Как это ни странно, но она почувствовала себя виноватой. Сын ее не знал, как ему быть,— это ее растрогало.

— Знаешь что? Я буду изредка обходить усадьбу! — сказала она.

— Да, пожалуйста! — подхватил он.— Поговори с Юлией и попроси ее заняться хозяйством! Я мог бы попросить ее сам, но лучше уж сделай ты это, я не очень-то умею,— у меня ничего не выйдет. Но только помни, что это исходит не от меня, идея — твоя собственная!

Правда, у нее были еще слезы на глазах, но тут она все-таки не могла не засмеяться: какой он трусишка, и как уклончив, но все-таки бережет и других. Сама она гордилась тем, что без нее не могут обойтись в усадьбе.

— Ну, мне пора,— сказала она.

Сын поглядел на часы:

— Посиди еще немного, я жду На-все-руки. Он точный человек, он будет здесь через несколько минут.

— На что он тебе?

— Я хочу его спросить, закидывать ли невода.

Вошел Август, снял шляпу, поклонился обоим и стал навтыяжку. Он поправился с тех пор, как разделался со своей влюбленностью, спал и ел теперь спокойно, он даже потолстел.

— Я заметил, На-все-руки, что вы давно не получали жалованья, уже несколько месяцев,— сказал консул.

Замечание это застало Августа врасплох; он отвечал, что, вероятно, у него не было времени!

— Пожалуйста! — сказал консул и передал ему конверт с деньгами.

Август пробормотал:

— Я уже несколько месяцев, как не работаю на консула.

— У меня такое впечатление, что вы работаете все время. Почти весь день.

— Но я ведь живу здесь и столуюсь.

Консул слегка поморщился, и Август понял, что ему не следует спорить, а лучше поблагодарить.

— Потом, я и мать моя, мы хотели спросить вас об одной вещи: не посоветуете ли вы нам выехать с неводами в самое ближайшее время?

— Разве вы получили весть о том, что идет сельдь?

— Нет.

Август подумал:

— В море всегда есть сельдь,— сказал он.— Но как раз сейчас я ничего не слыхал о чайках или китах поблизости, в наших северных водах.

— По-вашему, слишком рано,— насколько я понял?

— Картофель еще в земле, его надо копать.

— Но ведь это же обычно делают женщины?

— Я это не к тому, а насчет времени. Для людей так все устроено, что одно следует за другим.

— Сколько бы времени вы еще ждали на моем месте?

— Н-да,— сказал Август и с чувством превосходства покачал головой на этот глупый вопрос.— Все зависит от сообщений и вестей, что люди будут говорить у церкви и какие новости принесет телеграф. Потом существуют старинные приметы, лунные фазы. Но как я уже сказал,— и повторяю еще раз,— море с незапамятных времен полно сельди, и месяца через два мы что-нибудь да узнаем.

— Ну, спасибо, На-все-руки. Это все. Если вам домой, то поедете вместе.

Чтобы не ответить отказом, Август поехал в автомобиле. Они завезли сначала мать консула в аптеку, а потом покатали домой, но Август тотчас же вернулся в город. Он обещал жене доктора крайне таинственное свидание.

— Ну вот, я все устроила,— сказала фру Эстер.

— Так, значит, вы устроили!

— Я ношу это здесь,— сказала она и схватилась за сердце.

— Что же он сказал?

— Пока я еще ничего ему не рассказывала. Но теперь придется, а не то он сам догадается. Ты должен пойти со мной, Август.

— Я иначе и не представлял себе.

— А если он рассердится, ты должен помочь мне.

— Об этом не беспокойтесь! — сказал Август.

Бедная маленькая, красивая фру Эстер, ей приходилось бояться мужа. «Очень нужно!» — подумал Август.

Они медленно приближались к докторской усадьбе, им было о чем поговорить, она — волнуясь от того, что предстояло, он — уверенный, прямо-таки в восторге от предвкушаемой опасности. Ее все еще мучили сомнения, хотя дело было сделано и судьба совершилась. Но она желает девочку, а вдруг мальчик?

— Ну что ж,— сказал Август,— какая же тут беда? Остается только поступать так же, пока не будет девочки!

— Нет,— возражала она.— Выйдет, что я дразню его.

— Я каждый раз буду помогать вам,— сказал Август.

Его слова утешали ее и вселяли мужество. Его услужливость не знала границ.

Но все произошло иначе, чем они ожидали.

Когда они вошли и уселись и доктор оказался дома, фру тотчас заметила, что муж ее поглощен какой-то мыслью. Может быть, он уже обнаружил ее обман? Она была крайне взволнована и много говорила побледневшим ртом, были видны ее белые зубы, которыми она подростком жевала древесный уголь.

— Удивительно, до чего ты болтлива сегодня! — сказал доктор.

— Разве? Впрочем, может быть.

— Ты думаешь, что я сержусь, но ты ошибаешься.

Он вынул из кармана письмо и передал ей.

— От твоего возлюбленного! — сказал он и засмеялся.

— Ах, от него! — воскликнула она, довольная, что не что-нибудь другое.

— Ты бросила его на печку,— сказал он.— Но там служанка могла бы прочесть его.

— У меня такое чувство, будто письмо вовсе и не мне, отвечала фру.— На что оно мне раз оно не от тебя?

Доктор словно немного смутился и сказал:

— Так ты думаешь?

— Да, думаю.

— Оно пришло по почте?

— Этого я не знаю,— отвечала фру.— Малла подала его мне.

Позвонили Малле, и фру спросила:

— Кто принес мне письмо?

— Уполномоченный окружного судьи,— ответила Малла.

— Спасибо, больше ничего.

Доктор сказал:

— Он сам принес письмо! Но раз ты даже этого не знала, значит, ты не очень заинтересована.

— Нет. Я не понимаю, что ему от меня нужно. Мы поговорили совсем немного, он сказал, откуда он. «Красивый город!» — сказал он, но я не помню названия. Я сказала, что я из Полена и что там лучше, чем здесь. «Если в Полене еще остались такие красивые дамы, то я непременно съезжу туда»,— сказал он.

Доктор. И ты, конечно, не имела ничего против — услышать такую вещь?

— Нет,— откровенно отвечала она,— я смеялась и немножко польстила ему: вероятно, мол, у него есть красивая дама в его родном городе. Вот и все. А теперь он валяет дурака.

— И в письме его нет ничего особенного.

— Я не помню ни одного слова,— сказала фру и передала письмо ему обратно.

Он отклонил письмо:

— Лучше сожги его, Эстер, это будет приличнее всего!

Она встала и бросила бумагу в печку.

— Никогда не видала ничего подобного! Я ведь ни с кем не разговариваю, да и с ним не говорила более двух раз посреди дороги. О чем же он писал?

— Ха-ха-ха! — засмеялся доктор.— Слыхали ли вы что-нибудь подобное, Август?

— Фру Лунд не читала письма,— сказал Август.— Но насколько я понял, там написано, что красивый молодой



человек желает встретиться с самой красивой дамой в его жизни.

Доктор опять засмеялся:

— Август, никак, тоже приударяет за тобой, Эстер! И говорит почти что теми же самыми словами, что и уполномоченный.

Они все трое засмеялись.

Но доктор все-таки был задет за живое:

— Да, красивый молодой человек. Он не одноглазый. И не стар, как я. Он может ухаживать за дамами и говорить им красивые слова.

Как будто бы наступил подходящий момент.

— Ты бы не говорил такие глупости, Карстен! Право, у меня другие заботы.

— Да неужели?

— Да, у меня будет девочка.

— Что?! — спросил доктор.

— У меня будет ребенок.

Тишина.

— Да,— сказал он наконец,— это действительно новость.

Тут вмешался Август; до сих пор он был ненужен.

— Не знаю, что мне сказать на это, доктор. Но какая же это новость, что у женатых людей рождаются дети?

На это доктор ничего не ответил; новость его сразила, может быть, он сдержался, но только объяснения не последовало.

— Ты говоришь о встречах и о красивых словах,— сказала фру,— но когда у меня будет маленькая девочка, то ее слова будут для меня самые прекрасные.

Доктор задумался. Может быть, это самое лучшее, пожалуй, даже отличный выход: женщина, ожидающая ребенка, не может флиртовать.

— Да-да! Эстер, по-моему, ты великолепно! Великолепный человек! Я смотрю на тебя снизу вверх! Но только я попрошу тебя быть осторожней, потому что это не шутки — женщина в твоём возрасте...

Это-то он во всяком случае решил напомнить ей, что она не так уже молода.

Она очень обрадовалась, что он так быстро сдался. Эстер вскочила, стала благодарить его, гладить по голове. Ему пришлось отстраниться, чтобы она не прижала его к груди.

— Ну, будет, будет, а не то Август подумает, что ты влюблена в меня,— сказал он.

— Ну и пусть думает! — отвечала она.

Но черт знает что такое,— он все-таки продолжал ревновать к уполномоченному. Все это ерунда, что женщина в ожидании не может флиртовать. Эстер может. Она может все, что захочет. Было также глупо напоминать ей о возрасте. Она была без возраста. В ней был огонь.

— Хочешь, я поговорю с уполномоченным? — спросил он.

— Нет, не надо,— отвечала она.

— Ты жалеешь его?

— Что ты, дорогой мой! Я жалею тебя. Зачем тебе брать на себя эту неприятность?

— Гм! — сказал Август.

Тут он вполне мог бы пригодиться. До сих пор его вмешательство все еще было ненужно, он соблюдал нейтралитет, но теперь он мог предложить себя для сведения счетов с уполномоченным.

— Нет, это невозможно! — сказал улыбаясь доктор.

— Я бы мог дать ему понять,— сказал Август.

— Он может так вам ответить!

— Этого он не посмеет, пожалуй.

— Ну, что вы можете сделать?

— Я застрелю его, например.

— Что?!

— Вот этой собственной моей рукой!

— Август, Август, до чего вы легко стреляете в людей! — смеясь сказал доктор.

— Нет, как вы можете так говорить, доктор? В Сегельфоссе я не застрелил ни одного человека.

Доктор постарался отвлечь его от этой темы и сказал:

— Да, кстати, Август, вы ведь знали дочь Тобиаса из Южной деревни, ту самую, которую недавно лошадь убила насмерть?

Август неохотно ответил, что он знал их всех. Они продали ему овец.

— Быть убитой наповал одним ударом копыта!

— Да, дело — дрянь,— сказал Август. И он чуть было не спросил, пускал ли доктор ей кровь, но воздержался, чтобы не продолжать разговор о не касающемся его предмете.

Доктор покачал головой:

— Сколько несчастий обрушилось на эту семью!

Август встал и попрощался. Он ушел, очень недовольный самим собой, словно не выполнил своего намерения. Он собирался пройти сквозь огонь и воду, но его не

допустили. И какое ему дело до несчастий семейства Тобиаса,— у каждого человека свое! Мы живем долго, и несчастные люди живут совершенно столько же. Был человек по имени Риккис,— кто мог бы забыть его? — но у него была только одна рука. Это ничего не значит: он был достаточно хорош и с одной рукой. Разве он говорил о своем несчастье? Никогда.

Однажды ночью в танцевальном зале он поссорился из-за девушки с Карабао, и Карабао не желал ему уступать, потому что у Риккиса была только одна рука. После того как они поговорили некоторое время друг с другом, употребляя грубые и неблагозвучные слова, Карабао надоело браниться с калекой, и он взял и плюнул Риккис в ухо, чтобы показать ему свое презрение. Но извините, Риккис этого не стерпел. Первым делом он отстрелил себе оплеванное ухо,— он не захотел его иметь. И еще раз извините — он размахнулся и дал пощечину. У него была только одна рука, но этого было достаточно, и на ней не было почти ничего мягкого, вроде мяса, например, а только кости. Карабао упал на пол и долго лежал. Когда его подняли, он спросил, кто он, где живет, одним словом, ничего почти не помнил. Зато Риккис был по-прежнему здоров. Правда, у него была только одна рука и не более одного уха, но никто не слышал, чтоб он жаловался на свои несчастья.

Все зависит от того, как на это посмотреть.

### ГЛАВА XXXIII

---

Консулу Гордону Тидеману хотелось, конечно, охотиться, но особой потребности в этом он не испытывал. Он, вероятно, ни разу в жизни не выстрелил, кроме как в шутку, но он знал, что джентльмену подобает охотиться и что охота — спорт благородный и серьезный. Теперь лорд для начала охотился в ближайших лесах, и его Гендрик каждый день приносил куропаток, то больше, то меньше, иногда четыре штуки, иногда две. По вечерам консул выслушивал рассказ об этих куропатках,— где они сидели, сколько их было в выводке, как вела себя собака. Но один рассказ лорда за ужином занял всех, он сам увлекся так, что забыл о еде. Это был рассказ о старой куропатке, на которую он потратил все патроны из обоих стволов, потому что она вылетела против солнца и яркий свет ослепил его.

Ведь была затронута его честь охотника! Но, слава богу, он успел проследить за ней взглядом, и завтра он разыщет ее!

Фру Юлия была добрая, она терпеливо слушала и даже удивилась, что лорд найдет именно эту куропатку среди стольких других. Но фрекен Марна была совершенно равнодушна. Когда лорд взглядывал на нее, чтобы убедиться, что и она тоже увлечена его рассказом, она глядела в ответ отсутствующими глазами, словно не слышала ни одного слова. Консул старательно отмечал каждую особенность, притворялся понимающим, делал вид, что у него чешутся руки, и если бы он мог краснеть и бледнеть, то он проделал бы и это. Изредка лорд спрашивал:

— Что бы ты сделал на моем месте?

— Н-да,— отвечал консул, и совершенно не знал, что сказать.— Смотри по тому... я, право, не знаю. А ты, Марна, что бы ты сделала? — спрашивал он сестру.

Но лорду некогда было дожидаться ответа, он был разгорячен, страсть владела им:

— У меня не было выбора, я выстрелил! Расстояние было чертовски далекое, но я выстрелил! — кричал он.

— Ну, конечно,— отвечал консул,— единственное, что ты мог сделать! Никогда не стоит жалеть выстрела!

Когда лорд начал охотиться в горах, ему приходилось весь день скитаться по обширному плоскогорью, а потом очень приятно было ехать в автомобиле до охотничьей хижины. Однажды, в среду, его отвозил Август. На обратном пути Август остановился возле своих рабочих, посмотрел, что они сделали, и что им еще оставалось, и ободрил их, сообщив, что им нужно сложить не только фундамент сарая у аптекаря, но и стены банка для консула.

— Вот это отлично, староста! — воскликнули они и принялись энергично работать, пока он стоял и глядел на них.

— Да, но не раньше, чем вы доделаете загородку! — напомнил он им.

Ночью выпало немного мокрого снега, совсем немного, но достаточно, чтобы напомнить об осени. Когда солнце поднялось, снег исчез.

— Кончите ли вы через неделю? — спросил Август.

— Да,— отвечали они.

Август поехал вниз в усадьбу. Консул стоял и ждал автомобиль. Он был, как всегда, чрезвычайно занят, но безупречно вежлив.

— Дамы мои собираются на птичьи скалы за пухом. Если вам удастся выкроить время, Август, я бы хотел чтобы вы помогли им наладить прогулку. Им желательно, кажется, пригласить с собой гостей. Моя мать расскажет вам об этом подробно.

Август поехал вместе с консулом, который ссадил его возле аптеки.

Было еще рано. Фру была в кухне, а аптекарь с фармацевтом сидели и завтракали.

— Здравствуйте, Август! Садитесь, покушайте с нами. Так, вы уже завтракали. Сейчас придет моя жена.

Господа продолжали разговор, и аптекарь заметил:

— В сущности мы не имеем права, но...

— Но она и денег не посылает,— сказал фармацевт.

— Ну, это пустяки.

— Но зачем ей столько хереса?

— У них, кажется, очень часто бывает черепаховый суп.

— Да, но по бутылке в день!

Вошла фру Хольм.

— А, На-все-руки! — обрадовавшись, воскликнула она.— И ему не дают ни пить, ни есть! Выпей хотя кофе! Ты говоришь — прогулка? Приглашено двадцать три человека. Это все Гордон, он все любит делать на широкую ногу.

Август задумчиво погладил подбородок:

— Для этого нужно большую лодку.

Аптекарь. Я могу поместить пятерых в своей лодке.

Август стал считать:

— Пять сядут в моторную лодку консула,— это будет десять. Остается тринадцать. Мы могли бы взять яхту, но неизвестно, будет ли ветер.

Они поговорили об этом и пришли к заключению, что возьмут одну из рыбацких лодок, в которую, конечно, поместятся все гости, и даже больше. Август позаботится о гребцах, и прогулка состоится на следующий день, в четверг, в четыре часа.

Август встал.

Аптекарь сказал:

— Я к вашим услугам в качестве одного из гребцов. Лучше меня нет гребца!

— За это я вам очень благодарен,— сказал Август.— Итак, значит, нас двое.

Фру покачала головой:

— Ты ни в коем случае не должен грести, На-все-руки!

Аптекарь засмеялся:

— Вы пользуетесь чрезвычайным расположением моей жены, Август. Уж не знаю, чему это приписать.

— Мне кажется, я все-таки предпочту грести,— сказал Август,— вместо того чтобы идти в Северную деревню и разыскивать там людей.

— Ты сможешь съездить в Северную деревню!

Фру встала и пошла звонить по телефону, словно старик был под ее опекой. Вернувшись, она сообщила:

— Гордон кланяется и просит передать, что автомобиль стоит в гараже.

— Да, но... я, право, не знаю.

— Таково приказание,— сказала она.

Август в автомобиле в Северной деревне. Пусть поглядят на него и тут. Правда, это не его автомобиль, но предположим, что он владеет им вместе с консулом. Впрочем, он купит себе автомобиль, у него будет свой автомобиль.

Он гордо проехал мимо сирот Солмунда и не зашел к ним. Перед домом Беньямина он прогудел три раза, вышел, зажег сигару и стал прогуливаться. Показался Беньямин, он добродушно жевал что-то, может быть, он встал из-за стола. Он хотел было протянуть руку и поблагодарить за прошлое, но раздумал.

Беньямин был, как и прежде, добродушен и доверчив.

— Ишь, какие гости приехали! — поздоровался он.— Давно работали мы с вами на дороге, многое случилось с тех пор.

Август ничего не имел против него, он отлично переносил его, даже интересовался им.

— Так вот оно, твое логово! — сказал он, окинув взглядом дом.

— Как?— спросил Беньямин.

— У вас в горнице только одно окно? — спросил Август.

— Да, кажется, только одно,— отвечал Беньямин и посмотрел, так ли.

— Значит, вы не видали изб из чистого стекла.

— Нет. А бывают такие избы?

— Я жил в такой, со всем своим имуществом. В ней было светло, как у бога на небе,— можешь себе представить. Уж одно то, что когда ты мылся по воскресеньям, то становился таким белым, что делался невидимым.

— В такой бы мне не хотелось жить,— сказал Беньямин, довольствуясь тем, что у него было.— Мы обходимся одним окном. Да, что, бишь, я хотел сказать?

Вероятно, он собирался заговорить о смерти Корнелии, и Август поспешил перебить его:

— А что товарищ твой дома?

— Как будто бы дома, насколько я знаю.

— В таком случае приходи с ним завтра, чтобы переправить в лодке наших гостей на птичьи скалы.

Длинный ряд вопросов о том, к кому придут гости, сколько их будет, кто приглашен, кому принадлежат птичьи скалы, хотя были только одни скалы, и всем было известно, что они — консула.

Август пояснил:

— От тридцати до сорока человек, среди них лорд из Англии. Вы придете?

— Понадобится большая лодка.

— Да, самая большая из рыбацких лодок. Значит, я могу надеяться на вас?

— Раз уж мы обещаем, — как же может быть иначе?

— Итак, значит, вы придете рано утром и вымоете хорошенько самую большую лодку. Мы предполагаем выехать в четыре часа. Понял?

Беньямин, улыбаясь и ничуть не удивленный:

— Так чего же тут не понять?

— Возьмете с собой еду, а на птичьих скалах вы получите еду от нас.

— Да, да, да, много всего случилось. Корнелия в сырой земле, и все такое...

— Да, — с отсутствующим видом отвечал Август.

— Вы не проводили ее на кладбище.

— Я? Нет.

— Я дал ей подарок с собой в могилу — сердечко, чтобы надеть на шею. Мне было все равно, и для нее мне было не жалко.

Под конец Август, весь поглощенный делами мира сего, сказал:

— Смотри, не забудь прийти за овцами в Михайлов день.

Вечером прибежал Иёрн Матильдесен с жалобой, что кто-то стреляет в горах и пугает овец.

Август успокаивал его:

— Останется потерпеть только до Михайлова дня, до субботы, когда люди придут и разберут своих овец.

— Да, но с ними никак не справишься. И есть им больше нечего: утром сегодня выпал снег. А если к тому же стреляют и пугают их, — они разбегаются; сегодня так и припустили прямо через гору, в сторону Швеции.

— Тут уж ничего не поделаешь!

Но Август все же обещался придти на другой день и расследовать, в чем дело.

— Кто же это стреляет?— злобно спросил Иёрн.

— Знатный лорд из Англии.

— А не может ли он подождать стрелять эти дни?

— Мы с тобой могли бы подождать,— сказал Август.—

Но ты, вероятно, не знаешь, что представляют собой такие господа. Они самые важные после короля Англии, который в свою очередь, самый важный после папы. А выше уже бог.

— А что, если бы вы поговорили с ним и попросили его?

Август не захотел продолжать разговор.

В четверг утром он опять отвез лорда к хижине. Но утро было плохое: низкое небо, мелкий дождик,— «утро дрянь», сказал лорд. Гендрик и собака сидели сзади и были не в духе, не потому, что шел мелкий дождь, а потому, что их господин и лорд был не в настроении. Это заражало. Лорд не хотел охотиться сегодня, а только поймать тех двух куропаток, которые улетели вчера к западу, и затем сразу вернуться домой. Ему нужно было также «ответить на проклятое писание», а потом он собирался на птичьи скалы.

Август приехал обратно в усадьбу. Консул спросил его, удалось ли ему наладить прогулку.

— Да, все в порядке.

— Пожалуй, погода будет плохая?

— Нет, для осени отличная погода.

— Это хорошо, На-все-руки! — улыбаясь сказал консул.— Садитесь, если вам надо в город.

Август поехал до сегельфосской лавки, сделал кое-какие закупки,— взял табак, кофе и угощенья своим пастухам; навестил парней, которые чистили и приводили в порядок рыбацкую лодку, и отправился в горы. Он стал подниматься сразу за церковью и тем сократил себе путь.

Иёрн и Вальборг, как дети, обрадовались подаркам и поблагодарили его, пожав ему руку. Они были довольны, что за весь день слышали всего два-три выстрела, и то вдали. Но овцы становились все беспокойнее и беспокойнее, потому что им не хватало корма.

Август придумал выход: нужно оставить гору и пасти овец возле горного озера. Там были обширные луга и великолепное пастбище. Однажды Август сам убедился в



этом. Весь вопрос в том, как такое количество овец переправить на новое пастбище.

— Это ничего не стоит! — воскликнула Вальборг и принялась звать животных.

Они тотчас побежали к ней, целым потоком устремились на нее и чуть было не опрокинули; она пошла, и они последовали за ней, задние поскакали вприпрыжку. Вальборг успела только крикнуть, чтобы Йёрн прихватил еду. Так она повела тысячу овец.

Вопрос решен...

Странная погода, словно перед землетрясением. Август сел. Хорошо было отдохнуть.

В сущности Август не имел ничего общего с этими горами. Он оглядывался кругом и повсюду видел чуждый ему мир бесчисленных вершин и расселин, обилие серых скал. Что ему до них? Он был деятельный человек, всегда в действии. Ни одного куста, ни одной соломинки. Здесь даже звуков не было, — молчание, пустое молчание. Удивительно странно, какая-то несуразность.

На море всегда что-нибудь двигалось, и от этого возникали звуки, словно водяной хор. Здесь же молчание, пустота, ничто. Но над этим не стоило ломать голову.

Да он особенно и не задумывался над этим, просто это промелькнуло в его голове, но так как он отнюдь не был лишен фантазии, то ему все-таки было не по себе. Если эта тишина имела какой-нибудь смысл, то следующий: «Я пустота!»

Август много работал, ходил; потом — было вовсе не легко подняться сюда в гору: он старьй человек и может устать, вероятно, он даже дремлет...

Проносится ветерок, что-то шевелится вокруг него. Он смотрит вверх, а потом закрывает глаза, шевелит губами, словно ждет что-то. Может быть, его мысли теперь на море, на его подлинной родине. Он на собачьей вахте возле руля; море спокойно, дует пассат, луна и звезды — видно, бог дома, раз он зажег все небесные светила. Собачья вахта? Вовсе нет! Можно даже сказать — ангельская вахта! Уже одно то, что месяц прибывает и становится все больше с каждой ночью, радует человека у руля. Он напевает, он в ладу сам с собой, он знает, куда плывет и где сойти на берег в красной жилетке. Нет ничего удивительного в том, что человеку не хочется умирать, потому что такое великолепие, как на этом свете, невозможно выдумать еще раз, например на небе.

Два сильных порыва ветра, и начинает быстро темнеть. Август смотрит вверх и соображает, что пойдет дождь. Ну и пускай! Он ничего не имеет против, он отправится прямо в пещеру к Иёрну и Вальборг, переждет у них под навесом. Очень занятно и забавно побывать хоть раз в горах в непогоду, он в течение стольких лет видал бурю на море.

Мягкая беззвучность исчезла, был гул, гул Ганга и Амазонки; гул становился тяжелым и прочным, тьма возрастала. Довольно интересно. Несколько внушительных порывов ветра, — они занимательны, даже необходимы. «Я вам очень благодарен, продолжайте!» Где-то далеко, может быть, на севере, возле Сеньи, послышалось что-то вроде ударов барабана.

Немного погода сверкнула молния, и звуки барабана приблизились, хорошо натянутого барабана.

Молния и грохот всего в какой-нибудь миле. Гроза становилась грубой и навязчивой, невозможно к ней приспособиться. Ppp! rrr! rrr! Отвратительно! И стало еще хуже, когда хлынул косой дождь, и целая серия молний и целая серия ударов, ужасов и безобразий с неба свалилась на землю и заполнила горы. «Ишь ты, леший!» — пробормотал он для бодрости, но лицо его было несколько бледно и благочестиво, когда он заползал в пещеру. Настоящая буря. Это напоминает ему тот раз, когда господь потерял терпение и впал в гнев. Помните? Семь ужасных дней и пятьдесят семь человеческих жизней! Какие там молнии! Не молнии, а пожар, — мы плавали в огне. Гром до того ужасный, без всякого понимания, незаконный гром, что валил нас на колени. Теперь нам, конечно, кажется, что капитан не сказал ни слова, не распоряжался, но в таком случае это чистейшее заблуждение с нашей стороны. Правда, погода была не для разговоров: можно было произнести слово своим собственным ртом и все же не услышать его. И потом, что он мог сказать, о чем распорядиться? Мы же не могли ничего сделать. Но капитан приказывал и прыгал, он вынул револьвер и шевелил губами, а нам казалось, что мы видим глухонемого. Нам стало его жалко; я и сегодня готов повторить это. Капитан не прыгает, когда командует, он только указывает, поэтому-то мы и жалели его. Но когда все на свете теряет смысл и не слышно ни одного слова, то и человек перестает понимать. Заметьте себе, это повторяется каждый раз! Мы поймали и связали его, для его же пользы. Жена его взялась присматривать за

ним, и он был так хорошо привязан, что не смог бы повредить ей. Но он застрелил человека.

На севере прояснилось, и дождь уменьшился. Вовсе уж не такая дурная пещера: нигде не протекает, не дует.

На самом деле он застрелил матроса, но не штурмана. Да, она нехорошо вела себя, мы все это отлично знали. А старик вдруг до того стал непонятлив, что чуть было не утопил всех нас! Глупо со стороны старого человека привязаться к такой молоденькой, какой она была, мне бы следовало быть на его месте. На больших океанских пароходах много укромных местечек, кроме кают и открытых мест, и он телефонировал с мостика: «Пойдите и поглядите, кто там-то и там-то, я хочу знать!» Ну что ж, от меня он ни разу этого не узнал — зачем было говорить? — но он узнавал от Чаза и Акселя, от негра, от Пита, ото всех. Смотря, кто стоял на вахте. Он не знал покоя: «Пойдите и поглядите там-то и там-то, я хочу знать!» И целыми днями так, с револьвером в руках; но убил он только одного человека. Он убил Пита. Один человек почти не имел значения: нас осталось пятьдесят шесть; но во всяком случае это было нарушение порядка и было поставлено ему в вину. На допросах он всегда появлялся в форме — пуговицы, шнурки, кант, — все золотое, даже свисток из чистого золота. Никаких слез, прямой, отлично выбритый, шестьдесят два года. Хозяин засвидетельствовал, что были причины его отчаянию, весь экипаж свидетельствовал в его пользу, все на борту были за него, и убийство, само собой разумеется, не преследовало никакой цели. Старик встал. «Нет, — сказал он, — не было никакой причины, судите меня. Это — безумие, я готов принять приговор!» Да, капитан был молодчина, даже и тогда...

Гроза миновала, и Август вышел. Мокрые скалы и бесчисленные ручейки, свежо, немного ветрено. Он подымается на пригорок, который облюбовал заранее, скользит в лужу, но не сдается, не жалея усилий, влезает наконец наверх и глядит. Овцы теперь далеко, кажутся точками отсюда. Они почти не движутся, вероятно, они уже на пастбище.

Четыре часа. Погода совершенно разгулялась, светит солнце, хотя и не теплое, но все-таки солнце, и люди оделись соответственно с прохладной погодой.

Все садятся в лодку. Аптекарьша умная дама, она считает: не хватает священника с женой, не хватает

почтмейстера и его супруги, — ну, что это такое! Гордону Тидеману не нравится, что его другу, лорду, приходится ждать, но лорду самому совершенно все равно, где он в данный момент находится, и он приводит всех в удивление тем, что хочет грести.

— Вы хотите грести? — спрашивает Беньямин и не понимает.

— Да, да, грести!

Приходит священник с женой; бедные, они живут дальше всех, и фру в отчаянии от того, что они задержали все общество.

— Вы вовсе нас не задержали, — говорит фру Хольм. — Почтмейстер с женой тоже еще не пришли.

Они ждут еще немного, но потом аптекарь говорит:

— А не лучше ли будет, если большая лодка отчалит? Я могу дождаться почтмейстера, потому что я все равно поеду в своей собственной лодке.

Принято. Рыбацкая лодка уплывает, лорд вооружился гигантскими веслами и здорово управляется с ними. Ну и черт! Фрекен Марна в первый раз с интересом смотрит на него.

Они пристают к берегу и расходятся во все стороны; услужливые кавалеры вытаскивают из лодки еду и пиво, фру Хольм распоряжается и указывает — что куда; оказывается, она единственная знает хоть что-нибудь о птичьих гнездах и о пухе, даже ее сын не бывал здесь, с тех пор как вырос. Сейчас птицы улетели, но они оставили после себя маленький странный мир, свой чрезвычайно широко раскинутый город гнезд. Каждый дом состоит из трех камней вместо стен, а один камень служит крышей.

— Боже! — говорят дамы. — Боже, как странно, что мы ничего не знали об этом!

Они засовывают руку в эти птичьи дома и вытаскивают оттуда пух, который прячут в большие пакеты из сегельфосской лавки, но им попадается не один только пух, а всевозможный сор из гнезда.

Фру Хольм говорит:

— Если господам попадется повалившаяся стена или крыша, будьте добры, исправьте их и приведите город в порядок к будущему году!

Лорд много путешествовал и видал всевозможные птичьи жилища, но он находит, что эти тоже «чертовски неподражаемы».

Почтмейстер с женой приплывают в лодке аптекаря. Они особенно не извиняются,— пришли поздно, вот и все. Фру такая маленькая и хорошенькая в зимнем пальто. Каждому дают по пакету, и фру Хольм просит мужа посмотреть повнимательней, не пропустили ли гости, которые шли впереди, каких-нибудь гнезд и хорошо ли обобрали их.

Таким образом эти трое остаются все время вместе.

Но почтмейстер Гаген не из таких мужей, которые прислушиваются к каждому слову, сказанному двумя другими, наоборот, он по собственному почину далеко уходит от них и собирает пух в пакет и вообще старается быть полезным. Изредка он возвращается, обращает внимание своих спутников то на одно, то на другое и опять уходит. А когда никто не слушает, фру Гаген и аптекарь могут еще раз поболтать о пустяках и подурочиться, сколько душе угодно.

— Нет, вы ошибаетесь,— говорит фру Гаген,— здесь невозможно остаться. И я не понимаю, как это другие могут. Но вы, значит, понимаете.

— Да, я не могу уехать,— отвечает на это Хольм.

— По-моему, вы могли бы.

— Нет. Я женат, я строю дом и думаю жить здесь и в будущем.

— И все-таки вы можете уехать,— упорно повторяет она.— Еще и не такие вещи делают!

— То есть как? — удивленно спрашивает он.

— Ну да, уехать. С первым же пароходом. И я поехала бы с вами.

— Ах, вот вы что думаете! Ну, конечно, таким образом... Странно, что мне не пришло это в голову.

— Ха-ха-ха! — засмеялась она.— Здорово я вас напугала.

— Чем же вы меня напугали? Что у меня будет такая прекрасная и очаровательная спутница? Предложите мне что-нибудь похуже!

— Дорогой аптекарь Хольм,— сказала она,— вы разучились весело говорить глупости. Только я, оставленная, умею еще так говорить. «Вы хотите поехать со мной?» — должны были вы спросить. «Нет, он этого не допустит» — отвечала бы я. И кроме того, в таком случае мне следовало бы быть влюбленной в вас.

Хольм коротко:

— Но я же знаю, что этого нет.

— Теперь вы, кажется, обиделись, что я не влюблена в вас? Прежде вы обыкновенно удивлялись этому и говорили: «Вот так так!»

— Ха-ха-ха! Разве я говорил?

— Да, вы совсем забыли, как флиртуют, аптекарь, и вы забыли, что я вам рассказала. Как может человек, до такой степени полинявший, влюбиться?

Хольм молчал, больше нечего было говорить; кроме того, она, конечно, была не в себе, хотя и неизвестно отчего. Он с удовлетворением отметил приближение почтмейстера и решил не отпускать его больше:

— Кстати, почтмейстер, какие чудесные обои вы нам выбрали! Мы оба в восторге.

Ай! аптекарь заметил слишком поздно, что сделал оплошность: ведь почтмейстер ни за что не хотел признаваться, что это он нарисовал дом и выбрал обои. И он, действительно, немного вздрогнул, но притворился, что ни в чем не повинен.

— Я? — сказал он. — Нет. Просто, раз уже я был там... Об этом, пожалуйста, не беспокойтесь... Послушай, Альфгильд, прохладно и дует ветер; по-моему, ты бы лучше застегнула пояс у пальто.

— Ну, помоги мне тогда, — сказала она.

Когда он расправил пояс, она поблагодарила его, взяла его под руку и прижалась к нему, словно испытывая в этом потребность. После этого она повела его обратно к лодке.

Аптекарь пошел вперед и догнал остальных. Многие показали ему полные пакеты, другие — как, например, фармацевт и уполномоченный окружного судьи — занимались главным образом починкой гнезд. Фру Юлия находила жестоким выбирать пух из гнезд.

— Подумать только, что птицам опять придется общипывать себя на будущий год! Не правда ли, На-все-руки?

— Извините, — говорит Август, — птицы все равно выбросят прошлогодний пух и нащиплют нового.

Жена священника была так прилежна, что очутилась на втором месте; на первом месте была, конечно, маленькая, умная дочка Давидсена, та самая, которая помогала в «Сегельфосских известиях», — она наполнила уже два пакета и принялась за третий.

— Ты получишь премию, — сказал консул, кивнув ей головой.

Потом он поговорил с фру Юлией о том, какую назначить премию.

Так собирали пух на скалах.

Но лорд и Марна странно вели себя: они отошли немного в сторону и сели. Пожалуй, не было ничего необычайного в том, что фрекен отлынивала от работы: она ведь всегда была так спокойна и медлительна; но если подвижной лорд вдруг притих и сел у ее ног, то это, верно, происходило оттого, что он хотел сказать ей что-то.

Так оно и было.

Да, лорд в некотором смысле сложил оружие. Он провел здесь две или три недели, надеясь английским способом справиться с Марной, не проявляя к ней ни малейшего интереса и только, так сказать, разрешая существовать и ей тоже. Он хотел переупрямить ее, разговаривал о спорте и британизмах, почти не замечал ее и потом вдруг словно невзначай открывал ее присутствие. Неправильная тактика. Он наткнулся на препятствие, которое не было сопротивлением, а полнейшим равнодушием. Говорил ли он или молчал, находился тут поблизости или отсутствовал, все это было ей совершенно безразлично. Странный случай естественного безразличия; пожалуй, в Англии это называется самодовольством и включает в себе некоторую долю флегматичности. Это равнодушие к его личности и его словам не выражало даже холодности. Оно проявлялось без всяких усилий с ее стороны, она же просто не реагировала. Черт знает, уж не скрывалось ли здесь чего-нибудь достопримечательного! Лорд стал задумываться о ней. Именно то, что она оставалась непоколебима, побуждало в нем британца испробовать свои силы; к тому же она была красива, эта троллиха, и изредка в ней чувствовался скрытый огонь.

Когда лорд увидел, что Марна, недолго думая, села, он пошел за ней. Они знали друг друга, жили в одном доме, вместе удили форель, ели за одним столом, и все-таки он почувствовал некоторую неловкость, был несколько менее уверен в себе.

Он попросил позволения сесть рядом с ней.

— Пожалуйста!

— Странный птичий город, не правда ли? — спросил он, указывая на остров.

— Чертовски неподражаем, — ответила она, опустила глаза и улыбнулась.

Понемногу разговор несколько оживился, принял определенное направление, — не то, чтобы лорд сразу посва-

тался, отнюдь нет, но лорд сделался человечнее, чем всегда, и, несмотря на свой крайне скудный норвежский язык, казался искренним. Он в первый раз пожаловался на то, что не может сказать все, что хочет.

— Ты умеешь говорить по-английски?

— Нет,— сказала Марна.

— Но ты с молниеносной быстротой выучишься ему, когда приедешь в Англию.

— Я не приеду в Англию.

Нет? Почему же — нет? Она должна приехать, непременно! Он рассказал, что у них было одно место, вернее — у его отца: это фабрика — и там делали всякие вещи. Так вот — место с садом.

— Гордон был там, и ты, Марна, тоже должна быть там!

Нет, лошадей и гонок у них нет, одни автомобили, и яхты нет, все самое обыкновенное.

— Ты совсем не знаешь английского?

— Нет,— сказала Марна.— Только — «Love you», и «sweetheart».

Теперь он опустил глаза и улыбнулся. Она держалась так естественно и сказала это очень мило. Он ведь тоже не знает норвежского,— не находит ли она, что он говорит «черт знает как»?

Нет, по ее мнению, он хорошо справляется.

Живой и забавный парень, не переходит на свой родной язык, а пользуется тем запасом слов, которому выучился на слух, смело пускает их в оборот и не застревает. Он знает также немного по-испански (выучился в Южной Америке) и по-арабски. Но французский — совершенная дрянь! Нет, он ничего не знает. Вот Гордон, тот страшно умен, он знает все, он учился, учился.

— Зато ты лорд,— сказала Марна.

— Лорд? Я? Как бы не так. Совсем не лорд, а фабрикант: мы делаем сталь. (То есть это его отец, а он сам средний обыкновенный человек.)

— Ты хорошо гребешь,— сказала Марна.

— Гребу? Такими веслами?

Ну, нет! Вот когда она приедет в Англию, он ей покажет! Он так любит греблю.

Консул зовет есть бутерброды и пить пиво. Они встают и уходят. Лорд продолжает говорить.

Перед тем, как отплыть домой, стали опять считать, все ли налицо, потому что фру Хольм знала такой случай: раз уехали от возлюбленной парочки, и спохватились



только уже в городе; потом пришлось за ними вернуться. Не оказалось почтмейстерши, фру Гаген.

Подождали немного и стали звать. Странная манера удаляться таким образом! Кто-то пошел искать ее по острову, вернулся и спросил:

— Она не пришла?

Почтмейстер влез на самую высокую скалу острова и стал кричать.

Что же, наконец, это могло значить? Кто видал, когда она ушла и куда? Нехорошо с ее стороны поступать таким образом! Кто-то извиняет ее и объясняет, что фру Гаген так ужасно близорука, — она могла провалиться в расщелину. Да, но здесь нет никаких расщелин, на целом острове ни одной расщелины. И даже если она застряла где-нибудь, она ведь может ответить на зов.

Почтмейстер стремглав сбегает со скалы, спрашивает, не пришла ли она, не ожидая ответа, мчится вдоль берега, гонимый ужасом.

— На-все-руки, что нам делать? — спрашивает консул.

— Да, придется отправиться за ней, — отвечает Август таким тоном, словно она сидит и ждет где-нибудь.

Он берет с собой Беньямина, и они плывут вдоль берега в лодке аптекаря. Изредка они кричат, вынимают весла из воды и прислушиваются. Везде берег круто обрывается в воду, море слегка волнуется, волны ударяются о большие круглые камни, колышатся водоросли и медузы. Остров был не так уж мал: нужно было по крайней мере час, чтобы объехать его вокруг. Начало темнеть.

Рыбацкая лодка поплыла домой.

На острове осталось четыре человека; пока было еще видно, они по очереди вдвоем выезжали в лодке аптекаря, а потом стали ждать рассвета. Доктор остался на тот случай, если окажется возможным привести ее в чувство, Август в качестве моряка и мастера на все руки, лорд же просто так, как ловкий малый, умеющий грести, и кроме того он заявил, что не уедет. Четвертый был почтмейстер, несчастный человек. Он еще раз влез на вершину острова и оставался там некоторое время, хотя было слишком темно, чтобы разглядеть хоть что-нибудь.

Возник вопрос о приспособлениях для обшаривания дна. Якорь из лодки аптекаря был вовсе уже не так плох, небольшой багор также. Если понадобятся более солидные орудия, придется съездить за ними на пристань.

Они нашли ее якорем, Август и почтмейстер. Они плыли вдоль северной стороны острова, Август почувствовал вдруг,

что он зацепил за что-то. Оказалось, что одна из лап якоря поддела пояс ее пальто и застряла в нем.

Почтмейстер сказал:

— Она была так близорука, она оступилась прямо в воду.

Двенадцать часов в море,— о приведении в чувство не могло быть и речи.

## ГЛАВА XXXIV

---

Пятница.

Но жизнь идет своим чередом.

Плотники у аптекаря стругают, сколачивают, вбивают гвозди несколько не хуже, оттого что кто-то умер. Дворовый рабочий Стеффен наконец-то набрал себе помощников для молотьбы, и машина его гудит во всю Сегельфосскую усадьбу. Больдеман и его товарищи буравят последние дыры; к вечеру они закончат эту работу и завтра же поставят загородку. У всех, у кого есть флаги, они наполовину спущены. Но жизнь идет своим чередом; даже почтмейстер, и тот открыл свою контору и, верно, надеется пережить как-нибудь зиму. И что же ему остается делать? Зато лорд не хочет с самого утра оглашать воздух выстрелами, отчасти потому, что он провел бессонную ночь, а отчасти, чтобы оказать некоторое уважение постигшему город несчастью.

Он встречается фрекен Марну,— со вчерашнего дня ее стало гораздо легче встретить и добиться от нее ответа. Он встречается ее как раз в тот момент, когда выходит из своей комнаты, где поспал два-три часа. Она словно растаяла, похорошела и распустилась, и может быть, даже сможет приехать когда-нибудь в Англию. Это весьма возможно. Она идет с ним вниз к позднему завтраку и вместе с фру Юлией выслушивает его рассказ о ночных поисках и о том, как нашли труп утром. Лорд качает головой и говорит, что очень грустно было слушать почтмейстера.

— А что он сказал?

— Немного слов. «Молодое существо,— сказал он,— и такое музыкальное, веселое и счастливое. Но она была так близорука,— сказал он,— что она оступилась». Оступилась — и сама не заметила. Ужасно! Что это такое бывает на носу?

Обе дамы вздрагивают, хватаются за носы и не понимают.

Он улыбается:

— Нет, нет. Что это такое, чего у нее не было на носу?

— А-а! Очки?

— Да нет.

— Пенсне?

— Ну да, пенсне! Он просил ее, чтобы она всегда носила пенсне, но она этого не хотела. Она носила его на шнурке.

Марна улыбнулась:

— Ох, а я-то испугалась, что у меня что-нибудь на носу.

Фру Юлия тоже не могла удержаться, чтобы не улыбнуться:

— Я чуть было не подбежала к зеркалу!

— Я так глупо говорю,— сказал лорд.

Вовсе нет, наоборот, он настоящее чудо, и обе дамы не могли себе представить, как это он успел научиться норвежскому в течение двух-трех месяцев, проведенных им в Финмаркене.

— Но это вовсе и не так,— сказал лорд,— вовсе не так!

И тут обнаружил, что он двенадцать лет своего детства провел в Дурбане, где постоянно бывал на норвежских пароходах и с утра до вечера говорил по-норвежски. Нет, в Финмаркене ему пришлось только возобновить свой норвежский язык из Дурбана. И все-таки он не знал теперь даже половины того, что знал раньше. И, если хорошенько подумать об этом, то он не чудо.

Но дамы все же находили удивительным, что он столько может сказать.

— Вчера на острове, когда я говорил с Марной, я ведь ничего не мог сказать. Разве нет?

Марна медленно покраснела.

Но может быть, ему разрешат приехать еще раз зимой и еще немного подучиться?

— Будете желанным гостем,— сказала фру Юлия и пожалала ему руку.

Лорд был теперь такой простой и интересный, походил на приморского дурбанского юношу, без английских фокусов, не упоминал о куропатках, сидел с ними в рубашке, в которой спал, с галстуком, съехавшим набок.

Марне пришло в голову спросить:

— Вы не пойдете на охоту сегодня?

— После обеда пойду. Для этого я и приехал сюда. Но старика не следует будить, чтобы отвезти меня...

Неужели не надо беспокоить старого Августа и не будить его до самого послеобеда? Он был уже на ногах, и кто знает, ложился ли он? Сейчас он сколачивал что-то в коптильне, прилаживал новую половицу возле самой двери. Жизнь должна была идти своим чередом, хотя кто-то и умер. Старая половица отжила свой век, изнасилась и скрипела, когда на нее наступали, надо заменить, на будущий год пол будет, как новый. Август был человек вдумчивый, он решил уничтожить этот скрип.

Потом он пошел в город и, как всегда, заглянул на пристань. Наконец-то прибыл мотор для яхты «Сория»! Ну да, привезли сегодня утром, как он и думал, с пароходом, идущим на север. Мотор, тролль этакий, стоил денег, — на одни телеграммы израсходована порядочная сумма, — но зато теперь он был здесь, крепкий и громадный, весь из стали, — слоненок с изящными колесиками внутри. Оставалось только поставить его на лодку; но сегодня была пятница, а завтра Михайлов день, когда нужно будет перегнать овец. В понедельник он поставит мотор; интересная работа, — он справится, бояться нечего.

Август разыскивает брезент и накрывает им мотор, потом прикручивает брезент канатом, чтобы не мог каждый, кому вздумается, трогать его руками. То-то удивится шкипер Ольсен, когда яхта поплывет без парусов и без ветра. Консул скажет: «Да, вы человек с идеями, На-все-руки!» А Август ответит ему от всей души: «Если вы услышите, что где-нибудь появилась сельдь, яхту можете послать туда в любой день и час!»

На улице он встречается с торговцем, с тем самым, с которым играл весной в карты. У торговца, как всегда, крупный счет, который он не может оплатить, а жена и дети до такой степени обносились, что не могут выйти. Не согласится ли Август помочь ему еще раз?

Август криво улыбается.

— Только один раз, да наградит вас господь!

— Сегодня я не был еще в банке, — говорит Август и проходит мимо.

— Неужели мы никогда больше не сыграем вечерком в карты? — пристаёт торговец.

Ах, как давно, давно это было! Кажется что-то было с русской библией и обручальным кольцом. С тех пор судьба ему улыбнулась, пришли деньги из Полена,

появился белый галстук и котелок, и появились овцы, тысяча овец! Август заходит в сегельфосскую лавку.

Торговец шагает за ним.

В лавке много народа: Гендрик, которому нечего делать, так как лорд пойдет на охоту только после обеда; Гина и Карел из Рутена, они покупают разноцветную пряжу. Две-три женщины с завистью глядят на эту покупку, льстят и говорят, что такие цвета созданы самим богом. И зачем только Гине все это великолепие? Что это она придумала?

— Да вот,— говорит Гина,— хочу немного поткать. Уж не знаю, что выйдет?

— Да уж ясно, тканье выйдет на славу!

— Я совсем осталась без юбки,— говорит Гина.— Да и потом совестно каждый раз, как не хватает корма, занимать юбку, чтобы носить в ней сено. И кроме того, малышам нужна одежда, чтобы было чем прикрыться, когда они идут в церковь. Вот и приходится мне, несмотря на бедность, садиться за тканье.

— Какие же вы бедные?! — восклицают женщины.— Ведь вы, насколько мы знаем, игрой и пением в кино заработали огромные деньги. И потом вы спустили воду с луга, и у вас прибавилось земли, теперь корма хватит по крайней мере для одной, а то и для двух коров. Нет, вам не следует говорить о бедности и нищете!

Гина ничего не имеет против такого преувеличения и предлагает женщинам внимательней поглядеть на пряжу, даже потрогать ее. Женщины сдерживаются, они считают себя недостойными сделать это, но Гина добра к ним и спрашивает у них совета относительно цветов:

— Я придумала так: желтый, голубой, красный и зеленый,— как по-вашему?

— Нам ли понять это! Пусть будет хоть вполовину так красиво, и то мы не разберем! — лицемерят женщины и еще раз вполголоса перечисляют все цвета. Может быть, их взгляду представляется детская картинка, или радуга, или сон.

Затем разговор зашел о жене почтмейстера.

— Мне ли ее не знать! — сказала Гина.— Она приходила один раз к нам и была так ласкова и добра, как божий ангел! И потом мы были вместе с ней в тот вечер в кино, когда я, как вы знаете, пела для всех господ, а Карел играл. Да, тогда мы были вместе, и она весь вечер смеялась на каждую шутку аптекаря. Мы не

знали тогда, что с ней случится такая история и что она сойдет в могилу прежде нас всех.

— Да, так-то бывает! — поддакивает одна из женщин, но она больше всего занята своими собственными делами, и так как она опасается, что зимой ей не хватит корма, то говорит Гине: — Уж мне так стыдно, что придется просить у тебя юбку, когда ты соткешь и сошьешь ее. Мне даже перед собой стыдно!

— Я дам тебе юбку, — отвечает Гина. Она испытывает гордость: в первый раз в жизни она может дать взаймы праздничную юбку, чтобы принести в ней сено...

В сущности Август не собирался ничего покупать: он забежал в лавку, чтобы отделаться от торговца. Теперь он требует сигар.

— самого лучшего сорта! — говорит он.

Но торговец потерял всякую совесть, он опять просит Августа помочь ему.

Август повторяет, что сегодня он не был в банке.

Человек стаскивает кольцо с пальца, обручальное кольцо: не даст ли Август ему хоть немножко денег взамен этого кольца? «Настоящее золото, смотрите пробу!» Правда, это последнее, с чем он хотел бы расстаться, но такая нужда.

Здесь столько народа глядят на них, но Август не из тех, которые берут залоги, когда дают деньги взаймы; он командует:

— Проваливай со своим кольцом! — выхватывает бумажник и бросает человеку большую красную ассигнацию.

Что же он мог еще сделать, когда столько народа глядело на него!

Приказчики и мальчики из лавки прыскают со смеху, но торговец не стыдится и не уходит. Он получил деньги и спасен, он обращается к Карелу из Рутена и говорит:

— Ты редко приходишь ко мне и не покупаешь у меня.

— Что? — отвечает ему Карел. — Но, дорогой мой, у тебя ведь нет пряжи?

— Да, но у меня есть все стальное, что тебе надо, назови, что хочешь. И потом, как бы там ни было, мы вместе крестились и все такое, но ты об этом забыл!

В лавке начинают возмущаться, но торговец до того огорчен, что не понимает этого. Разве он не старается изо всех сил. А между тем его приход и расход не сходятся. Люди не бросают других купцов и не переходят к нему. А в этом весь секрет оборота. Зачем идти в сегельфосскую лавку за покупкой пряжи для нарядной юбки? В прежние

времена люди сами пряли и красили свои собственные крепкие нитки, и юбки куда были прочнее. Если у торговца нет пряжи, фабричных изделий и дамских украшений, то народ не валит к нему толпой и ничего не покупает у него. И хозяин мелочной лавочки должен погибать от голода. Да, да, погибайте сколько угодно.

Видно, торговец испытывает такую горечь, что говорит ужасно глупо, а все, что ему не удастся сказать, можно прочесть на его измученном лице. Трудно, вероятно, приходится торговцу из мелочной лавочки; он думает, что он прав, но не может убедить в этом Сегельфосс и деревни. У каждого свое, он тоже человек.

И вдруг, прежде чем уйти, он объявляет, что снизил цены на зеленое мыло и на американское сало.

Август глядит на часы и отправляется домой. Совершенно случайно он замечает в конце улицы жену доктора. Она делала закупки.

Август высоко поднимает шляпу, и вот она тоже замечает его и несколько раз кивает ему в ответ. Маленькая фру Эстер, теперь она устроила все так, как ей хотелось! Еще бы, почему же не иметь ей маленькую дочку!

Август не спал всю ночь, хорошо бы было вздремнуть после обеда, но для этого у него нет времени: ему нужно подняться к пастухам и помочь им перегнать стадо на Овечью гору, так как завтра Михайлов день. Он торопливо съедает обед, смотрит на часы и видит, что пора трогаться в путь. На дворе появляется консул, он возвращается из коптильни, здороваётся. Августу не удается только поклониться и пройти мимо.

Консул говорит:

— Мои дамы сказали мне, что вы мастерили что-то сегодня утром в коптильне, и мне захотелось посмотреть, что вы сделали.

— Я только заменил кусок половицы,— сказал Август.

— Замечательно! Вы все чините и убираете, я очень вам благодарен. Послушайте, На-все-руки, что вы думаете относительно пристройки для банка,— я право, не знаю, будет немного дороже, но по-моему, нужно сложить ее из камня.

Август просиял от удовольствия:

— Совершенно верно!

— Значит, вся пристройка будет из камня,— говорит консул и слегка важничает.— Я обдумал. Сейчас расход

будет несколько больше, но здание прочнее, и прежде всего — так безопаснее. Ведь это же будет банк!

Августу сразу не терпится начать:

— Парни завтра поставят загородку. Им остается только подвести фундамент под сарай аптекаря, и они могут приняться за банк.

— Отлично! Но ведь нельзя же строить поздней осенью?

— Отчего — нет? — отвечает Август. — Мы построим дом этой осенью. А если будет мороз, так мы употребим соль.

— Соль?

— Да. Соль — в воду.

— Все-то вы знаете! — восклицает консул.

— Мне приходилось делать и то и другое, — говорит Август. — Я складывал большие молы и пакгаузы и построил по крайней мере три церкви.

Консул, вероятно, испугался, что Август увлечется воспоминаниями, и сказал:

— Но я задерживаю вас, На-все-руки. Кстати, вы ведь не спали сегодня? Вы, вероятно, здорово устали за эту ночь. Ведь это вы нашли тело.

— Нет, сам почтмейстер был со мной.

Консул качает головой:

— Чрезвычайно горестное событие!

— Да, — соглашается Август. — Но мне пришлось пережить два или три землетрясения, и во время одного землетрясения образовалась трещина, поглотившая три тысячи человек.

Консул, вероятно, опять испугался, что Август будет продолжать, он спросил:

— Куда вы собрались, На-все-руки?

— На гору, к своим овцам. Они пасутся сейчас по эту сторону озера, но мне надо перегнать их обратно на Овечью гору, потому что завтра я буду их раздавать.

— Будете раздавать? — с отсутствующим видом спрашивает консул.

— Да, на зимний корм.

Консул хотел, вероятно, попросить своего мастера на все руки о чем-то, но теперь он только глядит на часы и говорит:

— Я стоворился со своим английским другом, что приеду за ним на автомобиле в пять часов.

Август находит, что не годится консулу самому ехать за лордом.



— Да, но мы сговорились. Не забудьте. На-все-руки, спустите флаг, когда вернетесь вечером.

— Будет сделано...

Август торопливо подымается по дороге. Он встречает рабочих, которые идут вниз:

— Мы кончили, староста,— говорят они.

— Давно бы пора,— отвечает староста.— Завтра будем ставить загородку,— предупреждает он и проходит мимо.

У охотничьего домика Август сворачивает налево и идет вдоль озера. Кто знает, может быть, ему еще долго придется шагать, прежде чем он встретит пастухов: озеро велико. Он идет еще некоторое время и потом кричит. Ему отвечают откуда-то не очень издалека. Так, значит, добрые пастыри, Иёрн и Вальборг еще не гонят стадо обратно вдоль озера. Но в таком случае нужно это сделать немедленно, потому что овец нельзя гнать слишком быстро,— их нужно пасти и совсем тихонько направлять в сторону Овечьей горы, чтобы они были там к завтрашнему дню.

— В чем дело? — кричит Август еще издалека.— Разве вы не собираетесь гнать овец обратно?

— Как же, как же,— отвечает Иёрн и встает; он снимает шляпу и — никак — опять садится: совсем не торопится.— Да, мы уже думали об этом. Но Вальборг говорит, что у нее не хватает сердца угонять отсюда овец: здесь так много корма. Поглядите-ка, они стали совсем круглыми,— так они наелись.

Август тоже садится. Может быть, он слишком быстро шел и чересчур утомил себя. Вечер еще велик. И все-таки Август ощущает беспокойство, сам не зная почему. Он спросил Иёрна:

— Что это? Никак, ворона пролетела?

— Где? — сказал Иёрн.— Я ничего не видел.

— А ты, Вальборг?

— Что? Ворону? Нет, не видела.

Август задумался. Что с ним? Хотя он и не выспался, но тем не менее он своими собственными глазами видел ворону. Он видит также и Иёрна Матильдесена: он сидит и вертит в руках пруттик; и Вальборг сидит тут же, это Вальборг из Эйры, она вяжет чулок: он свернут и совсем короткий, сверкают стальные спицы. Как же в таком случае Иёрн мог не заметить вороны?

— Вы не знаете, куда она полетела? — настойчиво спрашивает он.

— Ворона? Но мы не видели вороны,— отвечает Иёрн.

— На восток или на запад?

Вальборг начинает удивляться и говорит:

— Мне что-то становится не по себе

— Ерунда! — отвечает Август.— Но я не понимаю зачем вороне понадобилось лететь так далеко в горы.

— Странно,— говорит и Вальборг.— Разве что по какому-нибудь злему делу, по случаю пятницы.

Август снисходительно глядит на нее. Все это ерунда,— будто ворона зловещая птица и посылается по пятницам с дурными вестями. Он никогда и нигде не слышал об этом (только здесь так говорят), хотя и побывал во всех странах, где есть вороны, на всем земном шаре. Почему не говорят того же о страусах или о пингвинах, которых он тоже видел. Разве ворона и пятница не в руках божьих, как и все?

Он возражает Вальборг, смеется над ней и ее суеверием.

— Про меня тоже говорят, что я родился в пятницу, но я ведь прожил по крайней мере четыре тысячи пятниц и все еще живу.

— Я так только говорю,— бормочет Вальборг.

Зато у Иёрна серьезная забота. Удивительно! Но как только этому бедняку и несчастному доверили определенное дело, он сразу показал себя верным и надежным. Теперь Иёрн сменил выпрошенное тряпье, в котором он ходил раньше, на рабочее платье, купленное им в городе. Иёрн чувствует себя обновленным, он встал на ноги, он человек. Завтра ему придется иметь дело со многими людьми, которые придут за овцами, он ничего против этого не имеет.

Кроме того, Иёрн стал также думать о будущем, чего никогда не делал раньше. Он говорит:

— Вот завтра Михайлов день, и у вас, верно, уж ничего не найдется для нас?

Август — это Август: он вовсе не намерен лишать кого-нибудь из своих людей куска хлеба,— разве кто-нибудь слышал о нем такие вещи?

— У тебя будет место,— отвечает он.

— Боже, какая радость! Вальборг, у меня будет место! — кричит он жене, которая сидит тут же рядом.— Я же ведь говорил: стоит мне только обратиться к нему...

— Настолько-то вы должны меня знать!

— Я так и говорил, я всегда так говорил.

Август — капитан и генерал!

— Ты начнешь в понедельник.

И только из хвастовства он пишет и подписывает на листке в своей записной книжке, что этот человек, Иёрн, сначала будет работать по закладке фундамента, а потом на постройке каменного здания. Он вырывает листок и говорит:

— Ты передашь этот приказ моему представителю, которого зовут Больдеман.

Иёрн знает Больдемана, он кланяется и благодарит без конца это, мол, благословение, он так и знал, и говорил это все время.

— Так. А теперь отправляйтесь! — командует Август. — Вы не попадете на Овечью гору с этой стороны озера, потому что здесь водопад. Надо обходить кругом. Но гоните, не торопясь! — говорит он.

Вальборг встает. Ей надо идти довольно долго, прежде чем она успеет пройти мимо тысячи овец. Потом она зовет их. Животные поднимают головы и прислушиваются. Она опять зовет их, в стаде начинается движение, овцы бегут на зов, некоторые блеют, наконец все сливаются в один поток; сзади идет Иёрн. Произошло то же, что и вчера утром: немного погодя возле Августа не осталось ни одной овцы.

Он сидит еще немного и отдыхает: ему не к спеху. Он слышит зов Вальборг, который удаляется, становится глуше. Она гонит стадо в полном порядке.

Потом Август встает и идет домой. На часах половина пятого.

Да, не мешало бы поспать тогда, после обеда, — он это живо чувствует, — но он отдохнет, когда придет к хижине.

Вдруг Август слышит два выстрела, один за другим. Он останавливается. Стреляли где-то возле озера, но Иёрн и Вальборг, верно, справятся с животными, они так хорошо пошли.

Август идет дальше и приходит к охотничьему домику. Пока он сидит на камне, он опять слышит два выстрела. Чертовски досадно, что этот лорд стреляет как раз на пути овец! Но как ни плохо с выстрелами, будет еще хуже, когда овцы увидят собаку, которую они примут за лисицу. Впрочем, мало вероятия, что Иёрн и Вальборг дадут застигнуть себя врасплох. Вряд ли.

Потом он идет вниз по дороге, по своей собственной дороге для автомобилей, и все-таки ему не по себе; и в первый раз за долгое время он ловит себя на том, что крестится. Что-то странное, полузабытый жест, который невольно сделала его рука.

Но вот Август чувствует тревогу. Он оборачивается и видит овец: вся дорога сплошь покрыта овцами, целый поток овец, неистовый вихрь, бешено мчащийся прямо на него, может быть, он опрокинет его. Отец небесный! Август пробует одно мгновение сопротивляться, преградить путь палкой; все напрасно: овцы увлекают его, и он напрягает все свои силы, чтобы удержаться на ногах. Август идет, тысяча овец ведет его. Они очутились у открытой пропасти, тут автомобиль консула по дороге вверх преграждает им путь. Он гудит, желая остановить животных, но пугает их еще больше. С одной стороны — отвесная скала, с другой — пропасть. Консул дает задний ход, но тут поворот, и он делает это очень медленно. И все-таки, может быть, хоть часть животных проскочила бы мимо автомобиля и спаслась, если бы перед ними не очутился человек. Это Осе; она стоит прямо перед овцами, размахивает руками, машет рукавами. Консул кричит ей что-то, а Осе кричит ему в ответ, — может быть, она только хочет помочь остановить животных. Но делает обратное, — сгоняет их на край пропасти, некоторые уж и без того упали туда, с высоты трехсот метров. Поток растет, в середине этого кипящего водоворота человек — Август; видно, как он улыбается в сторону автомобиля, верно, он надеется спастись в последний момент и не хочет причинять беспокойства, поэтому он и улыбается. Но он не может спастись. Овца — это овца, и куда бежит одна, туда бегут и все остальные, поток давит сверху, целая лавина животных падает в пропасть. Когда Август видит, что все погибло, он хватается одну овцу за длинную шерсть, может быть, для того, чтобы упасть на нее, он держит ее перед собой; но она вырывается. И его сносит вниз.

«И море овец стало могилой моряка», — так поется в песне об Августе.

## Коротко о К. Гамсуне

---

Кнут Гамсун — псевдоним Кнута Педерсена — родился 4 августа 1859 года в семье деревенского портного. В детстве жил на севере Норвегии, в маленькой усадьбе Гамсун (отсюда и псевдоним).

С 9 лет Гамсун находился у своего дяди Ульсена, принуждавшего его к тяжелому физическому труду. С 14 лет Гамсун вел скитальческую жизнь, испробовал много профессий: был коробейником, приказчиком в лавке, дважды в поисках заработка приезжал в США. Позднее, в очерках «Духовная жизнь Америки», он резко отрицательно отзывался об этой стране.

Широкую известность молодому писателю принесла психологическая повесть «Голод» (1890). В романах «Мистерии» (1892), «Пан» (1894), «Виктория» (1898) талант Гамсуна достигает художественного совершенства.

Герои ранних романов писателя — люди, страдающие от одиночества, невозможности понять друг друга, зыбкости существования, сложности и безысходности своих глубоких чувств.

Противоречивость их внутренней жизни, странность поступков заставляют вспомнить произведения Достоевского, к творчеству которого Гамсун относился с огромным уважением. Судьбы своих персонажей — крестьян, интеллигенции, рыбаков — он, следуя в этом за великим русским писателем, дает в контексте реальной жизни страны.

На рубеже XIX—XX вв. буржуазный прогресс начал разрушать патриархальные устои норвежской провинции. Гамсун считал его враждебным полноценному развитию человеческой личности и духовной свободе. Эту свободу он пытался найти в близости к природе, в силе любовных

чувств, позднее — в устойчивой трудовой жизни крестьянина.

В 1906 году романом «Под осенними звездами» открывается ряд произведений, построенных на впечатлениях юношеской жизни и описывающих преимущества жизни норвежского Севера: «Бенони» (1908), «Странник, играющий под сурдинку» (1909) и др. В лучших из них, носящих более эпический и элегический характер, Гамсун добивается огромной эмоциональной выразительности.

Со временем всё большую роль в творчестве Гамсуна начинает играть противопоставление современному капиталистическому городу устойчивого уклада крестьянской жизни. Наиболее законченное выражение эта патриархальная идиллия нашла в романе «Соки земли» (1917), принесшем Гамсуну в 1920 году Нобелевскую премию. В романах 20—30-х годов «Женщины у колодца» (1920), «Последняя глава» (1923), «Бродяги» (1927), «Август» (1930), «А жизнь идет» (1933), «Кольцо замыкается» (1936) — преобладает мотив одиночества и беспомощности человека в современном мире.

К. Гамсун — писатель сложной творческой судьбы. Начав путь в литературу с острой критики нравственной неустойчивости собственничества, он показал трагическую разобщенность людей в мире своекорыстных интересов, фальши и лицемерия, жертвой которых он стал сам. В конце своей жизни писатель отрекся от гуманизма и занял примиренческую позицию по отношению к агрессии Германии в годы II мировой войны, проявив полное политическое банкротство. После разгрома гитлеровской Германии он был отдан под суд за измену родине и подвергся бойкоту со стороны широких слоев норвежской общественности. Годы, проведенные в ожидании суда (1945—1948), описаны престарелым писателем в его последней книге «По заросшим тропам» (1949).

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

**Август**

**5**

**А жизнь идет...**

**311**

**Коротко о К.Гамсуне**

**684**

Литературно-художественное издание

**Кнут Гамсун**

---

*Август*  
*А жизнь идет...*

*Романы*

Ответственный за выпуск  
Г. К. Джапаридзе

Художественное оформление  
Б. М. Кравченко

Редактор  
С. В. Хрусталева

Технический редактор  
А. М. Короб

Корректор  
Н. И. Слесаренко

Подписано в печать 10.08.94. Формат 84×108/32.  
Бумага типографская. Гарнитура «Таймс».  
Печать высокая. Усл.-печ. л. 36,12. Уч.-изд. л. 34,93.  
Заказ № 4-477.

«Эй-Ди-Лтд». 121663 Москва,  
ул. Большая Филевская, 35.

Оригинал-макет подготовлен в ИПЦ ММП «Борисфен».  
252189 Киев, ул. Дружковская, 10.

Отпечатано с оригинал-макета по заказу ММП «Борисфен»  
на материалах заказчика на арендном предприятии  
«Киевская книжная фабрика».  
252052 Киев, ул. Воровского, 24.



- Гамсун К.**  
Г 18 **Август. А жизнь идет... Романы / Пер. с норв.—**  
**М.: «Эй-Ди-Лтд», 1994.— 687 с.**  
**ISBN 5—85869—046—7**

Романы «Август» и «А жизнь идет...» объединяет образ Августа — бродяги, исколесившего весь мир

Август наделен кипучей энергией, которая почти всегда расходуется впустую. Голова его полна всевозможных проектов, которые должны оживить город, обогатить жителей, превратить Полен в крупный промышленный центр. Но из его затей ничего не выходит.

В романе «А жизнь идет...» Август доигрывает последний акт своей долгой и бурной жизни, похожей на шутовской фарс. Он состарился, ему уже перевалило за шестьдесят, но он все такой же неистощимый враль.

